

Олдос Хаксли

Aldous Huxley

Контрапункт
Гений и богиня

Контрапункт; Гений и богиня

Олдос Хаксли

Аннотация
Олдос Хаксли. Контрапункт; Гений и богиня
Контрапункт
Гений и богиня

Аннотация

<emphasis>«Контрапункт»</emphasis> «Контрапункт» – крупнейшее произведение Олдоса Хаксли, описывающее несколько месяцев из жизни интеллектуальной лондонской элиты. Здесь нет главных действующих лиц или основной сюжетной линии. Как и музыкальный контрапункт, предполагающий сочетание двух и более мелодических голосов, роман Хаксли – это переплетение разных судеб, рассказ о жизни многих людей, так или иначе попадающих в поле писательского зрения. Они встречаются в кафе и ресторанах, ходят на великосветские приемы, ссорятся, сплетничают, злословят. Во всем этом нет никакой цели – одна бессмысленная многоголосица. Так Хаксли смотрит на своих современников, а нынешний читатель наверняка услышит в этом хоре много знакомых голосов. <empty-line/> <emphasis>«Гений и богиня»</emphasis> Любовный треугольник… Кажется, довольно банальная история. Сюжет романа действительно

прост: у знаменитого ученого есть божественной красоты жена. И молодой талантливый ученик. Конечно же, между учеником и «богиней» вспыхивает страсть. Ни к чему хорошему это привести не может. Чего же еще ждать от любовного треугольника? Но Олдос Хаксли сумел наполнить эту историю глубиной, затронуть важнейшие вопросы о роке и личном выборе, о конфликте между чувством и долгом, о чести и любви.

Олдос Хаксли
Контрапункт; Гений и богиня

б и б л и о т е к а  к л а с с и к и

Серия «Библиотека классики»

Aldous Huxley
Point Counter Point
The Genius and the Goddess

Перевод с английского



Школа перевода Баканова, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2025

Контрапункт

О, как удел твой жалок, человек! —
Одним законом сотворен, в другой – закован:
Зачат в грехе – но презираешь грех,
Рожден больным – но тщишься быть здоровым!
И как Природа все смешала жутко —
Веленья страсти с прихотью рассудка!

Фулк Гревилл

I

— Ты вернешься не поздно? — В голосе Марджори Карлинг слышалось беспокойство, слышалось что-то похожее на мольбу.

— Нет, не поздно, — сказал Уолтер, с огорчением и с чувством вины сознавая, что он лжет. Ее

голос раздражал его. Она растягивала слова, у нее было слишком изысканное произношение, даже когда она волновалась.

— Не позже двенадцати. — Она могла бы напомнить ему о том времени, когда он ходил в гости с ней. Она могла бы это сделать, но она этого не сделала: это было против ее принципов, она не хотела навязывать свою любовь.

— Ну, скажем, в час. Ты сама знаешь, с этих вечеров раньше не уйдешь.

Но она этого не знала по той простой причине, что ее на эти вечера не приглашали, так как она не была законной женой Уолтера Бидлэйка. Она ушла к нему от мужа, а Карлинг был примерным христианином и, кроме того, немного садистом и поэтому отказывался дать ей развод. Уже два года они жили вместе. Всего два года; и он уже перестал любить ее, он полюбил другую. Грех потерял свое единственное оправдание, двусмысленное положение в обществе — свою единственную компенсацию. А она ждала ребенка.

— В половине первого, Уолтер, — умоляла она, отлично зная, что ее назойливость только раздражает его и заставляет его любить ее еще меньше. Но она не могла не говорить: ее любовь к нему была слишком сильной, ее ревность — слишком

жгучей. Слова вырывались у нее сами собой, этому не могли помешать никакие принципы. Было бы лучше для нее, а может быть, и для Уолтера, если бы у нее было меньше принципов и если бы она была менее сдержанна в выражении своих чувств. Но с детства ее приучили владеть собой. По ее мнению, только невоспитанные люди «устраивают сцены». Умоляющее «в половине первого, Уолтер» было все, что могло пробиться сквозь ее принципы. Слишком слабый, чтобы тронуть Уолтера, этот взрыв чувств мог вызвать в нем только раздражение. Она это знала и все-таки не могла заставить себя молчать.

— Если мне удастся. — (Ну вот: готово. В его голосе слышалось раздражение.) — Но я не могу обещать, не жди меня. — Потому что, думал он (образ Люси Тэнтемаунт неотступно его преследовал), конечно, он не вернется в половине первого.

Он поправил белый галстук. В зеркале он увидел ее лицо рядом со своим. Бледное лицо и такое худое, что в тусклом свете электрической лампочки щеки казались ввалившимися от глубоких теней, отбрасываемых скулами. Вокруг глаз были темные круги. Ее прямой нос, даже в лучшие времена казавшийся слишком длинным, выступал над

худым лицом. Она стала некрасивой, она выглядела утомленной и больной. Через шесть месяцев у нее родится ребенок. То, что было отдельной клеткой, группой клеток, кусочком тканей, чем-то вроде червя, потенциальной рыбой с жабрами, шевелилось внутри ее и готовилось стать человеком — взрослым человеком, страдающим и наслаждающимся, любящим и ненавидящим, мыслящим, знающим. То, что было студенистым комком внутри ее тела, придумает себе бога и будет поклоняться ему; то, что было чем-то вроде рыбы, будет творить и, сотворив, станет полем брани между добром и злом; то, что жило в ней бессознательной жизнью паразитического червя, будет смотреть на звезды, будет слушать музыку, будет читать стихи. Вещь станет индивидом, крошечный комок материи станет человеческим телом с человеческим сознанием. Поразительный процесс созидания происходил внутри ее; но Марджори ощущала только тошноту и усталость. Для нее вся эта тайна сводилась к тому, что она подурнела и находилась в постоянной тревоге за свое будущее; физическое недомогание, к которому прибавлялось нравственное беспокойство. Когда она впервые поняла, что беременна, она обрадовалась, несмотря на преследовавший ее

страх неприятных последствий для ее тела и общественного положения. Она надеялась, что ребенок вернет ей Уолтера, который уже тогда начал отходить от нее, ребенок возбудит в нем те чувства, которых не хватало его любви, чтобы быть полной. Она боялась физических страданий и неизбежных трудностей. Но ради того, чтобы усилить привязанность Уолтера, стоило пойти на все страдания, на все трудности. Несмотря ни на что, она была довольна. Сначала казалось, что ее надежды оправдались. Узнав, что она ожидает ребенка, он стал относиться к ней с большей нежностью. Две-три недели она была счастлива, она примирилась со страданиями и неудобствами. Но очень скоро все изменилось: Уолтер встретил ту женщину. В те часы, когда он не ухаживал за Люси, он старался быть как можно более заботливым, но она понимала, что за этой заботливостью скрывается недовольство, что он нежен и внимателен из чувства долга и что он ненавидит ребенка, который заставляет его считаться с матерью. Его ненависть к ребенку передалась и ей. Ощущение блаженства исчезло, остался только страх. Страдания и неудобства — вот что сулило ей будущее. А пока что — дурнота, усталость, физическое безобразие. Как может она

в этом состоянии отстаивать свою любовь?

— Ты любишь меня, Уолтер? — вдруг спросила она.

Уолтер на мгновение перевел взгляд своих карих глаз с отражения галстука на отражение ее грустных серых глаз, напряженно смотревших на него. Он улыбнулся. «Если бы она только оставила меня в покое!» — подумал он. Он сжал губы и снова раздвинул их, имитируя поцелуй. Но Марджори не ответила ему улыбкой. Ее лицо осталось по-прежнему грустным и беспокойным. Ее глаза заблестели, и на ее ресницах неожиданно выступили слезы.

— А ты не остался бы сегодня вечером со мной? — попросила она, забывая о своем героическом решении никогда не взывать к его любви и не заставлять его делать ничего против воли.

Вид ее слез, звук ее взволнованного, упрекающего голоса наполнил Уолтера смешанным чувством злобы, жалости и стыда.

«Неужели ты не понимаешь, — хотелось ему сказать, но у него не хватило мужества сказать это, — неужели ты не понимаешь, что теперь не так, как было прежде, что теперь не может быть так, как было прежде? А если говорить правду, прежде тоже никогда не было так: я только де-

лал вид, но на самом деле я никогда не любил тебя по-настоящему. Будем друзьями, будем товарищами, мне приятно с тобой, я прекрасно отношусь к тебе. Но, бога ради, не пичкай меня своей любовью, не насилуй меня. Если бы ты знала, как отвратительна чужая любовь, когда сам не любишь, каким насилием, каким оскорблением она кажется».

Но она плакала. Слезы катились по капле из-под опущенных век. Лицо дрожало и расплывалось в страдальческой гримасе. А он ее мучает. Он ненавидел себя. «Какое она имеет право шантажировать меня своими слезами?» При этом вопросе он сам начинал ненавидеть ее. Слеза катилась по ее длинному носу.

«Она не имеет права так поступать, не имеет права. Почему она не может вести себя разумно? Потому что она любит меня».

«Но я не хочу ее любви, не хочу. — Раздражение его усиливалось. — Она не имеет права так себя вести, во всяком случае, теперь. Это шантаж, — повторял он про себя, — шантаж. Какое она имеет право шантажировать меня своей любовью или тем, что я когда-то тоже любил ее! Да и любил ли я ее когда-нибудь?»

Марджори достала платок и принялась вы-

тирать глаза. Ему было стыдно своих гнусных мыслей. Но причиной стыда была она: это была ее ошибка. Ей не следовало бросать мужа. Они отлично могли бы устроиться. Послеобеденные часы у него в мастерской. Это было бы так романтично.

«Но ведь я сам потребовал, чтобы она ушла от мужа».

«Но она должна была понять и отказаться. Она должна была понять, что моя любовь не может продолжаться вечно».

Но она поступила так, как хотел он: ради него она отказалась от всего, согласилась на двусмысленное положение в обществе. Тоже шантаж. Она шантажировала его своими жертвами. Он возмущался тем, что своими жертвами она взывала к его порядочности и чувству долга.

«Но если бу *нее* самой была порядочность и чувство долга, — думал он, — она не стала бы требовать их от меня».

Но она ждала ребенка.

«Неужели она не могла сделать так, чтобы его не было?»

Он ненавидел ребенка. Из-за этого ребенка он чувствовал себя еще более ответственным перед его матерью, еще более виноватым, когда причи-

нял ей страдания. Он смотрел, как она вытирает мокрое от слез лицо. Беременность обезобразила и состарила ее. На что она вообще рассчитывала? Но нет, нет, нет! Уолтер закрыл глаза и сделал чуть заметное судорожное движение головой. Эту подлую мысль нужно раздавить, уничтожить.

«Как могут такие мысли приходить мне в голову?» — спросил он себя.

— Не уходи, — повторила она. Ее утонченный выговор, манера растягивать слова, высокий голос действовали ему на нервы. — Прошу тебя, не уходи, Уолтер!

В ее голосе слышалось рыдание. Снова шантаж. Господи, как мог он дойти до такой низости? И все-таки, несмотря на стыд, а может быть, даже благодаря ему, постыдное чувство все усиливалось. Отвращение к ней усиливалось, потому что он стыдился его; болезненное ощущение стыда и ненависти к самому себе, которое Марджори вызывала в нем, порождало, в свою очередь, отвращение. Негодование порождало стыд а стыд, в свою очередь усиливал негодование.

«О, почему она не может оставить меня в покое?» Он страстно, напряженно желал этого, тем более страстно, что сам он подавлял в себе это желание. (Ибо он не смел его проявить; он жалел

ее, он хорошо относился к ней, несмотря ни на что; он не способен был на откровенную, неприкрытую жестокость — он был жесток только от слабости, против своей собственной воли.)

«Почему она не оставит меня в покое?» Он любил бы ее гораздо больше, если бы она оставила его в покое; и она сама была бы гораздо счастливее. Во много раз счастливее. Ей же было бы лучше… Тут ему вдруг стало ясно, что он лицемерит. «И все-таки, какого дьявола она не дает мне делать то, чего я хочу?»

Чего он хотел? Но хотел-то он Люси Тэнтемаунт. Он хотел ее вопреки рассудку, вопреки всем своим идеалам и принципам, неудержимо, вопреки своим собственным стремлениям, даже вопреки своему чувству, потому что он не любил Люси; мало того, он ненавидел ее. Благородная цель оправдывает постыдные средства. Ну а если цель постыдна, тогда как? Ради Люси он причинял страдания Марджори, которая его любила, которая все принесла ему в жертву, которая была несчастлива. Но и своим несчастьем она шантажировала его.

Одна часть его «я» присоединилась к ее мольбам и склоняла его к тому, чтобы не поехать на вечер и остаться дома. Но другая часть была силь-

нее. Он ответил ложью — наполовину ложью, в которой была лицемерно оправдывавшая его доля истины; это было хуже, чем неприкрытая ложь.

Он обнял ее за талию. Само это движение было ложью.

— Но, дорогая, — возразил он ласковым тоном взрослого, который уговаривает ребенка вести себя как следует, — мне необходимо быть там. Знаешь, там ведь будет отец. — Это была правда: старый Бидлэйк всегда присутствовал на вечерах у Тэнтемаунтов. — Мне необходимо переговорить с ним. О делах, — добавил он неопределенно и внушительно: эти магические слова должны были поставить между ним и Марджори дымовую завесу мужских интересов. Но, подумал он, ложь все равно просвечивает сквозь дым.

— А ты не мог бы встретиться с ним в другое время?

— Это очень важное дело, — ответил он, качая головой. — А кроме того, — добавил он, забывая, что несколько оправданий всегда менее убедительны, чем одно, — леди Эдвард специально для меня пригласила одного американского издателя. Он может оказаться полезным; ты знаешь, какие бешеные деньги они платят. Леди Эдвард

сказала, что она с удовольствием пригласила бы издателя, но тот, кажется, уехал обратно в Америку. У них неслыханные гонорары, — продолжал он, сгущая дымовую завесу шутливыми замечаниями. — Это единственная страна в мире, где писателям иногда переплачивают. — Он сделал попытку рассмеяться. — А не мешало бы, чтобы мне где-нибудь переплатили как возмещение за все эти бесчисленные заказы по две гинеи за тысячу слов. — Он крепче сжал ее в объятиях, наклонился поцеловать ее. Но Марджори отвернулась. — Марджори, — умолял он, — не плачь. Не надо. — Он чувствовал себя виноватым и несчастным. Но, господи, почему она не оставляет его в покое?

— Я не плачу, — ответила она. Щека, к которой он прикоснулся губами, была влажная и холодная.

— Марджори, если ты не хочешь, я не пойду.

— Я хочу, чтобы ты пошел, — ответила она, все еще не глядя на него.

— Ты не хочешь. Я останусь.

— Нет, не оставайся. — Марджори посмотрела на него и заставила себя улыбнуться. — Это просто глупо с моей стороны. Было бы нелепо не повидаться с отцом и с этим американцем.

В ее устах его собственные доводы казались ему бессмысленными и неправдоподобными. Он содрогнулся от отвращения.

— Подождут, — ответил он, и в его голосе прозвучала злоба. Он злился на самого себя за ложь (почему он не сказал ей всю правду, не скрывая, не прикрашивая? Она ведь все равно знала), и он злился на нее за то, что она напоминала ему о лжи. Ему хотелось, чтобы ложь была забыта, чтобы было так, словно он и не произносил ее никогда.

— Нет, нет, я требую. Это было глупо с моей стороны. Прости меня.

Теперь он сопротивлялся, отказывался уходить, просил разрешения остаться. Теперь, когда опасность миновала, он мог позволить себе поломаться. Потому что Марджори — это было ясно — твердо решила, что он должен идти. Ему представлялась возможность проявить благородство и принести жертву по дешевке, даже задарма. Какая гнусная комедия! Но он играл ее. В конце концов он согласился уйти, как будто этим он делал ей одолжение. Марджори надела ему на шею кашне, подала цилиндр и перчатки, поцеловала его на прощание, мужественно стараясь казаться веселой. У нее была своя гордость и свой

кодекс любовной чести; и, несмотря на страдания, несмотря на ревность, она держалась за свои принципы: он*должен* быть свободным, она не имеет права вмешиваться в его жизнь. К тому же самое разумное — это не вмешиваться. По крайней мере, ей казалось, что это самое разумное.

Уолтер закрыл за собой дверь и вышел в прохладную ночь. Преступник, бегущий от места преступления, бегущий от вида жертвы, бегущий от жалости и раскаяния, не чувствовал бы большего облегчения. Выйдя на улицу, он глубоко вздохнул: он свободен, он может не вспоминать о том, что было, не думать о том, что будет. Может в течение одного или двух часов жить так, словно нет ни прошлого, ни будущего. Может жить настоящей минутой и только там, где в эту минуту находится его тело. Свободен! Но это было пустое хвастовство: забыть он не мог. Бежать не так легко. Ее голос преследовал его. «Я требую, чтобы ты пошел». Его преступление было не только убийством, но еще и мошенничеством. «Я требую». Как благородно он отказывался! Как великодушно согласился под конец! Шулерство венчало собой жестокость.

— Господи! — сказал он почти вслух. — Как я мог? — Он чувствовал к самому себе отвращение,

смешанное с удивлением. — Но зачем она не оставляет меня в покое! — продолжал он. — Почему она не ведет себя разумно? — Бессильная злоба снова охватила его.

Он вспомнил то время, когда он желал совершенно иного. Больше всего ему хотелось, чтобы она не оставляла его в покое. Он сам поощрял ее преданность. Он вспомнил коттедж, где они прожили несколько месяцев в полном уединении, среди голых меловых холмов. Какой вид на Беркшир! Но ближайшая деревня отстояла за полторы мили. Как тяжела была сумка с провизией! Какая грязь, когда шел дождь! И воду приходилось таскать из колодца глубиной в добрых сто футов. Но даже тогда, когда он не был занят чем-нибудь утомительным, было ли ему хорошо? Был ли он когда-нибудь счастлив с Марджори — по крайней мере настолько счастлив, насколько должен был бы быть? Он ожидал, что это будет похоже на «Эпипсихидион», — это не было похоже, может быть, потому, что он слишком сознательно стремился к этому, слишком старался сделать свои чувства и свою жизнь с Марджори похожими на поэму Шелли.

— Искусство нельзя принимать слишком буквально. — Он вспомнил, что сказал муж его

сестры, Филип Куорлз, когда они однажды вечером разговаривали о поэзии. — Особенно когда речь идет о любви.

— Даже если искусство правдиво? — спросил Уолтер.

— Оно может оказаться слишком правдивым. Без примесей. Как дистиллированная вода. Когда истина есть только истина и ничего больше, она противоестественна, она становится абстракцией, которой не соответствует ничто реальное. В природе к существенному всегда примешивается сколько-то несущественного. Искусство воздействует на нас именно благодаря тому, что оно очищено от всех несущественных мелочей подлинной жизни. Ни одна оргия не бывает такой захватывающей, как порнографический роман. У Пьера Луиса все девушки молоды и безупречно сложены; ничто не мешает наслаждаться: ни икота или дурной запах изо рта, ни усталость или скука, ни внезапное воспоминание о неоплаченном счете или о ненаписанном деловом письме. Все ощущения, мысли и чувства, которые мы получаем от произведения искусства, чисты — химически чисты, — добавил он со смехом, — а не моральны.

— Но «Эпипсихидион» — не порнография, —

возразил Уолтер.

— Конечно, но он тоже химически чист. Вы помните этот сонет Шекспира:

Ее глаза на солнце не похожи,
Коралл краснее, чем ее уста,
Снег с грудью милой – не одно и то же,
Из черных проволок ее коса.
Есть много роз пунцовых, белых, красных,
Но я не вижу их в ее чертах.
Хоть благовоний много есть прекрасных,
Увы, но только не в ее устах.

И так далее. Он понимал поэзию слишком буквально, и это — реакция. Пусть это будет предупреждением для вас.

Разумеется, Филип был прав. Месяцы, проведенные в коттедже, не были похожи ни на «Эпипсихидион», ни на «Maison du berger»[1]. Чего стоили хотя бы колодец и прогулки в деревню!.. Но даже если бы не было колодца и прогулок, даже если бы у него была одна Марджори без

---

[1] Примечания: 1
«Пастушеский дом»*(фр.).*

всяких примесей — стало ли бы от этого лучше? Вероятно, только хуже. Марджори без примесей была бы еще хуже, чем Марджори на фоне житейских мелочей.

Взять, например, ее утонченность, ее холодную добродетель, такую бескровную и одухотворенную; теоретически и на большом расстоянии он восхищался ими. Но практически, вблизи от себя? Он влюбился в ее добродетель, в ее утонченную, культурную, бескровную одухотворенность; а кроме того, она была несчастна: Карлинг был невыносим. Жалость превратила Уолтера в странствующего рыцаря. Ему казалось тогда (ему было в то время двадцать два года, он был чист страстной чистотой подростка, привыкшего сублимировать свои сексуальные стремления. Он только что окончил Оксфордский университет и был начинен стихами и сложными построениями философов и мистиков), ему казалось, что любовь — это разговоры, что любовь — это духовное общение. Такова истинная любовь. Сексуальная жизнь — это лишь одна из житейских мелочей, неизбежная, потому что человеческие существа, к сожалению, обладают телами; но считаться с ней нужно как можно меньше. Страстно чистый и привыкший претворять свою страст-

ность в серафическую духовность, он восторгался утонченной и спокойной чистотой, которая у Марджори происходила от врожденной холодности и пониженной жизнеспособности.

— Вы такая хорошая, — говорил он, — вам это дается так легко. Мне хочется стать таким же хорошим, как вы.

Это желание было равносильно желанию стать полумертвым; но тогда он не осознавал этого. Под оболочкой робости, застенчивости и тонкой чувствительности в нем скрывалась страстная жажда жизни. Ему действительно стоило большого труда сделаться таким же хорошим, как Марджори. Но он старался. И он восторгался ее добротой и чистотой. И ее преданность трогала его — по крайней мере до тех пор, пока она не начала утомлять и раздражать его, — а ее обожание льстило ему.

Шагая к станции Чок-Фарм, он вдруг вспомнил рассказ отца о разговоре с каким-то шофером-итальянцем о любви. (У старика был особый дар вызывать людей на разговор, всяких людей, даже слуг, даже рабочих. Уолтер всегда завидовал ему в этом.) По теории шофера, некоторые женщины

похожи на гардеробы. Sono come i cassetoni[2]. С каким смаком старый Бидлэйк рассказывал этот анекдот! Они могут быть очень красивы; но какой толк — обнимать красивый гардероб? Какой в этом толк? (А Марджори, подумал Уолтер, даже не очень красива.)«Нет, уж лучше женщины другого сорта, — говорил шофер, — будь они трижды уроды. Вот моя девочка, — признался он, — та совсем другого сорта. E un frullino, proprio un frullino[3] — настоящая взбивалочка для яиц». И старик подмигивал, как веселый порочный сатир. Чопорный гардероб или бойкая взбивалочка? Уолтер должен был признать, что у него такие же вкусы, как у шофера. Во всяком случае, он по личному опыту знал, что, когда «истинная любовь» снисходила до «мелочей» сексуальной жизни, ему не очень нравились женщины «гардеробного» сорта. Теоретически, на расстоянии, чистота и доброта и утонченная одухотворенность достойны восхищения. Но на практике, вблизи, они гораздо менее привлекательны. А когда женщина непривлекательна, ее преданность и лесть и обожание становят-

[2] Примечания: 2
Они как гардеробы*(ит.).*

[3] Примечания: 3
Она взбивалочка, настоящая взбивалочка*(ит.).*

ся невыносимыми. Не отдавая себе отчета, он одновременно ненавидел Марджори за ее терпеливую холодность великомученицы и презирал себя за свою животную чувственность. Его любовь к Люси была безудержной и бесстыдной, но Марджори была бескровна и безжизненна. Он одновременно оправдывал себя и осуждал. И все-таки больше осуждал. Его чувственные желания низменны; они неблагородны. Взбивалочка и комод — что может быть омерзительнее и подлее подобной классификации? Мысленно он услышал сочный, чувственный смех отца. Ужасно! Вся сознательная жизнь Уолтера протекала под знаком борьбы с отцом, с его веселой, беспечной чувственностью. Сознательно он всегда был на стороне матери, на стороне чистоты, утонченности, на стороне духа. Но кровь его была, по крайней мере, наполовину отцовской. А теперь два года жизни с Марджори воспитали в нем активную ненависть к холодной добродетели. Он возненавидел добродетель, но одновременно стыдился своей ненависти, стыдился того, что он называл своими скотскими, чувственными желаниями, стыдился своей любви к Люси. Ах, если бы только Марджори оставила его в покое! Если бы она перестала требовать ответа на свою

нежеланную любовь, которую она упорно навязывала ему! Если бы она перестала быть такой ужасающе преданной! Он мог бы остаться ее другом: ведь он прекрасно относится к ней за ее доброту, нежность, верность, преданность. Ему было бы очень приятно, если бы она платила ему за дружбу дружбой. Но ее любовь вызывала в нем тошноту. А когда она, воображая, что борется с другими женщинами их же оружием, насиловала свою добродетельную холодность и пыталась вернуть его любовь страстными ласками, тогда она становилась просто ужасна.

А кроме того, продолжал размышлять Уолтер, ее тяжелая, лишенная тонкости серьезность просто скучна. Несмотря на всю свою культурность, а может быть, именно благодаря ей Марджори была туповата. Конечно, ей нельзя было отказать в культурности: она читала книги, она запоминала их. Но понимала ли она их? Была ли она способна их понять? Замечания, которыми она прерывала свои долгие-долгие молчания, культурные, серьезные замечания, — как тяжеловесны они были, как мало в них было юмора и подлинного понимания! С ее стороны было очень разумно, что она по большей части молчала. В молчании заключено столько же потенциальной мудро-

сти и остроумия, сколько гениальных статуй — в неотесанной глыбе мрамора. Молчаливый не свидетельствует против себя. Марджори в совершенстве владела искусством сочувственного слушания. А когда она нарушала молчание, ее реплики состояли наполовину из цитат. У Марджори была прекрасная память и привычка заучивать наизусть глубокие мысли и пышные фразы. Уолтер не сразу обнаружил, что за ее молчанием и цитатами скрывается беспомощность мысли и тупость. А когда он обнаружил, было слишком поздно.

Он подумал о Карлинге. Пьяница*и* верующий. Вечно твердящий о церковных одеяниях, о святых и непорочном зачатии — а сам мерзкий пьяный извращенец. Не будь он так отвратителен, не будь Марджори так несчастна — что тогда? Уолтер представил себя свободным. Он не пожалел бы, он не полюбил бы. Он вспомнил красные распухшие глаза Марджори после одной из тех отвратительных сцен, которые ей устраивал Карлинг. Грязная скотина!

«Ну а я-то кто?» — подумал он.

Он знал, что, как только за ним закрылась дверь, Марджори дала волю слезам. У Карлинга было хоть то оправдание, что он пил. Прости им,

ибо не ведают, что творят. Но сам он был всегда трезв. Он знал, что сейчас Марджори плачет.

«Я должен вернуться», — сказал он себе. Но вместо этого он ускорил шаги, он почти побежал вперед. Это было бегство от своей совести и в то же время неудержимое стремление навстречу желанию.

«Я должен вернуться, я должен вернуться».

Он торопливо шел дальше, ненавидя ее за то, что причинял ей боль.

Когда он проходил мимо табачной лавки, человек, стоявший у витрины, неожиданно сделал шаг назад. Уолтер со всего размаха налетел на него.

— Простите, — машинально сказал он и, не оглядываясь, пошел дальше.

— Чего толкаетесь? — услышал он позади себя злобный окрик. — Надо смотреть, куда идешь. С цепи сорвался, что ли?

Двое уличных мальчишек поддержали его яростным улюлюканьем.

— А тоже, в цилиндре! — продолжал обиженный с презрительной ненавистью к джентльмену в полном параде.

Следовало бы обернуться и дать сдачи этому типу. Его отец уничтожил бы его одним словом.

Но Уолтер умел только спасаться бегством. Он побаивался таких столкновений и предпочитал не связываться с «низами». Ругань потерялась в отдалении.

Какая гадость! Его передернуло. Мысли вернулись к Марджори.

«Почему она не может вести себя разумно? — говорил он себе. — Просто разумно. Если бы у нее было хоть какое-нибудь дело, что-нибудь такое, что занимало бы ее!»

Все несчастье Марджори в том, что у нее слишком много свободного времени. Ей не о чем думать, кроме как о нем. Но ведь в этом виноват он сам: он сам отнял у нее все занятия и лишил ее возможности думать о чем бы то ни было, кроме него. Когда он познакомился с ней, она состояла членом артели художественного труда — одной из чрезвычайно приличных любительских художественных мастерских в Кенсингтоне. Абажуры и общество разрисовывавших абажуры молодых женщин и — самое главное — обожание, которым они окружали миссис Коль, председательницу артели, утешали Марджори в ее несчастном замужестве. Она создала свой собственный мирок, независимый от Карлинга, — женский мирок, чем-то похожий на пансион для девиц, где можно

было болтать о платьях и магазинах, сплетничать, «обожать» миссис Коль, как школьницы обожают начальницу, и, кроме всего прочего, воображать, будто делаешь нужное дело и содействуешь процветанию Искусства.

Уолтер убедил ее бросить все это. Ему это удалось не сразу. Девическое «обожание» и преданность миссис Коль скрашивали ее несчастную жизнь с Карлингом. Но Карлинг становился все хуже, так что совместную жизнь с ним не могла скрасить даже миссис Коль. Уолтер предложил то, чего, вероятно, не могла и безусловно не собиралась предлагать эта леди, — убежище, защиту, денежную поддержку. Кроме того, Уолтер был мужчина, а мужчину, согласно традиции, полагается любить, даже в том случае, если, как установил Уолтер относительно Марджори, женщина не любит мужчин и находит удовольствие только в обществе женщин. (Снова влияние литературы! Он вспомнил слова Филипа Куорлза о губительном воздействии искусства на жизнь.) Да, он мужчина: но «не такой», как все мужчины, неустанно повторяла Марджори. Тогда эта характеристика казалась ему лестной. Но была ли она и в самом деле лестной? Как бы то ни было, Марджори считала его «не таким» и нахо-

дила, что в нем сочетаются достоинства обоих полов: он мужчина и в то же время не мужчина. Поддавшись убеждениям Уолтера и будучи не в силах больше выносить грубость Карлинга, она согласилась отказаться от мастерской, а значит, и от миссис Коль, которую Уолтер ненавидел, считая ее рабовладелицей, грубым и жестоким воплощением женской властности.

— Разве это дело для такой женщины, как ты, быть мебельщиком-любителем? — говорил он ей: в те времена он искренне верил в ее интеллектуальные способности.

Она станет помогать ему (как именно — это не уточнялось) в его литературной работе, она будет писать сама. Под его влиянием она принялась писать этюды и рассказы. Но они явно никуда не годились. Сначала он поощрял ее, потом стал относиться к ее писаниям сдержанно и перестал говорить о них. Вскоре Марджори бросила это противоестественное и бесполезное занятие. У нее не осталось ничего, кроме Уолтера. Он сделался краеугольным камнем, на котором покоилась вся ее жизнь. Теперь этот камень вынимали из постройки.

«Если бы только, — думал Уолтер, — она оставила меня в покое!»

Он подошел к станции метрополитена. У входа человек продавал вечернюю газету.*Грабительский законопроект социалистов. Первое чтение* — гласил бросавшийся в глаза заголовок. Уолтер воспользовался предлогом отвлечься от своих мыслей и купил газету. Законопроект либерально-лейбористского правительства о национализации рудников получил при первом чтении обычное большинство голосов. Уолтер с удовольствием прочел об этом. По своим политическим убеждениям он был радикалом. Но издатель вечерней газеты рассуждал иначе. Передовая была написана в самых свирепых тонах.

«Сволочи», — подумал Уолтер. Статья пробудила в нем сочувствие ко всему, на что она нападала; он с радостью почувствовал, что ненавидит капиталистов и реакционеров. Ограда, в которую он замкнулся, на мгновение разрушилась, личные осложнения перестали существовать. Радость борьбы вывела его из узких рамок собственного «я», он как бы перерос самого себя, стал больше и проще.

«Сволочи», — мысленно повторил он, думая об угнетателях, о монополистах.

На станции Кэмден-Таун рядом с ним уселся маленький, сморщенный человечек с красным

платком на шее. Его трубка распространяла такое удушающее зловоние, что Уолтер оглядел вагон в поисках другого свободного места. Места были; но, подумав, он решил не пересаживаться. Это могло обидеть курильщика, могло вызвать с его стороны какое-нибудь замечание.

Едкий дым раздражал горло — Уолтер закашлялся.

«Не следует идти наперекор своим вкусам и наклонностям, — не раз говорил Филип Куорлз. — Какой толк от философии, если ее основной предпосылкой не является разумное обоснование наших собственных чувств? Если вы не испытываете религиозных переживаний, верить в Бога — нелепость. Это все равно как верить в то, что устрицы вкусны, тогда как вас самого от них с души воротит».

Затхлый запах пота, смешанный с табачным дымом, достиг ноздрей Уолтера. «Социалисты называют это национализацией, — читал он в газете, — но, с точки зрения всех остальных, у этого мероприятия есть другое, более короткое и выразительное имя: “грабеж”». Ну что ж: грабеж грабителей ради блага ограбленных. Маленький человечек наклонился вперед и очень аккуратно плюнул между расставленных ног. Каблуком он

размазал плевок по полу. Уолтер отвернулся; ему очень хотелось почувствовать любовь к угнетенным и ненависть к угнетателям. «Не следует идти наперекор своим вкусам и наклонностям». Но вкусы и наклонности возникают случайно. Существуют вечные принципы. А если вечные принципы не совпадают с вашей основной предпосылкой?

Воспоминание всплыло неожиданно. Ему девять лет, и он гуляет с матерью по полям около Гаттендена. У обоих — букеты баранчиков. Должно быть, они ходили к Бэттс-Корнер: это — единственное место в окрестностях, где растут баранчики.

— Мы зайдем на минутку к бедному Уэзерингтону, — сказала мать. — Он очень болен. — Она постучала в дверь коттеджа.

Уэзерингтон служил младшим садовником в усадьбе; но последний месяц он не работал. Уолтер помнил его: бледный, худой человек, страдающий кашлем, необщительный. Уэзерингтон не очень интересовал его. Женщина открыла дверь.

— Добрый день, миссис Уэзерингтон.

Их ввели в комнату.

Уэзерингтон лежал в постели, обложенный

подушками. У него было ужасное лицо. Пара огромных глаз с расширенными зрачками смотрела из впалых глазниц. Белая и липкая от пота кожа обтягивала торчащие кости. Но еще более тягостное впечатление производила шея, невероятно худая шея. А из рукавов рубашки торчали две узловатые палки — его руки, оканчивающиеся, точно грабли, огромными костлявыми пальцами. А запах в комнате больного! Окна были плотно закрыты, в маленьком камине горел огонь. Душный воздух был насыщен затхлым запахом дыхания и испарений больного тела — застарелым запахом, сладковатым и тошнотворным от долгого пребывания в этой теплой, непроветренной комнате. Какой-нибудь новый запах, даже самый отвратительный и зловонный, был бы менее ужасен. Этот запах комнаты больного был особенно невыносим именно потому, что он был застарелым, сладковато-гнилым, застоявшимся. Даже теперь Уолтер вздрогнул при одной мысли о нем. Он зажег папиросу, чтобы дезинфицировать свою память. Его с детства приучали к ежедневным ваннам и открытым окнам. Когда его еще ребенком в первый раз повели в церковь, его затошнило от затхлого воздуха, от запаха человеческих тел; пришлось его поскорее

увести. С тех пор мать больше не водила его в церковь. Наверное, подумал он, нас воспитывают слишком гигиенично и асептично. Можно ли считать хорошим воспитание, в результате которого человека тошнит в обществе себе подобных? Он хотел бы любить их. Но любовь не может расцвести в атмосфере, вызывающей у человека непроизвольное отвращение и тошноту.

В комнате больного Уэзерингтона даже жалости расцвести было трудно. Он сидел там, пока его мать разговаривала с умирающим и его женой, смотрел, словно загипнотизированный, с ужасом на мертвенно-бледный скелет в постели и вдыхал сквозь букет баранчиков теплый тошнотворный воздух. Даже сквозь свежий, чудесный аромат баранчиков проникал затхлый запах комнаты больного. Он ощущал не жалость, а ужас и отвращение. И даже тогда, когда миссис Уэзерингтон заплакала, отворачиваясь, чтобы скрыть свои слезы от больного, он почувствовал не жалость, а только неловкость и стеснение. Зрелище ее горя только усиливало в нем желание уйти, выбежать из этой ужасной комнаты на безгранично чистый воздух и на солнечный свет.

Ему стало стыдно при воспоминании о тогдашних своих чувствах. Но так он чувствовал тогда,

и так он чувствует теперь.

«Не следует идти наперекор своим наклонностям». Нет, не всем, не дурным: им необходимо сопротивляться. Но преодолеть их нелегко. Старик рядом с ним снова зажег трубку. Уолтер вспомнил, что он как можно дольше задерживал дыхание, стараясь как можно реже вдыхать зараженный воздух. Глубокий вдох через букет баранчиков; потом сосчитать до сорока, выдохнуть и снова вдохнуть. Старик опять наклонился вперед и плюнул. «Было бы глубоко ошибочно предполагать, что национализация повысит благосостояние рабочих. За последние несколько лет налогоплательщики на своем горьком опыте убедились, что значит бюрократический контроль. Если рабочие воображают…»

Он закрыл глаза и увидел комнату больного. Когда настало время прощаться, он пожал костлявую руку. Она лежала неподвижно поверх одеяла; он подсунул свои пальцы под мертвенные и костлявые пальцы больного, на мгновение поднял его руку и снова опустил ее. Она была холодная и влажная. Отвернувшись, он потихоньку вытер ладонь о курточку. Он с силой выпустил долго задерживаемое дыхание и снова вдохнул тошнотворный воздух. Это был последний вдох: его

мать уже направлялась к выходу. Ее маленький китайский мопсик с лаем прыгал вокруг нее.

— Перестань, Т'анг! — сказала она своим ясным, красивым голосом.

«Вероятно, — думал Уолтер, — она была единственным человеком в Англии, который правильно произносил апостроф в имени Т'анг».

Они возвращались домой по тропинке среди полей. Фантастический и нелепый, словно маленький китайский дракон, Т'анг бежал впереди, с легкостью перепрыгивая через препятствия, казавшиеся ему огромными. Его перистый хвост развевался по ветру. Иногда, когда трава была очень высокая, он усаживался на маленький плоский зад, словно прося сахару, и смотрел круглыми выпуклыми глазами на травинки, как будто измеряя их высоту.

Под солнечным небом, запятнанным белыми облаками, Уолтер почувствовал себя так, точно его выпустили из тюрьмы. Он бегал, он кричал. Его мать шла медленно, не говоря ни слова. Иногда она на мгновение останавливалась и закрывала глаза. Она всегда так делала, когда была взволнована. Она часто бывала взволнована, подумал Уолтер, слегка улыбаясь про себя. Бедный Уэзерингтон, вероятно, сильно взволновал ее.

Он вспомнил, как часто она останавливалась по дороге домой.

— Идем скорее, мама! — нетерпеливо кричал он. — Мы опоздаем к чаю.

Кухарка испекла к чаю лепешки, а кроме того, был вчерашний пирог со сливами и только что начатая банка вишневого джема.

«Не следует идти наперекор своим вкусам и наклонностям». Но его вкусы и наклонности определялись случайностями его рождения. Существует вечная справедливость; милосердие и братская любовь прекрасны, несмотря на вонючую трубку старика и ужасную комнату Уэзерингтона. Прекрасны, может быть, именно благодаря им. Поезд остановился. Лестерсквер. Он вышел на платформу и направился к лифту. Но, подумал он, ваша собственная основная предпосылка — от нее не отвертишься; а если это не ваша собственная предпосылка, поверить в нее трудно, как бы хороша она ни была. Честь, верность — это все прекрасно. Но основная предпосылка его теперешней философии — это то, что Люси Тэнтемаунт — самое прекрасное, самое желанное…

— Предъявите билеты!

Внутренний спор грозил возобновиться. Он

сознательно прекратил его. Лифтер захлопнул дверцу. Лифт поднялся. На улице Уолтер подозвал такси.

— Тэнтемаунт-Хаус, Пэлл-Мэлл.

II

Три призрака Италии беспрепятственно пребывают в восточной части Пэлл-Мэлл. Богатства только что индустриализованной Англии и энтузиазм и архитектурный гений Чарлза Барри вызвали их из солнечного прошлого. Под копотью, покрывающей Клуб реформ, глаз знатока различает нечто, отдаленно напоминающее дворец Фарнезе. Немного дальше в туманном лондонском воздухе возвышается воспоминание сэра Чарлза о доме, построенном по проекту Рафаэля для Пандольфини: Клуб путешественников. А между ними подымается уменьшенная (и все-таки огромная) копия Канчеллерии, строго классическая, мрачная, как тюрьма, и черная от копоти. Это — Тэнтемаунт-Хаус.

Барри спроектировал его в 1839 году. Сотни рабочих года два трудились над ним. Счета оплачивал третий маркиз. Счета были крупные, но пригороды Лидса и Шеффилда начали распространяться по землям, которые его предки отняли

у монастырей триста лет назад. «Католическая церковь, вдохновленная Духом Святым, учит, основываясь на Священном Писании и заветах отцов церкви, что существует чистилище и что души, пребывающие в нем, спасаются молитвами верующих и в особенности жертвами, приносимыми на алтарь церкви». Богатые люди с нечистой совестью жаловали монахам земли, чтобы их души быстрее миновали чистилище с помощью непрестанно приносимых на алтарь жертв. Но Генрих VIII воспылал страстью к одной молоденькой женщине и захотел иметь от нее сына; а папа Климент VII, находившийся во власти двоюродного племянника первой жены Генриха, отказался дать ему развод. В результате были закрыты все монастыри. Тысячи нищих и калек умерли голодной смертью, но зато Тэнтемаунтам досталось несколько десятков квадратных миль пахотных земель, лесов и пастбищ. Позднее, при Эдуарде VI, они присвоили собственность двух уничтоженных школ латинской грамматики, дети остались без образования ради того, чтобы Тэнтемаунты могли стать еще богаче. Они с большой тщательностью обрабатывали землю, стараясь извлечь из нее максимум прибыли. Современники смотрели на них как на «людей,

которые живут так, словно нет Бога, людей, которые хотят забрать все в свои руки, людей, которые ничего не оставляют другим, людей, которые не довольствуются ничем». С кафедры собора Святого Павла Левер заклеймил их за то, что они «богохульствуют и разрушают благосостояние народа». Но Тэнтемаунты не обращали внимания. Земля принадлежала им, деньги поступали регулярно.

Поля засевались пшеницей; она созревала, ее убирали снова и снова. Быки рождались, откармливались и отправлялись на бойню. Землепашцы и пастухи работали от зари до зари, год за годом, до самой смерти. Тогда на их место вставали их дети. Тэнтемаунт наследовал Тэнтемаунту. Елизавета сделала их баронами; при Карле II они стали виконтами, в царствование Вильгельма и Мэри — графами, при Георге II — маркизами. Все они женились на богатых наследницах: десять квадратных миль земли в Ноттингемшире, пятьдесят тысяч фунтов, две улицы в Блумсбери, пивоваренный завод, банк, плантация и шестьсот рабов на Ямайке. А тем временем безымянные люди изобретали машины, которые делали вещи быстрее, чем их можно было сделать руками. Деревни превращались в городишки, городишки

— в большие города. На пахотных землях и пастбищах Тэнтемаунтов вырастали дома и фабрики. Под травянистым покровом их лугов полуголые люди врубались в черный блестящий каменный уголь. Женщины и дети подвозили тяжело нагруженные вагонетки. Из Перу везли на кораблях помет десятков тысяч поколений морских чаек, чтобы удобрить им поля. Урожай увеличивался: можно было накормить больше людей. И год за годом Тэнтемаунты богатели и богатели, а души набожных современников Черного Принца, которым больше не помогали жертвы, принесенные некогда на алтарь церкви, продолжали страдать в неутолимом огне чистилища. Деньги, которые, будучи применены должным образом, могли укоротить срок их пребывания в вечном огне, послужили, между прочим, и для того, чтобы вызвать к жизни на Пэлл-Мэлл копию папской Канчеллерии.

Внутренность Тэнтемаунт-Хауса была столь же благородно римской, как его фасад. Два яруса открытых арок окружали внутренний двор; над ними находились антресоли с маленькими квадратными окошками. Но внутренний двор не был открытым сверху: его покрывала стеклянная крыша, которая превращала его в огромный зал

высотой во всю постройку. Благодаря аркам и галерее он выглядел очень величественно; но он был слишком велик, слишком похож на бассейн для плавания или на скетинг-ринг — жить в нем было неуютно.

Сегодня, однако, он оправдывал свое существование. Леди Эдвард Тэнтемаунт устраивала музыкальный вечер. Внизу сидели гости, а над ними, в архитектурно оформленной пустоте, сложно пульсировала музыка.

— Что за пантомима! — обратился к хозяйке дома старый Джон Бидлэйк. — Хильда, дорогая, вы только посмотрите!

— Ш-ш! — запротестовала леди Эдвард, закрывая лицо веером из перьев. — Не мешайте слушать музыку. Кроме того, я и так вижу.

В ее шепоте слышался колониальный акцент, и букву «р» она произносила на французский лад: леди Эдвард родилась в Монреале, и ее мать была француженкой. В 1897 году съезд Британской ассоциации проходил в Канаде. Лорд Эдвард Тэнтемаунт прочел в биологической секции доклад, вызвавший всеобщее восхищение. Профессора называли его «восходящим светилом». Но для всех остальных быть Тэнтемаунтом и миллионером означало «светило, уже достигшее своего

зенита». Этого мнения придерживалась и Хильда Саттон. Лорд Эдвард остановился в Монреале у отца Хильды. Она использовала предоставившуюся ей возможность. Британская ассоциация отбыла на родину, но лорд Эдвард остался в Канаде.

— Поверьте мне, — призналась однажды Хильда одной из своих подруг, — ни до этого, ни после я никогда до такой степени не интересовалась осмосом.

Интерес к осмосу привлек внимание лорда Эдварда к Хильде. Он заметил то, чего раньше не замечал, а именно: Хильда очень хороша собой. Хильда вела игру по всем правилам. Задача была не из трудных: к сорока годам лорд Эдвард оставался ребенком во всем, что не касалось интеллекта. В лаборатории и за письменным столом он был стар, как сама наука. Но чувства, восприятия и инстинкты оставались у него младенческими. Значительная часть его духовного «я» не развилась за отсутствием практики. Он был ребенком, но его ребяческие привычки стали к сорока годам неискоренимыми. Хильда помогала ему преодолевать неловкость и застенчивость двенадцатилетнего мальчика, а когда страх мешал ему ухаживать за ней должным образом, она сама шла ему навстречу. Его страсть

была мальчишеской — одновременно бурной и робкой, отчаянной и немой. Хильда говорила за обоих и вела себя смело, но осторожно. Осторожно — потому что взгляды лорда Эдварда на то, как должны вести себя молодые девушки, сформировались преимущественно под влиянием «Записок Пиквикского клуба». Неприкрытая смелость могла испугать, могла оттолкнуть его. Хильда соблюдала весь диккенсовский этикет, но вместе с тем ухитрилась провести все ухаживание, создать все возможности и направить разговоры в надлежащее русло. Она была вознаграждена: весной 1898 года она стала леди Эдвард Тэнтемаунт.

— Да право же, — с сердцем сказала она однажды Джону Бидлэйку, когда тот издевался над бедным Эдвардом, — я в самом деле очень люблю его!

— По-своему, может быть, — насмешливо сказал Бидлэйк. — По-своему. К счастью, не все любят так. Посмотри-ка в зеркало.

Она посмотрела и увидела отражение своего обнаженного тела, растянувшегося среди подушек на диване.

— Животное! — сказала она. — Но это вовсе не мешает мне любить его.

— Да, конечно, по-своему ты очень любишь его. — Он засмеялся. — И все-таки, какое счастье, что не все…

Она закрыла ему рот рукой. Это было четверть века тому назад. Хильда была замужем пять лет; ей было тридцать. Люси была четырехлетним ребенком. Джону Бидлэйку исполнилось сорок семь, и он был в расцвете сил и в зените своей славы как художник, он умел смеяться, умел работать, умел есть, пить и лишать невинности.

— Живопись — одна из форм чувственности, — отвечал он тем, кто осуждал его образ жизни. — Написать обнаженное тело может только тот, кто подробно изучил его руками, губами и всем телом. Я серьезно отношусь к искусству. Поэтому я не жалею сил на подготовительные занятия. — И кожа вокруг его монокля покрывалась морщинами смеха, а глаза лукавого сатира подмигивали.

Хильде Джон Бидлэйк принес откровение ее собственного тела, ее физических возможностей. Лорд Эдвард был ребенком, ископаемым младенцем в облике солидного пожилого мужчины. Интеллектуально, в лаборатории, он понимал явления пола. Но в жизни, по эмоциям, он оставался ребенком, ископаемым младенцем викториан-

ской эпохи, в неприкосновенности сохранившим детскую робость и все запреты, внушенные двумя нежно любимыми и добродетельными незамужними тетками, у которых он воспитывался после смерти своей матери, все удивительные принципы и предрассудки, приобретенные тогда, когда он впервые восторгался шутками м-ра Пиквика и Микобера. Он любил свою молодую жену любовью ископаемого младенца шестидесятых годов — робко и словно извиняясь: извиняясь за свою страсть, извиняясь за свое тело, извиняясь за ее тело. Конечно, его извинения были не столь многословны, потому что от застенчивости ископаемое дитя становилось немым: они состояли в том, что он молчаливо отрицал участие их тел в проявлениях страсти, за которой к тому же отрицалось право на существование. Его любовь была сплошным бессловесным извинением, а потому не имела оправданий. Оправдание любви — в духовной и телесной близости, в теплоте, в наслаждении, которые она порождает. Если она нуждается в оправданиях извне, значит, она не имеет оправданий. Джон Бидлэйк не оправдывался за свою любовь: она полностью оправдывала самое себя. Чувственный здоровяк, он любил прямо и честно, с хорошим животным аппетитом

сына природы.

— Не воображайте, пожалуйста, что я стану говорить о звездах и девственных лилиях и космосе, — говорил он, — это не по моей части. Я не верю в них. Я верю в… — И тут он переходил на язык, по каким-то таинственным причинам считающийся непечатным.

Это была любовь без претензий, но теплая, естественная, а следовательно — хорошая; это была честная, добродушная, блаженная чувственность. Для Хильды, знавшей раньше только стыдливую, извиняющуюся любовь ископаемого младенца, она была откровением. Она пробудила в ней умершие было чувства. Она с восторгом нашла самое себя. Но восторг ее не переходил границ. Она никогда не теряла голову. Потеряв голову, она вместе с тем потеряла бы ТэнтемаунтХаус, миллионы Тэнтемаунта и титул Тэнтемаунта. Она вовсе не собиралась терять все это. Поэтому голова ее оставалась трезвой и рассудительной среди самых бурных восторгов, как скала среди бурного моря. Наслаждаясь, она никогда не наносила этим ущерба своему положению в обществе. Благодаря трезвой голове и желанию сохранить себе положение в обществе она никогда не теряла способности смотреть со стороны на свои

самые бурные восторги. Джон Бидлэйк одобрял ее умение совместить несовместимое.

— Благодарение Богу, Хильда, — часто говорил он, — ты — разумная женщина.

На собственном горьком опыте он испытал, как утомительны женщины, считающие, что ради любви можно пожертвовать всем на свете. Ему нравились женщины, любовь была необходимым удовольствием. Но ни одна женщина не стоила того, чтобы ради нее запутывать и портить себе жизнь. К безрассудным женщинам, принимающим любовь чересчур всерьез, Джон Бидлэйк относился беспощадно. Против их лозунга «Всё за любовь» он выставлял свой: «Дайте мне жить спокойно». Он всегда оставался победителем. В борьбе за спокойную жизнь он не знал жалости и не знал страха.

Хильда Тэнтемаунт стремилась к спокойной жизни не меньше, чем Джон. Их связь продолжалась несколько лет, а потом кончилась незаметно для них самих. Они остались добрыми друзьями или заговорщиками, как их называли, злонамеренными заговорщиками, вступающими в союз, чтобы вместе позабавиться за чужой счет.

Сейчас они смеялись. Вернее, смеялся Джон, не терпевший музыки. Леди Эдвард пыталась

сохранить декорум.

— Замолчите же наконец, — прошептала она.

— Да вы только посмотрите, до чего это комично, — настаивал Бидлэйк.

— Ш-ш…

— Но я говорю шепотом. — Ему надоело это бесконечное шиканье.

— Да, как лев.

— Ничего не поделаешь, — раздраженно ответил он. Когда он говорил шепотом, он считал, что никто, кроме собеседника, не должен его слышать. Он сердился, когда ему говорили, что то, что он считал верным, на самом деле неверно. — Лев! Подумать только! — возмущенно пробормотал он. Но его лицо сейчас же прояснилось. — Смотрите, — сказал он, — вот еще одна опоздавшая. На сколько спорим, что она сделает то же, что все остальные?

— Ш-ш… — повторила леди Эдвард.

Но Джон Бидлэйк не обращал на нее внимания. Он смотрел в сторону двери, где стояла последняя из опоздавших. Желание незаметно скрыться в молчаливой толпе боролось в ней с долгом гостьи сообщить хозяйке дома о своем приходе. Она растерянно смотрела по сторонам. Леди Эдвард приветствовала ее через головы гостей взмахом

веера и улыбкой. Опоздавшая ответила ей улыбкой, послала воздушный поцелуй, приложила палец к губам, показала на свободное место в другом конце зала и распростерла руки, выражая этим жестом, что она извиняется за опоздание и сожалеет, что при сложившихся обстоятельствах ей нельзя подойти и поговорить с леди Эдвард; затем, втянув голову в плечи, сжавшись в комок и словно стараясь занимать как можно меньше пространства, она очень осторожно, на цыпочках, направилась к свободному месту.

Бидлэйк веселился от всей души. Он передразнивал все жесты бедной дамы. Он с подчеркнутым жаром ответил ей на воздушный поцелуй, а когда она приложила палец к губам, он закрыл рот всей пятерней. Жест, выражавший сожаление, стал в его гротескно-преувеличенной передаче жестом смехотворного отчаяния. А когда она на цыпочках пошла между рядами, он принялся хлопать себя по лбу и считать по пальцам, как делают в Неаполе, чтобы отвести дурной глаз. Он с торжеством обернулся к леди Эдвард.

— Я вам говорил, — прошептал он, и его лицо покрылось морщинами от сдерживаемого смеха. — Можно подумать, что находишься в санатории для глухонемых или разговариваешь с пигме-

ями в Центральной Африке. — Он открыл рот и показал пальцем, он сделал вид, что пьет из стакана. — Мой хочет есть, — сказал он. — Мой очень хочет пить.

Леди Эдвард ударила его веером.

Тем временем музыканты играли b-moll'ную сюиту Баха для флейты и струнного оркестра. Молодой Толли вел оркестр со свойственной ему неподражаемой грацией, изгибаясь как лебедь и чертя руками по воздуху пышные арабески, словно он танцевал под музыку. Двенадцать безымянных скрипачей и виолончелистов пиликали по его приказу. А великий Понджилеони взасос целовал свою флейту. Он дул через отверстие, и цилиндрический воздушный столб вибрировал; раздумья Баха наполняли четырехугольный римский зал. В начальном largo Иоганн Себастьян при помощи воздушного столба и амбушюра Понджилеони твердо и ясно сказал: в мире есть величие и благородство; есть люди, рожденные королями; есть завоеватели, прирожденные властители земли. Размышления об этой земле, столь сложной и многолюдной, продолжались в allegro. Вам кажется, что вы нашли истину; скрипки возвещают ее, чистую, ясную, четкую; вы торжествуете: вот она, в ваших руках. Но она

ускользает от вас, и вот уже новый облик ее в звуках виолончелей и еще новый — в звуках воздушного столба Понджилеони. Каждая часть живет своей особой жизнью; они соприкасаются, их пути перекрещиваются, они сливаются на мгновение в гармонии; она кажется конечной и совершенной, но потом распадается снова. Каждая часть одинока, отдельна, одна. «Я есмь я, — говорит скрипка, — мир движется вокруг меня». «Вокруг меня», — поет виолончель. «Вокруг меня», — твердит флейта. И все одинаково правы и одинаково не правы, и никто из них не слушает остальных.

Человеческая фраза состоит из двухсот миллионов частей. Ее шум говорит что-то статистику и ничего не говорит художнику. Только выбирая каждый раз одну-две части, художник может что-то понять. Вот здесь, например, одна часть: Иоганн Себастьян рассказывает о ней. Начинается рондо, чудесное и мелодично-простое, почти как народная песня. Девушка поет сама себе о любви, одиноко, немножечко грустно. Девушка поет среди холмов, а по небу плывут облака. Одинокий, как облако, слушает ее песню поэт. Мысли, которые вызвала в нем песня, — это сарабанда, следующая за рондо. Медленно и нежно размыш-

ляет он о красоте (несмотря на грязь и глупость), о добре (несмотря на все зло), о единстве (несмотря на все запутанное разнообразие) мира. Это — красота, это — добро, это — единство. Их не постичь интеллектом, они не поддаются анализу, но в их реальности нерушимо убеждается дух. Девушка поет сама себе под бегущими по небу облаками — и вот уже в нас родилась уверенность. Утреннее небо безоблачно, и рождается уверенность. Это иллюзия или откровение глубочайшей истины? Кто знает? Понджилеони дул, скрипачи проводили натертым канифолью конским волосом по натянутым бараньим кишкам; и в продолжение всей сарабанды поэт неторопливо размышлял о своей нежной и спокойной уверенности.

— Эта музыка начинает надоедать мне, — шепотом сказал Джон Бидлэйк хозяйке дома. — Скоро она кончится?

Старый Бидлэйк не любил и не понимал музыку и откровенно признавался в этом. Он мог позволить себе быть откровенным. Какой смысл такому замечательному художнику, каким был Джон Бидлэйк, притворяться, будто он любит музыку? Он посмотрел на сидящих гостей и улыбнулся.

— У них такой вид, точно они сидят в церкви,

— сказал он.

Леди Эдвард погрозила ему веером.

— Кто эта маленькая женщина в черном, — продолжал он, — которая закатывает глаза и качается всем телом, точно святая Тереза в экстазе?

— Фанни Логан, — прошептала леди Эдвард. — Но замолчите же наконец!

— Принято говорить, что порок преклоняется перед добродетелью, — неугомонно продолжал Джон Бидлэйк. — Но теперь все позволено — моральное лицемерие нам больше не нужно. Осталось лицемерие интеллектуальное. Преклонение филистеров перед искусством — так, что ли? Посмотрите-ка, как они преклоняются — постные рожи и благоговейное молчание!

— Вы должны быть благодарны за то, что их преклонение перед*вами* выражается в гинеях, — сказала леди Эдвард. — А теперь извольте молчать.

Бидлэйк с комическим ужасом прикрыл ладонью рот. Толли сладострастно взмахивал руками; Понджилеони дул; скрипачи пиликали. А Бах, поэт, размышлял об истине и красоте.

Слезы подступали к глазам Фанни Логан. Ее легко было растрогать, особенно музыкой; а когда она испытывала какое-нибудь чувство, она

не старалась подавить его, но всем существом отдавалась ему. Как прекрасна музыка, как печальна и в то же время как успокоительна! Она чувствовала, как музыка претворяется в чудесное ощущение, незаметно, но настойчиво наполняющее все извилины ее существа. Все ее тело вздрагивало и покачивалось в такт мелодии. Она думала о своем покойном муже; поток музыки приносил ей воспоминания о нем, о милом, милом Эрике; с тех пор прошло почти два года; он умер таким молодым! Слезы потекли быстрее. Она отерла их. Музыка была бесконечно печальна, но в то же время она утешала. Она принимала все: преждевременную смерть бедняжки Эрика, его болезнь, его нежелание умирать; она принимала все. Она выражала всю печаль мира, но из глубин этой печали она утверждала — спокойно, примиренно — что все правильно, все идет так, как нужно. За пределами печали простиралось более широкое, более полное блаженство. Слезы струились из глаз миссис Логан; но, несмотря на печаль, это были блаженные слезы. Ей хотелось поделиться своими чувствами с дочерью. Но Полли сидела в другом ряду. Миссис Логан видела за два ряда от себя ее затылок и ее тонкую шею с ниткой жемчуга, которую милый Эрик подарил

ей, когда ей исполнилось восемнадцать лет, за несколько месяцев до своей смерти. И вдруг, словно почувствовав на себе взгляд матери, словно догадавшись о ее переживаниях, Полли обернулась и с улыбкой взглянула на нее. Грустное и музыкальное блаженство миссис Логан стало теперь полным.

Но не только глаза матери смотрели в сторону Полли. Удобно расположившись немного сбоку и позади нее, Хьюго Брокл восторженно изучал ее профиль. Как она очаровательна! Он размышлял, хватит ли у него смелости сказать ей, что в детстве они играли вместе в Кенсингтонском парке. Он подойдет к ней после музыки и скажет: «А знаете, мы были представлены друг другу в детских колясочках». Или, чтобы проявить еще более неожиданное остроумие: «Вы — та самая особа, которая стукнула меня по голове ракеткой».

Взгляд Джона Бидлэйка, беспокойно блуждавший по комнате, неожиданно натолкнулся на Мэри Беттертон. Да, это чудовище — Мэри Беттертон! Он опустил руку, он потрогал дерево кресла. Когда Джон Бидлэйк видел что-нибудь неприятное, он всегда чувствовал себя спокойнее, потрогав дерево. Конечно, он не верил в Бога; он любил рассказывать анекдоты о священниках.

Но дерево, дерево — в этом что-то есть… И подумать только, что он был влюблен в нее, безумно влюблен, двадцать, двадцать два — он боялся вспомнить, сколько лет тому назад. Какая старая, какая отвратительная толстуха! Он снова потрогал ножку кресла. Он отвернулся и попробовал думать о чем-нибудь другом, только не о Мэри Беттертон. Но воспоминания о том времени, когда Мэри была молода, преследовали его. Тогда он еще ездил верхом. Перед ним возник образ его самого на черном коне и Мэри — на гнедом. В те дни они часто выезжали вместе. Он писал тогда третью и лучшую картину из серии «Купальщицы». Какая картина, черт возьми! Даже в то время Мэри, с точки зрения некоторых, была слишком полна. Он этого не находил: полнота всегда нравилась ему. Эти современные женщины, старающиеся быть похожими на водосточные трубы… Он снова взглянул на нее и вздрогнул. Он ненавидел ее за то, что она так отвратительна, за то, что она была когда-то так прелестна. А ведь он на добрых двадцать лет старше ее!

III

Двумя этажами выше, между piano nobile[4] и мансардами прислуги, лорд Эдвард Тэнтемаунт работал у себя в лаборатории.

Младшие сыновья Тэнтемаунтов обычно шли в армию. Но так как наследник был калекой, отец предназначил лорда Эдварда к политической карьере, которую старшие сыновья по традиции начинали в палате общин и величественно заканчивали в палате лордов. Едва лорд Эдвард достиг совершеннолетия, как на руки ему свалились избиратели, о которых он обязан был заботиться. Он заботился о них не за страх, а за совесть. Но до чего он не любил произносить речи! А когда встречаешься с потенциальным избирателем, что следует ему сказать? И он никак не мог запомнить основных пунктов программы консервативной партии, а тем более — проникнуться к ним энтузиазмом. Решительно, политическая деятельность не была его призванием.

«Ну а чем бы ты*хотел* заняться?» — спрашивал его отец.

Но вся беда была в том, что лорд Эдвард сам этого не знал. Единственное, что доставляло ему истинное удовольствие, было посещение кон-

---

[4] Примечания: 4
Бельэтаж*(ит.).*

цертов. Но ведь нельзя же всю жизнь только и делать, что ходить в концерты! Четвертый маркиз не мог скрыть своего гнева и разочарования. «Мальчишка — кретин», — говорил он, и сам лорд Эдвард готов был согласиться с ним. Он был никчемным неудачником; в мире не было для него места. Бывали минуты, когда он думал о самоубийстве. «Если бы он хоть начал прожигать жизнь!» — жаловался его отец. Но к прожиганию жизни юноша был еще меньше склонен, чем к занятиям политикой. «Даже спортом не интересуется», — гласил следующий пункт обвинительного приговора. Это была правда.

Избиение птиц, даже в обществе принца Уэльского, решительно не привлекало лорда Эдварда: он не ощущал ничего, кроме разве некоторого отвращения. Он предпочитал сидеть дома и читать, рассеянно, неразборчиво, всего понемногу. Но даже чтение не удовлетворяло его. Главное достоинство этого занятия состоит в том, что оно занимает ум и помогает убивать время. Но какой в этом толк? Убивать время с помощью книги немногим лучше, чем убивать фазанов и время с помощью ружья. Он мог бы предаваться чтению до конца своих дней, но этим он все равно ничего бы не достиг.

Вечером 18 апреля 1887 года он сидел в библиотеке Тэнтемаунт-Хауса и размышлял о том, стоит ли вообще жить и как лучше умереть — утопиться или застрелиться? В этот день «Таймс» опубликовала подложное письмо Парнелла, якобы санкционировавшее убийство в Феникс-парке. Четвертый маркиз с самого завтрака пребывал в волнении, едва не доведшем его до апоплексии. В клубах только и говорили, что об этом письме. «Вероятно, это очень важно», — говорил сам себе лорд Эдвард. Но он не мог заинтересоваться ни парнелловским движением, ни убийствами. Послушав, что говорят об этом в клубе, он в отчаянии отправился домой. Дверь библиотеки была открыта. Он вошел и бросился в кресло, чувствуя себя совершенно разбитым, как после тридцатимильной прогулки. «Я, наверно, идиот», — уверял он сам себя, размышляя о политическом энтузиазме других и о собственном безразличии. Он был слишком скромен, чтобы считать идиотами всех остальных. «Я безнадежен, безнадежен».

Он громко застонал, и его стон зловеще прозвучал в ученой тишине большой библиотеки. Смерть, конец всему; река, револьвер… Время шло. Лорд Эдвард понял, что даже о смерти он не может думать связно и последовательно: даже

смерть скучна. На столе около него лежал последний номер «Куотерли». Может быть, это окажется менее скучным, чем смерть? Он взял его, открыл наудачу и принялся читать абзац из середины статьи о каком-то Клоде Бернаре. До тех пор он никогда не слыхал о Клоде Бернаре. Наверное, какой-нибудь француз. «Интересно, — думал он, — что это такое — гликогенная функция печени? Видимо, что-то ученое». Он пробежал глазами страницу. В одном месте стояли кавычки: это была цитата из сочинений Клода Бернара.

> «Живое существо не является исключением из великой гармонии природы, которая заставляет вещи применяться одна к другой; оно не противоречит великим космическим силам и не вступает с ними в борьбу. Напротив: оно – лишь один из голосов в хоре всех вещей, и жизнь какого-нибудь животного есть лишь частица общей жизни Вселенной».

Сначала он рассеянно пробежал эти слова, затем перечел их более внимательно, затем перечел еще несколько раз со все возрастающим интересом. «Жизнь животного есть лишь частица общей жизни Вселенной». А как же са-

моубийство? Частица Вселенной, разрушающая сама себя? Нет, не разрушающая: она не могла бы разрушить себя, даже если бы попыталась это сделать. Она просто изменит форму своего бытия. Изменит… Кусочки животных и растений становятся человеческими существами. То, что было некогда задней ногой барана и листьями шпината, станет частью руки, которая написала, частью мозга, который задумал медленные ритмы симфонии «Юпитер». А потом настал день, когда тридцать шесть лет удовольствий, страданий, голода, любви, мыслей, музыки вместе с бесчисленными неосуществленными возможностями мелодии и гармонии удобрили неведомый уголок венского кладбища, чтобы превратиться в траву и одуванчики, которые в свою очередь превратились в баранов, чьи задние ноги в свою очередь превратились в других музыкантов, чьи тела в свою очередь… Все это очень просто, но для лорда Эдварда это было откровением. Неожиданно, в первый раз в жизни он понял, что он составляет единое целое с миром. Эта идея потрясла его; он встал с кресла и принялся взволнованно ходить взад и вперед по комнате. В сознании у него царил хаос, но мысли его были яркими и стремительными, а не тусклыми, ту-

манными и ленивыми, как всегда.

«Может быть, когда я был в Вене в прошлом году, я поглотил часть субстанции Моцарта. Может быть, со шницелем по-венски, или с сосиской, или даже со стаканом пива. Приобщение, физическое приобщение. Или тогда, на замечательном исполнении “Волшебной флейты”, — тоже приобщение, другого рода, а может быть, на самом деле такое же. Пресуществление, каннибализм, химия. В конце концов все сводится к химии. Бараньи ноги и шпинат… все это химия. Водород, кислород… Ну а еще что? Господи, как ужасно, как ужасно ничего не знать! Все те годы в Итоне. Какой от них толк? Латинские стихи. Чего ради? En! distenta ferunt perpingues ubera vaccae[5]. Почему меня не учили чему-нибудь дельному? “…Голос в хоре всех вещей”… Все это точно музыка. Гармония, и контрапункт, и модуляция. Но нужно уметь слушать. Китайская музыка… мы ничего в ней не понимаем. Хор всех вещей; благодаря Итону он для меня китайская музыка. Гликогенная функция печени… для меня это все равно что на языке банту: так же непонятно. Как унизительно! Но я могу научиться, я *научусь,* научусь…»

---

[5] Примечания: 5

«Станет обильный удой давать тучное вымя коровы»*(лат.)* — строка из Горация.

Лорд Эдвард пришел в необыкновенное возбуждение, никогда в жизни он не чувствовал себя таким счастливым.

Вечером он сказал отцу, что не намеревается выставлять свою кандидатуру в парламент. Старый джентльмен, еще не оправившийся после утренних разоблачений относительно Парнелла, пришел в бешенство. Лорд Эдвард оставался невозмутимым; он твердо решил. На следующий день он послал в газету объявление о том, что ищет учителя. Весной следующего года он работал в Берлине у Дюбуа-Реймона.

С тех пор прошло сорок лет. Исследования в области осмоса, косвенным образом доставившие ему жену, доставили ему также репутацию крупного ученого. Его работа об ассимиляции и росте считалась классической. Но большой теоретический трактат по физической биологии, создание которого он считал главной задачей своей жизни, был еще не закончен. «Жизнь какого-нибудь животного есть лишь частица общей жизни Вселенной». Слова Клода Бернара, некогда вдохновившие его, были основной темой всех его работ. Книга, над которой он трудился все эти годы, будет лишь статистической и математической иллюстрацией к этим словам.

Наверху, в лаборатории, рабочий день только начинался: лорд Эдвард предпочитал работать ночью. Днем слишком шумно. Позавтракав в половине второго, он прогуливался час-другой; вернувшись, он читал или писал до восьми часов. После ленча, с девяти или с половины десятого, он вместе со своим ассистентом проводил опыты, по окончании которых они усаживались за работу над книгой или обсуждали ее основные положения. В час ночи лорд Эдвард ужинал, а между четырьмя и пятью ложился спать.

Обрывки b-moll'ной сюиты еле слышно доносились из зала. Двое мужчин, работавших в лаборатории, были слишком заняты, чтобы обращать внимание на музыку.

— Пинцет, — сказал лорд Эдвард своему ассистенту. У него был низкий голос, нечеткий и как бы лишенный определенных очертаний. «Меховой голос», — как говорила его дочь Люси, когда была маленькой.

Иллидж протянул ему тонкий блестящий инструмент. Лорд Эдвард издал низкий звук, означавший благодарность, и поднес пинцет к анестезированному тритону, распластанному на миниатюрном операционном столе. Критический взгляд Иллиджа выразил одобрение. Старик

работал изумительно четко. Ловкость сэра Эдварда всегда поражала Иллиджа. Никто не поверил бы, что такое громоздкое и неуклюжее существо, как Старик, может быть таким аккуратным. Его большие руки умели проделывать тончайшие операции — приятно было смотреть на них.

— Готово! — сказал сэр Эдвард и выпрямился настолько, насколько позволяла ему согнутая ревматизмом спина. — Я думаю, так правильно. Как по-вашему?

Иллидж кивнул.

— Совершенно правильно, — сказал он. Иллидж говорил с ланкаширским акцентом, отнюдь несвойственным воспитанникам старинных аристократических школ. Он был рыжим человеком, невысокого роста, с мальчишеским веснушчатым лицом.

Тритон начал пробуждаться. Иллидж перенес его в банку. У животного не было хвоста: хвост был отрезан восемь дней тому назад, а сегодня вечером небольшой отросток регенерировавшей ткани, из которого нормально должен был развиться хвост, был пересажен на место ампутированной правой передней лапы. Как будет вести себя отросток на новом месте? Превратится ли он в переднюю лапу или из него вырастет

неуместный хвост? Первый опыт был поставлен с только что образовавшимся зачатком хвоста: из него выросла лапа. В следующий раз отросток пересадили лишь тогда, когда он достиг значительных размеров. Войдя слишком в роль хвоста, он не сумел примениться к новым условиям: в результате получилось чудовище с хвостом вместо ноги. Сегодня они экспериментировали с отростком промежуточного возраста.

Лорд Эдвард достал из кармана трубку и принялся набивать ее, задумчиво поглядывая на тритона.

— Интересно, что получится на этот раз, — сказал он низким, неясным голосом. — Мне кажется, мы находимся на границе между… — Он не закончил фразу: он всегда с трудом находил слова для выражения своих мыслей. — Зачатку предстоит трудный выбор.

— Быть или не быть, — насмешливо сказал Иллидж и захохотал; но, заметив, что лорд Эдвард не проявляет никаких признаков веселости, он перестал смеяться. Опять дал маху! Он рассердился на самого себя и совершенно непоследовательно — на Старика.

Лорд Эдвард набил трубку.

— Хвост становится ногой, — задумчиво сказал

он. — В чем механизм этого явления? Химические особенности окружающих?.. Кровь здесь, очевидно, ни при чем. Или, по-вашему, это имеет какое-нибудь отношение к ионизации? Конечно, она различна в разных частях тела. Хотя почему мы все не разрастаемся, как раковые опухоли. Образование форм в процессе роста — очень странная вещь, когда об этом подумаешь. Очень таинственно и… — Его слова перешли в низкое глухое бормотание.

Иллидж слушал неодобрительно. Когда Старик принимается рассуждать об основных вопросах биологии, никогда не знаешь, чем он кончит. С таким же успехом он мог бы говорить о Боге. От таких разговоров краснеешь. На этот раз он решил не допускать ничего подобного. Он начал самым бодрым, обыденным голосом:

— Теперь нам нужно заняться нервной системой и посмотреть, не влияет ли она на прививку. Предположите, например, что мы вырежем часть спинного хребта…

Но лорд Эдвард не слушал. Он вынул трубку изо рта, поднял голову и склонил ее немного набок. Он хмурился, словно стараясь уловить и вспомнить что-то. Он поднял руку, жестом приказывая замолчать. Иллидж остановился на полуслове и

тоже прислушался. Узор мелодии чуть заметно вырисовался на фоне тишины.

— Бах? — прошептал сэр Эдвард.

Понджилеони дул в флейту, безымянные скрипачи водили смычками, и от этого вибрировал воздух в большом зале, вибрировали стекла выходивших в него окон; передаваясь дальше, эти вибрации вызвали сотрясение воздуха в комнате сэра Эдварда, на другом конце дома. Сотрясаясь, воздух ударял о membrana tympani[6] сэра Эдварда; взаимосвязанные malleus[7], incus[8] и стремя пришли в движение и в свою очередь привели в движение перепонку овального отверстия и подняли микроскопическую бурю в жидкости лабиринта. Ворсинки, которыми оканчивается слуховой нерв, заколебались, как водоросли в бурном море; целый ряд непонятных чудес произошел в мозгу, и лорд Эдвард восторженно прошептал: «Бах». Он блаженно улыбнулся, его глаза загорелись. Молодая девушка пела в одиночестве под плывущими облаками. А потом начал

---

[6] Примечания: 6
Барабанная перепонка*(лат.).*

[7] Примечания: 7
Молоточек*(лат.).*

[8] Примечания: 8
Наковальня*(лат.).*

размышлять облачно-одинокий философ.

— Пойдем вниз, послушаем, — сказал лорд Эдвард. Он встал. — Идемте, — сказал он. — Работа подождет. Такие вещи слышишь не каждый день.

— А как насчет костюма? — с сомнением сказал Иллидж. — Не могу же я сойти вниз в таком виде. — Он посмотрел на свой костюм.

Даже когда он был новым, это был дешевый костюм. От возраста он не стал лучше.

— Ну, какие пустяки. — Собака, почуявшая дичь, вряд ли проявила бы больше рвения, чем лорд Эдвард при звуке флейты Понджилеони. Он взял своего ассистента под руку и потащил его из лаборатории. Потом по коридору и вниз по лестнице. — Это всего только маленький раут, — продолжал он. — Я, кажется, вспоминаю, что жена мне говорила… Совсем по-домашнему. И кроме того, — добавил он, придумывая новые оправдания для своей жадности к музыке, — мы можем проскользнуть незаметно… Никто не обратит внимания.

Иллидж все еще колебался.

— Боюсь, что это не такой уж маленький раут, — начал он, вспомнив автомобили, подъезжающие к дому.

— Ничего, ничего, — прервал лорд Эдвард, неудержимо стремясь насладиться Бахом.

Иллидж покорился судьбе. Он подумал, как глупо он будет выглядеть в своем лоснящемся костюме из синей саржи. Впрочем, решил он потом, пожалуй, даже лучше появиться в синей сарже прямо из лаборатории, да еще под покровительством хозяина дома (сам лорд Эдвард был в куртке из грубой шерсти); во время своих прежних экспедиций в блистательный мир леди Эдвард он обнаружил, что его старый смокинг плохо сшит и производит самое жалкое впечатление. Лучше быть совсем не похожим на богатую и шикарную публику, казаться пришельцем с иной, интеллектуальной планеты, а не жалким третьеразрядным подражателем. На человека в синей рабочей одежде можно смотреть как на курьез, тогда как человека в плохо сшитом вечернем костюме (как и лакея) будут игнорировать, презирать его за то, что он безуспешно пытается быть похожим на кого-то еще, а не на самого себя.

Иллидж решил твердо, даже демонстративно, играть роль марсианина.

Их появление произвело еще больший эффект, чем ожидал Иллидж. Две ветви парадной лест-

ницы Тэнтемаунт-Хауса, слившись посередине, как две одинаково широкие реки, низвергаются водопадом веронского мрамора в зал. Лестница вливается в зал из-под арки, в центре одной из стен закрытого четырехугольника, против вестибюля и парадного входа. Входящий с улицы видит зал и в глубине его, за аркой в противоположной стене, — широкие ступени и блестящие перила, ведущие к площадке, где Венера работы Кановы, гордость коллекции третьего маркиза, стоит на возвышении в нише, прикрывая или, вернее, подчеркивая скромным и кокетливым жестом обеих рук свои мраморные прелести. У подножия этого триумфального мраморного спуска леди Эдвард поместила оркестр; гости сидели рядами лицом к лестнице. Когда Иллидж и лорд Эдвард вышли из-за угла перед Венерой Кановы, приближаясь к музыке и к толпе слушателей на цыпочках, как заговорщики, они оказались в центре внимания сотни пар глаз. Ропот любопытства пробежал по рядам. Этот крупный, сутулый человек в костюме из грубой шерсти и с трубкой в зубах, появившийся из какого-то чуждого мира, производил комическое и зловещее впечатление. Он был похож на одно из тех старинных привидений, какие посещают только дома самых лучших

аристократических семейств. Ни зверь Гламиса, ни даже сам Минотавр не возбудили бы такого любопытства, как лорд Эдвард. Гости подносили к глазам лорнеты, вытягивали шеи, чтобы рассмотреть его через головы сидевших впереди. Неожиданно почувствовав на себе столько пытливых взглядов, лорд Эдвард испугался. Ему стало неловко, словно он совершил в обществе какую-то грубую бестактность; он вынул трубку изо рта и, не потушив, сунул ее в карман куртки. Он остановился в нерешительности: спасаться бегством или наступать? Он стоял, раскачиваясь всем своим неуклюжим туловищем взад и вперед. Это было похоже на медленное и тяжеловесное покачивание верблюжьей шеи. Была минута, когда он решил отступить. Но любовь к Баху пересилила его страхи. Он был как медведь, которого запах меда, несмотря на весь его страх, заманивает в лагерь охотника; как любовник, готовый встретить лицом к лицу вооруженного и оскорбленного супруга и бракоразводный процесс, лишь бы провести несколько минут в объятиях возлюбленной. Он пошел вперед на цыпочках, еще более похожий на заговорщика, чем раньше; Гай Фокс, которого уже обнаружили, но который все же надеется, что ему удастся остать-

ся незамеченным, если он будет действовать так, словно «Пороховой заговор» развертывается по намеченному плану. Иллидж следовал за ним. От смущения он стал красным как рак; но, несмотря на смущение или, скорее, именно от смущения, он спускался следом за лордом Эдвардом развязной походкой, засунув руку в карман и улыбаясь во весь рот. Он равнодушно оглядывал толпу зрителей. Его лицо выражало презрительное любопытство. Слишком поглощенный своей ролью марсианина, чтобы смотреть себе под ноги, Иллидж вдруг оступился на этой царственной лестнице с непривычно широкими и отлогими ступенями. Его нога скользнула, он отчаянно замахал руками, стараясь сохранить равновесие, и остановился двумя-тремя ступенями ниже, каким-то чудом удержавшись все-таки на ногах. Свое нисхождение он закончил со всем достоинством, на какое он был в эту минуту способен. Он был очень зол, он ненавидел всех гостей леди Эдвард, всех до одного.

IV

В финальной бадинри Понджилеони превзошел самого себя. Евклидовские аксиомы праздновали кермессу вместе с формулами эле-

ментарной статики. Арифметика предавалась дикой сатурналии; алгебра выделывала прыжки. Концерт закончился оргией математического веселья. Раздались аплодисменты. Толли раскланивался со свойственной ему грацией; раскланивался Понджилеони, раскланивались даже безымянные скрипачи. Публика отставляла стулья и подымалась с мест. Сдерживаемая до сих пор болтовня хлынула бурным потоком.

— Какой чудной вид был у Старика, правда? — встретила подругу Полли Логан.

— А рыжий человечек с ним!

— Как Матт и Джеф.

— Я думала, я умру со смеху, — сказала Нора.

— Он старый чародей! — Полли говорила взволнованным шепотом, наклоняясь вперед и широко раскрывая глаза, как будто желая не только словами, но и мимикой выразить таинственность старого чародея. — Колдун!

— Интересно, что он делает у себя наверху?

— Вскрывает жаб и саламандр и прочих гадов, — ответила Полли.

Палец жабий, панцирь рачий,
Мех крылана, зуб собачий. —

Она декламировала со смаком, опьяненная

словами. — И он спаривает морских свинок со змеями. Вы только представьте себе помесь кобры и морской свинки!

— Ух! — вздрогнула подруга. — Но если он интересуется только такими вещами, зачем он на ней женился? Вот этого я никогда не могла понять.

— А зачем *она* вышла за него? — Голос Полли снова перешел в сценический шепот. Ей нравилось говорить обо всем, как о чем-то волнующем, потому что волнующим ей казалось все на свете: ей было всего двадцать лет. — Для этого у нее были очень веские причины.

— Надо полагать.

— К тому же она родом из Канады, что делало эти причины еще более неотложными.

— Так вы думаете, что Люси…

— Ш-ш…

Подруга обернулась.

— Как восхитителен Понджилеони! — воскликнула она очень громко и с несколько чрезмерной находчивостью.

— Просто чудесен! — продекламировала в ответ Полли, словно с подмостков театра «Друри-Лейн».

— Ах, вот и леди Эдвард! — Обе подруги были страшно поражены и обрадованы. — А мы

только что говорили, как замечательно играет Понджилеони.

— Ах, в самом деле? — сказала леди Эдвард, с улыбкой смотря то на одну то на другую девушку. У нее был низкий, глубокий голос, и она говорила медленно, словно все слова, которые она произносила, были особенно значительными. — Как это мило с вашей стороны. — Она говорила с подчеркнуто колониальным акцентом. — К тому же он родом из Италии, — добавила она с невозмутимым и серьезным лицом, — что делает его игру еще более очаровательной. — И она прошла дальше, а девушки, краснея, растерянно уставились друг на друга.

Леди Эдвард была миниатюрная женщина с тонкой, изящной фигурой; когда она надевала платье с низким вырезом, становилось заметным, что ее худоба начинает переходить в костлявость. То же самое можно было сказать о ее красивом тонком лице с орлиным носом. Своей матери-француженке, а в последние годы, вероятно, также искусству парикмахера она была обязана смоляной чернотой своих волос. Кожа у нее была молочно-белая. Глаза смотрели из-под черных изогнутых бровей тем смелым и пристальным взглядом, который присущ всем

людям с очень темными глазами на бледном лице. К этой прирожденной смелости взгляда у леди Эдвард прибавилось свойственное ей одной выражение дерзкой прямоты и живой наивности. Это были глаза ребенка, «mais d'un enfant terrible»[9], как предостерегающе заметил Джон Бидлэйк своему коллеге из Франции, которого он привел познакомить с ней. Коллега из Франции имел случай убедиться в этом на собственном опыте. За обедом его посадили рядом с критиком, который написал про его картины, что их автор либо дурак, либо издевается над публикой. Широко раскрыв глаза и самым невинным тоном леди Эдвард завела разговор об искусстве… Джон Бидлэйк рвал и метал. После обеда он отвел ее в сторону и дал волю своему гневу.

— Это черт знает что, — сказал он, — он мой друг. Я привел его, чтоб познакомить с вами. А вы что над ним проделываете? Это уж чересчур.

Яркие черные глаза леди Эдвард никогда не смотрели более наивно, ее акцент никогда не был более обезоруживающе французско-канадским (надо сказать, что она умела изменять свое произношение по желанию, делая его более или

---

[9] Примечания: 9
Но ребенка несносного*(фр.).*

менее колониальным, в зависимости от того, кем она хотела казаться — простодушной дочерью североамериканских степей или английской аристократкой).

— Что — чересчур? — спросила она. — Чем я провинилась на этот раз?

— Со мной эти штучки не пройдут, — сказал Бидлэйк.

— Какие штучки? Никак не пойму, чем вы недовольны. Никак не пойму.

Бидлэйк объяснил ей, в чем дело.

— Вы отлично это знали, — сказал он. — Теперь я припоминаю, что не дальше как на прошлой неделе мы с вами говорили о его статье.

Леди Эдвард нахмурила брови, точно пытаясь что-то вспомнить.

— А ведь в самом деле! — воскликнула она, посмотрев на него с комическим выражением ужаса и раскаяния. — Какой ужас! Но вы знаете, какая у меня скверная память.

— Ни у кого на свете нет такой хорошей памяти, как у вас, — сказал Бидлэйк.

— Но я вечно все забываю, — говорила она.

— Только то, что вам следовало бы помнить. С вами это случается каждый раз, это не может быть случайным. Вы всегда помните, что именно

вы хотите забыть.

— Какая чепуха! — воскликнула леди Эдвард.

— Если бы у вас была плохая память, — не унимался Бидлэйк, — вы могли бы изредка забывать, что мужей нельзя приглашать в один день с официальными любовниками их жен; что анархисты не очень любят встречаться с авторами передовиц в «Морнинг пост» и что верующим католикам не доставляет никакого удовольствия выслушивать кощунственные речи закоренелых атеистов. Будь у вас плохая память, вы могли бы иной раз забыть об этом, но чтоб забывать каждый раз, для этого, знаете ли, нужна исключительная память. Исключительная память и исключительная любовь к стравливанию людей.

В продолжение всего разговора леди Эдвард сохраняла выражение наивной серьезности. Но теперь она рассмеялась.

— Какие нелепости вы говорите, милый Джон!

Разговор снова привел Бидлэйка в хорошее настроение. Он засмеялся в ответ.

— Поймите, — сказал он, — я не против того, чтобы вы шутили ваши шутки над другими. Это доставляет мне массу удовольствия. Но только, пожалуйста, не надо мной.

— В следующий раз постараюсь не забывать,

— кротко ответила она и посмотрела на него с такой детской наивностью, что ему оставалось только рассмеяться.

С тех пор прошло много лет. Она сдержала свое слово и больше не выкидывала своих штучек по отношению к нему. Но с другими людьми она вела себя по-прежнему забывчиво и невинно. Ее подвиги вошли в поговорку. Над ними смеялись. Но слишком многие оказывались их жертвами; ее боялись, ее не любили. Но все стремились попасть на ее вечера: у нее был первоклассный повар, первоклассные вина и первоклассные фрукты. Многое прощалось ей за богатство ее супруга. Кроме того, общество в Тэнтемаунт-Хаусе всегда отличалось разнообразием и зачастую эксцентрической элегантностью. Люди принимали ее приглашения, а в отместку злословили о ней за ее спиной. Ее называли, между прочим, снобом и охотницей за светскими львами. Но даже враги ее должны были признать, что, будучи снобом, она высмеивала тот самый пышный церемониал, ради которого она жила, что она собирала львов только для того, чтобы стравливать их. Там, где буржуазная англичанка вела бы себя серьезно и подобострастно, леди Эдвард была насмешлива и непочтительна. Она прибыла из Нового Света;

традиционная иерархия была для нее игрой, но игрой живописной, ради которой стоило жить.

— Она могла бы быть героиней того анекдота, — как-то сказал о ней Бидлэйк, — знаете, об американце и двух английских пэрах. Помните? Он разговорился в вагоне с двумя англичанами, они ему очень понравились, и, чтобы иметь возможность впоследствии возобновить с ними знакомство, он попросил разрешения узнать, кто они такие. «Я, — сказал один из них, — герцог Гемпширский, а это мой друг, владетель Баллантрэ». «Очень рад с вами познакомиться, — говорит американец. — Разрешите представить вам моего сына Иисуса Христа». Это — вылитая Хильда. И все-таки она всю жизнь занимается только тем, что приглашает и принимает приглашения людей, чьи титулы кажутся ей такими смешными. Странно. — Он покачал головой. — Очень странно.

Когда леди Эдвард удалялась от двух смущенных девушек, на нее налетел очень высокий плотный мужчина, с недозволенной скоростью продвигавшийся сквозь толпу гостей.

— Простите, — сказал он, не найдя нужным даже посмотреть, кого это он чуть не сбил с ног. Его взгляд следил за движениями кого-то, находив-

шегося в другом конце зала; он понимал только, что перед ним какое-то маленькое препятствие, вероятно человек, так как вокруг было очень много людей. Он остановился на полном ходу и сделал шаг в сторону, намереваясь обойти препятствие. Но препятствие оказалось не из таких, которые дают себя легко обойти. Леди Эдвард поймала его за рукав:

— Уэбли!

Делая вид, что он не почувствовал, как его схватили за рукав, и не слышал, как его назвали по имени, Эверард Уэбли продолжал свой путь: у него не было ни времени, ни желания разговаривать с леди Эдвард. Но избавиться от леди Эдвард было не так-то просто: она дала протащить себя несколько шагов, все еще цепляясь за него.

— Уэбли! — повторила она. — Стой! Тпру! — Она так громко и так искусно передразнила окрик деревенского ломовика, что Уэбли принужден был остановиться из страха привлечь к себе насмешливое внимание остальных гостей. Он посмотрел на нее сверху вниз.

— Ах, это вы! — сердито сказал он. — Простите, я вас не заметил. — Раздражение, выражавшееся на его нахмуренном лице и в его невежливых словах, было наполовину искренним, наполовину

напускным. Заметив, что многих пугает его гнев, он стал культивировать свою прирожденную свирепость. Это держало людей на расстоянии, а его избавляло от назойливости.

— Господи! — воскликнула леди Эдвард в явно карикатурном ужасе.

— Что вам от меня нужно? — спросил он таким тоном, словно обращался к надоедливому попрошайке на улице.

— Какой вы сердитый!

— Если это все, что вы хотели мне сказать…

Тем временем леди Эдвард критически рассматривала его своими наивно-дерзкими глазами.

— Знаете, — сказала она, прерывая его на половине фразы, словно ей необходимо было, не медля ни минуты, сообщить ему о своем великом и неожиданном открытии, — вам следовало бы играть роль капитана Хука в «Питере Пэне». Ну да, конечно. У вас идеальная внешность для предводителя пиратов. Не правда ли, мистер Бэббедж? — Она остановила Иллиджа, который в безутешном одиночестве пробирался сквозь толпу незнакомых людей.

— Добрый вечер, — сказал он. Сердечная улыбка леди Эдвард не являлась достаточной компенсацией за то, что его имя было переврано.

— Уэбли, это мистер Бэббедж; он помогает моему мужу в его работе. — Кивком головы Уэбли признал существование Иллиджа. — Не правда ли, мистер Бэббедж, он очень похож на предводителя пиратов? — продолжала леди Эдвард. — Посмотрите-ка на него.

— Не могу сказать, чтобы мне приходилось видеть много предводителей пиратов, — смущенно усмехнулся Иллидж.

— Ну конечно, — воскликнула леди Эдвард, — я совсем забыла! Он ведь*и есть* предводитель пиратов. В действительной жизни. Разве не так, Уэбли?

— О, разумеется, разумеется, — рассмеялся Эверард Уэбли.

— Видите ли, — конфиденциально сообщила леди Эдвард Иллиджу, — это мистер Эверард Уэбли. Вождь «свободных британцев». Знаете, которые ходят в зеленых мундирах. Как хористы в оперетке.

Иллидж злорадно улыбнулся и кивнул. Так вот он каков, Эверард Уэбли, основатель и вождь Союза свободных британцев! Враги называли эту организацию по начальным буквам С-ы С-ы Б-и. Как заметил однажды прекрасно осведомленный корреспондент «Фигаро» в статье, посвящен-

ной «свободным британцам», «les initials B. B. F. ont, pour le public anglais, une signification plutôt pájorative»[10]. Уэбли не учел этого, когда он придумывал имя для своей организации. Иллидж не без удовольствия подумал, что теперь ему часто придется вспоминать об этом.

— Если вы кончили ваши шуточки, — сказал Эверард, — я попрошу у вас разрешения уйти.

«Игрушечный Муссолини, — думал Иллидж, — впрочем, подходит к своей роли. — Он испытывал личную ненависть ко всем высоким и красивым или вообще представительным людям. Сам он был небольшого роста и похож на очень смышленого уличного мальчишку. — Большая дубина!»

— Надеюсь, я не сказала вам ничего обидного? — спросила леди Эдвард, изображая на своем лице великое раскаяние.

Иллидж вспомнил карикатуру в «Дейли геральд». Уэбли имел наглость сказать, что «миссия “свободных британцев” состоит в том, чтоб защитить культуру». Рисунок изображал Уэбли с полдюжиной одетых в мундиры бандитов, которые насмерть избивали рабочего. Капиталист в цилиндре одобрительно смотрел на это зрелище.

---

[10] Примечания: 10

Инициалы С. С. Б., с точки зрения английской публики, имеют, скорее, уничижительный смысл*(фр.).*

На его чудовищных размеров животе красовалась надпись:*культура.*

— Я не обидела вас, Уэбли? — повторила леди Эдвард.

— Ничуть. Только я очень занят. Видите ли, — объяснил он своим самым медовым голосом, — у меня есть дела. Я работаю, если вы понимаете смысл этого слова.

Иллидж предпочел бы, чтобы этот удар был нанесен кем-нибудь другим. Грязный негодяй! Сам-то он был коммунистом.

Уэбли покинул их. Леди Эдвард смотрела, как он пробивается сквозь толпу.

— Как паровоз, — сказала она. — Какая энергия и какая обидчивость! Политические деятели хуже актрис: они так тщеславны. А нашему дорогому Уэбли не хватает чувства юмора. Он хочет, чтобы с ним обращались как с его собственным памятником, воздвигнутым восторженной и благодарной нацией. Посмертно, понимаете? Как с великим историческим героем. А я, когда с ним встречаюсь, вечно забываю, что передо мной Александр Македонский. Мне все кажется, что это просто Уэбли.

Иллидж захохотал. Леди Эдвард положительно начинала ему нравиться: она так здраво смотре-

ла на вещи.

— Нельзя отрицать, конечно, что его Братство — весьма неплохая вещь, — продолжала леди Эдвард. — Не правда ли, мистер Бэббедж?

Он сделал недовольную гримасу.

— Ну… — начал он.

— Кстати, — сказала леди Эдвард, обрывая в самом начале его изумительно остроумное замечание по адресу «свободных британцев», — советую вам быть осторожнее, когда вы спускаетесь по этой лестнице: она*ужасно* скользкая.

Иллидж покраснел.

— Ничуть, — пробормотал он и покраснел еще больше. Он стал красным, как свекла, до корней своих рыжих, как морковь, волос. Его симпатия к леди Эдвард таяла с каждой минутой.

— Нет, не говорите: она все-таки скользкая, — любезно настаивала леди Эдвард. — Кстати, над чем вы работали сегодня с Эдвардом? Меня это*так* интересует.

Иллидж улыбнулся.

— Что ж, если это действительно интересует вас, — сказал он, — мы работаем над регенерацией утраченных органов у тритонов. — Среди тритонов он чувствовал себя как дома; симпатия к леди Эдвард понемногу возвращалась.

— Тритоны? Это такие штучки, которые плавают? — (Иллидж кивнул.) — Но как же они теряют свои органы?

— Ну, в лаборатории, — объяснил он, — они теряют органы потому, что мы их вырезаем.

— И они снова вырастают?

— Они снова вырастают.

— Господи боже мой! — сказала леди Эдвард. — Вот уж никогда не подумала бы! Как все это увлекательно! Расскажите мне еще что-нибудь.

В конце концов, она не так уж плоха. Он начал объяснять. Он как раз дошел до самого важного и существенного, до критического пункта их опытов — до превращения пересаженного хвостового отростка в ногу, когда леди Эдвард, взгляд которой блуждал по залу, положила ему руку на плечо.

— Идемте, — сказала она, — я познакомлю вас с генералом Нойлем. Он очень забавный старичок — не всегда по своей воле, впрочем.

Объяснения застыли в горле Иллиджа. Он понял, что все, о чем он рассказывал леди Эдвард, нисколько ее не интересовало и что она даже не потрудилась отнестись сколько-нибудь внимательно к его словам. Остро ненавидя ее, он следовал за ней в злобном молчании.

Генерал Нойль разговаривал с каким-то джентльменом в мундире. Голос у него был воинственный и астматический. Приближаясь, они слышали, как он говорил:

— «Дорогой мой, — сказал я ему, — не вздумайте выпускать его теперь на ипподром: это будет преступление, — сказал я. — Это будет сплошное безумие. Снимите его, — сказал я, — снимите его со списка!» И он снял своего коня со списка.

Леди Эдвард дала знать о своем присутствии. Оба военных были подавляюще вежливы: они были в таком*восторге* от сегодняшнего вечера.

— Я выбрала Баха специально для вас, генерал Нойль, — сказала леди Эдвард с очаровательным смущением, словно юная девушка, открывающая свою сердечную тайну.

— Гм… да… это очень мило с вашей стороны. — Смущение генерала Нойля было неподдельным: он решительно не знал, что ему делать с ее музыкальным подарком.

— Я колебалась, — продолжала леди Эдвард тем же многозначительно интимным тоном, — между генделевской «Музыкой на воде» и b-moll'ной с Понджилеони. Потом я вспомнила о*вас* и остановилась на Бахе. — Ее взгляд отмечал признаки смущения на багровом лице генерала.

— Это очень мило с вашей стороны, — повторил генерал. — Не скажу, чтобы я был большим знатоком по части музыки, но я тверд в своих вкусах. — Эти слова, казалось, придали ему уверенности. Он откашлялся и снова начал: — Я всегда говорю, что…

— А теперь, — торжествующе закончила леди Эдвард, — разрешите познакомить вас с мистером Бэббеджем, он помогает Эдварду в работе, и он прямо специалист по тритонам. Мистер Бэббедж — генерал Нойль — полковник Пилчард. — Улыбнувшись им на прощание, она удалилась.

— Черт меня побери совсем! — воскликнул генерал. — Полковник сказал, что она истинное божеское наказание.

— Без сомнения, — с чувством поддержал Иллидж.

Оба военных джентльмена взглянули на него и решили, что со стороны этого представителя низшего класса подобное замечание является дерзостью. Добрые католики могут сами слегка подшучивать над святыми и над нравами духовенства, но они возмущаются, слыша те же шутки из уст неверных. Генерал воздержался от словесных замечаний, а полковник удовлетворился тем, что взглядом выразил неодобрение.

И они с таким нарочито пренебрежительным видом отвернулись от него, возобновив прерванный разговор о скаковых лошадях, что Иллиджу захотелось их поколотить.

— Люси, дитя мое!

— Дядя Джон!

Люси Тэнтемаунт с улыбкой обернулась к своему названому дяде. Она была среднего роста, тонкая, как ее мать; ее коротко подстриженные темные волосы, зачесанные назад и покрытые бриолином, казались совершенно черными. От природы бледная, она не румянилась. Только ее тонкие губы были накрашены, а вокруг глаз положены голубые тени. Черное платье подчеркивало белизну ее рук и плеч. Со смерти ее мужа (и троюродного брата) Генри Тэнтемаунта прошло больше двух лет. Но она все еще носила траур, по крайней мере при искусственном освещении: черное было ей очень к лицу.

— Как поживаете? — добавила она, подумав про себя, что он сильно постарел.

— Умираю, — сказал Джон Бидлэйк. Он фамильярно взял ее под руку своей большой рукой со вздувшимися венами. — Пойдемте поужинаем вместе. Я голоден как волк.

— Но я не голодна.

— Ничего не значит, — сказал Бидлэйк. — Моя нужда сильнее твоей, как справедливо заметил сэр Филип Сидни.

— Но я не хочу есть. — Она не любила подчиняться; она предпочитала вести других за собой, а не следовать за ними. Но отделаться от дяди Джона было не так-то легко.

— Ничего, — объявил он, — я буду есть за двоих. — И с веселым смехом он потащил ее в столовую.

Люси перестала сопротивляться. Они пробирались сквозь толпу. Зеленовато-желтая крапчатая орхидея в бутоньерке Джона Бидлэйка напоминала голову змеи с раскрытой пастью. Монокль поблескивал в его глазу.

— Кто этот старик с Люси? — осведомилась Полли Логан, когда они проходили.

— Старый Бидлэйк.

— Бидлэйк? Тот самый, который… который написал те картины? — Полли говорила неуверенно, тоном человека, сознающего, что в его образовании есть пробелы, и боящегося сделать грубую ошибку. — Вы хотите сказать,*тот самый* Бидлэйк? — Ее подруга кивнула. Полли почувствовала огромное облегчение. — Вот уж никогда не подумала бы! — продолжала она, подымая

брови и широко раскрывая глаза. — Я всегда считала, что Бидлэйк — один из Старых Мастеров. Но ведь ему, должно быть, по крайней мере сто лет!

— Да, что-нибудь в этом роде. — Норе еще не исполнилось двадцати.

— Надо сказать, — любезно признала Полли, — что он прекрасно сохранился. Он еще совсем красавчик, или щеголь, или денди, как это называлось во времена его молодости.

— У него было чуть ли не пятнадцать жен, — сказала Нора.

В эту минуту Хьюго Брокл набрался храбрости и представился девушкам.

— Вы, наверно, меня не помните? Мы были знакомы, когда нас возили в детских колясочках. — Как глупо это звучало! Он густо покраснел.

Третья и лучшая картина из серии «Купальщицы» Джона Бидлэйка висела над камином в столовой Тэнтемаунт-Хауса. Это была веселая и радостная картина, светлая по тонам, чистая и яркая по колориту. Восемь полных купальщиц с жемчужной кожей расположились в воде и на берегах речки, образуя телами нечто вроде гирлянды, замыкавшейся сверху листвой дерева. Внутри этого кольца перламутровой плоти (потому что их лица были только смеющейся

плотью: никакой намек на духовность не мешал созерцать гармонию красивых форм) виднелся бледно-яркий пейзаж — нежно-круглые холмы и облака.

Держа тарелку в руках и жуя сандвичи с икрой, старик Бидлэйк рассматривал свое собственное произведение. Восхищение, смешанное с грустью, овладело им.

— Хорошо, — сказал он. — Удивительно хорошо. Обратите внимание на композицию. Полная гармония частей без всякого намека на повторение или на искусственность сочетаний. — О других мыслях и чувствах, которые картина вызвала в его сознании, он промолчал: их было слишком много, и они были слишком путаны; трудно было выразить их словами. А самое главное — слишком печальны; ему не хотелось задерживаться на них. Он протянул руку и потрогал буфет: настоящее красное дерево. — Посмотрите на фигуру справа, с поднятыми руками. — Он нарочно говорил о технической стороне, чтобы подавить, отогнать нежеланные мысли. — Видите, как она уравновешивает ту большую, нагнувшуюся фигуру слева. Как длинный рычаг, подымающий большую тяжесть.

Но фигурой с поднятыми руками была Джен-

ни Смит, красивейшая из всех его натурщиц. Воплощение красоты, воплощение глупости и вульгарности. Богиня — пока она была обнажена и молчала или когда ее принуждали к молчанию поцелуями; но, боже, когда она открывала рот, когда она надевала свои платья, свои ужасающие шляпы! Он вспомнил, как он взял ее с собой в Париж. Через неделю ее пришлось отослать назад. «Тебе следует ходить в намордник, Дженни, — сказал он, и Дженни разревелась. — Тебе не следовало ехать в Париж, — продолжал он. — В Париже слишком много солнца, слишком много огней. В следующий раз мы отправимся на Шпицберген. Зимой. Ночь продолжается там шесть месяцев».

От этих слов она заревела еще громче.

В этой девушке таились неисчерпаемые богатства красоты и чувственности. Потом она стала пить и совсем опустилась. Она попрошайничала и пропивала милостыню. В конце концов то, что осталось от нее, умерло. Но настоящая Дженни сохранилась здесь, на полотне, — ее поднятые руки, ее ясно очерченные грудные мышцы, приподнимавшие ее маленькие груди. То, что осталось от Джона Бидлэйка, от того Джона Бидлэйка, что жил двадцать пять лет назад, тоже было в кар-

тине. Другой Джон Бидлэйк, призрак прежнего, созерцал свою картину. Скоро и этот Бидлэйк перестанет существовать. Да и настоящий ли это Бидлэйк? Разве опухшая от пьянства женщина, которая умерла, была настоящей Дженни? Настоящая Дженни живет среди жемчужных купальщиц. А настоящий Бидлэйк, их творец, продолжает жить в своих творениях.

— Хорошо, — повторил он с горечью, заканчивая разбор. И лицо его, смотревшее на картину, было грустным. — Но в конце концов, — добавил он после небольшого молчания, разражаясь деланным смехом, — в конце концов все, что я пишу, хорошо, чертовски хорошо. — Он бросал вызов тупоумным критикам, усматривавшим в его последних вещах упадок творческих сил, он бросал вызов собственному прошлому, времени и старости, вызов настоящему Бидлэйку, который писал настоящую Дженни и поцелуями принуждал ее к молчанию.

— Конечно, хорошо, — сказала Люси, а про себя подумала: почему последние вещи старика так плохи? Последняя выставка являла жалкое зрелище. Сам он выглядит сравнительно молодым. Хотя, конечно, решила она, посмотрев на него, он очень постарел за последние месяцы.

— Конечно, — повторил он. — Ничего иного не скажешь.

— Должна признаться, однако, — добавила Люси, чтобы переменить тему, — что мне ваша картина всегда казалась оскорбительной.

— Оскорбительной?

— Да, для женщин. Неужели мы, по-вашему, действительно такие безнадежные дуры, какими вы нас изображаете?

— Да, неужели мы, по-вашему, действительно такие? — вступил в разговор чей-то голос. Голос был громкий и выразительный, слова вылетали порывисто, резко, как будто выталкиваемые давлением эмоций сквозь узкое отверстие.

Люси и Джон Бидлэйк обернулись и увидели миссис Беттертон, массивную, в темно-сером платье; ее руки, подумал Бидлэйк, похожи на ляжки, а завитые каштановые волосы в сочетании с мясистыми щеками и тройным подбородком казались до смешного короткими. Ее вздернутый нос, бывший таким очаровательным в те дни, когда они вместе катались верхом — он на вороном коне, а она на гнедом, — теперь выглядел нелепо и до крайности неуместно на этом пожилом лице. Настоящий Бидлэйк ездил с ней верхом незадолго до того, как он написал купальщиц.

Она говорила об искусстве с наивной серьезностью школьницы; эта серьезность казалась ему забавной и очаровательной. Он вспомнил, как излечил ее от страсти к БёрнДжонсу; к сожалению, излечить ее от пагубной склонности к добродетели ему так и не удалось. Теперь она обращалась к нему с прежней серьезностью, и тон ее был сентиментально-многозначительным, как у того, кто вспоминает старое время и не прочь обменяться мыслями и воспоминаниями. Бидлэйку пришлось делать вид, что встреча с ней после стольких лет доставляет ему удовольствие. Удивительное дело, подумал он, пожимая ей руку, как это он ухитрился все эти годы не встречаться с ней: он говорил с ней не больше трех-четырех раз за все эти четверть века, превратившие Мэри Беттертон в memento mori[11].

— Дорогая миссис Беттертон! — воскликнул он. — Как я рад! — Но ему плохо удалось скрыть свое отвращение. А когда она назвала его по имени: «А теперь, Джон, отвечайте нам на вопрос» — и положила руку на плечо Люси, словно та тоже присоединилась к ее просьбе, старый Бидлэйк просто возмутился. Фамильярность со сторо-

---

[11] Примечания: 11
Помни о смерти*(лат.).*

ны memento mori невыносима. Он ее проучит. Тема прекрасно подходила для этого: она вызывала на нелюбезный ответ. Мэри Беттертон была особа с претензиями на интеллектуальность и постоянно твердила о душе. Вспомнив это, старик Бидлэйк объявил, что он никогда не встречал женщины, обладавшей чем-нибудь достойным внимания, если не считать ног и фигуры. «А некоторые женщины, — добавил он многозначительно, — не обладают даже этими необходимыми качествами». Конечно, у многих женщин интересные лица; но это ничего не значит. У ищеек, напомнил он, вид такой, точно они ученые юристы; быки, пережевывающие жвачку, производят такое впечатление, точно они размышляют над философскими проблемами; богомол выглядит так, точно он молится. Но наружность во всех этих случаях обманчива. То же и с женщинами. Он решил написать купальщиц не только без одежд, но и без масок; наделить их лицами, являющимися продолжением их прекрасных тел, а не лживыми символами несуществующей духовности. Это казалось ему более реалистичным, более соответствующим истине. По мере того как он говорил, к нему возвращалось хорошее настроение; неприязнь к Мэри

Беттертон проходила. Когда человек чувствует себя бодро, memento mori перестает напоминать ему о смерти.

— Вы неисправимы, Джон, — снисходительно сказала миссис Беттертон. Она с улыбкой обратилась к Люси: — Но он сам не верит ни одному своему слову.

— Я думаю, что он, наоборот, говорит вполне серьезно, — возразила Люси. — Я заметила, что те мужчины, которые больше всего любят женщин, относятся к ним с наибольшим презрением.

Бидлэйк расхохотался.

— Потому что они знают женщин лучше, чем кто бы то ни было.

— А может быть, потому, что они больше, чем кто бы то ни было, чувствуют нашу силу.

— Уверяю вас, — настаивала миссис Беттертон, — он шутит. Я знала его раньше, чем вы родились, дорогая.

Веселость исчезла с лица Джона. Memento mori снова оскалилось из-за расплывающегося лица Мэри Беттертон.

— Может быть, тогда он был другим, — сказала Люси. — Вероятно, он заразился цинизмом от молодого поколения. Наше общество опасно, дядя Джон. Будьте осторожны.

Это был один из любимых коньков миссис Беттертон. Та немедленно поскакала на нем во весь опор.

— Все дело в воспитании, — заявила она. — Детей воспитывают теперь ужасно нелепо. Ничего удивительного, что они вырастают циниками. — Она говорила красноречиво. — Детям слишком рано позволяют слишком многое. Они пресыщаются развлечениями, привыкают ко всем удовольствиям с пеленок. Я до восемнадцати лет ни разу не была в театре, — гордо заявила она.

— Бедняжка!

— Я хожу в театр с шести лет, — сказала Люси.

— А танцы! — ораторствовала миссис Беттертон. — Бал в день открытия охоты — какое это было событие! Потому что он бывал только раз в год. — Она процитировала Шекспира:

Нам праздники, столь редкие в году,
Несут с собой тем большее веселье.
И редко расположены в ряду
Других камней алмазы ожерелья.

А теперь они нанизаны, как жемчужины на нитке.

— К тому же поддельные, — сказала Люси.

Миссис Беттертон торжествовала:

— Вот видите! А для нас они были настоящими, потому что они были редки. Для нас не «притуплялось острие редких удовольствий», потому что они не были повседневными. Теперешняя молодежь испытывает скуку и усталость от жизни, еще не достигнув зрелости. Когда удовольствие повторяется слишком часто, перестаешь его воспринимать как удовольствие.

— Какое же лекарство вы предлагаете? — осведомился Джон Бидлэйк. — Если мне как члену конгрегации разрешено будет задать вопрос, — иронически добавил он.

— Шалунишка! — воскликнула миссис Беттертон с устрашающей игривостью. Затем, переходя на серьезный тон: — Лекарство одно: поменьше развлечений.

— Но я не хочу, чтобы их было меньше, — возразил Джон Бидлэйк.

— В таком случае, — сказала Люси, — они должны становиться все острее.

— Все острее? — повторила миссис Беттертон. — Но до чего мы тогда дойдем?

— До боя быков? — высказал предположение Джон Бидлэйк. — Или до сражений гладиаторов? Или, может быть, до публичных казней? Или до забав маркиза де Сада? Кто знает?

Люси пожала плечами:

— Кто знает?

* * *

Хьюго Брокл и Полли уже ссорились.

— По-моему, это безобразие, — говорила Полли, и ее лицо покраснело от гнева, — вести войну против бедных.

— Но «свободные британцы» не ведут войны против бедных.

— Нет, ведут.

— Нет, не ведут, — сказал Хьюго. — Почитайте речи Уэбли.

— Я читаю только о его действиях.

— Но они не расходятся с его словами.

— Расходятся.

— Нет, не расходятся. Он борется только против диктатуры одного класса.

— Класса бедных.

— Любого класса, — серьезно настаивал Хьюго. — В этом — вся задача. Классы должны быть одинаково сильными. Сильный рабочий класс, требующий повышения заработной платы, побуждает буржуазию к активности.

— Как блохи собаку, — заметила Полли и засмеялась; к ней вернулось хорошее настроение.

Когда ей приходило в голову что-нибудь очень смешное, она никак не могла удержаться и не высказать этого, даже когда она была настроена серьезно или, как в данном случае, когда она злилась.

— Ей так или иначе придется быть изобретательной и прогрессивной, — продолжал Хьюго, изо всех сил стараясь выразить свою мысль как можно яснее. — Иначе она не сумеет платить рабочим, сколько они требуют, и в то же время извлекать прибыль. А с другой стороны, сильная и разумная буржуазия только полезна для рабочих, потому что она обеспечивает правильное руководство и правильную организацию. В результате рабочие имеют более высокий заработок и живут в мире и довольстве.

— Аминь, — сказала Полли.

— Следовательно, диктатура одного класса — нелепость, — продолжал Хьюго. — Уэбли хочет не уничтожить классы, а укрепить их. Он хочет, чтобы они жили в состоянии постоянного напряжения: каждый тянет в свою сторону, и в государстве устанавливается равновесие. Ученые говорят, что так работают органы нашего тела. Они живут в состоянии, — он замялся, он покраснел, — враждебного сожительства.

— Крепко сказано!

— Простите, — извинился Хьюго.

— Все равно, — сказала Полли, — он против стачек.

— Потому что стачки — это глупость.

— Он против демократии.

— Потому что при ней к власти приходят негодные элементы. Он хочет, чтобы правили лучшие.

— Он сам, например, — саркастически сказала Полли.

— Ну так что ж? Если бы вы только знали, какой он замечательный человек! — Хьюго становился восторженным: последние три месяца он был одним из адъютантов Уэбли. — Таких людей я еще никогда не встречал.

Полли с улыбкой слушала его излияния. Она чувствовала себя гораздо более взрослой, чем он. В школе она так же относилась к преподавательнице домашнего хозяйства и говорила о ней в таком же тоне. И все-таки его преданность вождю нравилась ей.

V

Воображению Уолтера Бидлэйка званые вечера представлялись джунглями с бесчисленными деревьями и свисающими лианами. Джунгля-

ми звуков. Ему казалось, что он заблудился в джунглях, что он пробивает себе дорогу сквозь переплетающуюся растительность. Люди были корнями деревьев, их голоса — стеблями и качающимися ветками и фестонами лиан — да, а также попугаями и болтливыми мартышками.

Деревья достигали потолка и с потолка снова спускались к полу, подобно манглиям. Но в этом зале, подумал Уолтер, так странно сочетавшем в себе римский внутренний двор и тропическую оранжерею ботанического сада, ростки звуков, подымаясь без помех на высоту трех этажей, должны были бы стать настолько крепкими, что тонкая стеклянная крыша, отделявшая их от внешнего мира, разлетелась бы под их напором. Он представлял себе, как они все растут и растут, подобно волшебному бобовому стеблю Джека Победителя Великанов. Они подымаются все выше, обремененные орхидеями и разноцветными какаду, все выше сквозь вечный туман Лондона в прозрачно-лунный свет. Он видел, как последние воздушные побеги звуков развеваются в лунном свете. Например, эти взрывы хохота, этот громкий смех толстяка слева от него, подымаясь вверх и все утончаясь, там, под луной, он превратился в нежный звон. А все эти голоса (что

они говорят?.. «замечательная речь…»; «…вы себе представить не можете, до чего удобны эти резиновые бандажи…»; «такая скучища…»; «сбежала с шофером…»), все эти голоса — какими прелестными и тонкими станут они там, наверху! Но здесь, внизу, в джунглях… Какие они громкие, глупые, вульгарные, бессмысленные!

Взглянув поверх голов окружавших его гостей, он увидел Франка Иллиджа, стоявшего одиноко, прислонясь к колонне. Поза и улыбка у него были байронические, одновременно разочарованные и презрительные; он смотрел вокруг с ленивым любопытством, словно наблюдая проделки мартышек. К сожалению, подумал Уолтер, пробираясь к нему сквозь толпу, внешние данные бедного Иллиджа отнюдь не соответствуют его байронической позе. Презрительные романтики должны быть высокими, медлительными, изящными и красивыми. Иллидж был низенький и суетливый, движения у него были порывистые. А какое смешное лицо! Вздернутый нос, рот до ушей: лицо очень смышленого и забавного уличного мальчишки, вовсе не подходящее для того, чтоб выражать томное презрение. Кроме того, к байроническому выражению совсем не идут веснушки, а лицо Иллиджа было усеяно ими.

Песочно-карие глаза, песочно-рыжие ресницы и брови сливались благодаря своей окраске с кожей, как лев сливается с окружающей его пустыней. Даже на небольшом расстоянии его лицо казалось лишенным черт и лишенным взгляда, как лицо статуи, высеченной из песчаника. Бедный Иллидж! В роли Байрона он был просто смешон!

— Хэлло, — сказал Уолтер, подойдя к нему. Они обменялись рукопожатием. — Как ваша наука? — «Какой нелепый вопрос!» — подумал Уолтер, произнося эти слова.

Иллидж пожал плечами.

— Судя по сегодняшнему вечеру, она менее в моде, чем искусство. — Он поглядел по сторонам. — Сегодня тут чуть что не половина писателей и художников из соответствующего раздела «Кто есть кто». Тут просто смердит искусством.

— Тем лучше для науки, — сказал Уолтер. — Представители искусства вовсе не стремятся быть в моде.

— Ах, разве? Так зачем *жевы* здесь?

— В самом деле, зачем? — Уолтер ответил на вопрос смехом. Он оглянулся, ища взглядом Люси. Он еще не видел ее с тех пор, как кончился концерт.

— Вы приходите сюда, чтобы стоять на задних лапках и чтобы вас за это гладили по головке, — сказал Иллидж, пытаясь вернуть себе самоуверенность. Воспоминания о том, как он чуть не растянулся на ступеньках, как леди Эдвард проявила полнейшее равнодушие к тритонам, как оскорбительно обошелся с ним генерал, все еще саднили. — Только взгляните на девушку с темными кудряшками в серебристом платьице, похожую на белокожую негритяночку. Как вы ее находите? Ну разве не приятно, чтобы такая погладила тебя по головке, а?

— Вы считаете?

Иллидж расхохотался.

— Право, вы сегодня уж слишком возвышенно и философски настроены. Но, дорогой мой, все это чушь. Сам этим увлекался, так что кому уж лучше знать… Сказать по правде, завидую я вам, торговцам искусством, и вашим успехам. Я прямо-таки бешусь, как увижу какого-нибудь безмозглого, полоумного писателишку…

— Меня, например.

— Нет, вы рангом чуть повыше, — снизошел Иллидж, — но когда я вижу какого-нибудь жалкого писаку раз в десять глупее меня — как он гребет денежки, а над ним кудахчут, в то время как на

меня никто и не взглянет, — я просто лопаюсь от злости.

— Воспринимайте это как комплимент. Если б кудахтали над вами, это означало бы, что в какой-то мере понимают ваши стремления. Вас же не понимают, потому что вы на голову выше остальных. Пренебрежение общества — комплимент вашему уму.

— Может быть, может быть. Но это и пощечина моему телу. — Иллидж болезненно переживал свою внешность. Он знал, что дурен собой и непрезентабелен. И ему нравилось растравлять свою рану, наподобие того как человек с больным зубом то и дело ощупывает источник боли, просто чтобы убедиться, что место болезненно. — Если бы я выглядел как эта дубина Уэбли, не стали бы они меня презирать, будь я даже умнее Ньютона. Дело в том, — на этот раз он решил посильнее нажать на больной зуб, — что я похож на анархиста. Вам-то повезло, сами знаете. Вы вылитый джентльмен или, на худой конец, художник. Вы и представить себе не можете, как досадно быть похожим на интеллектуала из низов. — Зуб чутко реагировал на нажатие. Иллидж надавил еще сильнее: — Женщины не обращают на тебя внимание *–такие* женщины, во всяком случае.

Полицейские же проявляют к тебе повышенное внимание, ты почему-то вызываешь их любопытство. Можете себе представить, меня уже дважды арестовывали просто потому, что я похож на изготовителя адских машин!

— Неплохой сюжетец, — усмехнулся Уолтер.

— Нет, правда, клянусь вам. Однажды здесь, в Англии. Около Честерфилда. Там была стачка шахтеров. Случилось так, что я наблюдал за схваткой между бастующими и штрейкбрехерами. Полицейским не понравилось мое лицо, и меня сцапали. Только спустя несколько часов удалось мне вырваться из их когтей. Другой раз — в Италии. Кажется, кто-то попытался подложить бомбу под Муссолини. Как бы там ни было, свора бандитов-чернорубашечников заставила меня сойти с поезда в Генуе и обыскала с ног до головы. А все потому, что лицо у меня как у ниспровергателя устоев.

— Что ж, оно соответствует вашим убеждениям.

— Верно. Но лицо не может быть свидетельством. Лицо само по себе не является преступлением. Хотя, впрочем, — добавил он как бы в скобках, — некоторые лица таки преступления. Вы знаете генерала Нойля? — (Уолтер кивнул.) —

Так вот его лицо требует высшей меры наказания. Самое меньшее, что заслуживает такой человек, так это смерть через повешение. Господи, так и убил бы их всех! — Разве он не поскользнулся на ступенях, разве не получил щелчок от этого мясника? — Как я ненавижу богатых! Ненавижу! Как они ужасны, ведь правда же?

— Более ужасны, чем бедные? — Воспоминание о комнате, где лежал умирающий Уэзерингтон, заставило его тут же устыдиться этого вопроса.

— Несомненно. Есть в этих богачах что-то особенно низкое, недостойное, больное. Деньги, как гангрена, порождают своего рода бесчувственность. Неизбежно. Иисус понимал это. Утверждение про верблюда и игольное ушко — непреложная истина. А помните другое место — про соседа или ближнего своего? Вы, пожалуй, вообразите, что я верующий, — вставил он как бы в скобках извиняющимся тоном. — Но будем объективны. Этот человек был умен и умел разбираться в людях. Добрососедство — вот краеугольный камень, и оно выдает богатых с головой. У богачей нет соседей.

— Что же они — отшельники, черт возьми?

— У них нет соседей в том смысле, в каком они есть у бедных. Когда моей матери нужно было

выйти, миссис Крэдок из соседнего дома направо приглядывала за нами, детьми. А моя мать делала для нее то же самое, когда миссис Крэдок нужно было выйти. А если кто-нибудь ломал ногу или оставался без работы, люди помогали ему едой и деньгами. Я прекрасно помню, как мальчишкой бежал по деревне за повитухой, так как у молоденькой миссис Фостер, жившей слева от нас, начались преждевременные роды. Когда приходится жить меньше чем на четыре фунта в неделю, волей-неволей станешь хорошим христианином и будешь любить своего соседа! Во-первых, вы не можете от него избавиться: он практически у вас на заднем дворе. Никакое утонченное философическое игнорирование его существования не поможет. Вы должны либо любить, либо ненавидеть его; и в целом вы склоняетесь к любви, потому что вам может понадобиться в случае крайней необходимости его помощь, а ему — ваша, и зачастую такая срочная, что не может быть и речи о том, чтобы в ней отказать. А раз вы*должны* помогать, то, коль в вас есть человечность, вы и будете помогать, и тогда уж лучше заставить себя любить человека, которому все равно вы должны помогать.

— Безусловно, — кивнул Уолтер.

— Но если вы богаты, у вас и соседей-то настоящих нету, — продолжал его собеседник. — Вы сами не привыкли к добрососедским поступкам и не ожидаете их от соседей. Да такие поступки и не нужны. У вас достаточно денег, чтобы оплатить обслугу. Вы можете нанять лакея, который будет проявлять доброту за стол и три фунта в месяц. И миссис Крэдок из соседнего дома не нужно присматривать за вашими детьми, когда вы уходите из дому. У вас есть няньки и гувернантки, которые будут делать это за деньги. Да вы обычно даже и не подозреваете о существовании своих соседей. Вы живете на расстоянии, каждый как бы незримо замкнут в своем доме. За дверьми могут происходить трагедии, но люди из соседнего дома даже и не подозревают об этом.

— И слава богу! — вырвалось у Уолтера.

— Конечно, слава богу! Независимая личная жизнь — это роскошь. Приятно, не спорю. Но за роскошь надо платить. Людей не трогают несчастья, о существовании которых они не подозревают. Незнание порождает блаженное бесчувствие. В бедном квартале несчастья не скроешь. Жизнь слишком у всех на виду. Люди все время упражняют свои добрососедские чувства. Но у богатых нет даже повода проявить

добрососедство к людям своего круга. В лучшем случае они могут посюсюкать над страданиями бедняков, которых они никогда не смогут понять, да проявить благотворительность. Ужасно! И это в лучшем случае. А в худшем, — он указал рукой на толпу гостей, — они, как леди Эдвард, — низший круг ада! Они, как ее дочь… — Он скривил губы и пожал плечами.

Уолтер слушал с болезненно-напряженным вниманием.

— Развратная, разложившаяся, неисправимо испорченная, — возглашал Иллидж тоном обличителя. Он только раз случайно обменялся несколькими словами с Люси Тэнтемаунт. Она едва удостоила его заметить.

Да, это так, думал Уолтер. Она заслуживала все то, что с завистью или недоброжелательством говорилось о ней, и все же она — самое чудесное и обаятельное существо в мире. Он знал, что все, что о ней говорят, — правда, и мог без возмущения все это выслушивать. И чем ужаснее было то, что о ней говорили, тем больше он любил ее. Credo quia absurdum. Amo qui turpe, quia indignum[12].

— Какая гниль! — продолжал ораторствовать

---

[12] Примечания: 12

Верю, потому что нелепо. Люблю то, что ненавижу, что презираю*(лат.).*

Иллидж. — Типичный продукт нашей восхитительной цивилизации — вот что она такое. Утонченная и надушенная имитация дикаря или животного. Вот к чему приводит изобилие денег и свободного времени.

Уолтер слушал, закрыв глаза, думая о Люси. «Надушенная имитация дикаря или животного». Да, это так, и тем больнее были для него эти слова; но за все это и за то, что он страдал от этого, он любил ее еще сильнее.

— Ну, — сказал Иллидж другим тоном, — мне пора идти: может быть, Старику вздумается еще поработать сегодня ночью. Обычно мы кончаем не раньше половины второго или двух. Надо сказать, мне нравится жить так — шиворот-навыворот: спать до обеда, работать после чая. В самом деле нравится. — Он протянул руку: — Пока.

— Давайте пообедаем вместе как-нибудь вечерком, — сказал Уолтер без особенной настойчивости.

Иллидж кивнул головой.

— Отлично. Сговоримся на один из ближайших дней, — сказал он и ушел.

Уолтер стал пробираться сквозь толпу в поисках Люси.

Затащив лорда Эдварда в угол, Эверард Уэбли

убеждал его оказать поддержку «свободным британцам».

— Но я не интересуюсь политикой, — сипло протестовал Старик. — Я не интересуюсь политикой… — Он с упрямством мула повторял эти слова в ответ на все, что говорил ему Уэбли.

Уэбли был красноречив. Люди доброй воли, люди, имеющие вес в стране, должны сплоченными рядами встать против сил разрушения. Под угрозой находится не только частная собственность, не только материальное благополучие класса, но и английские традиции, и личная инициатива, и культурность, и все, что отличает цвет нации от толпы. «Свободные британцы» вооруженной рукой защищают человеческую личность от толпы, от черни; они борются за признание естественного превосходства во всех областях. Врагов много, и они не дремлют.

Но тот, кто предвидит опасность, тот сумеет ее отразить: когда вы видите, что на вас готовится напасть шайка бандитов, вы принимаете боевой порядок, вы обнажаете мечи. (Уэбли питал слабость к мечам: он носил меч на парадах «свободных британцев», его речи пестрели упоминаниями о мечах, его дом был весь разукрашен оружием.) Необходимы организованность, дисци-

плина, сила. Конституционные методы отжили свой век. Парламентская борьба имеет смысл лишь тогда, когда противники согласны между собой в основных положениях и расходятся только в частностях. Но когда на карту поставлены основные положения, нельзя ограничиваться в политике парламентской игрой: необходимо прибегнуть к угрозе и к прямому действию.

— Пять лет я провел в парламенте, — говорил Уэбли. — Достаточно для того, чтобы убедиться, что в наши дни парламентскими методами ничего не достигнешь. С таким же успехом можно пытаться болтовней потушить пожар. Только прямое действие может спасти Англию. Когда мы ее спасем, тогда можно будет снова подумать о парламенте. Но он не будет похож на теперешнее смехотворное сборище выбранных чернью богачей. А пока мы должны готовиться к борьбе. Если мы будем готовы к борьбе, мы сумеем победить, не обнажая оружия. Это — единственный выход. Верьте мне, лорд Эдвард, это — единственный выход.

Свирепея, как затравленный собаками медведь, лорд Эдвард всем телом поворачивался то в одну сторону то в другую.

— Но я не интересуюсь по… — Он был так взвол-

нован, что не мог докончить слова.

— Даже если вы не интересуетесь политикой, — вкрадчиво продолжал Уэбли, — вы обязаны интересоваться вашим состоянием, вашим положением, будущим вашей семьи. Не забывайте, что при всеобщем разрушении все это погибнет.

— Да, но… нет… — Лорд Эдвард был в полном отчаянии. — Я… я… не интересуюсь деньгами.

Однажды, много лет тому назад, глава нотариальной конторы, которой он доверил все свои дела, невзирая на требование лорда Эдварда никогда не беспокоить его деловыми вопросами, явился, чтобы посоветоваться со своим клиентом относительно каких-то вложений. Речь шла о кругленькой сумме в восемьдесят тысяч фунтов. Лорда Эдварда оторвали от уравнений, лежащих в основе статики живого организма. Когда он узнал, по какому ничтожному поводу его побеспокоили, обычно мягкий Старик рассвирепел до неузнаваемости. Мистер Фиггис, человек с громким голосом и самоуверенными манерами, привык, чтобы все делалось по его советам. Гнев лорда Эдварда изумил и напугал его. Казалось, под влиянием гнева в Старике атавистически заговорило его феодальное прошлое, и он вдруг вспомнил, что он — Тэнтемаунт, разговариваю-

щий с наемным слугой. Он отдал приказание, это приказание было нарушено: его побеспокоили вопреки его запрету. Он этого не потерпит. Если подобная вещь повторится, он передаст свои дела другому нотариусу. С этими словами он пожелал мистеру Фиггису всего наилучшего.

— Я не интересуюсь деньгами, — говорил он теперь.

Иллидж, бродивший поблизости, дожидаясь случая заговорить со Стариком, услышал это замечание и внутренне расхохотался. «Ох уж эти богачи! — подумал он. — Черт бы их всех побрал! Все они на один лад!»

— Если вас не интересует ваше собственное будущее, — настаивал Уэбли, переменив фронт, — подумайте, по крайней мере, о будущем цивилизации, о прогрессе.

Эти слова задели лорда Эдварда за живое. Они надавили скрытую пружину, освободившую всю его энергию.

— Прогресс! — повторил он. От его смущения и его растерянности не осталось и следа, теперь он говорил уверенным и решительным тоном. — Прогресс! Вы, политиканы, только о нем и говорите. Словно он будет продолжаться вечно. Еще больше автомобилей, еще больше детей,

еще больше пищи, еще больше рекламы, еще больше денег, еще больше всего, и так до бесконечности. Биологией вам надо заняться, вот что! Физической биологией. Прогресс, как же! А скажите, пожалуйста, что вы собираетесь делать с фосфором? — Вопрос звучал как обвинение по адресу его собеседника.

— Но это вовсе не относится к делу, — нетерпеливо сказал Уэбли.

— Наоборот, — возразил лорд Эдвард, — это и есть настоящее дело. — Его голос стал громким и суровым. Он говорил гораздо более связно, чем обычно. Говоря о фосфоре, он стал другим человеком: он глубоко переживал проблему фосфора, он сильно чувствовал и поэтому сам стал сильным. Затравленный медведь перешел в нападение. — При ваших интенсивных методах возделывания почвы, — продолжал он, — вы просто выкачиваете из нее фосфор. Более полупроцента в год начисто уходит из кругооборота. А фосфор в сточных водах! Выливаете миллион тонн пятиокиси фосфора в море. И это вы называете прогрессом! Посмотрите на нашу современную систему канализации. — Глубочайшее презрение слышалось в его голосе. — Вы обязаны возвращать фосфор в землю, из которой вы его взяли. — Лорд Эдвард

погрозил ему пальцем и нахмурился. — В землю. Понятно?

— Но какое мне дело до всего этого? — возражал Уэбли.

— В этом-то все несчастье, — сурово ответил лорд Эдвард, — что вам, политиканам, нет ни до чего дела. Вы даже не думаете о таких важных вещах. Кричите о прогрессе, о голосовании, о большевизме, а тем временем каждый год целый миллион тонн пятиокиси фосфора уходит в море. Это идиотство, это преступление, это… это все равно что играть на лире, когда горит Рим. — Заметив, что Уэбли открывает рот, он поспешил заранее ответить на его предполагаемые возражения. — Конечно, — сказал он, — вы скажете, что у нас есть фосфориты. Ну хорошо. А когда их месторождения будут истощены? — Он ткнул пальцем в манишку Эверарда. — Что? Когда пройдет каких-нибудь двести лет и они истощатся? Вам кажется, что мы прогрессируем, а на самом деле мы расточаем капитал. Хищническое использование фосфатов, угля, нефти, азота — вот ваша политика. А тем временем вы стараетесь запугать нас разговорами о революции.

— Черт возьми, — сказал Уэбли, наполовину сердясь, наполовину забавляясь, — ваш фосфор

подождет. Нам угрожает другая, более близкая опасность. Скажите: вы хотите, чтобы произошла политическая и социальная революция?

— Даст она нам сокращение населения и контроль над производством? — спросил лорд Эдвард.

— Разумеется.

— В таком случае — да, я хочу, чтобы произошла революция. — Старик мыслил как биолог и не боялся логических выводов. — Разумеется. — Иллидж едва удержался от смеха.

— Ну, если такова ваша точка зрения… — начал Уэбли, но лорд Эдвард прервал его.

— Единственным результатом вашего прогресса, — сказал он, — будет то, что через несколько поколений произойдет настоящая революция — я хочу сказать, естественная, космическая революция. Вы нарушаете равновесие. И в конечном счете природа восстановит его. Вам будет очень не по себе при этом. Ваше падение займет еще меньше времени, чем ваш подъем. Благодаря хищническому использованию капитала вы окажетесь банкротами. Чтобы реализовать свои ресурсы, самому богатому человеку нужно очень немного времени. Но когда они реализованы, на то, чтобы умереть голодной смертью, времени

нужно еще меньше.

Уэбли пожал плечами.

«Сумасшедший старый дурак!» — подумал он; вслух он сказал:

— Параллельные линии никогда не сходятся, лорд Эдвард. Поэтому разрешите откланяться. — Он пошел прочь.

Через несколько мгновений Старик и его ассистент подымались по торжественной лестнице в свой собственный замкнутый мир.

— Какое счастье! — сказал лорд Эдвард, открывая дверь лаборатории. Он с наслаждением вдохнул легкий запах чистого спирта, в котором плавали анатомические препараты. — Эти званые вечера! Как приятно вернуться к науке. И все-таки музыка была в самом деле... — Его восхищение было нечленораздельным.

Иллидж пожал плечами.

— Званые вечера, музыка, наука — все это развлечения для обеспеченных. Платите денежки и выбирайте на свой вкус. Самое важное — это иметь деньги. — Он как-то неприятно рассмеялся.

Иллиджа возмущали добродетели богачей гораздо сильнее, чем их пороки. Чревоугодие, леность, распущенность, да и все другие менее

пристойные производные праздности и независимого дохода еще можно было простить именно вследствие того, что они были позорными. Но духовность, нестяжательство, порядочность, утонченность чувств и вкусов — всеми этими качествами полагалось восхищаться; и именно поэтому он особенно их ненавидел. Ведь, согласно Иллиджу, эти добродетели были таким же фатальным порождением богатства, как пьянство или завтрак не раньше одиннадцати.

Иллидж считал, что буржуа только и знают, что возносят друг другу хвалы за бескорыстие. То есть за то, что у них есть на что жить, и потому они могут не работать и не думать о деньгах. Вот и расхваливают себя за то, что они могут отказаться от платы. И еще за то, что у них достаточно денег, чтобы создать себе утонченно-культурную обстановку. И еще за то, что у них есть лишнее время и они могут тратить его на чтение книг, созерцание картин и на сложные, изощренные формы любви. Почему они не могут сказать просто и прямо, что все их добродетели основаны на облигациях пятипроцентного государственного займа?

Слегка насмешливая нежность, с которой Иллидж относился к лорду Эдварду, умерялась

досадой при мысли о том, что все интеллектуальные и нравственные качества Старика, все его милые чудачества возможны лишь благодаря возмутительно благополучному состоянию его текущего счета. И это подспудное неодобрение становилось отчетливым каждый раз, когда он слышал, как другие восхищаются лордом Эдвардом, одобряют его или даже посмеиваются над ним. Смех, одобрение и восхищение разрешались только ему самому, потому что он-то понимал и мог прощать. Другие же люди даже не догадывались, что здесь есть что прощать. Иллидж всегда торопился объяснить им это.

«Если бы предки Старика не были разбойниками и не грабили монастырей, — говорил он его поклонникам, — он бы давно попал в работный дом или в больницу для умалишенных».

И все же он искренно любил Старика, он искренно восторгался его способностями и его характером. Однако можно понять, что люди об этом не подозревали. «Несимпатичный» — таково было единодушное мнение об ассистенте лорда Эдварда.

Но если оставить в стороне неприязнь к богатым и неприязнь богатых, Иллидж считал и симпатию своей священной обязанностью. Он

испытывал симпатию к своему классу, к обществу в целом, к будущему, к идее справедливости. Да и на Старика тоже оставалась малая толика. Но достаточно было ему хоть полсловечка сказать в защиту души (ведь лорд Эдвард питал, по выражению его ассистента, постыдную и противоестественную страсть к идеалистической метафизике), как Иллидж набрасывался на него с насмешками над философией капиталистов и религией буржуа. А стоило Старику неодобрительно отозваться о тупоголовых дельцах, проявить безразличие к денежным обстоятельствам или симпатию к беднякам, как Иллидж принимался делать более или менее прозрачные, но всегда саркастические намеки на миллионы Тэнтемаунтов.

Бывали дни (из-за щелчка от генерала, из-за того, что он чуть не растянулся на ступеньках, сегодня, похоже, был именно такой день), когда даже обращение к чистой науке вызывало у него иронические замечания. Иллидж был энтузиастическим приверженцем биологии; но как гражданин с определенным классовым сознанием он не мог не признать, что чистая наука (как хороший вкус, как скука, извращения и платоническая любовь) — порождение богатства

и праздности. Он не боялся быть последовательным и насмехаться даже над собственным идолом.

— Иметь деньги, — говорил он, — это самое важное.

Старик виновато смотрел на своего ассистента. Он чувствовал себя неловко от этих скрытых упреков. Он перевел разговор на другую тему.

— А как поживают наши жабы, — спросил он, — наши асимметрические жабы? — Они вывели партию жаб из икринок, которые чрезмерно подогревались с одного бока и охлаждались с другого. Он направился к стеклянной банке с жабами. Иллидж шел за ним.

— Асимметрические жабы! — повторил он. — Асимметрические жабы! Какая изощренность! Все равно что играть Баха на флейте или смаковать дорогие вина. — Он подумал о своем брате Томе, у которого были слабые легкие и который работал фрезеровщиком на машиностроительном заводе в Манчестере. Он вспомнил дни стирки и розовую потрескавшуюся кожу на распухших от соды руках своей матери. — Асимметрические жабы! — повторил он еще раз и рассмеялся.

— Не понимаю, — сказала миссис Беттертон, —

как такой великий художник может быть таким циником. — В обществе Барлепа она предпочитала принимать слова Джона Бидлэйка всерьез. На тему о цинизме Барлеп говорил всегда очень возвышенно, а миссис Беттертон нравилась возвышенность. Возвышенным он был и тогда, когда говорил о величии, а также об искусстве. — Вы ведь должны признать, — добавила она, — что он великий художник.

Барлеп медленно кивнул головой. Он не смотрел на миссис Беттертон: его взгляд был направлен в сторону и вниз, словно он обращался к какому-то маленькому существу, невидимому для всех, кроме него, которое стояло рядом с миссис Беттертон; может быть, это был его личный демон, эманация его собственного «я», маленький Doppelgänger[13]. Барлеп был человек среднего роста, немного сутулый и неуклюжий. У него были темные волосы, густые и курчавые, с естественной розовой тонзурой величиной в монету, серые, глубоко посаженные глаза, крупные, но красивые нос и подбородок и полный, довольно большой рот. Старый Бидлэйк, карикатурист не только на бумаге, но и на словах, говорил, что Бар-

---

[13] Примечания: 13
Двойник*(нем.)*.

леп — это помесь кинематографического злодея и святого Антония Падуанского в изображении какого-нибудь барочного художника или помесь шулера и святоши.

— Да, великий художник, — согласился он, — но не один из величайших. — Он говорил медленно, задумчиво, словно обращаясь к самому себе. Все его разговоры представляли собой диалоги с самим собой или с маленьким двойником, невидимо стоявшим рядом с теми людьми, к которым Барлеп обращался. По существу, Барлеп всегда разговаривал с самим собой. — Не один из величайших, — медленно повторил он. Как раз сегодня он закончил статью на тему об искусстве для очередного номера еженедельника «Литературный мир». — Именно по причине своего цинизма. — «Не знаю, — думал он, — удобно ли мне цитировать самого себя?»

— Как это верно! — Миссис Беттертон разразилась аплодисментами немножко преждевременно: она всегда готова была загореться энтузиазмом. Она сжала руки. *–Как верно!* — Она смотрела на лицо отвернувшегося Барлепа и находила его таким одухотворенным, таким по-своему красивым.

— Может ли циник быть великим художни-

ком? — продолжал Барлеп, решившись наконец выложить перед ней содержание своей статьи, с риском, что она узнает его слова, когда ближайший номер выйдет из печати. Но даже если она узнает, это не изгладит впечатления, которое произведут его слова сейчас. «А зачем тебе, собственно, производить впечатление? — вставил насмешливый чертенок. — Потому, что она богата и может быть тебе полезна, так, что ли?» Но чертенок был немедленно поставлен на свое место. «На тебе лежит огромная ответственность, — поспешно объяснил ангел. — Светильник не ставят под сосудом. Он должен светить всем, и особенно людям доброй воли». Миссис Беттертон была, без сомнения, человеком доброй воли; ее энтузиазм стоило подогреть. — Великий художник, — сказал он вслух, — это человек, синтезирующий весь наш жизненный опыт. Циник отрицает добрую половину этого опыта — душу, идеалы, Бога. Но ведь духовная жизнь для нас так же реальна и несомненна, как жизнь материальная.

— Конечно, конечно! — воскликнула миссис Беттертон.

— Бессмысленно отрицать как ту, так и другую. — «Бессмысленно отрицать меня», — сказал де-

мон, просовывая голову в сознание Барлепа.

— Бессмысленно!

— Циник ограничивает свой жизненный опыт только одной половиной фактов, меньшей половиной, потому что факты духовной жизни более многочисленны, чем факты телесной жизни.

— Их бесконечно больше!

— В своей узкой области он может достигнуть большого мастерства. Возьмите, например, Бидлэйка. Он замечательный мастер. В своем творчестве он воплощает совершеннейшую технику современной живописи. Или, по крайней мере, воплощал.

— Да, воплощал, — вздохнула миссис Беттертон. — В первые годы нашего знакомства. — Она словно хотела сказать, что если он и писал когда-нибудь хорошо, то только под ее влиянием.

— Но свой гений он растрачивает на мелочи. В своем творчестве он синтезирует ограниченное, относительно несущественное.

— Именно это я всегда ему говорила, — сказала миссис Беттертон, в новом и более лестном для своей репутации свете интерпретируя тогдашние свои споры с Бидлэйком о прерафаэлитах. — Возьмите, например, Бёрн-Джонса, говорила я ему. — В ее ушах прозвучал оглушительный

раблезианский хохот Джона Бидлэйка. — Я не говорю, конечно, что Бёрн-Джонс очень хороший художник, — поспешно добавила она. («Он пишет так, — говорил Джон Бидлэйк, глубоко шокируя и оскорбляя ее этими словами, — словно он никогда в жизни не видел голого зада».) — Но его темы благородны. Если бы у вас, говорила я, были *его* идеалы, были *его* мечты, вы стали бы *действительно* великим художником.

Барлеп кивнул и одобрительно улыбнулся. «Да она на стороне ангелов, — думал он, — она нуждается в поощрении. На мне лежит огромная ответственность». Демон подмигнул.

«В его улыбке, — рассуждала про себя миссис Беттертон, — есть что-то от портретов Леонардо и Содомы — что-то таинственное, тонкое, скрытное».

— Хотя, конечно, — продолжал Барлеп, пережевывая свою статью фразу за фразой, — в произведении искусства тема — это еще далеко не все. Уитьер и Лонгфелло были начинены высокими идеями. Но их стихи весьма посредственны.

— Как это верно!

— Единственное обобщение, на которое можно рискнуть, — это что величайшие произведения

искусства были написаны на высокие темы и что произведение, тема которого незначительна, как бы совершенно оно ни было выполнено, никогда не достигает подлинной высоты совершенства.

— А вот и Уолтер, — прервала его миссис Беттертон. — Бродит, как нераскаянный дух. Уолтер!

Услышав, что его окликают, Уолтер обернулся. Боже милостивый — Беттертониха! И Барлеп! Он изобразил улыбку. Но миссис Беттертон и его коллега по «Литературному миру» меньше всего интересовали его в эту минуту.

— А мы как раз говорили о проблеме великого в искусстве, — объяснила миссис Беттертон. — Мистер Барлеп высказывал такие глубокие мысли! — И она принялась повторять Уолтеру все глубокие суждения Барлепа.

Уолтер пытался понять, почему Барлеп держал себя с ним так холодно, так замкнуто, почти враждебно. Иметь дело с Барлепом было нелегко. Никогда нельзя было понять, как он относится к вам. Он или любил, или ненавидел. Общение с ним было длинным рядом сцен: он вел себя или очень враждебно, или, что, с точки зрения Уолтера, было еще более утомительно, слишком нежно. Так или иначе, поток эмоций не переставал бурлить ни на минуту, не давая передохнуть

в стоячей воде ровных отношений. Поток не стихал. Почему теперь он повернул в сторону враждебности?

Тем временем миссис Беттертон выкладывала глубокие суждения. Уолтер находил, что они очень похожи на некоторые абзацы из статьи Барлепа, которую он только сегодня корректировал перед отсылкой в типографию. Воссозданная в виде целой серии взрывов восторга на основании словесного воспроизведения самого Барлепа, статья звучала довольно глупо. Так вот оно что! Может быть, поэтому?.. Он взглянул на Барлепа. Лицо Барлепа окаменело.

— Пожалуй, мне пора идти, — резко сказал Барлеп, когда миссис Беттертон сделала паузу.

— Нет, что вы! — запротестовала она. — Почему?

Он сделал над собой усилие и улыбнулся своей улыбкой в стиле Содомы.

— Мирское слишком уж над нами тяготеет, — произнес он таинственно. Он любил произносить таинственные изречения, неожиданно вставляя их посреди разговора.

— Вот уж чего о вас никак не скажешь, — льстиво сказала миссис Беттертон.

— Все дело в толпе, — объяснил он. — Чуть-чуть

побуду в толпе — и она начинает меня пугать. Я чувствую себя так, точно мою душу задавили насмерть. Если бы я остался, я начал бы рыдать. — И он распрощался.

— Какой замечательный человек! — воскликнула миссис Беттертон, когда он еще не успел отойти настолько, чтобы не услышать. — Какой вы счастливый, что работаете с ним!

— Он прекрасный редактор, — сказал Уолтер.

— Но я говорю о его*индивидуальности* — как бы это выразить? — о его духовном начале.

Уолтер кивнул головой и довольно неопределенно сказал «да»: он вовсе не склонен был приходить в восторг от духовного начала Барлепа.

— В наш век, — продолжала миссис Беттертон, — он настоящий оазис в пустыне легкомыслия и цинизма.

— У него бывают блестящие идеи, — осторожно согласился Уолтер.

Он думал о том, скоро ли ему удастся сбежать от нее.

— Вот Уолтер, — сказала леди Эдвард.

— Какой Уолтер? — спросил Бидлэйк. Подводные течения званого вечера снова свели их вместе.

— Ваш Уолтер.

— Ах, мой! — Хотя он не очень стремился увидеть своего сына, он посмотрел по направлению ее взгляда. — Как он вытянулся! — сказал он. Ему не нравилось, что его дети росли: вырастая, они оттесняли его на задний план, год за годом оттесняли к забвению и смерти. Вот Уолтер. Он родился совсем недавно, а сейчас мальчишке уже, наверное, двадцать пять лет.

— Бедняга Уолтер! Вид у него не блестящий.

— Такой вид, словно у него глисты, — свирепо сказал Бидлэйк.

— А как эта его печальная история? — спросила она.

— Все так же, — пожал плечами Бидлэйк.

— Я никогда не видела эту женщину.

— Зато я видел. Она ужасна.

— Что? Вульгарна?

— Нет, нет! Хуже: она так утонченна, так невероятно утонченна! А как она говорит! — Он заговорил, растягивая слова, тоненьким голоском, который должен был изображать голос Марджори: — Как маленькая невинная деточка. И она такая серьезная, такая культурная. — Он засмеялся своим раскатистым смехом. — Знаете, что она мне как-то сказала? Надо вам заметить, со

мной она всегда говорит об искусстве. Искусстве с большой буквы, конечно. Она сказала, — здесь его голос снова перешел на младенческий фальцет: — «Мне кажется, можно любить одинаково Фра Анджелико и Рубенса». — Он снова разразился гомерическим смехом. — Какая дура! А нос у нее по крайней мере на три дюйма длиннее, чем следует.

Марджори открыла шкатулку, в которой она хранила свои письма. Письма Уолтера. Она развязала ленточку и пересмотрела их все, одно за другим. «Дорогая миссис Карлинг, посылаю Вам томик писем Китса, о которых мы говорили сегодня. Прошу Вас, не трудитесь возвращать его мне: у меня есть другой экземпляр. И я перечту его, чтобы доставить себе удовольствие сопровождать Вас, хотя бы и на расстоянии, в Вашем духовном путешествии».

Это было его первое письмо. Она прочла его до конца, и в ее памяти воскресла та радость, которую вызвали тогда в ней эти слова о духовном путешествии. В разговорах он всегда избегал затрагивать личные темы, он был болезненно застенчив. Она не ожидала, что он станет писать так. Позднее, когда их переписка стала регулярной, она привыкла к его странностям.

Она убедилась, что с пером в руке он гораздо смелее, чем лицом к лицу. Всю свою любовь — по крайней мере, когда она выражалась словами и когда в начале ухаживания он бывал сколько-нибудь пылок — он изливал в письмах. Это вполне удовлетворяло Марджори. Она готова была до бесконечности продолжать эту культурную и на словах пламенную любовь по почте. Ей нравилась самая идея любви, но любовники нравились ей только на расстоянии и в воображении. Заочный курс страсти казался ей идеальной формой отношений с мужчиной. Еще больше нравились ей личные отношения с женщинами, потому что женщины, даже при личном общении с ними, сохраняют все положительные свойства мужчины на расстоянии. Можно сидеть с женщиной в одной комнате, и она будет требовать от вас не больше того, что требует мужчина, находящийся на другом конце системы почтовых отделений. Уолтер, застенчивый в разговоре и страстный и смелый в письмах, сочетал, с точки зрения Марджори, все достоинства обоих полов. И сверх того, он проявлял такой глубокий, такой лестный интерес ко всему, что она делала, чувствовала и думала. Бедняжка Марджори не была избалована вниманием.

«Сфинкс», — прочла она в третьем письме. (Он называл ее так за ее загадочное молчание. Карлинг по той же причине звал ее Брюквой или Рыбой.)«Сфинкс, почему Вы прячетесь в скорлупу молчания? Можно подумать, что Вы стыдитесь своей доброты, нежности и чуткости. Но скрыть их Вам все равно не удается».

Слезы подступили к ее глазам. Он так хорошо относился к ней, он был таким нежным и ласковым! А теперь…

«Любовь, — читала она сквозь слезы в следующем письме, — любовь превращает физическое желание в духовное: она обладает магическим свойством претворять тело в душу…»

Да, даже у него бывали *такие* желания. Даже у него. Вероятно, они бывают у всех мужчин. Как это отвратительно! Она вздрогнула, с ужасом вспоминая Карлинга, вспоминая даже Уолтера. Да, даже Уолтера, хотя он был таким милым и деликатным. Уолтер понимал ее. Тем удивительнее его теперешнее поведение. Он точно стал другим человеком, вернее — диким животным, животно-жестоким, животно-похотливым.

«Как он может быть таким жестоким? — спрашивала она себя. — Как он может быть намеренно жестоким, Уолтер?» Ее Уолтер, настоящий Уол-

тер, был такой мягкий, чуткий и деликатный, такой необычайно заботливый и добрый. Она полюбила его за его доброту и нежность, несмотря на то что он был мужчина и у него бывали *такие* желания; вся ее преданность была направлена на того нежного, заботливого, деликатного Уолтера, которого она узнала и оценила, когда они стали жить вместе. Она любила в нем даже слабости и недостатки, происходившие от деликатности; любила его даже за то, что он переплачивал шоферам и носильщикам, за то, что он пригоршнями раздавал серебро бродягам, рассказывавшим явно лживые истории о работе, ожидающей их в другом конце Англии, и об отсутствии денег на дорогу. Он с чрезмерной готовностью становился на точки зрения других. В своем стремлении быть справедливым к другим он часто бывал несправедлив к самому себе. Он всегда предпочитал жертвовать своими правами, лишь бы не нарушать права других людей. Марджори понимала, что в таких случаях деликатность граничит со слабостью, становится пороком; к тому же эта деликатность происходила от робости, от того, что он был недотрогой и брезгливо уклонялся не только от всякого столкновения, но даже от всякого неприятного соприкосновения с людьми.

И все-таки она любила его за это, любила даже тогда, когда от этого страдала она сама. Потому что, включив ее в свой собственный мирок, который он противопоставлял всему остальному миру, он стал приносить в жертву своей преувеличенной деликатности не только свои, но и ее интересы. Как часто говорила она ему, что его работа в «Литературном мире» оплачивается слишком низко! Она вспомнила их последний разговор на эту самую неприятную для него тему.

— Барлеп выжимает из тебя все соки, Уолтер, — сказала она.

— Журнал сейчас в очень затруднительном положении. — Он всегда находил, чем оправдать проступки других людей по отношению к себе.

— Но это еще не причина, чтобы тебя эксплуатировали.

— Никто меня не эксплуатирует. — Он говорил раздраженным тоном человека, чувствующего свою неправоту. — А если даже и так, пусть лучше меня эксплуатируют, но торговаться из-за своего фунта мяса я не буду. В конце концов, это мое дело.

— И мое тоже! — Она протянула тетрадь, в которую она вписывала расходы, когда у них начался разговор. — Если бы ты знал, как подорожали

овощи!

Он покраснел и, не отвечая ей, вышел из комнаты. Подобные разговоры бывали у них нередко. Недоброе отношение к ней никогда не было у Уолтера намеренным; он поступал так только из чрезмерной деликатности по отношению к другим, да и то лишь тогда, когда он и к себе самому был недобр. Она никогда не сердилась на его несправедливое отношение к ней: оно доказывало только, как тесно связал он себя с ней. Но теперь, теперь от той невольной недоброты не осталось и следа. Мягкий и деликатный Уолтер исчез; какой-то другой человек, безжалостный, полный ненависти, намеренно причинял ей страдания.

Леди Эдвард рассмеялась.

— Если она действительно так безнадежна, интересно, что же он в ней нашел?

— А что мы вообще находим в тех, кого мы любим? — Голос Джона Бидлэйка был полон меланхолии. Он неожиданно почувствовал себя нехорошо — тяжесть в желудке, тошнота, икота. Последнее время это случалось нередко. И всегда после еды. Сода не помогала. — В этих случаях все мы одинаковые глупцы, — добавил он.

— Благодарю вас! — засмеялась леди Эдвард.

— О присутствующих не говорят, — пытаясь быть галантным, сказал он с улыбкой и легким поклоном. Он снова подавил икоту. Как скверно он себя чувствует! — Вы не возражаете, если я сяду? — спросил он. — Все время на ногах… — И он тяжело опустился в кресло.

Леди Эдвард заботливо посмотрела на него, но ничего не сказала. Она знала, что он не выносит упоминаний о возрасте, болезни или физической слабости.

«Это, наверно, икра, — думал он. — Проклятая икра!» В эту минуту он остро ненавидел икру. Каждый осетр в Черном море был его личным врагом.

— Бедный Уолтер! — сказала леди Эдвард, возобновляя прерванный разговор. — А он такой талантливый.

Джон Бидлэйк презрительно фыркнул. Леди Эдвард поняла, что опять она сказала не то, что надо, на этот раз нечаянно, в самом деле нечаянно. Она переменила тему.

— А Элинор? — спросила она. — Когда возвращается Элинор с Куорлзом?

— Завтра выезжают из Бомбея, — лаконически ответил Джон Бидлэйк. Он был слишком занят мыслями об икре и о своих желудочных ощуще-

ниях, чтобы отвечать более подробно.

VI

— Индусы пили либерализм из ваших источников, — сказал мистер Сита Рам, цитируя одну из своих речей в законодательном собрании. И он показал пальцем на Филипа Куорлза, словно обвиняя его. Капли пота катились одна за другой по его коричневым, отвислым щекам; казалось, он оплакивает Матерь Индию. Одна капля, отливая в свете лампы всеми цветами радуги, как драгоценный камень, висела на кончике его носа. Когда он говорил, она сверкала и вздрагивала, словно разделяя его патриотические чувства. В момент особенно бурного взрыва чувств капля вздрогнула в последний раз и при слове «источников» упала на куски рыбы в тарелке мистера Ситы Рама.

— Бёрк и Бэкон, — звучно возглашал мистер Сита Рам. — Мильтон и Маколей…

— Ах, смотрите! — Голос Элинор Куорлз был пронзительным от испуга. Она вскочила так порывисто, что опрокинула стул. Мистер Сита Рам повернулся к ней.

— В чем дело? — спросил он недовольным тоном: досадно, когда вас прерывают в середине

периода.

Элинор показала пальцем. Огромная серая жаба прыгала по веранде. В наступившем молчании был слышен каждый ее прыжок; словно мокрая губка шлепалась об пол.

— Жаба — животное безвредное, — сказал мистер Сита Рам, привыкший к тропической фауне.

Элинор умоляюще посмотрела на мужа. Он ответил ей неодобрительным взглядом.

— Ну что ты, в самом деле? — сказал он. Сам он испытывал глубокое отвращение к подобным животным. Но он умел стоически подавлять свое отвращение. То же самое было и с пищей. В рыбе было — только теперь он нашел подходящее сравнение — что-то жабье. И все-таки он ел ее. Элинор после первого глотка больше к ней не притронулась.

— Прогони ее, ради бога, — прошептала она. Ее лицо выражало страдание. — Ты знаешь, как я их ненавижу.

Филип рассмеялся; извинившись перед мистером Ситой Рамом, он встал с места, очень высокий и тонкий, и заковылял по веранде. Носком своего неуклюжего ортопедического башмака он передвинул жабу к краю веранды. Она тяжело шлепнулась в сад. Посмотрев через перила, он

увидел море, сияющее вдали среди пальмовых стволов. Луна тоже взошла, и пучки листьев четко вырисовывались на фоне неба. Ни один лист не шевелился. Было невероятно жарко, и казалось, что жара с наступлением ночи все усиливается. При солнце жара была не так ужасна: она была естественной. Но эта удушливая тьма… Филип отер лицо и вернулся к столу.

— Итак, вы говорили, мистер Сита Рам…

Но вдохновение оставило мистера Ситу Рама.

— Я сегодня перечитывал произведения Морли, — объявил он.

— Ух ты! — сказал Филип Куорлз, любивший при случае выразиться по-школьнически среди серьезного разговора. Это обычно производило большое впечатление. Но мистер Сита Рам вряд ли мог оценить это «ух ты!» по достоинству.

— Какой мыслитель! — продолжал он. — Какой великий мыслитель! И какая чистота стиля!

— Да, пожалуй.

— У него попадаются замечательные выражения, — не унимался мистер Сита Рам. — Я выписал некоторые из них. — Он порылся в карманах, но не нашел своей записной книжки. — Не важно, — сказал он. — Но некоторые выражения замечательны. Иногда прочтешь целую книгу и не

найдешь в ней ни одного выражения, которое стоило бы запомнить или процитировать. Какой смысл в такой книге, спрашиваю я вас?

— В самом деле, какой?

Четверо или пятеро неопрятных слуг вышли из дому и переменили тарелки. Появилась груда мясных пирожков подозрительного вида. Элинор в отчаянии посмотрела на мужа, а потом стала уверять мистера Ситу Рама, что она никогда не ест мяса. Стоически поедая пирожки, Филип одобрил ее благоразумие. Они пили сладкое шампанское, теплое, как чай; за пирожками последовало сладкое — большие шары бледного цвета (чувствовалось, что их долго и любовно мяли в ладонях) из какого-то загадочного вещества, одновременно вязкого и хрустящего, сладкого и в то же время отдававшего бараньим салом.

Под влиянием шампанского вдохновение вернулось к мистеру Сите Раму. Теперь его последняя парламентская речь полилась сама собой.

— У вас один закон для англичан, — говорил он, — и другой — для индусов: один — для угнетателей, и другой — для угнетаемых. Слово «справедливость» либо исчезло из вашего словаря, либо изменило свое значение.

— Я склонен думать, что изменилось его значе-

ние, — вставил Филип.

Мистер Сита Рам не обратил внимания на замечание Филипа. Он преисполнился священного негодования, тем более страстного, что оно было столь очевидно бессильным.

— Возьмите, например, случай, — продолжал он (и его голос дрожал помимо воли), — с несчастным начальником станции из Бхованипора.

Но Филип вовсе не собирался рассматривать этот случай. Он думал о том, как меняется значение слова «справедливость». До того как он побывал в этой стране, справедливостью для Индии казалось одно. Теперь, когда он собирался уехать отсюда, справедливостью казалось совсем другое.

У начальника станции из Бхованипора, как выяснилось, был незапятнанный послужной список и девять человек детей.

— Но почему вы не научите их предохранительным мерам, мистер Сита Рам? — спросила Элинор. Она всегда содрогалась, слыша об этих огромных семействах. Она вспоминала, как она мучилась, когда рожала маленького Фила. А ведь к ее услугам были хлороформ, и две сиделки, и сэр Клод Эглет. Тогда как у жены начальника станции из Бхованипора… ей приходилось слы-

шать об индусских повитухах. — Разве это не единственный выход для Индии?

Мистер Сита Рам считал, однако, что единственным выходом является всеобщее избирательное право и самоуправление. Он вернулся к истории начальника станции. Он с честью сдал все испытания и получил самую блестящую оценку. И все-таки его по крайней мере четыре раза обходили повышением — четыре раза! — и каждый раз выдвигали вместо него какого-нибудь европейца или евразийца. Кровь мистера Ситы Рама кипела при мысли о пяти тысячелетиях индийской цивилизации, индийской духовной жизни, индийского морального превосходства, цинически попираемых в лице начальника станции из Бхованипора ногами англичан.

— И это справедливость, я спрашиваю? — Он стукнул кулаком по столу.

«Кто знает, — размышлял Филип. — Может быть, это и есть справедливость».

Элинор все еще думала о девяти детях. Ей рассказывали, как повитухи, чтобы ускорить роды, становятся своим пациенткам на живот. А вместо спорыньи они пичкают их смесью коровьего навоза и толченого стекла.

— И это вы называете справедливостью? — по-

вторил мистер Сита Рам.

Поняв, что от него ожидают ответа, Филип покачал головой и сказал «нет».

— Вы должны написать об этом, — сказал мистер Сита Рам. — Вы должны вскрыть эти безобразия.

Филип выразил сожаление, что он всего только романист, а не публицист и не журналист.

— Вы знаете старого Даулата Синга, — добавил он с видимой непоследовательностью, — того, который живет в Аджмире?

— Я встречался с ним, — сказал мистер Сита Рам тоном, из которого явствовало, что он не любит Даулата Синга или, может быть (что казалось Филипу более вероятным), что тот не любит или за что-то не одобряет мистера Ситу Рама.

— Мне он показался очень интересным человеком, — сказал Филип. Для людей, подобных Даулату Сингу, слово «справедливость» означало совсем не то, что для мистера Ситы Рама или для начальника станции из Бхованипора. Он вспомнил благородное лицо старика, блестящие глаза, сдержанную страстность его слов. Если бы только он не жевал бетель…

Наступило время уходить. Наконец-то! Они попрощались с преувеличенной сердечностью,

сели в ожидавший их автомобиль и уехали. Земля между пальмами была будто усыпана серебряными монетами, забрызгана кляксами ртути. Машина катилась сквозь непрестанное мерцание света и тьмы — как в кинематографе двадцать лет тому назад; а когда машина вырвалась из-под пальм, их облило ярким светом огромной луны.

«Трехликая Геката, — думал Филип, щурясь на блестящий шар. — Ну а как же Сита Рам и Даулат Синг и начальник станции? А древняя, внушающая благоговейный ужас Индия? А справедливость и свобода? А прогресс и будущее? Вся беда в том, что мне до всего этого нет никакого дела. Ровно никакого. Это позор. Но мне нет дела. И ликов у Гекаты вовсе не три. Их тысячи, их миллионы. Приливы. Богиня озера Немо. Прямо пропорционально произведению масс и обратно пропорционально квадрату расстояний. Серебряная монета — рукой подать, а на самом деле величиной как вся Российская империя. Больше, чем Индия. Как хорошо будет вернуться в Европу! И подумать только, что было время, когда я читал книги о йогах и делал дыхательные упражнения и пытался убедить себя, что я не существую! Вот тоже дурак! А все от разговоров с этим идиотом

Барлепом. К счастью, люди не оставляют на мне глубокого следа. Они скользят по мне, как пароход по морю. Но поверхность снова становится гладкой. Интересно, каков будет завтрашний пароход? Пароходы “Ллойд Триестино” считаются хорошими. Я сказал — к счастью, а может быть, на самом деле нужно стыдиться своего безразличия? Вспомни притчу о сеятеле. Зерно, упавшее на каменистую почву. Но когда делаешь вид, что ты не то, что есть на самом деле, все равно никакого толку не получается. Взять, например, Барлепа. Вот тоже комедиант! А ведь многие ему верят. Включая его самого, вероятно. Очень возможно, что никто не лицемерит сознательно, кроме особых случаев. Невозможно все время носить маску. А все-таки хотелось бы узнать, как это можно так сильно верить во что-нибудь, чтобы ради этого убивать людей или самому пойти на смерть. Стоило бы испытать…»

Элинор тоже смотрела на яркий диск. Луна, полная луна… И вдруг Элинор переместилась в пространстве и времени. Она опустила глаза и повернулась к мужу; она взяла его за руку и нежно прильнула к нему.

— Помнишь те вечера? — спросила она. — В саду в Гаттендене. Помнишь, Фил?

Слова Элинор донеслись к нему издалека, из мира, который сейчас нисколько не интересовал его. Он неохотно отозвался.

— Какие вечера? — спросил он голосом из другого мира, сухим и бесцветным голосом человека, отвечающего на назойливый телефонный звонок.

При звуке этого телефонного голоса Элинор быстро отодвинулась от Филипа. Прижиматься к человеку, который, как выясняется, на самом деле отсутствует, это не только досадно, это, кроме того, унизительно. А он еще спрашивает, какие вечера! Действительно!

— Почему ты меня больше не любишь? — с отчаянием в голосе спросила она. О каких же других вечерах она могла говорить, как не о вечерах в то чудесное лето после их свадьбы, которое они провели в доме ее матери. — Ты совершенно не обращаешь на меня внимания — меньше внимания, чем на мебель, гораздо меньше, чем на книгу.

— Но, Элинор, о чем ты? — Филип выразил своим голосом больше удивления, чем он на самом деле испытывал. После первого мгновения, когда он выбрался на поверхность из глубин своей задумчивости, он понял, что она хотела сказать,

он связал сегодняшнюю индийскую луну с той луной, которая восемь лет назад сияла над харфордширским садом. Ему следовало бы сказать об этом. Все стало бы сразу проще. Но он сердился, когда его прерывали, он не любил выслушивать упреки, и к тому же искушение доказать в споре свою правоту было слишком сильным. — Я задаю простой вопрос, — продолжал он, — просто хочу знать, о чем ты говоришь. А ты начинаешь жаловаться на то, что я больше не люблю тебя. Не вижу никакой логической связи.

— Но ты отлично знаешь, о чем я говорила, — сказала Элинор, — и потом это правда: ты больше не любишь меня.

— Любить-то я тебя люблю, — сказал Филип и, все еще пытаясь оставаться на почве диалектики (хотя он знал, что это все равно бесполезно), продолжал подвергать Элинор сократическому допросу, — но вот что мне действительно хотелось бы уразуметь: каким образом возник этот разговор. Мы начали с вечеров, и вот…

Но логика интересовала его жену гораздо меньше, чем любовь.

— Ах, я отлично знаю, что ты никогда не скажешь, что не любишь меня! — прервала она. — Словами ты не скажешь. Ты не захочешь при-

чинить мне боль. Но мне гораздо больнее, когда ты не говоришь об этом прямо, когда ты обходишь это молчанием. Ведь своим молчанием ты тоже признаешь, что не любишь меня. Но от этого гораздо больнее, потому что боль длится дольше, потому что нет уверенности, потому что страдания все повторяются. Пока слово не сказано, всегда остается надежда: а может, оно и не подразумевалось. Даже если знаешь, что на самом деле оно наверняка подразумевалось. Всегда остается надежда. А где надежда, там и разочарование. То, что ты уклоняешься от ответа, Фил, — это не доброта, это жестокость.

— Я не уклоняюсь от ответа, — возразил он. — Но зачем мне говорить, что я тебя не люблю, если я тебя люблю?

— Да, но как? Как ты любишь? Не так, как ты любил раньше. Или, может быть, ты забыл? Ты даже не помнишь о том времени, когда мы только что поженились.

— Но, дорогое дитя, — возражал Филип, — будь точнее. Ты сказала просто «эти вечера», а я должен был догадываться какие.

— Конечно, — сказала Элинор. — Ты бы догадался, если бы обращал на меня сколько-нибудь внимания. Об этом-то я и говорю. Ты так мало

любишь меня теперь, что даже не помнишь о том времени, когда ты любил. Неужели, по-твоему, я могу забыть эти вечера?

Она вспомнила сад, невидимые в темноте душистые цветы, огромную черную веллингтонию на лужайке, восходящую луну и двух каменных грифонов по обеим сторонам низкой террасы, где они сидели вдвоем. Она вспомнила его слова и его поцелуи, прикосновения его рук. Она вспомнила все, вспомнила с мелочной точностью тех, кто любит погружаться в прошлое и восстанавливать его, кто неустанно перебирает каждую драгоценную подробность прежнего счастья, возрожденного воспоминанием.

— Это просто изгладилось из твоей памяти, — добавила она с печальным укором: для нее те вечера обладали большей реальностью, чем почти вся ее жизнь теперь.

— Да нет же, я помню, — нетерпеливо сказал Филип, — только я не умею так сразу переключать свое сознание. Когда ты заговорила со мной, я думал о чемто другом — только и всего.

— Хотела бы я, чтобы у меня тоже было о чем думать, кроме этого, — вздохнула Элинор. — Вся беда в том, что мне не о чем больше думать. Зачем я так люблю тебя? Зачем? Это несправедливо.

Ты защищен своим интеллектом и талантом. Ты можешь уйти в работу, в мир идей. Но у меня нет ничего; мне нечем защититься от моих переживаний; у меня нет ничего, кроме тебя. А ведь защита нужна именно мне. Потому что я люблю тебя. Тебе не от чего защищаться. Тебе все равно. Нет, это несправедливо, это несправедливо.

В конце концов, размышляла она, это и всегда было так. Он никогда не любил ее по-настоящему, даже в самом начале. Он никогда не любил ее глубоко, всем своим существом, до самозабвения. Потому что даже в самом начале их любви он уклонялся от слишком близкого соприкосновения, он не хотел отдать ей всего себя. А она отдавала ему все, решительно все. И он брал, ничего не давая взамен. Он никогда не отдавал ей свою душу, самую интимную часть своего «я». Всегда, даже в самом начале, даже когда он очень любил ее. Она была счастлива тогда, но только потому, что она еще не знала, что такое счастье, она еще не понимала, что любовь может быть иной, более глубокой. Сейчас она испытывала извращенное наслаждение, унижая свое прежнее счастье, обесценивая свои воспоминания. Луна, темный душистый сад, огромное черное дерево, бархатная тень на лужайке… Она отрицала их,

она отрекалась от счастья, символами которого они сохранились в ее памяти.

Филип Куорлз молчал. Ему нечего было сказать. Он обнял ее и привлек к себе; он целовал ее лоб, ее дрожащие ресницы — они были влажными от слез.

Грязные предместья Бомбея проносились мимо. Фабрики и лачуги и огромные жилые дома, в лунном свете призрачные и белые, как скелеты. Коричневые тонконогие пешеходы возникали на мгновение в свете фар, точно истины, постигнутые интуитивно, мгновенно и с безусловной очевидностью, и сейчас же скрывались снова в пустоте кромешной тьмы. Здесь и там придорожные огни выхватывали из мрака темные тела и лица. Обитатели мира, внутренне такого же далекого от них, как самая далекая из звезд, смотрели на них, когда автомобиль проносился мимо скрипучих телег, запряженных буйволами.

— Дорогая, — повторял он. — Дорогая…

Элинор позволила себя утешить.

— Ты любишь меня хоть немножко?

— Больше всех на свете.

Она даже засмеялась. Правда, в ее смехе слышалось рыдание, но все-таки это был смех.

— Как ты стараешься быть нежным со мной!

— А все-таки, думала она, те дни в Гаттендене были действительно блаженными. Они принадлежали ей, она пережила их; от них нельзя отречься. — Ты так стараешься. Это так мило с твоей стороны.

— Перестань говорить глупости, — сказал он. — Ты отлично знаешь, что я люблю тебя.

— Любишь? — Она улыбнулась и погладила его по щеке. — Да, когда у тебя есть время, да и то по беспроволочному телеграфу через Атлантический океан.

— Нет, это неправда. — Но в глубине души он знал, что это правда. Всю жизнь он шел один, в пустоте своего собственного мира, куда он не допускал никого: ни свою мать, ни друзей, ни своих возлюбленных. Даже когда он держал ее в объятиях, он сообщался с ней по беспроволочному телеграфу через Атлантический океан.

— Это неправда, — с нежной насмешкой повторила она. — Бедненький Фил! Но ведь ты и ребенка не сумеешь обмануть. Ты не умеешь лгать убедительно. Ты слишком честен. За это-то я и люблю тебя. Если бы ты знал, до чего ты прозрачен.

Филип молчал. От разговоров о личных отношениях ему всегда становилось неловко.

Они угрожали нарушить его одиночество — то одиночество, которое одна часть его сознания осуждала (потому что он чувствовал себя отрезанным от многого, что он хотел бы испытать); и все-таки только в этом одиночестве мог жить его дух, только там он чувствовал себя свободно… Обычно он воспринимал это внутреннее одиночество как нечто само собой разумеющееся, такое же естественное, как воздух, которым мы дышим. Но когда оно было под угрозой, он болезненно ощущал, как оно ему необходимо; он боролся за него, как задыхающийся борется за глоток воздуха. Но это была пассивная борьба, сводившаяся к отступлению и обороне. Теперь он окопался в молчании, в том спокойном, уединенном, холодном молчании, которое Элинор, он был уверен, не станет нарушать, зная всю безнадежность подобных попыток. Он оказался прав: Элинор взглянула на него и, отвернувшись, принялась созерцать озаренный луной пейзаж. Их параллельные молчания текли во времени, не встречаясь.

Они мчались сквозь индийскую тьму. В воздухе, казавшемся прохладным от быстрого движения, запах тропических цветов сменялся запахом сточных вод, пищи и горящего коровьего навоза.

— И все-таки, — вдруг сказала Элинор, не в силах больше сдерживать своей обиды, — ты не можешь обойтись без меня. Что станется с тобой, если я уйду от тебя к человеку, который сумеет дать что-нибудь взамен того, что даю я? Что станется с тобой?

Вопрос канул в молчание. Филип не ответил. Но*что* действительно станется с ним? Он и сам не знал. В повседневной жизни он был чужеземцем, испытывающим неловкость от общения с подобными себе, не умеющим или неспособным общаться с теми, кто не говорит на родном ему интеллектуальном языке идей. Эмоционально он был чужеземцем. Элинор служила ему переводчиком, драгоманом. Подобно своему отцу, Элинор Бидлэйк родилась с даром интуитивно понимать людей и чувствовать себя с ними свободно: она быстро находила общий язык с любым человеком. Не хуже, чем ее отец, она инстинктивно понимала, как нужно разговаривать с людьми всех категорий, кроме разве той, к какой принадлежал ее муж. Трудно найти нужные слова, разговаривая с человеком, который сам ничего не говорит, который отвечает на личное безличным, на слова, полные чувства и предназначенные только для него, — интеллек-

туальными обобщениями. И все-таки, любя его, она не оставляла попыток войти с ним в более близкое соприкосновение; и, хотя здесь было от чего прийти в отчаяние — это было все равно что петь перед глухонемым или играть при пустом зрительном зале, — она упорно старалась передать ему свои интимные мысли и переживания. Бывали минуты, когда он, делая над собой огромное усилие, пытался ввести ее в свой внутренний мир. Может быть, привычка к скрытности лишила его способности выражать свои переживания или, может быть, самая способность переживать атрофировалась от постоянного молчания и подавления; как бы то ни было, эти редкие минуты близости доставляли Элинор только разочарование. Святая святых, куда он с таким трудом ввел ее, оказалась почти такой же голой и пустой, как та, которая представилась изумленному взору римских солдат, осквернивших Иерусалимский храм. И все-таки она была благодарна Филипу за его добрые намерения, за то, что он, по крайней мере, хотел посвятить ее в свою эмоциональную жизнь, хотя эта эмоциональная жизнь сводилась к очень немногому. Своего рода пирроновское безразличие ко всему, свойственное Филипу от природы и усугубленное привычкой, уме-

рялось прирожденной мягкостью и добротой и сменялось изредка неистовыми вспышками физической страсти. Разум Элинор говорил ей, что это так; но на практике ее чувства восставали против того, с чем она была в теории согласна. Все, что было в ней живого, восприимчивого, иррационального, страдало от его безразличия, словно он был холоден только с ней одной. И тем не менее, вопреки всем своим чувствам, Элинор всегда знала, что его безразличие не относится лично к ней, что он таков же со всеми, что он любит ее настолько, насколько он умеет любить, что его любовь к ней не уменьшается, потому что она никогда не была более сильной; раньше она была, пожалуй, более страстной, но даже тогда она не была более эмоциональной, более самозабвенной, чем теперь. Но все-таки ее чувства не мирились с этим; он не должен быть таким! Не должен, да! Но таким он был. После взрыва возмущения Элинор смирялась и старалась любить его настолько разумно, насколько она могла, удовлетворяясь его нежностью, его страстью, существовавшей в нем как-то отдельно от него самого, его редкими попытками эмоционально сблизиться с ней и, наконец, его умом, умом, способным быстро и глубоко охватить все, даже

те эмоции, которых он не мог испытывать, и те инстинкты, которым не хотел поддаваться.

Однажды, когда он рассказывал ей о книге Келлера про обезьян, она сказала:

— Знаешь, Фил, ты вроде обезьяны, только навыворот. Почти человек, как бедняжки шимпанзе. Вся разница в том, что они пытаются мыслить при помощи своих чувств и инстинктов, а ты пытаешься чувствовать при помощи своего интеллекта. Почти человек. На самой грани, бедный мой Фил!

Он так изумительно понимал все; поэтому было очень весело служить для него переводчиком и объяснять ему других людей. (Гораздо менее весело было объяснять себя.) Он схватывал все, что мог уловить разумом.

Она осведомляла его о своем общении с туземцами мира эмоций, и он сразу понимал все, он обобщал ее опыт, он связывал его с опытом других людей, классифицировал, находил аналогии и параллели. Единичное и неповторимое становилось в его руках частью системы. Она с удивлением обнаруживала, что она сама и ее друзья, помимо своей воли, подтверждали какую-нибудь теорию или служили примером при каком-нибудь интересном обобщении. Ее

функции драгомана не ограничивались разведкой и осведомлением. Зачастую ей приходилось служить посредником между Филипом и каким-нибудь третьим лицом, с которым он хотел войти в соприкосновение: она создавала атмосферу, без которой невозможно личное общение, не давала разговорам стать чрезмерно интеллектуальными и сухими. Предоставленный самому себе, Филип не был бы в состоянии установить или поддерживать личное общение. Но когда рядом с ним была Элинор, которая создавала и поддерживала это общение, он способен был понимать и сочувствовать разумом; Элинор уверяла его, что в этом понимании и сочувствии нет ничего человеческого. Переходя к абстракциям, он снова становился сверхчеловеком.

Да, служить драгоманом при таком исключительно сообразительном путешественнике по стране чувств было истинным развлечением. Но это было больше чем развлечение: в глазах Элинор это было, кроме того, долгом. Нужно было думать о его работе.

— Ах, если б ты был немножко меньше сверхчеловеком, Фил, — говаривала она ему, — какие прекрасные романы ты писал бы!

И он соглашался с ней, немного огорченный. Он

был достаточно умен, чтобы понимать, чего ему недостает. Элинор старалась насколько могла возместить это; осведомляла его о нравах туземцев, служила посредником, когда он хотел войти с кем-нибудь из них в личное соприкосновение. Не только ради себя, но и ради него самого как писателя она хотела, чтобы он перестал быть таким безличным, чтобы он научился жить не только своим интеллектом, но и чувствами, инстинктами и интуицией. Она героически поощряла даже его пассивное влечение к другим женщинам: две-три любовные связи принесли бы ему пользу. Она так заботилась о том, чтобы принести ему пользу как писателю, что не раз, видя, как он восхищенно смотрит на какую-нибудь молодую женщину, она принималась устанавливать для него личное общение с ней, установить которое он сам не умел. Это было, конечно, рискованно: он мог полюбить по-настоящему; он мог забыть о своем интеллекте и стать другим человеком, и все это досталось бы какой-нибудь другой женщине. Элинор шла на риск отчасти потому, что она считала, что его творчество важнее, чем все остальное, важнее, чем даже ее собственное счастье, отчасти же потому, что она втайне была уверена, что на самом деле никакого риска нет

и что он никогда не потеряет голову и не уйдет к другой женщине. Метод лечения при помощи любовных связей действовал бы медленно, если он вообще оказался бы действенным, и она верила, что, если он окажет действие, она сумеет использовать его в своих интересах. Однако пока что он не действовал. Филип изменял ей очень редко, и его измены не оказывали на него сколько-нибудь заметного влияния. Он оставался до ужаса, до безумия все тем же — сообразительным настолько, что казался почти человеком, холодно-добрым, разъединенно страстным и чувственным, безлично-нежным. Почему она до сих пор любит его? — спрашивала она себя. С таким же успехом можно любить книжный шкаф. Когда-нибудь она все-таки уйдет от него. Нельзя быть такой альтруистичной и преданной. Надо подумать и о собственном счастье. Быть любимой, а не только любить; получать, а не только отдавать… Да, когда-нибудь она все-таки уйдет от него. Нужно подумать и о самой себе. Кроме того, ему это послужит наказанием. Да, наказанием, потому что она была убеждена, что, если она уйдет от него, он будет искренне несчастен, по-своему — насколько он вообще может быть несчастен. И может быть, это страдание

совершит то чудо, к которому она стремилась все эти годы; может быть, оно сделает его более восприимчивым, более человечным. Может быть, оно сделает его настоящим писателем, может быть, это даже ее долг — сделать его несчастным, самый священный ее долг…

Собака, перебегавшая через дорогу впереди машины, вывела ее из задумчивости. Как неожиданно ворвалась она в узкую вселенную автомобильных фар! Бегущая во весь опор, она существовала какую-то долю секунды и снова скрылась во тьме по другую сторону освещенного мира. Другая собака внезапно появилась на ее месте, преследуя первую.

— О! — воскликнула Элинор. — Ее… — Огни автомобиля метнулись в сторону и снова вперед; машину мягко встряхнуло, словно одно из ее колес переехало камень, но камень взвизгнул. — …задавит, — закончила она.

— Ее уже задавило.

Шофер-индус обернулся, улыбаясь во весь рот. Видно было, как сверкнули его зубы.

— Собака! — сказал он. Он гордился своим умением говорить по-английски.

— Бедный пес! — Элинор передернуло.

— Сам виноват, — сказал Филип, — зачем не

смотрел. Вот чем кончается погоня за самкой!

Наступило молчание. Его прервал Филип.

— Нравственность приняла бы очень странные формы, — вслух размышлял он, — если бы мы любили в определенный сезон, а не круглый год. Понятие о нравственном и безнравственном менялось бы по месяцам. Первобытное общество гораздо более склонно к сезонной любви, чем цивилизованное. Даже в Сицилии в январе рождается вдвое больше детей, чем в августе. Это лишний раз доказывает, что весной юноша… Но нигде это не бывает*только* весной. У людей не бывает ничего похожего на течку у сук или кобыл. Если не считать некоторых явлений в моральной сфере. Дурная репутация женщины привлекает мужчин. Дурная слава свидетельствует о доступности. В животном мире отсутствие течки соответствует тому, что в женщине мы называем целомудрием…

Элинор слушала с интересом и в то же время с некоторым ужасом. Достаточно было несчастному животному попасть под автомобиль, и вот уже заработал этот гибкий, неутомимый интеллект. Несчастный, изголодавшийся пес-пария был раздавлен колесами автомобиля. Это происшествие заставило Филипа привести статистические

данные о рождаемости в Сицилии, высказать ряд мыслей об относительности морали, дать блестящее психологическое обобщение. Это было удивительно, это было неожиданно, это было увлекательно; но, боже: она готова была разрыдаться.

VII

Отделавшись от миссис Беттертон и раскланявшись издали с отцом и леди Эдвард, Уолтер снова отправился на поиски. Наконец он нашел то, что искал. Люси Тэнтемаунт только что вышла из столовой и стояла под аркой, нерешительно смотря по сторонам. Кожа ее казалась особенно белой в траурном платье. Букетик гардений был приколот к корсажу. Она подняла руку и прикоснулась к гладким черным волосам; изумруд в ее кольце подал Уолтеру зеленый сигнал с другого конца зала. Критически, с какой-то холодной интеллектуальной ненавистью Уолтер осмотрел ее и спросил себя, за что, собственно, он ее любит? За что? Не было ни объяснений, ни оправдания. Все говорило за то, что он не должен ее любить.

Вдруг она двинулась, она вышла из поля его зрения. Уолтер пошел вслед за ней. Проходя мимо двери в столовую, он заметил Барлепа, который

оставил свою роль отшельника и пил шампанское, слушая графиню д'Экзержилло. «Ого-го! — подумал Уолтер, вспоминая свой собственный опыт с Молли д'Экзержилло. — Но Барлеп, вероятно, обожает ее. Ему это как раз подходит… Он… Но вот и Люси; разговаривает — проклятие! — с генералом Нойлем». Уолтер остановился неподалеку, нетерпеливо дожидаясь возможности заговорить с ней.

— Наконец-то я вас поймал, — говорил генерал, поглаживая ее руку. — Искал вас весь вечер.

Наполовину — сатир, наполовину — добрый дядюшка, он питал к Люси стариковскую слабость.

«Очаровательная малютка! — уверял он всех, кто соглашался его выслушивать. — Очаровательная фигурка! А какие глаза!» Он предпочитал молоденьких. «Что может быть лучше молодости!» — любил он говорить. Его долголетняя неприязнь к Америке и американцам превратилась в восторженное преклонение после того, как он в возрасте шестидесяти пяти лет посетил Калифорнию и насмотрелся на голливудских звездочек и прекрасных купальщиц с берегов Тихого океана. Люси было почти тридцать, но генерал знал ее давно; он продолжал относиться к ней как к юной девушке своих первых воспоминаний. Ему она

все еще казалась семнадцатилетней. Он снова погладил ее руку.

— Ну, теперь мы с вами поболтаем, — сказал он.

— Это будет очень весело, — сказала Люси с саркастической любезностью.

Уолтер смотрел на них со своего наблюдательного пункта. Генерал когда-то был красив. Его высокая фигура, затянутая в корсет, все еще сохраняла военную выправку. Как истый гвардеец, он, улыбаясь, покручивал седой ус. Через минуту он опять был старым дядюшкой, настроенным игриво, покровительственно и доверчиво. Слегка улыбаясь, Люси с безжалостным и насмешливым любопытством рассматривала его своими светло-серыми глазами. Уолтер вглядывался в ее лицо. Она даже не особенно красива. Так за что же? Он искал причин, искал оправданий. За что? Он упорно задавал себе этот вопрос. Ответа не было. Просто он влюбился в нее — вот и все; как сумасшедший, с первого же взгляда.

Повернув голову, Люси заметила его. Она кивнула ему и подозвала к себе. Он сделал вид, что приятно удивлен.

— Надеюсь, вы не забыли нашего уговора, — сказал он.

— Разве я когда-нибудь забываю? Кроме тех случаев, когда я делаю это нарочно, — добавила она со смехом. Затем, обращаясь к генералу: — Мы с Уолтером увидим сегодня вашего пасынка, — объявила она таким тоном и с такой улыбкой, словно говорила о ком-то, кто был особенно дорог ее собеседнику. Но она прекрасно знала, что между Спэндреллом и его отчимом смертельная вражда. Люси унаследовала от матери страсть к сознательным «промахам», которая у нее принимала оттенок научной любознательности, унаследованной от отца. Ей нравилось экспериментировать, но не на лягушках и морских свинках, а на человеческих существах. Сказать человеку что-нибудь неожиданное, поставить его в дурацкое положение и смотреть, что из этого получится. Это был метод Дарвина и Пастера.

В данном случае получилось то, что лицо генерала Нойля побагровело.

— Я давно не виделся с ним, — холодно сказал он.

«Прекрасно, — сказала она себе, — он реагирует».

— Но он такой милый, — сказала она вслух.

Генерал покраснел еще больше и нахмурился. Чего он только не делал для этого мальчишки! И

какой неблагодарностью платил ему мальчишка, как безобразно он себя вел! Его выгоняли со всех мест, на которые его устраивал генерал. Лодырь, шалопай, пьяница и развратник; причиняет своей матери страдания, сидит у нее на шее, позорит свое имя. А его наглость! Какие слова он посмел ему сказать, когда они виделись в последний раз и когда между ними, по обыкновению, произошла сцена! Генерал никогда не забудет, что его назвали «старым слюнявым импотентом».

— И он такой способный, — говорила Люси. С внутренней улыбкой она вспомнила резюме карьеры его отчима, составленное Спэндреллом. «Исключенный за неуспеваемость из Харроу, — гласило оно, — окончивший Сандхерст последним по списку, он сделал блестящую карьеру в армии, достигнув во время войны высокого поста в контрразведке». Он изумительно читал некролог генерала. Прямо-таки слышались неподражаемые интонации «Таймс».

— Такой способный, — повторила Люси.

— Да, некоторые считают его способным, — очень холодно сказал генерал Нойль, — но лично я… — Он с силой прочистил горло. Это было *его* личное мнение.

Через минуту он откланялся, все так же су-

рово, все с тем же сердитым достоинством. Он чувствовал себя оскорбленным. Даже молодость Люси и ее обнаженные плечи были недостаточной компенсацией за эти похвальные отзывы о Морисе Спэндрелле. Нахальный выродок! Его существование было для генерала бельмом в глазу; и он вымещал обиду на своей жене. Женщина не имеет права иметь подобного сына, никакого права! Бедной миссис Нойль нередко приходилось искупать перед вторым мужем оскорбления, нанесенные ему ее сыном. Она была всегда под рукой, ее можно было помучить, она была слишком слаба, чтобы сопротивляться. Выведенный из терпения генерал считал, что грехи сына должны пасть на голову его родительницы.

Люси посмотрела вслед его удаляющейся фигуре и, обращаясь к Уолтеру, сказала:

— Что делать, чтобы не попадаться генералу? Такие разговоры и сами по себе достаточно ужасны, а от него еще такой запах! Ну как, едем?

Уолтер только этого и дожидался.

— А как же ваша мать и гости? — спросил он.

Она пожала плечами.

— Пускай мама сама возится со своим зверинцем.

— Да, это действительно зверинец, — сказал

Уолтер, неожиданно преисполняясь надеждами. — Давайте ускользнем куда-нибудь в тихое местечко.

— Бедный Уолтер! — В ее глазах была насмешка. — Никогда не встречала людей с такой страстью к тишине. Но я не хочу никаких тихих местечек.

Его надежды испарились, оставив легкую горечь и бессильное раздражение.

— Тогда почему бы нам не остаться здесь? — спросил он, пытаясь быть саркастическим. — Разве здесь недостаточно шумно?

— Да, но здесь не тот шум, который я люблю, — объяснила она. — Ненавижу шум, производимый культурными, почтенными, уважаемыми людьми, вот как вся эта публика. — Она жестом указала на гостей. Ее слова заставили Уолтера вспомнить отвратительные вечера, которые он проводил с Люси в компании людей некультурных и не заслуживающих уважения, да к тому же пьяных. Гости леди Эдвард были достаточно неприятны. Но те были, безусловно, еще неприятнее. Как она может их выносить?

Люси, казалось, угадала его мысли. Она с улыбкой положила ему руку на плечо.

— Не страдайте! — сказала она. — На этот раз я не поведу вас в дурную компанию. Будет Сп-

эндрелл…

— Спэндрелл, — повторил он с гримасой.

— А если Спэндрелл для вас недостаточно шикарен, там, наверно, будет еще Марк Рэмпион с женой, если только мы приедем не слишком поздно.

При имени художника и писателя Уолтер одобрительно кивнул.

— Да, я охотно послушаю шум, который производит Рэмпион. — Затем, делая усилие, чтобы преодолеть робость, которая всегда заставляла его молчать, когда наступал момент выразить свои чувства словами: — Но я предпочел бы, — добавил он шутливым тоном, чтобы его слова звучали не так смело, — я предпочел бы где-нибудь наедине послушать шум, который производите*вы.*

Люси улыбнулась, но ничего не ответила. Он с каким-то ужасом уклонился от ее взгляда. Ее глаза смотрели на него бесстрастно и холодно, точно они знали все заранее и не интересовались больше ничем, а только слегка забавлялись, очень слегка, очень равнодушно забавлялись.

— Ну что ж, — сказал он, — идемте. — Тон у него был покорный и несчастный.

— Нам придется улизнуть, — сказала она, — сбежать украдкой. А то нас поймают и заставят

вернуться.

Но им не удалось скрыться незамеченными. Подходя к двери, они услышали позади себя шелест платья и звук поспешных шагов. Голос назвал Люси по имени. Они обернулись и увидели миссис Нойль, жену генерала. Она положила руку на плечо Люси.

— Мне только что сказали, что сегодня вечером вы увидите Мориса, — сказала она, не объясняя, что генерал сообщил ей об этом только для того, чтобы отвести душу и сказать что-нибудь неприятное человеку, который безропотно стерпит его грубость. — Передайте ему два слова от меня. Хорошо? — Она умоляюще наклонилась всем телом вперед. — Вы это сделаете? — Было что-то трогательно-юное и беспомощное в ее манере, что-то очень юное и нежное, несмотря на ее пожилое лицо. К Люси, которая годилась ей в дочери, она обращалась как к кому-то старшему и более сильному. — Пожалуйста!

— Ну конечно, — сказала Люси.

Миссис Нойль благодарно улыбнулась.

— Скажите ему, — сказала она, — что я приду к нему завтра в конце дня.

— Завтра в конце дня.

— Между четырьмя и половиной пятого. И не

говорите об этом никому больше, — добавила она после минутного колебания.

— Ну конечно, я никому не скажу.

— Я так благодарна вам, — сказала миссис Нойль и с неожиданным и робким порывом поцеловала Люси. — Спокойной ночи, дорогая. — Она скрылась в толпе.

— Можно подумать, — сказала Люси, когда они проходили по вестибюлю, — что она назначала свидание любовнику, а не сыну.

Два швейцара, два услужливых автомата, распахнули перед ними дверь. Закрывая дверь, они многозначительно перемигнулись. На мгновение машины превратились в живых людей.

Уолтер дал шоферу такси адрес ресторана Сбизы и влез в замкнутую темноту автомобиля. Люси уже уселась в углу.

Тем временем в столовой Молли д'Экзержилло все еще разговаривала. Она гордилась своим искусством вести разговор. Эта способность была у нее наследственной. Ее мать была одной из знаменитых мисс Джогеган из Дублина. Ее отец был тот самый господин судья Брабант, который славился своей застольной беседой и своими остротами в суде. Сверх того, замуж она вышла тоже за блестящего собеседника: д'Экзержилло

был учеником Робера де Монтескью, и Марсель Пруст почтил его упоминанием в «Содоме и Гоморре». Если бы Молли и не владела искусством разговора от рождения, она усвоила бы его от мужа. Природа и среда объединенными усилиями сделали из нее профессионала-атлета красноречия. Подобно всем добросовестным профессионалам, она не полагалась только на свои таланты. Она была трудолюбива, она упорно работала над развитием своих природных данных. Злоязычные друзья утверждали, что она зубрит свои парадоксы по утрам, лежа в постели. Она и сама не скрывала, что ведет дневник, в который, наряду со сложной историей своих переживаний и ощущений, она заносит каждый понравившийся ей анекдот, каламбур и образный оборот. Может быть, она освежала их в памяти, заглядывая в эту летопись каждый раз, когда одевалась, чтобы ехать в гости? Те же самые друзья, которые слышали, как она практикуется по утрам, видели ее трудолюбиво заучивающей, подобно ученику накануне экзамена, эпиграммы Жана Кокто об искусстве, послеобеденные рассказы м-ра Биррелла, анекдоты У. Б. Йейтса о Джордже Муре и слова, сказанные ей Чарли Чаплином во время ее последней поездки в Голливуд. Как

все специалисты-говоруны, Молли весьма экономно расходовала свою мудрость и остроумие: количество bon mots[14] не настолько велико, чтобы постоянно практикующий мастер разговора мог при каждом публичном выступлении пользоваться запасом свежих острот. Как у всех знаменитых говорунов, репертуар Молли при всем его разнообразии не был неограниченным. Как хорошая хозяйка, она умела состряпать из остатков вчерашнего обеда рагу для сегодняшнего завтрака. Кушанья, приготовленные для поминок, использовались на другой день для свадебного обеда.

Денису Барлепу она сервировала разговор, который пользовался огромным успехом на званом завтраке у леди Бенджер, а также среди гостей, приехавших на уик-энд к Гобли, у Томми Фиттона, одного из ее молодых людей, и у Владимира Павлова — другого молодого человека, у американского посла и у барона Бенито Когена. Разговор вращался вокруг любимой темы Молли.

— Знаете, что сказал про меня Жан? — говорила она (Жан — это был ее муж). — Знаете? — настой-

---

[14] Примечания: 14
Острот*(фр.).*

чиво повторяла она, по своей странной привычке требуя ответа на чисто риторический вопрос. Она нагнулась к Барлепу, демонстрируя ему темные глаза, зубы и декольте…

Барлеп покорно ответил, что он этого не знает.

— Он сказал, что я не совсем человек. Что я — стихийный дух, а не женщина. Нечто вроде эльфа. Как по-вашему, это комплимент или оскорбление?

— Как на чей вкус, — сказал Барлеп, придавая своему лицу тонкое и лукавое выражение, словно он хотел сказать что-то смелое, остроумное и в то же время глубокое.

— Но я не согласна с ним, — продолжала Молли. — Я вовсе не похожа на стихийного духа или на эльфа. По-моему, я простое, безыскусственное дитя природы. Своего рода крестьянка. — На этом месте все слушатели Молли обычно разражались смехом и протестами. Барон Бенито Коген энергично заявил, что она «одна из римских императриц природы».

Барлеп неожиданно отнесся к ее словам совершенно иначе. Он замотал головой, он улыбнулся мечтательной и странной улыбкой.

— Да, — сказал он, — по-моему, вы правы. Дитя

природы malgré tout[15]. Вы носите маску, но за ней легко увидеть простое, непосредственное существо.

Молли была в восторге; она чувствовала, что со стороны Барлепа это высшая похвала. В таком же восторге она была тогда, когда другие не признавали ее крестьянкой. С их стороны высшей похвалой было именно это отрицание. Значение имела самая похвала, интерес к ее личности. Само по себе мнение ее поклонников интересовало ее очень мало.

Тем временем Барлеп принялся развивать выдвинутую Руссо антитезу Человека и Гражданина. Она прервала его и вернула разговор к исходной теме.

— Человеческие существа и эльфы — прекрасная классификация, не правда ли? — Она нагнулась, приближая к нему лицо и грудь. — Не правда ли? — повторила она риторический вопрос.

— Пожалуй. — Барлеп не любил, когда его прерывали.

— Обычные люди — да; пусть будет так — все слишком человеческие существа с одной

---

[15] Примечания: 15
Несмотря ни на что*(фр.).*

стороны. И стихийные духи — с другой. Одни — способные привязываться к людям и переживать и быть сентиментальными. Должна сказать, я ужасно сентиментальна. — («Вы почти так же сентиментальны, как сирены в «Одиссее»», — последовал заимствованный из классической древности комментарий барона Бенито.) — Другие, стихийные духи — свободные, стоящие в стороне от всего; они приходят и уходят — уходят с таким же легким сердцем, как приходят; пленительные, но никогда не пленяемые; доставляющие другим людям переживания, но сами ничего не переживающие. Как я завидую их воздушной легкости!

— С таким же успехом вы можете завидовать воздушному шару, — серьезно сказал Барлеп. Он всегда стоял за сердце.

— Но им так весело!

— Я бы сказал, что они не способны чувствовать себя весело: для этого нужно уметь чувствовать, а они не умеют.

— Они умеют чувствовать ровно настолько, чтобы им было весело, — возразила она, — но, пожалуй, не настолько, чтобы быть счастливыми. И во всяком случае, не настолько, чтобы быть несчастными. Вот в этом им можно позавидовать.

Особенно если они умны. Возьмите, например, Филипа Куорлза. Вот кто действительно эльф. — Она повторила свое обычное описание Филипа. В числе его эпитетов были «зоолог-романист», «начитанный эльф», «ученый Пэк». Но самые удачные выскользнули из ее памяти. В отчаянии она пыталась их поймать, но они не давались в руки. На этот раз мир увидит ее теофрастовский портрет лишенным самой блестящей черточки и в целом немного скомканным из-за того, что Молли сознавала пробел и это мешало ей придать портрету законченность. — Тогда как его жена, — заключила она, болезненно сознавая, что Барлеп улыбается менее часто, чем следовало бы, — ничуть не похожа на эльфа. Она не эльф, она не начитанна и не особенно умна. — Молли снисходительно улыбнулась. — Такой человек, как Филип, должен понимать, что она ему, мягко выражаясь, не пара. — Улыбка не сходила с ее губ, выражая на этот раз самодовольство. Филип до сих пор питал к Молли слабость. Он писал ей такие забавные письма, почти такие же забавные, как ее собственные. (Молли любила цитировать фразу своего мужа: «Quand je veux briller dans le monde, — сказал он, — je cite des

phrases de tes lettres»[16].) — Бедняжка Элинор! Она скучновата, — продолжала Молли, — что не мешает ей быть премилой женщиной. Мы с ней были знакомы еще девчонками. Очень мила, но далеко не Гипатия.

Элинор просто дурочка, раз она не понимает, что Филипа неизбежно должна привлекать женщина, равная ему по уму, женщина, с которой можно говорить как с равной. Просто дурочка, раз она не заметила волнения Филипа в тот вечер, когда Элинор познакомила его с Молли. Просто дурочка, раз она не ревновала. Молли воспринимала отсутствие ревности как личное оскорбление. Правда, она не давала никаких реальных поводов к ревности. Она не спала с чужими мужьями; она только разговаривала с ними. Не подлежало сомнению, однако, что она часто разговаривала с Филипом. А жены обязаны ревновать. Наивная доверчивость Элинор подзадорила Молли, заставила ее быть более благосклонной к Филипу, чем обычно. Но он отправился бродить по свету раньше, чем между ними произошло что-нибудь серьезное по части разговоров. Она предвкушала возобновление

---

[16] Примечания: 16

Когда я хочу блистать в свете, я цитирую фразы из твоих писем*(фр.).*

разговоров после его приезда. «Бедняжка Элинор!» — сострадательно подумала она. Ее чувства были бы, вероятно, менее христианскими, если бы она знала, что «бедняжка» Элинор заметила восторженные взгляды Филипа раньше, чем заметила их сама Молли, и что, заметив их, она добросовестно принялась за свою роль драгомана и посредника. Правда, она не слишком надеялась и не слишком боялась, что Молли совершит чудо превращения: громкоговоритель, будь он даже очень хорошеньким, очень пухленьким (вкусы Филипа были несколько старомодны) и очень соблазнительным, не способен вызвать к себе безумную любовь. Единственной ее надеждой было, что страсть, вызванная прелестями Молли, не найдет полного удовлетворения в разговорах (а по слухам, разговоры были единственным, чем Молли дарила своих поклонников) и Филип придет в то состояние бешенства и отчаяния, которое способствует писанию хороших романов.

— …Разумеется, — продолжала Молли, — умному мужчине не следует жениться на умной женщине. Поэтому Жан всегда грозит мне разводом. Он говорит, что я слишком возбуждаю

его. «Tu ne m'ennuies pas assez»[17], — говорит он; а ему необходима une femme sedative[18]. Пожалуй, он прав: Филип Куорлз поступил разумно. Представьте себе умного эльфа, вроде Филипа, женатого на такой же умной женщине из породы эльфов, например на Люси Тэнтемаунт. Это было бы сущее несчастье, не правда ли?

— Пожалуй, Люси была бы сущим несчастьем для всякого мужчины — эльфа, не эльфа, все едино.

— Нет, надо признаться, что Люси нравится мне. — Молли порылась в своем запасе теофрастовских эпитетов. — Мне нравится, как она скользит сквозь жизнь, вместо того чтобы тащиться по ней. Мне нравится, как она порхает с цветка на цветок, хотя, пожалуй, эта метафора слишком поэтична в приложении к Бентли, и Джиму Конклину, и бедному Рэджи Тэнтемаунту, и Морису Спэндреллу, и Тому Тривету, и Понятовскому, и тому молодому французу, который пишет пьесы, — как его фамилия? — и ко всем тем, кого мы забыли или о ком не знаем. — Барлеп улыбнулся: на этом месте все улыбались. — Как

---

[17] Примечания: 17
Ты недостаточно наводишь на меня скуку*(фр.).*

[18] Примечания: 18
Успокаивающая жена*(фр.).*

бы то ни было, она порхает. Надо сказать: нанося цветам немалый урон. — Барлеп снова улыбнулся. — Но ей от всего этого только весело. Должна признаться, что я ей завидую. Я хотела бы быть эльфом и порхать.

— У нее гораздо больше оснований завидовать вам, — сказал Барлеп, мотая головой с прежним глубокомысленным, тонким и христианским выражением лица.

— Завидовать мне в том, что я несчастна?

— Кто несчастен? — заговорила в эту минуту леди Эдвард. — Добрый вечер, мистер Барлеп, — сказала она, не дожидаясь ответа.

Барлеп принялся уверять ее, что ему очень понравилась музыка.

— А мы только что говорили о Люси, — прервала его Молли д'Экзержилло. — Мы согласились на том, что она похожа на эльфа: такая легкая и всему чуждая.

— На эльфа? — переспросила леди Эдвард. — Что вы! Она скорее домовой. Вы представить себе не можете, мистер Барлеп, как трудно воспитывать домового. — Леди Эдвард покачала головой. — Иногда она просто пугала меня.

— Неужели? — сказала Молли. — Но вы и сами, пожалуй, немножко эльф, леди Эдвард.

— Немножко, — согласилась леди Эдвард. — Но я все-таки не домовой.

— Ну? — сказала Люси, когда Уолтер уселся рядом с ней в такси. Она точно бросала ему вызов. — Ну?

Машина тронулась. Он схватил ее руку и поднес к губам. Это был ответ на ее вызов.

— Я люблю вас. Вот и все.

— Любите, Уолтер? — Она повернулась к нему и, взяв его обеими руками за голову, внимательно рассматривала в полутьме его лицо. — Любите? — повторила она и с этими словами медленно покачала головой и улыбнулась. Потом, подавшись вперед, она поцеловала его в губы. Уолтер обнял ее; но она высвободилась из его объятий. — Нет, нет, — запротестовала она и отстранилась от него. — Нет.

Повинуясь ей, он отодвинулся тоже. Наступило молчание. От нее пахло гарденией. Сладкий тропический запах, душистый символ ее существа, окутал его. «Надо было быть настойчивым, — думал он, — грубым. Целовать ее. Заставить ее силой. Почему я не сделал этого? Почему?» Он не знал. А почему она поцеловала его? Просто для того, чтобы заставить его еще больше желать ее, чтобы еще больше поработить его. А почему

он, зная это, все-таки любит ее? Почему, почему? — повторял он.

Словно в ответ на его мысли ее голос произнес:

— Почему вы любите меня?

Он открыл глаза. Они проезжали мимо уличного фонаря. Свет упал на ее лицо. Оно на мгновение выступило из темноты и снова стало невидимым — бледная маска, которая знает все заранее и относится ко всему с жестоким, бесстрастным, слегка утомленным любопытством.

— Я только что задавал себе этот вопрос, — ответил Уолтер. — Я хотел бы не любить вас.

— Знаете, я могла бы сказать то же самое. С вами сегодня не слишком-то весело.

«Как утомительны все те мужчины, — размышляла она, — которые воображают, будто никто никогда не любил до них!» И все-таки он ей нравился. Он очень привлекателен. Нет, «привлекателен» — не то слово. Как раз привлекательным-то он и не был. Скорее — «трогателен». Трогательный любовник? Это не в ее стиле. Но он нравился ей. В нем есть что-то милое. Кроме того, он остроумен, с ним приятно проводить время. Его безумная любовь, правда, утомительна, но зато он такой преданный. А это для Люси было очень важным: она боялась одиночества и требо-

вала, чтобы ее поклонники находились все время при ней. Уолтер ходил за ней, как верный пес. Но почему он иногда походил на*побитого* пса? Жалкий пес! Какой дурак! Она вдруг рассердилась на него за то, что он такой жалкий.

— Что ж, Уолтер, — насмешливо сказала она, прикасаясь рукой к его руке, — почему вы не занимаете меня разговором?

Он не отвечал.

— Или вам угодно молчать? — Ее пальцы обжигающе скользнули по его ладони и обхватили запястье. — Где у вас пульс? — спросила она. — Я не чувствую его. — Она ощупывала мягкую кожу в поисках бьющейся артерии. Он ощущал легкое, волнующее, холодноватое прикосновение кончиков ее пальцев. — Да у вас его и нет, — сказала она. — У вас застой крови. — В ее голосе звучало презрение. «Какой дурак!» — думала она. — Застой крови, — повторила она и вдруг с внезапной злобой вонзила острые, отточенные ногти в его руку. Уолтер вскрикнул от неожиданной боли. — Так вам и надо, — засмеялась она ему в лицо.

Он схватил ее за плечи и принялся яростно целовать. Гнев пробудил в нем желание; поцелуями он мстил ей. Люси закрыла глаза, безвольно и мягко покоряясь ему. Предвестники насла-

ждения, как трепещущие крылышки бабочек, пробегали по ее коже. И внезапно искусные пальцы провели, как по струнам скрипки, по ее нервам. Уолтер почувствовал, как все ее тело невольно вздрогнуло в его объятиях, вздрогнуло словно от внезапной боли. Целуя ее, он спрашивал себя, ожидала ли она такого ответа на свой вызов, хотела ли она именно этого? Он обеими руками схватил ее тонкую шею. Большие пальцы легли на ее гортань. Он слегка надавил.

— Когда-нибудь, — сказал он сквозь зубы, — я задушу вас.

Люси ответила смехом. Он нагнулся и поцеловал ее смеющийся рот. Когда его губы прикоснулись к ее губам, она почувствовала, как тонкая острая боль пронзила все ее тело. Она не ожидала от Уолтера такой неистовой и дикой страсти. Она была приятно поражена.

Машина свернула на Сохо-сквер, замедлила ход, остановилась. Они приехали. Уолтер выпустил ее из объятий и отодвинулся. Она открыла глаза и посмотрела на него.

— Ну? — вызывающе спросила она его во второй раз за этот вечер. Несколько мгновений оба молчали.

— Люси, — сказал он, — поедем куда-нибудь в

другое место. Не сюда, не в этот притон. Куда-нибудь, где мы будем одни. — Его голос дрожал, его глаза умоляли. Весь его пыл прошел; он снова стал жалким, похожим на собаку. — Скажем шоферу ехать дальше, — просил он.

Она улыбнулась и покачала головой. Зачем он умоляет? Зачем он такой жалкий? Глупец, побитая собака!

— Прошу тебя, прошу тебя! — молил он. Но ему следовало приказать. Сказать шоферу везти их дальше, а самому снова обнять ее.

— Нельзя, — сказала Люси и вышла из автомобиля. Раз он ведет себя как побитая собака, значит, с ним так и нужно обращаться.

Уолтер последовал за ней, жалкий и несчастный.

Сам Сбиза встретил их на пороге. Он кланялся, разводя белыми жирными руками, и от его широкой улыбки кожа расходилась складками на его огромных щеках. Когда приезжала Люси, потребление шампанского возрастало. Поэтому она была почетной гостьей.

— Здесь мистер Спэндрелл? — спросила она. — И мистер и миссис Рэмпион?

— О да, о да, — повторял старик Сбиза с неаполитанским, почти восточным пафосом. Он как

будто давал понять, что они не только тут, но что ради нее он готов был доставить каждого из них в двух экземплярах. — Как вы поживаете? Очень хорошо, очень хорошо? У нас сегодня такие омары, такие омары!.. — И он повел их в ресторан.

VIII

— Меня возмущает больше всего то, — сказал Марк Рэмпион, — что все мы стали ужасно, противоестественно ручными.

Мэри Рэмпион добродушно расхохоталась. Всякому, кто слышал ее смех, хотелось смеяться самому.

— Ты бы так не говорил, — сказала она, — будь ты на моем месте. Тебя-то уж никак нельзя назвать ручным!

И действительно, вид у Марка Рэмпиона был далеко не «ручной». Профиль — резкий: орлиный нос, похожий на режущий инструмент, острый подбородок. Глаза голубые и проницательные, волосы очень тонкие, золотистые, с рыжим оттенком и развевающиеся при каждом движении, при каждом порыве ветра, как языки пламени.

— Да и ты тоже не очень похожа на овечку, — сказал Рэмпион. — Но два человека — это еще не весь мир. Я говорил о всех вообще, а не о нас

с тобой. Мир стал ручным. Вроде огромного кастрированного кота.

— А во время войны он тоже казался вам ручным? — спросил Спэндрелл. Он говорил из полутьмы, окружавшей маленький мир, освещенный лампой под розовым абажуром; центром этого мира был их столик. Спэндрелл сидел, раскачиваясь на стуле, прислонившись затылком к стене.

— Даже тогда, — сказал Рэмпион. — Война была бойней, где убивали домашних животных. Люди шли и дрались не потому, что у них кипела кровь. Они шли потому, что им приказывали идти, потому, что они были добрыми гражданами. «Человек — хищное животное», — любил говорить в своих речах ваш отчим. Но меня возмущает как раз то, что человек — домашнее животное.

— И с каждым днем становится все более домашним, — сказала Мэри Рэмпион, разделявшая взгляды своего мужа или, вернее сказать, разделявшая его чувства и сознательно или бессознательно пользовавшаяся для их выражения его словами. — В этом виноваты фабрики, христианство, наука, приличия, наше воспитание, — пояснила она, — они придавливают душу современного человека. Они выпивают из нее жизнь. Они…

— Ах, заткнись, бога ради! — сказал Рэмпион.

— Но ведь ты сам так говорил!

— Так то я. Когда *ты* говоришь, оно звучит совсем иначе.

Лицо Мэри приняло было сердитое выражение, но сейчас же прояснилось. Она рассмеялась.

— Ну конечно, — добродушно сказала она, — я не очень сильна по части рассуждений. Но ты мог бы быть повежливее со мной на людях.

— Не выношу дураков.

— Берегись, а то тебе и не такое придется вынести, — со смехом погрозила Мэри.

— Если вам угодно швырнуть в него тарелкой, — сказал Спэндрелл, подвигая ей свою, — пусть мое присутствие вас не смущает.

Мэри поблагодарила.

— Это было бы ему полезно, — сказала она. — Он что-то очень зазнается.

— А тебе было бы не вредно, — отпарировал Рэмпион, — если бы я подставил тебе фонарь под глазом.

— Попробуй только! Я уложу тебя одной рукой, даже если другая будет привязана за спину.

Все трое разразились смехом.

— Ставлю на Мэри, — сказал Спэндрелл, раскачиваясь на стуле. Улыбаясь с непонятным для

него самого чувством удовольствия, он переводил взгляд с одного из супругов на другого — с худощавого, неистового, неукротимого человечка на крупную золотоволосую женщину. Каждый из них был хорош по-своему; но вдвоем они были еще лучше. Сам не зная почему, он вдруг почувствовал себя счастливым.

— Мы еще сразимся как-нибудь на днях, — сказал Рэмпион и на мгновение положил свою руку на руку Мэри. У него была тонкая, нервная, выразительная рука. «Рука настоящего аристократа», — подумал Спэндрелл. А ее рука была короткая, крепкая, честная — рука крестьянки. А между тем по рождению как раз Рэмпион был крестьянином, а она — аристократкой. Вот и верьте после этого генеалогам! — Десять раундов, — продолжал Рэмпион. — Без перчатки. — Затем, обращаясь к Спэндреллу: — Знаете, вам следовало бы жениться, — сказал он.

Ощущение счастья мгновенно покинуло Спэндрелла. Он словно резким толчком вернулся к действительности. Он почти сердился на себя. Чего ради*он-то* расчувствовался, глядя на эту счастливую пару?

— Я не учился боксу, — пошутил он; сквозь шутливость Рэмпион почувствовал в его тоне

горечь, скрытое ожесточение.

— Нет, в самом деле! — сказал он, пытаясь понять выражение лица Спэндрелла. Но голова последнего была в тени, и свет стоящей между ними лампы слепил Рэмпиона.

— Да, в самом деле, — поддержала Мэри. — Конечно, вам следует жениться: вы станете другим человеком.

Спэндрелл засмеялся коротким фыркающим смехом и, дав своему стулу опуститься на все четыре ножки, наклонился к столу. Отодвинув чашку кофе и недопитую рюмку ликера, он положил локти на стол и оперся подбородком на руки. Его лицо озарилось розовым светом лампы. «Как химера, — подумала Мэри, — химера в розовом будуаре». В точно такой же позе она видела химеру на крыше Нотр-Дам; она сидела скрючившись и положив свою демоническую голову на когтистые лапы. Только химера была комическим дьяволом, таким неправдоподобным, что его нельзя было принимать всерьез. Спэндрелл был живой человек, а не карикатура; поэтому его лицо казалось гораздо более мрачным и трагическим. У него было худое лицо. Скулы и челюсти резко выступали под натянувшейся кожей. Серые глаза были посажены глубоко. Мясистые

губы резко выделялись на его похожем на череп лице — толстые губы, напоминавшие рубцы. «Когда он улыбается, — однажды сказала про него Люси Тэнтемаунт, — это похоже на разрез при операции аппендицита — разрез с иронически приподнятыми уголками». Красный шрам имел чувственное, но в то же время решительное выражение, так же как и круглый подбородок. Резкие линии окружали глаза и уголки губ. Густые темные волосы начинали редеть на висках.

«На вид ему лет пятьдесят, — размышляла Мэри Рэмпион. — А сколько ему на самом деле?» Подсчитав, она решила, что ему не больше тридцати двух или тридцати трех лет — как раз время остепениться.

— Другим человеком, — повторила она вслух.

— Но я вовсе не хочу становиться другим.

Марк Рэмпион кивнул.

— Да, и в этом вся ваша беда, Спэндрелл. Вам нравится вариться в собственном отвратительном и загнившем соку. Вы не стремитесь к оздоровлению. Вы наслаждаетесь собственной болезнью. Вы даже гордитесь ею.

— Брак излечит вас, — настаивала Мэри, ярая сторонница этого таинства, которому она обязана была счастьем всей жизни.

— Конечно, если только брак не погубит его жену, — сказал Рэмпион, — он может заразить ее своей гангреной.

Спэндрелл откинул голову и захохотал, но, как всегда, почти беззвучно; это был немой взрыв.

— Замечательно! — сказал он. — Замечательно! Это первый веский довод в пользу брака, какой мне довелось слышать. Ты почти убедил меня, Рэмпион. Я никогда не доводил этого до брака.

— Чего «этого»? — спросил Рэмпион, слегка нахмурившись. Ему не нравилась преувеличенно циническая манера Спэндрелла. Вот тоже: радуется тому, что он такой гадкий! Безмозглый мальчишка — только и всего.

— Процесса заражения. До сих пор я ни разу не переступал порога конторы по регистрации браков. Но в следующий раз я его переступлю. — Он глотнул бренди. — Я как Сократ, — продолжал он. — Мое божественное призвание — развращать молодежь, в частности, молодежь женского пола. Моя миссия — направлять их на запретные пути. — Он снова откинул голову и разразился беззвучным смехом. Рэмпион с отвращением поглядел на него. «Как он ломается! Он явно переигрывает, словно старается убедить самого себя, что он действительно существует».

— Если бы вы только знали, как много может дать брак! — серьезно вставила Мэри. — Если бы вы знали…

— Но, дорогая моя, он отлично знает, — нетерпеливо прервал Рэмпион.

— Пятнадцать лет мы женаты, — не унималась Мэри, преисполненная миссионерского рвения, — и смею вас уверить…

— На твоем месте я не стал бы попусту тратить время.

Мэри вопросительно посмотрела на мужа. Когда дело касалось отношений с людьми, она абсолютно доверяла суждению Рэмпиона. Сквозь эти лабиринты он пробирался с безошибочным чутьем; она могла только завидовать ему, но не подражать. «У него какой-то нюх на человеческие души», — говорила она о нем. Ее чутье на души было развито слабо. Поэтому она благоразумно позволяла ему руководить собой. Она взглянула на него. Рэмпион уставился на чашку кофе. Его лоб покрылся морщинами; по-видимому, он говорил серьезно.

— Ну что ж! — сказала она и закурила сигарету.

Спэндрелл посмотрел на них торжествующим взглядом.

— У меня свой собственный метод обращения с юными особами, — продолжал он все тем же преувеличенно циничным тоном.

Закрыв глаза, Мэри вспоминала о том времени, когда они с Рэмпионом были юны.

IX

— Какое грязное пятно! — воскликнула юная Мэри, когда они достигли вершины холма и увидели расстилавшуюся внизу долину. Стэнтон-на-Тизе лежал у их ног — черные черепичные крыши, закопченные трубы, дым. За городом подымались холмы, голые и пустынные, тянувшиеся до самого горизонта. Солнце сияло, облака отбрасывали огромные тени. — Как они смеют так портить наш чудесный вид! Как они смеют!

— В природе все прекрасно, лишь человек дурен, — процитировал ее брат Джордж.

Другой юноша был настроен более практически.

— Если бы здесь поставить батарею, — предложил он, — и выпустить сотню-другую очередей…

— Вот это было бы дело, — с восторгом согласилась Мэри.

Ее одобрение наполнило блаженством воинственного молодого человека: он был отчаянно

влюблен в нее.

— Тяжелые гаубицы… — начал было он, развивая свою мысль.

Но его прервал Джордж:

— Черт, это еще что такое?

Все посмотрели, куда он показывал. Какой-то человек подымался по склону холма, направляясь к ним.

— Понятия не имею, — сказала Мэри, глядя на него.

Человек приблизился. Это был юноша лет двадцати, с орлиным носом, голубыми глазами и светлыми шелковистыми волосами, развевавшимися по ветру: он шел с непокрытой головой. На нем была плохо сшитая куртка из дешевой ткани и серые фланелевые брюки с пузырями на коленях. Красный галстук и отсутствие тросточки довершали его туалет.

— Он, кажется, хочет заговорить с нами, — сказал Джордж.

Действительно, юноша направлялся прямо к ним. Он шел быстро и решительно, точно спешил по важному делу.

«Какое необыкновенное лицо! — подумала Мэри, когда он подошел к ним. — Но какой у него нездоровый вид! Худой, бледный!» Но глаза

незнакомца запрещали ей жалеть его. В их блеске угадывалась сила.

Он подошел и остановился перед ними, выпрямившись, точно на параде. В его позе был вызов, и вызов был в выражении его лица. Он пристально смотрел на них блестящими глазами, переводя взгляд с одного на другого.

— Добрый день, — сказал он. Заговорить стоило ему огромного усилия. Но он должен был заговорить, именно потому, что пустые лица этих богачей выражали полное пренебрежение.

— Добрый день, — ответила за всех Мэри.

— Я вторгся в ваши владения, — сказал незнакомец. — Вы не возражаете? — Его тон стал еще более вызывающим. Он мрачно посмотрел на них. Юноши разглядывали его словно издалека, из-за барьера, с выгодной позиции привилегированного класса. Они обратили внимание на то, как он одет. В их взгляде были презрение и враждебность. Был почему-то и страх. — Я вторгся в ваши владения, — повторил он. Его голос был резким, но музыкальным. Он говорил с местным акцентом.

«Один из местных мужланов», — подумал Джордж.

«Вторгся в чужие владения». Гораздо проще,

гораздо приятнее было бы ускользнуть незамеченным. Именно поэтому он заставил себя встретиться с ними лицом к лицу.

Наступило молчание. Воинственный юноша отвернулся. Он отстранился от всей этой неприятной истории. В конце концов, ему нет никакого дела. Парк принадлежит отцу Мэри. Сам он — всего только гость. Напевая «Мой девиз — всегда веселым быть», он смотрел на черный город в долине.

Молчание нарушил Джордж.

— Возражаем ли мы? — повторил он слова незнакомца. Его лицо побагровело.

«Какой идиотский у него вид! — подумала Мэри, взглянув на брата. — Точно телок. Покрасневший от злости телок».

— Возражаем ли мы? — Что за наглая скотина! Джордж старался взвинтить свое праведное негодование. — Да, мы возражаем. И я просил бы вас…

Мэри разразилась хохотом.

— Мы вовсе не возражаем, — сказала она. — Ни капельки.

Лицо ее брата стало еще краснее.

— Что ты хочешь этим сказать, Мэри? — разъяренно спросил он. («Всегда веселым быть…»

— напевал воинственный юноша, уносясь все дальше и дальше от них.) — Здесь частное владение.

— Но мы нисколько не возражаем, — повторила она, глядя не на брата, а на незнакомца. — Нисколько, когда люди говорят об этом так прямо и честно, как вы. — Она улыбнулась ему; но лицо юноши оставалось по-прежнему гордым и строгим. Посмотрев в его серьезные блестящие глаза, она тоже стала серьезной. Она сразу поняла, что дело здесь не шуточное. Оно будет иметь важные последствия, значительные последствия. Почему важные и в каком смысле значительные, она не знала. Она только смутно ощущала всем своим существом, что здесь — дело не шуточное.

— До свидания, — сказала она изменившимся голосом и протянула руку.

Незнакомец на секунду заколебался, потом взял руку.

— До свидания, — сказал он. — Я выберусь из парка как можно скорее. — И он быстро зашагал прочь.

— Что за чертовщина! — сердито набросился на сестру Джордж.

— Придержи язык! — раздраженно ответила она.

— Да еще подавать ему руку! — не успокаивался он.

— Чистокровный плебей, не правда ли? — вставил воинственный юноша.

Она молча посмотрела на одного, потом на другого и пошла вперед. Боже, до чего они неотесанные! Юноши шагали следом за ней.

— Когда же, наконец, Мэри научится вести себя прилично! — возмущался Джордж.

Воинственный юноша издал какое-то осуждающее мычание. Он любил Мэри; но и он должен был признать, что иногда она вела себя до крайности эксцентрично. Это был ее единственный недостаток.

— Подавать руку этому нахалу, — продолжал ворчать Джордж.

Так они встретились в первый раз. Мэри было в то время двадцать два года, Марку Рэмпиону — на год меньше. Он окончил второй курс Шеффилдского университета и приехал на летние каникулы в Стэнтон. Его мать жила в станционном поселке. Она получала небольшую пенсию — ее покойный муж был почтальоном — и подрабатывала шитьем. Марк получал стипендию. Его младшие и менее способные братья уже работали.

— Весьма замечательный молодой человек, — повторял ректор, когда он несколькими днями позже вкратце излагал биографию Марка Рэмпиона.

В доме ректора был устроен благотворительный базар и вечер. Ученики воскресной школы поставили на открытом воздухе маленькую пьесу. Автором был Марк Рэмпион.

— Он написал ее совершенно самостоятельно, — уверял ректор собравшееся общество. — И к тому же мальчик недурно рисует. Его картины, пожалуй, немного эксцентричны, немного… гм… — Он запнулся.

— Непонятны, — пришла ему на помощь дочь, с улыбкой представительницы буржуазии, гордящейся своей непонятливостью.

— …но очень талантливый, — продолжал ректор. — Мальчик — настоящий лебеденок Тиза, — добавил он с застенчивым, слегка виноватым смешком: он питал пристрастие к литературным намекам. Собравшиеся представители высшего общества снисходительно улыбнулись.

Вундеркинд был представлен обществу. Мэри узнала незнакомца, вторгшегося в их владения.

— Мы уже встречались с вами, — сказала она.

— Когда я занимался эстетическим браконьер-

ством в вашем имении.

— Можете это повторить, когда вам вздумается.

При этих словах он улыбнулся, немного иронически, как показалось ей. Она покраснела, испугавшись, что ее слова звучали покровительственно.

— Думаю, впрочем, что вы продолжали бы браконьерствовать и без приглашений, — добавила она с нервным смешком.

Он ничего не ответил, но кивнул головой, все еще улыбаясь.

Подошел отец Мэри. Он рассыпался в похвалах, которые, как стадо слонов, растоптали маленькую изящную пьесу Рэмпиона. Мэри стало больно. Все это не то, совершенно не то! Она это чувствовала. Но все несчастье в том, поняла она, что сама она тоже не сумела бы придумать ничего лучшего.

Ироническая улыбка не сходила с уст Рэмпиона. «Какими дураками он всех нас считает», — говорила она себе. Потом подошла ее мать. На смену «чертовски здорово!» пришло «как прелестно». Это было так же скверно, так же безнадежно некстати.

Когда миссис Фелпхэм пригласила его к чаю,

Рэмпион сначала хотел отказаться, но так, чтобы его отказ не показался грубым или оскорбительным. По существу, ведь эта дама была полна добрых намерений. Только выглядело это довольно нелепо. Деревенский меценат в юбке, все меценатство которого ограничивалось двумя чашками чая и ломтиком сливового пирога. Ее роль была комическая.

Пока он колебался, к приглашению матери присоединилась Мэри.

— Приходите, — настойчиво сказала она. Выражение ее глаз и улыбка были таковы, словно она забавлялась этой идиотской ситуацией и в то же время просила у него прощения. «Но что я могу сделать? — казалось, говорила она. — Только просить прощения».

— Я с удовольствием приду, — сказал он, обращаясь к миссис Фелпхэм.

Назначенный день настал. Рэмпион явился, все в том же красном галстуке. Мужчины были на рыбной ловле; его приняли Мэри и ее мать. Миссис Фелпхэм старалась быть на высоте положения. Местный Шекспир безусловно должен интересоваться драматургией.

— Как вам нравятся пьесы Барри? — спросила она. — Я от них в восторге. — Она разговаривала;

Рэмпион отмалчивался. Он открыл рот только тогда, когда миссис Фелпхэм, потеряв надежду услышать от него хоть слово, поручила Мэри показать ему сад.

— Боюсь, что ваша мать сочла меня очень нелюбезным, — сказал он, когда они шли по гладкой, вымощенной плитами дорожке среди розовых кустов.

— Ну что вы! — с чрезмерной сердечностью возразила Мэри.

Рэмпион рассмеялся.

— Благодарю вас, — сказал он. — Но все-таки она сочла меня нелюбезным. Потому что я и в самом деле *был* нелюбезен. Я был нелюбезен, чтобы не показаться еще более нелюбезным. Лучше молчать, чем высказывать вслух то, что я думаю о Барри.

— Вам не нравятся его пьесы?

— Пьесы Барри? Мне? — Он остановился и посмотрел на нее. Кровь прилила к ее щекам: что она сказала? — Такие вопросы можно задавать *здесь*. –Жестом он показал на цветы, на маленький пруд с фонтаном, на высокую террасу с пробивающимися между камней заячьей капустой и обретиями и на серый строгий дом в георгианском стиле. — А вы попробуйте спуститься

в Стэнтон и задайте этот вопрос *там.* Мы там живем в мире фактов, а не отгораживаемся от реальности каменной стеной. Барри может нравиться только тем, у кого есть по меньшей мере пять фунтов в неделю дохода. Для тех, кто живет в мире фактов, творчество Барри — оскорбление.

Наступило молчание. Они ходили взад и вперед между роз, тех роз, за которые, чувствовала Мэри, она должна просить прощения. Но этим она только оскорбила бы его. Огромный породистый щенок бежал им навстречу, неуклюже подпрыгивая от радости. Она окликнула его, встав на задние ноги, щенок облапил ее.

— Пожалуй, я люблю животных больше, чем людей, — сказала она, защищаясь от его слишком бурных ласк.

— Что ж, они, по крайней мере, непосредственны, они не отгораживаются от мира стеной, как люди вашего круга, — сказал Рэмпион, раскрывая скрытую связь между ее словами и предшествовавшим разговором.

Мэри была приятно поражена тем, что он так хорошо понял ее.

— Мне хотелось бы знать больше людей вашего круга, — сказала она, — настоящих людей, которые живут не за стеной.

— Не извольте воображать, что я буду служить вам гидом из агентства Кука, — иронически ответил он. — Мы, видите ли, не дикие звери и не туземцы в странных костюмах или что-нибудь еще в этом духе. Если вам угодно совершить благотворительное турне по трущобам, обращайтесь к ректору.

Она густо покраснела.

— Вы отлично знаете, что я говорю не об этом, — возразила она.

— Вы в этом уверены? — спросил он. — Когда человек богат, ему трудно рассуждать иначе. Ведь вы просто не представляете себе, что значит не быть богатым. Как рыба. Может ли рыба представить себе, какова жизнь на суше?

— Но, может быть, это можно узнать, если очень постараться?

— Пропасть слишком велика, — ответил он.

— Ее можно перешагнуть.

— Да, пожалуй, ее можно перешагнуть. — В его тоне слышалось сомнение.

Еще несколько минут они разговаривали, прогуливаясь среди роз; потом Рэмпион посмотрел на часы и сказал, что ему пора уходить.

— Но вы придете еще раз?

— А какой в этом смысл? — спросил он. — Это

слишком похоже на визиты обитателя другой планеты.

— Не думаю, — ответила она и после небольшой паузы добавила: — Вероятно, вы считаете всех нас очень глупыми, не так ли? — Она посмотрела на него. Он поднял брови, он собирался возражать. Но она не позволила ему отделаться одной вежливостью. — Потому, что мы действительно глупы. Невероятно глупы. — Она засмеялась довольно уныло. В ее кругу глупость считалась скорее добродетелью, чем недостатком. Чрезмерно умный человек рисковал уклониться от идеала джентльмена. Быть умным рискованно. Рэмпион заставил ее задуматься над тем, действительно ли на свете ничего нет лучше джентльменского идеала. В его присутствии глупость не казалась ей чем-то завидным.

Рэмпион улыбнулся ей. Ему нравилась ее откровенность. В ней была непосредственность. Ее еще не успели испортить.

— Вы провоцируете меня, — пошутил он, — вызываете меня на непочтительность и грубость по отношению к тем, кто стоит выше меня. На самом деле я совсем не так непочтителен. Люди вашего круга ничуть не глупее всех остальных. По крайней мере, от природы они не глупее. Вы — жертвы

вашего образа жизни. Вы живете, запрятавшись в свою скорлупу, с шорами на глазах. От природы черепаха, может быть, не глупее птицы, но вы должны признать, что ее образ жизни не содействует развитию умственных способностей.

В то лето они встречались много раз. Чаще всего они гуляли по вересковым пустошам. «Она похожа на силу природы, — думал он, наблюдая, как она, нагнув голову, шагает навстречу влажному ветру. — Такая энергия, сила, здоровье! Она великолепна». Сам Рэмпион с детства был хрупким и болезненным. Он восторгался природными данными, которыми сам не обладал. Мэри казалась ему норманнской Дианой вересковых пустошей. Он как-то сказал ей это. Комплимент пришелся ей по вкусу.

— «Was für ein Atavismus!»[19] Так говорила обо мне моя гувернантка, старая немка. Пожалуй, она была права: я действительно немножко «атавизмус».

Рэмпион расхохотался.

— По-немецки это получается очень смешно. Но по существу в этом нет ничего глупого. «Атавизмус» — вот чем должны быть мы все.

---

[19] Примечания: 19
Что за атавизм!*(нем.)*

«Атавизмусами» по отношению к условностям современной жизни. Разумными дикарями. Зверями, обладающими душой.

Лето было дождливое и холодное. Однажды утром того дня, когда они сговорились встретиться, Мэри получила от него письмо. «Дорогая мисс Фелпхэм, — прочла она (она испытала странное удовольствие, увидев в первый раз его почерк), — я, как идиот, схватил сильную простуду. Может быть, Вы будете более снисходительны, чем я — потому что я невероятно зол на себя, — и простите меня, если я не явлюсь до будущей недели?»

Когда она в следующий раз увидела его, он показался ей похудевшим и бледным и его все еще мучил кашель. Когда она осведомилась о его здоровье, он почти сердито оборвал ее.

— Я совершенно здоров, — резко ответил он и заговорил на другую тему. — Я перечитывал Блейка, — сказал он. И он начал говорить о «Бракосочетании Рая и Ада». — Блейк был истинно цивилизованным человеком, — утверждал Рэмпион. — Цивилизация — это гармония и полнота. У Блейка есть все: разум, чувство, инстинкт, плоть, — и все это развито гармонично. Варварство — это однобокость. Можно быть варваром интеллектуально и телесно. Варваром в отно-

шении чувств или в отношении инстинкта. Христианство сделало варварской нашу душу, а теперь наука делает варварским наш интеллект. Блейк был последним цивилизованным человеком.

Он говорил о греках и о нагих загорелых этрусках на стенной росписи гробниц.

— Вы видели их в подлиннике? — сказал он. — Завидую вам.

Мэри стало ужасно стыдно. Она видела расписанные гробницы в Тарквинии; но как мало она запомнила! Они были для нее такими же курьезами, как все те бесчисленные древности, которые она покорно осматривала, когда они с матерью путешествовали в прошлом году по Италии. Она не способна была их оценить. Тогда как если бы *он* имел возможность съездить в Италию…

— Те люди были цивилизованными, — утверждал он, — они умели жить гармонично и полно, всем своим существом. — Он говорил с какой-то страстью, словно он сердился на мир, может быть — на самого себя. — Мы все варвары, — начал он, но приступ кашля прервал его речь.

Мэри ждала, когда припадок кончится. Она чувствовала тревогу и в то же время стеснение и стыд, как бывает, когда застаешь человека

врасплох в минуту слабости, которую он обычно старательно скрывает. Она не знала, как ей следует поступить — проявить сочувствие или сделать вид, что она ничего не заметила. Он разрешил ее сомнения тем, что сам заговорил о своем кашле.

— Вот мы с вами говорим о варварстве, — сказал он с жалкой и гневной улыбкой, когда приступ кончился. В его голосе слышалось отвращение. — Что может быть более варварским, чем этот кашель? В цивилизованном обществе такой кашель был бы недопустим.

Мэри заботливо посоветовала ему какое-то средство. Он недовольно усмехнулся.

— Вот так всегда говорит моя мать, — сказал он. — В точности. Все женщины одинаковы. Клохчут, как куры над цыплятами.

— Воображаю, что бы с вами сталось, если бы мы не клохтали!

Через несколько дней — с некоторыми опасениями — он повел ее к своей матери. Опасения оказались напрасными: Мэри и миссис Рэмпион понравились друг другу. Миссис Рэмпион была женщиной лет пятидесяти, еще красивая; лицо ее выражало спокойное достоинство и покорность судьбе. Она говорила медленно и тихо. Только раз ее манера говорить стала иной: Марк вышел

из комнаты приготовить чай, и она заговорила о своем сыне.

— Что вы думаете о нем? — спросила она, наклоняясь к своей гостье; ее глаза неожиданно заблестели.

— Что я думаю о нем? — засмеялась Мэри. — Я не настолько самонадеянна, чтобы судить тех, кто выше меня. Но он, безусловно, незаурядный человек.

Миссис Рэмпион кивнула с довольной улыбкой.

— Да, он незаурядный человек, — повторила она. — Я всегда это говорила. — Ее лицо стало серьезным. — Если бы только он был покрепче! Если б я могла дать ему лучшее воспитание! Он всегда был таким хрупким. Ему нужно было больше заботы; нет, не в этом дело. Я заботилась о нем сколько могла. Ему необходимо было больше комфорта, более здоровый образ жизни. А этого я не могла ему дать. — Она покачала головой. — Вы сами понимаете. — Она с легким вздохом откинулась на спинку стула и, молча сложив руки, опустила глаза.

Мэри ничего не ответила; она не знала, что сказать. Ей снова стало стыдно, тяжело и стыдно.

— Что вы думаете о моей матери? — спросил

Рэмпион, провожая ее домой.

— Мне она понравилась, — ответила Мэри. — Очень. Хотя перед ней я чувствовала себя такой маленькой, ничтожной и скверной. Иными словами, она показалась мне замечательной женщиной, и за это я полюбила ее.

Рэмпион кивнул.

— Она действительно замечательная женщина, — сказал он. — Мужественная, сильная, выносливая. Но слишком покорная.

— А мне как раз это в ней и понравилось.

— Она не смеет быть покорной, — нахмурившись, ответил он. — Не смеет. Человек, проживший такую жизнь, как она, не смеет быть покорным. Он обязан бунтовать. Все эта проклятая религия. Я не говорил вам, что она религиозна?

— Нет, но я сразу догадалась, когда увидела ее, — ответила Мэри.

— Это варварство души. Душа и будущее — больше ничего. Ни настоящего, ни прошлого, ни тела, ни интеллекта. Только душа и будущее, а пока что — покорность судьбе. Можно ли представить себе большее варварство? Она обязана была взбунтоваться.

— Предоставьте ей думать по-своему, — сказала

Мэри, — так она счастливее. В вас бунтарства хватит на двоих.

Рэмпион рассмеялся.

— Во мне его хватит на миллионы, — сказал он.

В конце лета Рэмпион вернулся в Шеффилд, а вскоре после этого Фелпхэмы переехали в свой лондонский дом. Первое письмо написала Мэри. Она ждала от него вестей, но он не писал. Конечно, у него не было никаких оснований писать. Но она почему-то рассчитывала, что он напишет, и была огорчена, что письма нет. Неделя проходила за неделей. В конце концов она написала ему сама, спрашивая о названии книги, о которой он как-то раз говорил. Рэмпион ответил; она написала опять, чтобы поблагодарить его, так завязалась переписка.

На Рождество Рэмпион приехал в Лондон. Некоторые из его вещей были напечатаны в газетах, и он вдруг оказался небывало богатым: целых десять фунтов, с которыми он мог делать все, что угодно. К Мэри он пошел только накануне отъезда.

— Почему же вы не дали мне знать раньше? — упрекнула она его, узнав, что он уже несколько дней в Лондоне.

— Мне не хотелось вам навязываться, — ответил он.

— Но вы сами знаете, что я была бы в восторге.

— У вас есть ваши друзья. –*«Богатые* друзья», говорила его ироническая улыбка.

— А разве вы не мой друг? — спросила она, не обращая внимания на эту улыбку.

— Благодарю вас за любезность.

— Благодарю вас за то, что вы соглашаетесь быть моим другом, — ответила она без всякой аффектации и кокетства.

Он был тронут искренностью ее признания, простотой и естественностью ее чувства. Он, конечно, знал, что нравится ей и вызывает в ней восхищение; но одно дело, когда знаешь, и совсем другое дело, когда тебе об этом говорят.

— В таком случае я жалею, что не написал вам раньше, — сказал он и сейчас же раскаялся в своих словах, потому что они были неискренни. На самом деле он держался вдали от нее вовсе не из страха быть плохо принятым, а из гордости. Он не имел возможности пригласить ее куда-нибудь; он не хотел быть ей обязанным в чем бы то ни было.

Они провели этот день вдвоем и были безрассудно, несоразмерно счастливы.

— Зачем вы не сказали мне раньше? — повторяла она, когда ей настало время уходить. — Я могла бы предупредить, что не поеду на этот скучный вечер.

— Вы получите массу удовольствия, — убеждал он ее: к нему вернулся тот иронический тон, которым он говорил о ней как о представительнице обеспеченного класса. Счастливое выражение сошло с его лица. Он точно рассердился на себя за то, что чувствовал себя таким счастливым в ее обществе. Это было бессмысленно. Какой толк чувствовать себя счастливым, когда стоишь по ту сторону пропасти? — Массу удовольствия, — повторил он с еще большей горечью. — Вкусные кушанья и вина, элегантные люди, остроумная болтовня, а потом театр. Разве это не идеальное времяпрепровождение? — В его тоне слышалось беспощадное презрение.

Она посмотрела на него грустными глазами; ей стало больно оттого, что он вдруг так ополчился на проведенный ими вместе день.

— Не понимаю, зачем вы это говорите? — сказала она. — А сами вы понимаете?

После того как они расстались, этот вопрос долго звучал в его сознании: «А сами вы понимаете?» Разумеется, он понимал. Но он понимал также,

что между ними — пропасть.

На Пасху они снова встретились в Стэнтоне. За это время они обменялись множеством писем, и тот самый молодой офицер, который собирался разгромить Стэнтон при помощи гаубиц, сделал Мэри предложение. Все ее родственники были озадачены и несколько огорчены, когда она ему отказала.

— Он такой милый мальчик, — убеждала ее мать.

— Знаю. Но разве к нему можно относиться серьезно?..

— А почему нельзя?

— К тому же, — продолжала Мэри, — он не существует на самом деле. Он не живой человек: кусок мяса — больше ничего. Нельзя выйти замуж за кусок мяса! — Она вспомнила слишком живое лицо Рэмпиона; оно обжигало, оно было острым и сверкающим. — Нельзя выйти замуж за призрак, даже если у него есть кости и мясо. Особенно если на нем так много мяса. — Она разразилась хохотом.

— Не понимаю, о чем ты говоришь, — с достоинством сказала миссис Фелпхэм.

— Зато я понимаю, — ответила Мэри. –*Я* понимаю. А в данном случае только это и важно.

Гуляя с Рэмпионом по вересковым пустошам, она рассказала ему, как она расправилась с этим слишком материальным привидением военного образца. Он молча выслушал ее. Мэри была разочарована, и в то же время ей стало стыдно своего разочарования. «Боже мой, — сказала она себе, — я, кажется, старалась вызвать его на то, чтобы он сделал мне предложение!»

Дни проходили; Рэмпион был молчалив и мрачен. Когда она спросила его о причине, он стал говорить о своих безрадостных видах на будущее. К осени он окончит университет; придется искать заработок. Чтобы получить заработок немедленно — а ждать он не имеет возможности, — ему остается одно: сделаться учителем.

— Учителем, — повторил он с выражением ужаса, — учителем! И после этого вы удивляетесь, что у меня подавленное настроение? — Но у него были и другие причины чувствовать себя несчастным. «Будет она смеяться надо мной, если я сделаю ей предложение?» — думал он. Ему казалось, что нет. Но имеет ли он право предлагать, зная, что она не откажет? Имеет ли он право обрекать ее на ту жизнь, какую ей придется вести с ним? Может быть, впрочем, у нее есть собственные деньги; но в таком случае пострадает его

честь. — Вы представляете меня в роли учителя? — сказал он вслух. Учительство было для него козлом отпущения.

— А к чему вам быть учителем, раз вы можете стать писателем и художником? Вы сможете заработать себе этим на жизнь.

— Смогу ли? Учительство — это, по крайней мере, верный заработок.

— А для чего вам нужен верный заработок? — спросила она с оттенком презрения.

Рэмпион рассмеялся:

— Вы не стали бы задавать подобных вопросов, если бы вам пришлось жить на жалованье и знать, что вас могут уволить в недельный срок. Имея деньги, легко быть мужественным и уверенным в себе.

— Что ж, в этом смысле деньги — неплохая штука. Мужество и уверенность в себе — все-таки добродетели.

Долгое время они шли молча.

— Ладно, — сказал наконец Рэмпион, взглянув на нее, — вы сами вызвали меня на это. — Он попытался рассмеяться. — Так вы говорите, мужество и уверенность в себе — это добродетели? Что ж, пусть будет по-вашему. Мужество и уверенность в себе! Скажем так: я люблю вас.

Снова наступило долгое молчание. Он ждал, его сердце билось учащенно, словно от страха.

— Ну? — наконец спросил он.

Мэри повернулась к нему и, взяв его руку, поднесла ее к губам.

И до и после женитьбы у Рэмпиона было много случаев восхищаться этими взращенными богатством добродетелями. Именно Мэри заставила его отказаться от всякой мысли о преподавании и довериться исключительно своим талантам. Уверенности у нее хватало на двоих.

— Чтобы я вышла замуж за школьного учителя! — возмущалась она. И она настояла на своем: она вышла замуж за драматурга, который не поставил ни одной своей пьесы, если не считать благотворительного базара в Стэнтоне-на-Тизе, за художника, который не продал ни одной своей картины.

— Мы будем голодать, — предсказывал он. Призрак голода преследовал его: ему слишком часто приходилось видеть голод лицом к лицу.

— Чепуха! — отвечала Мэри, непоколебимо уверенная в том, что люди не умирают голодной смертью. Никто из ее знакомых никогда не голодал. — Чепуха! — И в конце концов она поставила на своем.

Главным препятствием, из-за которого Рэмпион так неохотно соглашался вступить на этот неверный путь, являлось то, что это можно было сделать только на деньги Мэри.

— Я не могу жить за твой счет, — сказал он. — Я не могу брать у тебя деньги.

— Ты и не берешь у меня деньги, — возражала она. — Просто я вкладываю в тебя капитал в надежде получить хорошие проценты. Год или два ты будешь жить за мой счет, а зато до конца жизни я смогу жить за твой счет. С моей стороны это просто выгодная сделка.

Ему оставалось только рассмеяться.

— К тому же, — продолжала она, — тебе придется жить за мой счет очень недолго. Восемьсот фунтов — не бог весть какие деньги.

В конце концов он согласился взять у нее восемьсот фунтов взаймы под проценты. Он сделал это неохотно, чувствуя, что этим он как бы изменяет своему классу. Начинать жизнь с восемьюстами фунтами в кармане — это было слишком легко, это значило уклоняться от трудностей, пользоваться незаслуженным преимуществом. Если бы не ответственность, которую он чувствовал перед своим талантом, он отказался бы от денег и либо рискнул бы предаться литературе

без гроша в кармане, либо пошел бы по проторенной дорожке педагогической деятельности. Согласившись наконец взять деньги, он поставил условие, чтобы Мэри никогда не прибегала к помощи своих родных. Мэри согласилась.

— Не думаю, впрочем, что они очень стремились прийти мне на помощь, — добавила она со смехом.

Мэри была права. Как она и ожидала, ее отец пришел в ужас от этого мезальянса. Поскольку дело касалось отца, Мэри отнюдь не угрожала опасность разбогатеть.

Они поженились в августе и немедленно уехали за границу. До Дижона они доехали по железной дороге, а оттуда пошли пешком на юго-восток, к Италии. До тех пор Рэмпион никогда не выезжал из Англии. Чужая страна была для него символом новой жизни, новой свободы. И сама Мэри была для него столь же символически необычайна, как Франция, по которой они путешествовали. Кроме уверенности в себе, в ней было удивительное, непонятное ему безрассудство. Маленькие происшествия производили на него глубокое впечатление. Взять, например, тот случай, когда она забыла свои запасные башмаки на ферме, где они провели ночь. Она обнаружила пропажу

только в конце следующего дня. Рэмпион предложил вернуться за башмаками. Она и слышать не хотела об этом.

— Пропали — и бог с ними, — сказала она, — и нечего об этом беспокоиться. Предоставь башмакам погребать своих башмаков.

Он страшно рассердился на нее.

— Помни, что теперь ты уже не богачка, — настаивал он. — Ты не можешь позволить себе такую роскошь — выбрасывать хорошие башмаки. Новую пару ты сможешь купить не раньше, чем мы вернемся в Англию. — Они взяли с собой небольшую сумму денег на поездку и дали себе слово ни в коем случае не тратить больше. — Не раньше, чем мы вернемся, — повторил он.

— Знаю, знаю, — нетерпеливо ответила она. — Ну что ж, научусь ходить босиком.

И она научилась.

— Я прирожденный бродяга, — объявила она однажды вечером, когда они лежали где-то на сеновале. — Ты себе представить не можешь, до чего мне приятно не быть респектабельной. Это во мне говорит «атавизмус». Ты слишком обо всем беспокоишься, Марк. «Воззрите на лилии полевые».

— А ведь Иисус, — рассуждал Рэмпион, — был

настоящим бедняком. В его семье только и думали о завтрашнем дне, о хлебе и башмаках для детей. Почему же тогда он говорил о будущем как миллионер?

— Потому, что он был прирожденным князем, — ответила она. — Он родился с титулом; у него было божественное право, как у короля. Миллионеры, которые сами составили себе состояние, только и думают что о деньгах; они ужасно заботятся о завтрашнем дне. У Иисуса было истинно княжеское чувство, что ничто не может его унизить. Не то что наши титулованные финансисты и мыловары. Он был подлинным аристократом. И кроме того, он был художником. У него было о чем подумать, о вещах более важных, чем хлеб и сапоги и завтрашний день. — Немного помолчав, она прибавила: — И, что самое важное, он не был респектабельным. Он не считался с приличиями. Те, кто заботится о приличиях, получают свою награду в этом мире. А мне вот в высшей степени наплевать, если мы похожи на огородных пугал.

— Ого, как ты сама себя расхваливаешь! — сказал Рэмпион. Но после этого он долго думал о ее словах и о ее непосредственной, естественной, безмятежной манере жить. Он завидовал ее «атавизмусу».

Мэри нравилось не только бродяжничество: удовольствие доставляла ей та прозаическая семейная жизнь, которую они стали вести по возвращении в Англию. Увидев впервые, как она готовит обед, Рэмпион назвал ее «Марией-Антуанеттой в Трианоне»: с таким детским энтузиазмом предавалась она этому занятию.

— Подумай хорошенько, — предупреждал он ее до женитьбы. — Тебе придется жить бедно. По-настоящему бедно, а не на тысячу фунтов в год, как твои «безденежные» знакомые. Прислуги не будет. Тебе придется самой стряпать, штопать чулки и убирать комнату. Тебе это покажется вовсе не таким уж приятным.

Мэри только смеялась.

— Это*тебе* такая жизнь покажется неприятной, — ответила она. — По крайней мере, до тех пор, пока я не научусь готовить.

До замужества ей ни разу не приходилось хотя бы сварить яйцо.

Как это ни странно, ее детское увлечение хозяйством — стряпней на настоящей плите, подметанием комнат настоящей щеткой, шитьем на настоящей швейной машине — не прошло после первых месяцев, когда все казалось интересным и новым. Хозяйство по-прежнему приводило ее

в восторг.

— Я никогда не сумею снова превратиться в настоящую леди, — говорила она, — я бы умерла со скуки. Конечно, хозяйство и возня с детьми могут наскучить и вывести человека из терпения. Но куда хуже не соприкасаться с обыденной жизнью, существовать на другой планете, вдали от мира повседневной, физической реальности.

Рэмпион рассуждал так же. Он не соглашался жить среди абстракций под предлогом занятия искусством и размышлениями. В свободное от писания пером и кистью время он помогал Мэри по хозяйству.

— Попробуй-ка выращивать цветы в милом чистеньком вакууме, — доказывал он ей. — Из этого ничего не получится. Цветам нужны перегной, и глина, и навоз. Искусству — тоже.

Для Рэмпиона жить жизнью бедняка было своего рода моральной потребностью. Даже когда он стал зарабатывать довольно много, они не держали больше одной прислуги и по-прежнему сами делали большую часть работы по хозяйству. У него это был принцип — своего рода noblesse oblige или, вернее, roture oblige[20]. Жизнь богача,

---

[20] Примечания: 20

Благородство обязывает… плебейство обязывает*(фр.).*

в приятном отдалении от материальных забот, была бы, с его точки зрения, своего рода изменой его классу, его близким. Если бы он сидел сложа руки и платил прислуге, чтобы она работала за него, он тем самым оскорблял бы память своей матери, он словно говорил бы ей, что он слишком хорош для той жизни, какую вела она.

Бывали случаи, когда он ненавидел эту моральную потребность, потому что она заставляла его поступать глупо и смешно; и, ненавидя, он пытался бунтовать. Взять, например, его бессмысленное возмущение по поводу привычки Мэри лежать по утрам в постели. Когда ей было лень, она не вставала — только и всего. Когда это случилось в первый раз, Рэмпион серьезно огорчился.

— Но ведь нельзя же валяться в постели все утро, — возмущался он.

— Почему?

— Как почему? Да потому что нельзя.

— Нет, можно, — спокойно сказала Мэри. — И я это делаю.

Это возмутило его. Проанализировав свое возмущение, он убедился, что оно неразумно. Но он все-таки возмущался. Он возмущался потому, что сам он всегда вставал рано, потому, что всем его близким приходилось вставать рано.

Он отказывался понять, как это можно лежать в постели, когда другие на ногах и работают. Позднее вставание каким-то образом усугубляло несправедливость, прибавляя к ней оскорбление. А между тем его раннее вставание совершенно явно не приносило никакой пользы тем людям, которые были вынуждены вставать рано. Раннее вставание без всякой на то необходимости было словно данью уважения, как обнажение головы в церкви. И в то же время оно было умилостивительной жертвой, приносимой для очищения совести.

«Совершенно незачем относиться к этому так, — убеждал он себя. — Попробуй представить себе эллина, рассуждающего подобным образом!»

Представить себе это было невозможно. Но факт оставался фактом: как ни осуждал он свое отношение, менять его он не умел.

«Мэри рассуждает более здраво», — подумал он, вспоминая слова Уолта Уитмена о животных: «Они не скорбят, не жалуются на свой злополучный удел. Они не плачут бессонными ночами о своих грехах». Мэри именно такая, и это хорошо. Быть совершенным животным и в то же время совершенным человеком — таков был его идеал. И все-таки он возмущался, когда она нежилась в

постели по утрам. Он старался не возмущаться, но у него ничего не выходило. Его бунт выражался в том, что иногда он из принципа оставался в постели до полудня. Он чувствовал, что его долг — не быть варваром совести. Но прошло много времени, пока он научился наслаждаться ленью.

Страсть валяться в постели не была единственной огорчавшей его привычкой Мэри. В эти первые месяцы их совместной жизни он нередко, втайне и вопреки своим принципам, возмущался ее поведением. Мэри скоро научилась распознавать признаки его скрытого неодобрения и всякий раз, когда видела, что он возмущен, нарочно старалась возмутить его еще больше; она считала, что ему это только полезно.

— Ты нелепый старый пуританин, — говорила она ему.

Ее насмешки сердили его, так как он знал, что Мэри права. Отчасти он действительно был пуританином. Отец умер, когда он был совсем ребенком, и его воспитала добродетельная и религиозная мать, приложившая все усилия к тому, чтобы приучить его отрицать самое существование всех инстинктов и плотских порывов. Когда он вырос, он взбунтовался против этого воспитания — но только в теории. Он восставал

против той концепции жизни, которая вошла ему в плоть и кровь; он воевал с самим собой. Сознанием он одобрял непринужденную терпимость, с какой Мэри относилась к поведению, являвшемуся, с точки зрения его матери, ужасным и греховным; он восхищался тем, как она непритворно наслаждается едой, вином и поцелуями, пением и танцами, гуляниями и театрами и всякого рода увеселениями. И все-таки, когда она в те дни заговаривала самым спокойным и деловитым тоном о том, на что его приучили смотреть как на прелюбодеяние и блуд, что-то в нем возмущалось — не разум (потому что разум после минутного размышления одобрял Мэри), а какие-то более глубокие слои его существа. И та же самая часть его втайне страдала от ее сильной и простодушно проявлявшейся склонности к удовольствиям и развлечениям, от ее непринужденного смеха, ее великолепного аппетита, ее откровенной чувственности. Ему пришлось долго отучаться от привитого воспитанием пуританизма. Бывали минуты, когда его любовь к матери превращалась почти в ненависть.

— Она не имела права воспитывать меня так, — говорил он. — Она поступала как японский садовник, уродующий дерево. Никакого права!

И все-таки он радовался тому, что не родился благородным дикарем, подобно Мэри. Он радовался, что ему пришлось трудолюбиво воспитывать в себе это благородное дикарство. Позже, после нескольких лет совместной жизни, когда между ними создалась близость, казавшаяся немыслимой в те первые месяцы открытий, ударов и неожиданностей, он научился говорить с ней на эту тему.

— Жизнь дается тебе слишком легко, — объяснял он, — ты живешь инстинктом. Ты от природы знаешь, как тебе поступать, — вроде насекомого, когда оно выходит из куколки. Это слишком просто, слишком легко. — Он покачал головой. — Ты не заработала своей мудрости; ты даже не понимаешь, что можно жить иначе.

— Иными словами, — сказала Мэри, — я дура.

— Нет, ты — женщина.

— Ну да, то же самое, только в вежливой форме. Хотела бы я знать, — с кажущейся непоследовательностью продолжала она, — что стало бы с тобой без меня. Хотела бы я знать, что стал бы ты делать, если бы не встретил меня. — Она пункт за пунктом излагала свое обвинение, внешне бессвязное, но эмоционально последовательное.

— Со мной стало бы то, что стало, и я делал бы

то самое, что делаю сейчас. — Разумеется, он этого не думал: он отлично знал, чем обязан ей, чему он научился от нее и через нее. Но ему нравилось дразнить ее.

— Ты сам знаешь, что это — неправда, — возмутилась Мэри.

— Это правда.

— Это ложь. А чтобы доказать тебе это, — добавила она, — я вот заберу детей и уйду от тебя на несколько месяцев. Поживи-ка один, поварись в собственном соку! Посмотрю-ка я, как ты без меня обойдешься!

— Не беспокойся: отлично обойдусь, — заявил он раздражающе спокойным тоном.

Мэри вспыхнула: она начинала сердиться по-настоящему.

— Что ж, прекрасно, — ответила она. — В таком случае я и в самом деле уйду. Вот увидишь. — Она не раз угрожала ему этим; они часто ссорились, потому что оба были вспыльчивы.

— Уходи, — сказал Рэмпион. — Помни только, что за мной дело тоже не станет. Как только ты уйдешь от меня, я уйду от тебя.

— Посмотрим, как ты проживешь без меня, — грозила она.

— А ты? — спросил он.

— Что я?

— Ты, может быть, воображаешь, что тебе без меня будет легче, чем мне без тебя?

Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, а потом одновременно разразились смехом.

X

— Да, собственный метод, — повторил Спэндрелл. — Берут молодую девушку, несчастную или неудовлетворенную, или мечтающую поступить на сцену, или посылающую свои произведения в журналы, которые их отвергают, и считающую себя на этом основании «âme incomprise»[21]. — Он хвастливо обобщал случай с бедняжкой Хэрриет Уоткинс. Если бы он просто описал свой роман с Хэрриет, это не произвело бы впечатления такого необыкновенного подвига. Хэрриет была трогательно-беспомощным созданием; любой мужчина сумел бы ее обмануть. Но, обобщенная подобным образом, словно случай с Хэрриет был лишь одним из тысячи, и изложенная языком поваренной книги («Берут то-то и то-то» — точь-в-точь кулинарный рецепт миссис Биток), вся эта история звучала, по его мнению, весьма цинично

---

[21] Примечания: 21
Непонятой душой*(фр.).*

и внушительно. — И относятся к ней очень нежно и очень добродетельно и вполне невинно — одним словом, как старший брат. И она считает вас таким чудесным, потому что, разумеется, до сих пор она не встречала других мужчин, кроме конторщиков из Сити, никогда не встречала людей с такими мыслями и такими стремлениями, как у вас. Она считает вас чудесным, потому что вы знаете все об искусстве, и встречались со всеми знаменитостями, и думаете не только о деньгах, и не говорите фразами из утренней газеты. И к тому же она немножко трепещет перед вами, — добавил он, вспомнив выражение испуганного обожания на лице малютки Хэрриет. — Вы такой нереспектабельный и в то же время вы явно принадлежите к высшему классу, вы чувствуете себя как дома среди великих творений и великих людей, вы такой порочный и в то же время такой необыкновенно добрый, такой начитанный, вы так много путешествовали, вы такой блестящий космополит и аристократ (слыхали когда-нибудь, как обитатели предместий говорят об аристократах?), как джентльмен с орденом Золотого Руна на рекламах сигарет «Де Решке». Да, перед вами трепещут; но в то же время вас обожают. Вы так прекрасно все понимаете, вы так много

знаете о жизни вообще и о ее собственной душе в частности, и вы не пристаете к ней, не ведете себя нахально, как другие мужчины. Она чувствует, что может вполне довериться вам; и в первые недели она действительно может довериться. Ее приучают к ловушке; она становится совсем ручной и доверчивой, ее дрессируют так, что она перестает стесняться братского поглаживания по спине или целомудренного дядюшкиного поцелуя в лоб. А тем временем вы втираетесь к ней в доверие, заставляете ее говорить о любви, сами говорите с ней о любви, как с мужчиной одного с вами возраста, таким же грустно-разочарованным и горько знающим, как вы сами, что ужасно шокирует ее (хотя, конечно, она в этом не признается), но в то же время глубоко волнует и необычайно льстит ей. За это одно она готова влюбиться в вас. Ну а когда наконец наступает благоприятный момент, когда она приручена и больше не боится, вы подводите дело к развязке. Вы приглашаете ее к себе на чашку чая — она уже приучена к тому, чтобы безбоязненно приходить к вам на квартиру. Спешить некуда, потому что потом вы вместе поедете ужинать. Сумерки сгущаются, вы разочарованно, но с чувством говорите о тайнах любви,

вы смешиваете коктейли — очень крепкие — и продолжаете разговаривать, а она тем временем рассеянно выпивает одну рюмку за другой. Усевшись на полу, у ее ног, вы очень нежно и вполне платонически поглаживаете ей ножки и продолжаете рассуждать о философии любви, точно вы и не сознаете, что делают ваши руки. Если это не встретило возражений — а коктейли сделали свое дело, — остальное не представит никаких трудностей. Так, по крайней мере, бывало у меня. — Спэндрелл налил себе еще бренди и выпил. — Но самое веселое начинается тогда, когда она уже стала вашей возлюбленной. Тогда вы начинаете проявлять все ваши сократические таланты. Вы развиваете ее темпераментишко, вы приучаете ее — потихоньку, нежно и терпеливо — к самым грубым проявлениям чувственности. А сделать это вовсе не трудно: чем она невиннее, тем это легче. Девушки такого сорта с наивной непосредственностью доходят до самого грязного разврата.

— Не сомневаюсь, — возмущенно сказала Мэри. — Но чего ради вы это делаете?

— Ради развлечения, — с театральным цинизмом сказал Спэндрелл. — Чтобы убить время и разогнать скуку.

— А главным образом, — закончил Марк Рэмпион, не поднимая глаз от чашки кофе, — ради мести. Этим вы мстите женщинам, вы наказываете их за то, что они — женщины и привлекательны, вы даете выход своей ненависти к ним и к тому, что они олицетворяют, вы даете выход своей ненависти к самому себе. Вся ваша беда, Спэндрелл, — продолжал он, неожиданно с укором посмотрев блестящими светлыми глазами на Спэндрелла, — в том, что вы ненавидите самого себя. Вы ненавидите самый источник своей жизни, ее основу — ведь не станете же вы отрицать, что в основе жизни лежит взаимоотношение полов. А вы ненавидите женщин,*ненавидите.*

— Ненавижу? — Это было неожиданное обвинение. Спэндрелл привык, что его ругают за чрезмерную любовь к женщинам и к чувственным наслаждениям.

— И не только вы. Вся эта публика. — Движением головы Рэмпион указал на остальных обедающих. — А также все респектабельные люди. Все страдают этим. Это болезнь современного человека; я зову ее иисусовой болезнью, по аналогии с брайтовой болезнью. Вернее — иисусовой и ньютоновой болезнью, потому что ученые повинны в ней не меньше христиан. И крупные

дельцы тоже, если на то пошло. Это иисусова, ньютонова и фордова болезнь. Эта троица убивает человечество, высасывает из нас жизнь и начиняет нас ненавистью.

Эта тема очень занимала Рэмпиона. Весь день он трудился над рисунком, символически выражавшим его мысли. Рисунок изображал Иисуса с повязкой на бедрах, как в день казни, и хирурга в халате со скальпелем в руке; они стояли по бокам операционного стола, на котором ногами к зрителю был распят вскрытый мужчина. Из отвратительной раны в его животе свисал клубок внутренностей, которые, падая на землю, переплетались с внутренностями лежавшей на переднем плане женщины и аллегорически превращались в целый выводок змей. На заднем плане тянулись гряды холмов, покрытых черным пунктиром угольных шахт и фабричных труб. В одном углу рисунка, позади фигуры Иисуса, два ангела — духовный продукт стараний вивисекторов — пытались подняться на распростертых крыльях. Тщетно: их ноги запутались в клубке змей. Несмотря на все свои усилия, они не могли оторваться от земли.

— Иисус и ученые подвергают нас вивисекции, — продолжал он, думая о своем рисунке, — рассе-

кают наши тела на куски.

— Что же в этом плохого? — возразил Спэндрелл. — Вероятно, тела для этого и созданы. Недаром существует стыд. Стыд своего тела и его функций возникает у нас самопроизвольно. Он свидетельствует о том, что наше тело есть нечто абсолютно и естественно низшее.

— Абсолютная и естественная чушь! — возмутился Рэмпион. — Начать с того, что стыд возникает вовсе не самопроизвольно. Нам его прививают. Можно заставить людей стыдиться чего угодно. Стыдиться желтых ботинок при черном сюртуке, неподобающего акцента, капли, висящей на носу. Решительно всего, и в том числе тела и его функций. Но этот вид стыда ничуть не менее искусствен, чем все остальные. Его выдумали христиане, подобно тому как портные с Сэвил-роуд выдумали, что стыдно носить желтые ботинки при черном сюртуке. В дохристианские времена этого стыда не существовало. Возьмите греков, этрусков…

Последние слова Рэмпиона перенесли Мэри на вересковые пустоши около Стэнтона. Он все такой же. Он стал только немножко сильнее. Какой больной вид был у него в тот день. Ей было стыдно своего здоровья и богатства. Любила ли

она его тогда так же сильно, как любит теперь?

Спэндрелл поднял длинную, костлявую руку.

— Знаю, знаю… Благородные, обнаженные, античные. Боюсь только, что эти физкультурные язычники — современная выдумка. Мы выпускаем их на арену каждый раз, когда нам хочется подразнить христиан. Но существовали ли они на самом деле? Сомневаюсь.

— Но посмотрите на их искусство, — вставила Мэри, вспоминая фрески в Тарквинии. Она увидела их еще раз вместе с Марком, и на этот раз она их по-настоящему видела.

— Да, а посмотрите-ка на наше, — отпарировал Спэндрелл. — Когда археологи через три тысячи лет отроют скульптурный зал Королевской академии, они будут утверждать, что лондонцы двадцатого столетия носили фиговые листки, публично кормили грудью детей и обнимались в парках совершенно голые.

— Жаль, что они этого не делают, — сказал Рэмпион.

— Да, но все-таки они этого не делают. Но оставим пока вопрос о стыде; что вы скажете об аскетизме как необходимом условии мистического опыта?

Рэмпион молитвенно сложил руки и, откинув-

шись в кресле, возвел очи горе.

— Господи, спаси и помилуй! — сказал он. — Вот уже до чего дошло? Мистический опыт и аскетизм! Ненависть блудодея к жизни принимает новую форму.

— Но серьезно… — начал Спэндрелл.

— Нет, серьезно, читали вы «Таис» Анатоля Франса?

Спэндрелл отрицательно покачал головой.

— Прочитайте, — сказал Рэмпион. — Обязательно прочитайте. Конечно, «Таис» элементарна. Детская книга. Но не годится становиться взрослым, не прочитав всех детских книг. Прочтите ее, а тогда мы с вами поговорим об аскетизме и мистическом опыте.

— Что ж, прочитаю, — сказал Спэндрелл. — Я ведь хотел только сказать, что аскетам известны некоторые состояния духа, незнакомые всем остальным людям.

— Не сомневаюсь. А если вы будете обращаться с вашим телом так, как велит природа, вы испытаете такие состояния, которые и не снились занимающимся вивисекцией аскетам.

— Но состояния, доступные вивисекторам, лучше, чем состояния тех, кто потворствует своим страстям.

— Иными словами, сумасшедшие лучше, чем нормальные люди? С этим я никогда не соглашусь. Здоровому, гармоническому человеку доступны и те состояния и другие. Он не такой дурак, чтобы убивать часть самого себя. Он умеет сохранять равновесие. Конечно, это не легко; больше того, это дьявольски трудно. Нужно примирить от природы враждебные силы. Сознание стремится подавить работу бессознательной, физической, инстинктивной части человеческого существа. Жизнь для одного означает смерть для другого, и наоборот. Но нормальный человек по крайней мере пытается сохранить равновесие. А христиане, люди ненормальные, уговаривают человека выбросить половину самого себя в мусорный ящик. А потом приходят ученые и дельцы и говорят нам, что мы должны выбросить еще половину из того, что оставили христиане. Но я не хочу быть на три четверти мертвым: я предпочитаю быть живым, целиком живым. Пора восстать на защиту жизни и цельности.

— Но если стать на вашу точку зрения, — сказал Спэндрелл, — то наша эпоха в реформах не нуждается. Это — золотой век гуманности, спорта и беспорядочных половых сношений.

— Если бы вы только знали, какой Марк, в сущ-

ности, пуританин, — засмеялась Мэри Рэмпион, — какой он безнадежно старый пуританин!

— Вовсе не пуританин, — сказал ее муж, — просто нормальный человек. А вы не лучше остальных, — снова обратился он к Спэндреллу. — Вы все воображаете, будто нет никакой разницы между современной, холодной цивилизованной похотливостью и здоровым, скажем, фаллизмом (такую форму принимало в те времена религиозное чувство; читали «Ахарнян»?), одним словом, фаллизмом древних.

Спэндрелл застонал и покачал головой:

— Избави нас Боже от этих гимнастов!

— А между тем разница здесь большая, — продолжал Рэмпион. — Современная похотливость — просто христианство навыворот. Аскетическое презрение к телу, выраженное другим способом. Презрение и ненависть. Об этом-то я вам и говорю. Вы ненавидите самого себя, вы ненавидите жизнь. У вас только такая альтернатива: либо свальный грех, либо аскетизм. Две формы смерти. Знаете, христиане и то гораздо лучше понимали фаллизм, чем наше безбожное поколение. Как это там говорится в свадебном обряде? «Телом моим служу тебе». Служение телом — это ведь подлинный фаллизм. А если вы думаете, что это

хоть сколько-нибудь похоже на бесстрастный цивилизованный свальный грех наших передовых молодых людей, вы жестоко ошибаетесь.

— Что вы, я охотно соглашаюсь, что наши цивилизованные развлечения смертоносны, — ответил Спэндрелл. — Есть, знаете, такой запах… — он говорил отрывисто, в промежутках между словами старательно раскуривая наполовину потухшую сигару, — дешевых духов… давно не мытого тела… иногда я думаю… что такой запах… должен быть в аду. — Он отбросил спичку. — Но есть еще одна возможность, и в ней нет ничего смертоносного. Возьмите, например, Иисуса или святого Франциска — разве они трупы?

— Не без того, — сказал Рэмпион. — Они не совсем трупы, а так, кусочками. Я готов согласиться, что иные кусочки в них были очень даже живые. Но оба они попросту не считались с целой половиной человеческого общества. Нет, нет, это не то! Пора перестать говорить о них. Мне надоели Иисус и Франциск, смертельно надоели.

— Что ж, возьмем поэтов, — сказал Спэндрелл. — Вы ведь не скажете, что Шелли — труп.

— Шелли? — воскликнул Рэмпион. — Не говорите мне о Шелли. — Он выразительно покачал головой. — Нет, нет! В Шелли есть что-то ужасно

гнусное. Он не человек, не мужчина. Помесь эльфа и слизняка.

— Полегче, полегче, — запротестовал Спэндрелл.

— Ах да, утонченный и так далее! А внутри такая, знаете ли, бескровная слякоть. Ни крови, ни костей, ни кишок. Слизь и белый сок — и больше ничего. И с какой гнусной ложью в душе! Как он всегда убеждал себя и других, что земля — это вовсе не земля, а либо небо, либо ад. А когда он спал с женщинами, так вы не подумайте, пожалуйста, что он спал с ними — как можно! Просто двое ангелов брались за ручки. Фу! Вспомните, как он обращался с женщинами. Возмутительно, просто возмутительно! Конечно, женщинам это нравилось — на первых порах. Они чувствовали себя такими духовными — по крайней мере до тех пор, пока у них не появлялось желание покончить с собой. Ужасно духовными! А на самом деле он был всегда только школьник: мальчику не терпится, вот он и уверяет сам себя и всех других, что он — это Данте и Беатриче в одном лице. Какая гнусность! Единственное оправдание — что это была не его вина. Он родился не мужчиной: он был эльфом из породы слизняков и с половыми потребностями школьника. А потом вспомните

его полную неспособность назвать лопату лопатой. Ему непременно нужно было делать вид, что это ангельская арфа либо платоновская идея. Помните оду «К жаворонку»? «Здравствуй, легкое творенье! Ты не птица, светлый дух!» — Рэмпион декламировал с преувеличенным «выражением», пародируя профессионального чтеца. — Он, как всегда, делает вид, как всегда лжет. Разве можно допустить, что жаворонок — это только птица, с кровью, перьями, которая вьет себе гнездо и кушает гусениц? Ах, что вы! Это недостаточно поэтично, это слишком грубо. Нужно, чтобы жаворонок стал бесплотным духом. Без крови, без костей. Так, какой-то эфирный, летучий слизняк. Как и следовало ожидать, Шелли сам был своего рода летучим слизняком; а в конце концов писать можно только о самом себе. Если человек слизняк, он будет писать о слизняках, даже тогда, когда он воображает, будто пишет о жаворонках. Надеюсь только, — добавил Рэмпион со взрывом комически преувеличенного бешенства, — надеюсь, что у этой птицы хватило ума, как у воробьев в книге Товита, наложить ему как следует в глаза. Это проучило бы его за то, что он говорил, будто жаворонок — не птица. Светлый дух, действительно! Светлый дух!

XI

Вокруг Люси всегда становилось особенно шумно. Чем больше народу, тем больше веселья — таков был ее принцип; а если не веселья, то, по крайней мере, шума, суетни, возможности рассеяться. Через пять минут после ее приезда в уголок, где Спэндрелл и Рэмпионы просидели весь вечер за уединенной и спокойной беседой, хлынула шумная и пьяная компания из внутреннего зала. Самым громогласным и самым нетрезвым из всех был Касберт Аркрайт. Он шумел и пил из принципа и из любви к искусству, а также к спиртному. Он считал, что криком и агрессивным поведением он защищает искусство от филистеров. Нализавшись, он чувствовал себя воином, выступающим на стороне восставших ангелов, Бодлера, Эдгара Аллана По и де Куинси против тупой, бессмысленной толпы. А когда он хвастался своими прелюбодеяниями, он делал это потому, что респектабельные люди считали Блейка безумцем, что Баудлер редактировал Шекспира, что автор «Мадам Бовари» подвергался судебным преследованиям и что служащие Бодлианской библиотеки выдавали «Содом» графа Рочестера только по предъявлении документа,

удостоверяющего, что данный читатель занимается исследовательской работой. Он зарабатывал себе на жизнь и считал, что «служит искусству», выпуская ограниченным тиражом и в роскошных изданиях наиболее скабрезные образчики отечественной и иностранной литературы. Белокурый, с красным, как сырое мясо, широким лоснящимся лицом и зелеными рачьими глазами, он приблизился, изрыгая приветствия. За ним жеманно следовал Вилли Уивер, вечно улыбающийся человечек с очками на длинном носу, искрящийся хорошим настроением и болтающий без умолку. За ним шел Питер Слайп, его близнец по росту, тоже в очках, но серый, тусклый, сутулый и молчаливый.

— Они похожи на рекламу патентованного лекарства, — сказал, увидев их, Спэндрелл. — Слайп — пациент «до». Уивер — тот же пациент после первой бутылки, а Касберт Аркрайт иллюстрирует ужасающие результаты полного курса лечения.

Люси все еще смеялась этой шутке, когда Касберт схватил ее за руку.

— Люси! — закричал он. — Ангел мой! Скажите мне, ради Создателя, зачем вы всегда пишете карандашом? Я никогда не могу разобрать, что

вы написали. Чистая случайность, что я сегодня здесь.

«Ах, так она назначила ему здесь свидание, — подумал Уолтер. — Этому грубому, неотесанному балбесу!»

Вилли Уивер обменялся рукопожатием с Мэри Рэмпион и Марком.

— Мог ли я ожидать, что встречу здесь великих, — сказал он. — Равно как и прекрасных. — Он поклонился в сторону Мэри, которая разразилась громким мужским смехом. Вилли Уивер был скорее польщен, нежели оскорблен. — Ну прямо «Таверна Русалки», — не унимался он.

— Все еще возитесь со своими безделушками? — спросил Спэндрелл, обращаясь через стол к усевшемуся возле Уолтера Питеру Слайпу. Питер работал в отделе ассириологии Британского музея.

— Но зачем карандашом, зачем карандашом? — ревел Касберт.

— Когда я пишу чернилами, я всегда пачкаю пальцы.

— Я поцелуями стер бы с них чернила, — заявил Касберт и, нагнувшись над ее рукой, принялся целовать ее тонкие пальцы.

— В таком случае я куплю стилограф! — рассме-

ялась Люси.

Уолтер смотрел в полной растерянности. Как! Неужели этот шут гороховый?..

— Неблагодарная! — сказал Касберт. — Но мне еще нужно поговорить с Рэмпионом.

И, отвернувшись, он ударил Рэмпиона по плечу и одновременно помахал Мэри рукой.

— Какая ве́черя! — точно чайник на огне, кипел Вилли Уивер. Теперь он повернулся носиком к Люси. — Какое пиршество! Какой... — он на мгновение запнулся, подыскивая полноценное, выразительное слово, — какой афинский размах! Какая более чем платоновская оргия!

— А что такое афинский размах? — спросила Люси.

Вилли сел и принялся объяснять:

— Видите ли, я хотел противопоставить афинский размах нашей буржуазной и пекснифовской узости...

— Почему вы не позволяете мне напечатать что-нибудь из ваших вещей? — вкрадчиво осведомился Касберт.

Рэмпион неприязненно оглядел его.

— Вы думаете, я добиваюсь чести, чтобы мои книги продавались на развале?

— Они будут в хорошей компании, — сказал

Спэндрелл. — Творения Аристотеля…

Касберт громогласно запротестовал.

— Сравните выдающегося англичанина эпохи Виктории с выдающимся греком эпохи Перикла, — сказал Вилли Уивер. Он улыбался, он был доволен собой и растекался в красноречии.

На Питера Слайпа бургундское оказывало угнетающее, а не возбуждающее действие. Вино только усиливало свойственную ему тусклую меланхолию.

— А как Беатриса? — спросил он Уолтера. — Беатриса Гилрэй? — Он икнул и сделал вид, что это кашель. — Вы, наверно, часто видитесь с ней теперь, когда она работает в «Литературном мире»?

Уолтер виделся с ней три раза в неделю и всегда находил ее в добром здравии.

— Когда увидите, передайте ей от меня привет, — сказал Слайп.

— Громогласные борборигмы неудобоваримого Карлейля! — продекламировал Вилли Уивер и сияющим взглядом посмотрел сквозь очки. «Трудно было бы найти mot более восхитительно juste»[22], — подумал он с удовлетворением.

---

[22] Примечания: 22
Словечко… точное*(фр.).*

Он слегка кашлянул, как он делал всегда после своих наиболее удачных изречений. В переводе на обычный язык это покашливание означало: «Я должен был бы смеяться, я должен был бы аплодировать, но мне не позволяет скромность».

— Громогласные — что? — спросила Люси. — Не забывайте, что я очень необразованна.

— О, простодушный щебет лиры! — сказал Вилли. — Разрешите налить себе еще этого благородного напитка. «Румяная Ип-покрена».

— Она обошлась со мной ужасно, совершенно ужасно, — жаловался Питер Слайп. — Но пусть она не думает, что я на нее в обиде.

Вилли Уивер причмокнул над стаканом бренди.

— «Лишь сыны Сиона знают твердь блаженства, влагу счастья», — переврал он цитату и снова самодовольно кашлянул.

— Все несчастья Касберта, — говорил Спэндрелл, — в том, что он никак не может уловить разницу между искусством и порнографией.

— Конечно, — продолжал Питер Слайп, — она имеет полное право делать все, что угодно, в собственном доме. Но выгонять меня без всякого предупреждения!..

В другое время Уолтер с наслаждением вы-

слушал бы слайповскую версию этой занятной истории. Но сейчас он не мог отнестись к ней с должным вниманием, потому что рядом сидела Люси.

— Иногда мне кажется, что в Викторианскую эпоху жить было гораздо интереснее, чем теперь, — говорила она. — Чем больше запретов, тем интереснее жить. Если вы хотите посмотреть на людей, которые испытывают истинное наслаждение от пьянства, поезжайте в Америку. В Викторианской Англии во всех областях царил сухой закон. Например, девятнадцатый параграф о любви. Они нарушали его с таким же энтузиазмом, с каким американцы напиваются. Боюсь, что я не очень верю в «афинский размах» — во всяком случае, если вы его видите здесь.

— Вы предпочитаете Пекснифа Алкивиаду, — заключил Вилли Уивер.

Люси пожала плечами.

— Мне никогда не приходилось иметь дело с Пекснифом.

— Скажите, — говорил Питер Слайп, — вас когда-нибудь щипала гусыня?

— Меня — что? — Уолтер вновь переключил внимание на Слайпа.

— Щипала гусыня?

— Насколько я помню, никогда.

— Это очень неприятное ощущение. — Слайп потыкал в воздух указательным пальцем, потемневшим от табака. — Беатриса именно такая. Она щиплется; она любит щипаться. В то же время она очень добра. Но она желает быть доброй обязательно по-своему, а если вам не нравится, она вас щиплет. Она и щиплет-то из добрых чувств — так, по крайней мере, всегда казалось мне. Я не возражал. Но почему она вышвырнула меня из дому, словно я какой-нибудь преступник? А сейчас так трудно найти квартиру! Мне пришлось три недели жить в пансионе. Как там кормили!.. — Он весь передернулся.

Уолтер не мог удержаться от улыбки.

— Она, вероятно, спешила водворить на ваше место Барлепа.

— Но к чему такая спешка?

— Когда на смену старой любви приходит новая...

— Но какое отношение имеет к Беатрисе любовь? — спросил Слайп.

— Огромное, — вмешался Вилли Уивер. — Колоссальное! Перезрелые девы всегда самые страстные.

— Но у нее за всю жизнь не было ни одной лю-

бовной связи.

— Поэтому-то она такая неистовая, — торжествующе заключил Вилли. — Предохранительный клапан закрыт слишком плотно. Жена уверяет, что белье она носит такое, что хоть самой Фрине впору. Это угрожающий симптом.

— Может быть, она просто любит хорошо одеваться? — предположила Люси.

Вилли Уивер покачал головой. Это предположение казалось ему слишком простым.

— Подсознание этой женщины подобно черной пропасти. — На мгновение Вилли замолчал. — На дне которой копошатся жабы, — заключил он и скромно кашлянул, поздравляя себя с очередным достижением.

Беатриса Гилрэй чинила розовую шелковую кофточку. Ей было тридцать пять лет, но она казалась моложе; вернее сказать, она казалась женщиной без возраста. Кожа у нее была чистая и свежая. Блестящие глаза смотрели из неглубоких, без единой морщинки орбит. Ее лицо нельзя было назвать некрасивым, но было что-то комическое в форме ее вздернутого носика, что-то немножко нелепое в ее глазах, похожих на яркие бусинки, в ее пухлых губах и круглом, вызывающем подбородке. Но смеяться с ней

было так же легко, как над ней: рот у нее был веселый, а выражение круглых удивленных глаз было насмешливым и лукаво-любопытным. Она делала стежок за стежком. Часы тикали. Движущееся мгновение, которое, согласно сэру Исааку Ньютону, отделяет бесконечное прошлое от бесконечного будущего, неумолимо продвигалось вперед сквозь измерение времени. Или, если прав Аристотель, какая-то частица возможного ежесекундно становилась действительностью; настоящее стояло неподвижно и втягивало в себя будущее, точно человек, втягивающий в себя бесконечную макаронину. Время от времени Беатриса реализовывала потенциальный зевок. В корзине у камина лежала черная кошка; она мурлыкала, ее сосали четверо слепых пегих котят. Стены комнаты были желтые, как первоцвет. На верхней полке книжного шкафа пыль скапливалась на книгах по ассириологии, приобретенных тогда, когда верхний этаж снимал Питер Слайп. На столе лежал раскрытый томик «Мыслей» Паскаля с карандашными пометками Барлепа. Часы продолжали тикать.

Хлопнула входная дверь. Беатриса положила розовую шелковую кофточку и вскочила.

— Не забудьте выпить молоко, Денис, — сказала

она, выглядывая в холл. Голос у нее был звонкий, резкий и повелительный.

Барлеп повесил пальто и подошел к двери.

— Зачем вы меня дожидались? — сказал он с нежным упреком, даря ей одну из своих строгих и тонких улыбок в стиле Содомы.

— У меня была работа, которую мне хотелось кончить, — солгала Беатриса.

— Это страх как мило с вашей стороны. — Разговорные выражения, которыми Барлеп любил уснащать свою речь, звучали в его устах довольно чудно. «Он употребляет простонародные выражения, — сказал однажды Марк Рэмпион, — как иностранец, прекрасно владеющий английским языком, но все-таки иностранец. Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь слышать, как индус называет кого-нибудь “дельным парнем”? Простонародный язык Барлепа напоминает мне именно это».

Для Беатрисы, однако, это «страх как мило» прозвучало как нечто вполне естественное и отнюдь не иностранное. Она покраснела радостно и застенчиво, как молодая девушка. Но вслух она повелительно протрещала:

— Входите и закрывайте дверь.

Мягкая девическая робость скрывалась под

жесткой оболочкой; внешняя часть ее «я» щипалась и была деловита.

— Садитесь здесь, — приказала она; и, проворно орудуя кувшином молока и кастрюлей у газовой плиты, спросила, понравился ли ему вечер.

Барлеп покачал головой.

— Fascinatio nugacitatis[23], — сказал он. — Fascinatio nugacitatis. — Всю дорогу от Пиккадилли-серкус он пережевывал тему об очаровании болтовни.

Беатриса не знала латыни, но по лицу Барлепа она поняла, что эти слова выражают неодобрение.

— Эти вечера — пустая трата времени, не правда ли? — сказала она.

Барлеп кивнул головой.

— Пустая трата времени, — отозвался он своим тягучим голосом жвачного животного, пристально глядя пустым, озабоченным взором на незримого демоненка, стоявшего слева от Беатрисы. — Человеку сорок лет, человек прожил больше половины жизни, мир полон чудес и тайн. А человек проводит четыре часа, болтая ни о чем в Тэнтемаунт-Хаусе. Почему пошлость

---

[23] Примечания: 23
Очарование болтовни*(лат.).*

так чарует нас? Или человека привлекает туда не пошлость, а нечто иное? Может быть, смутная фантастическая надежда, что там встретишь мессию, которого искал всю жизнь, или услышишь слова откровения? — Барлеп мотал головой в такт словам, словно мускулы его шеи вдруг ослабели.

Беатриса настолько привыкла к этому мотанию, что не находила в нем ничего странного. Ожидая, пока вскипит молоко, она восторженно слушала, она смотрела на него, и у нее было такое лицо, точно она сидит в церкви. На человека, чьи путешествия в салоны богачей были лишь этапами неустанного духовного паломничества, по справедливости можно смотреть как на эквивалент воскресной церковной службы.

— Тем не менее, — добавил Барлеп, взглядывая на нее с неожиданной лукавой усмешкой уличного мальчишки, которая была совершенно не похожа на его недавнюю улыбку в стиле Содомы, — икра и шампанское были просто замечательные. — Демоненок нарушил философическую жвачку ангела. Барлеп позволил ему подать голос. Почему бы и нет? Он любил сбивать собеседников с толку. Он посмотрел на Беатрису, Беатриса, как и следовало ожидать, была сбита с толку.

— Еще бы, — сказала она, меняя благолепное выражение лица в соответствии с усмешкой Барлепа. Она отрывисто засмеялась и отвернулась, чтобы налить молоко в чашку. — Вот вам молоко, — протрещала она, маскируя смущение повелительным тоном. — Извольте пить, пока оно горячее.

Наступило долгое молчание. Барлеп медленно потягивал горячее молоко, а Беатриса, сидя на пуфе перед холодным камином, ждала, затаив дыхание, сама не зная чего.

— Вы похожи на крошку мисс Муффе, которая сидела на пуфе, — сказал наконец Барлеп.

— К счастью, здесь нет большого паука, — улыбнулась Беатриса.

— Благодарю вас, если это комплимент.

— Да, это комплимент, — сказала Беатриса. «Самое замечательное в Денисе то, — подумала она, — что с ним чувствуешь себя так спокойно. Другие мужчины вечно набрасываются, стараются облапить и поцеловать. Это ужасно, совершенно ужасно!» Беатриса до сих пор не оправилась от потрясения, пережитого ею, когда она была молодой девушкой. Однажды деверь ее тети Мэгги, к которому она привыкла относиться как к дяде, принялся обнимать ее, когда они ехали вместе в

закрытом экипаже. Она испытала такой страх и такое отвращение, что, когда Том Филд, который ей очень нравился, сделал ей предложение, она отказала — просто потому, что он был мужчиной, как ужасный дядя Бен, и потому, что она боялась проявлений любви и приходила в панику всякий раз, когда к ней прикасались. Теперь ей было за тридцать, но она ни разу не позволила никому прикоснуться к себе. Нежная и трепетная девочка, скрывавшаяся под скорлупой деловитости, не раз влюблялась. Но страх перед объятиями, перед прикосновениями всегда одерживал верх над любовью. При первых признаках опасности она отчаянно щипалась, она пряталась в свою жесткую скорлупу, она спасалась бегством. Когда опасность проходила, испуганная девчонка глубоко вздыхала: благодаренье небесам! Но в большом вздохе облегчения всегда заключался маленький вздох разочарования. Ей хотелось, чтобы страха не было; ей хотелось, чтобы блаженная близость, существовавшая до объятий, продолжалась вечно. Иногда она сердилась на себя, но чаще она думала, что в любви есть что-то нехорошее, что в мужчинах есть что-то гнусное. Денис Барлеп был необыкновенный человек, он, безусловно, не был ни нахалом, ни приставалой.

Беатриса могла обожать его без всяких опасений.

— Сьюзен любила сидеть на пуфе, как крошка мисс Муффе, — проговорил Барлеп после долгой паузы. В его голосе звучала грусть. Последние несколько минут он пережевывал свое горе о покойной жене. Прошло почти два года с тех пор, как эпидемия гриппа унесла Сьюзен, — почти два года, но боль, уверял он себя, не уменьшилась, чувство потери оставалось столь же острым. «Сьюзен, Сьюзен, Сьюзен!» — снова и снова повторял он про себя ее имя. Он не увидит ее больше, даже если проживет миллион лет. Миллион лет, миллион лет! Пропасти разверзались вокруг слов. — Или на полу, — продолжал он, стараясь как можно живее воссоздать ее образ. — Пожалуй, она больше любила сидеть на полу. Как дитя. — «Дитя, дитя, — повторял он про себя. — Такая юная!»

Беатриса молчала, глядя в пустой камин. Она чувствовала, что взглянуть теперь на Барлепа было бы нескромно, почти неприлично. Бедный! Когда она наконец посмотрела на него, она увидела, что по его щекам текут слезы. Их вид наполнил ее страстной материнской жалостью. «Как дитя», — сказал он. Но он сам как дитя. Как бедное обиженное дитя. Нагнувшись, она ласково

провела пальцами по его бессильно повисшей руке.

— Копошатся жабы! — со смехом повторила Люси. — Это прямо-таки гениально, Вилли.

— Все мои изречения гениальны, — скромно сказал Вилли. Он играл самого себя; он был Вилли Уивером в его коронной роли Вилли Уивера. Он артистически пользовался своей любовью к красноречию, страстью к закругленной и звучной фразе. Ему следовало бы родиться, по крайней мере, тремя столетиями раньше. В дни юности Шекспира он стал бы знаменитым литератором. В наше время его эвфуизмы вызывали только смех. Но он наслаждался аплодисментами даже тогда, когда они были издевательскими. К тому же смех никогда не был злобным: все любили Вилли Уивера за его добродушие и услужливость. Он играл свою роль перед насмешливо одобряющими зрителями; и, чувствуя одобрение сквозь насмешку, он играл, не щадя сил. «Все мои изречения гениальны». Реплика явно из его роли. А может быть, это правда? Вилли паясничал, но в глубине души он был серьезен. — И помяните мои слова, — добавил он, — в один прекрасный день жабы вырвутся на поверхность.

— Но почему жабы? — спросил Слайп. — По-мо-

ему, Беатриса меньше всего похожа на жабу.

— А почему они должны вырваться на поверхность? — вставил Спэндрелл.

— Жабы не щиплются.

Но тонкий голос Слайпа был заглушен голосом Мэри Рэмпион.

— Потому, что рано или поздно все всплывает на поверхность! — воскликнула она. — Всплывает, и все тут.

— Отсюда — мораль, — заключил Касберт. — Не прячьте ничего в себе. Я никогда этого не делаю.

— Но может быть, всего веселее тогда, когда это вырывается на поверхность, — сказала Люси.

— Извращенный и парадоксальный поборник запретов!

— Конечно, — говорил Рэмпион, — в человеке происходят такие же революции, как в обществе. Там бедные восстают против богатых; здесь — угнетаемое тело и инстинкты — против интеллекта. Мы возвели интеллект в ранг высшего класса; низший класс восстает.

— Слушайте, слушайте! — воскликнул Касберт и стукнул кулаком по столу.

Рэмпион нахмурился. Одобрение Касберта он воспринимал как личное оскорбление.

— Я контрреволюционер, — сказал Спэндрелл.

— Свой низший класс надо держать в узде.

— Если речь не идет о вас самих, — сказал ухмыляясь Касберт.

— Неужели мне нельзя немного потеоретизировать?

— Люди угнетали свое тело в течение многих столетий, — сказал Рэмпион, — а каковы результаты? Возьмите хоть его. — Он посмотрел на Спэндрелла; последний беззвучно рассмеялся, откинув голову. — А каковы результаты? — повторил он. — Революции внутри человека и как следствие — социальные революции в обществе.

— Ну, ну! — сказал Вилли Уивер. — Вы говорите так, словно уже слышится грохот термидорианских повозок. Англия все такая же, как была.

— А что вы знаете об Англии и англичанах? — возразил Рэмпион. — Вы никогда не бывали вне Лондона и вне вашего круга. Поезжайте на север.

— Боже меня избави! — благочестиво воскликнул Вилли.

— Поезжайте в страну угля и железа. Поговорите со сталеварами. Там это не будет революция ради какой-нибудь определенной цели. Это будет революция как самоцель. Разгром ради разгрома.

— Звучит приятно, — сказала Люси.

— Это чудовищно. Это просто бесчеловечно. Все человеческое выжато из них цивилизацией, выжато тяжестью угля и железа. Это будет революция стихийных духов, чудовищ, первобытных чудовищ. А вы закрываете глаза и делаете вид, будто все в порядке.

— Подумайте, какая диспропорция, — говорил лорд Эдвард, покуривая трубку. — Это положительно… — Ему не хватало слов. — Возьмите, например, уголь. Сейчас человечество потребляет угля в сто десять раз больше, чем в тысяча восьмисотом году. Но народонаселение увеличилось за это время всего в два с половиной раза. У остальных животных… совсем иначе: потребление пропорционально количеству.

— Но, — возразил Иллидж, — когда животные могут получить больше, чем им требуется для поддержания жизни, они это берут, не правда ли? После битвы или чумы гиены и коршуны пользуются случаем и объедаются. Не так ли поступаем и мы? Несколько миллионов лет тому назад погибло большое количество лесов. Человек выкапывает из земли их трупы, использует их и позволяет себе роскошь обжираться, пока не истощатся запасы падали. Когда запасы истощатся, он перейдет на голодный паек, как гиены в

перерывах между войнами и эпидемиями. — Иллидж говорил со смехом. Он испытывал какое-то особое удовлетворение, говоря о человеческих существах так, словно они ничем не отличаются от червей. — Вот открыто месторождение угля, забил нефтяной фонтан. Возникают города, строятся железные дороги, взад и вперед плывут корабли. Если бы с луны нас могло наблюдать какое-нибудь очень долговечное существо, это кишение и ползание, вероятно, показалось бы ему похожим на суету муравьев и мух вокруг дохлой собаки. Чилийская селитра, мексиканская нефть, тунисские фосфориты — при каждом новом открытии новое скопление насекомых. Можно представить себе комментарий лунных астрономов: «У этих существ наблюдается удивительный и, вероятно, единственный в своем роде тропизм к окаменевшей падали».

— Как страусы, — сказала Мэри Рэмпион. — Вы ведете себя как страусы.

— И не только тогда, когда дело идет о революции, — сказал Спэндрелл, а Вилли Уивер вставил что-то насчет «строфокамилловского мировоззрения». — Нет, вы прячете голову под крыло всякий раз, как затрагивается что-нибудь существенное, но неприятное. А ведь было время, когда люди не

старались делать вид, будто смерть и порок не существуют. «Au détour d'un sentier une charogne infâme»[24], — процитировал он. — Бодлер был последним поэтом Средневековья и первым поэтом современности. «Et pourtant…» — продолжал он, с улыбкой глядя на Люси и поднимая свой бокал:

Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
A cette horrible infection,
Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion!..

Alors, ô ma beautá, dites à la vermine,
Qui vous mangera de baisers…[25]

— Дорогой мой Спэндрелл! — Люси в знак протеста подняла руку.

— Ваша некрофилия переходит границы! —

---

[24] Примечания: 24

«У тропки гнусную развaленную падаль»*(фр.).*

[25] Примечания: 25

Нет, все-таки и вам не избежать распада,
Заразы, гноя и гнилья,
Звезда моих очей, души моей лампада,
Вам, ангел мой и страсть моя!..

Но сонмищу червей прожорливых шепнете,
Целующих, как буравы…(фр.)

сказал Вилли Уивер.

«Все та же ненависть к жизни, — думал Рэмпион, — выбор только в том, какой смертью умереть». Он внимательно посмотрел Спэндреллу в лицо.

— А как подумаешь, — говорил Иллидж, — так окажется, что частное от деления времени, необходимого для образования угля, на продолжительность человеческой жизни немногим больше частного, которое мы получим, если разделим продолжительность жизни секвойи на продолжительность жизни одного поколения бацилл.

Касберт посмотрел на часы.

— Боже милосердный! — воскликнул он. — Двадцать пять минут первого! — Он вскочил. — А я обещал, что мы еще заглянем на вечер к Виддикумам. Питер! Вилли! Марш скорее!

— Не уходите, — взмолилась Люси. — Кто же уходит так рано?

— Совесть нас призывает, — объяснил Вилли Уивер. — «Гласа Божья суровая дщерь». — Он издал свое легкое одобрительное покашливание.

— Но это смешно, это немыслимо! — Она переводила взгляд с одного лица на другое в какой-то тревоге. Она панически боялась одиночества. Ей

всегда казалось, что, если люди останутся еще на пять минут, тут-то наконец и произойдет что-нибудь забавное. К тому же невыносимо, когда люди поступают не так, как хочется ей.

— Боюсь, и нам пора, — сказала Мэри Рэмпион, вставая. «Наконец-то!» — подумал Уолтер. Он надеялся, что и Спэндрелл последует общему примеру.

— Но это невозможно! — кричала Люси. — Рэмпион, я не могу этого допустить!

Марк Рэмпион только засмеялся. «Ох уж эти профессиональные сирены!» — подумал он. Она оставляла его совершенно холодным, она внушала ему отвращение. В отчаянии Люси взмолилась, обратившись даже к присутствовавшей здесь женщине.

— Миссис Рэмпион, вы должны остаться. Еще на пять минут! Всего на пять минут, — упрашивала она.

Напрасно. Официант открыл боковую дверь. Они поспешно выскользнули в темноту.

— Почему им так хочется уйти? — жалобно спросила Люси.

— А почему нам так хочется остаться? — отозвался Спэндрелл. Сердце Уолтера упало: значит, он остается. — Это гораздо менее понятно.

Совсем непонятно! Духота и алкоголь начинали оказывать на Уолтера свое обычное действие. Он чувствовал себя больным и несчастным. Какой смысл безнадежно сидеть здесь, в этом отравленном воздухе? Почему не уехать сразу домой? Как обрадуется Марджори!

— Вы один верны мне, Уолтер. — Люси улыбнулась ему. Он решил пока не уезжать. Наступило молчание.

Касберт и его спутники взяли такси. Отклонив все приглашения, Рэмпионы пошли пешком.

— Наконец-то! — сказала Мэри, когда машина уехала. — Ненавижу этого Аркрайта!

— Но эта женщина еще хуже, — сказал Рэмпион. — Меня мороз по коже подирает, когда я на нее смотрю. Бедный, глупый мальчик этот Бидлэйк! Точно кролик перед хорьком.

— Мужская солидарность. А мне так даже нравится, как она издевается над вами, мужчинами. Так вам и надо.

— Тебе, может, и кобры нравятся? — Зоология Рэмпиона была всегда глубоко символична.

— Ну, если уж на то пошло, то что ты скажешь о Спэндрелле? Он похож на химеру, на беса.

— Просто глупый школьник, — резко сказал Рэмпион. — Он до сих пор не вырос. Неужели ты

не понимаешь? Он вечный подросток. Ломает себе голову над теми вопросами, которые занимают подростков. Он не способен жить, потому что он слишком занят мыслями о смерти, о Боге, об истине, о мистицизме и так далее, слишком занят мыслями о грехе и старается грешить — и огорчается тому, что у него ничего не выходит. Жалкое зрелище. Он нечто вроде Питера Пэна, пожалуй, он даже отвратительнее жалкого выкидыша, воспетого Барри, потому что он перестал расти в еще более глупом возрасте. Он Питер Пэн à la Достоевский, плюс Мюссе, плюс модерн, плюс Беньян, плюс Байрон и маркиз де Сад. Невыносимо жалкое зрелище! Тем более что у него все задатки вполне порядочного человека.

Мэри расхохоталась:

— Тут уж приходится верить тебе на слово.

* * *

— Кстати, — сказала Люси, обращаясь к Спэндреллу. — Ваша мать поручила мне... — И она передала Спэндреллу просьбу его матери. Спэндрелл кивнул головой и ничего не ответил.

— А генерал? — осведомился он, когда Люси кончила. Он не хотел, чтобы говорили о его матери.

— Ах, генерал! — Люси скорчила гримасу. — Сегодня вечером я получила солидную дозу контрразведки. Положительно, его следовало бы запретить. Не учредить ли нам Общество борьбы с генералами?

— Можете меня первого записать действительным и почетным членом.

— Или, может быть, Общество борьбы со стариками? — продолжала Люси. — Старики решительно невыносимы. За исключением вашего отца, Уолтер. Он — совершенство. Просто совершенство. Единственный приемлемый старик.

— Если бы вы ближе его знали, вы бы сказали, что он самый неприемлемый из всех. — Среди Бидлэйков того поколения, к которому принадлежал Уолтер, невыносимость старого Джона стала почти аксиомой. — Вы не считали бы его таким совершенством, будь вы его женой или дочерью. — Произнося эти слова, Уолтер вдруг вспомнил о Марджори. Кровь прилила к его щекам.

— Конечно, если вы выберете его себе в мужья или в отцы, — сказала Люси, — чего же еще можно ожидать! Он — приемлемый старик именно потому, что он такой неприемлемый супруг и отец. Большинство стариков совершенно задавлено чувством ответственности. Ваш отец никогда не

позволял ответственности задавить его. У него были жены и дети и тому подобное. Но он всегда жил, словно мальчик на каникулах. Допускаю, что для жен и детей это не очень приятно. Зато как приятно для всех остальных!

— Возможно, — сказал Уолтер. Он всегда считал себя совсем не похожим на отца. А теперь он ведет себя совершенно так же, как отец.

— Судите о нем не с точки зрения сына.

— Попробую. — А с какой точки зрения он, Уолтер, должен судить себя самого?

— Попробуйте — и увидите, что я права. Один из немногих приемлемых стариков. Сравните его с другими. — Она покачала головой. — Старики ужасны; ни с кем из них нельзя иметь дела.

Спэндрелл засмеялся:

— Вы говорите о стариках так, словно они кафры или эскимосы.

— А как же еще о них говорить? Конечно, у них золотые сердца и все такое. И они удивительно разумны — по-своему, конечно, и принимая во внимание, и так далее. Но они не принадлежат к нашей цивилизации. Они — чужие. Никогда не забуду, как однажды несколько арабских дам пригласили меня к себе на чай в Тунисе. Они были так милы, так гостеприимны… Но они уго-

щали меня такими несъедобными пирожными, и они говорили на таком ужасном французском языке, и с ними совершенно не о чем было разговаривать, и они приходили в такой ужас от моей короткой юбки и от того, что у меня нет детей. Старики всегда напоминают мне этих арабских дам. Неужели в старости мы станем такими же арабскими дамами?

— Да, и, пожалуй, еще хуже, — сказал Спэндрелл. — Все дело в утолщении кровеносных сосудов.

— Но если старики превращаются в арабских дам, то ведь виной этому их взгляды. Никогда не поверю, что утолщение сосудов заставит меня верить в Бога, в нравственность и во все остальное. Я вышла из куколки во время войны, когда со всего были сорваны покровы. Не думаю, чтобы наши внуки смогли сорвать еще какие-нибудь покровы. Тогда откуда же возьмется взаимное непонимание?

— Может быть, они снова набросят на всё покровы, — предположил Спэндрелл.

Несколько мгновений Люси молчала.

— Об этом я никогда не думала.

— А может быть, вы сами их набросите. Набрасывать на всё покровы — одно из излюбленных

занятий людей старшего поколения.

Пробило час, и, точно кукушка, выскакивающая из часов, в кабинете появился Симмонс с подносом в руках. Симмонс был пожилым человеком, исполненным того важного достоинства, которое свойственно всем, кому приходится постоянно держать язык за зубами и скрывать свое настроение, никогда не высказывать свои мысли и соблюдать этикет, то есть дипломатам, коронованным особам, государственным деятелям и лакеям. Он бесшумно накрыл стол на два прибора, объявил, что ужин его светлости подан, и удалился. Была среда, и, когда лорд Эдвард поднял серебряную крышку, под ней обнаружились две бараньи котлеты. По понедельникам, средам и пятницам подавались котлеты. По вторникам и четвергам — бифштекс с жареной картошкой. По субботам в качестве лакомства Симмонс готовил рагу. По воскресеньям он бывал свободен, и лорду Эдварду приходилось довольствоваться холодной ветчиной или копченым языком и салатом.

— Странно, — сказал лорд Эдвард, передавая Иллиджу котлету. — Странно, что число баранов не увеличивается. Во всяком случае, не настолько быстро, как число людей. Можно было бы ожидать… принимая во внимание тесный симбиоз…

— Он продолжал молча жевать.

— Очевидно, баранина вышла из моды, — сказал Иллидж, — совершенно так же, как Бог, — добавил он вызывающе, — и бессмертная душа. — Но лорд Эдвард не шел на приманку. — Не говоря уже о викторианских романистах, — не унимался Иллидж. Он помнил, как он поскользнулся на лестнице. А Диккенс и Теккерей были единственными писателями, которых читал лорд Эдвард. Но старик спокойно пережевывал пищу. — И невинных девушках. — Лорд Эдвард как ученый интересовался сексуальными функциями аксолотлей и кур, морских свинок и лягушек; но всякое упоминание о тех же функциях у людей повергало его в смущение. — И целомудрии, — продолжал Иллидж, пронзительно смотря в лицо Старика, — и девственности, и… — Телефонный звонок прервал его и спас лорда Эдварда от дальнейших измывательств.

— Я подойду, — сказал Иллидж, вскакивая с места. Он приложил трубку к уху: — Алло!

— Это ты, Эдвард? — сказал низкий голос, очень похожий на голос самого лорда Эдварда. — Это я. Эдвард, я только что открыл замечательное математическое доказательство существования Бога или, вернее…

— Но это не лорд Эдвард, — закричал Иллидж. — Подождите. Я сейчас его позову. — Он обернулся к Старику. — Говорит лорд Гаттенден, — сказал он. — Он только что открыл новое доказательство существования Бога. — Он не улыбнулся; тон его был серьезен. В данном случае наихудшим издевательством была именно серьезность. Утверждение лорда Гаттендена само по себе было слишком забавным. Смех не усилил бы, а только ослабил комическое впечатление. Потрясающий старый болван! Иллидж почувствовал себя отомщенным за все унижения сегодняшнего вечера. — Математическое доказательство, — добавил он еще более серьезно.

— Господи! — воскликнул лорд Эдвард, точно произошло какое-нибудь несчастье. Телефонные звонки всегда выводили его из равновесия. Он бросился к аппарату. — Чарлз, это ты?..

— Ах, Эдвард, — кричал бестелесный голос главы семьи за сорок миль отсюда, в Гаттендене, — какое замечательное открытие! Я жажду услышать твое мнение. Относительно Бога. Ты знаешь формулу: m, деленное на нуль, равно бесконечности, если m — любая положительная величина? Так вот, почему бы не привести это равенство к более простому виду, умножив обе его части на

нуль? Тогда мы получим: *m* равно нулю, умноженному на бесконечность. Следовательно, любая положительная величина есть произведение нуля и бесконечности. Разве это не доказывает, что Вселенная была создана бесконечной силой из ничего? Разве не так? — Мембрана телефонного аппарата, казалось, разделяла волнение находившегося за сорок миль лорда Гаттендена. Она выбрасывала слова взволнованно и торопливо; она вопрошала строго и настойчиво. — Разве не так, Эдвард? — Всю жизнь пятый маркиз провел в погоне за Абсолютом. Это был единственный доступный калеке вид спорта. В течение пятидесяти лет катился он в своем подвижном кресле по следам неуловимой дичи. Неужели теперь он наконец изловил ее, так легко и в таком неподходящем месте, как элементарный учебник теории пределов. Было от чего прийти в волнение. — Как, по-твоему, Эдвард?

— Ну… — начал лорд Эдвард. И на другом конце провода, за сорок миль отсюда, его брат понял по тону, каким было произнесено это единственное слово, что дело не выгорело. Ему так и не удалось насыпать соли на хвост Абсолюту.

— Кстати, о стариках, — сказала Люси. — Рассказывала я вам когда-нибудь совершенно

замечательную историю про моего отца?

— Какую историю?

— Насчет оранжерей. — Люси улыбнулась при одном воспоминании.

— Нет, насчет оранжерей я, кажется, не слышал, — сказал Спэндрелл; Уолтер тоже покачал головой.

— Дело было во время войны, — начала Люси. — Мне, кажется, исполнилось восемнадцать. Меня только что стали вывозить в свет. На одном ужине кто-то запустил в меня бутылкой шампанского — в буквальном смысле запустил. Если вы помните, веселье в те дни было довольно-таки бурным.

Спэндрелл кивнул, Уолтер — тоже, хотя, разумеется, во время войны он еще учился в школе.

— В один прекрасный день, — продолжала Люси, — мне передали, что его светлость просит меня прийти к нему в кабинет. Этого раньше никогда не бывало. Я даже встревожилась. Вы знаете, какие у стариков странные представления о нашей жизни и как они расстраиваются, узнав, что все совсем не так, как они думали. Одним словом, арабские дамы. — Она рассмеялась, и для Уолтера ее смех срывал покровы иллюзии с ее жизни в те годы, когда он ее не знал. Представ-

лять себе их отношения в виде юной невинной любви было для него утешением. Теперь ее смех лишал его возможности утешаться подобными фантастическими измышлениями.

Спэндрелл кивнул.

— И вы пошли наверх, чувствуя себя так, словно поднимаетесь на эшафот…

— И нашла отца в кабинете. Он делал вид, что читает. Мой приход привел его в замешательство. Бедняжка! Никогда не видела такой невероятной растерянности и смущения. Можете себе представить, насколько его вид усилил мой страх. Чем могли быть вызваны такие переживания? Что бы это могло быть? Он ужасно мучился. Если бы не чувство долга, он, вероятно, сразу же отослал бы меня обратно. Вы бы видели его лицо! — Комические воспоминания снова нахлынули на Люси. Она не могла больше сдерживать смех.

Облокотившись на стол и подперев голову рукой, Уолтер смотрел в свой бокал. Блестящие пузырьки один за другим стремились вверх, словно изо всех сил стараясь освободиться и стать счастливыми. Он не смел поднять глаза. Он боялся, что при виде искаженного смехом лица Люси он сделает какую-нибудь глупость — закричит или разразится слезами.

— Бедняжка! — повторила Люси. Слова вырывались вместе со взрывами веселого смеха. — От ужаса он едва мог говорить.

Она перестала смеяться и, передразнивая низкий, приглушенный голос лорда Эдварда, изобразила, как он предложил ей сесть и сказал (запинаясь от великого смущения), что ему нужно кое о чем поговорить с ней. Она передразнивала изумительно. Сконфуженный призрак лорда Эдварда сидел рядом с ними за столом.

— Замечательно! — восторгался Спэндрелл. Даже Уолтер рассмеялся, хотя продолжал чувствовать себя глубоко несчастным.

— Добрых пять минут, — рассказывала Люси, — он ходил вокруг да около и никак не мог перейти к главному пункту. Можете себе представить, что я переживала! Но угадайте, что он хотел мне сказать!

— Что?

— Угадайте! — Вдруг Люси снова захохотала. Она закрыла лицо руками, все ее тело сотрясалось, точно от рыданий. — Это слишком хорошо! — простонала она, роняя руки и откидываясь на спинку стула. Она все еще не могла справиться со смехом; по ее щекам катились слезы. — Слишком хорошо!

Она открыла расшитую бисером сумочку, лежавшую перед ней на столе, и, вынув платок, принялась вытирать глаза. Волна аромата пронеслась над столиком, усиливая то смутное воспоминание о гарденияx, которое окружало ее, которое всюду следовало за ней, как ее призрачный двойник. Уолтер поднял глаза; сильный запах гардений коснулся его ноздрей; он вдыхал то, что казалось ему самой сущностью ее «я», символом ее власти и его собственных неистовых желаний. Он смотрел на нее с каким-то ужасом.

— Он сказал мне, — снова заговорила Люси, все еще судорожно смеясь и вытирая глаза, — что он слышал, будто я иногда целуюсь с молодыми людьми и позволяю целовать себя после танцев в оранжереях. В оранжереях! — повторила она. — Изумительно, не правда ли? До такой степени в стиле эпохи. Восьмидесятые годы. Старый принц Уэльский. Романы Золя. Оранжереи! Бедный милый папа! Он сказал, что он надеется, что это больше не повторится. Моя мать была бы так огорчена, если бы она узнала. Вы только подумайте! — Она глубоко вздохнула. Смех, наконец, прекратился.

Уолтер смотрел на нее и вдыхал ее запах, вдыхал свои желания и ее страшную власть над ним.

Ему казалось, что он видит ее в первый раз. Да, в первый раз, и перед ней недопитый стакан, бутылка, пепельница с окурками; в первый раз видит ее, откинувшуюся на спинку стула, обессилевшую от смеха, вытирающую слезы на глазах.

— Оранжереи, — повторял Спэндрелл. — Оранжереи. Да, это очень хорошо. Просто замечательно.

— Чудесно, — сказала Люси. — Старики простотаки чудесны. К сожалению, они редко бывают выносимы. За исключением, конечно, отца Уолтера.

Джон Бидлэйк медленно взбирался по лестнице. Он очень устал. «До чего утомительны эти званые вечера», — думал он. Он зажег свет в спальне. Над камином одна из реалистически безобразных женщин Дега сидела в круглом металлическом тазу, стараясь отмыть себе спину. На противоположной стене ренуаровская девочка играла на рояле между видом Дьеппа работы Уолтера Сиккерта и пейзажем работы самого Джона. Над кроватью висели две карикатуры, изображавшие его самого; автором одной был Макс Бирбом, другой — Рувейр. На столе стояли бутылка бренди, сифон содовой и стакан. Под край подноса были подсунуты два конверта. Он

вскрыл их. В первом были газетные вырезки: отзывы о его последней выставке. «Дейли мейл» называла его «ветераном британского искусства» и уверяла читателей, что «его рука не утратила прежнего мастерства». Он смял вырезку и сердито швырнул ее в камин.

Следующая рецензия была вырезана из одного из передовых еженедельников. Тон ее был почти пренебрежительным. Его судили на основании его же более ранних вещей, и приговор был уничтожающий. «Трудно поверить, что произведения, построенные на таких дешевых и не достигающих цели эффектах, которые мы видим на этой выставке, принадлежат кисти художника, создавшего «Косцов» из галереи Тейт и еще более замечательных «Купальщиц», находящихся теперь в Тэнтемаунт-Хаусе: напрасно стали бы мы искать в его последних бессодержательных и тривиальных вещах ту гармоническую композицию, ту ритмическую четкость, ту трехмерную пластичность, которые...» Какая пустая болтовня! Какая чушь! Он швырнул в камин всю пачку вырезок. Но презрение к рецензентам не могло полностью нейтрализовать неприятное впечатление, оставшееся от чтения этих рецензий. «Ветеран британского искусства» — это не

лучше, чем «бедный старый Бидлэйк». А когда его поздравляли с тем, что его рука не потеряла прежнего мастерства, его тем самым снисходительно уверяли, что для старого слюнтяя, впавшего в детство, он пишет не так уж плохо. Единственная разница между ругавшим и хвалившим его рецензентами заключалась в том, что первый напрямик говорил то, что другой снисходительно маскировал похвалами. Он готов был пожалеть, что когда-то написал своих купальщиц.

Он вскрыл второй конверт. В нем было письмо от его дочери Элинор. Оно было помечено Лагором.

> Базары неподдельно восточны; они червивые. Они так кишат и так воняют, что кажется, будто пробираешься сквозь головку сыра. С точки зрения художника, самое грустное то, что всё здесь как две капли воды похоже на восточные сцены на картинах французов середины прошлого столетия. Знаешь – гладкие и блестящие, как картинки на коробках с чаем. Когда попадаешь сюда, становится ясно, что Восток нельзя писать иначе. От того, что кожа смуглая, все лица кажутся

одинаковыми, а пот придает коже блеск. На холсте они должны получаться такими же зализанными, как у Энгра.

Он читал с удовольствием. Девчонка всегда умеет сказать в письмах что-нибудь забавное. У нее острый глаз. Вдруг он нахмурился.

Как ты думаешь, кто посетил нас вчера? Джон Бидлэйк – младший. Мы думали, он в Вазиристане, но оказалось, что он приехал сюда в отпуск. Я не видела его с детства. Представь себе мое удивление, когда в комнату торжественно вошел высоченный седоусый джентльмен в мундире и назвал меня по имени. Фила он, конечно, никогда не встречал. В честь этого блудного брата мы заклали самых упитанных тельцов, каких только можно было найти в гостинице.

Джон Бидлэйк откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Высоченный седоусый джентльмен в мундире был его сыном. Младшему Джону было пятьдесят лет. Когда-то пятьдесят лет казались ему возрастом Мафусаила. «Если бы Мане не умер так рано…» Он вспомнил слова своего старого

учителя в парижском художественном училище. «Разве Мане умер молодым?» Старик покачал головой. («Старик ли? — подумал Джон Бидлэйк. — Тогда он казался очень старым. Но вряд ли ему было больше шестидесяти».)«Мане был всего пятьдесят один год», — ответил учитель. Он с трудом удержался от смеха. А теперь его собственный сын достиг того возраста, в котором умер Мане. «Высоченный седоусый джентльмен в мундире». А его брат умер и погребен на другом конце света, в Калифорнии. Рак кишечника. Элинор встретила его сына в Санта-Барбаре: молодой человек, женатый на молодой богачке, он нарушал сухой закон под звон бутылок джина на расстоянии полуоборота Земли от них.

Джон Бидлэйк подумал о своей первой жене, матери джентльмена в мундире и калифорнийца, умершего от рака кишечника. В первый раз он женился двадцати двух лет. Розе еще не исполнилось двадцати. Они любили друг друга до самозабвения, с тигриной страстью. Они ссорились — да, и ссорились вначале довольно благополучно: ссоры кончались взрывами чувственности, столь же неистовой, как и ссора. Но очарование начало проходить, когда появились дети — двое детей в течение двадцати пяти

месяцев. Они были недостаточно богаты и не имели возможности держать детей подальше от себя или нанимать для утомительной и грязной работы прислугу. Отцовство не было для Джона Бидлэйка синекурой. Его мастерская превратилась в детскую. Очень скоро последствия страсти — плач младенцев, мокрые пеленки, запахи — внушили ему отвращение к страсти. К тому же и объект страсти не был уже таким, как раньше. После рождения детей Роза начала толстеть. Ее лицо располнело, тело расплылось и обвисло. Теперь труднее стало мириться после ссор, которые к тому же участились: отцовство действовало Джону Бидлэйку на нервы. Работа послужила ему предлогом для поездки в Париж. Он отправился на две недели и провел там четыре месяца. После возвращения ссоры возобновились. Теперь Роза внушала только отвращение. Он утешался с натурщицами; у него была серьезная связь с одной замужней женщиной, заказавшей ему свой портрет. Домашняя жизнь была полна скуки, ее разнообразили только сцены. После одной особенно бурной сцены Роза упаковала вещи и переехала к родителям. Она взяла с собой детей; Джон Бидлэйк был только рад избавиться от них. А теперь старший из этих некогда оравших и

пачкавших пеленки младенцев превратился в высоченного седоусого джентльмена в мундире. А другой умер от рака кишечника. Он не видел ни одного из них с тех пор, как они были младенцами — один пяти месяцев, другой двадцати. Сыновья жили с матерью. Она тоже умерла; вот уж пятнадцать лет, как она лежит в могиле.

Пуганая ворона куста боится. После развода Джон Бидлэйк поклялся больше не жениться. Но что может сделать человек, если он по уши влюбился в добродетельную молодую женщину из хорошей семьи? Бидлэйк снова женился, и два коротких года с Изабель были самым необыкновенным, самым прекрасным, самым счастливым временем его жизни. А потом она бессмысленно погибла от родов. Он старался не вспоминать о ней: это было слишком болезненно. Пропасть между настоящей минутой и теми счастливыми днями, какими они сохранились в воспоминании, была глубже и шире, чем всякая другая пропасть между прошлым и настоящим. При сравнении с тем прошлым, которое он делил с Изабель, всякое настоящее тускнело; ее смерть была ужасным напоминанием о том будущем, которое ожидало его самого. Он никогда не говорил о ней, он уничтожил или продал все, что могло

бы напомнить ему о ней, — ее письма, ее книги, обстановку ее комнаты. Он хотел бы не знать ничего, кроме «здесь» и «сейчас», чувствовать себя только что пришедшим в мир и долженствующим жить вечно. Но воспоминание не умирало, хотя он сознательно заглушал его и хотя вещи, принадлежавшие Изабель, были уничтожены; отгородиться от случайных напоминаний он не мог. Сегодня вечером случай нашел много брешей в стенах его крепости. Самую широкую брешь пробило письмо Элинор. Погрузившись в кресло, Джон Бидлэйк долго сидел не двигаясь.

Полли Логан сидела перед зеркалом. Проводя гребнем по волосам, она слышала тонкий легкий треск электрических искр.

— Маленькие искры, словно крошечная битва, крошечные призраки битвы и стрельбы.

Полли произносила слова звучно и монотонно, точно она декламировала перед зрителями. Она любовно задерживалась на них, с рокотом произнося «р», со свистом «с», с мычанием «м», растягивая гласные, делая их круглыми и чистыми.

— Призраки стреляют, призрачные ружья, маленькая-маленькая призрачная канонада.

Милые слова! Ей доставляло особенное удо-

вольствие перекатывать их, как камешки, слушать ухом знатока или даже гурмана рокот слогов, тонувших в молчании. Полли всегда любила разговаривать сама с собой. Она не могла отделаться от этой детской привычки. «Но раз это меня забавляет, — протестовала она, когда над ней смеялись, — кому от этого плохо?»

Несмотря на все насмешки, она не сдавалась.

— Электрические, электрические, — продолжала она, понижая голос до сценического шепота. — Электрические мушкеты, метрические боскеты. Ох! — Гребень запутался в волосах. Она подалась вперед, чтобы получше рассмотреть себя в зеркале. Ее отражение приблизилось. — Ma chère, — воскликнула Полли на другом языке, — tu as l'air fatigué, tu es vieille![26] Стыдись! В твоем возрасте! Тц, тц! — Она неодобрительно прищелкнула языком и покачала головой. — Это не годится, никуда не годится. Впрочем, на вечере ты выглядела недурно. «Дорогая, как вы милы в белом платье!» — Она передразнила выразительный голос миссис Беттертон. — Чего и вам желаю. Как ты думаешь, буду я в шестьдесят лет похожа на слона? Впрочем, тебе, пожалуй, сле-

---

[26] Примечания: 26
Моя дорогая… у тебя усталый вид. Ты стара!*(фр.).*

довало бы быть благодарной даже за слоновьи комплименты. «Сосчитай все то, чем мир тебя дарил, — тихонько произнесла она нараспев, — и Создателя за все благодари». Ай, ай, какой ужас! — Она положила гребень, она вздрогнула и закрыла лицо руками. — Какой ужас! — Она почувствовала, как запылали ее щеки. — Это gaffe[27]. Дикая, немыслимая бестактность! — Она вдруг подумала о леди Эдвард. — Конечно, она слышала. И нужно мне было говорить, что она из Канады! — Полли застонала, охваченная поздним раскаянием и смущением. — Вот что выходит, когда во что бы то ни стало стараешься быть остроумной. А перед кем ты расточала свое остроумие? Перед Норой! Норой! Боже мой, боже мой! — Она вскочила и, подбирая полы халатика, побежала по коридору к комнате матери. Миссис Логан уже легла в постель и потушила свет. Полли открыла дверь и вошла в темноту.

— Мама, — позвала она, — мама! — Тон ее был настойчивым и тревожным.

— Что такое? — испуганно спросила из темноты миссис Логан. Она села и пошарила по стене в поисках выключателя. — Что такое? — Выклю-

---

[27] Примечания: 27
Бестактность*(фр.).*

чатель щелкнул, и загорелся свет. — Что такое, детка?

Полли бросилась на кровать и спрятала лицо в коленях матери.

— Мама, если бы ты знала, что я ляпнула при леди Эдвард! Если б ты знала! Я забыла тебе рассказать.

Миссис Логан готова была рассердиться из-за того, что ее тревога оказалась напрасной. Когда напрягаешь все силы, чтобы поднять предмет, казавшийся очень тяжелым, и вдруг обнаруживаешь, что гиря-то картонная и ее можно поднять двумя пальцами, это всегда раздражает.

— Неужели было так необходимо приходить и будить меня из-за этого? — недовольным тоном спросила она.

Полли посмотрела снизу вверх на лицо матери.

— Прости, мама, — сказала она с раскаянием в голосе. — Но если б ты знала, что я сегодня ляпнула!

Миссис Логан не могла удержаться от смеха.

— Я не могла лечь, пока тебе не рассказала, — оправдывалась Полли.

— А я не должна спать, пока ты не расскажешь, да? — Миссис Логан старалась придать своему

голосу строгое и саркастическое выражение. Но ее глаза, ее улыбка выдавали ее.

Полли взяла руку матери и поднесла ее к губам.

— Я знала, что ты не рассердишься, — сказала она.

— Но я сержусь. И очень.

— Так я и поверила! — сказала Полли. — А теперь я должна тебе рассказать.

Миссис Логан вздохнула, стараясь изобразить покорность судьбе, и, делая вид, что ее одолевает сон, закрыла глаза. Полли говорила. Она вернулась к себе в спальню в третьем часу ночи. Они обсудили не только «ляпсус» Полли, но и леди Эдвард, и ее вечер, и всех гостей. Вернее сказать, обсуждала Полли, а миссис Логан слушала, смеялась и со смехом протестовала, когда комментарии ее дочери становились чересчур смелыми.

— Но, Полли, Полли, — сказала она, — нехорошо говорить о человеке, что он похож на слона.

— Что я могу сделать, если миссис Беттертон в самом деле похожа на слона? — ответила Полли. — Это сущая правда. — И она добавила своим сценическим шепотом, переходя к еще более фантастическому гротеску: — У нее даже нос

похож на хобот.

— Но у нее короткий носик.

Шепот Полли стал еще более мелодраматичным:

— Ампутированный хобот. Ей обрубили его, когда она была слоненком. Как щенятам — хвосты.

XII

Для ценных клиентов ресторан Сбизы был открыт всегда. Они могли сидеть, не считаясь с законом, и поглощать опьяняющие яды до такого позднего часа, до какого им хотелось. Для обслуживания клиентов, желавших нарушать закон, после полуночи приходил особый официант. Зато и цены были соответствующие. Спиртные напитки стоили у Сбизы еще дороже, чем в «Ритце».

Было около половины второго, «всего половина второго», как выразилась Люси, когда она с Уолтером и Спэндреллом вышла из ресторана.

— Она еще молода, — так выразился о ночи Спэндрелл. — Молода и довольно пресна. Ночи как человеческие существа: они становятся интересными только с наступлением зрелости. Половая зрелость наступает у них около полуночи. Вскоре после часу они становятся совершеннолетними. От двух до половины третьего они во цвете

лет. Через час они начинают бесноваться, как пожирательницы мужчин и мышиные жеребчики, которые стараются прыгнуть выше головы, чтобы убедить себя, что они еще не стары. После четырех начинается разложение. Их смерть ужасна. Особенно ужасен рассвет, когда бутылки пусты, а люди похожи на трупы, а исчерпавшее себя желание сменяется отвращением. Должен признаться, я питаю некоторую слабость к сценам у смертного одра, — добавил Спэндрелл.

— Не сомневаюсь, — сказала Люси.

— Но помните, что о начале и середине можно судить лишь к концу. Ночь только что достигла совершеннолетия. Остается посмотреть, как она умрет. До тех пор мы не можем судить о ней.

Уолтер знал, как умрет для него ночь — среди слез Марджори и взрыва ненависти к себе и к женщине, к которой он был жесток, ненависти, смешанной с жалостью к себе и раздражением. Он знал, но не хотел признаться самому себе, что знает это, и что сейчас уже половина второго, и что Марджори не спит и беспокойно спрашивает себя, почему он не возвращается.

Без пяти час Уолтер посмотрел на часы и объявил, что ему пора идти. Какой смысл оставаться? Спэндрелл не уходил. Не было никакой надежды,

что ему удастся хоть на минуту остаться наедине с Люси. Он заставлял Марджори страдать, и у него отсутствовало даже это единственное оправдание. Он истязал ее не ради того, чтобы почувствовать себя счастливым, а ради того, чтобы почувствовать себя утомленным, больным, скучающим, безнадежно несчастным.

— В самом деле, мне пора идти, — сказал он, вставая.

Но Люси протестовала, упрашивала, приказывала. В конце концов он остался. С тех пор прошло более получаса; теперь они вышли на Сохо-сквер, и вечер, по мнению Люси и Спэндрелла, только что начался.

— По-моему, вам пора полюбоваться на революционеров-коммунистов.

Люси хотелось этого больше всего на свете.

— Есть нечто вроде клуба. Я тоже вхожу в него, — объяснил Спэндрелл. Он предложил им отправиться туда вместе с ним. — Думаю, даже сейчас мы застанем там нескольких врагов общества, — продолжал он, когда они окунулись в освежающую темноту. — В общем, славные ребята. Но до ужаса инфантильны. Некоторые искренне верят, что революция сделает людей счастливее. Это очаровательно, это прямо-таки умилительно.

— Он беззвучно рассмеялся. — Но я эстет в такого рода делах. Динамит ради динамита.

— Но какой смысл в динамите, если вы не верите в идеальное общество? — спросила Люси.

— Какой смысл? Да оглянитесь вокруг!

Люси осмотрелась.

— Не вижу ничего особенно ужасающего.

— «Имеющие глаза да увидят». — Спэндрелл остановился, взял ее за руку, а другой указал на здания, окружавшие площадь. — Бывший консервный завод, превращенный в дансинг; родильный дом; ресторан Сбизы; редакция ежегодника «Кто есть кто». Раньше здесь был дворец герцога Монмута. Представляете, какие привидения посещают эти места. Знаете портрет, где он изображен после казни, лежащий в постели и закрытый простыней до самого подбородка, чтобы не было видно перерезанной шеи? Работа, кажется, Неллера. А может быть, Лили, Монмут и консервы, родильный дом, и «Кто есть кто», и дансинг, и шампанское Сбизы — подумайте-ка над этим, подумайте-ка.

— Я думаю над этим, — сказала Люси, — думаю изо всех сил.

— И вы все еще спрашиваете, какой смысл в динамите?

Они подошли к двери маленького домика на СентДжайлс-стрит.

Спэндрелл остановился.

— Подождите минутку, — сказал он, отводя своих спутников в тень.

Он позвонил. Дверь сейчас же открылась. Поговорив с открывшим ему человеком, Спэндрелл обернулся и подозвал своих спутников. Они последовали за ним через темный холл, вверх по лестнице и вошли в ярко освещенную комнату на втором этаже. Двое мужчин стояли у камина: индус в тюрбане и маленький рыжеволосый человечек. Услышав шаги, они обернулись. Рыжеволосый человечек был Иллидж.

— Спэндрелл? Бидлэйк? — Он удивленно поднял свои почти невидимые брови песочного цвета. «А что нужно здесь этой женщине?» — изумился он про себя.

Люси подошла к нему с протянутой рукой.

— Мы с вами старые знакомые, — сказала она с дружеской улыбкой.

Иллидж, собиравшийся придать своему лицу холодное и враждебное выражение, неожиданно для самого себя улыбнулся ей в ответ.

Автомобиль въехал на улицу, внезапно и грубо нарушив тишину. Марджори села на постели и

прислушалась. Гудение мотора становилось все громче и громче. Это такси Уолтера: на этот раз она уверена, она знает. Машина подъезжала все ближе и ближе. У основания холма, справа от дома, шофер изменил скорость. Мотор загудел пронзительно, как рассерженная оса. Ближе и ближе. Вся ее душа, все ее тело были охвачены беспокойством. Она едва дышала, и сердце ее стучало сильно и неравномерно — стук, стук, стук, а потом точно останавливалось; она не чувствовала следующего удара — словно люк открывался под ней в пустоту; она ощущала ужас пустоты, она падала, падала — и следующий задержавшийся удар был ударом ее тела о твердую землю. Ближе, ближе. Она почти боялась его возвращения, по которому так томилась. Она боялась чувств, которые вспыхнут в ней при его появлении, слез, которые она прольет, упреков, которыми она разразится против своей воли. А что он скажет и сделает? Каковы будут его мысли? Она боялась об этом подумать. Ближе, звук мотора слышался уже под самыми окнами; он удалялся, он затихал. А она была так уверена, что это такси Уолтера.

Она легла опять. Если бы она могла заснуть! Но ее встревоженное тело не засыпало. Кровь

стучала в ушах. Кожа была горячая и сухая. Глаза болели. Она лежала на спине не двигаясь, скрестив руки на груди, как покойница, собранная для похорон. «Спи, спи», — шептала она себе. Она старалась увидеть себя успокоенной, умиротворенной, уснувшей. И вдруг словно чья-то злобная рука провела по ее натянутым нервам. Судорога свела ее тело; она вздрогнула, как вздрагивают от страха. Физическая реакция страха пробудила это чувство и в ее сознании; а это чувство в свою очередь усилило и обострило тревогу и боль, которые, несмотря на все ее усилия, не давали ей успокоиться. «Спи, спи, успокойся». Бесполезно пытаться успокоить себя, забыть, уснуть. Ее охватила жалость к самой себе. «Для чего он делает мне больно?» Она повернула голову. Светящиеся стрелки часов на столике у ее кровати показывали без четверти три. Без четверти три — а ведь он знает, что до его прихода она все равно не заснет. «Он знает, что я плохо себя чувствую, — сказала она вслух, — или ему все равно?»

Внезапно новая мысль осенила ее. «Может быть, он хочет, чтобы я умерла?» Умереть, не быть, не видеть больше его лица, оставить его с этой женщиной… Слезы подступили к ее глазам. Может быть, он сознательно добивается ее смер-

ти. Он обращается с ней жестоко, несмотря на то что она больна; больше того: именно потому, что она так страдает, именно потому, что она больна. Его жестокость не бесцельна. Он надеется, он хочет, чтобы она умерла; умерла и оставила его с той, другой женщиной. Она прижалась лицом к подушке и зарыдала. Никогда не видеть его больше, никогда больше! Мрак, одиночество, смерть — навсегда. Навсегда. И самое худшее, что это так несправедливо. Разве ее вина, что у нее нет денег на туалеты?

«Если бы я могла позволить себе покупать такие платья, какие покупает она». Шанель, Ланвэн — страницы «Вог» вспыхивали перед ее глазами, — Молине, Гру… В одном из этих вульгарных магазинчиков около Шэфтсбери-авеню, где покупают себе платья кокотки, она видела модель за шестнадцать гиней. «Он любит ее, потому что она привлекательна. Если бы у меня были деньги…» Это несправедливо. Он заставляет ее расплачиваться за то, что она не может хорошо одеваться. Ей приходится страдать, потому что он зарабатывает слишком мало и не может покупать ей хорошие платья.

А потом ребенок. Он заставляет ее расплачиваться и за это. Его дитя. Она наскучила ему, он

разлюбил ее, потому что она вечно больная и утомленная. Это самая большая несправедливость из всех.

Клетка размножилась и стала червем, червь стал рыбой, рыба постепенно превращалась в зародыш млекопитающего. Марджори чувствовала тошноту и усталость. Через пятнадцать лет мальчик пойдет на конфирмацию. Огромный в своем облачении, как судно в полной оснастке, епископ скажет: «Повторяешь ли ты здесь, в присутствии Бога и собравшихся людей, торжественное обещание, данное от твоего имени при твоем крещении?» И бывшая рыба ответит со страстным убеждением: «Да».

В тысячный раз ей захотелось не быть беременной. Уолтеру, может быть, не удастся убить ее. Но умереть можно при родах. Доктор сказал, что ей будет трудно рожать: у нее узкий таз. Смерть снова возникла перед ней; темная пропасть снова разверзлась у ее ног.

Послышался звук, заставивший ее вздрогнуть. Кто-то поспешно открыл дверь дома. Скрипнули петли. Послышались заглушенные шаги. Снова скрип, еле уловимое щелканье пружинного замка, осторожно отпускаемого, и снова шаги. Снова щелканье, и под дверью, разделявшей их

комнаты, показалась желтая полоса света. Неужели он ляжет спать, не пожелав ей спокойной ночи? Она лежала неподвижно, широко открыв глаза, напряженно прислушиваясь к звукам, доносившимся из другой комнаты, и к частому, испуганному биению своего сердца.

Уолтер сидел на постели, расшнуровывая ботинки. Он спрашивал себя, зачем он не вернулся домой тремя часами раньше, зачем он вообще поехал. Он ненавидел толпу, от алкоголя ему делалось плохо, спертый воздух, чад и табачный дым в ресторане действовали на него как яд. Он страдал бесцельно; если не считать тех болезненно раздражающих мгновений в такси, за весь вечер он ни разу не оставался наедине с Люси. Часы, проведенные с ней, были часами скуки и нетерпения — бесконечно долгой, медленной пыткой. Пытка желанием и ревностью была тем более жестокой, что к ней прибавлялось сознание собственной виновности. Каждая минута, проведенная у Сбизы, каждая минута среди революционеров оттягивала исполнение его желаний и обостряла чувство стыда, потому что она обостряла страдания Марджори. Было больше трех часов, когда они, наконец, вышли из клуба. Может быть, она отошлет Спэндрелла

и позволит Уолтеру проводить ее домой? Он посмотрел на нее красноречивым взглядом. Он желал. Он требовал.

— У меня дома есть сандвичи и вино, — сказала Люси, когда они вышли на улицу.

— Приятно слышать, — сказал Спэндрелл.

— Едемте с нами, Уолтер, милый. — Она взяла его руку, она нежно пожала ее.

Уолтер покачал головой.

— Мне пора домой.

Если бы страдание могло убивать, он свалился бы мертвый тут же, на улице.

— Но вы не имеете права покидать нас теперь, — протестовала она, — теперь, когда вы зашли так далеко, вы должны быть с нами до конца. Едемте. — Она потянула его за руку.

— Нет, нет. — Но она сказала правду. Теперь все равно: более несчастной Марджори не станет. «Если бы ее не было, — подумал он, — если бы она умерла — преждевременные роды, заражение крови…»

Спэндрелл посмотрел на часы.

— Половина четвертого. Сейчас начнется агония. — Уолтер с ужасом слушал: что, этот человек читает его мысли? — Munie des conforts de notre

sainte religion[28]. Ваше место у смертного одра, Уолтер. Не оставляйте ночь умирать в одиночестве, как собаку в канаве.

«Как собаку в канаве». Эти ужасные слова звучали для него приговором.

— Я должен идти.

Теперь, с опозданием на три часа, он был тверд. Он ушел. На Оксфорд-стрит он взял такси. Надеясь (напрасно — он это знал), что ему удастся незаметно проникнуть в дом, он расплатился с шофером у станции Чок-Фарм и прошел пешком последние двести шагов до двери дома, в котором они с Марджори занимали два верхних этажа. Он на цыпочках поднялся по лестнице, он открыл дверь с предосторожностями, словно убийца. Из комнаты Марджори — ни звука. Он раздевался, он умывался так, точно эти действия были опасны для жизни. Он потушил свет и лег в постель. Полная темнота и полное молчание. Он в безопасности.

— Уолтер!

С чувством осужденного, которого тюремщик будит утром в день казни, он ответил, стараясь придать своему голосу удивленное выражение:

---

[28] Примечания: 28
Напутствуемая утешениями святой церкви*(фр.).*

— Ты не спишь, Марджори?

Он поднялся с постели и пошел, точно из камеры на эшафот, в ее комнату.

— Ты хочешь, чтобы я умерла, Уолтер?

Как собака в канаве, одна. Он сделал движение, словно желая обнять ее. Марджори оттолкнула его. Страдание мгновенно превратилось в гнев, любовь — в ненависть и обиду.

— Не лицемерь, — сказала она. — Почему ты не скажешь мне откровенно, что ты ненавидишь меня, что ты хочешь от меня избавиться, что ты будешь рад, если я умру? Почему ты не можешь быть честным и не скажешь мне?

— Зачем я буду говорить тебе то, чего нет на самом деле? — оправдывался он.

— Ты еще, пожалуй, скажешь, что ты любишь меня? — саркастически спросила она.

Он почти верил в свои слова; к тому же оно и на самом деле было так — в известном смысле.

— Да, я люблю тебя. То, другое, — это какое-то безумие. Я этого не хочу. Но я ничего не могу поделать. Если бы ты знала, каким презренным я себе кажусь, каким гнусным животным! — При этих словах все, что он выстрадал от подавленных желаний, от угрызений совести, стыда и ненависти к самому себе, как бы слилось в одну

острую боль. Он страдал и жалел самого себя. — Если бы ты знала, Марджори! — И внезапно что-то как бы оборвалось в нем. Невидимая рука сжала его горло, слезы ослепили его, и какая-то сила, бывшая в нем, но не бывшая им, сотрясла все его тело и выдавила из него, помимо его воли, заглушенный нечеловеческий крик.

Когда Марджори услышала в темноте, возле себя, этот рыдающий звук, гнев ее сразу погас. Она знала только одно: он несчастен, а она любит его. Ей даже стало стыдно своего гнева и тех горьких слов, которые она произнесла.

— Уолтер! Милый! — Она протянула руки, она привлекла его к себе. Он лежал, как дитя, в ее утешающих объятиях.

* * *

— Вам доставляет удовольствие мучить его? — осведомился Спэндрелл, когда они шли по направлению к Чаринг-Кросс-роуд.

— Мучить кого? — спросила Люси. — Уолтера? Я не мучаю его.

— Но вы ведь не позволяете ему спать с вами? — спросил Спэндрелл. Люси покачала головой. — И после этого вы говорите, что не мучаете его! Бедный мальчик!

— Но с какой стати мне это делать, раз мне не хочется?

— Действительно, с какой стати? Неужели вы не понимаете, Люси, что, позволяя ему бегать за вами, вы тем самым мучаете его.

— Мне он нравится, — сказала Люси. — С ним интересно. Конечно, он слишком молод; но все-таки он очень приятный. К тому же я вовсе не мучаю его. Он сам себя мучает.

Спэндрелл на минуту перестал смеяться и свистом подозвал машину, которую он увидел в конце улицы. Машина подъехала и остановилась перед ними. Он все еще смеялся своим беззвучным смехом, когда они садились в такси.

— Конечно, он получает должное, — произнес Спэндрелл из своего темного угла. — Он типичная жертва.

— Жертва?

— Для убийства нужны двое. Существуют прирожденные жертвы; они рождаются специально для того, чтобы им перерезали горло, так же как те, которые режут им горло, рождаются для того, чтобы быть повешенными. Это написано у них на лицах. Существуют типичные преступники и типичные жертвы. Уолтер принадлежит к последнему типу: он прямо напрашивается на

дурное обращение.

— Бедный Уолтер!

— И долг каждого, — продолжал Спэндрелл, — доставлять ему это.

— А почему не избавить его от мучений? Бедный ягненочек!

— Следует помогать судьбе. Уолтер рожден для того, чтобы с ним плохо обращались. Наш долг — подать руку помощи его судьбе. Я с удовлетворением вижу, что вы так и поступаете.

— Какой вздор! Спички есть?

Спэндрелл зажег спичку. Держа папиросу в тонких губах, Люси наклонилась вперед, чтобы выпить пламя. Наклоняясь, она сделала то же быстрое, грациозное и хищное движение, каким она когда-то наклонялась к нему, чтобы пить его поцелуи. И лицо, приблизившееся к нему, было таким же напряженным и устремленным к пламени, каким он его видел, когда оно напряженно устремлялось к внутреннему пламени близящегося наслаждения. Мысли и переживания разнообразны, но жестов очень немного, а для того чтобы передать тысячи различных оттенков, у человеческого лица есть всего лишь десять — пятнадцать выражений. Она откинулась на сиденье; Спэндрелл выбросил спичку в

окно. Красный кончик папиросы то разгорался, то затухал во тьме.

— Помните то забавное время, когда мы были в Париже? — спросил он, все еще думая о ее напряженном и жадном лице. Когда-то, года три назад, он в течение месяца был ее любовником. Люси кивнула.

— Помню. Недурное было время. Но вы оказались ужасно ветреным.

— Иными словами, я отнесся чересчур спокойно к вашему роману с Томом Триветом.

— Ничего подобного! — возмутилась Люси. — Вы ушли от меня, когда Том мне еще и не снился.

— Что ж, пусть будет по-вашему. По правде сказать, на мой вкус, вы недостаточно жертва. — Люси меньше всего была похожа на жертву; он часто думал, что и на обыкновенную женщину она мало похожа. Она искала наслаждения, как ищет его мужчина, не испытывая угрызений совести, неуклонно стремясь к своей цели, не позволяя своим мыслям и чувствам служить препятствием. Спэндрелл не любил, чтобы кто-нибудь пользовался им для собственного развлечения; он хотел пользоваться сам. Но с Люси это было невозможно. — Я похож на вас,

— добавил он. — Мне нужны жертвы.

— Следовательно, подразумевается, что я — преступник?

— Насколько мне помнится, вы и сами давным-давно согласились с этим, дорогая Люси.

— Никогда в жизни я ни с чем не соглашалась, — запротестовала она, — и никогда не буду соглашаться. По крайней мере не больше, чем на полчаса каждый раз.

— Это было в Париже, помните? В ресторане «Шомьер». За соседним столиком какой-то юноша красил губы.

— У него был платиновый браслет с бриллиантами. — Она с улыбкой кивнула. — И вы назвали меня ангелом или еще чем-то.

— Падшим ангелом, — уточнил он. — От рождения падшим ангелом.

— Странно, Морис, человек вы умный, а несете такую чепуху. Неужели вы действительно верите, что есть вещи хорошие и дурные?

Спэндрелл взял ее руку и поднес к губам.

— Дорогая Люси, — сказал он, — вы великолепны. И вы не должны зарывать свои таланты. Хвалю тебя, суккуб мой верный. — Он снова поцеловал ее руку. — Так продолжай же выполнять свой долг и дальше. Вот все, чего желает небо

от тебя.

— Я просто пытаюсь развлекаться. — Машина подъехала к ее дому на Брютон-стрит. — И видит бог, — добавила она, выходя из такси, — без особого успеха. Не надо, у меня есть деньги. — Она протянула шоферу десятишиллинговую бумажку. Бывая с мужчинами, Люси старалась по возможности платить за себя сама. Платя, она чувствовала себя независимой, она могла сама задавать тон. — И от вас ото всех я не много вижу помощи, — продолжала она, возясь с ключом. — Вы все невероятно скучны.

В столовой их ожидал красочный натюрморт из бутылок, фруктов и сандвичей. Их отражения фантастически бродили по неевклидовой вселенной блестящего вакуум-аппарата. Профессор Дьюар открыл способ приготовления жидкого водорода для того, чтобы суп Люси не остывал до самого рассвета. Над сервантом висела картина Джона Бидлэйка, изображавшая театр. Изгиб галереи, гроздья лиц, кусочек ярко освещенной авансцены.

— Как хорошо! — сказал Спэндрелл, прикладывая руку ко лбу, чтобы лучше видеть.

Люси не ответила. Она рассматривала себя в старинном тусклом зеркале.

— Что я буду делать, когда состарюсь? — вдруг спросила она.

— Почему бы не умереть? — предложил Спэндрелл, набив рот хлебом и страсбургским паштетом.

— Вероятно, я займусь наукой, как Старик. Интересно, есть такая наука — человеческая зоология? Лягушки мне быстро надоели бы. Кстати, о лягушках, — добавила она. — Мне понравился этот рыжий человечек — как его там? — да, Иллидж. Как он ненавидит нас за то, что мы богаты!

— Не зачисляйте меня в одну компанию с богатыми. Если бы вы знали… — Спэндрелл покачал головой. «Будем надеяться, что она принесет мне завтра денег». Он вспомнил слова матери, которые передала ему Люси. Перед этим он написал ей, что положение у него отчаянное.

— Мне нравятся люди, умеющие ненавидеть, — продолжала Люси.

— Да, Иллидж умеет. Он начинен теориями, желчью и завистью. Он жаждет взорвать нас всех на воздух.

— Тогда почему он этого не сделает? Почему не делаете этого вы? А для чего же тогда существует ваш клуб?

Спэндрелл пожал плечами.

— Видите ли, между теорией и практикой есть некоторая разница. А если ты убежденный коммунист, или ученый-материалист, или поклонник русской революции, то теории у тебя весьма и весьма странные. Послушали бы вы, как наш юный друг рассуждает об убийстве! Конечно, особенно интересует его политическое убийство; но он не видит большой разницы между различными отраслями этого ремесла. С его точки зрения, один вид убийства столь же безвреден и морально безразличен, как другой. Наше тщеславие заставляет нас преувеличивать значительность человеческой жизни; индивид есть ничто; природа заботится только о виде — и так далее и тому подобное. Странно, — добавил Спэндрелл в скобках, — до чего старомодны и даже примитивны новейшие течения в искусстве и политике! Юный Иллидж рассуждает как смесь лорда Теннисона в «In Memoriam», мексиканского индейца или малайца, взвинчивающего себя перед тем, как впасть в амок. Он обосновывает самое примитивное, дикое, животное безразличие к жизни и человеческой личности устарелыми научными аргументами. Очень, очень странно.

— Но почему научные аргументы устарелые?

— спросила Люси. — Ведь он и сам ученый…

— Но кроме того, он коммунист. А это означает, что он погряз в материализме девятнадцатого столетия. Не может быть коммуниста без механистического взгляда на мир. Ты должен верить, что единственная реальность — это пространство, время и масса, а все остальное — чепуха, одна лишь иллюзия, причем иллюзия буржуазная. Бедняга Иллидж! Его так тревожат Эйнштейн и Эддингтон. А как он ненавидит Анри Пуанкаре! Как яростно сражается со стариком Махом. Они подрывают его незамысловатую веру. Они утверждают, что законы природы — лишь удобные условности, созданные самим человеком, и что пространство, время и масса как таковые, да и вся вселенная Ньютона и его последователей — всего лишь наше собственное изобретение. Эта мысль так же возмущает и огорчает его, как мысль о небытии Божием возмущала бы христианина. Действительно, он ученый, но его убеждения заставляют его восставать против любой научной теории менее чем полувековой давности. Забавно, не правда ли?

— Не сомневаюсь, — сказала Люси, зевая. — Конечно, если вас интересуют теории; меня лично они не интересуют.

— А меня интересуют, — отпарировал Спэндрелл, — поэтому я не прошу у вас прощения. Впрочем, если вам угодно, я могу примером пояснить его непоследовательность на практике. Недавно я совершенно случайно обнаружил, что Иллидж очень трогательно заботится о своей семье. Он содержит свою мать, он платит за учение своего младшего брата, он дал своей сестре пятьдесят фунтов, когда она выходила замуж.

— Что же в этом плохого?

— Плохого? Но это так буржуазно! Теоретически он не должен делать различия между собственной матерью и любой другой пожилой женщиной. Он знает, что в правильно организованном обществе ее с ее артритом нужно поместить в камеру для усыпления животных. А вместо этого он посылает ей еженедельно не знаю сколько точно денег, чтобы она продолжала влачить свое бесполезное существование. Я как-то попрекнул его этим. Он покраснел и страшно смутился, точно его поймали на шулерстве. Чтобы восстановить свой престиж, он переменил тему и принялся рассуждать о политическом убийстве с изумительно спокойной, объективной, научной яростью. Я только засмеялся. «Как-нибудь на днях, — пригрозил я ему, — я поймаю вас на слове

и приглашу на охоту за человеком». И, честное слово, я так и сделаю.

— Если только вы не ограничитесь болтовней, как все прочие.

— Если только, — согласился Спэндрелл, — я не ограничусь болтовней.

— Когда вам надоест болтать и вы надумаете что-нибудь сделать, сообщите мне. Я жажду настоящей жизни.

— В том, что сделаю я, скорее будет настоящая смерть.

— Жизнь становится настоящей жизнью именно тогда, когда она пахнет смертью. — Люси нахмурилась. — Мне до смерти надоело все то, что принято называть сильными ощущениями. Знаете: юность на борту и наслаждение у руля. Это глупо, это однообразно. В наши дни осталось так мало способов проявить энергию. Думаю, раньше это было иначе.

— Вы хотите сказать, что раньше была не только любовь, но и насилие?

— Вот именно. — Она кивнула. — Сильные ощущения были не только… не только фокстерьерскими, грубо говоря…

— Тогда нарушали и шестую заповедь. А теперь стало слишком много полисменов.

— Да, уж так много! Они не дают глазом моргнуть. А ведь человек должен испытать все.

— Но если нет ни добра, ни зла — а вы, кажется, стоите именно на этой точке зрения, — тогда какой в этом смысл?

— Какой смысл? Это забавно. Это увлекательно.

— Увлекательным бывает лишь то, что мы считаем злом. — Но время и привычка лишили привкуса греха почти все те поступки, которые он раньше считал «дурными». Он совершал их с таким же безразличием, с каким он мог бы спешить на утренний поезд в Лондон. — Некоторые люди, — продолжал он задумчиво, пытаясь найти формулировку для своих смутных и неясных ощущений, — некоторые люди осознают добро только тогда, когда они грешат против него. — Но когда грех перестает ощущаться как грех, тогда что? Он продолжал спорить сам с собой. Кажется, единственный выход — совершать новые и с каждым разом все более тяжкие грехи или, на жаргоне Люси, испытать все. — Отрицание Бога, — медленно закончил он, — есть один из путей к Богу.

— Морис, что с вами! — возмутилась Люси.

— Я больше не буду. — Он засмеялся. — Но в

самом деле, если, по-вашему, это «Что с вами, Морис», — он передразнил ее, — если для вас одинаково не существуют ни добро, ни грех против добра, какой смысл «испытывать все», в том числе и то, что преследуется по закону?

Люси пожала плечами.

— Любопытство. Мне скучно.

— Увы, нам скучно. — Он снова засмеялся. — И все-таки мы будем пить чашу до последней капли.

— А какая капля последняя?

Спэндрелл ухмыльнулся.

— Скромность, — начал он, — не позволяет мне…

XIII

Уолтер шагал по Флит-стрит, чувствуя себя не то чтобы счастливым, но, по крайней мере, спокойным. Спокойным от сознания, что теперь все устроилось. Да, все устроилось; все — потому что в эту полную бурных волнений ночь все поднялось на поверхность. Прежде всего, он больше не увидит Люси; это было решено окончательно и бесповоротно для его собственного блага и для блага Марджори. Далее, он будет проводить все вечера с Марджори. И, наконец, он обратится к

Барлепу с просьбой о прибавке. Все устроилось. Даже сама погода, казалось, знала об этом. Лондон был окутан белым плотным туманом, таким невозмутимо-спокойным, что городские шумы, казалось, тонули в нем. Грохот и суета уличного движения как-то не нарушали глубокого покоя и молчания этого дня. Все устроилось; жизнь начиналась сызнова — может быть, не очень радостно и вовсе не блестяще, но покорно, с исполненным решимости спокойствием, которого ничто не могло поколебать.

Припоминая встречу с Барлепом на вчерашнем вечере, Уолтер ожидал в редакции холодного приема. Однако Барлеп приветствовал его весьма радушно. Он тоже помнил вчерашний вечер и хотел, чтобы Уолтер о нем забыл. Он назвал Уолтера «дружище» и нежно пожал ему руку, глядя на него из своего кресла глазами, которые не выражали решительно ничего и казались лишь провалами в тьму, царившую в его черепе. Его губы улыбались чарующей и тонкой улыбкой. Уолтер тоже назвал его «дружище» и тоже улыбнулся, болезненно сознавая свою неискренность. Барлеп всегда так на него действовал: в его присутствии Уолтер никогда не чувствовал себя вполне честным и искренним. Это было

очень неприятное чувство. Почему-то — он сам не знал почему — в присутствии Барлепа он всегда казался себе лжецом и комедиантом. И все, что он говорил, даже когда он высказывал свои глубочайшие убеждения, становилось ложью.

— Мне понравилась ваша статья о Рембо, — объявил Барлеп, не выпуская руки Уолтера и продолжая улыбаться ему из глубины своего вращающегося кресла.

— Очень рад, — сказал Уолтер, чувствуя себя неловко, потому что это замечание было обращено вовсе не к нему, а к какой-то части сознания самого Барлепа, которая шепнула: «Скажи ему что-нибудь приятное о его статье» — и требование которой было должным образом выполнено другой частью сознания Барлепа.

— Что за человек! — воскликнул Барлеп. — Вот кто действительно верил в жизнь!

С тех пор как Барлеп стал редактором «Литературного мира», передовицы журнала почти каждую неделю провозглашали необходимость верить в жизнь. Эта вера в жизнь, которую проповедовал Барлеп, всегда очень смущала Уолтера. Что значили эти слова? Даже теперь он не имел об этом ни малейшего представления: Барлеп никогда не объяснял. Нужно было понимать ин-

туитивно; если вы не понимали, вас предавали вечному проклятию. Уолтер подозревал, что он тоже попал в разряд проклятых. Первый разговор с будущим шефом неизгладимо запечатлелся в его памяти. «Мне говорили, что вам нужен помощник редактора», — застенчиво начал он. Барлеп кивнул головой: «Да, нужен». И после бесконечного мучительного молчания он вдруг взглянул на него своими пустыми глазами и спросил: «Вы верите в жизнь?» Уолтер покраснел до корней волос и ответил: «Да». Это был единственный возможный ответ. Снова настало томительное молчание, и снова Барлеп взглянул на него. «Вы девственник?» — осведомился он. Уолтер покраснел еще гуще, замялся и наконец отрицательно покачал головой. Впоследствии он понял, прочтя одну из статей Барлепа, что тот подражал в своем поведении Толстому и «шел напрямик к великим, простым, незыблемым основам» — так Барлеп называл нахальное влезание этого старого генерала Армии спасения в чужую душу.

— Да, Рембо, конечно, верил в жизнь, — нетвердо согласился Уолтер с таким чувством, точно ему пришлось написать формальное соболезнующее письмо. Разговоры о вере в жизнь были

так же тягостны, как соболезнования по поводу чьей-нибудь тяжелой утраты.

— Он так глубоко верил в жизнь, — медленно продолжал Барлеп, опуская глаза (к великому облегчению Уолтера) и мотая головой в такт словам, — так глубоко, что он готов был пожертвовать ею. Я истолковываю его отказ от литературы как добровольную жертву. — («Как легко он бросается громкими словами!» — подумал Уолтер.) — Сберегший свою жизнь потеряет ее. — («Ух ты!») — Быть величайшим поэтом своего поколения и, зная это, отказаться от поэзии — это значит потерять жизнь, чтобы сберечь ее. Это значит истинно верить в жизнь. Его вера была столь сильна, что он готов был потерять свою жизнь, ибо он верил, что обретет новую, лучшую жизнь. — («Слишком легко он ими бросается!» Уолтер чувствовал себя страшно неловко.) — Жизнь, исполненную мистического созерцания и интуитивных озарений. Ах, если бы знать, что он делал, о чем думал в Африке! Если бы знать!

— Он доставлял контрабандой ружья для императора Менелика. — Уолтер нашел в себе смелость ответить. — И, если судить по его письмам, он думал преимущественно о том, чтобы заработать денег и зажить обеспеченной жизнью. Он носил

в поясе сорок тысяч франков. Двадцать один фунт золота носил он на себе. «Кстати, о золоте, — подумал он. — Вот сейчас бы и заговорить о прибавке».

Но упоминание о ружьях Менелика и о сорока тысячах франков вызвало на лице Барлепа улыбку христианского всепрощения.

— Неужели вы в самом деле думаете, — спросил он, — что, когда Рембо жил в пустыне, его мысли были заняты деньгами и перевозкой ружей? Его, автора «Озарений»?

Уолтер покраснел, точно в чем-то погрешил против хорошего тона.

— Это единственные известные нам факты, — сказал он извиняющимся тоном.

— Но есть внутренняя прозорливость, позволяющая проникнуть глубже под поверхность фактов. — «Внутренняя прозорливость» — так Барлеп любил называть свое собственное мнение. — Он осуществлял новую жизнь, он завоевывал царствие небесное.

— Это только гипотеза, — сказал Уолтер, подумав: «Как хорошо было бы, если бы Барлеп никогда не читал Нового Завета!»

— Для меня, — ответил Барлеп, — это неопровержимая истина. — Он говорил с подчеркнутой

выразительностью, он неистово мотал головой. — Безусловная и неопровержимая истина, — твердил он, многократным повторением фразы внушая себе мнимую убежденность. — Безусловная и неопровержимая! — Он замолчал; но внутренне он продолжал подогревать свое мистическое исступление. Он думал о Рембо до тех пор, пока не почувствовал себя Рембо. И вдруг чертик высунул свою ухмыляющуюся рожу и шепнул: «Двадцать один фунт золота в поясе». Барлеп изгнал беса, переменив тему разговора. — Видели новые книги, присланные на отзыв? — сказал он, указывая на две кипы томов на углу стола. — Еще сколько-то ярдов современной литературы. — Он пришел в юмористическое отчаяние. — Почему авторы не прекратят этот чернильный поток? Это болезнь. Это кровотечение, вроде того, каким страдала эта несчастная евангельская леди. Помните?

Уолтер помнил главным образом то, что эта острота принадлежала Филипу Куорлзу.

Барлеп встал и принялся просматривать книги.

— Бедные рецензенты! — сказал он со вздохом.

«Бедные рецензенты». Вот хороший предлог, чтобы произнести маленькую речь о прибавке!

Уолтер взял себя в руки, собрал всю свою волю.

— Я как раз думал… — начал он.

Почти одновременно с ним заговорил и Барлеп.

— Я позову Беатрису, — сказал он и трижды надавил звонок. — Ах, простите. Вы что-то сказали?

— Нет, ничего.

Разговор придется отложить. Немыслимо вести его при посторонних, особенно если этими «посторонними» была Беатриса. Черт бы ее побрал! — мысленно выбранил он ни в чем не повинную Беатрису. С какой стати она безвозмездно выполняет редакционную работу и пишет короткие заметки? Только потому, что у нее есть личные средства и она обожает Барлепа.

Как-то раз Уолтер в шутку пожаловался ей на свое нищенское жалованье — шесть фунтов в неделю.

— Но «Мир» достоин того, чтобы ради него приносить жертвы, — протрещала она. — В конце концов, есть же у нас какие-то обязанности перед ближними. — «Христианские сентенции Барлепа, произносимые ее звонким трескучим голосом, производят, — подумал Уолтер, — особенно дикое впечатление». — «Мир» кое-что дает им; наш долг — поддержать его.

Ответ напрашивался сам собой: «Но мои личные средства слишком незначительны, и я не влюблен в Барлепа»; однако он не ответил ничего и позволил гусыне щипать себя. И все-таки черт бы ее побрал!

Вошла Беатриса — аккуратненькая, полненькая, хорошо сложенная женщина; она держалась очень прямо и имела очень деловитый вид.

— Доброе утро, Уолтер, — сказала она; каждое слово ее было как короткий резкий удар молоточком из слоновой кости по костяшкам пальцев. Она осмотрела его своими блестящими выпуклыми глазами. — У вас усталый вид, — продолжала она. — Потрепанный. Словно вы всю ночь бегали по крышам. — Щипок за щипком. — Что, угадала?

— Я плохо спал, — промямлил Уолтер, краснея, и углубился в книгу.

Они разобрали присланные книги. Маленькая стопка для эксперта по научным вопросам, другая для присяжного философа, целая груда для специалиста по беллетристике. Большинство книг принадлежало к разряду, кратко обозначаемому «хлам». О хламе либо вовсе не давали отзывов, либо писали о нем в отделе «Коротких заметок».

— Вот для вас книга о Полинезии, Уолтер, — ве-

ликодушно сказал Барлеп. — И новая антология французской поэзии. Или нет, постойте: антологию, пожалуй, возьму я. — Подумав, Барлеп обычно забирал самые интересные книги себе.

— «Жизнь святого Франциска, обработанная для детей Беллой Джукс». Теология или хлам? — спросила Беатриса.

— Хлам, — сказал Уолтер, заглядывая через ее плечо.

— Я, пожалуй, воспользуюсь этим случаем, чтобы написать маленькую статейку о святом Франциске, — сказал Барлеп. В свободное от редактирования время он писал объемистое сочинение об этом святом. Книга будет называться «Святой Франциск и душа современности». Он взял у Беатрисы маленькую книжку и бегло перелистал ее. — Хламовато, — согласился он. — Но какой необыкновенный человек! Необыкновенный! — Он начал гипнотизировать себя, насильственно вгонять себя в францисканское настроение.

— Замечательный! — протрещала Беатриса, не сводя глаз с Барлепа.

Уолтер с любопытством посмотрел на нее. Ее идеи и ее манеры щиплющей гусыни принадлежали, казалось, двум различным людям,

единственным связующим звеном между которыми был Барлеп. А была ли между ними внутренняя органическая связь?

— Какая потрясающая цельность! — Барлеп опьянялся своими словами. Он тряхнул головой и, вздохнув, отрезвил себя настолько, чтобы стать способным заниматься делами.

Когда Уолтеру представилась возможность заговорить (но с какой робостью, с какой деликатной сдержанностью!) о своем жалованье, Барлеп отнесся к нему необыкновенно сочувственно.

— Знаю, дружище, — сказал он, кладя руку на плечо Уолтеру; последний при этом живо вспомнил, как в школе ему раз пришлось играть Антонио в «Венецианском купце» и его злейший недруг Портер-старший, выступавший в роли Бассанио, изъявлял ему свои дружеские чувства. — Мне тоже знакома нужда. — Он слегка засмеялся, словно давая понять, что он, как истый францисканец, прекрасно разбирается в бедности, но слишком скромен, чтобы выставлять это напоказ. — Знакома, дружище. — В эту минуту он сам готов был поверить, что он вовсе не совладелец «Мира» и не редактор на солидном жалованье, что у него нет ни пенни сбережений, что он уже много лет живет на два фунта

в неделю. — Я очень хотел бы, чтобы у нас была возможность платить вам в три раза больше: вы этого заслуживаете, дружище. — Он слегка похлопал Уолтера по плечу.

Уолтер что-то промычал, защищаясь от похвал. Он подумал, что в ответ на это похлопывание по плечу ему следовало произнести:

Паршивая овца в чистейшем стаде,
Я только на убой идти достоин.

— Мне очень хотелось бы ради вас, — продолжал Барлеп, — да и ради себя тоже, — добавил он, и этими словами, сопровождаемыми горьким смешком, он ставил себя в финансовом отношении на одну доску с Уолтером, — чтобы наш журнал приносил больше прибыли. Это могло бы случиться, если бы вы писали не так хорошо. — Комплимент был крайне изящен. Барлеп подчеркнул его дружеским похлопыванием по плечу и улыбкой. Но его глаза не выражали ничего. Встретив на мгновение их взгляд, Уолтер подумал, что они вовсе не смотрят на него, что они вообще ни на что не смотрят. — Журнал слишком хорош. Это в значительной мере ваша вина. Нельзя служить Богу и Маммоне.

— Разумеется, — согласился Уолтер; но у него

снова появилось ощущение, что Барлеп слишком легко произносит громкие слова.

— Я хотел бы, чтобы это можно было делать. — Барлеп говорил с игривостью святого Франциска, шутливо подсмеивающегося над собственными принципами.

Уолтер без особенной веселости присоединился к его смеху. Он жалел, что вообще произнес слово «жалованье».

— Я поговорю с мистером Чиверсом, — сказал Барлеп. Мистер Чиверс был главным администратором. Барлеп пользовался им, как римские государственные деятели пользовались оракулами и авгурами, чтобы проводить собственную политику. Все его неблагоприятные для служащих решения неизменно приписывались мистеру Чиверсу; а когда решение было благоприятным, Барлеп давал понять, что вырвал его силой у этого бездушного администратора. Мистер Чиверс был удобнейшей ширмой. — Я сегодня же с ним поговорю.

— Ради бога, не беспокойтесь, — сказал Уолтер.

— Если будет хоть малейшая возможность выцарапать что-нибудь для вас…

— Не нужно. — Уолтер просто-таки умолял, чтобы ему не платили больше. — Я знаю, какие

затруднения переживает журнал. Не подумайте, пожалуйста, что я…

— Но мы эксплуатируем вас, Уолтер, положительно эксплуатируем. — Чем больше протестовал Уолтер, тем великодушней становился Барлеп. — Не подумайте, что я этого не вижу. Это давно уже мучает меня. — Его великодушие было заразительно. Уолтер твердо решил не соглашаться на прибавку, хотя был уверен, что журнал это может выдержать.

— Серьезно, Барлеп, — почти умолял он, — мне будет приятнее, если все останется по-старому. — Но тут он вдруг подумал о Марджори. Как это нехорошо по отношению к ней! Он приносит в жертву ее спокойствие своему. Из-за того, что он не любит торговаться, что он питает отвращение к борьбе и к выпрашиванию подачек, бедняжке Марджори придется обходиться без новых платьев и без второй прислуги.

Но Барлеп отклонял все его протесты. Он во что бы то ни стало хотел проявить великодушие.

— Я сейчас же пойду и поговорю с Чиверсом. Надеюсь, мне удастся убедить его, чтобы вам прибавили двадцать пять фунтов в год.

Двадцать пять! Это значит десять шиллингов в неделю. Все равно что ничего. Марджори сказала,

что он должен требовать по крайней мере еще сто фунтов в год.

— Благодарю вас, — сказал он и почувствовал презрение к самому себе за эти слова.

— Боюсь, что это до смешного мало. До смешного мало.

«Это следовало бы сказать *мне*», –подумал Уолтер.

— Даже стыдно предлагать так мало. Но что может сделать человек при таких обстоятельствах? — Разумеется, «человек» ничего не мог сделать, по той простой причине, что за этим «человек» не скрывалось никакой реальности.

Уолтер промямлил что-то насчет своей благодарности. Он испытывал унижение и винил в этом Марджори.

Когда Уолтер работал в редакции — три раза в неделю, — он сидел с Беатрисой. Барлеп сидел один, в уединении редакторского кабинета. Сегодня был день коротких заметок. Между Уолтером и Беатрисой на столе громоздились груды хлама. Каждый выбирал себе книгу по вкусу. Это было литературное пиршество — пиршество из отбросов. Плохие романы и дрянные стихи, идиотические философские системы и плоское морализирование, унылые биографии и

скучнейшие описания путешествий, религиозные сочинения столь тошнотворные и детские книги столь вздорные и глупые, что, читая их, испытываешь стыд за весь человеческий род, — груда была огромна и становилась все огромнее с каждой неделей. Ни муравьиное трудолюбие Беатрисы, ни быстрота и находчивость Уолтера не могли справиться с этим все подымающимся приливом. Они накинулись на книги «как грифы на трупы в Башне Молчания», по выражению Уолтера. Сегодня его отзывы отличались особой язвительностью.

На бумаге Уолтер обладал всеми теми качествами, которых ему не хватало в жизни. Его рецензии были лаконичны и беспощадны. Злополучные старые девы, читая то, что он писал по поводу их прочувствованных поэм о Боге и страсти и красотах природы, бывали совершенно сражены его грубым презрением. Охотники за крупной дичью, получившие столько удовольствия от своих путешествий по Африке, не понимали, как это можно называть скучными описания увлекательных приключений. Юные романисты, сформировавшие свой стиль и свою композицию по лучшим образцам и смело обнажавшие тайные глубины своей сексуальной жизни, страдали,

изумлялись и приходили в негодование, узнавая, что у них напыщенный язык, неправдоподобные ситуации, нереальная психология, мелодраматические сюжеты. Плохую книгу написать так же трудно, как хорошую; ее автор с такой же искренностью изливает в ней свою душу. Но так как у плохого автора душа, по крайней мере, с эстетической точки зрения, низшего качества, его искренность если не всегда неинтересна сама по себе, то, во всяком случае, выражена так неинтересно, что все усилия, затраченные на ее выражение, пропадают даром. Природа чудовищно несправедлива. Талант не заменишь ничем. Трудолюбие и все добродетели здесь бесполезны. Погрузившись в хлам, Уолтер злобно высмеивал отсутствие таланта. Создатели хлама, сознававшие свое трудолюбие, свою искренность и свои добрые намерения, чувствовали себя несправедливо и жестоко обиженными.

Метод критики Беатрисы был прост: она каждый раз пыталась представить себе, что сказал бы в этом случае Барлеп. На деле это сводилось к тому, что она хвалила все те книги, авторы которых, по ее мнению, серьезно относились к жизни и ее проблемам, и ругала все те, в которых она не находила этого серьезного отношения. «Фестуса»

она поставила бы выше «Кандида» — разумеется, если бы Барлеп или какой-нибудь другой авторитет не предупредил бы ее заранее, что ее долг предпочесть «Кандида». Поскольку ее допускали только к хламу, отсутствие у нее критического чутья особенного значения не имело.

Они поработали, они пошли позавтракать, они вернулись и снова принялись за работу. За это время прибыло одиннадцать новых книг.

— Я чувствую себя, — сказал Уолтер, — словно бомбейский коршун после эпидемии среди парсов.

Бомбей и парсы напомнили ему о его сестре Элинор. Сегодня она с Филипом отплывает на родину. Он был доволен, что они возвращаются. Они были, пожалуй, единственными людьми, с которыми он мог говорить по душам о своих делах. Он сможет обсудить с ними стоявшие перед ним трудности. Это успокоит его, снимет с него часть ответственности. И вдруг он вспомнил, что все устроилось, что трудностей больше нет. Больше нет. В эту минуту раздался телефонный звонок. Уолтер снял трубку.

— Алло!

— Это вы, Уолтер? — Голос принадлежал Люси.

Его сердце упало: он знал, что произойдет сей-

час.

— Я только что проснулась, — объяснила она. — Я совсем одна.

Она хотела, чтобы он пришел к ней пить чай. Он отказался.

— Тогда после чая.

— Не могу, — упорствовал он.

— Глупости! Отлично можете.

— Невозможно.

— Почему?

— Работа.

— Но ведь вы работаете только до шести. Я настаиваю.

«В конце концов, — подумал он, — может быть, лучше повидаться с ней и сказать ей о своем решении?»

— Если вы не придете, я никогда вам этого не прощу.

— Хорошо, — сказал он, — я постараюсь. Если это будет возможно, я приду.

— Какой вы ломака! — насмешливо сказала Беатриса, когда он повесил трубку. — Говорите «нет» только для того, чтобы вас упрашивали!

А когда в самом начале шестого он ушел из редакции под тем предлогом, что ему нужно попасть до закрытия в Лондонскую библиотеку,

она иронически пожелала ему удачи.

— Bon amusement![29] — послала она ему вдогонку.

В редакторском кабинете Барлеп диктовал письмо своей секретарше.

— Ваш и так далее, — закончил он и взял следующую рукопись. — Дорогая мисс Сэвиль, — начал он, взглянув на рукопись. — Нет, — поправился он, — дорогая мисс Ромола Сэвиль. Благодарю вас за ваше письмо и за любезно присланные нам рукописи. — Он замолчал, откинулся на спинку кресла и на мгновение закрыл глаза, обдумывая. — Как правило, — снова начал он тихим и далеким голосом, — как правило, я не пишу личных писем незнакомым авторам. — Он открыл глаза и встретил темный, блестящий взгляд своей секретарши, сидевшей напротив него за столом. Глаза мисс Коббет выражали сарказм; легкая улыбка едва заметно кривила уголки ее рта. Барлеп почувствовал раздражение; но он скрыл его и продолжал смотреть прямо перед собой, точно мисс Коббет там не было и он рассеянно рассматривал какой-то предмет обстановки. Мисс Коббет снова обратилась к своему блокноту.

---

[29] Примечания: 29
Приятных развлечений!*(фр.).*

«Какой он мерзкий, — сказала она себе, — какой неописуемо вульгарный!»

Мисс Коббет была черноволосой женщиной небольшого роста, с темным пушком над верхней губой, с карими глазами, слишком большими для ее худого, немного болезненного личика. Мрачные страстные глаза, почти всегда выражавшие упрек, который, вспыхивая, мгновенно превращался в гнев или, как сейчас, в насмешку. Она имела право смотреть на мир с упреком. Судьба обошлась с ней немилостиво, очень немилостиво. Этель родилась и росла в достатке, но после смерти отца осталась нищей. Гарри Маркхэм сделал ей предложение. Казалось, для нее началась новая жизнь. В это время была объявлена война. Гарри пошел на фронт и был убит. Его смерть обрекла ее на стенографию и машинопись до конца жизни. Гарри был единственным мужчиной, полюбившим ее, не побоявшимся полюбить ее. Другие мужчины считали ее слишком беспокойной, страстной и серьезной. Она ко всему относилась слишком серьезно. Молодые люди чувствовали себя в ее присутствии неудобно и глупо. Они мстили ей тем, что смеялись над ней, обвиняли в отсутствии чувства юмора и в педантизме, а позднее стали называть старой девой,

которая томится по мужчине. Они говорили, что она похожа на колдунью. Она часто влюблялась, страстно, с безнадежной пылкостью. Мужчины или не замечали этого, или, заметив, немедленно спасались бегством, или высмеивали ее, или, что было еще хуже, относились к ней со снисходительной добротой, точно она была несчастным, сбитым с толку созданием, правда, несколько надоедливым, но, безусловно, достойным жалости. У Этель Коббет были все основания смотреть на мир с упреком.

Она познакомилась с Барлепом благодаря тому, что в дни своего достатка она училась в одной школе с будущей женой Барлепа — Сьюзен Пэли. После смерти Сьюзен Барлеп только и говорил что о своем горе. Он использовал его в качестве материала для целого ряда статей, еще более мучительно интимных, чем все его остальные писания (именно этому качеству он был обязан своим успехом: широкая публика с каннибальской жадностью поглощает интимные переживания). Этель написала ему соболезнующее письмо, присовокупив к нему длинное описание Сьюзен-девочки. Со следующей почтой пришел трогательный ответ тронутого до глубины души Барлепа:

«Спасибо вам, спасибо вам за то, что вы поделились со мной вашими воспоминаниями о той, кого я всегда считал единственно*настоящей* Сьюзен, о маленькой девочке, которая до самой смерти жила, непорочная и прекрасная, в Сьюзен-женщине; о милом ребенке, которым вопреки хронологии она всегда оставалась; о милом ребенке, жившем под внешней оболочкой взрослой Сьюзен. Я убежден, что в глубине души она никогда не верила в свое взрослое “я” и всю жизнь не могла отрешиться от мысли, что она всего лишь маленькая девочка, играющая во взрослую».

И так далее, и так далее — несколько страниц истерических излияний на тему о покойной девочке-жене. Значительную часть содержания этого письма он включил в свою очередную статью, озаглавленную «Таковых есть царствие небесное». Через день или два он отправился в Бирмингем, чтобы лично переговорить с женщиной, знавшей «единственную настоящую» Сьюзен, когда та была не только духовно, но и физически ребенком. Оба произвели друг на друга благоприятное впечатление. Для Этель, чья жизнь, полная горечи и раздражения, протекала между ее убогой квартиркой и ненавистной

страховой конторой, прибытие сначала письма, а затем и самого Барлепа было великим и чудесным событием. Настоящий писатель, человек с душой и умом! Тогда как Барлеп довел себя до такого состояния, когда он готов был привязаться к любой женщине, способной говорить с ним о детстве Сьюзен и комфортабельно уложить его, как ребенка, на мягкую перину теплого материнского сострадания. Кроме того, достоинства Этель Коббет не исчерпывались тем, что она когда-то была подругой Сьюзен и сочувствовала ему в его горе; сверх того, она была не глупа, культурна и преклонялась перед ним. Первое впечатление было благоприятным.

Барлеп плакал и раскаивался. Он доводил себя до исступления мыслью, что никогда, никогда он не сможет попросить у Сьюзен прощения за все обиды, которые он ей причинил, за все жестокие слова, которые он ей сказал. В порыве самобичевания он даже признался, что однажды изменил ей. Он рассказал обо всех их ссорах. А теперь она умерла, и он никогда не сможет вымолить у нее прощения. Никогда, никогда! Этель была тронута. Она подумала, что, умри она, Этель, никто ее не станет оплакивать. Но заботливое отношение при жизни гораздо нужнее человеку, чем слезы

после его смерти. Исступление, до которого довел себя Барлеп путем упорного сосредоточения на мысли о своей потере и о своем горе, никак не соответствовало его реальной привязанности к живой Сьюзен. Лойола предписывал каждому кандидату в иезуитский орден несколько времени предаваться в одиночестве размышлениям о страстях Господних; после нескольких дней подобных упражнений, сопровождаемых постом, в уме посвящаемого возникал живой мистический образ личности Спасителя и его страданий. Тем же методом пользовался и Барлеп; только думал он не об Иисусе и даже не о Сьюзен — он думал о себе, о своих страданиях, своем одиночестве, своих угрызениях совести. Через несколько дней непрерывного духовного онанизма он был должным образом вознагражден: он проникся сознанием неповторимости и бездонности своих страданий. Он увидел самого себя в апокалипсическом видении как мужа скорби. (Евангельские выражения не сходили у Барлепа с языка и кончика его пера. «Каждому из нас, — писал он, — дается Голгофа, соответствующая нашему долготерпению и способности к самосовершенствованию». Он с видом знатока говорил о Гефсиманских садах и чашах.)

Видение это разрывало его сердце; он преисполнился жалости к самому себе.

Но бедная Сьюзен имела весьма отдаленное отношение к горестям этого христоподобного Барлепа. Его любовь к живой Сьюзен была такой же надуманной и взвинченной, как его скорбь по поводу ее смерти. Он любил не Сьюзен, но созданный им самим образ Сьюзен, который в результате упорного сосредоточения по методу иезуитов приобрел галлюцинаторную реальность. Его пламенное отношение к этому фантому и любовь к любви, страсть к страсти, которую он выдавливал из глубин своего самосознания, покорили Сьюзен, вообразившую, будто все это имеет какое-то отношение к ней самой. Больше всего нравилось ей в его чувствах их совершенно не мужская «чистота». Его любовь походила на любовь ребенка к своей матери (правда, ребенка с наклонностями к кровосмешению; но какой это был тактичный и деликатный маленький Эдип!); его любовь была одновременно младенческой и материнской; его страсть была своего рода пассивным стремлением приютиться в женских объятиях. Слабая, хрупкая, с пониженной жизнеспособностью, а следовательно, не совсем взрослая, она обожала его — возвышен-

ного и почти святого возлюбленного. Барлеп, в свою очередь, обожал свой фантом, обожал свою необыкновенно христианскую концепцию брака, обожал свой столь достойный обожания способ быть супругом. Его периодически появлявшиеся в печати статьи, восхвалявшие брак, были полны лиризма. Тем не менее он неоднократно изменял жене; но он ложился в постель с женщинами так невинно, так по-детски и так платонично, что ни женщины, ни даже он сам едва ли вообще замечали, что ложатся в постель. Его жизнь с Сьюзен была длинным рядом сцен всех эмоциональных оттенков. Он пережевывал какую-нибудь обиду до тех пор, пока не отравлял себя ядом гнева и ревности. Или он углублялся мысленно в собственные недостатки и доводил себя до униженного раскаяния, или катался у ее ног в экстазе кровосмесительного преклонения перед воображаемой матерью-ребенком-женой, с которой ему заблагорассудилось отождествить Сьюзен. А иногда он приводил Сьюзен в полное недоумение, прерывая свои излияния циническим смешком и становясь на некоторое время кем-то совершенно другим, чем-то вроде Веселого Мельника из песенки, заявлявшего: «Обо мне никто не плачет, я не плачу ни о ком!» Приведя

себя снова в состояние эмоциональной духовности, он винил в этих настроениях «своего беса» и цитировал слова Старого Морехода: «Иссохло сердце, как в степях сожженный солнцем прах». «Мой бес» — а может быть, это выползал наружу подлинный Барлеп, которому надоело делать вид, что он кто-то другой, и взращивать в себе эмоции, которых он непосредственно не переживал?

Сьюзен умерла; но Барлеп мог бы с таким же успехом испытывать длительную и страстную скорбь по ней и при ее жизни; для этого ему стоило только вообразить ее умершей, а себя — безутешным и одиноким. Интенсивность его переживаний, или, вернее, громогласие и назойливость, с какой они выражались, произвела на Этель большое впечатление. Барлеп, казалось, был совершенно раздавлен своим горем физически и духовно. Ее сердце обливалось кровью за него. Поощряемый ее сочувствием, он устраивал настоящие оргии сердечного сокрушения, тем более острого, что оно было напрасным, раскаяния тем более мучительного, что оно было запоздалым, бесцельных исповедей и самобичеваний.

Но когда взвинчиваешь одно какое-нибудь чувство, это неизбежно отражается на всем сознании. Человек, эмоционально экзальтированный

в одной области, легко становится эмоционально экзальтированным во всех остальных. Скорбь сделала Барлепа благородным и великодушным; жалость к самому себе пробудила христианское отношение к другим. «Вы тоже несчастны, — сказал он Этель, — я это вижу». Она не отрицала; она рассказала, как она ненавидит свою работу, ненавидит контору, ненавидит всех окружающих; рассказала ему всю свою неудачную жизнь. Барлеп довел себя до нужного градуса сочувствия. «Но что значат мои маленькие горести по сравнению с вашими», — возражала она, вспоминая его бурные излияния. Барлеп говорил о тайном ордене страдающих и, ослепленный видением собственного великодушия, предложил мисс Коббет место секретарши в редакции «Литературного мира». Хотя Лондон и «Литературный мир» казались бесконечно более заманчивыми, чем страховая контора и Бирмингем, Этель колебалась. Служба в конторе была скучна, но зато это было постоянное место, и за выслугу лет полагалась пенсия. В новом и еще более бурном порыве великодушия Барлеп гарантировал ей, что место будет постоянное. Он распалился собственной добротой.

Мисс Коббет дала себя уговорить — она пере-

ехала. Но расчеты Барлепа на то, что ему удастся постепенно и незаметно пробраться к ней в постель, не оправдались. Этот ребенок с разбитым сердцем, жаждавший утешения, не прочь был бы склонить свою утешительницу, все так же духовно и платонично, на нежный и сладостный блуд. Но даже мысль о таких отношениях не приходила в голову Этель Коббет. Она была женщиной с принципами, такой же страстной и пылкой в дружбе, как и в любви. Она приняла скорбь Барлепа за чистую монету. Когда они, обливаясь слезами, решили окружить бедную Сьюзен своего рода тайным культом, воздвигнуть в сердцах алтарь ее памяти и украшать его цветами, Этель вообразила, что это так и будет. Она, во всяком случае, была искренна. Она никогда не подозревала Барлепа в неискренности. Его дальнейшее поведение изумило и огорчило ее. Неужели это тот самый человек? — спрашивала она себя, наблюдая, как он потихоньку платонично и утонченно-духовно предается распутству. Неужели это тот человек, который поклялся вечно возжигать свечи перед алтарем бедной малютки Сьюзен? Она не скрывала своего неодобрения. Барлеп проклял свою глупость, заставившую его переманить ее из страховой конторы, свое пер-

восортное идиотство, побудившее его пообещать ей постоянное место. Неужели она не догадается уйти сама! Он старался выжить ее, обращаясь с ней свысока, холодно и безлично, как с машиной для писания писем и перепечатки статей. Но Этель Коббет мрачно цеплялась за службу, цеплялась за нее вот уже полтора года и не выражала никакого желания уходить.

Это становилось невыносимо; продолжаться дальше это не могло. Но как положить этому конец? Конечно, по закону он вовсе не обязан держать ее вечно. Он не давал никаких письменных обязательств. На худой конец…

С каменным лицом, игнорируя выражение глаз и еле заметную ироническую усмешку Этель Коббет, Барлеп продолжал диктовать. На машины не обращают внимания: ими пользуются. И все-таки такое положение не могло продолжаться.

— Как правило, я не пишу личных писем незнакомым авторам, — повторил он твердым, решительным тоном. — Но я не могу отказать себе в удовольствии сказать вам… нет, не так: поблагодарить вас за то огромное наслаждение, которое доставили мне ваши стихи. Свежий лиризм вашего творчества, его страстная искренность, его почти первобытная непосредственность и блеск

удивили и обрадовали меня. Редактору приходится перечитывать такое количество дурной литературы, что он испытывает почти неизъяснимую благодарность к тем, кто… нет, пишите: к редким и бесценным душам, которые дарят его настоящим золотом, а не обычной подделкой. Спасибо вам за ваш дар, за… — он снова посмотрел на рукопись, — за «Любовь среди лесов» и «Цветы страсти». Спасибо вам за мятежный блеск их словесного выражения. Спасибо вам также за чувствительность — нет, за трепетное чувство, — за пережитые страдания, за пламенную духовность; внутренняя прозорливость улавливает их под поверхностью ваших стихов. Я немедленно сдам в набор оба стихотворения и надеюсь напечатать их в начале будущего месяца. А пока что, если вам случится проходить по Флит-стрит, вы окажете мне большую честь, придя лично поделиться со мной вашими поэтическими планами. Начинающий писатель, даже талантливый, нередко сталкивается с материальными затруднениями, которые профессиональный литератор умеет обходить. Я всегда считал одним из своих величайших преимуществ и своим долгом критика и редактора помогать талантливым авторам на их пути к известности. Это послужит мне из-

винением за мое, быть может, слишком длинное письмо. Остаюсь искренне преданный вам.

Он снова взглянул на перепечатанные на машинке стихотворения и прочел несколько строчек. «Подлинный талант, — несколько раз повторил он себе, — подлинный талант!» Но его «бес» шептал ему, что эта девица на редкость откровенна и, вероятно, обладает недюжинным темпераментом и немалым опытом. Он отложил рукописи в корзину, стоявшую справа от него, и взял письмо из корзины, стоявшей слева.

— Его преподобию Джеймсу Хичкоку, — продиктовал он, — викарию в Татльфорде, Уилтшир. Милостивый государь! К моему величайшему сожалению, я не могу использовать вашу обширную и очень интересную статью о связи между агглютинирующими языками и агглютинативными химерическими формами в символическом искусстве. Недостаток места…

Розовая в своем халатике, как розовые тюльпаны в вазе, Люси лежала, опираясь на локоть, и читала. Кушетка была серая, стены были затянуты серым шелком, ковер был розовый. Даже попугай, сидевший в золоченой клетке, был розовый с серым. Дверь открылась.

— Уолтер, дорогой! Наконец-то! — Она отбро-

сила книгу.

— Еле удалось вырваться. Если бы вы знали, какую массу вещей мне нужно было сделать, вместо того чтобы идти к вам. («Ты обещаешь?» — спросила Марджори. И он ответил: «Обещаю». Но этот последний визит, это последнее объяснение с Люси в счет не идет.)

Диван был широк. Люси отодвинулась к стене, освобождая место Уолтеру. Красная турецкая туфелька соскочила с ее ноги.

— Идиотская у меня педикюрша, — сказала она, приподымая обнаженную ногу, чтобы рассмотреть ее, — вечно покрывает мне ногти этим ужасным красным лаком. Похоже на раны!

Уолтер не ответил. Его сердце бешено колотилось. Аромат гардений, словно теплота ее тела, превращенная в запах, окутал его. Есть духи горячие и холодные, душные и свежие. Гардении Люси наполняли его горло и легкие сладким тропическим зноем. На сером шелке дивана ее нога была похожа на бледный цветок, на бледный мясистый бутон лотоса. Ноги индусских богинь, ступающих по лотосам, сами кажутся цветами. Время текло в молчании. Но оно не уходило в пустоту. Казалось, взволнованное биение сердца Уолтера накачивало его, удар за ударом, в ка-

кой-то замкнутый резервуар, где его поток будет все подыматься и подыматься за плотиной, пока наконец…

Внезапно Уолтер протянул руку и сжал голую ногу Люси. Под давлением этих молча накапливавшихся секунд плотина прорвалась. Нога была длинная и узкая. Его пальцы сомкнулись вокруг нее. Он наклонился и поцеловал ступню.

— Дорогой мой Уолтер! — Она рассмеялась. — Вы ведете себя слишком по-восточному.

Уолтер ничего не ответил. Он встал на колени перед диваном и наклонился над ней. На его лице, тянувшемся к ее поцелуям, было написано отчаяние и безумие. Руки, прикасавшиеся к ней, дрожали. Она покачала головой и закрыла лицо руками.

— Нет, нет.

— Почему?

— Не надо, — сказала она.

— Почему?

— Начать с того, что это слишком осложнит вам жизнь.

— Ничуть не осложнит, — сказал Уолтер. Всякая сложность исчезла. Марджори перестала существовать.

— К тому же, — продолжала Люси, — вы, кажет-

ся, вовсе не считаетесь со мной: я не хочу.

Но его губы были нежными, его прикосновения были легкими. Предвестники наслаждения, крылья бабочек снова затрепетали под его поцелуями и ласками. Она закрыла глаза. Его ласки были как наркоз, одновременно опьяняющий и успокаивающий. Нужно только ослабить волю, и наркоз овладеет ею всецело. Она перестанет быть собой. От нее останется только оболочка, трепещущая от наслаждения, а под ней — пустота, теплая бездонная тьма.

— Люси! — Ее ресницы вздрагивали и трепетали под его губами. Его рука коснулась ее груди. — Моя любимая! — Она лежала неподвижно, не открывая глаз.

Внезапный пронзительный вопль вернул их обоих в мир времени. Будто за несколько шагов от них совершилось убийство, причем жертва воспринимала это как веселую, хотя и болезненную, шутку.

Люси разразилась смехом:

— Это Полли.

Оба повернулись к клетке. Склонив голову набок, птица рассматривала их своим черным и круглым глазом. Пока они смотрели, пергаментное веко закрыло на мгновение, как временная

катаракта, блестящий и невыразительный взгляд. Снова повторился предсмертный вопль веселого мученика.

— Вам придется накрыть клетку, — сказала Люси.

Уолтер снова повернулся к ней и злобно принялся целовать ее. Попугай завопил снова. Люси захохотала еще громче.

— Ничего не выйдет, — произнесла она, задыхаясь. — Он не перестанет, пока вы не накроете клетку.

Птица подтвердила ее слова новым воплем веселой агонии. Уолтер, разъяренный, оскорбленный, чувствуя себя идиотом, встал с колен и подошел к клетке. При его приближении птица возбужденно заплясала по жердочке; ее гребень встал, перья на голове и шее встопорщились, как чешуйки созревшей еловой шишки. «С добрым утром, — сказала она гортанным голосом чревовещателя, — с добрым утром, тетушка, с добрым утром, тетушка, с добрым утром, тетушка...» Уолтер развернул кусок розовой парчи, лежавшей на стуле рядом с клеткой, и потушил птицу. «С добрым утром, тетушка», — в последний раз донеслось из-под парчи. Потом наступило молчание.

— Он — шутник, — сказала Люси, когда попугай исчез. Она закурила папиросу.

Уолтер подошел к дивану и, не говоря ни слова, взял у нее из рук папиросу и швырнул ее в камин. Люси подняла брови, но он не дал ей заговорить. Снова опустившись на колени, он принялся с озлоблением целовать ее.

— Уолтер, — протестовала она, — не смейте! Что с вами? — Она пыталась высвободиться, но он оказался неожиданно сильным. — Вы как дикий зверь. — Его желание было немым и первобытным. — Уолтер! Перестаньте сейчас же. — Вдруг ее осенила нелепая мысль, и она расхохоталась. — У вас сейчас лицо словно из кинофильма! Огромный, оскаленный «крупный план».

Однако насмешка, как и протест, не оказала никакого действия. А может быть, Люси и не хотела, чтобы насмешка оказала действие? Почему бы ей не отдаться? Правда, плыть по течению, подчиняться, а не диктовать свою волю — это унизительно. Ее гордость, ее воля сопротивлялись Уолтеру, сопротивлялись ее собственным желаниям. Но в конце концов, почему бы нет? Наркоз был сильным и упоительным. Почему бы нет? Она закрыла глаза. Но пока она колебалась, обстоятельства решили за нее. В дверь постучали.

Люси открыла глаза.

— Я скажу «войдите», — прошептала она.

Он вскочил на ноги; стук повторился.

— Войдите!

Дверь открылась.

— Мистер Иллидж, мадам, — сказала горничная. Уолтер стоял у окна, делая вид, что он глубоко заинтересован грузовиком, остановившимся у дома на противоположной стороне улицы.

— Попросите его сюда, — сказала Люси.

Когда дверь закрылась за горничной, Уолтер повернулся к Люси. Лицо его было бледно, губы дрожали.

— Я совсем забыла, — объяснила она. — Вчера вечером или, вернее, сегодня утром я пригласила его к себе.

Он отвернулся и, не говоря ни слова, подошел к двери, открыл ее и вышел.

— Уолтер! — крикнула она ему вдогонку. — Уолтер! — Но он не вернулся.

На лестнице он встретил Иллиджа, подымавшегося вслед за горничной.

Уолтер рассеянно поклонился в ответ на его приветствие и быстро прошел мимо. Он боялся, что, заговорив, он выдаст свое волнение.

— Наш друг Бидлэйк, видимо, очень торопил-

ся, — сказал Иллидж, поздоровавшись с Люси. Он преисполнился ликующей уверенности, что именно он выжил Уолтера.

Она заметила торжество на его лице. «Как пряничный петушок», — подумала она.

— Он что-то потерял, — туманно объяснила она.

— Надеюсь, не свою голову? — игриво осведомился он. А когда она засмеялась, не столько над его шуткой, сколько над его лицом, преисполненным мужского тщеславия, он внутренне раздулся от самоуверенности и самодовольства. Вращаться в лучшем обществе было, оказывается, так же легко, как играть в кегли. Чувствуя себя вполне непринужденно, он вытянул ноги, он оглядел комнату. Ее богатая и в то же время сдержанная элегантность произвела на него самое благоприятное впечатление. Он одобрительно втянул ноздрями надушенный воздух.

— А что скрыто там, под таинственной красной материей? — спросил он, показывая пальцем на занавешенную клетку.

— Это — какаду, — ответила Люси. — Кукарекаду, — поправилась она, внезапно разражаясь беспокоящим и необъяснимым смехом.

Есть страдания, в которых можно признаться,

которыми можно даже гордиться. Поэты не раз воспевали тяжелую утрату, разлуку, сознание греха и страх смерти. Эти переживания вызывают сочувствие. Но есть и позорные терзания; они не менее мучительны, но о них мы не смеем, не можем говорить. Например, муки неудовлетворенного желания. С этим чувством в сердце Уолтер вышел на улицу. Боль, гнев, досада, стыд, несчастье — все было тут. У него было такое чувство, точно его душа умирает под пыткой. А между тем причина была такова, что в ней нельзя сознаться: она низменна, даже смешна. Предположим, он встретится с каким-нибудь приятелем, и тот спросит, отчего у него такой несчастный вид.

— Я пытался овладеть женщиной — и мне помешали, сначала крики какаду, а потом приход гостя.

Ответом был бы оглушительный издевательский хохот. Его признание прозвучало бы как скабрезный анекдот. А между тем даже смерть матери не причинила бы ему больше страданий.

Целый час бродил он по улицам и по Риджент-парку. Белый туманный день постепенно переходил в вечер.

Уолтер успокоился. Это урок, думал он, это

наказание: он обещал и не исполнил. Для его собственного блага и для блага Марджори — больше никогда. Он посмотрел на часы и, увидев, что уже восьмой час, направился домой. Он пришел туда усталый и в покаянном настроении. Марджори шила; лампа ярко освещала ее худое, измученное лицо. На ней тоже был халатик, бледно-лиловый и безобразный: Уолтер всегда находил, что вкус у нее неважный. В квартире пахло стряпней. Он ненавидел кухонные запахи, но это еще не причина, чтобы изменять Марджори; наоборот: честь и долг заставляют его именно поэтому оставаться верным. То, что гардении он предпочитает капусте, еще не дает ему права причинять Марджори боль.

— Как ты поздно, — сказала она.

— У меня была масса дел, — объяснил Уолтер, — а потом я пошел пешком. — Это, по крайней мере, правда. — Как ты себя чувствуешь? — Он положил руку ей на плечо и нагнулся. Марджори выпустила шитье из рук и обняла его. «Какое счастье, — думала она, — он снова со мной!» Он снова принадлежит ей. Какое блаженство! Но, прижавшись к его груди, она поняла, что она снова обманута. Она отшатнулась от него.

— Уолтер, как ты мог?

Кровь прилила к его лицу; но он попытался сделать вид, что ничего не понимает.

— Что мог? — спросил он.

— Ты опять был у этой женщины?

— О чем ты говоришь? — Он продолжал притворяться, хотя и знал, что теперь это бесполезно.

— Не лги. — Она встала так порывисто, что ее рабочая корзинка перевернулась и ее содержимое рассыпалось по полу. Не обращая на это внимания, она направилась в другой конец комнаты. — Уйди! — воскликнула она, когда он пошел за ней. Уолтер пожал плечами и повиновался. — Как ты мог? — повторила она. — Приходишь домой, а от тебя несет ее духами. — (Ах, вот оно что: гардении. Какой он дурак! Нужно было подумать об этом...) — После всего, что ты сказал вчера ночью... Как ты мог?!

— Ты не даешь мне объяснить, — оправдывался он тоном жертвы, раздраженной жертвы.

— Объяснить, почему ты лгал, — сказала она с горечью, — объяснить, почему ты нарушил обещание?

Ее презрение и гнев пробудили в Уолтере ответный гнев.

— Дай мне объяснить, — сказал он с жесткой и угрожающей вежливостью. Как она скучна

со своими сценами ревности! Как нестерпимо скучна!

— Что ж, продолжай лгать, — насмешливо сказала она.

Он снова пожал плечами.

— Если вам угодно понимать это так, — вежливо сказал он.

— Презренный лжец — вот кто ты такой! — И, отвернувшись от него, она закрыла лицо руками и зарыдала.

Уолтер не смягчился. Вид ее вздрагивающих плеч только раздражал его и нагонял на него скуку. Он смотрел на нее с холодным и усталым раздражением.

— Уходи, — воскликнула она сквозь слезы, — уходи! — Она не хотела, чтобы он оставался и торжествовал, видя ее слезы. — Уходи!

— Вы в самом деле хотите, чтобы я ушел? — спросил он с той же холодной, уничтожающей вежливостью.

— Да, уходи, уходи.

— Очень хорошо. — Он открыл дверь и вышел.

В Кэмден-Таун он взял такси и подъехал к дому на Брютон-стрит как раз в ту минуту, когда Люси собиралась ехать куда-то на обед.

— Вы едете со мной, — заявил он очень спо-

койно.

— Увы!

— Да, со мной.

Она посмотрела на него с любопытством. Он, улыбаясь, посмотрел ей прямо в глаза. Лицо у него было странное: оно выражало одновременно любопытство и упрямое безжалостное сознание своей силы. Раньше она никогда не видела его таким.

— Идет, — сказала она наконец и позвонила горничной. — Позвоните леди Старлет, — распорядилась она, — передайте ей, что я прошу меня извинить, но у меня разболелась голова, и я не смогу приехать. — Горничная вышла. — Ну как, вы довольны?

— Начинаю быть довольным, — ответил он.

— Только начинаете? — Она изобразила негодование. — Мне нравится ваше чертовское нахальство.

— Я знаю, что вам это нравится, — со смехом сказал Уолтер.

Ей действительно оно нравилось.

В эту ночь Люси стала его любовницей.

Был четвертый час дня. Спэндрелл только что встал с постели; он еще не побрился. Поверх пижамы он надел халат из грубой темной ткани, по-

хожий на монашескую рясу. (Этот монастырский штрих не был случайным: он любил напоминать себе об аскетах; он несколько по-ребячески разыгрывал роль отшельника-сатаниста.)

Он налил в котелок воды и поставил его на газовую плиту. Вода не вскипала беззастенчиво долго. Во рту у него пересохло, и его преследовал вкус нагретой меди. Бренди оказывало свое обычное действие.

— «Как лань желает к потокам воды, — сказал он себе, — так желает душа моя…» опохмелиться. Жаль, что благодать не продается в бутылках, как минеральная вода.

Он подошел к окну. За пределами ближайших пятидесяти шагов Вселенная тонула в белом тумане. Но как упорно, как многозначительно торчал этот фонарный столб перед соседним домом справа! Весь мир был разрушен, и только фонарный столб, как Ной после потопа, уцелел в этом мировом катаклизме. Раньше Спэндрелл не замечал этого фонарного столба; он просто не существовал до этого момента. А теперь только он один и существовал. Спэндрелл смотрел на него с напряженным интересом, затаив дыхание. Этот фонарный столб, одинокий в тумане, — или он когда-то уже видел что-то похожее на

это? Ему было знакомо это странное ощущение, когда видишь перед собой единственного, кто пережил Всемирный потоп. Пристально глядя на фонарный столб, он старался припомнить, или, вернее, он затаил дыхание и не старался: он сдерживал свою волю и свое сознание, как полисмен сдерживает толпу вокруг женщины, упавшей без чувств на улице; он сдерживал свои мысли, чтобы вокруг его воспоминания образовалось свободное пространство, где оно могло бы, очнувшись, вытянуться во весь рост, вздохнуть, вернуться к жизни. Глядя на фонарный столб, Спэндрелл ждал напряженно и терпеливо, как человек, готовый чихнуть, взволнованно ожидает предвкушаемого события, — ждал, чтобы воскресло давно умершее воспоминание. И вдруг оно вскочило на ноги, пробужденное от своей летаргии, и Спэндрелл с чувством огромного облегчения увидал себя взбирающимся по утоптанному снегу крутой дороги, ведущей от Кортины к перевалу Фальцарего. Холодное белое облако закрыло долину. Гор больше не было. Фантастические коралловые башни Доломитов исчезли. Больше не было высот и глубин. Весь мир ограничивался пространством в пятьдесят шагов — белый снег под ногами, белый туман

вокруг и над головой. Время от времени среди этой белизны возникала какая-нибудь темная форма — ком или телеграфный столб, дерево, или человек, или сани, — зловещая в своей уединенной неповторимости, единственная пережившая всеобщую катастрофу. Это было жутко, но в то же время увлекательно — ново и странно прекрасно. Прогулка казалась путешествием по неизведанному миру. Спэндрелл был взволнован, и какая-то тревога усиливала ощущение блаженства, становившееся почти невыносимым.

— Посмотри на этот домишко слева! — крикнул он матери. — В прошлый раз его здесь не было. Честное слово, не было. — Он отлично знал дорогу; десятки раз он подымался и спускался по ней и ни разу не видел его. А теперь домишко пугающе нависал над ними — единственный темный и определенный предмет среди белизны этого смутного мира.

— Да, я тоже не замечала его раньше, — сказала мать, — что лишний раз доказывает, — добавила она с той интонацией нежности, которая всегда появлялась в ее голосе, когда она говорила о своем покойном муже, — как прав был твой отец. Не верьте показаниям очевидцев, говаривал он, даже своим собственным.

Он взял ее за руку, и они молча пошли рядом, таща за собой санки.

Спэндрелл отвернулся от окна. Котелок кипел. Он наполнил чайник, налил себе чашку чая и выпил. Его жажда — почти символически — осталась неутоленной. Он задумчиво пил чай, вспоминая свое блаженное детство, которое теперь казалось совершенно неправдоподобным: зима в Доломитах, весна в Тоскане, Провансе или Баварии, лето у Средиземного моря или в Савойе. После смерти отца и до поступления в школу они с матерью почти все время жили за границей: это было дешевле. А после он почти всегда проводил каникулы вне Англии. С семи до пятнадцати лет он ездил по всем самым живописным местам Европы, наслаждаясь их красотой, — маленький мальчик в роли Чайльд Гарольда. После этого Англия казалась слишком обыденной. Он вспомнил другой зимний день. На этот раз не туманный, но ясный — горячее солнце в безоблачном небе, коралловые вершины Доломитов, переливающиеся розовым, оранжевым и белым над лесами и снежными косогорами. Они шли на лыжах по обнаженным лиственничным лесам. Снег, исполосованный тенями деревьев, расстилался у них под ногами, как огромная белая с синим

тигровая шкура. Солнечный свет был оранжевым среди безлиственных ветвей, сине-зеленым в свешивавшихся с деревьев бородах мха. Порошистый снег шипел под лыжами, воздух был одновременно теплым и щиплющим. А когда он вышел из леса, он увидел перед собой огромные круглые склоны, похожие на контуры чудесного тела, и девственный снег был как гладкая кожа, тонкозернистая в низких лучах вечернего солнца, мерцающая алмазными блестками. Он ушел вперед. На опушке он остановился, ожидая мать. Обернувшись, он увидел, как она пробирается между деревьями. Крепкая, высокая фигура, все еще молодая и подвижная; улыбка морщила ее молодое лицо. Она подошла к нему, и она была самым прекрасным и в то же время самым близким, знакомым и родным из всех существ.

— Ну! — сказала она со смехом, подъехав к нему.

— Ну! — Он посмотрел на нее, потом на снег, и на тени деревьев, и на большие голые скалы, и на синее небо, а потом опять на нее. И вдруг острое ощущение необъяснимого счастья овладело им.

«Я никогда больше не буду так счастлив, — сказал он себе, когда она поехала дальше, — никогда больше, хотя бы я прожил до ста лет». Тогда ему

было всего пятнадцать лет, но в то время он думал и чувствовал именно так.

Его слова оказались пророческими. Это были последние дни его счастья. А после… Нет, нет! Лучше не думать о том, что было после. По крайней мере, не сейчас. Он налил себе еще чаю.

Пронзительно задребезжал звонок. Он подошел к двери и открыл. Это была его мать.

— Вы? — Потом он вдруг вспомнил, что Люси что-то говорила ему.

— Тебе не передали, что я приду? — с тревогой спросила миссис Нойль.

— Да, но я совсем забыл.

— А я думала, тебе нужны… — начала она. Она испугалась, что пришла к нему не вовремя: у него было такое неприветливое лицо.

Уголки его рта иронически задергались.

— Да, мне они очень нужны, — сказал он. Он вечно сидел без денег.

Они прошли в другую комнату. Миссис Нойль сразу заметила, что окна посерели от грязи. На книжной полке и на камине густым слоем лежала пыль. Закопченная паутина свисала с потолка. Когда-то она просила Мориса, чтобы он разрешил ей два или три раза в неделю присылать женщину для уборки. Но он ответил: «Пожалуйста, без

благотворительности. Я предпочитаю валяться в грязи: грязь — моя стихия. К тому же я не занимаю видного положения в военном мире, и мне незачем поддерживать декорум». Он беззвучно рассмеялся, обнажая большие, крепкие зубы. Это было сказано специально для нее. Больше она не решалась повторять своего предложения. Но комната в самом деле нуждалась в уборке.

— Хотите выпить чаю? — спросил он. — Я как раз завтракаю, — добавил он, нарочно обращая ее внимание на свой беспорядочный образ жизни.

Она отказалась, воздержавшись от замечаний по поводу такого необычно позднего завтрака. Спэндрелл был слегка разочарован, что ему не удалось вызвать ее на упреки. Наступило долгое молчание.

Изредка миссис Нойль украдкой взглядывала на своего сына. Он пристально смотрел в пустой камин. «Он выглядит старше своих лет, — подумала она, — и вид у него больной и запущенный». Она старалась узнать в нем ребенка, долговязого школьника, каким он был в то далекое время, когда они были счастливы вдвоем, вместе. Она вспоминала, как он огорчался, когда она была недостаточно элегантна или выглядела не очень хорошо. Они оба относились друг к другу

с ревнивой гордостью. Но ответственность за его воспитание казалась ей очень тяжелой. Будущее всегда пугало ее, она не умела принимать решения; она не верила в свои силы. К тому же после смерти ее мужа у них осталось не очень много денег; и она не любила и не умела вести денежные дела. Хватит ли у нее средств, чтобы послать его в университет, чтобы ему было с чем начинать жизнь? Вопросы мучили ее. Она проводила бессонные ночи, раздумывая, что же ей делать. Жизнь пугала ее. Она обладала детской способностью быть счастливой, но ей были свойственны также детские страхи, детская беспомощность. Когда жизнь состояла из одних праздников, она как никто умела быть беззаветно счастливой, но, когда приходилось заниматься делами, строить планы, принимать решения, она терялась и впадала в уныние. И что еще хуже, когда Морис поступил в школу, ей стало очень одиноко. Они бывали вместе только во время каникул. Девять месяцев из двенадцати она жила одна, и ей было некого любить, кроме ее старой таксы. Потом даже такса ее покинула — бедный пес заболел, и его пришлось усыпить. Именно тогда, вскоре после смерти бедного старого Фрица, она познакомилась с майором Нойлем (в то время он был

еще в чине майора).

— Вы, кажется, сказали, что принесли деньги? — спросил Спэндрелл, прерывая долгое молчание.

— Да, вот они. — Миссис Нойль покраснела и открыла сумочку.

Наступил благоприятный момент для разговора. Ее долгом было увещевать его, и пачка кредиток давала ей право на это и власть. Но этот долг был ненавистен ей, и она не хотела пользоваться своей властью. Она подняла глаза и умоляюще посмотрела на него.

— Морис, — сказала она, — неужели ты не можешь вести себя разумнее? Это такое безумие, такая нелепость!

Спэндрелл поднял брови.

— Что именно? — спросил он, притворяясь, будто не понимает. Придя в замешательство от этого требования уточнить свои туманные упреки, миссис Нойль покраснела.

— Ты знаешь, что я хочу сказать, — ответила она. — Твой образ жизни. Это дурно и глупо. И это такая пустота, такое самоубийство. К тому же ты несчастлив. Я это вижу.

— А может быть, я хочу быть несчастным? — иронически спросил он.

— Но разве ты хочешь, чтобы я тоже была несчастной? — спросила она. — Если так, то знай, Морис, что тебе это удалось. Ты причиняешь мне много горя. — Слезы выступили у нее на глазах. Она достала из сумочки платок.

Спэндрелл встал со стула и принялся шагать по комнате.

— Когда-то вы не слишком заботились о моем счастье, — сказал он.

Мать ничего не ответила и продолжала беззвучно плакать.

— Когда вы выходили замуж за этого человека, — продолжал он, — вы думали о моем счастье?

— Я думала, что так будет лучше, и ты это отлично знаешь, — ответила она разбитым голосом. Она уже столько раз объясняла ему это; не было сил начинать все сначала. — Ты отлично знаешь, — повторила она.

— Я знаю только то, что я чувствовал и говорил в то время, — ответил он. — Вы не послушались меня, а теперь говорите, что заботились о моем счастье.

— Но ты был так безрассуден, — возражала она. — Если бы ты привел какие-нибудь доводы…

— Доводы, — медленно повторил он. — И вы в самом деле ожидали, что пятнадцатилетний

мальчик приведет доводы, почему он не хочет, чтобы его мать спала с чужим мужчиной.

Он думал о той книге, которая ходила по рукам среди мальчиков в его школе. С отвращением и стыдом, но не в силах оторваться, он читал ее по ночам, накрывшись с головой одеялом, при свете карманного фонарика. Она носила невинное заглавие: «Парижский пансион для девиц», но это была чистейшая порнография. В ней стилем героической поэмы описывались сексуальные подвиги военных. Вскоре после этого мать написала ему, что выходит замуж за майора Нойля.

— Зачем вспоминать, мама, — сказал он вслух. — Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

Миссис Нойль порывисто вздохнула, в последний раз вытерла глаза и спрятала платок в сумочку.

— Прости меня, — сказала она, — это вышло очень глупо. Пожалуй, я пойду.

Втайне она надеялась, что он станет удерживать ее, попросит ее остаться. Но он молчал.

— Вот деньги, — добавила она.

Он взял свернутые кредитки и засунул их в карман халата.

— Простите, что я обратился к вам за деньгами, — сказал он. — Но я сел на мель. Постараюсь

больше не делать этого.

Несколько мгновений он, улыбаясь, смотрел на нее, и вдруг сквозь потрепанную маску она увидела его таким, каким он был в отрочестве. Нежность, как мягкое тепло, разлилась в ней, мягко, но непреодолимо.

Ее нельзя было сдержать. Она положила руки ему на плечи.

— Прощай, сынишка, — сказала она, и Спэндрелл уловил в ее голосе ту интонацию, с какой она говорила о его покойном отце. Она подалась вперед, чтобы поцеловать его. Отвернувшись, он подставил ей щеку.

XIV

Мисс Фулкс поворачивала глобус до тех пор, пока перед их глазами не остановился малиновый треугольник Индии.

— Вот Бомбей, — сказала она, показывая карандашом. — Здесь папочка и мамочка сели на пароход. Бомбей — большой город в Индии, — поучительно добавила она. — Все это — Индия.

— А почему Индия красная? — спросил маленький Фил.

— Я уже говорила тебе. Постарайся вспомнить.

— Потому что она принадлежит Англии? —

Фил, конечно, помнил, но это объяснение его не удовлетворяло. Он надеялся получить на этот раз другое, получше.

— Вот видишь, ты отлично можешь вспомнить, когда постараешься, — сказала мисс Фулкс, занося себе в счет маленький триумф.

— А почему все, что английское, то красное?

— Потому что красное — это цвет Англии. Посмотри-ка: вот маленькая Англия. — Она повернула глобус. — Видишь — тоже красная.

— Мы ведь живем в Англии, да? — Фил посмотрел в окно. На него посмотрела лужайка с веллингтонией и подстриженными вязами.

— Да, мы живем вот здесь. — И мисс Фулкс ткнула красный остров в животик.

— Но где мы живем — все зеленое, — сказал Фил, — а вовсе не красное.

Мисс Фулкс начала объяснять ему — в который раз, — что такое карта.

В саду миссис Бидлэйк прогуливалась среди цветов, выпалывая сорные травы и размышляя. Ее палка оканчивалась маленькой зубчатой цапкой; можно было полоть не нагибаясь. Сорняки на клумбах были молодые и хрупкие; они без борьбы поддавались цапке. Более опасными врагами были одуванчики и подорожники

на лужайке. Корни одуванчиков походили на длинных, белых, сужавшихся к хвосту змей. Подорожники же отчаянно цеплялись за землю, когда она пыталась вырвать их.

Цвели тюльпаны. «Дюк фан-Толь» и «Кейзерс Кроон», «Прозерпина» и «Томас Мур» стояли навытяжку на клумбах, лоснясь от света. Атомы солнца вибрировали, и их колебания наполняли пространство. Глаза воспринимали эти колебания, как свет; атомы тюльпанов поглощали или отражали те или иные колебания, создавая оттенки, ради которых гарлемские бюргеры семнадцатого столетия охотно расставались с накопленными гульденами. Красные тюльпаны и желтые, белые и пестрые, гладкие и махровые — миссис Бидлэйк блаженно разглядывала их. Они напоминают, подумала она, веселых и нарядных юношей на фресках Пинтуриккьо в Сиене. Она остановилась и закрыла глаза, чтобы подумать как следует о Пинтуриккьо: миссис Бидлэйк умела думать по-настоящему только с закрытыми глазами. Приподняв лицо к небу, опустив тяжелые веки цвета белого воска, она стояла, погруженная в воспоминания и неясные мысли. Пинтуриккьо, Сиена, огромный торжественный собор. Тосканское Средневековье проходило пе-

ред ней пышной и неясной процессией. Она была воспитана на Рёскине. Уотс написал ее портрет, когда она была девочкой. Позже, взбунтовавшись против прерафаэлитов, она стала восторгаться полотнами импрессионистов. Ее восторг перед ними в первое время обострялся сознанием его кощунственности.

Она вышла за Джона Бидлэйка именно потому, что она любила искусство. Когда художник, написавший «Косцов», начал ухаживать за ней, она вообразила, будто обожает его, тогда как на самом деле она обожала его картины. Он был на двадцать лет старше ее; как супруг он пользовался дурной славой; ее семья энергично протестовала против этого брака. Она не посчиталась ни с чем. Джон Бидлэйк олицетворял для нее Искусство. Он выполнял священное назначение. Именно это произвело неотразимое впечатление на ее туманный, но пламенный идеализм.

Джон Бидлэйк решил жениться еще раз отнюдь не из романтических соображений. Путешествуя по Провансу, он схватил тиф. («Вот что получается, когда пьешь воду, — говорил он впоследствии. — Если бы я держался все время бургундского и коньяка!») Пролежав месяц в авиньонском госпитале, он вернулся в Англию исхудалый и еле

держась на ногах. Через три недели грипп, осложнившийся воспалением легких, снова привел его к порогу смерти. Он выздоравливал медленно. Доктор поздравлял его с тем, что он вообще выздоровел. «Вы это называете выздоровлением? — ворчал Джон Бидлэйк. — У меня такое чувство, словно три четверти меня лежат в могиле!» Привыкнув быть всегда здоровым, он панически боялся болезни. Он видел перед собой жалкую, одинокую жизнь инвалида. Брак облегчит его печальную участь. Он решил жениться. Само собой разумеется, девушка должна быть красива. Но, кроме того, она должна быть серьезной, не ветреной, преданной и к тому же домоседкой. В Джэнет Пестон он нашел все эти качества. У нее было лицо святой; она была серьезна, даже излишне серьезна; ее преклонение перед ним льстило ему.

Они поженились, и, если бы Джон Бидлэйк действительно стал инвалидом, каким он себя видел в будущем, брак мог бы оказаться удачным. Правда, она не умела ухаживать за больными, но этот недостаток она возместила бы своей преданностью; с другой стороны, его беспомощность сделала бы ее необходимой для его счастья. Но здоровье вернулось к нему. Через полгода после

женитьбы Джон Бидлэйк снова обрел свое прежнее «я». Прежнее «я» принялось вести себя на прежний лад.

Миссис Бидлэйк утешалась по-своему, погружаясь в бесконечные фантастические размышления, которых не могло прервать даже рождение, а потом воспитание двоих детей.

Так продолжалось уже четверть века: высокая, величественная пятидесятилетняя дама, вся в белом, с белой вуалью, свисавшей со шляпы, она стояла среди тюльпанов, закрыв глаза, думая о Пинтуриккьо и Средних веках, а время текло и текло, и Бог сидел неподвижно на своей вечной скамье.

Пронзительный лай заставил ее покинуть высшие сферы. Она неохотно открыла глаза и оглянулась. Крошечная шелковистая пародия на дальневосточное чудовище, ее маленький китайский мопс лаял на кота. Он с истерическим тявканьем носился взад и вперед по окружности, радиус которой был пропорционален его ужасу перед фыркающим и выгибающим спину котом. Его хвост развевался по ветру, как перо, его глаза готовы были выскочить из черной головки.

— Т'анг! — позвала миссис Бидлэйк. — Т'анг! — Все ее китайские мопсы за последние тридцать

лет носили имена династий. Т'анг I царствовал до рождения ее детей. Т'анг II сопровождал ее, когда она вместе с Уолтером навещала больного Уэзерингтона. Теперь кухонный кот фыркал на Т'анга III. В промежутках маленькие Минги и Сунги жили, дряхлели и в смертной камере подвергались обычной участи всех наших любимых зверьков. — Т'анг, сюда! — Даже в этот критический момент миссис Бидлэйк не забывала об апострофе. Не то чтобы она специально об этом помнила: она произносила его инстинктивно — природа и воспитание сделали ее такой, что она не умела произнести это слово без апострофа даже тогда, когда с ее любимца вот-вот готова была полететь шерсть.

Наконец песик послушался. Кот перестал фыркать, его шерсть пришла в нормальное состояние, и он величественно отошел прочь. Миссис Бидлэйк вернулась к выпалыванию сорных трав и к своим бесконечным туманным размышлениям. Бог, Пинтуриккьо, одуванчики, вечность, небо, облака, ранние венецианцы, одуванчики…

Наверху, в классной комнате, окончились уроки. По крайней мере, так считал маленький Фил, потому что теперь он занимался своим самым любимым делом — рисованием. Правда, мисс

Фулкс называла это «искусством» и «развитием фантазии»; она отпускала на это занятие по полчаса ежедневно — с двенадцати до половины первого. Но для маленького Фила это было просто развлечением. Он сидел, склонившись над листом бумаги, высунув кончик языка, с напряженным, серьезным лицом, и рисовал, рисовал в каком-то вдохновенном исступлении. Его маленькая смуглая рука, сжимавшая непропорционально большой карандаш, работала без устали. Твердые и в то же время неровные линии ребячьего рисунка ложились на бумагу.

Мисс Фулкс сидела у окна, глядя на залитый солнцем сад и не видя его. Она видела нечто совсем иное. Она видела себя в том прелестном платье от Ланвэна, которое было изображено в последнем номере «Вог», с жемчугами на шее; она танцевала в дансинге Сиро, который был странным образом похож (она ведь никогда не была в дансинге Сиро) на хаммерсмитский «Палэ де данс», где она бывала. «Как она прелестна!» — говорили все. Она шла покачиваясь, как та актриса из лондонского «Павильона» — как ее звали? Она протягивала свою белую руку, и руку у нее целовал юный лорд Уонерш; тот самый лорд Уонерш, который похож на Шелли, а живет

как Байрон, и ему принадлежит половина домов на Оксфорд-стрит, и он приезжал сюда в феврале прошлого года со старым мистером Бидлэйком и раз или два заговаривал с ней. А потом она вдруг увидела себя едущей верхом по парку. А еще через секунду она ехала на яхте по Средиземному морю. А потом в автомобиле. Лорд Уонерш только что уселся рядом с ней, когда пронзительный лай Т'анга вернул ее к лужайке, ярким тюльпанам, веллингтонии и, с другой стороны, к классной комнате. Мисс Фулкс почувствовала себя виноватой: она пренебрегла своими обязанностями.

— Ну как, Фил? — спросила она, быстро поворачиваясь к своему воспитаннику. — Что ты рисуешь?

— Как мистер Стокс и Альберт тащат косотравилку, — ответил Фил, не отрываясь от рисунка.

— Травокосилку, — поправила мисс Фулкс.

— Травокосилку, — послушно повторил Фил.

— Ты всегда путаешь составные слова, — продолжала мисс Фулкс. — Косотравилка, горокос, ходолед — вероятно, это у тебя какой-то дефект, вроде зеркального письма. — Мисс Фулкс прослушала в свое время курс психологии воспитания. — Постарайся избавиться от него, Фил, — строго добавила она. После такого длительного и скан-

дального пренебрежения долгом (у Сиро, верхом на лошади, в лимузине с лордом Уонершем) мисс Фулкс испытывала потребность быть особенно заботливой и педагогичной: она была очень добросовестная молодая женщина. — Постараешься? — настаивала она.

— Да, мисс Фулкс, — ответил мальчик. Он не имел никакого представления о том, чего, собственно, от него добиваются. Но она отстанет, если он скажет «да». Он был занят особенно трудной частью своего рисунка.

Мисс Фулкс вздохнула и снова принялась смотреть в окно. На этот раз она старалась воспринимать то, что видели ее глаза. Миссис Бидлэйк расхаживала среди тюльпанов, одетая во все белое, с белой вуалью на шляпе, похожая на прерафаэлитский призрак. То и дело она останавливалась и смотрела на небо. Старый мистер Стокс, садовник, прошел с граблями в руке; кончик его белой бороды шевелился на ветру. Часы в деревне пробили половину первого. Сад, деревья, поля, далекие лесистые холмы — все было такое же, как всегда. Такая безнадежная грусть охватила мисс Фулкс, что она готова была разрыдаться.

— А есть у косотравилок, то есть у травокосилок, колеса? — спросил маленький Фил, недоумеваю-

ще морща лоб. — Я забыл…

— Да. Или постой… — Мисс Фулкс тоже наморщила лоб. — Нет. У них валики.

— Валики! — воскликнул Фил. — Вот-вот! — И он снова с ожесточением принялся рисовать.

Все одно и то же. Ни выхода, ни надежды на освобождение. «Если бы у меня была тысяча фунтов, — думала мисс Фулкс, — тысяча фунтов! Тысяча фунтов!» Магические слова — «тысяча фунтов».

— Готово! — воскликнул Фил. — Посмотрите-ка! — Он протянул ей лист. Мисс Фулкс встала и подошла к столу.

— Какой прелестный рисунок! — сказала она.

— А это разлетаются маленькие травинки, — сказал Фил, показывая на тучу черточек и точек в середине рисунка. Он особенно гордился травой.

— Понимаю, — сказала мисс Фулкс.

— А посмотрите, как сильно тянет Альберт. — Альберт и в самом деле тянул как сумасшедший. А у другого конца машины так же энергично толкал старый мистер Стокс: его можно было узнать по четырем параллельным линиям, выходившим из его подбородка.

Для мальчика его возраста Фил отличался редкой наблюдательностью и удивительной

способностью воспроизводить на бумаге то, что он видел, — конечно, не реалистически, а при помощи выразительных символов. Несмотря на детскую нетвердость рисунка, Альберт и мистер Стокс казались живыми.

— Левая нога у Альберта какая-то странная, правда? — сказала мисс Фулкс. — Слишком длинная и тонкая и… — Она остановила себя, вспомнив, что говорил старый Бидлэйк: «Ни в коем случае нельзя учить мальчика рисовать, во всяком случае, так “учить”, как это делают в художественных училищах. Ни в коем случае. Я не хочу, чтобы его изуродовали».

Фил выхватил у нее рисунок.

— Неправда, — сердито сказал он. Его гордость была уязвлена. Он не выносил критики и упорно отказывался признать свою неправоту.

— Может быть, и нет. — Мисс Фулкс спешила загладить свою вину. — Может быть, я ошиблась. — Фил снова улыбнулся. «Хотя почему, — думала мисс Фулкс, — ребенку нельзя сказать, что он нарисовал невозможно длинную, тонкую и вообще нелепую ногу, я решительно не понимаю». Но конечно, старому мистеру Бидлэйку лучше знать. Человек с его положением, с его репутацией, великий художник — она часто слышала, как

его называют великим художником, читала это в газетных статьях, даже в книгах. Мисс Фулкс питала глубокое уважение к Великим. Шекспир, Мильтон, Микеланджело… Да, мистеру Бидлэйку, Великому Джону Бидлэйку лучше знать. Ей не следовало заговаривать об этой левой ноге.

— Уже половина первого, — сказала она бодрым, деловитым тоном. — Тебе пора ложиться. — Маленького Фила укладывали в постель на полчаса перед ленчем.

— Нет! — Фил вскинул головой, свирепо нахмурился и неистово замахал кулаками.

— Да, — спокойно сказала мисс Фулкс. — И пожалуйста, без этих гримас. — Она по опыту знала, что на самом деле мальчик вовсе не сердится: он просто устраивает демонстрацию, отстаивая свои права, и, может быть, смутно надеется, что ему удастся запугать ее — так китайские солдаты, приближаясь к врагу, надевают страшные маски и издают дикие вопли в надежде внушить ему ужас.

— Почему я должен ложиться? — Теперь Фил уже почти успокоился.

— Потому что так надо.

Мальчик послушно встал из-за стола. Когда маска и вопли не производят должного действия,

китайский солдат, будучи человеком здравомыслящим и вовсе не стремясь к тому, чтобы его больно поколотили, сдается.

— Я пойду и задерну у тебя занавески, — сказала мисс Фулкс.

Они вместе прошли по коридору в спальню Фила. Мальчик снял башмаки и улегся. Мисс Фулкс задернула складки кретоновых занавесок.

— Не надо, чтобы было совсем темно, — сказал Фил, следя за ее движениями в густом оранжевом полумраке.

— Ты лучше отдыхаешь, когда темно.

— Но я боюсь, — протестовал Фил.

— Ничего ты не боишься. К тому же здесь вовсе не темно. — Мисс Фулкс направилась к двери.

— Мисс Фулкс! — Она не обращала внимания. — Мисс Фулкс!

На пороге мисс Фулкс обернулась.

— Если ты будешь кричать, — строго сказала она, — я очень рассержусь на тебя. Понимаешь? — Она вышла и закрыла за собой дверь.

— Мисс Фулкс! — продолжал он звать, но уже шепотом. — Мисс Фулкс! Мисс Фулкс! — Конечно, нельзя, чтобы она слышала, а то она в самом деле рассердится. В то же время он не хотел подчиняться ей беспрекословно. Шепча ее имя, он

протестовал, он отстаивал свои права, ничем при этом не рискуя.

Сидя у себя в комнате, мисс Фулкс читала; она развивала свой интеллект. Она читала «Богатство народов». Она знала, что Адам Смит — один из Великих. Его книга принадлежала к тем, которые необходимо прочесть. Лучшее, что когда-либо было сказано или написано. Мисс Фулкс происходила из бедной, но культурной семьи. «Мы должны любить все самое возвышенное». Но очень трудно любить «самое возвышенное» с должной степенью горячности, когда оно принимает форму главы, начинающейся словами: «Поскольку разделение труда возникает из меновых отношений, или, иными словами, зависит от размеров рынка». Мисс Фулкс читала дальше: «Малые размеры рынка не поощряют никого заниматься каким-нибудь одним ремеслом, ибо у ремесленника отсутствует возможность обменять весь тот избыток произведений своего труда, каковой остается после удовлетворения его собственных потребностей, на соответствующий избыток произведений труда других людей».

Мисс Фулкс перечла эту фразу; но, когда она дошла до конца, она уже забыла, о чем говорилось в начале. Она начала снова: «…отсутствует воз-

можность обменять весь тот избыток…» («Можно будет обрезать рукава у коричневого платья, — думала она, — потому что оно протерлось только под мышками, и носить его как юбку, а сверху надевать джемпер».) «…после удовлетворения его собственных потребностей, на соответствующий…» («Например, оранжевый джемпер».) Она попробовала в третий раз, перечитывая слова вслух. «Малые размеры рынка…» Перед ее внутренним взором возникло видение оксфордского скотного рынка, это был довольно большой рынок. «Не поощряет никого заниматься…» Да о чем тут речь? Мисс Фулкс вдруг взбунтовалась против собственной добросовестности. Она почувствовала ненависть ко всему самому возвышенному. Поднявшись с места, она поставила «Богатство народов» обратно на полку. Там стоял ряд очень возвышенных книг — «мои сокровища», как она их называла. Вордсворт, Лонгфелло и Теннисон в мягких кожаных переплетах с округленными уголками и готическими заглавиями, похожие на целую серию Библий, «Сартор Резартус» Карлейля и «Опыты» Эмерсона. Марк Аврелий в мягком кожаном переплете — одно из тех художественных изданий, которые мы в полном отчаянии дарим на Рождество тем, кому не знаем, что подарить.

«История» Маколея, Фома Кемпийский, миссис Браунинг.

Мисс Фулкс не взяла ни одной из этих книг. Она засунула руку за творения великих умов и вытащила спрятанный там экземпляр «Тайны каслмейнских изумрудов». Место, до которого она дочитала, было отмечено закладкой. Она открыла книгу и погрузилась в чтение:

> Леди Китти зажгла свет и вошла в комнату. Крик ужаса сорвался с ее губ, внезапная слабость охватила ее. Посреди комнаты лежало тело мужчины в безупречном смокинге. Лицо было искажено до неузнаваемости; красное пятно виднелось на белой манишке. Роскошный турецкий ковер был залит кровью…

Мисс Фулкс жадно читала страницу за страницей. Удар гонга вывел ее из мира изумрудов и убийств. Она вздрогнула и вскочила с места. «Надо было смотреть на часы, — думала она, чувствуя себя виноватой. — Мы опоздаем». Засунув «Тайну каслмейнских изумрудов» обратно за творения великих умов, она побежала в детскую: маленького Фила еще нужно умыть и причесать.

Ветра не было, только движение рассекаемого пароходом воздуха, такого жаркого, словно он вырывался из машинного отделения. Растянувшись на шезлонгах, Филип и Элинор наблюдали, как постепенно сливается с небом зубчатый островок, весь из красного камня. С верхней палубы доносился шум: там играли в шафлборд. Их товарищи по путешествию, прогуливавшиеся из принципа или для моциона, проходили снова и снова с постоянством периодических комет.

— Как они могут ходить и заниматься спортом, — сказала Элинор обиженным тоном: от одного их вида ей становилось жарко, — даже в Красном море?

— Это объясняет возникновение Британской империи, — сказал Филип.

Наступило молчание. Прошла девушка в сопровождении четырех смеющихся юношей, ехавших в отпуск, красных и коричневых от загара. Высушенные солнцем и начиненные пряностями, ветераны Востока ковыляли мимо, произнося едкие речи о реформах и о дороговизне жизни в Индии. Две миссионерки прошествовали в молчании, изредка прерывая его словами. Французы-глобтроттеры реагировали на угнетающе имперскую атмосферу тем, что говорили очень

громко. Студенты-индусы хлопали друг друга по спине, как театральные субалтерн-офицеры эпохи «Тетки Чарлея»; их жаргон показался бы старомодным даже в начальной школе.

Время шло. Остров исчез; воздух стал как будто даже еще жарче.

— Меня беспокоит Уолтер, — сказала Элинор: она думала о содержании последних писем, полученных перед самым отъездом из Бомбея.

— Он дурак, — ответил Филип. — Одну глупость он уже сделал с этой Карлинг; мог бы проявить достаточно здравого смысла, чтобы хоть не спутываться с Люси.

— Безусловно, — раздраженно сказала Элинор. — Но он его не проявил. Теперь речь идет о том, как ему помочь.

— Чем мы можем помочь, находясь от него за пять тысяч миль?

— Боюсь, что он сбежит и бросит несчастную Марджори. Это в ее-то положении, когда она ожидает ребенка! Конечно, она жуткая женщина. Но нельзя все-таки так с ней поступать.

— Конечно, — согласился Филип. Оба замолчали. Любители моциона продолжали свое шествие. — Мне сейчас пришло в голову, — задумчиво сказал он, — что это прекрасный сюжет

для романа.

— Что «это»?

— Эта история с Уолтером.

— Неужели ты хочешь использовать Уолтера как персонаж для романа? — возмутилась Элинор. — Нет, знаешь, этого я не потерплю. Ботанизировать на его могиле или, по крайней мере, в его сердце…

— Да нет, что ты! — оправдывался Фил.

— Mais je vous assure, — прокричала одна из француженок так громко, что ему пришлось оставить всякие попытки продолжать, — aux galeries La Fayette les camisoles en flanelle pour enfant ne coûtent que[30]…

— Camisoles en flanelle, — повторил Филип. — Фью!

— Серьезно, Фил…

— Но, дорогая, ведь я собираюсь использовать только ситуацию. Молодой человек строит свою жизнь по образцу идеалистических книг и воображает, будто у него великая духовная любовь; а потом обнаруживает, что сошелся со скучной женщиной, которая вовсе ему не нравится.

— Бедняжка Марджори! Хоть бы она научилась

---

[30] Примечания: 30

Но уверяю вас… в галерее Лафайет детские фланелевые рубашечки стоят всего…*(фр.).*

пудриться как следует! А искусственные бусы и серьги, которые она вечно нацепляет!..

— После чего, — продолжал Филип, — он с первого взгляда падает к ногам сирены. Меня привлекает ситуация, а вовсе не действующие лица. В конце концов, таких юношей, как Уолтер, сколько угодно. И Марджори — не единственная скучная женщина на свете, а Люси — не единственная «роковая женщина».

— Ну, если только ситуация, — неохотно согласилась Элинор.

— К тому же, — продолжал он, — это еще не написано и вряд ли когда-нибудь будет написано. Поэтому тебе совершенно незачем расстраиваться.

— Очень хорошо. Я больше ничего не скажу, пока не увижу книгу.

Они снова замолчали.

— ...так интересно провела время в Гульмерге прошлым летом, — говорила юная леди своим четырем поклонникам. — Мы играли в гольф и танцевали каждый вечер, и...

— Во всяком случае, — задумчиво начал Филип, — ситуация будет только своего рода...

— Mais je lui ai dit: les hommes sont comme ça. Une

jeune fille bien élevée doit[31]...

— ...своего рода предлогом, — прокричал Филип. — Такое впечатление, точно говоришь в домике для попугаев в зоологическом саду, — раздраженно добавил он как бы в скобках. — Я хотел сказать, своего рода предлогом, чтобы попробовать по-новому взглянуть на вещи.

— Ты бы сначала взглянул по-новому на меня, — с легким смешком сказала Элинор. — Более по-человечески.

— Серьезно, Элинор...

— Серьезно, — передразнила она, — относиться к людям по-человечески — это для тебя не серьезно. Серьезно — только умствовать.

— Ах так! — пожал он плечами. — Если ты не хочешь слушать, я замолчу.

— Нет, нет, Фил, говори! — Она взяла его за руку. — Говори.

— Я не хочу тебе надоедать. — Его тон был обиженный и полный достоинства.

— Прости, Фил. Но у тебя такой комичный вид, когда ты не столько сердишься, сколько скорбишь по поводу моего поведения. Помнишь верблюдов в Биканире? Какой у них был надмен-

---

[31] Примечания: 31

Но я ей сказала, что все мужчины таковы. Воспитанная молодая девушка должна...*(фр.).*

ный вид! Но продолжай же!

— В этом году, — рассказывала одна миссионерша другой, — епископ Куала-Лумпурский посвятил в сан дьякона шестерых китайцев и двух малайцев. А епископ Британского Северного Борнео… — Тихие голоса потерялись в отдалении. Филип забыл свое достоинство и расхохотался.

— Может быть, он посвятил нескольких орангутангов?

— А помнишь жену епископа Четверговых островов? — спросила Элинор. — Мы еще встретились с ней на том кошмарном австралийском пароходе, который — помнишь? — весь кишел тараканами.

— Та, что всегда ела маринад за завтраком?

— Да, и к тому же — маринованный лук! — Элинор вздрогнула от отвращения. — Да, а что ты говорил о новом способе смотреть на вещи? Мы, кажется, отвлеклись от темы.

— Нет, по существу говоря, — сказал Филип, — мы не отвлекались. Все эти camisoles en flanelle, маринованные луковицы и епископы людоедских островов — все это как раз то самое и есть. Весь смысл нового способа смотреть на вещи в их многообразии. Многообразие взглядов и многогранность вещей. Истолковывая одно и то же

событие, один человек рассуждает о нем с точки зрения епископов, другой — с точки зрения цен на фланелевые рубашечки, третий, например эта юная леди из Гульмерга, — он кивнул вслед удаляющейся компании, — с точки зрения увеселений. А кроме того, есть еще биологи, химики, историки. Каждый из них, в соответствии со своей профессией, рассматривает события по-иному, воспринимает другой срез действительности. Я хотел бы взглянуть на мир всеми этими глазами сразу — глазами верующего, глазами ученого, глазами экономиста, глазами обывателя…

— И глазами любящего?

Он улыбнулся и погладил ее руку.

— А результат… — Он замялся.

— Да, каков будет результат? — спросила она.

— Очень странный, — ответил он. — Получается удивительно странная картина.

— Не получилась бы она слишком странной.

— Слишком странной она никогда не будет, — сказал Филип. — Какой бы странной она ни была, реальная жизнь всегда будет еще более сложной и еще более странной. Мы смотрим на жизнь, и нам кажется, что все в ней именно так, как должно быть; а стоит подумать, и все покажется чрезвычайно странным. И чем больше о ней

думаешь, тем более странной становится жизнь. Как раз об этом я хотел бы написать в своей книге — о том, как удивительны самые обыкновенные вещи. Для этого годится любой сюжет, любая ситуация, потому что в каждой вещи можно найти решительно все. Можно написать целую книгу о том, как человек прошел от Пиккадилли-серкус до Черинг-Кросс. Или о том, как мы с тобой сидим здесь, на огромном пароходе, плывущем по Красному морю. И это будет очень сложно и очень странно. Когда начинаешь размышлять об эволюции, о человеческом трудолюбии и способностях, о социальном строе, то есть обо всем том, что дало нам возможность сидеть здесь, в то время как кочегары ради нашего удовольствия мучаются в нечеловеческой жаре, а паровые турбины делают пять тысяч оборотов в минуту, а небо сине, а свет не обтекает вокруг препятствий, благодаря чему образуется тень, а солнце все время наполняет нас энергией, чтобы мы могли жить и думать, — так вот, когда подумаешь обо всем этом и о миллионе других вещей, тогда видишь, что создать что-нибудь более сложное и странное, чем этот мир, все равно невозможно. И никакая картина не может вместить всю действительность.

— А все-таки, — сказала Элинор после долгого молчания, — мне хотелось бы, чтобы ты когда-нибудь написал простую и правдивую книгу о том, как молодой человек и молодая женщина полюбили друг друга, а потом поженились, и как им было трудно, но они преодолели все препятствия и все кончилось очень хорошо.

— А может быть, детективный роман? — Он рассмеялся. Но, подумал он, может быть, он не пишет таких книг просто потому, что не умеет? Простота в искусстве дается труднее, чем самая запутанная сложность. Со сложностями он прекрасно справляется. Но когда дело доходит до простоты, у него не хватает таланта, того таланта, который идет от сердца, а не только от головы, от ощущения, от интуиции, от сочувствия к человеку, а не только от способности к анализу. Сердце, сердце, говорил он себе. «Еще ли не разумеете, еще ли не понимаете? или сердца ваши ожесточились?» Сердца нет — значит, нет понимания.

— …ужасная кокетка! — воскликнул один из четырех поклонников, когда компания вышла из-за угла.

— Неправда! — негодующе ответила юная леди.

— Правда! Правда! — закричали они хором. Их

ухаживание заключалось в том, что они дразнили ее.

— Ничего подобного! — Но было ясно, что это обвинение на самом деле очень понравилось ей.

Как собаки, подумал он. Но сердце, сердце… Сердце — это специальность Барлепа. «Вам никогда не написать хорошей книги, — сказал он тоном оракула, — пока вы не научитесь писать от сердца». Это правда; Филип знал это. Но не Барлепу было это говорить. Барлеп писал до того прочувствованные книги, что казалось, они были им извергнуты после приема рвотного. Если бы Филип стал писать о великих и простых вещах, результаты получились бы не менее отталкивающие. Лучше пить из своего стакана, как бы он ни был мал. Лучше строго и честно оставаться самим собой. Самим собой? Но вопрос о самом себе всегда был для Филипа одним из наиболее трудно разрешимых вопросов. При помощи интеллекта и в теории он умел становиться кем угодно. Способность уподобляться другим была развита в нем так сильно, что часто он не мог отличить, где кончается он сам и где начинается тот, кому он уподобил себя; среди множества ролей он переставал различать актера. Амеба, когда она находит добычу, обтекает ее со всех сторон,

вбирает ее в себя, а затем течет дальше. Внутренне Филип Куорлз чем-то походил на амебу. Он был как бы океаном духовной протоплазмы, способным растекаться по всем направлениям, поглощать любой предмет, встреченный на пути, вливаться в любую трещину, наполнять любую форму и, поглотив или наполнив, течь дальше, к новым препятствиям, к новым вместилищам, оставляя прежние опустошенными и сухими. В разные периоды своей жизни или даже в один и тот же период он наполнял собой самые различные формы. Он был циником и мистиком, гуманистом и презрительным мизантропом; он пробовал жить жизнью рассудочного и равнодушного стоика, а в другой период он стремился к бессознательной, естественной первобытности. Выбор формы зависел от тех книг, какие он читал, от тех людей, с какими он встречался. Барлеп, например, снова направил течение его мысли в русло мистики, давно уже покинутое им; только однажды он заглянул в него, еще в студенческие годы, когда он на некоторое время подпал под влияние Бёме. Потом он раскусил Барлепа и опять покинул его русло, готовый, впрочем, в любую минуту снова влиться в него, если этого потребуют обстоятельства. Теперь его сознание

вливалось в форму, имевшую очертания сердца. А где же тогда его истинное «я», которому он должен быть верен?

Миссионерки молча прошли мимо них. Заглянув через плечо Элинор, он увидел, что она читает «Тысячу и одну ночь» в переводе Мардраса. У него на коленях лежали «Метафизические основы современной науки» Бёрта; он взял книгу и стал искать страницу, на которой остановился. А может быть, этого истинного «я» вовсе и нет? — спрашивал он себя. Нет, нет, это немыслимо; это противоречит непосредственному опыту. Он взглянул поверх книги на беспредельный синий блеск моря. Сущность его «я» заключалась именно в этой его жидкой и бесформенной вездесущности; в способности принимать любые очертания и в то же время не застывать ни в какой определенной форме, получать впечатления и с такой же легкостью освобождаться от них. Он не обязан быть верным тем формам, в которые в разное время вливалось его сознание, тем твердым или жгучим препятствиям, которые оно обтекало, затопляло и в пылающую сердцевину которых оно проникало, само оставаясь холодным; формы пустели так же легко, как наполнялись, препятствия оставались позади.

Но холодный, безразличный поток интеллектуального любопытства, который мог устремиться куда угодно, — это и было то неизменное, чему он должен быть верен. Единственным миросозерцанием, на котором он мог остановиться надолго, была смесь пирронизма и стоицизма, поразившая его еще в те годы, когда любознательным школьником он блуждал среди философских систем, и воспринятая им как высшее достижение человеческой мудрости; именно в эту форму скептического безразличия влилась его бесстрастная юность. Он часто бунтовал против пирроновского отказа от суждений и против стоической невозмутимости. Но был ли когда-нибудь серьезен его бунт? Паскаль сделал его католиком — но только на то время, пока перед ним лежал раскрытый томик «Мыслей». Были минуты, когда в обществе Карлейля, или Уитмена, или громогласного Браунинга он начинал верить в действие ради действия. А потом появился Марк Рэмпион. Проведя несколько часов в обществе Марка Рэмпиона, он искренне поверил в благородное дикарство, он проникся убеждением, что гордый интеллект должен смириться и признать требования сердца — и желудка, и чресел, и костей, и кожи, и мускулов — на равную долю в жизни.

Опять сердце! Барлеп прав, хотя он и шарлатан, своего рода шулер эмоций. Сердце! Но, что бы он ни делал, он всегда сознавал, что, по существу, он не был ни католиком, ни человеком действия, ни мистиком, ни благородным дикарем. И хотя порой он томился желанием стать кем-нибудь из них или всеми сразу, втайне он радовался, что не стал никем из них, что он свободен, даже если эта свобода иногда становилась для его духа преградой и тюрьмой.

— Из этой простой книги, — сказал он вслух, — ничего не выйдет.

Элинор подняла глаза от «Тысячи и одной ночи».

— Из какой простой книги?

— Из той, которую ты хотела, чтобы я написал.

— А, это! — Она рассмеялась. — Долго ж ты над этим думал!

— Она не даст мне никаких возможностей, — объяснил он. — Она должна быть твердая и глубокая. А я — широкий и жидкий. Простые книги — это не по моей части.

— Я это знала с первого же дня, как мы с тобой встретились, — сказала Элинор и вернулась к Шахерезаде.

«И все-таки, — думал Филип, — Марк Рэмпион

прав. И самое замечательное то, что он проводит свою теорию на практике — в искусстве и в жизни. Не то что Барлеп». Он с отвращением подумал о рвотных передовицах Барлепа в «Литературном мире». Своего рода духовная блевотина. А какую слякотную жизнь он ведет! Но Рэмпион был живым подтверждением своих теорий. «Если б я мог овладеть его секретом! — про себя вздохнул Филип. — Я повидаюсь с ним, как только мы вернемся в Англию».

XV

После их окончательного объяснения между Уолтером и Марджори установились странные и неприятно лживые отношения. Они были очень внимательны друг к другу, очень любезны, оставаясь вдвоем, вели длинные вежливые разговоры на безразличные темы. Имя Люси Тэнтемаунт никогда не упоминалось в их доме, никогда не говорилось также о почти еженощных отсутствиях Уолтера. По какому-то молчаливому соглашению оба притворялись, что ничего не произошло и что все к лучшему в этом лучшем из миров.

В первом порыве гнева Марджори принялась было укладывать свои вещи. Она уйдет от него сейчас же, сегодня же, пока он еще не вернулся.

Она покажет ему, что есть предел ее терпению, что она не в силах выносить больше обиды и оскорбления. Возвращается домой, а от него несет духами этой женщины! Какая мерзость! Он воображает, что она так по-собачьи предана ему и так зависит от него материально, что он может оскорблять ее, сколько ему вздумается, не боясь с ее стороны открытого возмущения. Она сама виновата, что терпела так долго. Она не должна была жалеть его тогда ночью. Но лучше поздно, чем никогда. На этот раз все кончено. Должна же она хоть сколько-нибудь уважать себя! Она вытащила чемоданы из кладовой и принялась укладываться.

А куда она пойдет? Что она станет делать? Чем она будет жить? Эти вопросы вставали с каждой минутой все более и более настойчиво. У Марджори была единственная родственница — замужняя сестра, но она была бедна, а ее муж не одобрял поведения Марджори. С миссис Коль она поссорилась. У нее нет больше друзей, которые смогут или станут ее поддерживать. У нее нет ни профессии, ни таланта, к тому же она ожидает ребенка, и ее никуда не возьмут на службу. И, наконец, несмотря ни на что, она слишком привязана к Уолтеру, она любит его, она не сможет жить

без него. И он тоже любит ее, все еще немножко любит — она в этом уверена. И, может быть, его безумие пройдет само собой; или, может быть, со временем она сумеет опять его завоевать. Как бы там ни было, действовать слишком поспешно не следует. И она в конце концов распаковала вещи и оттащила чемоданы обратно в кладовую. С завтрашнего дня она начнет разыгрывать комедию притворства и деланного неведения.

Со своей стороны Уолтер был очень доволен той ролью, которая ему досталась в этой комедии. Молчать, делать вид, словно ничего не случилось, — это подходило ему как нельзя лучше. Когда его гнев испарился, а желания были удовлетворены, вспышка безжалостной силы прошла и им снова овладела привычная для него деликатная и совестливая робость. Телесная усталость оказала на его душу размягчающее действие. Возвращаясь от Люси, он чувствовал себя виноватым перед Марджори и с ужасом ожидал сцен ревности. Но она спала, и он тихонько проскользнул в свою комнату. Во всяком случае, она притворилась спящей и не окликнула его. А на следующее утро только холодным приветствием и преувеличенной любезностью она дала ему почувствовать, что не все благополучно. С огромным облегчением Уолтер

стал отвечать молчанием на ее многозначительное молчание, а на ее тривиальную вежливость — вежливостью, которая была не только формальной, но шла прямо от сердца, вежливостью, которая происходила от искреннего стремления (так мучила его совесть) быть услужливым, искупить заботой и нежностью свои прошлые грехи и авансом заслужить прощение за те грехи, какие он намеревался совершить в будущем.

Отсутствие сцен и упреков было большим облегчением для Уолтера. Но по мере того как день проходил за днем, лживость их отношений все больше и больше тяготила его. Необходимость все время играть роль действовала ему на нервы: в молчании Марджори было что-то обвиняющее. Он становился все любезнее, заботливее, нежнее. Но хотя он в самом деле относился к ней прекрасно, хотя он искренно желал дать ей счастье, его ночные визиты к Люси делали лживой его привязанность к Марджори, а его заботливость казалась ему самому лицемерной, потому что, несмотря на все свое хорошее отношение к ней, он продолжал делать именно то, от чего страдала Марджори.

«Если бы только, — говорил он себе в бессильном раздражении, — если бы только она

удовлетворилась тем, что я ей даю, и перестала тосковать о том, что я не могу ей дать!» (Ему было ясно, несмотря на всю ее вежливость и все ее молчание, что она страдает. Ее исхудалое, измученное лицо лучше всяких слов свидетельствовало о том, что ее безразличие было напускным.)«Я ведь даю ей так много. То, чего я не могу ей дать, так несущественно. Во всяком случае, для нее», — добавлял он, потому что он вовсе не собирался откладывать назначенную на сегодняшний вечер «несущественную» встречу с Люси.

Едва изжито – будит отвращенье…

Сверх помыслов желанно, чуть прошло,

—

Сверх помыслов гнетет…

Обладание и наслаждение заставляли его еще больше стремиться к обладанию и наслаждению, а вовсе не презирать и ненавидеть. Правда, он до сих пор слегка стыдился своего томления. Ему было необходимо оправдать его чем-то более высоким — скажем, любовью. («В конце концов, — убеждал он себя, — можно любить двух женщин сразу — в этом нет ничего невозможного или неестественного. По-настоящему любить

обеих».) Порывы страсти сопровождались у него проявлениями нежности, свойственной его слабой, юношеской натуре. Он относился к Люси не как к жестокой, безжалостной охотнице за развлечениями, какой он считал ее, когда еще не был ее любовником, а как к идеально мягкому и чуткому существу, достойному обожания, к своего рода ребенку, матери и любовнице в одном лице: она нуждалась в материнской заботе и сама была способна дать ее, и в то же время он мог любить ее как мужчина, как фавн.

Чувственность и чувство, желание и нежность бывают так же часто друзьями, как и врагами. Некоторые люди умеют наслаждаться лишь тогда, когда они презирают объект наслаждения. Но у других наслаждение сочетается с теплотой и сердечностью. Стремление Уолтера оправдать любовью свою страсть к Люси было в конечном счете лишь моральным выражением его потребности связывать сексуальное наслаждение с чувством нежности, одновременно рыцарским и по-детски самоуниженным. Чувственность порождала в нем нежность; там, где не было чувственности, не могла проявиться и нежность. Его отношения с Марджори были слишком бесполыми и платоническими, чтобы стать нежными.

Нежность может существовать лишь в атмосфере нежности. Уолтер покорил Люси в припадке жестокой, циничной чувственности. Но, претворившись в действие, чувственность сделала его чувствительным. Тот Уолтер, который сжимал в объятиях обнаженную Люси, был уже не тем Уолтером, который ее добивался, и этому новому Уолтеру необходимо было, в интересах самосохранения, верить, что под влиянием его ласк Люси становится такой же нежной, как он сам. Если бы он продолжал верить, как верил прежний Уолтер, что она жестока, эгоистична, не способна на теплое чувство, это убило бы в новом Уолтере его мягкую нежность. Он испытывал потребность считать ее нежной. Он изо всех сил старался уверить себя в этом. Каждое проявление слабости или усталости он расценивал как проявление внутренней мягкости, доверчивости и покорности. Каждое ласковое слово — а Люси была крайне щедра на такие обращения, как «милый», «ангел» и «любимый», — он считал драгоценностью, вышедшей непосредственно из глубин ее сердца. В ответ на эти проявления воображаемого мягкосердечия и теплоты он удваивал собственную нежность; и эта удвоенная нежность с удвоенным жаром стремилась найти

в Люси ответ. Любовь вызывала желание быть любимым. Желание быть любимым в свою очередь порождало несколько преждевременную уверенность в том, что он действительно любим. Эта уверенность усиливала его любовь. Это был какой-то заколдованный круг.

Нежное обожание Уолтера трогало и удивляло Люси. Она отдалась ему потому, что ей было скучно, потому, что его губы были нежные, а руки умели ласкать, и потому, что в последнюю минуту ее позабавил и привел в восторг его внезапный переход от унижения к победоносной дерзости. Какой это был странный вечер! Уолтер сидел против нее за обеденным столом, и лицо у него было такое, точно он ужасно зол и готов заскрежетать зубами; но в то же время он был очень забавен, зло издевался над всеми их знакомыми, рассказывал самые фантастические и причудливые исторические анекдоты, сыпал невероятными цитатами из старинных книг.

— Сейчас мы поедем к вам, — заявил он после обеда.

Но Люси хотела заехать в «Виктория-Пэлас» посмотреть на Нелли Уоллес, а потом — в «Эмбесси» поужинать и потанцевать, а потом, потом, пожалуй, к Касберту Аркрайту на тот случай,

если у него... Не то чтобы ей в самом деле так уж хотелось идти в мюзик-холл, танцевать, болтать с Касбертом. Она просто желала поступать по своей воле, а не по воле Уолтера. Она хотела господствовать, хотела заставить его делать то, чего хочется ей, а не то, чего хочется ему. Но Уолтер был непоколебим. Он ничего не говорил, только улыбался. И когда к двери ресторана подъехала машина, он дал шоферу адрес Брютон-стрит.

— Но это насилие, — возмутилась она.

— Пока еще нет, — рассмеялся Уолтер. — Но скоро будет.

И то, что произошло в серой с розовым гостиной, было похоже на насилие. Люси вызывала его на самые неистовые проявления чувственности и покорялась им. Но она вовсе не старалась вызвать в нем то нежное и страстное обожание, которым сменились первые порывы чувственности. Жестокое, гневное выражение покинуло его лицо, и, казалось, он сразу сделался беззащитным; трепетное обожание, которое он теперь испытывал, словно обнажило его душу. Своими ласками он как бы старался прогнать боль и ужас и умиротворить гнев. Его слова были похожи то на молитву, то на слова утешения, которые шепчут больному ребенку. Его нежность удивила и

растрогала Люси и заставила ее почти стыдиться самой себя.

— Нет, я не такая, я не такая, — говорила она в ответ на его полный обожания шепот. Она не хотела, чтобы ее любили такой, какой она не была на самом деле. Но его мягкие губы, касавшиеся ее кожи, его легкие пальцы своими ласками магически превращали ее в то нежное, любящее существо, каким он ее видел и обожал, как бы заряжали ее всеми теми качествами, которые его шепот приписывал ей и которые она отрицала в себе.

Она положила его голову к себе на грудь и провела пальцами по его волосам.

— Милый Уолтер! — прошептала она. — Милый Уолтер!

Наступило долгое молчание. Ощущение теплого и тихого блаженства наполнило их обоих. И тогда — именно потому, что это молчаливое ощущение было глубоким и совершенным, а следовательно, с ее точки зрения, нелепым и даже несколько угрожающим в своей безличности и опасным для ее сознательной воли, — она вдруг спросила:

— Ты что, заснул, Уолтер? — и ущипнула его за ухо.

В последовавшие за этим дни Уолтер отчаянно, изо всех сил старался уверить себя, что Люси переживает то же, что и он. Но с Люси это было нелегко. Она вовсе не старалась почувствовать ту глубокую нежность, которая означает отказ от собственной воли и даже личности. Она хотела оставаться собой, Люси Тэнтемаунт, полностью владеть положением, сознательно наслаждаться, безжалостно развлекаться; она хотела быть свободной не только материально и перед лицом закона, но и эмоционально. Она хотела быть свободной, чтобы в любой момент, когда ей этого захочется, бросить его так же, как она взяла его. Подчиняться она не хотела. К тому же его нежность — да, конечно, она была очень трогательна — и льстила ей, и была вообще очень приятна; но в то же время она была немножко нелепа и довольно-таки утомительна, потому что требовала от нее того же. Она на мгновение уступала ему и позволяла ему своими ласками пробудить в ней ответную нежность только затем, чтобы после этого неожиданно вернуться к своему обычному вызывающему равнодушию. И Уолтер пробуждался от своей мечты, возвращаясь в мир того, что Люси называла «развлечением», в холодный дневной свет вполне сознательной, хохочущей

чувственности. А в этом мире его страсть не имела оправданий, его вина не заслуживала снисхождения.

— Ты меня любишь? — спросил он ее в одну из ночей. Он знал, что она не любит. Но у него было какое-то извращенное желание услышать это от самой Люси.

— Ты очень милый, — сказала Люси. Она улыбнулась.

Но глаза Уолтера оставались безнадежно-мрачными.

— Но любишь ли ты меня? — настойчиво повторил он. Подперев голову рукой, он смотрел на нее сверху вниз почти угрожающим взглядом.

Люси лежала на спине, заложив руки за голову; ее маленькие груди поднялись от напрягшихся мускулов. Он смотрел на нее; его пальцы прикасались к ее теплому, эластичному телу, которым он только что полностью и безраздельно обладал. Но та, чьей собственностью было это тело, улыбалась ему, полузакрыв глаза, далекая и недостижимая.

— Ты любишь меня?

— Ты очарователен. — Что-то похожее на насмешку блеснуло под ее темными ресницами.

— Это не ответ. Ты любишь меня?

Люси пожала плечами и скорчила гримасу.

— «Любишь», — повторила она. — Что за страсть к громким словам! — Высвободив одну руку, она подняла ее и дернула прядь каштановых волос, упавшую на лоб Уолтера. — Тебе пора постричься, — сказала она.

— Зачем же ты тогда со мной? — настаивал Уолтер.

— Если б ты знал, какой у тебя нелепый вид: лицо торжественное, а волосы лезут в глаза. — Она расхохоталась. — Точно овчарка, у которой болит живот.

Уолтер откинул свисавшую прядь.

— Я требую ответа, — упорствовал он. — Почему ты отдалась мне?

— Почему? Потому что это было интересно. Потому что мне этого хотелось.

— Без любви?

— А при чем тут любовь? — нетерпеливо спросила она.

— Как при чем? — повторил он. — Как же можно без любви?

— Зачем мне любовь, если я могу получить все, что мне нужно, и без любви? К тому же любовь по заказу не приходит. Иногда ее испытываешь. Но очень редко. Или, может быть, никогда — не

знаю. А что же делать в промежутках? — Она снова схватила прядь и притянула к себе его лицо. — В промежутках, милый Уолтер, у меня есть ты.

Его губы почти касались ее губ. Он сделал усилие и не дал ей притянуть себя ближе.

— Не говоря уже обо всех остальных, — сказал он.

Люси с силой дернула его за волосы.

— Дурак! — сказала она, хмурясь. — Ты должен быть благодарен за то, что получил.

— А что я получил? — Ее тело, теплое и шелковистое, изогнулось в его руках; но он смотрел в ее насмешливые глаза. — Что я получил?

Люси все еще хмурилась.

— Почему ты не целуешь меня? — спросила она, словно ставя ему ультиматум. Уолтер не ответил, он даже не шевельнулся. — Ах так! — Она оттолкнула его. — В эту игру могут играть и двое.

И тотчас же Уолтер нагнулся, чтобы поцеловать ее. Он испугался угрозы, прозвучавшей в ее голосе, он боялся потерять ее.

— Я — идиот, — сказал он.

— Безусловно. — Люси отвернулась.

— Прости меня.

Но она не хотела мириться.

— Нет, нет, — сказала она, а когда он, положив

ей под щеку ладонь, стал повертывать ее лицо к себе, к своим поцелуям, она быстрым порывистым движением укусила его большой палец. Полный ненависти и желания, он взял ее силой.

— Ну как, тебе все еще нужна любовь? — спросила она наконец, прерывая томное молчание.

Неохотно, почти с болью, Уолтер заставил себя ответить. В этом глубоком молчании ее вопрос был как спичка, вспыхнувшая в ночной темноте. Ночь беспредельна, огромна, усыпана звездами. Загорается спичка — и все звезды мгновенно исчезают; больше нет ни дали, ни глубины. От Вселенной остается маленькая светящаяся пещера, вырытая в черной глыбе, наполненная ярко освещенными лицами, руками, телами и всем тем, что мы встречаем в обыденной жизни. Уолтер чувствовал себя счастливым в глубокой ночи молчания. Выздоравливая после горячки, он обнимал Люси без ненависти, испытывая только сонную нежность. Его дух точно плавал в теплой безмятежности, где-то между бытием и небытием. Она зашевелилась в его объятиях, она заговорила, и эта чудесная неземная безмятежность была разбита, как гладкая водная поверхность неожиданно брошенным камнем.

— Ничего мне больше не нужно. — Он открыл

глаза и увидел, что она смотрит на него любопытным взглядом.

Уолтер нахмурился.

— Зачем ты смотришь на меня?

— А разве это запрещено?

— Ты давно смотришь на меня так? — От этой мысли ему стало почему-то очень неприятно.

— Целые часы, — ответила Люси. — Я любовалась тобой. Ты просто очарователен. Совсем спящая красавица. — Она улыбалась насмешливо, но она говорила правду. Эстетически, как знаток, она действительно восхищалась им, когда он лежал рядом с ней, бледный, закрыв глаза и словно мертвый.

Но лесть не смягчила Уолтера.

— Я не люблю, когда ты торжествуешь надо мной, — сказал он, все еще хмурясь.

— Торжествую?

— Да, точно ты убила меня.

— Неисправимый романтик! — Она рассмеялась. И все-таки в этом была правда. Он действительно был похож на мертвого; а в смерти, при этих обстоятельствах, есть что-то смешное и унизительное. Чувствуя себя живой, совершенно живой и бодрствующей, она изучала его мертвую красоту. Восхищенно, но безучастно, как бы за-

бавляясь, она смотрела на это чудесное бледное существо, которое она использовала, чтобы насладиться, и которое теперь было мертво. «Какой глупец! — подумала она. — Почему люди делают себя такими несчастными, вместо того чтобы пользоваться всем, что встречается им в жизни?» Она выразила свои мысли в насмешливом вопросе, который вызвал Уолтера из вечности. Ему нужна любовь — какой глупец!

— И все-таки, — не унимался Уолтер, — ты торжествовала.

— Романтика, романтика! — издевалась она. — У тебя на все такие нелепые, несовременные взгляды. Убивать, торжествовать над трупом врага и любить — и так далее. Глупо! Знаешь, тебе очень пошел бы фрак и галстук шалью. Попробуй быть чуточку более современным.

— Я предпочитаю быть человечным.

— Жить современно — значит жить быстро, — продолжала она. — В наши дни нельзя таскать за собой полную телегу идеалов и романтизма. Когда человек путешествует на аэроплане, он оставляет тяжелый багаж позади. Добрая старомодная душа годилась в те дни, когда люди жили медленно. Для нас она слишком громоздка. Ей нет места на аэроплане.

— А для сердца тоже нет места? — спросил Уолтер. — О душе я не очень забочусь. — Когда-то он очень заботился о душе, но теперь, когда жизнь состояла не только из чтения философов, душа интересовала его гораздо меньше. — Но сердце, — добавил он, — сердце…

— К сожалению, — покачала головой Люси, — даром ничего не дается. Хочешь двигаться с большой скоростью — оставляй на земле багаж. Все дело в том, чтобы знать, чего хочешь, и всегда быть готовым заплатить за это. Я знаю, чего я хочу; и я жертвую багажом. Если тебе больше нравится путешествовать в мебельном фургоне — пожалуйста. Только не рассчитывай, милый мальчик, что я поеду с тобой. И не рассчитывай, что я возьму твой концертный рояль в мой двухместный моноплан.

Наступило долгое молчание. Уолтер закрыл глаза. Ему хотелось умереть. Он вздрогнул: рука Люси прикоснулась к его лицу. Она взяла его нижнюю губу большим пальцем и указательным и слегка ущипнула ее.

— У тебя чудесный рот, — сказала она.

XVI

Рэмпионы жили в Челси. Их дом состоял из большой мастерской, к которой были пристроены три или четыре маленькие комнатки. «Очень милый домик, хотя и довольно ветхий», — размышлял Барлеп, дергая ручку звонка в этот субботний вечер. Ведь Рэмпион приобрел его почти что даром, буквально даром, перед самой войной. Ему не приходится страдать от послевоенных цен на квартиры. Экономит в год добрых полтораста фунтов. «И везет же ему!» — подумал Барлеп, забывая на минуту, что сам он ничего не платит Беатрисе за комнату, и помня только, что он сегодня заплатил двадцать четыре шиллинга и девять пенсов за ленч с Молли д'Экзержилло.

Дверь открыла Мэри Рэмпион.

— Марк ждет вас в мастерской, — сказала она, обменявшись приветствиями… «Не понимаю, с какой стати, — удивлялась она про себя, — с какой стати обращается он так любезно с этой тварью». Она остро ненавидела Барлепа.

— Это настоящий коршун, — сказала она мужу после предыдущего визита этого журналиста. — Или нет — не коршун: коршуны едят только падаль. Он паразит: питается за счет живых лю-

дей, причем выбирает всегда самых лучших. На этот счет у него какой-то нюх, ничего не скажешь. Духовная пиявка — вот кто он такой. Почему ты позволяешь ему сосать твою кровь?

— Пускай себе сосет, мне-то что, — ответил Марк. — Мне от этого вреда нет, и к тому же он забавляет меня.

— Вероятно, это льстит твоему тщеславию, — сказала Мэри. — Всякому лестно иметь паразитов. Это доказывает, что у тебя кровь высокого качества.

— К тому же, — продолжал Рэмпион, — в нем что-то есть.

— Конечно, есть, — согласилась Мэри. — В нем есть, между прочим, твоя кровь и кровь всех тех, на ком он паразитирует.

— Ну, не преувеличивай, не будь романтична. — Рэмпион считал, что преувеличивать имеет право только он один.

— Ну, ты как хочешь, а я паразитов не люблю. — Мэри говорила тоном, не допускающим возражений. — И в следующий раз, когда он придет к нам, я попробую посыпать его персидским порошком: посмотрим, что из этого получится. Так и знай.

Однако вот он пришел в следующий раз, а она

открывает ему дверь и предлагает ему пройти в мастерскую, точно он желанный гость. Даже в атавистической Мэри привычка быть вежливой пересилила желание посыпать персидским порошком.

Пока Барлеп шел в мастерскую, он был весь поглощен финансовыми соображениями. Стоимость сегодняшнего ленча не давала ему покоя.

«Мало того, что Рэмпион не платит за квартиру, — размышлял он, — ему и вообще не на что деньги тратить: прислуга у них одна, по хозяйству они делают все сами, автомобиля они не держат — какие же тут могут быть расходы? Правда, у них двое детей». Но при помощи одного из тех внутренних магических фокусов, на которые он был большой мастер, Барлеп заставил обоих детей исчезнуть из поля своего сознания. «А между тем Рэмпион зарабатывает уйму денег. Его рисунки и картины ценятся довольно высоко. Его книги тоже расходятся весьма неплохо. Что он делает с деньгами? — недовольно размышлял Барлеп, стучась в дверь мастерской. — Копит их, что ли?»

— Войдите, — раздался голос Рэмпиона.

Барлеп изобразил на своем лице улыбку и вошел.

— Ах, это вы, — сказал Рэмпион. — Простите, не

могу подать руку. — Он мыл кисти. — Как дела?

Барлеп покачал головой и сказал, что он нуждается в отдыхе, но не может себе этого позволить. Он обошел мастерскую, почтительно рассматривая картины. Святой Франциск вряд ли одобрил бы большинство из них. Но сколько жизни, какая энергия, какая сила воображения! А ведь жизнь — это самое важное. «Я верю в жизнь» — это была его первая заповедь.

— Как это называется? — спросил он, остановившись перед полотном на мольберте.

Вытирая руки, Рэмпион подошел к нему и тоже остановился.

— Это? — сказал он. — Вероятно, вы назвали бы это «Любовь». — Он рассмеялся; сегодня он хорошо работал и был в замечательном настроении. — Но люди с менее тонкой и чуткой душой предпочли бы что-нибудь более непечатное. — Ухмыляясь, он предложил несколько непечатных названий. Барлеп неловко улыбнулся. — Может быть, вы еще какое-нибудь вспомните, — коварно закончил Рэмпион. Ему нравилось шокировать Барлепа — вернее сказать, он считал это своим святым долгом.

Это была небольшая картина, написанная маслом. В левом нижнем углу полотна, в небольшой

ложбине, окруженной спереди темными камнями и стволами деревьев, сзади — обрывистыми утесами, а сверху — густой нависшей листвой, лежали, обнявшись, две фигуры. Два обнаженных тела: женское — белое, мужское — бронзово-красное. Эти два тела были источником света всей картины. Камни и стволы переднего плана четко вырисовывались на фоне сияния, исходившего от тел. Пропасть позади них была золотой от этого же света. Он озарял нижнюю сторону свисавших листьев, отбрасывавших тень вверх, в густеющую тьму зелени. Свет вырывался из углубления, где лежали тела, перерезая всю картину, озаряя и словно создавая из своих лучей гигантские розы, циннии и тюльпаны, среди которых двигались кони, леопарды и маленькие антилопы; а на заднем плане зеленый пейзаж, отступая все дальше и дальше, становился все более и более синим, и среди холмов виднелось море, а над ним в синем небе громоздились огромные героические тучи.

— Хорошо, — медленно сказал Барлеп, мотая головой.

— Но я чувствую, что она вам противна. — Марк Рэмпион торжествующе ухмыльнулся.

— Почему вы так думаете? — оправдывался Барлеп с кротким выражением мученика.

— Потому что так оно и есть. Эта вещь недостаточно «христосиковая» для вас. Любовь, физическая любовь как источник света, жизни и красоты — ах, что вы, как можно! Это слишком грубо и телесно, это возмутительно откровенно.

— Неужели вы принимаете меня за миссис Гранди?

— Нет, почему же обязательно за миссис Гранди? — Рэмпион упивался собственным издевательством. — Скажем, за святого Франциска. Кстати, как у вас подвигается его жизнеописание? Надеюсь, вы достаточно красочно изобразили, как он лизал прокаженных. — Барлеп сделал жест, как бы защищаясь от нападок. Рэмпион ухмыльнулся. — Собственно говоря, даже святой Франциск для вас слишком взрослый. Дети не лижут прокаженных. Это делают только сексуально извращенные подростки. Святой Гуго Линкольнский — вот кто вы такой, Барлеп. Он был ребенок, знаете, такой чистый, нежный ребеночек. Такой славный, ласковый маленький мальчуган. Он смотрел на женщин почтительно, широко раскрыв глаза, словно все они — мадонны. Приходил к ним, чтобы его погладили по головке, поцеловали в утешение и поговорили с ним о бедном Иисусике. Он даже не прочь был пососать

молочка, если таковое оказывалось в наличии.

— Действительно! — запротестовал Барлеп.

— Да, действительно, — передразнил его Рэмпион. Он любил дразнить этого субъекта, ему нравилось, когда у того делался вид всепрощающего христианского мученика. Так ему и надо, думал Рэмпион, за то, что он приходит сюда с миной любимого ученика и ведет себя до отвращения почтительно и восторженно.

— Маленький святой Гуго, еле переступающий ножонками и глядящий широко открытыми глазами. Идет к женщинам, переступая ножонками, так почтительно, словно они все — мадонны; а между прочим, засовывает свою славную ручонку всем им под юбки. Приходит, чтобы помолиться, и остается разделить с мадонночкой постель. — Рэмпион кое-что знал о любовных делишках Барлепа и еще больше угадывал. — Славный маленький святой Гуго! Как мило он переступает ножками, направляясь к спальне, и с каким младенческим видом забирается под простыню! А эта картина, конечно же, слишком груба и недуховна для нашего маленького Гуго! — Он откинул голову и расхохотался.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал Барлеп. — Не обращайте на меня внимания. — И при

виде его мученической одухотворенной улыбки Рэмпион расхохотался еще громче.

— Ох, не могу, ох, не могу! — говорил он сквозь смех. — Когда вы придете ко мне в следующий раз, я специально для вас повешу у себя копию со «Святой Моники и святого Августина» Ари Шеффера. Это вот вам понравится. А теперь не желаете ли взглянуть на мои рисунки? — спросил он. Барлеп кивнул. — По большей части — гротески. Карикатуры. Предупреждаю вас: они довольно непристойны. Впрочем, приходя ко мне, вы должны быть готовы ко всему.

Он открыл папку, лежавшую на столе.

— Почему вы думаете, что мне не нравятся ваши работы? — спросил Барлеп. — В конце концов, мы с вами оба верим в жизнь. Кое в чем мы не сходимся, но в большинстве случаев у нас одинаковые точки зрения.

Рэмпион взглянул на него.

— О да, конечно! Еще бы, — сказал он и ухмыльнулся.

— А в таком случае, — сказал Барлеп, смотревший в сторону и поэтому не заметивший усмешки на лице Рэмпиона, — почему же вы думаете, что я не одобряю ваши рисунки?

— В самом деле, почему? — передразнил тот.

— Но раз точки зрения одинаковы…

— Следовательно, люди, смотрящие на что-нибудь с одной и той же точки зрения, тоже одинаковы. — Рэмпион снова ухмыльнулся. — Что и требовалось доказать. — Он вынул один из рисунков. — Это я называю «Ископаемые прошлого и ископаемые будущего». — Он протянул Барлепу рисунок, исполненный тушью и акварелью, исключительно острый и живой. Сверху вниз по диагонали двигалась в виде буквы S причудливая процессия чудовищ. Динозавры, птеродактили, титанотерии, диплодоки, ихтиозавры шли, плыли, летели в арьергарде процессии; авангард состоял из человекообразных чудовищ, большеголовых тварей без туловищ, которые ползли, как слизняки, на бесформенных расплывчатых отростках, выходивших из подбородка и шеи. У них были лица знаменитых современников. Среди толпы Барлеп узнал Томпсона и лорда Эдварда Тэнтемаунта; Бернарда Шоу со свитой евнухов и старых дев и сэра Оливера Лоджа в сопровождении катодной трубки на двух ногах и призрака с репой вместо головы, закутанного в простыню; сэра Альфреда Монда и голову Джона Рокфеллера, которую нес на блюде баптистский священник; доктора Фрэнка Крейна и миссис

Эдди, окруженных нимбами, и многих других.

— Ящеры погибли оттого, что у них были слишком большие тела и слишком маленькие головы, — пояснил Рэмпион. — Так, по крайней мере, утверждают ученые. Чрезмерный рост тела мешает правильному развитию. Ну а чрезмерный рост интеллекта? Эти дураки, видимо, забывают, что они так же непропорциональны, неуклюжи и уродливы, как любой диплодок. Они жертвуют физической и эмоциональной жизнью ради умственной. Интересно, к чему это, по их мнению, приведет?

Барлеп кивнул в знак согласия:

— Этот вопрос я тоже всегда задаю. Человек не может жить без сердца.

— Равно как и без внутренностей, кожи, костей и мяса, — сказал Рэмпион. — Они все шагают к вымиранию. И очень хорошо делают. Только, к сожалению, эти мерзавцы тянут за собой весь человеческий род. Надо сказать, мне вовсе не нравится быть осужденным на вымирание из-за этих болванов ученых, моралистов, спиритуалистов, инженеров, возвышенных политиканов, литераторов и всех прочих, у кого не хватает ума понять, что человек должен жить как человек, а не как чудовище, состоящее из мозгов и души.

Брр! С каким наслаждением я истребил бы их всех! — Он положил рисунок обратно в папку и вынул другой. — А вот здесь два варианта «Всемирной истории»: слева — по Герберту Уэллсу, справа — по Марку Рэмпиону.

Барлеп посмотрел, улыбнулся и расхохотался.

— Великолепно! — сказал он.

Рисунок слева изображал восходящую кривую. За очень маленькой обезьяной следовал чуточку более крупный питекантроп, за которым, в свою очередь, следовал немного более крупный неандерталец. Палеолитический человек, неолитический человек, египтянин и вавилонянин бронзового века, эллин и римлянин железного века — фигуры становились постепенно все более рослыми. Ко времени появления Галилея и Ньютона представители человеческой расы достигли вполне приличных размеров. Уатт и Стефенсон, Фарадей и Дарвин, Бессемер и Эдисон, Рокфеллер и Уонамейкер — все выше и выше делались люди, пока не достигали роста современного человека в лице самого мистера Герберта Уэллса и сэра Альфреда Монда. Не было позабыто и будущее. В сияющем пророческом тумане фигуры Уэллса и Монда, все вырастая при каждом повторении, взвивались триумфальной спиралью за пределы

листа в утопическую бесконечность. Рисунок справа представлял менее оптимистическую кривую, состоящую из вершин и падений. Маленькая обезьяна очень быстро превращалась в цветущего высокого представителя бронзового века, который уступал место очень крупному эллину и немногим меньшему этруску. Римляне снова становились мельче. Монахов Фиваиды трудно было отличить от первобытных маленьких обезьян. Далее следовало несколько рослых флорентинцев, англичан и французов. Их сменяли отвратительные чудовища, снабженные этикетками «Кальвин», «Нокс», «Бакстер» и «Уэсли». Рост представителей человеческой расы все уменьшался. Викторианцы были изображены карликами и уродами, люди двадцатого столетия — недоносками. В тумане будущего виднелись все мельчавшие уродцы и зародыши с головами, слишком крупными для их расслабленных тел, с обезьяньими хвостами и с лицами наших наиболее уважаемых современников; и все они кусались и царапались и грызли друг друга с той методической энергией, которая свойственна только высокоцивилизованным существам.

— Я хотел бы поместить один или два из этих рисунков в «Литературном мире», — сказал

Барлеп, когда они просмотрели все содержимое папки. — Обычно мы не помещаем рисунков: мы — миссионеры, искусство для искусства — не наш девиз. Но эти ваши вещи — не только рисунки, а и притчи. Должен признаться, — добавил он, — я завидую вашей способности выражать свои мысли так ярко и сжато. Мне пришлось бы затратить сотни и тысячи слов, чтобы сказать то же самое и с меньшей живостью в своей статье.

— Именно поэтому, — кивнул Рэмпион, — я теперь почти отказался от литературы. Она не годится для выражения тех мыслей, которые я теперь хочу высказать. А какое счастье избавиться от слов! Слова, слова, слова. Они отгораживают нас от мира. Почти все время мы соприкасаемся не с вещами, а с заменяющими их словами. И часто это даже не слова, а мерзкая метафорическая болтовня какого-нибудь поэтишки. Например: «Но среди волн душистой темноты угадываю каждый аромат…» Или: «При каждом падении смягчалось воронье крыло темноты, и оно улыбалось». Или вот: «Тогда коснусь я легким поцелуем долины лилий и блаженства лона». — Он с усмешкой посмотрел на Барлепа. — Даже лоно блаженства они превращают в метафорическую абстракцию. Долина лилий! Действительно!

Ох уж эти мне слова! С какой радостью я распростился с ними! Я словно вырвался из тюрьмы — конечно, очень изящной, фантастической тюрьмы, в которой есть фрески и гобелены и чего-чего только нет. Но все-таки внешний мир лучше. Живопись позволяет мне соприкасаться с ним. Я могу сказать то, что хочу.

— Что ж, — сказал Барлеп, — все, что я могу сделать, — это доставить вам аудиторию, которая станет вас слушать.

— Не завидую им! — засмеялся Рэмпион.

— А по-моему, они должны это выслушать. На каждом из нас лежит ответственность. Именно поэтому я хотел бы поместить некоторые из ваших рисунков в нашем журнале. Я считаю это своим святым долгом.

— Ну, если для вас это вопрос категорического императива, — снова засмеялся Рэмпион, — тогда что ж: публикуйте. Берите любые. Конечно, мне было бы особенно приятно, если бы вы отобрали самые сногсшибательные.

Барлеп покачал головой.

— Начинать нужно потихоньку, — сказал он. Он не настолько верил в жизнь, чтобы рисковать тиражом журнала.

— Потихоньку, потихоньку, — передразнил

Рэмпион. — Все вы, газетчики, одинаковы. Никаких потрясений. Безопасность — прежде всего. Тихая, спокойненькая литература. Безболезненное удаление предрассудков. Новые идеи вставляются только под наркозом. Читателей держат все время в состоянии легкой дремоты. Безнадежная вы, в общем, публика!

— Безнадежная, — повторил Барлеп тоном раскаивающегося грешника. — Я знаю это. Но, увы, нам приходится идти на компромисс с миром, с плотью и дьяволом.

— Против этого я как раз не возражаю, — ответил Рэмпион. — Гораздо более отвратительными мне кажутся ваши компромиссы с небом, порядочностью и Господом Богом. Впрочем, при данных обстоятельствах вы, пожалуй, и не можете иначе. Берите, что вам больше по душе.

Барлеп стал выбирать.

— Я возьму вот эти, — сказал он наконец, показывая Рэмпиону три наименее острых и полемических рисунка. — Вы не возражаете?

— Если бы вы подождали еще недельку, — пробурчал Рэмпион, взглянув на рисунки, — я приготовил бы вам копию Ари Шеффера.

— Боюсь только, — сказал Барлеп с одухотворенным выражением, появлявшимся на его лице

всякий раз, когда он заговаривал о деньгах, — боюсь, что я не смогу много заплатить за них.

— Что ж, мне это не впервой. — Рэмпион пожал плечами.

Барлеп был очень доволен, что дело приняло такой оборот. «В конце концов, — подумал он, — это правда. Рэмпион не привык, чтобы ему много платили. Да при его образе жизни ему много и не нужно. Ни автомобиля, ни прислуги…»

— Хотелось бы заплатить вам больше, — сказал он вслух, переходя на безличную форму. — Но журнал… — Он покачал головой. — Мы пытаемся научить людей любить все самое возвышенное, даже если оно не приносит им прибыли. Пожалуй, мы могли бы дать вам по четыре гинеи за рисунок.

— Не очень по-королевски, — рассмеялся Рэмпион. — Впрочем, берите. Если вам угодно, берите их хоть задаром.

— Что вы, что вы! — защищался Барлеп. — Этого я не сделаю. «Мир» не живет благотворительностью. Он платит за все — к сожалению, немного, но все-таки платит. Я считаю это вопросом чести, — продолжал он, мотая головой, — хотя бы мне пришлось платить из собственного кармана. В этом отношении я принципиален, строго прин-

ципиален, — настаивал он, с трепетом законного удовлетворения созерцая внутренним оком некоего честнейшего и готового пожертвовать собой Дениса Барлепа, платящего сотрудникам из собственного кармана, в чье существование он сам начинал почти искренне верить. Он говорил, и с каждым словом очертания этого возвышенно-бедного, но честного Барлепа все ясней вырисовывались перед его внутренним взором; и в то же время «Мир» все больше и больше приближался к несостоятельности, а счет за ленч все вырастал и вырастал, а доходы Барлепа соответственно уменьшались.

Рэмпион с любопытством смотрел на него. «Чего ради он взвинчивает себя?» — удивлялся он. Вдруг его осенило. Когда Барлеп остановился, чтобы перевести дух, он сочувственно покачал головой.

— Я знаю, что вам нужно, — сказал он. — Вам нужен капиталист. Если бы у меня было несколько тысяч свободных денег, я вложил бы их в «Мир». Но, увы, у меня их нет. Ни шиллинга, — заключил он почти с торжеством, и сочувственное выражение вдруг сменилось злорадной усмешкой.

В этот вечер Барлеп занялся вопросом о францисканской нищете. «Босая, средь холмов ум-

брийских, она проходит, Дама Нищета». Так начал он главу. В минуты вдохновения его проза переходила в белые стихи. «Стопами попирая белую пыль дорог, что лентой стелются среди равнин».

Далее следовали упоминания о суковатых оливах, о виноградниках, о спускающихся уступами полях, об «огромных белых волах с их изогнутыми рогами», о маленьких осликах, терпеливо взбирающихся со своей ношей по каменистым тропинкам, о голубых горах, о маленьких городах на вершинах холмов — городах, похожих на Новый Иерусалим из детской книги, о классических водах Клитумнии и о еще более классических водах Тразименского озера. «В этой стране и в это время, — продолжал Барлеп, — нищета была практически достижимым идеалом. Земля удовлетворяла все потребности тех, кто жил на ней; специализации почти не было; каждый крестьянин был сам для себя ткачом, мясником, пекарем, зеленщиком, виноделом. В этом обществе деньги почти не имели значения. Люди обменивали продукты собственного производства — домашнюю утварь, приготовленную их руками, и плоды земные, — и поэтому им не нужны были драгоценные металлы, чтобы покупать на них вещи.

В те дни нищенский идеал св. Франциска был достижим, ибо он немногим отличался от образа жизни тогдашних бедняков. Св. Франциск предлагал обеспеченным и специализировавшимся на определенном ремесле членам общества — тем, кто пользовался деньгами, — жить так, как жили их более скромные соотечественники, то есть пользоваться обменом. Как не похожи эти времена на те, в какие мы живем теперь!» Барлеп снова перешел на белые стихи, на этот раз под влиянием не лирической нежности, а возмущения. «Мы все специалисты, мы думаем лишь о деньгах, а не о реальных предметах! Живем в мире пустых абстракций, а не в реальном мире, где все растет и создается». Некоторое время он пережевывал тему огромных машин, «которые были рабами человека, а теперь стали его господами», тему стандартизации, торговли и промышленности, их тлетворного влияния на человеческую душу (для этой последней темы он воспользовался некоторыми из любимых изречений Рэмпиона).

В заключительной части главы он приходил к выводу, что корень зла — это деньги, вернее — та роковая неизбежность, которая заставляет человека работать и жить ради денег, а не ради реальных вещей. «Современному человеку идеал

св. Франциска представляется фантастическим, совершенно безумным. Современные условия низвели Даму Нищету до уровня поденщицы в холщовом переднике и рваных башмаках... Ни один разумный человек не подумает следовать за ней. Идеализировать столь отталкивающую Дульсинею значило бы быть еще безумнее, чем сам Дон Кихот. В современном обществе францисканский идеал недостижим. Мы сделали нищету ненавистной. Но это не значит, что мы должны презирать св. Франциска как безумного сновидца. Нет, не он безумен, а мы. Он как врач в сумасшедшем доме, которого больные считают единственным сумасшедшим в своей среде. Когда рассудок вернется к нам, мы поймем, что доктор был все время единственным здоровым человеком. При настоящем положении вещей францисканский идеал немыслим. Отсюда вывод: мы должны коренным образом изменить положение вещей. Наша цель — создать новое общество, в котором Дама Нищета из грязной поденщицы превратится в прекрасную женщину, всю сотканную из света и красоты. О Нищета, Нищета, Прекрасная Дама Нищета!..»

Вошла Беатриса и сообщила, что ужин готов.

— Два яйца, — приказала она, шумно выражая

свою заботливость. — Два, я настаиваю: они сварены специально для вас.

— Вы обращаетесь со мной как с блудным сыном, — сказал Барлеп. — Или как с упитанным тельцом во время его упитывания. — Он замотал головой, он изобразил улыбку в стиле Содомы и принялся за второе яйцо.

— Я хотела попросить у вас совета по поводу моих граммофонных акций, — сказала Беатриса. — Они все время поднимаются.

— Граммофонные, — сказал Барлеп. — Ага... — Он дал нужный совет.

XVII

Целыми днями не переставая лил дождь. Спэндреллу казалось, что сама его душа покрылась плесенью. Целыми днями он лежал в постели, или сидел в своей мрачной комнате, или стоял у стойки в пивной, ощущая, как растет в нем плесень, и созерцал ее своим внутренним взором.

— Почему ты не займешься чем-нибудь? — не раз умоляла его мать. — Все равно — чем.

То же говорили все его друзья, твердили это уже много лет.

Но он упорно не хотел ничего делать. Труд, евангелие труда, святость труда, laborare est

orare[32] — все это чепуха и вздор.

— Работа! — презрительно отозвался он однажды на разумные доводы Филипа Куорлза. — Работа ничуть не почтеннее, чем пьянство, и преследует она совершенно ту же цель: она отвлекает человека, заставляет его забыть о самом себе. Работа — это наркотик, и больше ничего. Унизительно, что люди не способны жить трезво, без наркотиков; унизительно, что у них не хватает мужества видеть мир и самих себя такими, каковы они есть. Им приходится опьянять себя работой. Это глупо. Евангелие работы — это евангелие глупости и трусости. Возможно, что работа — это молитва, но это также страусиное прятание головы в песок, это способ поднять вокруг себя такой шум и такую пыль, что человек перестает слышать самого себя и видеть собственную руку перед глазами. Он прячется от самого себя. Неудивительно, что Сэмюэлы Смайлсы и крупные дельцы с энтузиазмом относятся к работе. Она дает им утешительную иллюзию, будто они существуют реально и даже преисполнены значительности. А если бы они перестали работать, они поняли бы, что они, попросту говоря, не су-

---

[32] Примечания: 32
Работать — это значит молиться*(лат.).*

ществуют. Дырки в воздухе — и больше ничего. И к тому же довольно вонючие дырки. Надо сказать, что смайлсовские души издают по большей части пренеприятный запах. Неудивительно, что они не смеют перестать работать. Они боятся увидеть, что они такое. Это слишком рискованно, и у них не хватает мужества.

— А вам ваше мужество дало возможность понять, что вы такое? — спросил Филип Куорлз.

Спэндрелл мелодраматически ухмыльнулся.

— Да, потребовалось немало мужества, — сказал он, — чтобы, поняв, продолжать жить трезво. Будь я менее смелым, я давно пристрастился бы к работе или к морфию.

Спэндрелл старался представить свое поведение более логически обоснованным и романтичным, чем оно было на самом деле. В действительности если он ничего не делал, то не столько в силу своих извращенных моральных принципов, сколько по природной лени. Принципы появились позднее: их родила леность. Спэндрелл никогда не открыл бы, что труд — это опиум, если бы не эта непобедимая лень, нуждавшаяся в оправдании. Но в одном он был прав: ему действительно нужно было мужество, чтобы ничего не делать, потому что он оставался

праздным, и даже несмотря на преследовавшую его хроническую скуку, достигавшую иногда, например в данную минуту, невыносимой остроты. Но привычка к праздности укоренилась столь глубоко, что избавиться от нее потребовало бы еще большего мужества. Прирожденная леность усугублялась гордостью — гордостью человека очень способного, но не настолько, чтобы создать что-нибудь оригинальное, человека, восторгающегося великими достижениями, но знающего, что для него они недоступны, и не желающего ни обнаружить свое творческое бесплодие, ни снизойти до занятий, хотя бы и очень успешных, каким-нибудь более легким делом.

— Все, что вы говорите о работе, все это очень хорошо, — сказал он Филипу. — Но вы можете что-то делать, а я не могу. Что прикажете мне делать? Поступить бухгалтером в банк? Стать коммивояжером?

— Есть и другие профессии, — сказал Филип. — А так как у вас есть деньги, вы можете заняться наукой, например биологией…

— Ах, так вам угодно, чтобы я принялся собирать бабочек? Или писать диссертации на тему о потреблении мыла у обитателей Анжу? Чтобы я стал милым дядей Тоби, катающимся на своем

деревянном коньке? Но вся беда в том, что роль дяди Тоби меня отнюдь не соблазняет. Если я человек никчемный, я предпочитаю оставаться откровенно никчемным. Я не хочу маскироваться под ученого. Я не хочу кататься на деревянном коньке. Я хочу быть таким, каким сделала меня природа, то есть никчемным.

Со времени второго замужества своей матери Спэндрелл из какого-то извращенного принципа выбирал всегда худшую дорогу, сознательно давал волю своим самым дурным инстинктам. Свой бесконечный досуг он скрашивал развратом. Этим он мстил матери, а также самому себе за прежнее глупое счастье. Он делал это назло ей, назло самому себе, назло Богу. Он намеревался попасть в ад и печалился о том, что не способен поверить в его существование. Как бы там ни было, есть ад или нет, его удовлетворяло, вначале даже приятно волновало сознание, что он делает что-то дурное и грешное. Но разврат так скучен, так абсолютно и безнадежно уныл, что только исключительные люди, наделенные недоразвитым интеллектом и гипертрофированным аппетитом, способны активно наслаждаться им или активно верить в его греховность. В большинстве своем развратники развратничают не потому, что им

это доставляет удовольствие, а потому, что им уже трудно без этого обойтись. Привычка превращает наслаждение в скучную повседневную потребность. Человеку, привыкшему к женщинам или водке, к курению или самобичеванию, так же трудно отказаться от своих пороков, как жить без хлеба и воды, даже если совершить грех доставляет ему не больше удовольствия, чем съесть корку хлеба или напиться воды из кухонного крана. Привычка одинаково убивает как чувство греха, так и наслаждение им. Поступки, казавшиеся вначале увлекательными, потому что они порочны, после некоторого количества повторений становятся морально безразличными. Они даже внушают некоторое отвращение, потому что большинство «порочных» поступков приводит к состоянию физиологической депрессии; но чувство греховности стирается, потому что эти поступки делаются слишком обыденными.

Привычка постепенно убила в Спэндрелле и наслаждение грехом, и чувство греховности, которое всегда было для него составной частью наслаждения; тогда он с каким-то неистовством предался утонченным порокам. Но утонченность порока не вызывает соответствующего утонче-

ния чувства. На деле получается как раз наоборот: чем более утончен, своеобразен и противоестествен грех, тем более он скучен и безнадежно неэмоционален. Воображение может создавать самые невероятные вариации на тему сексуальной любви; но эмоциональный продукт всех видов блуда всегда один и тот же — тупое чувство унижения. Правда, многие люди (обычно из числа наиболее цивилизованных, интеллектуальных и утонченных) испытывают какое-то влечение к низменным удовольствиям; в погоне за ними они предаются кутежам, добровольной мазохистской проституции, случайным и почти животным совокуплениям с совершенно незнакомыми людьми, вступают в сексуальные отношения с грубыми и необразованными представителями низших классов. Избыточная интеллектуальная и эстетическая утонченность покупается не дешево — за счет своего рода эмоционального вырождения. И вполне цивилизованный китаец со своей тягой к искусству и тягой к жестокости страдает другой разновидностью той же болезни, которая порождает в цивилизованном современном эстете склонность к караульным и бандитам в стремлении унизить собственную неразборчивость и жестокость.

«Чем выше лоб, тем низменнее чресла», — как сказал однажды Рэмпион в присутствии Спэндрелла. Но Спэндреллу унижение не доставляло никакого удовольствия. Переживания, доставляемые утонченным пороком, казались ему скучными и однообразными. Физическое наслаждение, никак не окрашенное эмоционально — все равно, одобрением или раскаянием, — стало пресным. Единственным видом разврата, дававшим ему сколько-нибудь острые переживания, было теперь развращение юных девушек. Вдохновляемый, как правильно определил Рэмпион, своеобразной мстительной ненавистью к женщинам, возникшей из потрясения, пережитого им в критический момент отрочества при вторичном замужестве матери, он получал своеобразное удовлетворение, унижая чувственной страстью невинных сестер тех слишком любимых и, следовательно, ненавидимых женщин, которые олицетворяли для него ненавистный инстинкт. Средневековая ненависть к женщинам побуждала его не бичевать ненавистную женскую плоть, как делали аскеты и пуритане, а незаметно приучать ее к тому, что он сам считал злом; ласками и соблазном подталкивать ее к все более решительному и победоносному бунту

против сознания и духа. Последняя фаза мести состояла в том, что он постепенно убеждал свою жертву в греховности и низменности тех наслаждений, к каким он ее сам приучил.

Малютка Хэрриет была до сих пор единственной невинной девушкой, в отношении которой он целиком выполнил свой план. С ее предшественницами он никогда не заходил так далеко, а наследниц у нее не было. Соблазненная по способу, который Спэндрелл описал в беседе с Рэмпионами, Хэрриет обожала его и думала, что он платит ей тем же. Она была почти права: Спэндрелл действительно привязался к ней, хотя он сознательно делал ее своей жертвой. Насилие над собственным чувством придавало всей этой истории особенную остроту. Терпеливо, с чуткостью, тактом и деликатностью самого нежного, самого преданного любовника он успокоил ее девические страхи, постепенно растопил ее холодность, сломал преграды, поставленные ее воспитанием, только для того, чтобы заставить ее со всей непосредственностью воспринимать как должное самые фантастические проявления похотливости. Видя, как она принимает их за обычные проявления любви, сидевший в Спэндрелле извращенный аскет чувствовал, что он

мстит ей за то, что она женщина.

Но этого было недостаточно. Он начал симулировать угрызения совести, испуганно отстраняться от ее страстных ласк или, принимая их, подчиняться им пассивно, делая вид, будто они оскверняют и возмущают его. Это встревожило и огорчило Хэрриет; ей стало стыдно, как всегда бывает с восприимчивыми людьми, когда их страсть не встречает ответа; и в то же время она испытывала ощущение какой-то ходульности своего поведения: такое испытывает актер, исполнявший пьесу со всей труппой, когда он вдруг обнаруживает, что все ушли и он один остался на сцене, — ощущение странное и довольно-таки омерзительное. Может быть, он разлюбил ее? Нет, отвечал он, он любит ее по-прежнему. Так в чем же дело? Именно в том, объяснил он ей, что он глубоко любит ее; и он принялся говорить о душе. Тело — это дикий зверь, пожирающий душу, губящий сознание, уничтожающий реальных тебя и меня. И точно случайно кто-то прислал ему в тот самый вечер таинственный сверток. Когда его вскрыли, там обнаружилась папка с французскими порнографическими гравюрами; на них бедняжка Хэрриет со все усиливающимся чувством ужаса и отвращения увидела все те

действия, которые она так невинно и чистосердечно принимала за любовь; здесь они были изображены так четко и ясно и казались такими отвратительными, гнусными и беспредельно грубыми, что один взгляд на них внушал отвращение ко всему роду человеческому.

В течение ближайших дней Спэндрелл искусно подогревал ужас Хэрриет; а потом, когда чувство вины и отвращения к самой себе овладело ею целиком, он с удвоенным жаром и цинизмом вернулся к физической любви, которая теперь воспринималась как нечто бесстыдное. В конце концов Хэрриет ушла от него, ненавидя его, ненавидя себя. С тех пор прошло три месяца. Спэндрелл не делал никаких попыток вернуть Хэрриет или повторить эксперимент на новой жертве. Игра не стоила свеч. Он удовлетворялся разговорами о своих сатанических наслаждениях, хотя на самом деле он апатично вернулся к унылой рутине выпивки и продажной любви. Разговоры на некоторое время оживляли его; но, кончив говорить, он снова еще глубже погружался в скуку и уныние. Бывали дни, когда ему казалось, что он парализован изнутри и что его душа перестает что-либо воспринимать. Излечиться от этого паралича было в его власти:

стоило только сделать волевое усилие. Но сделать его он не мог, вернее — не хотел.

— Но раз вам наскучила жизнь, раз вы ненавидите ее, — спрашивал Филип Куорлз, устремляя на Спэндрелла свой живой любопытный взгляд, — какого черта вы не покончите с ней? — С тех пор прошел почти год; в то время паралич еще не проник так глубоко в душу Спэндрелла. Но даже тогда его болезнь казалась Филипу весьма загадочной. И, поскольку Спэндрелл без всякого стеснения говорил о себе, не требуя взамен никаких откровенностей, поскольку он с готовностью соглашался на роль объекта научного изучения и ничуть не скрывал свою слабость, а даже хвастался ею, Филип воспользовался случаем и подверг его допросу. — Я не понимаю одного: почему вы живете? — настаивал он.

— Потому, что я обречен на это, — пожал плечами Спэндрелл. — Потому, что такова моя судьба. Потому, что жизнь действительно такова — скучна и отвратительна, и таковы же все люди, когда они предоставлены самим себе. Потому, что, если уж на человеке лежит проклятие, он должен сам его удвоить. Потому, что… да, потому, что мне в самом деле нравится ненавидеть и скучать.

Ему это нравилось. Дождь шел не переставая;

плесень проникала в саму его душу; он сознательно взращивал ее. Он мог бы пойти к кому-нибудь из друзей; но он предпочитал оставаться в одиночестве и скучать. Сезон был в полном разгаре, в «Ковент-Гарден» играла оперная труппа, все театры были открыты; но Спэндрелл только читал объявления: «Героическая симфония» в «Квинс-Холле», Шнабель исполняет опус 106 в «Альгамбре», «Отелло» в театре «Олд-Вик», Чарли Чаплин в «Марбл-Арч»; читал их очень внимательно и оставался дома. На рояле лежала пачка нот, полки уставлены были книгами, вся Лондонская библиотека была к его услугам; но Спэндрелл читал только иллюстрированные журналы да утренние и вечерние газеты. Струйки дождя стекали по грязному оконному стеклу; Спэндрелл переворачивал огромные шелестящие страницы «Таймс». «Герцог Йоркский, — читал он, трудолюбиво пробираясь, как навозный жук, сквозь столбцы рождений, смертей и болезней, сквозь объявления о продаже недвижимости и найме прислуги, сквозь судебные отчеты, сквозь последние известия, сквозь парламентские прения, сквозь происшествия, сквозь пять передовиц, сквозь письма в редакцию, сквозь придворные новости и небольшую статью о пользе Библии

в плохую погоду, — герцог Йоркский в будущий понедельник получит от цеха крутильщиков золота и серебра звание почетного подмастерья. Его королевское высочество отобедает с верховным мастером и старшими мастерами цеха». На полке, рукой подать, стояли Паскаль и Блейк. Но «Леди Августа Криппен отбыла из Англии на “Беренгарии”. Она совершит путешествие по Америке, после чего посетит своих зятя и сестру, генерал-губернатора Южной Меланезии и леди Этельберту Тодхантер». Спэндрелл рассмеялся, и этот смех точно освободил его и придал ему энергию. Он встал, надел макинтош и вышел на улицу. «Генерал-губернатор Южной Меланезии и леди Этельберта Тодхантер». Все еще улыбаясь, он вошел в пивную за углом. Было рано; у стойки стоял единственный посетитель.

— Чего ради двум людям жить вместе, раз они от этого несчастны? — говорила официантка. — Чего ради? Взяли бы да развелись.

— Потому что брак — это таинство, — ответил посетитель.

— Сами вы таинство! — презрительно отозвалась официантка. Заметив Спэндрелла, она кивнула и улыбнулась: он был завсегдатаем.

— Бренди, — заказал он и, опершись на стой-

ку, принялся разглядывать незнакомца. У него было лицо мальчика-певчего, преждевременно состарившегося: кругленькое, кукольное, но потрепанное. Рот был непомерно мал — крошечная щель в розовом бутоне. Херувимские щеки ввалились и обросли щетиной.

— Потому что, — говорил незнакомец, и Спэндрелл заметил, что он все время дергается, улыбается, хмурится, подымает брови, наклоняет голову то на одну сторону, то на другую, извивается всем телом в непрерывном экстазе самолюбования, — потому что муж да прилепится к жене своей и будут два единой плотью. Единой плотью, — повторил он и при этих словах задергался еще сильнее и захихикал. Заметив пристальный взгляд Спэндрелла, он покраснел и, чтобы вернуть себе самообладание, поспешно осушил свой стакан.

— А вы что скажете, мистер Спэндрелл? — спросила официантка, доставая с полки бутылку бренди.

— О чем? О единой плоти? — (Официантка кивнула.) — Гм… А я только что завидовал генерал-губернатору Южной Меланезии и леди Этельберте Тодхантер за то, что они так безусловно и очевидно не единая плоть. Как вы думаете,

— обратился он к потрепанному херувиму, — если бы вы были генерал-губернатором Южной Меланезии, а вашу жену звали леди Этельбертой Тодхантер, были бы вы единой плотью? — Незнакомец принялся извиваться, как червяк на крючке. — Конечно, нет. Это было бы просто неприлично.

Незнакомец заказал еще порцию виски.

— Нет, шутки в сторону, — сказал он. — Таинство брака…

— Но чего ради двум людям мучиться, — не унималась официантка, — когда можно без этого?

— А почему бы им не помучиться? — спросил Спэндрелл. — Может быть, они для этого и живут на свете. Откуда вы знаете, что земля не служит адом для какой-нибудь другой планеты?

— Какая чушь! — рассмеялась официантка, явно стоявшая на точке зрения позитивизма.

— Но ведь англиканская церковь не считает брак таинством, — продолжал Спэндрелл.

Херувим возмущенно передернулся.

— А вы что же, меня за англиканца принимаете?

Рабочий день кончился; бар начал наполняться мужчинами, жаждавшими духовного облегчения. Пиво текло рекой, крепкие напитки

тщательно отмеривались в маленькие стаканчики. Портер, стаут, виски были для этих людей эквивалентом путешествия за границу и мистического экстаза, поэзии и воскресного дня в обществе Клеопатры, охоты на крупную дичь и музыки. Херувим заказал еще порцию.

— В какой век мы живем! — сказал он, качая головой. — Варварский век! Люди пребывают во мраке неведения относительно основных предписаний религии.

— Не говоря уже о предписаниях гигиены, — сказал Спэндрелл. — Какая вонь от сырой одежды, и все окна закрыты!

Он вынул носовой платок и приложил его к ноздрям. Херувим содрогнулся и воздел руки.

— Боже мой, что за платок! — воскликнул он. — Какой ужас!

Спэндрелл внимательно посмотрел на платок.

— А по-моему, он очень неплох, — сказал он. Это был большой шелковый платок, красный, с черным и розовым узором. — И к тому же отнюдь не дешевый.

— Но цвет, милостивый государь! Цвет!

— А мне нравится его цвет.

— Но не в это время года, между Пасхой и Троицыным днем. Немыслимо! Литургический цвет

теперь белый. — Он вытащил свой белый как снег носовой платок. — А посмотрите на носки. — Он поднял ногу.

— А я-то удивлялся, почему у вас такой вид, точно вы собираетесь играть в теннис.

— Все белое, — сказал херувим, — церковь предписывает, чтобы между Пасхой и Пятидесятницей облачения были белыми. Не говоря уже о том, что сегодня праздник святой Наталии-девственницы. А белый — это цвет всех девственниц, которые не были мученицами.

— А по-моему, все они были мученицами, — сказал Спэндрелл. — Конечно, если оставались девственницами достаточно долго.

Вращающаяся дверь открывалась и закрывалась, открывалась и закрывалась. Снаружи было одиночество и сырые сумерки, внутри — блаженство быть с людьми, соприкасаться, общаться. Херувим принялся говорить о маленьком святом Гуго из Линкольна и о святом Пиране из Перранзабуло, покровителе корнуэльских горняков. Он выпил еще виски и признался Спэндреллу, что перелагает в стихи жития английских святых.

— В день дерби будет дождь, — предрекала компания пессимистов у стойки. Они были счастливы, потому что их было много, в желудках у них

стояла хорошая погода, а в душе от пива сиял солнечный свет. От сырой одежды шел удушливый запах; все оглушительно смеялись и разговаривали. Дыша в лицо Спэндреллу винным перегаром, потрепанный херувим декламировал:

Идет по бурным по волнам,

Не спотыкаясь и не падая…

Четыре порции виски почти излечили его от подергиваний и гримасничанья. Он перестал смотреть на себя со стороны. Та часть его «я», которая все время наблюдала его со стороны, заснула. Еще несколько порций виски — и не останется и той, которую можно наблюдать.

К Касситеридским островам

Пиран из Перранзабуло…

— Это было главное чудо Пирана, — объяснил он, — он прошел от «Конца Земли» до Сциллийских островов.

— Надо полагать, это был мировой рекорд? — осведомился Спэндрелл.

Херувим отрицательно покачал головой.

— Был еще один ирландский святой, так тот прошел по воде до самого Уэльса. Не помню только, как его звали. Мисс! — позвал он. — Сюда!

Еще виски.

— Однако, — сказал Спэндрелл, — вы, как я вижу, не пренебрегаете и благами мира сего. Шесть порций виски…

— Всего только пять, — возразил херувим. — Это будет пятая.

— Ну что ж, пускай пять — и литургические цвета. Не говоря уже о святом Пиране из Перран-забуло. А вы действительно верите, что он дошел до Сциллийских островов?

— Да, верю.

— Причащайтесь, таинство, — сказала официантка, пододвигая ему стакан.

Херувим расплатился и покачал головой.

— Всюду кощунство, — сказал он. — Каждое слово наносит рану святому сердцу Иисусову. — Он выпил. — Новую кровоточащую рану.

— Занятно вам жить на свете с этим вашим святым сердцем!

— Занятно? — возмущенно отозвался херувим.

— Ну конечно: все время переходить из бара в алтарь, из исповедальни — в публичный дом. Идеальная жизнь! От такой жизни не соскучишься. Завидую вам.

— Смейтесь, смейтесь! — Он говорил как мученик при последнем издыхании. — Если бы вы

только знали, как трагична моя жизнь, вы не стали бы мне завидовать.

Вращающаяся дверь открывалась и закрывалась, открывалась и закрывалась. Люди, жаждавшие Бога после пребывания в духовных пустынях фабрик и контор, входили сюда, как во храм. Разлитое по бутылкам и бочонкам на берегах Клайда и Лиффи, Темзы, Дуро и Трента, таинственное божество открывалось им здесь. Брамины, выжимавшие и пившие сок сомы, называли его Индрой; жующие коноплю йоги — Шивой. Мексиканские боги пребывали в пейотле. Персидские суфиты обретали Аллаха в ширазском вине, самоедские шаманы наедались мухоморов и исполнялись духом Нума.

— Еще виски, мисс, — сказал херувим и, снова обращаясь к Спэндреллу, почти со слезами поведал ему о своих горестях. Он любил, он женился; они сочетались таинством брака — на это он особенно упирал. Он был счастлив. Они оба были счастливы.

Спэндрелл поднял брови.

— Ей нравился запах виски?

Его собеседник грустно покачал головой.

— У меня есть недостатки, — признался он. — Я был слаб. Проклятый напиток! Проклятый! — И,

внезапно превратившись в фанатика трезвости, он вылил виски на пол. — Вот! — с торжеством сказал он.

— Благородный жест, — сказал Спэндрелл. Он подозвал официантку. — Еще порцию виски этому джентльмену.

Херувим запротестовал, но без особой горячности. Он вздохнул.

— Я никогда не мог устоять против этого искушения, — сказал он. — Но я всегда жалел об этом после. Я искренне раскаивался.

— Не сомневаюсь. Одним словом, вам ни на минуту не становилось скучно.

— Если бы она поддержала меня, я бы излечился от этого порока.

— Ах, помощь чистой женщины? — сказал Спэндрелл.

— Вот именно, — кивнул херувим. — Именно в этом я нуждался. Но она покинула меня. Сбежала. Или, вернее, не сбежала. Ее соблазнили. Сама она этого не сделала бы. Ее соблазнила эта гнусная змея, этот… — Он добавил несколько эпитетов из несложного словаря унтер-офицера. — Попадись он мне только в руки, и я сверну ему шею, — продолжал херувим. С пятой порцией виски дух битв вселился в его кровь. — Грязная сволочь!

— Он стукнул кулаком по стойке. — Знаете этого художника — его картины висят в галерее Тейт — Бидлэйка? Так вот, это его сын. Уолтер Бидлэйк.

Спэндрелл поднял брови, но ничего не сказал. Херувим продолжал свои излияния.

В ресторане Сбизы Уолтер обедал с Люси Тэнтемаунт.

— Почему бы и вам не поехать в Париж? — говорила Люси.

Уолтер покачал головой:

— Нужно работать.

— А я просто не могу дольше двух месяцев оставаться на одном месте. Делаешься такой затхлой и вялой. И потом, это невыносимо скучно. В ту минуту, когда я сажусь в аэроплан на Кройдонском аэродроме, я точно рождаюсь снова; совсем как в Армии спасения.

— А сколько времени продолжается новая жизнь?

Люси пожала плечами:

— Столько же, сколько прежняя. К счастью, запас аэропланов практически неистощим. Я всецело за прогресс.

* * *

Вращающиеся двери храма неведомому Богу закрылись за ними. Спэндрелл и его спутник очутились в холодной дождливой темноте.

— Уф! — Херувим вздрогнул и поднял воротник непромокаемого плаща. — Словно прыгнул в бассейн для плавания.

— Или словно после Фенелона почитать Геккеля. Для вас, христиан, весь мир — развеселая пивнушка.

Они прошли несколько шагов по улице.

— Слушайте, — сказал Спэндрелл, — вы что, собираетесь идти домой пешком? Да ведь вы на ногах не держитесь.

Прислонившись к фонарному столбу, херувим покачал головой.

— Мы подождем такси.

Они ждали. Шел дождь. Спэндрелл с холодной гадливостью рассматривал своего спутника. Пока они были в пивной, эта тварь забавляла его, служила ему развлечением. Теперь вдруг он почувствовал к ней отвращение.

— А вы не боитесь попасть в ад? — спросил он. — Там ведь вас будут поить кипящим виски. У вас в животе будет вечный рождественский пу-

динг. Вы бы посмотрели на себя сейчас! Мерзость какая-то…

Шестая порция виски привела херувима в покаянное настроение.

— Знаю, знаю, — простонал он. — Я отвратителен. Я достоин презрения. Но если бы вы знали, как я боролся и стремился и…

— Вот такси. — Спэндрелл подозвал машину.

— Как я молился, — продолжал херувим.

— Где вы живете?

— Оссиан-Гарденс, номер сорок один. Я не сдавался…

Машина подъехала. Спэндрелл открыл дверцу.

— Ну, полезайте, пьяная тряпка, — сказал он, вталкивая своего спутника внутрь. — Оссиан-Гарденс, номер сорок один, — сказал он шоферу. Тем временем херувим дополз до сиденья. Спэндрелл уселся рядом. — Гнусный слизняк!

— Говорите, говорите. Я заслужил это. Вы имеете полное право презирать меня.

— Знаю и без вас, — ответил Спэндрелл. — Только не воображайте, пожалуйста, что я еще буду вас ругать для вашего удовольствия. Хватит. — Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Невероятная усталость и отвращение снова охватили его. «Господи, — сказал он про

себя, — Господи, Господи, Господи!» И, словно насмешливое эхо, в ответ на его мысли раздалась молитва херувима. «Господи, помилуй меня, Господи!» — повторял плаксивый голос. Спэндрелл разразился смехом.

Оставив пьянчужку на пороге его дома, Спэндрелл вернулся в такси. Он вспомнил, что еще не обедал.

— Ресторан Сбизы, — сказал он шоферу. «Господи, Господи!» — повторял он в темноте. Но ночь была пуста.

— А, вот и Спэндрелл! — воскликнула Люси, обрывая своего собеседника на полуслове. Она подняла руку и помахала ему.

— Люси! — Спэндрелл поднес ее руку к губам. Он сел за их столик. — А знаете, Уолтер, я только что разыгрывал роль доброго самаритянина по отношению к вашей жертве.

— Моей жертве?

— К тому бедняге, которому вы наставили рога. Карлинг — так, кажется, его зовут? — (Уолтер отчаянно покраснел.) — Он носит свои рога в точности так, как это принято делать. Вполне традиционно. — Он взглянул на Уолтера и с удовлетворением отметил признаки замешательства на его лице. — Когда я встретил его,

— злорадно продолжал он, — он топил свое горе в виски. Великое романтическое средство. — Было облегчением выместить на ком-нибудь свое тяжелое настроение.

XVIII

В Порт-Саиде они сошли на берег. Борт парохода железной стеной уходил в пропасть. Внизу на грязных, медлительно перекатывающихся волнах качался катер; провал между его шкафутом и концом трапа то уменьшался, то увеличивался. Человеку со здоровыми ногами ничего не стоило спрыгнуть в лодку. Но Филип колебался. Если прыгнуть искусственной ногой вперед, можно упасть от толчка; а если искусственной ногой оттолкнуться от площадки трапа, пожалуй, не допрыгнешь до катера. Военный, спрыгнувший раньше, вывел его из затруднения.

— Обопритесь на мою руку, — предложил он, заметив замешательство Филипа.

— Благодарю вас, — сказал Филип, перебравшись на катер.

— Неудобный способ, — сказал военный. — Особенно если у вас недостает ноги. Не так ли?

— Да, неудобный.

— Потеряли на войне?

Филип покачал головой.

— Несчастный случай, когда я был мальчиком, — кратко объяснил он. Кровь прилила к его щекам. — А вот моя жена, — пробормотал он, обрадовавшись возможности прекратить разговор. Элинор прыгнула и оперлась на его руку, чтобы восстановить равновесие, они прошли в другой конец катера и сели там.

— Почему ты не дал мне сойти первой и помочь тебе? — спросила она.

— Ничего, обошлось и так, — отрывисто ответил он тоном, не допускавшим дальнейших разговоров на эту тему. Она удивленно спросила себя, в чем тут дело и почему он всегда стыдится своей хромоты?

Сам Филип вряд ли смог бы объяснить, почему его так расстроил вопрос военного. Ведь в том, что в детстве его переехало телегой, нет ничего предосудительного. А в том, что он непригоден к военной службе и потому не участвовал в войне, нет ничего непатриотического. И все-таки вопрос военного почему-то расстроил его, как расстраивали его все подобные вопросы и все слишком прямые упоминания о его хромоте, кроме тех случаев, когда он сам намеренно заговаривал об этом.

Мать Филипа, беседуя как-то с Элинор, сказала о нем:

— Какое несчастье, что именно с Филипом произошел такой случай. Филип с самого рождения был каким-то далеким от всех. Он всегда слишком легко обходился без людей. Он слишком любил замыкаться в себе, в своем молчании. Не будь этого несчастья, он, может быть, научился бы выходить из своего внутреннего одиночества. Но этот случай создал искусственную преграду между ним и миром. Начать с того, что он не мог принимать участия в общих играх, а значит, меньше соприкасался с остальными мальчиками, чаще бывал один, читал книги. К тому же его нога (бедный Фил!) была лишним поводом для застенчивости. Чувство неполноценности. Дети бывают так безжалостны: в школе иногда смеялись над ним. А позже, когда он стал интересоваться девушками, как мне хотелось, чтобы он мог ходить на танцевальные вечера и на теннисные площадки! Но он не мог ни вальсировать, ни играть в теннис. А ходить просто для того, чтобы смотреть, ему, конечно, не хотелось. Из-за своей сломанной ноги он держался вдали от девушек одного с ним возраста. И не только физически — психологически тоже. Мне кажется, он всегда

боялся (конечно, он в этом никому не признавался), что девушки тоже будут смеяться над ним, как ребята в школе, или предпочтут ему другого, не имеющего такого недостатка. Впрочем, — добавила миссис Куорлз, — нельзя сказать, чтобы он очень много внимания обращал на девушек.

— Да, конечно, — рассмеялась Элинор.

— Но у него не создалось бы привычки нарочно избегать их. Он не стал бы так упорно избегать всякого личного общения — и не только с девушками, с мужчинами тоже. Единственное, что он признает, — это интеллектуальное общение.

— Словно он считает себя в безопасности только в мире идей, — сказала Элинор.

— Потому что только там он чувствует себя на высоте. Бояться и чувствовать себя неуверенно вне этого интеллектуального мира вошло у него в привычку. Это нехорошо. Я всегда старалась подбодрить его и заставить больше соприкасаться с миром; но он не поддается, он забивается в свою скорлупу. — Помолчав немного, она добавила: — Единственно, что в этом есть хорошего — я хочу сказать: в его несчастье, — это то, что оно спасло его от войны, может быть, от смерти. Его брат был убит на войне.

Катер отплыл к берегу. Пароход, казавшийся

раньше огромной, нависающей стеной из окрашенного в черный цвет железа, теперь, когда они отъехали от него, приобрел очертания большого океанского пакетбота. Неподвижно застывший между морем и ослепительной синевой неба, он напоминал рекламу тропических рейсов в витрине пароходной конторы на Кокспер-стрит.

«С его стороны было нетактично задавать мне подобный вопрос, — думал Филип. — Какое ему дело, пострадал ли я на войне или где-нибудь еще? Как эти кадровые армейцы носятся со своей войной! Что ж, будем благодарны судьбе, что она избавила меня от этой бойни. Бедный Джоффри!» И он стал вспоминать покойного брата.

— И все-таки, — продолжала миссис Куорлз после долгого молчания, — в известном смысле было бы даже лучше, если бы он пошел на войну. Нет, не подумайте, что во мне говорит патриотизм. Но если бы знать наверное, что его не убьют и не изувечат, война принесла бы ему пользу. Да, конечно, для него это было бы тяжело, болезненно, но все-таки полезно: война могла бы разбить его скорлупу, освободить его из добровольной тюрьмы. Освободить эмоционально; его интеллект и так достаточно свободен. Пожалуй, даже слишком свободен, на мой старомодный вкус.

— И она грустно улыбнулась. — Ему не хватает другой свободы: он не умеет свободно двигаться в мире людей, не может избавиться от своего безразличия.

— Но ведь это безразличие у него в характере, — возразила Элинор.

— Отчасти. Но привычка усилила его. Если бы ему удалось избавиться от этой привычки, он стал бы много счастливее. Он это знает, но ничего не может с собой поделать. Если бы кто-нибудь ему помог… Но война — это была последняя возможность, и обстоятельства не дали воспользоваться ею.

— Слава богу!

— Что ж, может быть, вы и правы.

Катер пристал. Они сошли на берег. Стояла ужасающая жара, мостовая была раскалена, воздух насыщен пылью. Скаля белые зубы, сверкая черными влажными глазами, жестикулируя, как танцовщик, какой-то оливковый джентльмен в феске уговаривал их купить ковры. Элинор предложила прогнать его. Но Филип сказал:

— Не стоит тратить сил. Слишком жарко. Пассивное сопротивление: сделаем вид, что мы не понимаем.

Они шли, как мученики по арене; и, как голод-

ный лев, джентльмен в феске носился вокруг них. Если не ковры, тогда, может быть, искусственный жемчуг? Нет? Тогда настоящие гаванские сигары по полтора пенса за штуку? Или целлулоидный гребень? Или поддельный янтарь? Или почти настоящие золотые запястья? Филип продолжал отрицательно качать головой.

— Красивые кораллы. Красивые скарабеи, очень старинные. — Обольстительная улыбка стала похожей на звериный оскал.

Элинор заметила мануфактурный магазин, который она искала. Они пересекли улицу и вошли.

— Спасены! — сказала она. — Сюда он не посмеет войти. Мне даже жутко стало: а вдруг он начнет кусаться. Бедняга! Надо будет что-нибудь у него купить. — И она обратилась к приказчику, стоявшему за прилавком.

— Пока ты покупаешь, — сказал Филип, предвидя, что Элинор будет выбирать бесконечно долго, — я схожу за папиросами.

Он вышел на раскаленную улицу. Человек в феске дожидался его. Он бросился к Филипу и схватил его за рукав. В отчаянии он решил пойти с последнего козыря.

— Красивые открытки, — конфиденциально

шепнул он, вынимая из внутреннего кармана конверт. — Очень неприлично. Всего десять шиллингов.

Филип смотрел непонимающим взглядом.

— Не говорю по-английски, — сказал он и заковылял по улице. Человек в феске не отставал.

— Très curieuses, — сказал он. — Très amusantes. Moeurs arabes. Pour passer le temps à bord. Soixante francs seulement[33].

Но лицо Филипа оставалось все таким же непонимающим.

— Molto artistiche. — Человек в феске решил перейти на итальянский. — Proprio curiose. Cinquanta franchi[34]. — Он посмотрел на безнадежно пустое лицо Филипа. — Hübsch, — не унимался он. — Sehr geschlechtlich. Zehn Mark[35]. — (Ни один мускул не дрогнул.) — Muy hermosas, muy agraciadas, mucho indecorosas[36], — снова попробовал он. — Skon bref kort. Liderlig

---

[33] Примечания: 33

Очень любопытно. Очень занятно. Арабские нравы. Чтобы развлекаться на пароходе. Всего 60 франков*(фр.).*

[34] Примечания: 34

Очень художественно. Весьма любопытно. 50 франков*(ит.).*

[35] Примечания: 35

Красиво. Очень сексуально. 10 марок*(нем.).*

[36] Примечания: 36

Очень красивые, очень живописные, очень непристойные*(исп).*

fotografi'bild. Nakna jungfrun. Verklig smutsig[37]. — Филип — явно не скандинав. Может быть, славянин? — Sprosny obraz[38], — льстиво сказал человек в феске. Не подействовало. Может быть, португальский поможет? — Photographia deshones-ta[39], — начал он.

Филип расхохотался.

— Нате, — сказал он, протягивая ему полкроны. — Вы их заслужили.

— Ну как, нашел папиросы? — спросила Элинор, когда он вернулся в магазин.

Филип кивнул.

— И кроме того, я нашел единственный путь для реального объединения в Лигу наций. Единственный общий для всех интерес. Наш зубастый друг предложил мне непристойные открытки на семнадцати языках. Он попросту губит свои таланты в Порт-Саиде. Его место в Женеве.

— К вам две дамы, сэр, — сказал курьер.

— Две? — Барлеп поднял темные брови. — Две?

---

[37] Примечания: 37

Красивые открытки. Очень натуральные фотографии. Голые девушки. Здорово похабно*(швед.).*

[38] Примечания: 38

Неприличные картинки*(польск.).*

[39] Примечания: 39

Непристойные фотографии*(португ.).*

— Но курьер упорно настаивал на том, что их две. — Что ж, проводите их сюда. — Курьер ушел. Барлеп почувствовал некоторое раздражение. Он ждал Ромолу Сэвиль, ту самую, которая написала:

С рожденья мира ласки я познала,
С бессмертными пила любви фиал,
В объятьях Леды лебедя сжимала,
Парис со мной в блаженстве утопал.

И вдруг она приходит с дуэньей! Как не похоже на нее.*Две* дамы.

Обе двери в его святилище открылись одновременно. В одну дверь вошла Этель Коббет с пачкой гранок. В другую вошли две дамы. Остановившись на пороге, Этель принялась их разглядывать. Одна из дам была высока и необычайно худа. Другая, почти столь же высокая, была полнее. Обе были далеко не молоды. Худая дама производила впечатление увядшей девы лет сорока трех — сорока четырех. Полная дама была, может быть, немного старше, но зато сохранила цветущую свежесть вдовушки. У худой дамы было желтое костлявое лицо, волосы неопределенного цвета и серые глаза; одета она была весьма шикарно, но не по парижской моде, а по

более моложавой и легкомысленной моде Голливуда — в светло-серое и розовое. Другая леди была блондинка с синими глазами и длинными серьгами и бусами из ляпис-лазури под цвет глаз. Одетая более солидно и по-европейски, она была увешана не очень драгоценными украшениями, слегка позвякивавшими на ходу.

Обе леди вошли в комнату. Барлеп притворился настолько погруженным в работу, что он даже не слышал, как открылась дверь. Только тогда, когда дамы приблизились к столу, он поднял глаза от бумаги, на которой он что-то с ожесточением писал. И с каким изумленным выражением он это сделал, с каким извиняющимся и смущенным видом! Он вскочил на ноги.

— Ах, простите. Простите, ради бога… Я не заметил. Я был так занят. — Он говорил в нос: у него был сильный насморк. — Так поглощен работой…

Он обошел вокруг стола, улыбаясь своей самой тонкой и самой духовной улыбкой в стиле Содомы. Но про себя он восклицал: «Господи, боже мой! Какие жуткие бабы!»

— А которая из вас, — спросил он, улыбаясь поочередно то одной, то другой, — разрешите узнать, которая из вас мисс Сэвиль?

— Ни одна, — сказала полная дама довольно низким голосом, но задорным тоном и с игривой улыбкой.

— Или обе, если вам угодно, — сказала другая. У нее был высокий металлический голос, она говорила резко и отрывисто, с какой-то головокружительной скоростью. — Обе, и ни одна.

И две дамы одновременно разразились хохотом. Барлеп смотрел и слушал, и сердце у него падало. В какую дикую историю он попал! Они ужасны. Он высморкался, он закашлялся. От их присутствия его простуда усилилась.

— Дело в том, — сказала полная дама, лукаво склоняя голову набок и слегка шепелявя, — дело в том…

Но ее прервала тощая дама.

— Дело в том, — сказала она, выпаливая слова с такой быстротой, что можно было только удивляться, как она вообще успевает их выговаривать, — что мы образовали сотрудничество, комбинацию, почти заговор. — Она рассмеялась острым, пронзительным смешком.

— Да, жаговор, — сказала полная дама, игриво шепелявя.

— Мы две части двойственной личности Ромолы Сэвиль.

— Я играю роль доктора Джекиля, — вставила полная дама, и обе снова захохотали.

«Заговор, — подумал Барлеп со все возрастающим ужасом. — Уж именно что заговор!»

— Доктор Джекиль, alias Рут Гоффер. Разрешите представить вам миссис Гоффер.

— Тогда как я предштавлю вас миштеру Хайду, alias мисс Хигнет.

— Тогда как обе вместе мы представимся вам как Ромола Сэвиль, о чьих скромных стихах вы отозвались так лестно.

Барлеп пожал руки обеим дамам и сказал что-то об удовольствии от встречи с авторами, чьим творчеством он так восхищается. «Как мне теперь от них отделаться? — спрашивал он себя. — Столько энергии, столько силы и воли! Нелегкое это будет дело — избавиться от них». Он внутренне содрогнулся. «Они точно две паровые машины», — решил он. И они будут приставать к нему, чтобы он печатал их гнусные стишки; их непристойные стишки — потому что теперь, принимая во внимание возраст этих дам, их напористость и их внешность, стихи казались ему просто непристойными. «Суки!» — сказал он про себя, чувствуя к ним неприязнь, точно они обманом что-то у него выудили, воспользовались его

наивностью и надули его. Как раз в это мгновение он заметил мисс Коббет. Она с вопросительным видом протягивала ему корректуру. Он покачал головой.

— После, — сказал он ей с достоинством. Мисс Коббет повернулась и вышла, но он успел заметить на ее лице выражение насмешливого торжества. Черт бы ее побрал! Это просто невыносимо.

— Нас так взволновало и восхитило ваше любезное письмо, — сказала полная дама.

Барлеп изобразил францисканскую улыбку.

— Так приятно, когда можешь сделать что-нибудь для литературы.

— Мы так редко находим отклик.

— Да, так редко, — отозвалась мисс Хигнет. И, выпаливая слова с быстротой человека, старающегося произнести «На дворе трава, на траве дрова» как можно быстрее и с минимальным количеством ошибок, она изложила историю их деятельности и огорчений. Выяснилось, что они живут вместе в Уимблдоне, что они уже более шести лет выступают под фирмой «Ромола Сэвиль» и что за это время их творения были напечатаны всего девять раз. Но они не теряют мужества: они знают, что их час еще придет. Они продолжают

писать. Они написали очень много. Может быть, мистеру Барлепу будет интересно просмотреть написанные ими драмы? И мисс Хигнет открыла чемоданчик и выложила на стол четыре толстые, перепечатанные на машинке рукописи. То были исторические драмы, написанные белым стихом. Они носили следующие названия: «Фредегонда», «Герцог Нормандский», «Семирамида» и «Жиль де Рец».

Наконец они ушли, взяв с Барлепа обещание прочесть их драмы, напечатать цикл сонетов и как-нибудь побывать у них в Уимблдоне и пообедать с ними. Барлеп вздохнул и, придав своему лицу каменное выражение, вызвал мисс Коббет.

— Вы получили гранки? — спросил он точно откуда-то издали, не глядя на нее.

Она протянула ему гранки.

— Я позвонила им, чтобы они поторопились с остальными.

— Очень хорошо.

Наступило молчание. Его прервала мисс Коббет, и Барлеп, хотя он не глядел на нее, по ее тону чувствовал, что она улыбается.

— Какой удар для вас эта ваша Ромола Сэвиль.

Верность памяти Сьюзен была у мисс Коббет результатом сознательных усилий, поэтому ничто

не могло поколебать ее. Она влюбилась в Барлепа, и верность памяти Сьюзен и той платонической духовности, которой Барлеп отличался в своих любовных делишках (вначале она верила, что все красивые слова, которые он постоянно твердил, были искренни), закалилась в постоянной борьбе против любви. Барлеп, человек в этих делах весьма опытный, увидев, как она относится к его первым платоническим авансам, сразу понял, что тут, говоря тем вульгарным языком, каким редко пользовался даже его дьявол, «нечем поживиться». Упорствуя, он только повредит своей возвышенно-духовной репутации. Он понял, что, несмотря на всю свою любовь, а может быть, именно благодаря ей (потому что, полюбив, она поняла, как легко было бы изменить памяти Сьюзен и чистой духовности, и, поняв опасность, всеми силами боролась с ней), Этель не позволит ему перейти, как бы постепенен ни был этот переход, от духовности к утонченной чувственности. А так как сам он вовсе не любил ее, а испытывал к ней лишь то смутное мальчишеское желание, которое могла удовлетворить почти любая женщина, ему ничего не стоило проявить сдержанность и отступить. Он рассчитывал, что, отступив, он усилит ее восхищение

перед его духовностью, усилит ее любовь. Барлеп давно убедился, что очень выгодно держать служащих, которые в него влюблены. Они работают гораздо больше и требуют гораздо меньше. Некоторое время все шло как по маслу. Мисс Коббет выполняла работу трех секретарей и курьера и к тому же преклонялась перед своим патроном. Но потом начались осложнения. Барлеп был чересчур внимателен к сотрудницам журнала. Одна из них, с которой он спал, решила сделать мисс Коббет своей поверенной. Вера мисс Коббет поколебалась. Она была возмущена изменой Барлепа памяти Сьюзен, его изменой своим идеалам; она возмущалась его сознательным лицемерием; а ее любовь к нему только подогревала возмущение. Ей он тоже изменил. Она была возмущена и обижена. Возмущение и обида сделали ее идеальную верность особенно пламенной. Ее ревность выразилась в еще большей верности памяти Сьюзен и идеалу чистой духовности.

Беатриса Гилрэй была последней каплей. Чаша терпения мисс Коббет переполнилась, когда Беатриса водворилась в редакции, больше того: Беатриса стала сама писать для журнала. Мисс Коббет утешалась тем, что Беатриса писала только короткие заметки, которых все равно никто

не читает. Но все-таки обида была горькая. Она, Этель, гораздо более культурна, чем эта дура Беатриса, и к тому же гораздо более умна. Беатрисе разрешали писать только потому, что у нее есть деньги. Она вложила в журнал тысячу фунтов. Она работала безвозмездно, и к тому же работала как лошадь, именно так, как работала вначале сама мисс Коббет. Теперь мисс Коббет старалась работать как можно меньше. Теперь она отстаивала свои права, никогда не приходила ни на минуту раньше, никогда не уходила ни на минуту позже установленного времени. Она делала ровно столько, сколько полагалось. Барлеп был раздражен, обижен, огорчен; ему придется или больше работать самому, или нанять второго секретаря. Как раз в это время Провидение послало Беатрису. Она взяла на себя всю техническую работу, на которую теперь у мисс Коббет не оставалось времени. Чтобы вознаградить ее за техническую работу и за тысячу фунтов, Барлеп разрешил ей писать. Разумеется, она не умела писать, но это не важно: все равно коротких заметок никто не читает.

Когда Барлеп переселился в дом Беатрисы Гилрэй, чаша гнева мисс Коббет переполнилась. В первую минуту она вздумала было предо-

стерегать Беатрису от ее нового жильца. Но ее бескорыстная забота о репутации и девственности Беатрисы была слишком явно, хотя и против ее воли, окрашена личной неприязнью к Барлепу. Единственным результатом ее вмешательства был резкий отпор со стороны раздраженной Беатрисы.

— Она просто нестерпима, — жаловалась Беатриса Барлепу, не входя, впрочем, в детальное обсуждение тех причин, которые заставили ее считать мисс Коббет нестерпимой.

У Барлепа был вид милосердного Христа.

— Да, с ней трудно, — признал он, — но она достойна жалости: у нее была нелегкая жизнь.

— Не понимаю, почему это может служить оправданием, — протрещала она.

— Нужно быть снисходительным, — сказал Барлеп, мотая головой.

— Будь я на вашем месте, — сказала Беатриса, — я не потерпела бы ее здесь. Я бы выставила ее.

— Нет, этого я не могу сделать, — ответил Барлеп, медленно пережевывая слова, точно весь спор происходил внутри его самого. — По крайней мере при данных обстоятельствах. — Он улыбнулся улыбкой в стиле Содомы, тонкой, духовной и слащавой, и еще раз мотнул своей темноволосой

романтической головой. — Эти обстоятельства несколько своеобразны. — Он выражался весьма туманно, не объясняя, в чем именно заключались эти своеобразные обстоятельства, и с таким смущением, точно он стеснялся хвалить самого себя. Беатрисе предоставлялось догадываться, что он держит мисс Коббет из милости. Она преисполнилась восхищения и жалости — восхищения его добротой и жалости к нему, такому беспомощному в неблагодарном мире.

— И все-таки, — сказала она, и вид у нее был воинственный, а слова ее были как резкие удары молоточком, — я не понимаю, почему вы позволяете третировать себя. Я лично не потерпела бы подобного обращения.

С тех пор она пользовалась всяким случаем, чтобы придраться к мисс Коббет и нагрубить ей. Мисс Коббет в ответ огрызалась и язвила. В редакции «Литературного мира» разгорелась война. А Барлеп парил где-то наверху, не принимал участия в битвах, но не совсем беспристрастный, подобно Богу, отдающему предпочтение добродетели, каковую в данном случае воплощала Беатриса.

Эпизод с Ромолой Сэвиль дал мисс Коббет случай позлорадствовать.

— Видели вы этих двух ужасающих поэтесс? — притворно-дружелюбным тоном осведомилась она на следующее утро у Беатрисы.

Беатриса пронзительно посмотрела на нее. К чему это она клонит?

— Каких поэтесс? — подозрительно спросила она.

— Как же, тех двух пожилых дам устрашающей внешности, которых наш редактор пригласил к себе, вообразив, будто это одна и молодая. — Она рассмеялась. — Ромола Сэвиль. Так были подписаны стихи. Звучит романтично, не правда ли? Стихи тоже были весьма романтичны. Но авторши! Боже милосердный! Когда я увидела, что наш редактор попал им в лапы, мне его даже жалко стало. Но, в конце концов, он сам виноват. Писать незнакомым авторам…

В этот вечер Беатриса снова пожаловалась на мисс Коббет. Мало того, что эта женщина утомительна и нахальна — это можно было бы стерпеть, если бы она добросовестно относилась к работе, — но она к тому же ленива. Издавать журнал — такое же дело, как всякое другое. Нельзя вести дело на основе благотворительности. Барлеп снова туманно и нерешительно заговорил о своеобразных обстоятельствах. Беатриса не

сдавалась. Разгорелся спор.

— Иногда доброта бывает чрезмерной, — заявила наконец Беатриса.

— Разве? — спросил Барлеп; и его улыбка была такой францискански-прекрасной и вдумчивой, что Беатриса растаяла от нежности.

— Да, бывает, — протрещала она; чем более нежно и по-матерински заботливо относилась она к Барлепу, тем более жестоким и враждебным становилось ее отношение к мисс Коббет. Негодование было, так сказать, подкладкой ее нежности. Когда она не решалась выказывать нежность, она выворачивала свои чувства наизнанку и становилась злобной. Внешне она кипела негодованием, но про себя думала: «Бедный Денис! Ему необходимо, чтобы кто-нибудь о нем заботился. Он слишком добр». Она заговорила. — И у вас ужасный кашель, — сказала она с упреком. Отсутствие связи между этой фразой и предыдущей было только кажущимся. Он слишком добр, о нем некому заботиться, у него кашель — все эти мысли были связаны логически. — Вам необходимо, — продолжала она все тем же резким, повелительным тоном, — растереться как следует камфарным маслом и положить компресс. — Она произнесла эти слова

таким свирепым тоном, точно грозила выпороть его как следует и посадить на месяц на хлеб и воду. Так проявлялась ее заботливость. Но какая трепетная нежность скрывалась под этой внешней жестокостью!

Барлеп с большой готовностью позволил ей осуществить свою ласковую угрозу. В половине одиннадцатого он лежал в постели с бутылкой горячей воды. Он выпил стакан горячего молока с медом, а теперь сосал леденец от кашля. Как жаль, думал он, что она не так уж молода. И все-таки для своего возраста она удивительно моложава. Судя по лицу и по фигуре, ей можно дать скорее двадцать пять, а не тридцать пять. Интересно, размышлял он, как она будет себя вести, когда он лаской преодолеет ее страх? Есть что-то непонятное в этих детских страхах взрослой женщины. Какая-то часть ее перестала расти в том возрасте, когда дядя Бен пустился на свой преждевременный опыт. Дьявол Барлепа ухмыльнулся, вспоминая, как она рассказывала об этом происшествии.

Раздался стук в дверь, и вошла Беатриса с камфарным маслом и ватой для компресса.

— А, вот и палач, — со смехом сказал Барлеп. — Я хочу умереть как мужчина. — Он расстегнул

пижаму. Грудь у него была белая и упитанная; ребра едва намечались под мускулами; между сосками протянулась полоса темных курчавых волос. — Будьте безжалостны, — пошутил он. — Я готов. — Его улыбка была игриво-нежной. Беатриса откупорила склянку и налила душистого масла на ладонь правой руки.

— Возьмите бутылку, — приказала она, — и поставьте на стол.

Он исполнил.

— Ну, — сказала она, когда он снова лег, и принялась растирать его.

Ее рука скользила взад и вперед по его груди, энергично, деловито. А когда правая рука устала, она принялась растирать его левой, взад и вперед, взад и вперед.

— Вы как маленькая паровая машина, — сказал Барлеп, улыбаясь игриво и нежно.

— Я и чувствую себя машиной, — ответила она. Но это была неправда: она чувствовала себя чем угодно, только не машиной. Ей пришлось преодолеть какой-то страх, прежде чем она решилась дотронуться до его белой упитанной груди. Конечно, эта грудь не была безобразной или отталкивающей. Напротив, она была скорее красива своей гладкой белизной и мускулистой

плотностью. Она была как торс статуи. Да, статуи. Только у этой статуи были темные вьющиеся волосы на груди и маленькая родинка, то поднимавшаяся, то опускавшаяся от биения сердца. Статуя жила; и в этом было что-то волнующее. Белая обнаженная грудь была прекрасна; но она была почти отталкивающе живой. Прикоснуться к ней… Она внутренне вздрогнула от страха и рассердилась на себя за свою глупость. Она проворно разогнула руку и принялась растирать. Ее ладонь быстро скользила по смазанной маслом коже. Ее рука ощущала теплоту его кожи. Сквозь кожу она чувствовала твердые кости. Жесткие волосы щекотали ее пальцы, а маленькие соски были твердые и упругие. Она снова вздрогнула, но было что-то приятное в чувстве страха и в преодолении его; было странное наслаждение в той тревоге и отвращении, которые разливались по ее телу. Ее движения были энергичны и равномерны, как работа паровой машины; но внутри она чувствовала себя такой трепетно и раздвоенно живой!

Барлеп лежал, закрыв глаза, слегка улыбаясь: было так приятно покориться, отдаться на милость победителя. Он наслаждался, чувствуя себя беспомощным ребенком; он был в ее руках, как

ребенок, собственность своей матери и ее игрушка; он больше не принадлежал себе. Ее холодные руки прикасались к его груди; его плоть была пассивной и безвольной, как глина, в ее сильных, холодных руках.

— Устали? — спросил он, когда она остановилась в третий раз, чтобы переменить руку. Он открыл глаза и посмотрел на нее. Она покачала головой. — Со мной столько беспокойства, как с больным ребенком.

— Глупости, никакого беспокойства.

Но Барлепу обязательно хотелось жалеть ее и просить у нее прощения.

— Бедная Беатриса! — сказал он. — Как много вам приходится возиться со мной! Мне так стыдно.

Беатриса только улыбнулась. Она больше не содрогалась от беспричинного отвращения. Она чувствовала себя необыкновенно счастливой.

— Готово! — наконец сказала она. — А теперь — компресс. — Она открыла картонную коробку и развернула оранжевую вату. — Весь вопрос в том, как сделать, чтобы она держалась у вас на груди. Я думаю, ее можно укрепить бинтом. Два или три оборота вокруг туловища. Как вы думаете?

— Я ничего не думаю, — сказал Барлеп, все еще

наслаждавшийся тем, что он — ребенок, — я весь в ваших руках.

— В таком случае садитесь, — приказала она. Он сел. — Держите вату на груди, пока я буду обертывать бинтом. — Чтобы сделать это, ей пришлось совсем приблизиться к нему, почти обнять его; ее руки, когда она обертывала бинт вокруг туловища, на секунду сомкнулись за его спиной. Барлеп опустил голову и прижался лбом к ее груди. Лоб усталого ребенка на мягкой материнской груди.

— Подержите минутку, пока я достану английскую булавку.

Барлеп поднял голову и откинулся на подушку. Краснея, но по-прежнему деловито и энергично, Беатриса снимала одну из булавок с маленькой картонной пластинки.

— Теперь настает самый трудный момент, — со смехом сказала она. — Вы ничего не имеете против, если я воткну булавку вам в тело?

— Ничего, — сказал Барлеп, и это была правда: он ничего не имел бы против. Ему было бы даже приятно, если бы она сделала ему больно. Но она этого не сделала. Она с профессиональной ловкостью заколола бинт.

— Готово!

— А что прикажете делать теперь? — спросил

Барлеп, жаждавший повиноваться.

— Ложитесь.

Он лег. Она застегнула пуговки его пижамы.

— А теперь извольте заснуть как можно скорее. — Она покрыла его до подбородка одеялом и рассмеялась. — Вы совсем как маленький мальчик.

— А вы поцелуете меня на прощание?

Щеки Беатрисы вспыхнули. Нагнувшись, она поцеловала его в лоб.

— Спокойной ночи, — сказала она.

И вдруг ей захотелось обнять его, прижать его голову к груди, погладить его по волосам. Но вместо этого она только приложила на мгновение руку к его щеке и выбежала из комнаты.

XIX

Маленький Фил лежал в постели. Комната была погружена в оранжевые сумерки. Тонкая игла солнечного света проникала сквозь задернутые занавески. Фил был сегодня более беспокоен, чем всегда.

— Который час? — крикнул он, хотя он уже спрашивал раньше и ему отвечали, что он должен лежать смирно.

— Час такой, что тебе еще рано вставать, — ответила мисс Фулкс через коридор. Голос у нее

был заглушенный, потому что она надевала свое голубое платье: ее голова была в шелковой темноте, а руки тщетно старались попасть в рукава. Сегодня должны были приехать родители Фила; их ожидали в Гаттендене к ленчу. Обстоятельства требовали, чтобы мисс Фулкс облачилась в свое лучшее голубое платье.

— А который час? — сердито прокричал мальчик. — Который час на ваших часах?

Голова мисс Фулкс вышла на свет.

— Без двадцати час, — отозвалась она. — Лежи смирно.

— А почему не час?

— Потому что не час. А теперь я больше с тобой не разговариваю. Если ты будешь кричать, я расскажу маме, какой ты гадкий.

— Сама ты гадкая! — отозвался Фил с плаксивой свирепостью, но так тихо, что мисс Фулкс почти не слышала его. — Ненавижу тебя! — Конечно, он вовсе не испытывал к ней ненависти. Но он выразил протест — честь была спасена.

Мисс Фулкс продолжала приводить себя в порядок. Она была взволнованна, испуганна, болезненно взвинчена. Что скажут они о Филе — о ее Филе, о том Филе, каким она его сделала? «Надеюсь, он будет вести себя хорошо, — думала

она, — надеюсь, он будет вести себя хорошо». Когда он хотел, он умел быть таким ангелом, таким милым. А если он не был ангелом, на это всегда имелась причина; но, чтобы увидеть эту причину, нужно было знать, нужно было понимать его. Вероятно, они не сумеют понять причину. Они отсутствовали слишком долго; они, должно быть, забыли, какой он. Да они и не могут знать, какой он теперь, каким он стал за последние месяцы.*Этого* Фила знает только она. А ведь настанет день, когда ей придется расстаться с ним. Она не имеет на него права, она только любит его. Они могут отнять его у нее, когда им вздумается. Ее отражение в зеркале заколебалось и пропало в тумане радужного цвета, и внезапно слезы потекли по ее щекам.

Поезд пришел минута в минуту; автомобиль ожидал их на станции. Филип и Элинор уселись в машину.

— Как чудесно, что мы снова здесь! — Элинор взяла мужа за руку. Ее глаза сияли. — Но, Боже милосердный, — с ужасом добавила она, не дожидаясь его ответа, — они настроили там на холме уйму новых домов. Как они смеют?

— Да, что-то вроде города-сада, — сказал Филип. — Какая жалость, что англичане так любят при-

роду! Они убивают ее своей любовью.

— И все-таки здесь хорошо. Неужели ты можешь оставаться спокойным?

— Как тебе сказать, — осторожно начал он.

— Неужели ты не радуешься даже тому, что снова увидишь своего сына?

— Само собой, радуюсь.

— Само собой! — насмешливо повторила Элинор. — И таким тоном! В таких вещах не может быть никакого «само собой». А я вот чувствую, что никогда в жизни так не волновалась.

Оба замолчали. Машина неслась по извилистой дороге среди холмов; дорога шла вверх. Они поднялись сквозь буковый лес на лесистое плато. В конце длинной зеленой аллеи высился, залитый солнцем, самый грандиозный памятник величия Тэнтемаунтов — дворец маркиза Гаттенденского. Флаг развевался по ветру; значит, его светлость у себя в резиденции.

— Надо будет навестить как-нибудь старого безумца, — сказал Филип.

Красновато-желтые олени щипали траву в парке.

— Зачем люди путешествуют? — спросила Элинор, взглянув на оленей.

Мисс Фулкс и маленький Фил ждали на лест-

нице.

— Кажется, автомобиль, — сказала мисс Фулкс. Ее одутловатое лицо побледнело; ее сердце билось с удвоенной силой. — Нет, — добавила она, напряженно прислушиваясь. Она слышала только тревожный стук своего сердца.

Маленький Фил беспокойно топтался на месте, испытывая только одно желание — пойти «в одно место». Он чувствовал себя так, точно у него в животе ворочается еж.

— Неужели ты не рад? — спросила мисс Фулкс с деланным энтузиазмом, забывая о собственных неприятных предчувствиях и желая одного — чтобы ребенок проявил дикую радость при виде родителей. — Неужели ты можешь оставаться спокойным? — Но ведь они могут отнять его у нее, если им вздумается, отнять его, и она никогда больше не увидит его.

— Да, — рассеянно ответил маленький Фил. Он был слишком поглощен тем, что происходило в его внутренностях.

Его спокойный тон огорчил мисс Фулкс. Она испытующе посмотрела на него.

— Фил? — Она наконец заметила его беспокойный чарльстон. Ребенок кивнул. Она взяла его за руку и потащила в дом.

Минутой позже Филип и Элинор подъехали к опустевшей лестнице. Элинор была разочарована. Она так ясно слышала его крики. А теперь на ступеньках не было никого.

— Никто нас не встречает, — грустно сказала она.

— По-твоему, они должны были торчать тут все время и ждать нас? — отозвался Филип. Он ненавидел всякую суету. Ему было бы приятнее всего вернуться домой в шапке-невидимке. То, что их никто не встречал, было тоже приятно.

Они вышли из автомобиля. Входная дверь была открыта. Они вошли. Три с половиной столетия дремали в молчаливом, пустом холле. Солнечный свет проникал сквозь сводчатые окна. Панели по стенам, выкрашенные еще в восемнадцатом столетии, были бледно-зеленого цвета. Старинная дубовая лестница, вся залитая светом, вела в верхние этажи. В воздухе носился еле слышный аромат старого саше, словно многовековая тишина старого дома, претворенная в запах. Элинор посмотрела вокруг себя, она глубоко вздохнула, она дотронулась кончиками пальцев до полированной поверхности стола орехового дерева, согнутым пальцем она постучала по стоявшей на столе круглой венецианской вазе; стеклянная

нота нежно прозвенела в ароматной тишине.

— Как замок спящей красавицы, — сказала она. Но стоило ей произнести эти слова, как чары рассеялись. Неожиданно, точно пробужденный к жизни звоном стекла, дом наполнился звуками и движением. Где-то наверху открылась дверь, и оттуда вместе с санитарным шумом спускаемой воды донесся пронзительный голос Фила; маленькие ножки мягко затопали по ковру коридора, потом застучали, как копытца, по дубовым ступеням. В то же мгновение дверь быстро распахнулась, и в холле появилась колоссальная фигура старой горничной Добс.

— Как! Миссис Элинор? А я и не слышала…

Маленький Фил выбежал на последний марш лестницы. При виде родителей он громко вскрикнул; он побежал еще быстрее; он почти скользил со ступеньки на ступеньку.

— Тише, тише! — беспокойно закричала его мать и побежала к нему навстречу.

— Тише! — как эхо отозвалась мисс Фулкс, поспешно спускаясь с лестницы позади Фила. И неожиданно из гостиной, выходившей в сад, появилась миссис Бидлэйк — белая и молчаливая, с развевающейся вуалью, как величавый призрак. В маленькой корзиночке она несла

букет только что срезанных тюльпанов; садовые ножницы болтались на желтой ленте. За ней с лаем следовал Т'анг III. Поднялся шум, потому что все говорили разом, обнимались и жали друг другу руки. В приветствиях миссис Бидлэйк была величественность ритуала, торжественная грация древнего священного танца. Мисс Фулкс извивалась от смущения и волнения, стояла то на одной ноге, то на другой, принимала позы модных картинок и манекенов и время от времени пронзительно смеялась. Здороваясь с Филипом, она извивалась так отчаянно, что едва не потеряла равновесия.

«Бедная девушка! — подумала Элинор в промежутке между вопросами и ответами. — Вот уж кому действительно необходимо замуж! Сейчас это еще заметнее, чем когда мы уезжали!»

— Но как он вырос! — сказала она вслух. — И как изменился! — Она отодвинула ребенка на расстояние вытянутой руки жестом знатока, рассматривающего картину. — Раньше он был вылитый Фил. А теперь… — Она покачала головой. Теперь широкое лицо удлинилось, короткий прямой носик (смешная «пуговка» Филипа, над которой она всегда смеялась и которую так любила) стал тоньше, и на нем появилась маленькая

горбинка, волосы потемнели. — Теперь он очень похож на Уолтера. Правда, мама? — Миссис Бидлэйк рассеянно кивнула. — А когда он смеется, он по-прежнему очень похож на Фила.

— А что вы мне привезли? — спросил маленький Фил с беспокойством. Когда люди уезжали и потом возвращались, они всегда привозили ему что-нибудь. — Где мои подарки?

— Что за вопрос! — ужаснулась мисс Фулкс, краснея от стыда и извиваясь.

Но Элинор и Фил только рассмеялись.

— Когда он серьезен, он совсем как Уолтер, — сказала Элинор.

— Или как ты. — Филип переводил взгляд с сына на жену.

— Не успели папа и мама приехать, а ты уже спрашиваешь о подарках! — упрекала мисс Фулкс.

— Гадкая! — ответил мальчик и откинул голову назад с сердитым и гордым выражением.

Элинор едва удержалась от смеха. Когда Фил вскинул подбородок, это движение было пародией на надменную манеру старого мистера Куорлза. На мгновение мальчик превратился в ее свекра, в крошечную карикатуру ее нелепого и жалкого свекра. Это было комично и вместе с тем

все это было очень серьезно. Ей хотелось рассмеяться, и в то же время она с угнетающей ясностью увидела перед собой тайну и сложность жизни, пугающую загадку будущего. Перед ней ее ребенок, но в то же время в нем Филип, в нем она сама, в нем Уолтер, ее отец, ее мать, а теперь, когда он поднял подбородок, в нем неожиданно проступил жалкий мистер Куорлз. И в нем могут быть сотни других людей. Могут быть? Они есть в нем. В нем тетки и двоюродные сестры, с которыми она почти никогда не виделась; деды и бабки, которых она знала в детстве, а теперь совершенно забыла; предки, умершие давным-давно, и так до начала времен. Целая толпа чужих людей населяла и формировала это маленькое тело, жила в этом мозгу и управляла его желаниями, диктовала ему мысли — и еще будет диктовать и еще будет управлять. Фил, маленький Фил — это имя было абстракцией, условным обозначением, вроде имени «Франция» или «Англия», именем целого коллектива, вечно меняющегося, состоящего из бесконечного количества людей, рождавшихся, живших и умиравших внутри его, как рождаются и умирают жители страны, составляющие одно целое — народ, к которому они принадлежат. Она посмотрела на ребенка с каким-то ужасом. Какая

огромная ответственность!

— Это корыстная любовь! — не унималась мисс Фулкс. — И ты не должен называть меня гадкой.

Элинор тихонько вздохнула, усилием воли вывела себя из задумчивости и, взяв мальчика на руки, прижала его к груди.

— Ничего, — сказала она, обращаясь наполовину к мисс Фулкс, наполовину к самой себе. — Ничего. — Она поцеловала сына.

Филип посмотрел на часы.

— Пожалуй, надо бы пойти и привести себя в порядок перед ленчем, — сказал он. Он был очень пунктуален.

— Но сначала, — сказала Элинор, считавшая, что не человек для ленча, а ленч для человека, — сначала мы просто-таки обязаны зайти на кухню и поздороваться с миссис Инмэн. Если мы не пойдем, она нам не простит такой обиды. Вперед. — Все еще держа на руках маленького Фила, она прошла через столовую. Чем дальше они шли, тем сильнее становился запах жареной утки.

Чувствуя себя неловко от сознания собственной непунктуальности и оттого, что ему придется, хотя бы и при посредничестве Элинор, разговаривать с туземцами кухни, Филип неохотно последовал за ней.

За ленчем маленький Фил отпраздновал приезд родителей невыносимым поведением.

— Он слишком разволновался, — повторяла бедная мисс Фулкс, стараясь оправдать ребенка, а тем самым и себя. Она готова была заплакать. — Вы увидите, миссис Куорлз, какой он будет, когда привыкнет к вам, — говорила она, обращаясь к Элинор. — Вы увидите: он бывает таким ангелом. Это от волнения.

Она так полюбила своего воспитанника, что его победы и поражения, его добродетели и пороки заставляли ее торжествовать или сетовать, испытывать удовлетворение или стыд, точно это были ее собственные победы и поражения, добродетели и пороки. Кроме того, здесь была затронута ее профессиональная гордость. Все эти месяцы ответственность за него лежала на ней одной; она учила его, как нужно вести себя в обществе, и объясняла, почему треугольник Индии окрашен на карте в малиновый цвет; она сделала, сформировала его. И теперь, когда предмет ее нежнейшей любви, продукт ее опытности и терпения кричал за столом, выплевывал непрожеванную пищу и разливал воду, мисс Фулкс не только краснела от стыда, точно это она сама кричала, плевалась и проливала воду, но испытывала то унизительное

чувство, которое переживает фокусник, когда его тщательно подготовленный трюк не удается при публике, или изобретатель, когда его идеальная летательная машина решительно отказывается подняться с земли.

— Ничего, — утешала ее Элинор, — этого следовало ожидать. — Ей было искренне жаль бедную девушку. Она посмотрела на своего сына. Он кричит, а она думала, что к их приезду он станет совсем другим, совсем взрослым и разумным существом. Сердце у нее упало. Она любила его, но дети невыносимы, просто невыносимы. А он все еще дитя. — Слушай, Фил, — строго сказала она, — перестань сейчас же. Ешь без разговоров.

Мальчик заорал еще громче. Он очень хотел бы вести себя хорошо, но он не мог остановиться и перестать вести себя плохо. Он сам привел себя в то состояние, когда человеку все становится противным и он против всего бунтует; а теперь это было сильнее его самого. Даже если бы он захотел, он не мог бы вернуться к прежнему настроению. К тому же он никогда не любил жареной утки; а теперь, после того как он добрых пять минут думал о жареной утке с отвращением и ужасом, он просто ненавидел ее. Его действительно тошнило от ее вида, запаха и вкуса.

Между тем миссис Бидлэйк пребывала в метафизическом спокойствии. Ее душа неуклонно плыла, как большой корабль по волнующемуся морю или, вернее, как воздушный шар, парящий высоко над водами в спокойном и безветренном мире фантазии. Она говорила с Филипом о буддизме. (У миссис Бидлэйк было особое пристрастие к буддизму.) При первых воплях она даже не поинтересовалась узнать, в чем дело, и только возвысила голос, чтобы его можно было расслышать среди этого шума. Но вопли не прекращались. Миссис Бидлэйк замолкла и закрыла глаза. В красноватой темноте, наполнявшей ее закрытые глаза, скрестив ноги, сидел безмятежный и золотой Будда; его окружали жрецы в желтых мантиях, сидевшие в той же позе, что и он, погруженные в экстаз созерцания.

— Майя, — сказала она со вздохом, точно обращаясь к самой себе, — Майя — вечная иллюзия. — Она открыла глаза. — Утка, правда, жестковата, — обратилась она к Элинор и мисс Фулкс, которые безуспешно пытались уговорить ребенка.

Маленький Фил жадно ухватился за этот предлог.

— Она жесткая, — заревел он, отталкивая вилку, на которой мисс Фулкс, чьи руки дрожали от

сильных переживаний, протягивала ему ломтик жареной утки и половину молодой картофелины.

Миссис Бидлэйк снова на миг закрыла глаза, потом повернулась к Филипу, продолжая обсуждать «Восемь путей к совершенству».

В этот вечер Филип сделал довольно большую запись в своем дневнике, куда он заносил без всякого порядка мысли и события, разговоры, виденное и слышанное за день. Страница была озаглавлена: «Кухня в старом доме».

> Изобразить ее довольно легко. Тюдоровские оконницы, отражающиеся в донышках развешанных на стенах медных кастрюль. Массивная черная плита, отделанная блестящей сталью, огонь, вырывающийся из-под полузакрытых конфорок. Ящики с резедой на окнах. Жирный кастрированный кот огненного цвета, дремлющий в корзине возле шкафа. Кухонный стол, такой истертый временем и постоянным отскребыванием, что прожилки дерева выступают на нем, точно какой-то гравер изготовил клише отпечатка гигантского пальца.

Балки низкого потолка. Темные буковые стулья. Тесто, раскатываемое на столе. Запах стряпни. Наклонный столб солнечного света и толкущиеся в нем пылинки. И, наконец, старая миссис Инмэн, кухарка: маленькая, хрупкая, неукротимая, творец стольких тысяч обедов! Отделать немножко – и картина готова. Но мне этого мало. Зарисовать кухню во времени, а не только в пространстве: намеком раскрыть ее значение в космосе человека. Я пишу одну фразу: «Лето за летом, с тех времен, когда Шекспир был мальчишкой, и до сих пор, десять поколений кухарок пользовались инфракрасными лучами, чтобы разбить молекулы протеина в насаженных на вертел утках. («Мне – смерть, тебе – бессмертье суждено» и т. д.) Одна фраза – и вот уже я погружен в историю, искусство и все науки. Вся история Вселенной заключена в любой ее части. Внимательный глаз, заглядывая в любой предмет, видит сквозь него, как через окошко, весь космос. Запах утки, жарящейся на старой кухне; сделай его прозрачным – и ты увидишь все, от

спиральных туманностей до музыки Моцарта и стигматов святого Франциска Ассизского.

Задача художника – в том, чтобы выбрать те точки, которые он хочет сделать прозрачными, выбрать их так, чтобы позади близких и знакомых нам предметов открылись только те перспективы, которые наиболее существенны для человека. Но во всех случаях предметы, видимые в конце перспективы, должны быть достаточно странными, чтобы обыденное казалось фантастическим и таинственным. Вопрос: можно ли достичь этого, не впадая в педантизм и не развертывая вещь, которую пишешь, до бесконечности? Над этим нужно подумать как следует.

А пока что – как чудесна кухня! Как дружелюбны ее обитатели! Миссис Инмэн служит здесь с рождения Элинор. Красивая, прекрасно сохранившаяся старуха. И какое спокойствие, какой аристократически-повелительный тон! Тот, кто был неограниченным владыкой над всем, за чем он присматривает, поневоле приоб-

ретает царственный вид, даже если то, за чем он присматривает, всего лишь кухня. А кроме того, есть еще Добс, горничная. Добс появилась в доме недавно – незадолго до войны. Персонаж из Рабле. Шести футов ростом и соответственной толщины. В этом огромном теле живет дух Гаргантюа. Какой полнокровный юмор, какая жажда жизни, какие анекдоты, какой громогласный хохот! Хохот Добс внушает почти ужас. А когда мы зашли в кладовую, я заметил на полке шкафа зеленую склянку с пилюлями. Но какими пилюлями! Такими, какие дают лошадям, вводя их в горло с помощью резиновой кишки. Какое гомерическое несварение желудка должно быть у того, кто их принимает!

Кухня хороша; но и гостиная не хуже. Возвращаясь с прогулки, мы застали там викария с женой, которые за чашкой чая разговаривали об Искусстве. Да, об искусстве. Потому что это был их первый визит после посещения академии.

Это ежегодный обряд. Каждый год на следующий день после торжественно-

го открытия они садятся в поезд восемь пятьдесят две и воздают искусству тот долг, который воздает ему даже религия. Официальная религия официальному искусству. Они обходят все уголки выставочного помещения, испещряя каталог замечаниями, юмористическими там, где допустим юмор: мистер Трюби (похожий на Ноя из игрушечного ковчега) принадлежит к тому разряду веселых священнослужителей, которые при всяком удобном случае отпускают шутки, стараясь показать, что черное облачение и пасторский воротничок не мешают им быть «добрыми малыми», «славными парнями» и т. п.

Хорошенькая и пухленькая миссис Трюби менее громогласна, чем ее супруг; она – как раз то, что состоятельные обыватели, читающие «Панч», называли бы «доброй и веселой душой»: она способна невинно развлекаться и все время отпускает шутливые замечания. Я смотрел и слушал как зачарованный, пока Элинор заставляла их говорить о приходе и об академии. У меня было такое чув-

ство, точно я Фабр, наблюдающий жизнь жесткокрылых. Изредка чья-нибудь реплика достигала противоположной стороны духовной пропасти, отделяющей мать Элинор от внешнего мира, выводила ее из задумчивости и вызывала с ее стороны какую-нибудь неожиданную реакцию. Невозмутимо, тоном оракула, с серьезностью, которая казалась почти устрашающей рядом с шутливыми замечаниями четы Трюби, она подавала голос из другого мира. А за окнами – зеленый цветущий сад. У старого Стокса, садовника, длинная борода, и он похож на Старца Время. Бледно-голубое небо. Щебечут птицы. Как здесь хорошо! Нужно было объехать весь земной шар, чтобы понять, как здесь хорошо. Почему бы не остаться? Не пустить корни? Но корни – это цепи. Я боюсь потерять свободу. Быть свободным, не связанным ничем, никакой собственностью, делать, что хочешь, ехать, куда взбредет на ум, – это хорошо. Но и здесь хорошо. Может быть, даже лучше! Чтобы получить свободу, приходится что-нибудь приносить в жертву: дом, миссис

> Инмэн, Добс, жизнерадостных Трюби из прихода, тюльпаны в саду и все то, что значат эти вещи и люди. Приносишь в жертву что-то ради того, чтобы получить нечто большее: знание, понимание, большую интенсивность жизни. Большее ли? Иногда я в этом сомневаюсь.

Лорд Эдвард и его брат совершали прогулку по Гаттенденскому парку. Лорд Эдвард шел пешком, пятый маркиз ехал в колясочке для инвалидов, которую вез большой серый осел. Маркиз был калекой. «Что, к счастью, не мешает движению мыслей», — любил он говорить. И мысль его двигалась всю его жизнь то туда то сюда по самым запутанным дорожкам. Серый осел медленно брел по парку. Впереди братьев и позади простиралась знаменитая гаттенденская аллея. Впереди, на расстоянии одной мили, стояла копия колонны Траяна из портлендского камня, увенчанная бронзовой статуей первого маркиза; на пьедестале была надпись крупными буквами, в которой перечислялись заслуги, дававшие ему право на неувядаемую славу. Он был, кроме всего прочего, вице-королем Ирландии и отцом научного земледелия. В другом конце аллеи, тоже на

расстоянии одной мили, возвышались фантастические башни и башенки Гаттенденского замка, построенного для второго маркиза Джеймсом Уайеттом в псевдоготическом стиле Строберри-Хилла и имевшего более средневековый вид, чем любая подлинная средневековая постройка. Маркиз жил в Гаттендене постоянно. Нельзя сказать, чтобы замок и окружающие ландшафты особенно нравились ему. Он едва замечал их. Когда он не читал, он думал о прочитанном: мир явлений, как он любил вслед за Платоном называть видимую и осязаемую реальность, не интересовал его. Этим своим безразличием к миру он как бы мстил ему за то, что сам он был калекой. Он жил в Гаттендене просто потому, что это было единственное место, где он мог безопасно передвигаться в своей коляске. Пэлл-Мэлл — не совсем подходящее место для серых осликов и разбитых параличом старых джентльменов, которые читают и размышляют во время прогулок. Он уступил Тэнтемаунт-Хаус своему брату, а сам продолжал совершать прогулки на ослике среди буков Гаттенденского парка.

Осел остановился, чтобы пощипать травы у дороги. Пятый маркиз спорил со своим братом о Боге. Время шло. Они все еще говорили о Боге,

когда полчаса спустя Филип и Элинор во время послеобеденной прогулки по парку вышли из буковой рощи и чуть не наткнулись на колясочку маркиза.

— Несчастные старики! — сказал Филип, когда они отошли подальше. — О чем им еще говорить? Они слишком стары, чтобы говорить о любви, — слишком стары и слишком благонравны. Слишком богаты, чтобы говорить о деньгах. Слишком интеллектуальны, чтобы говорить о людях, и к тому же при их отшельническом образе жизни они встречают слишком мало людей — не о ком и говорить. Они слишком скромны, чтобы говорить о самих себе, слишком неопытны, чтобы говорить о жизни или даже о литературе. О чем же еще говорить несчастным старикам? Больше не о чем, как только о Боге.

— Имей в виду, что при теперешних темпах жизни, — сказала Элинор, — через десять лет ты станешь точно таким же, как они.

XX

Об отце Филипа Куорлза старик Бидлэйк говорил, что он напоминает итальянские церкви в стиле барокко с фальшивым фасадом. Высокий, внушительный, ощерившийся колоннами,

фронтонами и статуями, фасад кажется принадлежащим величественному кафедральному собору. Но когда присмотришься ближе, обнаруживаешь, что это лишь декорация. Позади огромного изукрашенного фасада скрывается жалкий храмик из кирпича, щебня и осыпавшейся штукатурки. И, развивая сравнение дальше, Джон Бидлэйк описывал небритого священника, бормочущего обедню, сопливого служку в грязном стихаре, паству из зобастых крестьянок и их отпрысков, кретина, просящего милостыню на паперти, оловянные венцы на статуях святых, сор на полу, затхлый запах, оставленный многими поколениями верующих.

— Почему, — заканчивал он, забывая, что этими словами он в нелестном свете изображает собственные успехи, — почему женщины всегда воспламеняются любовью ко всему самому низкому? Странно. Особенно в данном случае. У Рэчел Куорлз слишком много здравого смысла, чтобы ее могло привлечь такое ничтожество.

Все так думали, все спрашивали, почему получилось именно так. Рэчел Куорлз явно стояла неизмеримо выше своего супруга. Но замуж выходят не за собрание добродетелей и талантов: замуж выходят за живого человека. В Сидни Ку-

орлза, каким он был, когда делал предложение Рэчел, любая женщина могла бы влюбиться и даже верить в него; а Рэчел было всего восемнадцать лет, ее жизненный опыт был весьма ограничен. Сидни был юн, а юность сама по себе уже добродетель. Юн и красив. Широкоплечий, высокий, пропорционально сложенный, Сидни Куорлз даже теперь, когда солидность начала переходить в полноту, все еще производил внушительное впечатление. В двадцать три года его крупное тело было атлетическим, седеющие волосы, которые теперь окружали гладкую розовую тонзуру, тогда были золотисто-каштановыми и покрывали великолепными волнами весь его череп. Широкое румяное мясистое лицо было более свежим и твердым, менее лунообразным. Лоб — гладкий и высокий даже тогда, когда Сидни еще не начал лысеть, — казался умным. Речь Сидни Куорлза не разрушала того впечатления, какое производила его наружность. Он говорил хорошо, хотя, с точки зрения некоторых, может быть, с чрезмерной заносчивостью и самодовольством. К тому же в те дни он пользовался блестящей репутацией: он только что окончил университет и был еще окружен ореолом академической и дискуссионно-клубной славы. Оптимистически

настроенные друзья рисовали его будущее в самых радужных красках. В то время когда Рэчел познакомилась с ним, подобные пророчества казались вполне обоснованными. Как бы там ни было, обоснованно или необоснованно, но она полюбила его. Они поженились, когда ей было всего девятнадцать лет.

Отец оставил Сидни кругленькое состояние. Дело (у мистера Куорлза-отца был сахарный завод) было, что называется, «на ходу». Имение в Эссексе приносило доход. Городской дом помещался на Портмен-сквер; загородный дом в Чэмфорде был просторный, построенный в георгианском стиле. Честолюбие толкало Сидни на путь политической деятельности. Поработав сперва в местном самоуправлении — это будут для него годы ученичества, — он затем пройдет в парламент. Упорная работа и речи, одновременно блестящие и полные здравых мыслей, заставят обратить на него внимание как на восходящее светило. Ему предложат пост товарища министра, он быстро пойдет в гору. Он может рассчитывать (так по крайней мере казалось тридцать пять лет назад) на осуществление своих самых честолюбивых помыслов.

Но Сидни, как говорил старый Бидлэйк, был

лишь фасадом: внушительная наружность, звучный голос, поверхностный ум — и больше ничего. Позади красивого фасада скрывался подлинный Сидни, слабый, не обладающий упорством в серьезных делах, хотя и упрямый тогда, когда дело касается пустяков, быстро воспламеняющийся, но еще быстрее остывающий. Даже ум его оказался умом того сорта, который встречается у первых учеников, пишущих латинские стихи в духе Овидия или остроумные пародии на Геродота. На деле его блестящие способности шестиклассника оказались одинаково бесплодными в сфере как чисто интеллектуальной, так и практической жизни. Когда Сидни своим неумением вести дела и лихорадочными спекуляциями довел отцовское предприятие до почти полного банкротства (к счастью, Рэчел удалось уговорить его своевременно продать завод); когда его политическая карьера была загублена годами лени, сменявшейся приступами беспорядочной деятельности, — тогда он решил, что его призвание — быть публицистом. В первом порыве энтузиазма он даже ухитрился дописать до конца книгу о принципах государственности. Поверхностная и туманная, банальная по мыслям, что особенно бросалось в глаза благодаря претенциозно-цветистому

языку, блиставшему острыми словечками, книга была встречена заслуженным пренебрежением, которое Сидни Куорлз приписал происках своих политических противников. Он верил, что потомство воздаст ему должное.

Со времени опубликования первой книги мистер Куорлз писал, или считалось, что писал, другой, гораздо более обширный и значительный труд — о демократии. Размеры этого труда и его значительность служили оправданием тому, что его завершение все время откладывалось. Он принялся за работу более семи лет назад и до сих пор, говорил он всем, кто проявлял интерес к его книге (качая при этом головой с выражением человека, взявшегося за почти непосильный труд), и до сих пор еще не покончил с собиранием материалов.

— Это геркулесов труд, — говорил он с видом одновременно мученическим и тщеславным. Разговаривая, он обычно подымал лицо и выбрасывал слова в воздух, точно гаубица, глядя на собеседника (если он вообще удостаивал его этой чести) из-под опущенных век. У него был звучный голос, и говорил он, растягивая гласные, с тем самым блеянием, каким истые оксфордцы обогатили английский язык. Его речь напомина-

ла блеяние целого стада овец: — Геркулесов труд! — Слова сопровождались вздохом: — Про-осто ужасно.

Если вопрошающий возбуждал в нем доверие, он вел его в кабинет и показывал ему (или, предпочтительно, ей) огромное количество картотек и регистраторов, которыми он окружил свой письменный стол. По мере того как время шло, а книга не подавала никаких признаков жизни, мистер Куорлз все умножал и умножал число этих внушительных предметов: они служили вещественными доказательствами его трудов, они символизировали немыслимую трудность его задачи. Одних пишущих машинок у него было три. Портативная «Корона» сопровождала его повсюду, на тот случай, если вдохновение снизойдет на него во время путешествия. Иногда, когда он чувствовал потребность произвести особенно солидное впечатление, он брал с собой «Гаммонд» — более крупную машинку, в которой буквы помещались не на отдельных рычажках, а на съемном круге, прикрепленном к вращающемуся барабану, так что можно было сменять по желанию шрифт и писать по-гречески или по-арабски, русскими буквами или математическими символами, в зависимости от

требования данной минуты: у мистера Куорлза была обширная коллекция различных шрифтов, которыми он, разумеется, никогда не пользовался, что не мешало ему так гордиться ими, точно каждый из них представлял собой какой-нибудь его талант или достижение. Наконец, была еще третья, и последняя, машинка, очень большой и очень дорогой конторский аппарат, являвшийся одновременно и пишущей, и счетной машиной. Она очень полезна, пояснял мистер Куорлз, при статистических подсчетах, необходимых для его труда и при проверке отчетов по имению. И он с особенной гордостью показывал на присоединенный к машинке небольшой электрический мотор: вы вставляете вилку в штепсель — и мотор делает за вас все, то есть все, кроме писания книги. Вам достаточно прикоснуться к клавишам. Вот так (и мистер Куорлз показывал, как это делается); электрическая энергия заставит букву войти в соприкосновение с бумагой. Никакой затраты мускульной энергии. Вы можете печатать восемнадцать часов без перерыва (этим мистер Куорлз давал понять, что он сам, подобно Бальзаку и сэру Исааку Ньютону, нередко просиживает за работой по восемнадцати часов в сутки), вернее сказать, можно печатать сколько

угодно времени, не испытывая никакого утомления, по крайней мере что касается пальцев. Американское изобретение. Очень остроумно.

Мистер Куорлз купил свою пишущую и счетную машину как раз тогда, когда окончательно перестал принимать участие в управлении имением. Вначале Рэчел предоставила имение ему. Нельзя сказать, чтобы здесь он вел дела лучше, чем на заводе, который она, как раз вовремя, уговорила его продать. Но здесь отсутствие прибыли не имело такого значения, а убытки, когда таковые имелись, были незначительны. Рэчел Куорлз надеялась, что возня с имением будет для ее мужа здоровым развлечением. Ради этого стоило кое-чем пожертвовать. Но цена, которую пришлось за это платить в годы послевоенной депрессии, оказалась слишком высокой, а по мере того, как Сидни все меньше и меньше вникал в повседневные мелочи управления, цена угрожающе возрастала, тогда как цель, ради которой эту цену платили — здоровое занятие для Сидни, — не достигалась. Правда, время от времени в голову Сидни приходила какая-нибудь идея, и он внезапно с необычайным рвением погружался в то, что он называл «усовершенствованиями». Так, однажды, прочтя книгу об американских

методах ведения хозяйства, он приобрел целый набор дорогих машин — только для того, чтобы убедиться, что размеры имения отнюдь не оправдывали издержек: для его машин не хватало работы. Позже он построил консервный завод, но завод не окупался. Так как его «усовершенствования» не имели успеха, он быстро терял к ним интерес. Упорной работой и неослабным вниманием, вероятно, можно было бы со временем добиться, чтобы они стали выгодными; пока же, из-за небрежного отношения к ним Сидни, они приводили к сплошным убыткам. Решительно, цена была слишком высока, и платить приходилось совершенно зря.

Миссис Куорлз решила, что пора изъять имение из ведения Сидни. Со свойственным ей тактом — за тридцать с лишним лет замужества она достаточно хорошо изучила своего супруга — она убедила его, что у него останется больше времени для его великого труда, если он предоставит управлять имением кому-нибудь другому. С этим утомительным делом отлично могут справиться она и управляющий. Не было никакого смысла расточать на подобную механическую работу таланты, которые можно было бы использовать гораздо целесообразнее. Убедить Сидни было не

так трудно. Имение наскучило ему; гордость его была уязвлена тем, что, невзирая на все его усовершенствования, имение упорно продолжало приносить убыток. В то же время он понимал, что, отказавшись от имения, он тем самым признает себя неудачником и лишний раз признает превосходство своей жены. Он согласился посвящать меньше времени мелочам, связанным с управлением, но пообещал, или, вернее, пригрозил, что будет по-прежнему не спускать с него глаз, будет, как божество, издали, но тем не менее весьма внимательно, присматривать за делами в свободные от литературных трудов минуты. Именно тогда, чтобы оправдать себя и придать себе больше значительности, он купил пишущую и счетную машину. Она символизировала невероятную сложность литературной работы, которой он теперь всецело отдался; и в то же время она служила доказательством, что он не совсем отказался и от практической жизни. Счетная машина нужна была ему не только для того, чтобы оперировать статистическими данными (мистер Куорлз был слишком благоразумен, чтобы объяснять, как именно он ими оперирует), но и для того, чтобы вести отчетность; подразумевалось, что бедняжка Рэчел и управляющий

погибли бы без его просвещенного содействия.

Конечно, Сидни не соглашался открыто признать превосходство своей жены. Но все его поведение в жизни определялось тем, что, смутно чувствуя это превосходство и испытывая от этого обиду, он стремился доказать, что сам он, несмотря ни на что, ничуть не хуже ее, а по существу, даже лучше. Именно эта обида, это стремление доказать свое превосходство в собственном доме заставляли его с таким упорством цепляться за неудачную карьеру политического деятеля. Предоставленный самому себе, он, вероятно, отказался бы от политики сразу же, убедившись, что это дело нелегкое и скучное: лень была развита в нем сильнее, нежели честолюбие. Но нежелание признать себя неудачником (а это признание неизбежно заставило бы его признать и превосходство жены) не позволяло ему отказаться от места в парламенте. Разве мог он признать себя побежденным, когда у него на глазах Рэчел продолжала оставаться все такой же спокойно-деловитой? Все, что делала Рэчел, удавалось ей; все любили ее и восхищались ею. Именно для того, чтобы превзойти ее в глазах света и своих собственных, он цеплялся за политику, он с головой погружался в нелепые затеи, которыми была

отмечена его парламентская карьера. Считая ниже своего достоинства быть рабом своей партии и добиваясь славы, он с энтузиазмом принимал участие в любой политической кампании — только для того, чтобы очень скоро с отвращением от нее отказаться. Уничтожение смертной казни, борьба с вивисекцией, тюремная реформа, улучшение условий работы в Западной Африке — на все эти кампании он реагировал бурным красноречием и кратковременной вспышкой энергии. В воображении он видел себя победоносным реформатором, самое участие которого приносило успех затеянной кампании. Но стены Иерихона не падали при звуках его трубного гласа, а он был не таким человеком, чтобы предпринимать длительную осаду. Повешения, истязание собак и лягушек, судьба заключенных в одиночных камерах и угнетаемых негров — все это быстро теряло для него всякий интерес. А Рэчел оставалась все такой же деловитой, все такой же любимой и ценимой всеми.

Рэчел вдвойне способствовала тому, чтобы Сидни занимался политикой, невольно — тем, что она была собой, а он был ее мужем, и намеренно — тем, что она поощряла его. Вначале она искренно верила в него: она ободряла своего

героя. Но прошло очень немного лет, и вера в его конечный успех сменилась робкой надеждой. Когда пропала и надежда, она все-таки продолжала поощрять его из дипломатических соображений — потому что неудачи политические обходились не так дорого, как неудачи деловые. Когда Сидни занимался делами, это было очень разорительно. Она не решалась сказать ему об этом и не решалась посоветовать ему продать завод: этим она только заставила бы его еще с большим упорством цепляться за дело. Подвергая сомнению его коммерческие способности, она тем самым толкнула бы его на новые и более рискованные спекуляции. На неодобрительные замечания Сидни реагировал неистовым и упрямым сопротивлением. Наученная горьким опытом, Рэчел Куорлз старалась отвлечь его от рискованных операций, поощряя его политическое честолюбие. Она сознательно преувеличивала значение его парламентской деятельности. Какую высокую, какую благородную миссию он выполняет! И какая жалость, что мелочные заботы отнимают у него так много времени и энергии! Сидни легко попался на эту удочку, невольно испытывая даже некоторую благодарность. Деловая рутина наскучила ему; неудачные спекуляции начинали

тревожить его. Он ухватился за дипломатически предложенную женой возможность снять с себя ответственность. Он продал предприятие тогда, когда это еще можно было сделать, и вложил деньги в ценности, приносившие доход без всякого участия с его стороны. Это уменьшило его доход примерно на одну треть; но зато доход был верный, а Рэчел только к этому и стремилась. Сидни многозначительно намекал на те огромные финансовые жертвы, на какие он пошел ради того, чтобы иметь возможность все свое время посвящать несчастным заключенным. (Позже заключенных сменили несчастные негры; но разговоры о принесенных жертвах не прекращались.)

Когда наконец Сидни надоело быть политическим ничтожеством и выносить обиды со стороны лидеров своей партии и он вышел из парламента, миссис Куорлз не возражала. У них больше не было предприятия, которое ее супруг мог бы разорить, а имение в те дни послевоенного подъема приносило некоторый доход.

Сидни объяснил, что для практической политики он слишком хорош: политика унижает достойного человека, грязнит его. Он решил (потому что сознание превосходства Рэчел не давало

ему покоя) посвятить себя чему-нибудь более важному, чем «жа-алкая» политика, чему-нибудь более достойному. Заниматься философией политики лучше, чем быть просто политиканом. Каким-то чудом Сидни удалось закончить и опубликовать свой первый вклад в политическую философию. Длительная работа, потребовавшаяся для написания этой книги, излечила его от писательского рвения; провал книги внушил ему окончательное отвращение к этому виду деятельности. А Рэчел оставалась все такой же деловитой и любимой всеми. В целях самозащиты он объявил о своем намерении дать миру самый обширный и самый полный труд по истории демократии. Конечно, Рэчел может быть очень деятельной в своих комитетах, делать добрые дела, пользоваться любовью соседей, иметь друзей и переписываться со многими людьми; но что значило все это по сравнению с писанием самого обширного труда о демократии? Все несчастье было в том, что книга никак не писалась. Когда Рэчел проявляла особенную деловитость, когда люди особенно любили ее, мистер Куорлз заводил себе новую картотеку, или какой-нибудь усовершенствованный блокнот, или вечное перо с особенно большим резервуаром — такое вечное

перо, объяснял он, которым можно написать шесть тысяч слов, не наполняя его снова чернилами. Конечно, его «достижения» трудно было сравнивать с достижениями Рэчел; но Сидни Куорлз считал их по меньшей мере равноценными.

Филип и Элинор провели несколько дней с миссис Бидлэйк в Гаттендене. Затем пришла очередь родителей Филипа. Молодые Куорлзы прибыли в Чэмфорд как раз тогда, когда Сидни только что купил диктофон. Сидни не мог позволить своему сыну долго оставаться в неведении относительно его последнего достижения: диктофон был самым большим его триумфом со времен пишущей и счетной машин.

— Я то-олько что сделал одно приобретение, — сказал он своим сочным голосом, выстреливая слова в воздух, поверх головы Филипа. — Оно должно заинтересовать тебя как писателя. — Он повел его в свой кабинет.

Филип следовал за ним. Он ожидал, что его засыплют вопросами о Востоке и о тропиках. Вместо этого отец небрежно осведомился о его путешествии и, раньше чем Филип успел ответить, принялся говорить о своих собственных делах. В первую минуту Филип был озадачен и

даже слегка обижен. Но Луна, подумал он, кажется нам больше Сириуса, потому что она ближе. Путешествие, его путешествие, было для него Луной, а для его отца — самой крошечной из мелких звезд.

— Вот, — сказал мистер Куорлз и снял крышку. Под ней обнаружился диктофон. — Замечательное изобретение. — Он говорил с глубоким самодовольством. Его собственная Луна восходила во всем своем великолепии. Он объяснил, как действует прибор. Потом, задрав голову, он провозгласил: — Незаменимая вещь, когда в голову неожиданно приходит какая-нибудь мысль. Ее сразу же облекаешь в слова. Говоришь сам с собой, а прибор запоминает. Я ставлю его каждый вечер в спальне. Когда лежишь в постели, в голову иной раз приходят изумительные мысли, не правда ли? Без диктофона они терялись бы безвозвратно.

— А что ты делаешь, когда кончается пластинка? — осведомился Филип.

— Посылаю своему секретарю для перепечатки.

Филип поднял брови:

— Ах, у тебя теперь есть секретарь?

Мистер Куорлз кивнул с важным видом.

— Да, на неполном рабочем дне пока что, — сказал он, обращаясь к карнизу противоположной стены. — Ты себе представить не мо-ожешь, какая масса у меня работы. Одна книга чего стоит, а потом имение, и письма, и счета, и... и... все такое, — беспомощно закончил он. Он вздохнул, он мученически покачал головой. — Тебе гораздо легче, мой мальчик, — продолжал он. — Тебя ничто не отвлекает. Ты можешь отдавать творчеству все свое время. Как я завидую тебе! Но мне приходится заниматься имением и всем прочим. Это низменно, но приходится этим заниматься. — Он снова вздохнул. — Я завидую твоей свобо-оде.

— Иногда я сам себе завидую, — рассмеялся Филип. — Но с диктофоном тебе будет гораздо легче.

— О, разумеется, — согласился мистер Куорлз.

— Как подвигается книга?

— Медленно, — ответил отец, — но верно. Я собрал уже почти все материалы.

— Что ж, это уже много.

— Вы, романисты, — покровительственно сказал мистер Куорлз, — счастливый народ. Сели за стол — и написали. Никакой предварительной работы. Ничего похожего на э-это. — Он показал рукой на свои регистраторы и картотеки.

Они говорили о его превосходстве, а также о тех огромных трудностях, которые ему предстояло преодолеть. Конечно, книги Филипа имеют успех. Но что такое роман? Развлечение на час — не больше: прочесть и небрежно отшвырнуть в сторону. Тогда как самый обширный труд о демократии… Роман всякий может написать. Поживет человек, а потом опишет, как он жил, — вот и все. А для того, чтобы создать самый обширный труд о демократии, необходимо делать заметки, собирать из бесчисленных источников материалы, покупать регистраторы и пишущие машинки — переносные, многоязычные, счетные; необходимы картотеки, и блокноты, и вечное перо, которым можно написать шесть тысяч слов, не наполняя его снова чернилами; необходимы диктофон и секретарь, которого вскоре придется перевести на полный рабочий день. — Ничего похожего на это, — повторил он.

— Да, конечно, — сказал Филип, расхаживая по комнате и осматривая аппаратуру отца. — Ничего похожего на это. — Он вытащил из-под пресс-папье, лежавшего рядом с закрытой пишущей машинкой, несколько газетных вырезок. — Головоломки? — спросил он, рассматривая перечеркнутые по всем направлениям чертежики.

— Ты, оказывается, стал любителем кроссвордов?

Мистер Куорлз отнял у сына вырезки и спрятал их в ящик. Как неприятно, что Филип их увидел! Весь эффект от диктофона пропал.

— Де-етские забавы, — сказал он с маленьким смешком. — Но это прекрасный отдых, когда устаешь от умственной работы. Я иногда забавляюсь ими. — На самом деле мистер Куорлз проводил за кроссвордами почти все утро. Они как раз соответствовали его типу ума. Он был одним из самых опытных решателей кроссвордов своей эпохи.

Тем временем в гостиной миссис Куорлз разговаривала со своей невесткой. Миссис Куорлз была маленькая подвижная женщина с седеющими волосами, с четкими чертами правильного и красивого лица. Ее выразительные серо-голубые глаза, все время менявшие оттенок, светились жизнью и энергией. На губах, так же живо, как в ее глазах, отражались все ее мысли и чувства: ее губы были то серьезными, то строгими, то улыбались, то грустили — на них как бы разыгрывалась хроматическая гамма тончайших оттенков переживаний.

— А как малютка Фил? — осведомилась она о своем внуке.

— Великолепно.

— Милый малыш! — Теплота чувства миссис Куорлз отразилась в глубокой интонации ее голоса, в свете глаз. — Представляю себе, какой несчастной вы себя чувствовали, покидая его на такой большой срок.

Элинор едва заметно пожала плечами.

— Ну, я знала, что мисс Фулкс и мама гораздо лучше сумеют позаботиться о нем, чем я. — Она рассмеялась и покачала головой. — Боюсь, что природа не создала меня матерью. С детьми я или раздражаюсь, или их балую. Маленький Фил, конечно, прелесть, но, будь их у меня много, я, вероятно, просто сошла бы с ума.

Выражение лица миссис Куорлз изменилось.

— Но разве не чудесно было снова увидеться с ним после стольких месяцев? — Вопрос этот был задан почти тревожным тоном. Она надеялась, что Элинор ответит на него с той горячностью, какую проявила бы при этих обстоятельствах она сама. Но в то же время она боялась, что эта странная молодая женщина ответит (с той откровенностью, которая была в ней так хороша, но которая в то же время внушала беспокойство, потому что она открывала незнакомые и непонятные для Рэчел состояния души), что свидание

с ребенком не доставило ей ни малейшего удовольствия. Первые слова Элинор были для нее облегчением.

— Да, это было чудесно, — сказала она, но сразу же ослабила действие этих слов, добавив: — Я и сама не ожидала, что так обрадуюсь. Но я была страшно взволнована.

Наступило молчание. «Странное существо!» — подумала миссис Куорлз, и на ее лице отразилось то изумление, которое она всегда испытывала в присутствии Элинор. Она изо всех сил старалась полюбить свою невестку; и до известной степени ей это удалось. Элинор обладала множеством прекрасных качеств. Но ей не хватало чего-то, без чего Рэчел Куорлз не могла относиться с полной симпатией ни к одному человеческому существу. Казалось, у нее от рождения отсутствуют некоторые нормальные инстинкты. Не ожидать, что почувствуешь себя счастливой, снова увидев своего ребенка, — это уже само по себе достаточно странно. Но еще более странным показался ей спокойный и небрежный тон, каким было сделано это признание. Сама она стыдилась бы сделать такое признание, даже если бы она действительно так чувствовала. Она сочла бы это своего рода кощунством, отрицанием святыни.

У Рэчел было прирожденное преклонение перед святынями. Отсутствие у Элинор этого преклонения, ее неспособность хотя бы понять святость некоторых вещей мешали миссис Куорлз полюбить свою невестку так, как ей этого хотелось.

Со своей стороны Элинор ценила, уважала, искренне любила свою свекровь. Но ей было необычайно трудно общаться с человеком, чьи взгляды и побуждения представлялись ей непонятными и даже нелепыми. Миссис Куорлз была глубоко религиозна. Она никому не навязывала своей веры, но всеми силами старалась жить согласно своим убеждениям. Элинор восхищалась ею, но находила все это немного смешным и ненужным. Ее самое воспитывали в религиозном духе. Но она не помнила, чтобы когда-нибудь, даже в детстве, она серьезно верила в то, что ей говорили об ином мире и его обитателях. Иной мир внушал ей скуку; ее интересовал только этот мир. Конфирмация взволновала ее не больше, чем первое посещение театра, — вернее сказать, даже гораздо меньше. Ее отрочество прошло без всяких следов религиозного кризиса.

«По-моему, все это такая чушь», — говорила она, когда при ней спорили на подобные темы. И в ее словах не было ни аффектации, ни жела-

ния подразнить. Она просто упоминала о факте своей внутренней биографии. Религия, а вместе с ней и всякая трансцендентальная этика, всякая отвлеченная метафизика казались ей чепухой, подобно тому как запах горгонцолы казался ей отвратительным. Для нее за пределами непосредственного опыта не лежало ничего. Иногда, например в данном случае, ей хотелось думать иначе. Она с удовольствием перешагнула бы через пропасть, отделявшую ее от миссис Куорлз. В присутствии свекрови она чувствовала себя слегка неловко; она стеснялась высказывать при ней свои мысли и чувства. Она знала, что, выражая с полной откровенностью чувства, казавшиеся ей совершенно естественными, и высказывая мнения, казавшиеся ей вполне разумными, она огорчала свою свекровь, точно в этих чувствах и мнениях было что-то неестественное и неприличное. По тому выражению, какое промелькнуло на подвижном лице миссис Куорлз, она поняла, что то же самое получилось и сейчас. А что она, собственно, сказала? Элинор вовсе не хотела обидеть свою свекровь; ей оставалось только недоумевать. Она решила, что в будущем она вообще станет воздерживаться от собственных суждений — она будет просто соглашаться со всем.

Однако следующая тема разговора интересовала Элинор настолько живо, что воздержаться от собственных суждений было немыслимо. К тому же она по опыту знала, что, говоря на эту тему, она не подвергается опасности оскорбить, хотя бы неумышленно, свою собеседницу. Во всем, что касалось Филипа, миссис Куорлз вполне одобряла чувства и взгляды Элинор.

— А как большой Фил? — спросила она.

— Вы сами видите, как он поправился… — Элинор говорила о его здоровье, хотя она отлично знала, что вопрос относится не к его физическому состоянию. Она боялась разговора на эту тему, но в то же время была рада случаю побеседовать о том, что непрерывно занимало ее мысли и огорчало ее.

— Да, да, это я вижу, — сказала миссис Куорлз. — Я спрашивала не о том. Как он чувствует себя внутренне? Каков он с вами?

Наступило молчание. Элинор нахмурила брови и потупилась.

— Далекий, — наконец сказала она.

— Он всегда был таким, — вздохнула миссис Куорлз. — Всегда далеким. — Она считала, что и ему тоже не хватает чего-то, не хватает желания и способности отдавать себя, идти навстречу

людям, даже тем, кто любит его, даже тем, кого он сам любит. Джоффри был совсем другой. Мысль о покойном сыне наполнила миссис Куорлз острой болью. Если бы кто-нибудь сказал ей, что она любила его больше, чем Филипа, она возмутилась бы: она любила обоих одинаково, по крайней мере вначале. Но Джоффри позволял любить себя более полной, более нежной любовью. Если бы Филип позволил больше любить себя! Но между ним и ею всегда была преграда, воздвигнутая самим Филипом. Джоффри шел ей навстречу, давая ей: он не только брал. Но Филип всегда был замкнутым и скупым на чувства. Он закрывал перед ней двери своего «я», точно боясь, что она проникнет в его тайны. Она никогда не знала его настоящих чувств и мыслей. — Даже когда он был совсем ребенком, — проговорила она вслух.

— А теперь у него работа, — сказала Элинор после долгой паузы. — И с ним стало еще труднее. Его работа — точно замок на вершине горы. Он запирается там, и он неприступен.

Миссис Куорлз печально улыбнулась. «Неприступен». Да, именно так. Даже ребенком он уже был неприступен.

— Может быть, он когда-нибудь сдастся сам?

— Мне? — сказала Элинор. — Или кому-нибудь

другому? В последнем случае мне от этого будет мало радости, не так ли? Хотя, когда я настроена альтруистично, — добавила она, — я готова желать, чтобы он сдался кому угодно, лишь бы ему от этого стало лучше.

Слова Элинор вызвали в сознании миссис Куорлз мысль о ее муже. Хотя он был не прав, хотя он делал ей больно, она думала о нем без возмущения, а со снисходительной жалостью. Ей всегда казалось, что он не виноват. Ему просто не повезло.

Элинор вздохнула.

— Нет, я не надеюсь, что он сдастся мне, — сказала она. — Он слишком привык ко мне. Я никогда не смогу стать для него откровением.

Миссис Куорлз покачала головой. Откровения, которые доставлял ей за последние годы Сидни, были несколько неожиданного и унизительного свойства: маленькая судомойка, дочь лесника. Как он может? — спрашивала она себя в тысячный раз. Как может он? Непостижимо.

— Если бы, — почти шепотом сказала она, — если бы вы могли положиться на Бога! — Бог всегда был ее утешением, Бог и выполнение воли Божьей. Она не понимала, как можно жить без Бога. — Если бы вы могли обрести Бога!

Элинор саркастически улыбнулась. Замечания подобного рода всегда раздражали ее, казались ей такими бессмысленными и не относящимися к делу.

— Пожалуй, проще было бы… — начала она, но сразу же остановила себя. Она хотела сказать, что было бы, пожалуй, проще отыскать мужчину. Но, вспомнив свое решение, она умолкла.

— Что вы сказали?

Элинор покачала головой:

— Ничего.

К счастью для мистера Куорлза, у Британского музея нет отделения в Эссексе. Только в Лондоне он мог производить изыскания и собирать материалы для своей книги. Дом на Портмен-сквер пришлось сдать внаем (мистер Куорлз винил в этом подоходный налог, но в действительности ответственны за это были его собственные спекуляции); поэтому, когда научные занятия приводили его в город, ему приходилось останавливаться в скромной маленькой квартирке в Блумсбери («о-очень удобно, так близко к музе-ею»).

За последние несколько недель необходимость в научных изысканиях стала особенно неотложной. Его поездки в Лондон сделались частыми

и длительными. После второй из этих поездок миссис Куорлз с грустью подумала: неужели Сидни опять кого-нибудь себе завел? А когда, вернувшись из третьей поездки и несколькими днями позже, накануне четвертой, он принялся разглагольствовать о сложности демократических учреждений у древних индусов, Рэчел окончательно убедилась, что за всем этим скрыта женщина. Она хорошо знала Сидни. Если бы он действительно читал литературу о древних индусах, он не стал бы разглагольствовать о них за обеденным столом — или, во всяком случае, столь словообильно и назойливо. Сидни говорил по той же причине, по какой испуганная каракатица выпускает сепию: чтобы скрыть свои движения. За дымовой завесой древних индусов он надеялся незаметно ускользнуть в город. Бедный Сидни! Он считал себя таким дипломатом! Но дымовая завеса была прозрачной, его хитрость была детской.

— Почему ты не обратишься в Лондонскую библиотеку, чтобы тебе присылали книги сюда? — многозначительно спросила миссис Куорлз.

Сидни покачал головой.

— Эти книги, — сказал он с важным видом, — есть только в музее.

Рэчел вздохнула: лишь бы только эта женщина оказалась достаточно опытной — настолько, чтобы самой не попасть в беду, однако не настолько, чтобы наделать неприятностей мистеру Куорлзу.

— Пожалуй, завтра я поеду в город вместе с вами, — объявил он утром накануне дня отъезда Филипа и Элинор.

— Опять? — спросила миссис Куорлз.

— Там есть один вопрос насчет этих проклятых индусов, — объяснил он, — который мне просто необходимо выяснить. Я надеюсь найти то, что мне нужно, в книге Праматханатха Банерджи. Или, может быть, об этом говорится у Радакхумуда Мукерджи. — Он произносил их имена внушительным тоном специалиста. — Это относительно ме-естного самоуправления в эпоху Маурья. Такой, знаете ли, демократизм, несмотря на деспотическую центральную власть. Например…

Сквозь дымовую завесу миссис Куорлз уловила очертания женской фигуры.

После завтрака Сидни удалился в свой кабинет и занялся утренним кроссвордом. Разновидность лука, шесть букв. Предвкушение завтрашнего дня не давало ему сосредоточиться. Ее груди, думал он, ее гладкая белая спина… Может быть,

«порей»? Не годится: всего пять букв. Подойдя к книжному шкафу, он взял Библию; ее тонкие страницы зашелестели в его руках: «Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои — как два козленка, двойни серны». Соломон говорил за него, и какими величавыми словами! «Округления бедер твоих как ожерелье, дело рук искусного художника». Он перечел эти слова вслух. У Глэдис была прекрасная фигура. «Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино». Восточные люди знали, что такое страсть. Принимая похотливость за страсть, мистер Куорлз считал себя очень страстным человеком. «Чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями». Страсть достойна уважения, в некоторых странах ее даже уважает закон. Поэты считают ее священной. Он целиком соглашался с поэтами. Но «как два козленка, двойни серны» — неподходящее сравнение: Глэдис была пухленькая, хотя и не жирная, тело у нее было упругое. Тогда как серны… Сидни считал себя человеком сильных страстей, положительно благородной и героической фигурой. «Запертый сад — сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный

источник: рассадники твои — сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами. Нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра...» Ну конечно же, это — чеснок! Шесть букв. Разновидность лука. «Мирра и алой со всякими лучшими ароматами».

На следующее утро их поезд опоздал почти на двадцать минут.

— Возмути-ительно! — повторял мистер Куорлз, взглядывая на часы. — Невыносимо!

— Ты, как видно, очень торопишься к своим индусам, — улыбнулся из своего угла Филип.

Его отец нахмурился и перевел разговор на другую тему. На Ливерпуль-стрит они разъехались в разные стороны: Сидни в одном такси, Филип и Элинор — в другом. Сидни приехал на свою квартиру как раз вовремя. Когда раздался звонок, он еще смывал дорожную грязь со своих больших мясистых рук. Он поспешно ополоснул их и вытерся, затем, придав своему лицу должное выражение, вышел в переднюю и открыл дверь. Это была Глэдис. Он принял ее с королевской снисходительностью, подняв подбородок, откинув плечи, выпятив грудь, но улыбаясь ей сверху

вниз (Глэдис называла себя petite[40]) и милостиво подмигивая ей сквозь полуопущенные веки. Ему в ответ улыбнулось наглое, вульгарное курносое личико. Но не ее лицо привело мистера Куорлза в Лондон, не индивидуальная Глэдис Хелмсли: его влекла в ней женщина как таковая, ее «фигу'а», как иносказательно формулировал это Сидни.

— Вы о-очень пунктуальны, дорогая, — сказал он, протягивая ей руку.

Глэдис была несколько смущена холодностью его приветствия. После того что произошло в последний раз, она ожидала более нежного приема.

— Разве? — сказала она, потому что ей больше нечего было сказать; и так как человеческие существа располагают для выражения своих многочисленных эмоций весьма ограниченным количеством звуков и гримас, она рассмеялась, точно ее что-то позабавило, тогда как на самом деле она была удивлена и обескуражена. На языке у нее вертелся вопрос, почему он не поцеловал ее, неужели она ему надоела *–уже* надоела. Но она решила подождать.

— Почти слишком пунктуальны, — продолжал

---

[40] Примечания: 40
Малышка*(фр.).*

Сидни. — Мой поезд возмутительно опоздал. Возмутительно! — Он излучал негодование.

— Вишь ты! — сказала Глэдис. Внешняя утонченность иногда вдруг спадала с ее речи, которая становилась неприкрыто простонародной.

— Просто возмути-ительно! — сказал Сидни. — Поезда не должны опаздывать. Придется написать начальнику станции на Ливерпуль-стрит. Не знаю, — добавил он с еще более важным видом, — может быть, следовало бы написать и в «Таймс».

На Глэдис эти слова произвели впечатление. Мистер Куорлз на это и рассчитывал. Если оставить в стороне удовлетворение чувственных желаний, самым приятным в этих его сексуальных каникулах было то, что он проводил их с такими женщинами, на которых он «производил впечатление». Чувствовать себя безусловно высшим и искренне обожаемым было для Сидни не меньшим удовольствием, чем сами объятия. Уезжая в город, он отдыхал не только от нравственного образа жизни, но и от того чувства приниженности, которое неуклонно преследовало его повсюду: дома, в парламенте, в конторе. Он хотел быть человеком не только «страстным», но и великим.

Громы, которые метал Сидни, производили на Глэдис нужное впечатление. Но вместе с тем они ее забавляли. Для нее, принадлежавшей к миру бедных и терпеливых рабов заработной платы, которые мирятся с житейскими невзгодами как с явлениями природы, не зависящими ни от действий, ни от желаний людей, мистер Куорлз был олимпийцем. Он был одним из богатых; богатые не мирятся с невзгодами: они пишут письма в «Таймс», они нажимают пружины, используют свое влияние, подают формальные иски при содействии всегда дружелюбной и услужливой полиции. Глэдис это казалось удивительным, но в то же время очень комичным. В поведении Сидни было что-то чрезмерно шумное и бестолковое. Он слишком напоминал мюзик-холльную пародию на самого себя. Она восхищалась, она прекрасно понимала экономическую и социальную подоплеку поведения Сидни (именно это заставило ее так легко стать любовницей). Но, кроме того, она смеялась. Ей недоставало почтительности.

Мистер Куорлз открыл дверь гостиной и пропустил Глэдис вперед.

— Марш! — сказала Глэдис и вошла.

Он пошел следом за ней. У нее на затылке темные вьющиеся волосы оканчивались стрелкой,

обращенной вниз, к спинному хребту. На ней было тонкое зеленое платье. Сквозь полупрозрачную материю чуть ниже подмышек виднелась линия, где кончалось белье и начиналось голое тело. Черный лакированный пояс косо спускался на бедра; при каждом шаге он с ритмической равномерностью подпрыгивал на ее левом бедре. Чулки были цвета загара. Выросший в эпоху, когда женщины — насколько можно было судить по внешнему виду — передвигались на колесах, мистер Куорлз был особенно восприимчив к икрам, считал современную моду замечательной и никак не мог отделаться от мысли, что молодые женщины, одевающиеся по моде, совершают это неприличие специально ради него, для того чтобы он стал их любовником. Его глаза следовали за изгибами блестящего коричневатого фильдеперса. Но больше всего привлекал его сегодня черный кожаный пояс, подскакивавший на левом бедре с регулярностью механизма при каждом ее шаге. Сидни воспринимал это подпрыгивание как призыв всего неиндивидуализированного вида, всей женской половины человеческого рода.

Глэдис остановилась и обернулась к нему с вызывающей и кокетливой улыбкой. Но мистер Куорлз не ответил ей тем жестом, какого она

ожидала.

— Я привез с собой «Корону», — сказал он. — Пожалуй, лучше начнем сейчас же.

Во второй раз Глэдис испытала удивление, хотела было выразить его вслух, но снова промолчала и села за машинку.

Мистер Куорлз надел пенсне в черепаховой оправе и открыл портфель. Он сделал ее своей любовницей, но это не значило, что он должен терять машинистку, чьи услуги он, в конце концов, оплачивает.

— Пожалуй, — сказал он, глядя поверх пенсне, — мы начнем с писем к начальнику станции и в «Таймс». — Глэдис вставила бумагу и напечатала дату. Мистер Куорлз прочистил горло и начал диктовать. В письмах, думал он с удовлетворением, было несколько превосходных оборотов. «Непростительная расхлябанность, приводящая к потере времени, более дорогого, нежели время сонных железнодорожных бюрократов» — это просто великолепно. Или, например (специально для «Таймс»): «…наглые общественные паразиты находящейся под покровительством государства отрасли народного хозяйства».

— Это их проучит, — удовлетворенно заявил он, перечитав письма. — Посмо-отрим, как они

теперь запляшут. — Он взглянул на Глэдис, ожидая оваций; но улыбка на ее дерзком личике не вполне удовлетворила его. — Какая жалость, что умер старый лорд Хэгуорм! — добавил он, призывая на помощь могущественных союзников. — Я бы написал ему: он был директором железной дороги. — Но последний из Хэгуормов скончался в 1912 году. А Глэдис по-прежнему забавлялась больше, чем восхищалась.

Мистер Куорлз продиктовал еще десяток писем, ответы на корреспонденцию, накопленную за несколько дней до приезда в Лондон, для того чтобы произвести более значительное впечатление, а также для того, чтобы полностью использовать оплачиваемое им рабочее время Глэдис.

— Слава богу, — сказал он, дописав последнее письмо. — Вы не можете себе представить, — продолжал он (великий мыслитель пришел на помощь помещику), — вы не можете себе представить, как раздражают эти житейские мелочи, когда у человека есть более серьезные и значительные темы для размышлений.

— Еще бы, я думаю, — отозвалась Глэдис, думая про себя: «Какой он чудной!»

— Запишите, — приказал мистер Куорлз, которого внезапно осенила мысль. Он откинулся

на спинку кресла и, закрыв глаза, стал ловить ускользавшую от него фразу.

Глэдис ждала, положив пальцы на клавиатуру. Она взглянула на часы на браслете. Десять минут первого. Скоро ленч. Новые часы — это первое, что она заставит его подарить ей. У нее такие дешевые, дрянные часы, и они так скверно идут.

— Для тома «Размышлений», — продиктовал мистер Куорлз, не открывая глаз. Клавиши застучали. «Башня из слоновой кости», — повторил он про себя. Эти слова громким эхом прокатились по коридорам его сознания. Фраза поймана. Он быстро выпрямился, открыл глаза — и его взгляд сейчас же упал на видневшийся гораздо выше колена фильдеперсовый чулок цвета загара.

— Всю свою жизнь, — диктовал он, не отрывая глаз от чулка, — я страдал от неуместного — нет: лучше назойливого — вторжения житейских мелочей. Точка. Некоторые мыслители — запятая — я знаю — запятая — способны не обращать внимания на эти мелочи — запятая — и — запятая — посвятив им столько внимания — запятая — сколько они заслуживают — запятая — с неомраченной душой возвращаются к более возвышенным предметам. Точка.

Наступило молчание. Над фильдеперсом, думал

мистер Куорлз, начинается кожа — гладкая, плотно обтягивающая крепкую, с нежным изгибом плоть. Ласкать и, лаская, ощущать ласкающее прикосновение шелковистой кожи к кончикам пальцев; сжимать пальцами упругую плоть. Даже укусить. Как круглая чаша, как ворох пшеницы.

Вдруг ощутив на себе его взгляд, Глэдис одернула юбку.

— На чем я остановился? — спросил мистер Куорлз.

— «Более возвышенным предметам», — прочла с листа Глэдис.

— Гм. — Он потер нос. — Для меня — запятая — увы — запятая — это спокойствие всегда оставалось недостижимым — точка с запятой — слишком велика моя первая восприимчивость. Точка. Низвергнутый с башен слоновой кости — запятая — где обитает Мысль, — он произнес эту фразу с упоением, смакуя каждое слово, — запятая — в прах обыденного существования — запятая — я прихожу в отчаяние — запятая — я теряю душевное равновесие и не способен снова подняться на мою башню.

Он встал и беспокойно зашагал по комнате.

— В этом — моя беда, — сказал он. — Я слишком восприимчив. У глубокого мыслителя не должно

быть ни темперамента, ни нервов. Он не имеет права быть стра-астным.

Кожа, думал он, упругая плоть. Он остановился позади ее стула. Маленький треугольник вьющихся волос, обращенный острием вниз, к спинному хребту. Он положил руки ей на плечи и склонился над ней.

Глэдис посмотрела на него снизу вверх так дерзко, торжествующе.

— Ну? — спросила она.

Мистер Куорлз нагнулся ниже и поцеловал ее в шею. Она захихикала.

— Как вы щекочетесь!

Его руки ощупывали всю ее, скользили вдоль ее рук, сжимали ее тело — тело всего вида, всего женского пола. Индивидуальная Глэдис продолжала хихикать.

— Бесстыдник, — сказала она, притворяясь, что отталкивает его руки. — Бесстыдник!

XXI

— Месяц назад, — сказала Элинор, когда их такси отъехало от вокзала на Ливерпуль-стрит, — мы были в Удайпуре.

— Это кажется неправдоподобным, — согласился Филип.

— Десять месяцев путешествия прошли как один час в кино. Вот банк. Я начинаю сомневаться: а действительно ли я уезжала? — Она вздохнула. — Довольно неприятное чувство.

— Разве? — ответил Филип. — А я к нему привык. Мне всегда кажется, что до сегодняшнего утра ничего не было. — Он высунулся в окошко. — Не понимаю, для чего люди ездят смотреть Тадж-Махал, когда есть собор Святого Павла. Какое чудо!

— Да. Белый и черный камень — просто замечательно.

— Похоже на гравюру. Вдвойне произведение искусства. Одновременно архитектурный памятник и старинная гравюра. — Он откинулся на спинку сиденья. — Порой я сомневаюсь: было ли у меня когда-нибудь детство, — продолжал он, возвращаясь к предыдущему разговору.

— Это оттого, что ты никогда о нем не думаешь. А для меня многие воспоминания детства реальнее, чем эта улица. Но это потому, что я постоянно думаю о нем.

— Пожалуй, — сказал Филип. — Я очень редко вспоминаю. Вернее, почти никогда. Всегда столько дела и столько мыслей о настоящем.

— У тебя отсутствует религиозное чувство, —

сказала Элинор. — К сожалению.

Они проезжали по Стрэнду. Две маленькие церквушки тщетно старались защититься от подавляющего их Дома Австралии. Во дворе Королевского колледжа группа юношей и девушек сидела на солнышке, ожидая профессора теологии. У главного входа «Гейети» уже стоял хвост; афиши анонсировали четырехсотое представление «Девушки из Биаррица». Рядом с «Савоем» по-прежнему, как и перед отъездом Филипа, продавались со скидкой ботинки — 12 шиллингов 6 пенсов за пару. На Трафальгар-сквер играли фонтаны, скалились львы сэра Эдвина Лэндсира, и любовник леди Гамильтон стоял вознесенный к облакам, точно святой Симеон-столпник. А позади черной от копоти колоннады Национальной галереи все так же бились всадники Уччелло, Рубенс похищал своих сабинянок, Венера смотрелась в зеркало, и среди ликующего хора ангелов Пьеро в волшебно-прекрасном мире рождался Иисус.

Машина повернула вниз по Уайтхоллу.

— Мне доставляет удовольствие думать о чиновниках.

— А мне нет, — сказала Элинор.

— Скребут по бумаге, — продолжал Филип, — с

утра до вечера, чтобы дать нам возможность жить в мире и спокойствии. Скребут и скребут, и вот результат — Британская империя. Как удобно, — добавил он, — жить в мире, где можно поручить другим заниматься всеми скучными делами, начиная от управления страной и кончая приготовлением колбас.

У ворот конногвардейских казарм неподвижно, как статуи, стояли конные часовые. У Кенотафа пожилая леди стояла, закатив глаза и бормоча молитву над «Кодаком», с помощью которого она собиралась сделать моментальный снимок с душ девятисот тысяч убитых. Чернобородый сикх в сиреневом тюрбане вышел от Гриндли. Биг-Бен показывал двадцать семь минут двенадцатого. Дремал ли в этот час какой-нибудь маркиз в библиотеке палаты лордов? Компания американцев выгрузилась из туристского автобуса у дверей Вестминстерского аббатства. Посмотрев назад сквозь окошечко в кожаном верхе машины, Филип и Элинор убедились, что госпиталь по-прежнему нуждается в пожертвованиях.

Дом Джона Бидлэйка находился на Гровенор-роуд, он выходил на Темзу.

— Пимлико, — мечтательно сказал Филип, когда они подъехали. Он рассмеялся. — Помнишь

ту глупую песенку, которую всегда распевал твой отец?

— «Мы в Пимлико с тобой пойдем», — продекламировала Элинор.

— «А дальше стих не напечатан» — не забывай. — Оба засмеялись, вспомнив комментарии Джона Бидлэйка: «А дальше стих не напечатан». — Он не напечатан во всех антологиях. Я так и не мог узнать, что же произошло, когда они попали в Пимлико. Это мучило меня несколько лет. Ничто так не воспламеняет воображение, как вычеркивание из книг неприличных мест.

— Пимлико, — повторил Филип. Старик Бидлэйк, думал он, превратил Пимлико в своего рода Олимп в духе Рабле. Эта фраза понравилась ему. Только придется поставить вместо «Рабле» — «Гаргантюа». Для тех, кто никогда не читал Рабле, его имя ассоциируется только с похабщиной. Ну что ж, тогда Олимп в духе Гаргантюа. О Гаргантюа они хоть понаслышке знают, что он был очень большой.

Джон Бидлэйк, сидевший у камина в своей мастерской, меньше всего походил на олимпийца: он казался не выше своего роста, как обычно, а наоборот — ниже. Он подставил Элинор щеку для поцелуя и вяло пожал руку Филипу.

— Рад вас видеть, — сказал он. Его голос потерял звучность: в нем не слышалось больше громких раскатов веселого хохота. Он говорил без всякого одушевления. Налитые кровью глаза были тусклы. Он похудел и постарел.

— Как ты себя чувствуешь, отец? — Элинор была удивлена и огорчена. Никогда еще она не видела отца таким.

— Неважно, — ответил он, качая головой, — неважно. С внутренностями что-то не в порядке. — Старый лев неожиданно зарычал по-прежнему. — И для чего только нужна вся эта требуха внутри нас; Бог вздумал поиздеваться над людьми, когда создал их такими. — Рычание стало жалобным. — Не понимаю, что творится у меня во внутренностях. — Он уже не рычал, а скулил. — Что-то очень неприятное. Чувствую себя отвратительно. — И старик со всеми подробностями описал симптомы своей болезни.

— Ты был у доктора? — спросила Элинор, когда он кончил.

Он покачал головой.

— Не верю я им. Все равно от них никакого толка. — На самом деле он испытывал перед докторами суеверный страх. Он боялся появления этих зловещих птиц у себя в доме.

— А следовало бы. — Она принялась уговаривать.

— Ладно, — ворчливо согласился он наконец. — Зови уж своих шарлатанов. — Но втайне он был даже доволен. Он давно уже хотел поговорить с доктором, но до сих пор суеверие оказывалось сильнее этого желания. Теперь зловещий врач придет, но не по его приглашению — по приглашению Элинор. Он за это не отвечает, значит, судьба накажет не его. Верования старого Бидлэйка были крайне запутанными.

Разговор перешел на другие темы. Теперь, когда выяснилось, что он, ничем не рискуя, может посоветоваться с доктором, Джон Бидлэйк сразу повеселел.

— Он меня беспокоит, — сказала Элинор, когда они ехали от него.

Филип кивнул.

— Семьдесят три года — не шутка. И он теперь уже не кажется моложе своих лет.

«Какая красивая голова!» — думал он. Он жалел, что не умеет рисовать. Словами этого не передашь. Конечно, можно описать — до последней морщинки. А чего этим достигнешь? Описания медлительны. А лицо воспринимаешь сразу. Одно слово, одна фраза — вот что нужно.

«Одряхлевшая античная статуя». Да, это кое-что передаст. Но только это не годится. В цитатах есть что-то глупо-педантичное. Пожалуй, лучше «пергаментное изваяние». «У камина, сгорбившись, сидело пергаментное изваяние того, кто некогда был Ахиллом». Это уже ближе к цели. Без водянистых описаний. Всякий человек, хоть раз видевший Дискобола, державший в руках переплетенную в пергамент книгу, слышавший об Ахилле, увидит в этой фразе Джона Бидлэйка. А те, кто никогда не видел греческих статуй и не читал рассказа об Ахилле в книге, переплетенной в сморщенную от старости овечью кожу? Ну, до них ему нет никакого дела. «И все-таки, — подумал он, — это слишком литературно, слишком изысканно». Элинор прервала молчание.

— Интересно, как выглядит Эверард теперь, когда он стал великим человеком. — Мысленно она увидела энергичное лицо, огромную, но подвижную фигуру. Быстрота и натиск. Он в нее влюблен. А она? Нравится он ей или она ненавидит его?

— Интересно, начал он уже щипать людей за ухо, как Наполеон? — рассмеялся Филип. — Впрочем, это только вопрос времени.

— И все-таки, — сказала Элинор, — он мне нравится. — Насмешка Филипа ответила на тот

вопрос, какой она себе задавала.

— Мне тоже. Но разве нельзя смеяться над тем, что любишь?

— Ты вечно смеешься надо мной. Это оттого, что ты любишь меня?

Он поцеловал ей руку.

— Я обожаю тебя и никогда над тобой не смеюсь. Я отношусь к тебе вполне серьезно.

Элинор посмотрела на него. Теперь она не улыбалась.

— Иногда ты доводишь меня до белого каления. Скажи, что стал бы ты делать, если бы я ушла к другому мужчине? Огорчился бы ты хоть капельку?

— Я был бы глубоко несчастен.

— В самом деле? — Она посмотрела на него. Филип улыбался; он был за тысячи миль от нее. — Знаешь, мне хотелось бы проделать этот опыт, — сказала она, нахмурившись. — Но будешь ли ты несчастен? Я хочу знать наверное.

— А вместе с кем ты будешь его проделывать?

— В этом-то все несчастье. Почти все мужчины просто невыносимы.

— Какой комплимент для меня!

— Но ты тоже невыносим, Фил. Пожалуй, ты даже самый невыносимый из всех. А хуже всего

то, что, несмотря на все это, я тебя люблю. И ты это знаешь. Да, знаешь и пользуешься этим. — Машина подъехала к тротуару. Элинор достала зонтик. — Но смотри, — сказала она, вставая, — меня нельзя без конца эксплуатировать. Мне надоело давать, ничего не получая взамен. На днях я начну подыскивать себе другого мужчину. — Она вышла из такси.

— Что ж, попробуй Эверарда, — фыркнул он, смотря на нее из окошка.

— Может быть, я так и сделаю, — ответила она. — Эверард только этого и дожидается. — Филип рассмеялся и послал ей воздушный поцелуй.

— Скажи шоферу, чтоб вез меня в клуб, — попросил он.

Эверард заставил себя ждать минут десять. Попудрившись, Элинор принялась изучать комнату. Букет на столе был составлен ужасно. А витрина со старинными мечами, кинжалами и инкрустированными пистолетами была безобразна — она точно попала сюда из музея, — чудовищна и в то же время трогательно-нелепа. У Эверарда была школьническая страсть ездить верхом и рубить людям головы; витрина выдавала его с головой, так же как этот стол, покрытый большим стеклом, под которым лежала целая коллекция монет и

медалей. С какой гордостью показывал он ей свои сокровища! Здесь была македонская тетрадрахма с головой Александра Великого, изображенного в виде Геркулеса; сестерция 44 года до нашей эры с внушительным профилем Цезаря; нобль Эдуарда III с изображением корабля, символизировавшего начало морского могущества Англии. А вот, на медали Пизанелло, голова Сигизмондо Малатеста, самого красивого из разбойников, а вот королева Елизавета в брыжжах, Наполеон в лавровом венке и герцог Веллингтон. Она приветливо улыбнулась монетам; они были старыми друзьями. Самое лучшее в Эверарде то, подумала она, что на его счет обманываться невозможно. Он всегда был самим собой. Она открыла крышку рояля и взяла аккорд: как всегда расстроен.

На столике у камина лежал томик последних «Речей и воззваний» Эверарда. Она перелистала несколько страниц. «Политику “свободных британцев”, — прочитала она, — можно вкратце охарактеризовать как социализм без демократии, сочетающийся с национализмом без шовинизма». Звучит великолепно. Но если бы он написал «демократия без социализма, сочетающаяся с шовинизмом без национализма», она, вероятно, испытала бы столь же искреннее восхищение.

Ох, уж эти абстракции! Она покачала головой и вздохнула. «Наверное, я просто дура», — подумала она. Но для нее это были слова, и больше ничего, пустые слова. Она перевернула страницу. «Система партий хороша только тогда, когда партии представляют собой лишь группировки соперничающих олигархов, принадлежащих к одному классу, одушевленных, по существу, одинаковыми стремлениями и идеалами и борющихся друг с другом за власть. Но когда партии отождествляются с классами и разногласия между ними переходят на принципиальную почву, эта система становится безумием. Только из-за того, что я сижу в одном конце зала, а вы — в другом, я обязан верить в индивидуализм, отвергающий какое бы то ни было вмешательство государства, а вы обязаны верить во вмешательство государства, отвергающее какой бы то ни было индивидуализм; я обязан верить в национализм, даже в области экономики (где он бессмыслен), а вы обязаны верить в интернационализм, даже в области политики (где он не менее бессмыслен); я обязан верить в диктатуру богатых (вплоть до устранения интеллигенции), вы обязаны верить в диктатуру бедных (тоже вплоть до устранения интеллигенции). И все это по той простой и по-

литически несущественной причине, что я сижу справа, а вы сидите слева. В наших парламентах топографический принцип имеет большее значение, нежели здравый смысл. Таковы прелести современной системы партий. Задача “свободных британцев” — уничтожить эту систему, а вместе с ней и ее логическое завершение — гнилой, бестолковый парламентаризм».

Все это прекрасно, но все-таки, спрашивала она себя, чего ради люди обращают столько внимания на подобные вещи? Вместо того чтобы просто жить. По-видимому, мужчинам скучно «просто жить». Она открыла книгу на другой странице. «Каждый раз, когда англичане отвоевывали себе в какой-нибудь области свободу, они расплачивались за нее новым рабством. Гибель феодализма усилила королевскую власть. Во время реформации мы сбросили с себя ярмо догмата о непогрешимости папы, но зато приняли догмат божественного права короля. Кромвель уничтожил это божественное право, но навязал нам тиранию землевладельцев и буржуазии. Теперь тирания землевладельцев и буржуазии разрушается, но на смену ей идет диктатура пролетариата. Снова провозглашена непогрешимость — на этот раз не папы, а большинства,

— непогрешимость, верить в которую принуждает нас закон. “Свободные британцы” стремятся к новой реформации, к новому политическому перевороту. Мы отвергаем диктатуру пролетариата, подобно тому как наши отцы отвергли божественное право короля. Мы отрицаем непогрешимость большинства, как они отрицали непогрешимость папы. “Свободные британцы” борются за…» Элинор никак не удавалось перевернуть страницу. Борются за что? — думала она. За диктатуру Эверарда и непогрешимость Уэбли? Она подула; непокорные страницы разошлись.

«…за справедливость и свободу. Они стремятся к тому, чтобы правили лучшие, каково бы ни было их происхождение. Карьера должна быть открыта перед каждым, кто обладает способностями. Это и есть справедливость. Они требуют, чтобы каждый вопрос разрешался беспристрастно, разумно, независимо от партийных предрассудков или от мнения бессмысленного большинства. Это и есть свобода. Тот, кто воображает, будто свобода есть синоним всеобщего избирательного права…» Хлопнула входная дверь; в холле раздался громкий голос. На лестнице послышались громкие, поспешные шаги; весь дом дрожал от них. Дверь в кабинет распахнулась, точно позади нее

взорвалась бомба. В комнату со взрывом громких извинений и приветствий вошел Эверард Уэбли.

— Как мне заслужить ваше прощение? — воскликнул он, сжимая ее руки. — Но если бы вы знали, в каком водовороте я живу! Какое счастье снова видеть вас! Вы ничуть не изменились. По-прежнему прекрасны. — Он пристально посмотрел на нее. — Все те же спокойные светлые глаза, все те же полные, грустные губы. И какой у вас чудесный вид.

Она улыбнулась ему в ответ. У него были очень темные глаза: издали казалось, что они состоят из одного зрачка. Красивые глаза, думала она, но слишком волнуют своим пристальным, блестящим взглядом. Несколько мгновений она смотрела ему прямо в глаза, потом отвернулась.

— Вы тоже, — сказала она, — вы все такой же. Но почему, собственно, мы должны меняться? — Она снова посмотрела ему в лицо и заметила, что он все еще не спускает с нее пристального взгляда. — Десять месяцев и путешествие в тропики не делают человека другим.

— Слава богу! — засмеялся Эверард. — Пойдемте позавтракаем. — А Филип? — спросил он, когда им подали рыбу. — Он тоже все такой же?

— Еще более такой же, если это возможно.

— Еще более такой же. — Эверард кивнул. — Понятно. Этого следовало ожидать. Зрелище дикарей, разгуливающих в чем мать родила, должно было укрепить его скептическое отношение к вечным истинам.

Элинор улыбнулась, но в то же время его насмешка слегка обидела ее.

— А какое действие оказало на вас зрелище многих англичан, разгуливающих в гороховых мундирах? — отпарировала она.

Эверард рассмеялся.

— Укрепило мою веру в вечные истины, разумеется.

— В вечные истины — в том числе и в самого себя?

Он кивнул.

— В том числе, разумеется, и в самого себя.

Они, улыбаясь, глядели друг на друга. И снова Элинор первая опустила глаза.

— Спасибо, что вы мне это сказали: сама я, пожалуй, не догадалась бы, что вы тоже одна из вечных истин.

Наступило молчание.

— Не извольте воображать, — сказал он наконец тоном, ставшим из шутливого серьезным, — что вам удастся вывести меня из себя, сказав,

что у меня закружилась голова. — Он говорил мягко, но в нем чувствовалась огромная сила. — Другим людям это иногда удается. Но, знаете ли, низшим животным не очень-то позволяют быть надоедливыми. Их давят. И с людьми разговаривают разумно.

— Приятно слышать, что я хоть человек, — рассмеялась Элинор.

— Вы думаете, что успех вскружил мне голову? — продолжал он. — В известном смысле это, пожалуй, и верно. Но вся беда в том, что я считаю этот успех заслуженным. Скромность вредна, если она ложная. Мильтон сказал: «Ничто так не полезно человеку, как высокая самооценка, если она оправданна и справедлива». Я знаю, что мое высокое мнение о себе справедливо и заслуженно. Я знаю, я абсолютно убежден, что я могу сделать все, что я хочу. Какой смысл отрицать то, что я знаю? Я буду господином, я буду диктовать свою волю. У меня есть решимость и мужество. Очень скоро у меня будет организованная сила. А тогда я захвачу власть. Я знаю это — зачем же мне притворяться, будто я не знаю? — Он откинулся на спинку стула. Воцарилось молчание.

«Как глупо, — думала Элинор, — как смешно рассуждать подобным образом». Ее критически

настроенный интеллект восставал против ее чувств. Чувства ее были возбуждены. Его слова, его голос — такой мягкий, но в то же время полный скрытой силы и страсти — волновали ее. Когда он сказал: «Я буду господином», по всему ее телу разлилась такая теплота, точно она выпила глинтвейна. «Как смешно», — повторила она про себя, пытаясь отомстить ему за его легкую победу, пытаясь наказать изменников внутри своей души, которые так легко сдались ему. Но сделанного не переделаешь. Может быть, эти слова действительно смешны, и все-таки, когда он произносил их, ее охватила дрожь восхищения, она почувствовала себя взбудораженной, у нее возникло непонятное желание ликовать и громко смеяться.

Лакей переменил тарелки. Они говорили на всякие безразличные темы: о ее путешествии, о том, что произошло в Лондоне в ее отсутствие, об общих знакомых. Принесли кофе; они закурили сигареты и снова замолчали. «Чем нарушится это молчание?» — с некоторым страхом спрашивала себя Элинор. Но она сама знала, чем оно кончится, и именно это пророческое знание заставляло ее бояться. Может быть, она сумеет опередить его и сама нарушит молчание. Может

быть, если она будет продолжать болтать, ей удастся не выходить из круга незначительных тем до той минуты, когда пора будет прощаться. Но неожиданно оказалось, что говорить ей не о чем. Она почувствовала себя словно парализованной приближением неизбежного. Она могла только сидеть и ждать. И наконец неизбежное произошло.

— Вы помните, — медленно сказал он, не глядя на нее, — что я говорил вам перед вашим отъездом?

— Мне кажется, мы решили не возвращаться к этому.

Он откинул голову назад и тихонько рассмеялся.

— Напрасно вам так кажется. — Он посмотрел на нее и увидел в ее глазах растерянность и тревогу, увидел в них мольбу о пощаде. Но Эверард не знал пощады. Он положил локти на стол и подался вперед. Она опустила глаза. — Вы сказали, что внешне я не изменился, — сказал он своим мягким голосом, в котором чувствовалась скрытая страсть и сила. — Что ж, внутренне я тоже не изменился. Я все такой же, Элинор, я все такой же, как перед вашим отъездом. Я люблю вас попрежнему, Элинор. Нет, я люблю вас еще сильнее.

— Ее рука неподвижно лежала на столе. Он взял ее в свою руку. — Элинор, — прошептал он.

Она покачала головой, не подымая глаз.

Но он все говорил, мягко и страстно.

— Вы не знаете, что такое любовь, — сказал он. — Вы не знаете, что я могу дать вам. Любовь, безудержную и безрассудную, как потерянная надежда. И в то же время нежную, как любовь матери к больному ребенку. Любовь неистовую и тихую: неистовую, как преступление, и тихую, как сон.

«Слова, — думала Элинор, — глупые мелодраматические слова». Но они волновали ее, так же как его хвастовство.

— Прошу вас, Эверард, — сказала она вслух, — не надо больше. — Она не хотела поддаваться своему волнению. Она посмотрела ему в лицо, в его блестящие пытливые глаза, и сделала над собой усилие, чтобы не отвести взгляда. Она заставила себя рассмеяться, она покачала головой. — Вы отлично знаете, что это невозможно.

— Единственное, что я знаю, — медленно сказал он, — это что вы боитесь. Боитесь вернуться к жизни. Потому что все эти годы вы были наполовину мертвы. У вас не было возможности жить полной жизнью. И вы знаете, что я могу дать вам

эту возможность. И вы боитесь, вы боитесь!

— Какой вздор! — сказала она. — Все это декламация и мелодрама.

— И может быть, по-своему, вы правы, — продолжал он. — Жить по-настоящему, жить полной жизнью — не шуточное дело. Но, черт возьми, — добавил он, и голос его вдруг загремел — проявилась таившаяся в нем сила, — это увлекательно!

— Господи, до чего вы меня напугали! — сказала она. — Нельзя же так кричать! — Но она испытывала не только страх. Нервы и самая ее плоть все еще трепетали от непонятного, но бурного ликования, которое пробудил в ней его голос. «Но это же смешно», — убеждала она себя. И все-таки ей казалось, что она слышала его голос всем своим телом. Казалось, что от его отзвуков у нее трепетала диафрагма. «Смешно», — повторила она. И что это за любовь такая, о которой он говорит с таким волнением? Просто случайные вспышки страсти в промежутке между работой. Он презирал женщин, ненавидел их за то, что они отнимают у мужчин время и энергию. Он не раз говорил при ней, что у него нет времени для любви. Его ухаживание было почти оскорбительно, как приставание к уличной женщине.

— Образумьтесь, Эверард, — сказала она.

Эверард опустил ее руку и со смехом откинулся на спинку стула.

— Ладно, — ответил он. — Но только на сегодня.

— Навсегда. — Она почувствовала огромное облегчение. — К тому же, — с иронической улыбочкой добавила она, повторяя сказанную им когда-то фразу, — вы не принадлежите к сословию бездельников и паразитов, у вас есть дела поважнее любви.

Некоторое время Эверард молча смотрел на нее, и его лицо было строгим и задумчивым. Дела? Поважнее? Да, конечно, это так. Он сердился на самого себя за то, что он так желал ее. Сердился на Элинор за то, что она отказывалась удовлетворить его желание.

— Ну что ж, побеседуем о Шекспире? — саркастически спросил он. — Или о музыкальных стаканах?

Счетчик показывал три шиллинга и шесть пенсов. Филип дал шоферу пять шиллингов и поднялся по ступеням портика своего клуба; вслед ему раздавались благодарственные восклицания шофера. Давать на чай больше чем следует вошло у него в привычку. Он делал это не из

показной щедрости и не потому, что он требовал или хотел потребовать особой услужливости. Наоборот, немногие люди предъявляли к слугам меньшие требования, чем Филип, относились так терпеливо к недостатку услужливости и с такой готовностью прощали нерадивость. Его кажущаяся щедрость была внешним выражением презрения к людям, но полного угрызений совести и раскаяния. Он словно говорил: «Бедняга! Прости меня за то, что я выше тебя». Возможно также, что излишними чаевыми он просил извинения именно за свою деликатность. Его малая требовательность происходила столько же от страха и нелюбви к ненужному общению с людьми, сколько от внимательности и доброты. От тех, кто оказывал ему услуги, Филип требовал немного по той простой причине, что он стремился соприкасаться с ними как можно меньше. Их присутствие мешало ему. Он не любил, когда в его жизнь вторгались посторонние люди. Ему было неприятно оттого, что он принужден был разговаривать с этими посторонними людьми, входить с ними в непосредственное соприкосновение на почве не интеллекта, а чувства, понимания, желаний. Он по возможности избегал всякого общения, а когда это ему не удавалось, старался

устранить из него все личное и человеческое. Щедрость Филипа была возмещением за его бесчеловечную доброту к тем, на кого она была направлена. Он как бы откупался от собственной совести.

Дверь была открыта. Он вошел. Вестибюль был просторный, полутемный, прохладный, весь в колоннах. Аллегорическая мраморная группа работы сэра Фрэнсиса Чантри — «Наука и Добродетель, побеждающие Страсти», — изогнувшись в отменно классических позах, стояла в нише на лестнице. Он повесил шляпу и прошел в курительную, чтобы просмотреть газеты в ожидании приглашенных. Первым явился Спэндрелл.

— Скажите, — сказал Филип, когда они обменялись приветствиями и заказали вермут, — скажите мне скорее, пока он не пришел, что с моим нелепым шурином? Что у них там такое с Люси Тэнтемаунт?

Спэндрелл пожал плечами.

— Что обычно бывает в таких случаях? К тому же уместно ли здесь вдаваться в детали? — Кивком головы он показал на присутствующих: поблизости сидели министр, двое судей и епископ.

Филип рассмеялся.

— Но я хотел только узнать, насколько все это серьезно и как долго это может продлиться…

— Со стороны Уолтера — очень серьезно. Что же касается продолжительности — кто знает? Впрочем, Люси скоро уезжает за границу.

— И то слава богу! Ах, вот и он. — Это был Уолтер. — А вот Иллидж. — Он помахал рукой. Уолтер с Иллиджем отказались от аперитива. — В таком случае идемте в столовую.

Столовая в клубе Филипа была огромна. Два ряда алебастровых коринфских колонн поддерживали раззолоченный потолок. Со стен светло-шоколадного цвета взирали портреты знаменитых членов клуба, ныне покойных. По обеим сторонам каждого из шести окон висели винно-красные портьеры; пол был устлан мягкими винно-красными коврами; лакеи в винно-красных ливреях скользили почти невидимо, как жучки-листоеды в лесу.

— Мне всегда нравилась эта зала, — сказал Спэндрелл, входя. — Похоже на декорации к пиру Валтасара.

— Весьма англиканского Валтасара, — уточнил Уолтер.

— Ну и ну! — воскликнул Иллидж, рассматривая комнату. — В таком окружении я чувствую

себя совсем плебеем.

Филип рассмеялся, чувствуя себя довольно неловко. Чтобы переменить тему разговора, он обратил внимание своих собеседников на защитную окраску ливрей лакеев. Они были живым подтверждением дарвиновской теории.

— Выживают наиболее приспособленные, — сказал он, когда они сели за оставленный для них столик. — Лакеи других цветов были, очевидно, истреблены разъяренными членами клуба. — Принесли рыбу. Они принялись за еду.

— Как странно, — сказал Иллидж, развивая мысль, вызванную в нем первым впечатлением от зала, — как невероятно то, что я вообще попал сюда. Странно то, что я сижу здесь как гость. Конечно, не было бы ничего удивительного, если бы я очутился здесь в ливрее винно-красного цвета: это вполне соответствовало бы тому, что священники назвали бы моим «положением в жизни». — Он злобно рассмеялся. — Но сидеть здесь с вами — это просто-таки неправдоподобно. И все это потому, что у одного манчестерского лавочника был сын с предрасположением к золотухе. Если бы Реджи Райт был здоровым мальчиком, я, вероятно, чинил бы башмаки в Ланкашире. Но, к счастью, в лимфатическую систему Реджи попа-

ли туберкулезные бациллы. Доктора предписали ему жизнь на свежем воздухе. Его отец снял в нашей деревне коттедж для жены и сына, и Реджи поступил в сельскую школу. Отцу хотелось, чтобы Реджи сделал блестящую карьеру. Кстати, омерзительный был мальчишка! — в скобках заметил Иллидж. — Он хотел, чтобы Реджи попал в Манчестерский университет, чтобы он получил стипендию, он платил нашему школьному учителю, чтобы тот специально занимался с ним. Я был способным мальчишкой; учитель меня любил. Он решил, что заодно с Реджи он может учить и меня. К тому же даром. Не позволял моей матери платить ни единого пенни. Да вряд ли она и смогла бы, бедняжка. Когда пришло время экзаменов, стипендию получил я. Реджи провалился. — Иллидж захохотал. — Несчастный золотушный выродок! Но я по гроб жизни буду благодарен ему и бациллам, которые проникли в его же́лезы. Вот от чего зависит вся жизнь человека — от какой-то глупой случайности, единственной на миллион. Какой-то совершенно случайный факт — и вся жизнь переменилась.

— Вовсе не случайный, — возразил Спэндрелл. — Вы получили стипендию как раз потому, что это вполне соответствовало вам. В противном

случае вы не получили бы ее и не сидели бы с нами здесь. Не знаю, бывает ли в жизни вообще что-нибудь случайное для человека. Все, что случается с человеком, неизбежно похоже на него самого.

— Сомнительно и немного туманно, — возразил Филип. — Воспринимая события, люди искажают их на свой лад, и поэтому то, что происходит, кажется им похожим на них самих.

Спэндрелл пожал плечами.

— Искажение, может быть, и есть. Но я верю, что с каждым из нас случается именно то, что ему соответствует.

— Какая ерунда! — с отвращением сказал Иллидж.

Филип выразил свое неодобрение в более вежливой форме.

— Но ведь одно и то же событие может повлиять на разных людей совершенно различным способом.

— Согласен, — ответил Спэндрелл. — Я не знаю, как это происходит, но почему-то каждое событие становится другим, качественно другим, соответственно характеру каждого из затронутых им людей. Это — великая тайна, и это — парадокс.

— Не говоря уже о том, что это нелепо и невоз-

можно, — вставил Иллидж.

— Что ж, пускай нелепо, пускай невозможно, — согласился Спэндрелл. — И все-таки я верю, что именно так оно и есть. Почему все должно быть логически обосновано?

— В самом деле, почему? — отозвался Уолтер.

— И все-таки, — сказал Филип, — ваше Провиде́ние, которое делает одно и то же событие качественно различным для различных людей, — не слишком ли это неправдоподобно?

— Не более неправдоподобно, чем то, что мы все четверо сидим здесь, не более неправдоподобно, чем все это. — Движением руки он показал на валтасаровскую столовую, на обедающих, на лакеев цвета сливы и на постоянного секретаря Британской академии, который в эту минуту входил в зал вместе с профессором поэтики Кембриджского университета.

Но Филип не сдавался:

— Но ведь если предположить, как делают ученые, что наиболее приемлема простейшая гипотеза, — хотя я всю жизнь не мог понять, какие у них к тому основания, кроме, разумеется, человеческой неспособности охватить сложное…

— Слушайте, слушайте!

— Какие основания? — повторил Иллидж. —

Единственное, на чем они основываются, — это наблюдение над фактами. Экспериментально доказано, что природа делает все простейшим способом.

— А может быть, — сказал Спэндрелл, — все дело в том, что люди способны понять только простейшие объяснения? В конце концов на практике это сводится к тому же.

— Но если какой-нибудь факт имеет простое и естественное объяснение, не может же он иметь одновременно другое объяснение, сложное и сверхъестественное.

— Почему нет? — спросил Спэндрелл. — Может быть, вы просто не в состоянии увидеть сверхъестественные силы, действующие позади естественных. Вопрос о разнице между естественным и сверхъестественным оставим пока в стороне. Но это еще не значит, что сверхъестественного вообще нет: вы просто свою неспособность понять возводите до уровня всеобщего закона.

Филип воспользовался случаем, чтобы докончить свое возражение.

— Но если даже признать, — вмешался он раньше, чем успел заговорить Иллидж, — что простейшее объяснение является в то же время самым верным, ведь и тогда самым простым

объяснением именно и будет утверждение, что каждый человек искажает события по образу своему и подобию — в зависимости от своего характера и прошлого. Мы видим отдельных людей, но мы не видим Провиде́ния; его существование приходится принимать на веру. Разве не удобнее вообще обходиться без него, если оно совершенно излишне?

— Но излишне ли оно? — сказал Спэндрелл. — Можно ли объяснить все факты, не прибегая к нему? Сомневаюсь. А как быть с теми, кто легко поддается влиянию? (А ведь все мы в большей или в меньшей степени поддаемся чужому влиянию. Все мы не только родились такими, но и сформировались под чьим-то воздействием.) А как же быть с теми, чей характер создался целым рядом неумолимо следующих одно за другим событий одного и того же типа? Когда человеку, как говорится, «всю жизнь везет» или «всю жизнь не везет»; когда все толкает его к чистоте или, наоборот, к грязи; когда ему из раза в раз представляется возможность быть героем или, наоборот, быть мерзавцем? После такой серии событий (просто невероятно, как долго она может продолжаться!) характер сформировался; а тогда, если вам угодно объяснять это именно так, вы

можете говорить, что это сам человек искажает все случившееся с ним по своему образу и подобию. Но ведь тогда, когда у него еще не было определенного характера, по образу которого он мог бы искажать события, — тогда что? Кто предрешил, что с ним должно случаться именно это, а не что-нибудь другое?

— Кто предрешает, какой стороной упадет на землю монетка? — презрительно спросил Иллидж.

— Да при чем тут монетки? — ответил Спэндрелл. — При чем тут монетки, когда мы говорим о людях? Возьмите себя. Вы что, чувствуете себя монеткой, когда с вами что-нибудь случается?

— Не все ли равно, что я чувствую? Чувства не имеют ни малейшего отношения к объективным фактам.

— Зато ощущения имеют. Наука занимается осмысливанием наших чувственных восприятий. Почему мы должны признавать научную ценность за одним видом восприятий и отрицать ее за всеми другими? Когда какое-нибудь событие мы непосредственно воспринимаем как акт Провиде́ния, это, может быть, не меньше содействует нашему познанию объективной действительности, чем непосредственное восприятие желтизны

или твердости. А когда с человеком что-нибудь случается, он вовсе не чувствует себя монеткой. Он чувствует, что события имеют смысл, что они происходят в определенной последовательности. Особенно когда из раза в раз повторяются события одного типа. Скажем, решки сто раз подряд.

— Уж лучше орлы, — со смехом заметил Филип, — мы ведь как-никак интеллигенция.

Спэндрелл нахмурился. Он говорил вполне серьезно, и это шутливое замечание обидело его.

— Когда я думаю о себе, — сказал он, — я уверен, что все, что произошло со мной, было подстроено кем-то заранее. В детстве у меня было предчувствие того, чем я мог бы стать, если бы не обстоятельства. Ничего общего с моим теперешним «я».

— Что, ангелочком? — сказал Иллидж.

Спэндрелл не обратил на его слова ни малейшего внимания.

— Но с тех пор, как мне минуло пятнадцать лет, со мной начали случаться события, необычайно похожие на меня — на того меня, каким я стал теперь. — Он замолчал.

— И поэтому вместо нимба и крылышек у вас выросли копыта и хвост. Грустная история! Кстати, — обратился Иллидж к Уолтеру, — вы

вот специалист по искусству или, по крайней мере, считаете себя таковым; так вот, обращали вы когда-нибудь внимание на то, что изображения ангелов абсолютно неправдоподобны и антинаучны? — Уолтер покачал головой. — Если бы у мужчины весом в семьдесят килограммов появились крылья, ему, чтобы приводить их в движение, понадобилась бы колоссальная мускулатура. А для этого, в свою очередь, нужна была бы соответственно большая грудная клетка, как у птиц. Ангел весом в сто сорок фунтов, чтобы летать так же хорошо, как, скажем, утка, должен был бы обладать грудной клеткой, выступающей вперед по меньшей мере на четыре или пять футов. Скажите это вашему отцу на тот случай, если он задумает написать Благовещение. Все существующие Гавриилы до неприличия неправдоподобны.

Тем временем Спэндрелл думал о своем отрочестве: о блаженстве среди гор, об утонченных переживаниях, угрызениях совести, о приступах раскаяния и о том, как все это — раскаяние по поводу дурного поступка в не меньшей степени, чем острое наслаждение при виде цветка или пейзажа, — как все это было связано с его чувством к матери, вырастало из него и переплеталось с

ним. Он вспоминал «Парижский пансион для девиц», который он читал, накрывшись с головой одеялом, при свете карманного фонарика. Книга была написана в ту эпоху, когда верхом порнографии считались длинные черные чулки и длинные черные перчатки, когда считалось, что «целовать мужчину без усов — это все равно что есть яйцо без соли». У приапического майора, соблазнителя молодых девушек, были длинные, вьющиеся, нафабренные усы. Как ему было стыдно и как он терзался! Как он боролся и как горячо молился, чтобы Бог дал ему силу! И Бог, которому он молился, был похож на его мать. Чтобы быть достойным ее, он должен был не поддаваться искушению. Уступая соблазну, он изменял ей, он отвергал Бога. И он уже начал побеждать. И вдруг, как гром из безоблачного неба, пришло известие, что она выходит замуж за майора Нойля.

У майора Нойля тоже были вьющиеся усы.

— Блаженный Августин и кальвинисты были правы, — сказал он вслух, прерывая спор о грудной клетке серафимов.

— Все еще не успокоились? — сказал Иллидж.

— Бог спасает одних людей и осуждает других.

— Вернее сказать, он сделал бы это, если бы: а) он существовал, б) существовало бы спасение,

и в)...

— Когда я думаю о войне, — прервал его Спэндрелл, — о том, чем она могла бы быть для меня и чем она стала на самом деле. — Он пожал плечами. — Да, Августин был прав.

— Я со своей стороны, — сказал Филип, — могу быть только благодарен Августину, или кому там еще, за мою искусственную ногу. Она помешала мне стать героем, но зато не дала мне стать трупом.

Спэндрелл взглянул на него; уголки его большого рта иронически вздрогнули.

— Ваше несчастье обеспечило вам спокойную, обособленную жизнь. Иными словами, событие было таким, как вы сами. Для меня же война была именно такой, каким был я. В год объявления войны я был в Оксфорде.

— А, добрый старый колледж! — сказал Иллидж; он не мог равнодушно, без язвительных замечаний слышать названия старинных и аристократических учебных заведений.

— Три чудесных семестра и дважды еще более чудесные каникулы. Тогда я впервые вкусил от алкоголя и покера и познал разницу между живыми женщинами и женщинами в отроческом воображении. Какое откровение — первая

настоящая женщина! И в то же время — какое тошнотворное разочарование! После лихорадочных грез и порнографических книг это казалось таким плоским.

— Это комплимент по адресу искусства, — сказал Филип. — Я уже не раз об этом говорил. — Он улыбнулся Уолтеру, тот покраснел, вспоминая слова Филипа о том, как опасно в любви подражать высоким поэтическим образцам. — Нас воспитывают шиворот-навыворот, — продолжал Филип. — Сначала искусство, потом жизнь, сперва «Ромео и Джульетта» и похабные романы, а потом женитьба или ее эквивалент. Отсюда — разочарованность современной литературы. Это неизбежно. В доброе старое время поэты начинали с того, что теряли невинность, а потом, зная, как все это делается и что именно в этом непоэтичного, они принимались сознательно идеализировать и украшать это. Мы начинаем с поэтического и переходим к непоэтическому. Если бы юноши и девушки теряли невинность в том же возрасте, как во времена Шекспира, мы были бы свидетелями возрождения любовной лирики елизаветинцев.

— Может быть, вы и правы, — сказал Спэндрелл. — Я могу сказать одно: что, когда я узнал реаль-

ность, она разочаровала меня и в то же время показалась очень привлекательной. Может быть, она привлекала меня именно тем, что разочаровывала. Сердце — вроде компостной кучи: навоз стремится к навозу и самое великое очарование греха в его грязи и бессмысленности. Он привлекателен именно потому, что он отталкивающ. Но отталкивающим он остается всегда. И я помню, что, когда началась война, я просто ликовал: ведь мне представился случай выбраться из навозной кучи и заняться для разнообразия чем-то более пристойным.

— За короля и отечество! — насмешливо сказал Иллидж.

— Бедный Руперт Брук! Теперь его слова о том, что честь снова вернулась в мир, вызывают только улыбку. После того, что произошло, они кажутся немного комичными.

— Они были скверной шуткой даже в то время, — сказал Иллидж.

— Нет, нет. В то время я сам так чувствовал.

— Еще бы! Потому что вы были тем же, чем был Брук, — избалованный и пресыщенный представитель обеспеченного класса. Вы искали сильных ощущений — только и всего. Война и эта ваша пресловутая «честь» доставила вам их.

Спэндрелл пожал плечами.

— Объясняйте как хотите. Но в августе тысяча девятьсот четырнадцатого года я жаждал совершить что-нибудь благородное. Я готов был идти на верную смерть.

— «Смерть желанней, чем бесчестье»? Да?

— Да, буквально так, — сказал Спэндрелл. — Уверяю вас, все мелодрамы глубоко реалистичны. При некоторых обстоятельствах люди говорят именно так. Единственный недостаток мелодрамы — что она внушает нам, будто люди говорят таким образом решительно всегда. К сожалению, это не так. Но «смерть желанней, чем бесчестье» — это как раз то, что я думал в августе тысяча девятьсот четырнадцатого года. Если бы мне пришлось выбирать между смертью и той бессмысленной жизнью, какую я вел, я выбрал бы смерть.

— Опять в вас говорит джентльмен из обеспеченного класса, — сказал Иллидж.

— И вот, только потому, что я много лет жил за границей и знал три иностранных языка, потому, что у меня была слишком любящая мать, а отчим пользовался влиянием в военных кругах, меня против моей воли перевели в контрразведку. Господь Бог решительно вознамерился проклясть

меня.

— Наоборот, он очень заботливо старался сохранить вашу жизнь, — сказал Филип.

— Но я вовсе не хотел этого. Жизнь имела смысл лишь в том случае, если бы я мог сделать что-нибудь достойное, предпочтительно героическое, в крайнем случае трудное и рискованное. Вместо этого меня посадили на связь, а потом на выслеживание шпионов. Из всех подлых и низких занятий…

— Ну, в окопах было тоже далеко не так-то романтично.

— Да, но там было опасно. Пребывание в окопах требовало мужества и выносливости. Охотник за шпионами находился в полной безопасности и не имел случая проявлять благородство или доблесть, тогда как случаев предаваться пороку… Эти тыловые города, и Париж, и порты — там только и было что спирт да шлюхи.

— Но ведь этих зол можно было избежать, — сказал Филип. От природы холодный, он без всякого труда проявлял воздержанность.

— Но я не мог, — ответил Спэндрелл. — Особенно при тех обстоятельствах. Я хотел совершить что-нибудь достойное, а мне помешали. Поэтому делать совершенно обратное тому, что я хотел

делать, стало для меня вопросом чести. Вопросом чести — вы это понимаете?

— Для меня это слишком тонко, — покачал головой Филип.

— Попробуйте представить себя в присутствии человека, которого вы уважаете и любите больше всех на свете, перед которым вы преклоняетесь.

Филип кивнул. Но по существу, подумал он, он никогда ни перед кем не испытывал глубокого и безраздельного преклонения. Теоретически — да, но на практике — никогда, во всяком случае, никогда настолько, чтобы стать чьим-нибудь учеником или последователем. Он усваивал взгляды других людей, даже их манеру жить, но в нем всегда жило убеждение, что эти взгляды и манеры были на самом деле не его, что он с такой же легкостью откажется от них, с какой он их перенял. И во всех тех случаях, когда была хоть малейшая опасность увлечься всерьез, он упорно сопротивлялся — сражался за свою свободу или бежал.

— Ваше чувство к нему переполняет вас, — продолжал Спэндрелл, — и вы направляетесь к нему с распростертыми объятиями, предлагая вашу дружбу и преданность. А он вместо всякого ответа засовывает руки в карманы и поворачивается к

вам спиной. Что вы станете делать?

Филип рассмеялся.

— Это нужно посмотреть в «Книге хорошего тона».

— Вы сшибете его с ног. По крайней мере, так поступил бы я. Это было бы для меня вопросом чести. И чем больше вы восторгались бы им, тем сильнее вы бы ударили и с тем большим азартом плясали бы после этого над его трупом. Поэтому-то шлюхи и спирт были неизбежны для меня. Наоборот, вопросом чести стало для меня никогда не избегать их. Жизнь во Франции была похожа на жизнь, которую я вел до войны, только она была еще гнуснее и бессмысленнее и в ней даже намека не было на какое-нибудь «искупление». И через год я уже отчаянно цеплялся за свой позор и старался избежать смерти. Говорю вам, блаженный Августин был прав: мы спасены или прокляты заранее. Во всем, что происходит, я вижу руку Провиде́ния.

— Вздор это ваше Провиде́ние! — сказал Иллидж; но в наступившем молчании он снова подумал: как странно, как бесконечно невероятно, что он сидит здесь, распивая кларет, а за два столика от него — постоянный секретарь Британской академии, а позади него — старей-

ший судья из Верховного суда. Двадцать лет тому назад его шансы на то, чтобы сидеть под этим раззолоченным потолком, равнялись одному против нескольких сот или даже тысяч миллионов. И все-таки он сидит здесь. Он выпил еще глоток вина.

А тем временем Филип вспоминал огромную вороную лошадь: она мчалась, брыкаясь, оскалив зубы, прижав уши к голове; и вдруг она понесла, таща за собой экипаж; и грохот колес, и его дикие вопли, и он прижимается к крутому откосу, карабкается, скользит и падает; и шум, и грохот, и что-то огромное между ним и солнцем, и тяжелые копыта, и внезапная, все уничтожающая боль.

А Уолтер среди того же молчания думал о том вечере, когда он впервые вошел в гостиную Люси Тэнтемаунт. «Все, что случается с человеком, неизбежно похоже на него самого».

— Но в чем ее тайна? — спросила Марджори. — Почему он сходит по ней с ума? А ведь он сходит с ума. Буквально.

— Никакой тут нет тайны, — сказала Элинор. Ей казалось странным вовсе не то, что Уолтер обезумел от любви к Люси, а то, что ему когда-то нравилась бедная Марджори. — В конце концов, — продолжала она, — Люси человек живой и

интересный. К тому же, — добавила она, вспоминая комментарии Филипа по поводу собаки, которую они задавили в Бомбее, — у нее дурная репутация.

— Разве дурная репутация так привлекательна? — спросила Марджори, держа чайник над чашкой.

— Конечно. Раз у женщины дурная репутация, значит, она доступна. Благодарю, мне без сахара.

— Не может быть, чтобы мужчине нравилось быть не единственным любовником, а одним из многих, — сказала Марджори, передавая ей чашку.

— Возможно. Но когда мужчина знает, что у женщины были любовники, он сам начинает надеяться. «Другим удалось, значит, и мне удастся». Так рассуждает мужчина. К тому же дурная репутация заставляет сразу думать о женщине в определенном аспекте. Это возбуждает воображение. Когда встречаешь Лолу Монтес, немедленно представляешь себе постель. О постелях не думаешь, когда встречаешь Флоренс Найтингейл. Разве только о постели больного.

Наступило молчание. Элинор думала, что с ее стороны очень нехорошо относиться к Марджори с таким безразличием. Но ничего не поделаешь.

Она заставляла себя вспоминать, как ужасна была жизнь этой несчастной женщины, сначала с мужем, теперь с Уолтером. Просто ужасна! Но эти немыслимые позвякивающие серьги из поддельного нефрита! А ее голос, а ее манеры…

— Неужели мужчины так легко идут на приманку? И на такую дешевую? Такие мужчины, как Уолтер? Как Уолтер? — повторила она. — Как могут мужчины быть такими… такими…

— Свиньями? — докончила Элинор. — Как видите, могут. Хотя это довольно странно. — «А может быть, — подумала она, — было бы лучше, если бы Филип больше походил на свинью и меньше на рака-отшельника? Свиньи ближе к человеку — какими бы свиньями они ни были, они все-таки ближе к человеку. Тогда как раки-отшельники изо всех сил стараются быть моллюсками».

Марджори покачала головой и вздохнула.

— Непонятно, — сказала она с убеждением, показавшимся Элинор довольно смешным. «Интересно, какого мнения эта женщина о самой себе?» — подумала Элинор. Но Марджори была высокого мнения не о себе, а о добродетели. Воспитание приучило ее считать уродливыми порок и животную природу человека, прекрасными — добродетель и духовное начало. Холодная по

натуре, она не понимала чувственности. То, что Уолтер неожиданно превратился из того Уолтера, каким она его знала, в «свинью», по выражению Элинор, казалось ей непонятным вовсе не потому, что она была высокого мнения о собственной привлекательности.

— К тому же не забывайте, — сказала Элинор, — что, с точки зрения мужчин, подобных Уолтеру, Люси имеет еще одно преимущество: она женщина с темпераментом мужчины. Мужчины умеют получать удовольствие от случайных встреч. Женщины в большинстве своем этого не умеют: им нужно любить. Им необходимо что-то переживать. Без этого они не могут. Но есть другие женщины — их немного, и Люси — одна из них. Она по-мужски безразлична. У нее чувственность существует независимо от души.

— Какой кошмар!

Элинор заметила, как вздрогнула Марджори, и у нее немедленно появилась потребность противоречить ей.

— Вы думаете? А по-моему, этой способности можно позавидовать. — Она рассмеялась. Ее цинизм глубоко шокировал Марджори. — Для такого робкого и застенчивого мальчика, как Уолтер, в этой беззастенчивости должно быть что-то

волнующее. По темпераменту она полная противоположность ему. Люси беспечна, неразборчива в средствах, своевольна, бесстыдна. Я прекрасно понимаю, что она могла вскружить ему голову. — Она подумала об Эверарде Уэбли. — Сила всегда привлекательна. Особенно если сам человек слаб, а Уолтер именно таков. Люси — это, безусловно, сила. Вам лично этот род силы может не нравиться. — Ей самой не очень нравилось энергичное честолюбие Уэбли. — Но нельзя не восхищаться силой как таковой. Это как Ниагара. Она прекрасна, хотя вы, пожалуй, не хотели бы оказаться на ее пути. Разрешите мне взять еще хлеба с маслом. — Она намазала себе ломтик. Марджори из вежливости тоже взяла кусочек. — Замечательный черный хлеб, — заметила Элинор. Про себя она удивлялась, как мог Уолтер жить с женщиной, которая оттопыривает мизинец, держа чашку, откусывает такие крошечные кусочки от ломтя хлеба и жует одними передними зубами, точно морская свинка, как будто процесс еды был сам по себе чем-то неизящным и унизительным.

— А что же, по-вашему, следует делать мне? — наконец заставила себя спросить Марджори.

— Что вы можете сделать? — пожала плечами Элинор. — Ждите и надейтесь, что он вернется,

когда получит свое и пресытится.

Это было очевидно; но Марджори считала, что со стороны Элинор жестоко, бестактно и нечутко говорить подобные вещи.

В Лондоне Куорлзы временно поселились в одной из бывших конюшен в районе Бельгравии. У входа в тупик была арка. За аркой начинался тупик: слева высокая оштукатуренная стена сливочного цвета — глухая, потому что обитатели Бельгравии не желали ничего знать о жалкой домашней жизни своих слуг. Справа — длинный ряд низких конюшен с одноэтажной жилой надстройкой; теперь эти помещения были населены огромными «Даймлерами» и семьями их водителей. Тупик упирался в стену, позади которой виднелись развесистые платаны аристократических садов. Парадное Куорлзов находилось в тени этой стены. Расположенный между садами и редко населенными конюшнями, домик был очень тихим. Только въезжавшие и выезжавшие лимузины и детский плач изредка нарушали тишину.

«К счастью, — заметил как-то Филип, — богатые могут позволить себе роскошь приобретать бесшумные машины. А в двигателях внутреннего сгорания есть что-то способствующее уменьше-

нию рождаемости. Вы слыхали когда-нибудь, чтоб у шофера было восемь человек детей?»

Помещения для конюхов и стойла были превращены при перестройке в одну просторную комнату. Две ширмы разделяли ее на три части. За ширмой справа от входа было нечто вроде гостиной — кресла и диван вокруг камина. За ширмой слева стоял обеденный стол; там же была дверь в маленькую кухню. Узкая лестница в противоположном от входа конце комнаты вела в спальни. Желтые кретоновые занавески имитировали свет солнца, никогда не заглядывавшего в выходившее на север окно. Повсюду были книги. Над камином висел портрет Элинор-девушки, написанный стариком Бидлэйком.

Филип лежал на диване с книгой в руке. Он читал:

> Большой интерес представляют наблюдения м-ра Тейта Регана над карликовыми паразитическими самцами трех видов рыб из семейства Ceratividae. У полярного вида Ceratias holbolli самка длиной около восьми дюймов носит на брюшной поверхности двух самцов длиной около двух с половиной дюймов. Ротовое

> отверстие карликового самца постоянно прикреплено к соску на коже самки: кровеносные сосуды самца и самки сообщаются. У самца отсутствуют зубы; рот ему не нужен; пищеварительный канал дегенерирует. У Photocarynus spiniceps самка длиной около двух с половиной дюймов носит самца, размер которого не превышает полудюйма, на верхней части головы перед правым глазом. У Edriolychnus schmidti размеры примерно такие же, как у только что описанного вида; самка носит карликового самца в перевернутом положении на внутренней стороне жаберных крышек.

Филип отложил книгу и достал из внутреннего кармана записную книжку и вечное перо. Он написал:

> Самки рыб из семейства Ceratividae носят карликовых паразитических самцов прикрепленными к своим телам. Сравнение напрашивается само собой, когда мой Уолтер устремляется к своей Люси. Не описать ли сцену в аквариуме? Они приходят со знакомым натуралистом,

который показывает им самок Cerativida e и их супругов. Полумрак: рыбы, прекрасный фон.

Он собирался отложить дневник, когда в голову ему пришла новая мысль. Он снова открыл дневник.

Пусть это будет аквариум в Монако. Описать Монте-Карло и всю Ривьеру как океан с глубоководными чудищами.

Он закурил сигарету и снова погрузился в чтение. В дверь постучали. Он встал и открыл: это была Элинор.

— Ну и денек! — Она бросилась в кресло.

— А что нового у Марджори? — спросил он.

— Нового? — вздохнула она, снимая шляпу. — Ничего. Несчастная женщина! Она все такая же жуткая. Но мне искренне жаль ее.

— А что ты ей посоветовала?

— Ничего. Что она может сделать? А как Уолтер? — спросила она в свою очередь. — Удалось тебе его пробрать с перцем?

— Боюсь, что с перцем у меня слабовато. Но мне удалось убедить его переехать с Марджори в Чэмфорд.

— Ах, удалось? Это уже много.

— Не так много, как ты думаешь. Никто не стоял мне поперек дороги. В субботу Люси уезжает в Париж.

— Будем надеяться, что она пробудет там долго. Бедный Уолтер!

— Да, бедный Уолтер! Но я должен рассказать тебе о рыбах. — Он рассказал. — Когда-нибудь, — закончил он, — я напишу современный «Бестиарий». Как это поучительно! Но ты мне ничего не сказала об Эверарде. Я совсем забыл, что ты с ним виделась.

— Я так и знала, что ты забудешь, — с горечью ответила она.

— Ты знала? Не понимаю почему.

— Я так и знала, что ты не поймешь.

— Сдаюсь, — сказал Филип с насмешливым смирением. Наступило молчание.

— Эверард в меня влюблен, — сказала наконец Элинор самым невыразительным и обыденным тоном, не глядя на мужа.

— Разве это новость? — спросил Филип. — Он, кажется, твой давнишний поклонник.

— Но это серьезно, — продолжала Элинор. — Вполне серьезно. — Она жадно ждала его ответа. Ответ последовал после небольшой паузы:

— Это уже менее забавно.

«Менее забавно». Неужели он не понимает? Ведь он же не дурак! Или, может быть, он понимает и только притворяется, что не понимает; может быть, он втайне даже рад этой истории с Эверардом? Или безразличие делает его слепым? Чего человек сам не чувствует, того он никогда не поймет. Филип не понимал ее, потому что он не чувствовал так, как чувствовала она. Он был непоколебимо уверен, что все люди такие же тепловатые, как он сам.

— Но он нравится мне, — сказала она вслух, делая последнюю отчаянную попытку вызвать в нем хотя бы подобие живого интереса к ней. Если бы он начал ревновать, или грустить, или возмущаться, как счастлива была бы она, как благодарна ему! — Очень нравится, — продолжала она. — В нем есть что-то необыкновенно привлекательное. То, что он такой страстный, такой необузданный…

Филип рассмеялся:

— О да, неотразимый пещерный человек!

Элинор с легким вздохом встала, взяла шляпу и сумочку и, перегнувшись через спинку кресла, поцеловала своего мужа в лоб, точно прощаясь с ним; потом отвернулась и, не говоря ни слова,

пошла наверх в спальню.

Филип снова принялся за книгу:

> Bonellia viridis – зеленый червь, встречающийся в средиземноморском ареале. Тело самки – со сливу; оно имеет похожий на струну, раздвоенный на конце, очень чувствительный к прикосновению хоботок длиной до двух футов. Самец же – микроскопический; он живет в том, что можно назвать влагалищем (видоизменный нефридий) самки. У него нет рта; он живет паразитически, поглощая питательные вещества покрытой ворсинками поверхностью своего тела.

Филип спрашивал себя, не следует ли ему пойти наверх и сказать что-нибудь Элинор. Он был уверен, что на самом деле она не любит Эверарда. Но, может быть, ему не следует относиться к этому так спокойно? Она казалась несколько расстроенной. Может быть, она ожидала, что он скажет ей, как он ее любит, каким несчастным он был бы, если бы она разлюбила его? Но как раз это-то было почти невозможно сказать. В конце концов он решил не идти наверх. Он подождет, он отложит это до следующего раза. И он снова

стал читать о Bonellia viridis.

XXII

Из записной книжки Филипа Куорлза

Сегодня у Люси Тэнтемаунт мною овладела очень странная ассоциация идей. Люси, по обыкновению, была как французский флаг: синева под глазами, яркокрасный рот, а все остальное — мертвенно-бледное на фоне блестящих, как металл, черных волос. Я сказал что-то смешное. Она захохотала, открывая рот, и ее язык и десны были настолько бледнее ее накрашенных губ, что они казались (и у меня от ужаса и удивления пробежали по коже мурашки) по контрасту совершенно бескровными и белыми. И вдруг, без всякого перехода, я оказался перед священными крокодилами в дворцовых садах Джайпура, и проводник-индус бросал им куски мяса, и пасть животных была изнутри почти белая, точно обитая лакированной козлиной кожей кремового цвета. Вот так работает наше сознание! А мы еще хвастаемся своим интеллектом. М-да! Но какая это находка для моего романа! С этого я и начну книгу. Мой уолтероподобный герой говорит своей люсиподобной сирене что-нибудь смешное и немедленно, к своему ужасу (что не мешает ему

по-прежнему, а может быть, даже еще больше, желать ее, только в желании его появляется оттенок извращенности), видит тех отталкивающих крокодилов, которых он рассматривал в Индии месяц тому назад. Таким образом, я убиваю сразу двух зайцев: тут и гротеск, и фантастика. Соскребите налет обыденности, который накладывает наша привычка, — и все покажется неправдоподобным. Каждый предмет и каждое событие содержит в себе бесконечные глубины. Любая вещь есть не то, чем она кажется, или, вернее, она похожа одновременно на миллион других вещей. Вся Индия, как кинофильм, проносится в его мозгу, пока она хохочет и показывает — она, любимая, желанная, прекрасная, — свои жутко бескровные крокодильи десны и нёбо.

Литература должна быть как музыка. Не так, как у символистов, подчинявших звуку смысл. (Pleuvent les bleus baisers des astres taciturnes[41]. Бессмысленный набор слов.) Но в большем масштабе, в композиции. Продумать Бетховена. Перемены настроений, резкие переходы (например, чередование величественности и шутки в первой части b-dur'ного квартета. Комиче-

---

[41] Примечания: 41
Плачут голубые поцелуи молчаливых светил*(фр.).*

ское, неожиданно проскальзывающее среди потрясающей трагической торжественности в скерцо c-moll'ного квартета). Еще интереснее модуляции, переходы не из одной тональности в другую, а из одного настроения в другое. Тему формулируют, затем развивают, изменяют ее форму, незаметно искажают, и в конце концов она становится совсем другой, хотя все же в ней можно узнать прежнюю тему. Еще дальше заходит это в вариациях. Взять, например, эти невероятные вариации Диабелли. Целая гамма мыслей и чувств, но все они органически связаны с глупым мотивчиком вальса. Дать это в романе. Как? Резкие переходы сделать нетрудно. Нужно только достаточно много действующих лиц и контрапункт параллельных сюжетов. Пока Джонс убивает жену, Смит катает ребенка в колясочке по саду. Только чередовать темы. Романист создает модуляции, дублируя ситуации или действующих лиц. Он показывает нескольких человек, полюбивших, или умирающих, или молящихся — каждый по-своему: не похожие друг на друга люди, разрешающие одну и ту же проблему. Или наоборот: одинаковые люди за разрешением различных проблем. Таким способом можно промодулировать тему во всех ее

аспектах, можно написать вариации в самых разнообразных ключах. Другой путь — романист может присвоить себе божественную привилегию Творца и созерцать события романа в их различных аспектах: эмоциональном, научном, экономическом, религиозном, философском и т. п. Он может переходить от одного к другому — например, от эстетического аспекта вещи к физико-химическому, от религиозного — к физиологическому или финансовому. Но, может быть, это будет слишком деспотическим навязыванием воли автора? Так, по крайней мере, покажется некоторым. Но должен ли автор всегда стушевываться? Боюсь, что мы теперь чересчур деликатничаем, стараясь, чтобы личность автора как можно меньше проглядывала в романе.

Ввести в роман романиста. Его присутствие оправдывает эстетические обобщения, которые могут быть интересны — по крайней мере, для меня. Оправдывает также опыты. Отрывки из его романа будут показывать, как можно о том же событии рассказывать другими возможными или невозможными способами. А если он будет рассказывать отдельные эпизоды того же сюжета, который рассказываю я, — это и будут вариации на тему. Но зачем ограничиваться одним рома-

нистом внутри моего романа? Почему не ввести второго — внутри его романа? И третьего — внутри романа второго? И так до бесконечности, как на рекламах овсянки «Квакер», где изображен квакер с коробкой овсянки, на которой изображен другой квакер с другой коробкой овсянки, на которой и т. д. и т. д. В (скажем) десятом отражении может появиться романист, излагающий мой сюжет в алгебраических уравнениях или в терминах изменения пульса, давления крови, секреции желез и быстроты реакции.

Роман идей. Характер каждого персонажа должен выясняться, насколько это возможно, из высказываемых им идей. В той мере, в какой теории являются разумным обоснованием чувств, инстинктов и настроений человека, это достижимо. Главный недостаток идейного романа: в нем приходится писать о людях с идеями, то есть об одной сотой процента всего человечества. Поэтому настоящие, прирожденные романисты таких книг не пишут. Но ведь я никогда не считал себя прирожденным романистом.

Большой недостаток романа идей — в его искусственности. Это неизбежно: люди, высказывающие точно сформулированные суждения, не совсем реальные, они слегка чудовищны. А долго

жить с чудовищами утомительно.

Инстинкт приобретения знает, мне кажется, больше извращений, чем половой инстинкт. Во всяком случае, страсть к деньгам принимает у людей более причудливые формы, чем даже любовь. Постоянно встречаешь такую невероятную мелочность, особенно среди богатых. И такую фантастическую расточительность. Оба эти качества часто в одном человеке. А те, что хапают, те, что копят, — все те люди, которые целиком и почти непрерывно поглощены заботой о деньгах. Ни один человек не бывает непрерывно поглощен половой жизнью — очевидно, потому, что в половой жизни возможно физиологическое удовлетворение, а когда дело касается денег, оно невозможно. Когда тело насыщено, сознание перестает думать о еде или о женщинах. Но жажда денег — явление чисто психологическое. Здесь невозможно физическое удовлетворение. Это объясняет излишества и извращенность в вопросах приобретения. Наше тело буквально принуждает половой инстинкт проявляться нормально. Извращенность должна достигнуть очень сильной степени, прежде чем она сможет пересилить нормальные физиологические тенденции. Но когда дело касается приобрете-

ния, тогда нет регулирующего тела, нет плоти, настолько сильной, что ее трудно выгнать из русла физиологической привычки. Самая легкая склонность к извращениям немедленно проявляется. Но может быть, слово «извращение» в этом контексте бессмысленно. Говоря об извращении, мы подразумеваем некоторую норму, от которой оно является отклонением. А какова норма в вопросах приобретения? Чувствуется, что здесь должна быть золотая середина, но есть ли это истинная статистическая средняя? Я сам, вероятно, «ниже нормы», менее заинтересован в деньгах и собственности вообще, чем средний человек. Ни в одном из моих произведений не выступает человек, главным свойством которого была бы страсть к приобретению. Это недостаток: в реальной жизни таких людей сколько угодно. Но вряд ли мне удалось бы сделать такого человека интересным, раз страсть к приобретению меня лично не интересует. Бальзаку это удавалось: обстоятельства и наследственность взрастили в нем страстный интерес к деньгам. Но когда пишешь о том, что считаешь скучным, то и сам невольно делаешься скучным.

XXIII

Письменный стол стоял у окна. Тусклый от шеффилдского дымного воздуха, столб желтого, вязкого солнечного света падал на угол стола и на кусок красного узорного ковра. Эверард Уэбли писал письмо. Перо бегало по бумаге. Все, что он делал, он делал быстро и решительно. Он писал:

«Дорогая Элинор!

De profundis clamavi[42]: из глубин отвратительного номера в гостинице и из еще худших глубин политического турне по северу взываю я к Вам. — (Вертикальные штрихи заглавных букв у него были прямыми и толстыми, как столбы, горизонтальные — твердыми и четкими.) — Но вряд ли Вы услышите мои мольбы. Я всегда прекрасно понимал дикарей, которые лупят своих богов, когда те не исполняют их молитвы или не принимают их жертвы. Англия ждет, что сегодня каждый бог исполнит свой долг. А если он не исполнит — что ж, тем хуже для него: придется ему попробовать девятихвостки! Современное поклонение далекому Неизреченному, чьи дей-

---

[42] Примечания: 42
Из глубины взываю*(лат.)* — начало псалма CXXIX.

ствия не подлежат критике, меня не устраивает. Какой смысл заключать договор с тем, кто может нарушить его произвольно и на кого нет управы? Женщины пошли по стопам богов. Они объявили себя непогрешимыми. Их нельзя заставить выполнять свой долг по отношению к тем, кто поклоняется им, или выполнять свои обязательства по естественному договору между полами. Я пишу, я умоляю. Но, подобно новоиспеченному богу современных философов и терпимых богословов, Вы не внемлете. И я не имею права применить репрессии: теперь не принято лупить богов, когда они не выполняют своих обязанностей. Это дурной тон. Но все-таки предупреждаю Вас: в один прекрасный день я применю добрый старый способ — я устрою небольшое похищение сабинянок. Где будет тогда Ваше неизреченное, снисходительное превосходство? Как я ненавижу Вас за то, что Вы принуждаете меня так сильно любить Вас! Чертовски несправедливо получать от меня столько томления и страсти и ничего не давать взамен! И Вас здесь нет, чтобы понести заслуженное наказание. Мне приходится вымещать злобу на хулиганах, пытающихся сорвать мои выступления.

Вчера вечером тут разыгралась целая баталия.

Протестующие выкрики, свист, организованное исполнение «Интернационала». Но я их всех утихомирил. Буквально. В один момент. Пришлось подставить одному из их вождей фонарь под глазом. Бедняга! Ему пришлось расплачиваться за Ваши грехи. Он оказался козлом отпущения вместо Вас. Не будь Вас, я был бы вдвое менее свирепым. Вероятно, я не победил бы. Так что моей победой я до некоторой степени обязан Вам. За что приношу свою благодарность. Но следующая схватка будет с моим настоящим врагом — с Вами. Будьте осмотрительны, дорогая! Я постараюсь не наставить Вам фонарей, но в пылу схватки разве можно все предвидеть? Но будем говорить серьезно, Элинор. Зачем Вы такая холодная, далекая, мертвая? Зачем Вы прячетесь от меня? Я думаю о Вас непрерывно, упорно. Мысль о Вас не покидает меня! Она скрывается в самых неподходящих местах, готовая по команде какой-нибудь случайной ассоциации выскочить на меня из засады. Она преследует меня, как нечистая совесть. Если я…»

В дверь постучали. Вошел Хьюго Брокл. Эверард взглянул на часы, потом на Хьюго. Выражение его лица стало угрожающим.

— Почему вы так поздно? — спросил он устра-

шающе спокойным голосом.

Хьюго покраснел:

— Я не заметил, что уже так поздно.

Это была правда. Он завтракал с Апвичами в их имении за двадцать миль от Шеффилда. Там гостила Полли Логан. После завтрака старик Апвич пошел вместе с остальными гостями сыграть партию в гольф на собственной площадке в парке. По счастливой случайности оказалось, что Полли не играет в гольф. Они гуляли по лесу около речки. Как мог он не забыть о времени?

— Я очень виноват, — добавил он.

— Еще бы, — сказал Эверард, и скрытая свирепость прорвалась из-под спокойствия. — Я приказал вам вернуться к пяти, а сейчас четверть седьмого. Когда вы исполняете задание «свободных британцев», вы подчиняетесь военной дисциплине. Мои приказания должны выполняться. Понятно?

Хьюго смиренно кивнул:

— Да.

— А теперь идите и позаботьтесь о том, чтобы все было готово к сегодняшнему митингу. И знайте: чтобы это больше не повторялось. В следующий раз вы так легко не отделаетесь.

Хьюго вышел и закрыл дверь. Выражение гнева

сразу же сошло с лица Эверарда. Он считал, что подчиненных необходимо время от времени запугивать. Гнев, как он убедился, — прекрасное оружие, пока не позволяешь ему овладеть собой. Он никогда не позволял. Бедный Хьюго! Он улыбнулся сам себе и вернулся к письму. Через десять минут Хьюго вошел и сообщил, что обед готов. Митинг был назначен на восемь: им нужно было пообедать пораньше.

— Все это так глупо, вся эта политическая грызня, — сказал Рэмпион резким от раздражения голосом, — так невероятно глупо! Большевики и фашисты, радикалы и консерваторы, коммунисты и «свободные британцы» — какого дьявола они воюют друг с другом? Я скажу вам, они воюют из-за того, отправить ли всех нас к чертям собачьим на коммунистическом экспрессе или на капиталистическом гоночном автомобиле, на частном автобусе или на общественном трамвае, бегущем по рельсам госконтроля. Место назначения во всех случаях одно и то же. Все они везут нас к чертям собачьим, все двигаются к тому же психологическому тупику и социальному крушению, которое является результатом крушения психологического. Единственная разница — в том, каким именно способом нас туда доставят.

Здравому человеку просто невозможно интересоваться подобными спорами. Здравого человека интересует, куда он попадает, а вовсе не средства передвижения, с помощью которых туда можно попасть. Здравый человек спрашивает: хотим мы или не хотим идти к чертям собачьим? И он отвечает: нет, не хотим. А если он отвечает так, тогда ему наплевать на всех политиканов. Потому что все они стремятся спровадить нас именно туда. Все без исключения. Ленин и Муссолини, Макдональд и Болдуин. Все изо всех сил стараются отправить нас к чертям собачьим и грызутся только из-за того, каким способом это осуществить.

— Может быть, одни это сделают не так быстро, как другие, — заметил Филип.

Рэмпион пожал плечами:

— Разница в скорости слишком незначительна. Все они верят в индустриализм в той или иной форме, все они верят в американизацию. Подумайте о большевистском идеале. А Америка еще того чище. Америка с госдепартаментом вместо трестов и с государственными чиновниками вместо богачей. А что сказать про европейские идеалы? То же самое, только богачей сохранили. Машины и государственные чиновники. Маши-

ны и Альфред Монд или Генри Форд. Машины, чтобы отправить нас к чертям собачьим; в качестве машинистов — богатые или чиновники. Вы думаете, что одни будут везти более осторожно, чем другие? Может быть, вы и правы. Но я не знаю, можно ли кого-нибудь предпочесть: все они одинаково спешат. Во имя науки и прогресса и человеческого счастья. Аминь, и давай газ.

Филип кивнул.

— Да, и они дают газ, — сказал он. — Они очень спешат. Прогресс. Но, пожалуй, вы правы: они везут нас к бездонной пропасти.

— А единственное, о чем рассуждают реформаторы, — это форма и цвет автомобиля и техника управления машиной. Неужели эти болваны не видят, что самое важное — это направление, что мы двигаемся по ложному пути, что нам следует идти назад — предпочтительно пешком, без вонючей машины.

— Может быть, вы и правы, — сказал Филип. — Но все несчастье в том, что при существующем порядке вещей мы не можем идти назад, мы не можем отказаться от машины. Для этого пришлось бы истребить примерно половину всего человечества. Благодаря индустриализму население земного шара за сто лет удвоилось. Если вы

хотите отделаться от индустриализма, вам нужно вернуться к исходному положению, иначе говоря — перебить половину существующего количества мужчин и женщин. Sub specie aeternitatis или хотя бы historiae[43] это было бы превосходно. Но вряд ли это достижимо на практике.

— Пока — да, — согласился Рэмпион. — Но ближайшая война и ближайшая революция сделают это слишком достижимым.

— Возможно. Но не следует возлагать надежду на войны и революции, потому что тогда они обязательно происходят.

— Они все равно произойдут, — сказал Рэмпион, — будете вы на них возлагать надежды или нет. Индустриальный прогресс приводит к перепроизводству, к потребности в новых рынках, к международному соперничеству, а значит — к войне. А прогресс механизации приводит к максимальному разделению труда, к стандартизации процессов производства и развлечений, к уменьшению инициативы и творческой способности, к усилению интеллектуализма и постепенному отмиранию всего живого и существенного в человеческой природе, к усилению скуки и

---

[43] Примечания: 43

С точки зрения вечности… истории*(лат.).*

беспокойства и, наконец, к своего рода безумию, которое, в свою очередь, может привести только к социальной революции. Рассчитываете вы на них или нет, войны и революции неизбежны, по крайней мере если и дальше все будет идти, как идет сейчас.

— Значит, вопрос разрешится сам собой, — сказал Филип.

— Да, он просто отпадет. Ясное дело, когда человечество будет уничтожено, никаких вопросов больше не останется. Но это довольно грустная перспектива. Я надеюсь, что вопрос можно разрешить иначе, даже в рамках современной системы. Сначала разрешить его частично, а после этого приступить к перестройке системы, то есть к полному разрешению. Корень зла — в психологии отдельного человека, значит, с нее и нужно начинать. Прежде всего нужно приучить людей жить двойной жизнью, как бы в двух отделениях. В одном отделении они будут индустриальными рабочими, в другом — человеческими существами. Идиотами и машинами — восемь часов в сутки, настоящими человеческими существами — все остальное время.

— А разве не так живут они теперь?

— Конечно, нет. Они все время живут как идио-

ты и машины — и в часы работы, и в часы досуга. Как идиоты и машины, но воображают при этом, что они живут как цивилизованные люди, даже как боги. Прежде всего нужно убедить их, что в рабочие часы они — идиоты и машины. Или нужно сказать: «Поскольку наша цивилизация такова, какова она есть, тебе придется восемь часов в сутки быть чем-то средним между кретином и швейной машиной. Без сомнения, это очень неприятно. Это унизительно и гнусно. Но ничего не поделаешь, тебе придется жить так; иначе весь наш мир рассыплется на кусочки и все мы подохнем с голоду. Делай свою работу как идиот и машина, а в часы досуга будь настоящим цельным человеком — мужчиной или женщиной. Не смешивай эти две жизни, пусть кингстоны между ними будут всегда закрыты. Настоящая жизнь — это та, когда в часы досуга ты являешься подлинным живым человеком. Остальное — это грязная работа, которую так или иначе приходится выполнять. Но никогда не забывай, что это грязная работа и что она не имеет решительно никакого смысла, решительно никакого отношения к настоящей человеческой жизни: она нужна только для того, чтобы ты был сытым и общество не разрушалось. Не давай

обманывать себя лицемерным мошенникам, твердящим о святости труда и о христианском долге, который дельцы выполняют по отношению к своим ближним: все это ложь. Твоя работа — грязное, гнусное дело, которое тебе приходится выполнять только потому, что твои предки были безумцами. Они нагромоздили груду мусора, и тебе нужно сровнять ее с землей, чтобы не задохнуться в ее зловонии; тебе нужно рыть и рыть, чтобы откопать драгоценную жизнь, проклиная память маньяков, оставивших тебе в наследство эту грязную работу. Но не старайся подбодрить себя, воображая, будто эта гнусная механическая работа благородна: она не благородна. А если ты будешь говорить и верить, что она благородна, ты унизишь свое человеческое достоинство до уровня этой грязной работы. Если ты поверишь в святость труда и в то, что дельцы выполняют свой долг, ты будешь механизированным идиотом все двадцать четыре часа в сутки. Признай, что работа грязна, зажми нос и выполняй ее в течение восьми часов, а в часы досуга старайся быть настоящим человеком. Настоящим полноценным человеком. Не читателем газет, не поклонником джаза, не радиолюбителем. Капиталисты, доставляющие массам стандартные развлечения, изо

всех сил стараются сделать так, чтобы ты и в часы досуга оставался тем же механизированным болваном, каким ты бываешь в часы труда. Не позволяй им это делать. Старайся быть человеком». Вот что вы должны сказать людям; вот чему вы должны учить подрастающее поколение. Вы должны внушить всем и каждому, что вся наша великая индустриальная цивилизация — просто зловонная куча, и что настоящей, значительной жизнью можно жить лишь вдали от нее. Пройдет очень много времени, прежде чем удастся примирить пристойную жизнь с индустриальной вонью. Может быть, они даже непримиримы. Этого мы еще не знаем. А пока что мы должны разгребать мусор, стоически перенося вонь, а в промежутки стараться жить подлинной человеческой жизнью.

— Недурная программа, — сказал Филип. — Боюсь, однако, что, если вы с ней выступите на ближайших выборах, много голосов вы не соберете.

— Да, к сожалению. — Рэмпион нахмурился. — Против меня все бы восстали. Консерваторы, либералы, социалисты, большевики — все они сходятся в одном: все они верят, что индустриальное зловоние есть нечто в высшей степени

замечательное и что необходимо путем стандартизации и специализации вытравить последние следы подлинной мужественности и женственности из всех представителей человеческого рода. И после этого от нас требуют, чтобы мы интересовались политикой! Ну-ну! — Он покачал головой. — Давайте поговорим о чем-нибудь более приятном. Мне хотелось бы показать вам одну картину. — Он пересек мастерскую и вытащил одно из стоявших у стенки полотен. — Вот, — сказал он, водрузив картину на мольберт.

Сидя на гребне поросшего травой откоса, нагая женщина кормила грудью ребенка. Она была вершиной пирамидальной композиции. Слева, внизу от нее, сидел на корточках мужчина, повернувшись к зрителям обнаженной спиной, а справа (симметрично мужчине) стоял маленький мальчик. Мужчина играл с двумя крошечными детенышами леопарда, занимавшими центр картины; внизу, у ног сидящей матери, маленький мальчик смотрел на них. Позади женщины стояла корова, повернув голову в сторону, пережевывая жвачку; она заполняла собой почти всю верхнюю часть картины. Голова и плечи женщины выделялись светлым пятном на фоне ее темно-бурого бока.

— Я особенно люблю эту картину, — прервал молчание Рэмпион. — Хорошо написано тело. Не правда ли? В нем есть сочность, оно живое. Кстати, как замечательно писал ваш тесть обнаженное тело на открытом воздухе! Просто изумительно. Никто не может сравниться с ним в этом. Даже Ренуар. Эх, мне бы его талант! И все-таки, знаете ли, это тоже хорошо, — продолжал он, снова обращаясь к картине. — В самом деле, очень здорово. И вообще в этой картине есть достоинства. Я чувствую, что мне удалось хорошо расположить фигуры по отношению друг к другу и к окружающему миру. Показать между ними живую связь. Возьмите, например, корову. Она отвернулась, она не обращает внимания на то, что происходит среди людей. И все-таки чувствуется, что она блаженно соприкасается с людьми по-своему, по-коровьему. И люди соприкасаются с ней. А также с леопардами — но совсем по-другому — так, как соприкасаются с ними проворные детеныши леопарда. Решительно, она мне нравится!

— Мне тоже, — сказал Филип. — Это неплохая защита от индустриального зловония, — рассмеялся он. — Вам следует написать еще картину в пару этой, изображающую жизнь в цивилизован-

ном мире. Женщина в макинтоше, прислонившаяся к гигантской бутыли с мясным экстрактом и кормящая ребенка искусственным молоком. Откос залит асфальтом. Мужчина в «элегантном» костюме за пятьдесят шиллингов сидит на карачках и развлекается с радиоприемником. А на него с интересом смотрит прыщавый и рахитичный мальчишка.

— И написать всю эту вещь в манере кубистов, — сказал Рэмпион, — чтоб в ней наверняка не было никакой жизни. Ничто не может сравниться с современным искусством по части стерилизации вещей и вытравливания из них жизни. Карболка — ничто по сравнению с ним.

XXIV

Местное самоуправление у индусов в эпоху императоров из династии Маурья продолжало требовать постоянных поездок мистера Куорлза в Британский музей, по крайней мере два раза в неделю, и каждый раз на целый день.

— Я понятия не имел, — объяснял он, — что мне удастся найти столько материалов.

Тем временем Глэдис сделала открытие, что она просчиталась. Она ждала, что под покровительством мистера Куорлза она будет очень весело

проводить время, а на деле вышло, что с ним она проводила время ничуть не веселее, чем с теми «мальчиками», у которых денег было не больше, чем у нее самой; по-видимому, мистер Куорлз вовсе не собирался платить за роскошь чувствовать себя «аристократом». Он хотел быть великим человеком, но с минимальными затратами. Водя ее по дешевым ресторанам и покупая в театрах дешевые места, он оправдывал это необходимостью соблюдать тайну. Нельзя, чтобы кто-либо из знакомых увидел его в обществе Глэдис; а так как знакомые его принадлежали к тому кругу, представители которого посещали рестораны «Беркли» и ложи в «Гейети», мистер Куорлз и Глэдис обедали в дешевых закусочных и смотрели на спектакли с высоты галерки. Таково было официальное объяснение того, что пиры, которые устраивал Сидни, были далеко не княжескими. Реальное же объяснение заключалось в том, что Сидни весьма неохотно расставался с наличными деньгами. Крупные суммы он расшвыривал с большой легкостью, но за мелкие цеплялся. Когда речь шла об «усовершенствованиях» для имения, он с легким сердцем подписывал чеки на сотни и даже тысячи фунтов. Но когда нужно было истратить две-три полукроны для того,

чтобы повести свою любовницу на хорошие места в театр, угостить ее вкусным обедом или подарить ей букет цветов или коробку конфет, он сразу становился чрезвычайно экономным. Его скупость порождала тот странный пуританизм, которым отличались его взгляды на все удовольствия и развлечения, за исключением сексуальных в узком смысле этого слова. Обедая с какой-нибудь белошвейкой в дешевой и скромной закусочной в Сохо, он (со всей страстностью Мильтона, изобличающего сынов Сатаны, со всей строгостью Вордсворта, проповедующего мудрую бедность) громил прожигателей жизни и кутил, которые где-нибудь в «Карлтоне» или в «Ритце», посреди нищеты, царящей в Лондоне, беспечно проедают месячный заработок батрака за обедом на две персоны. Таким образом, предпочтение, которое мистер Куорлз оказывал дешевым ресторанам и дешевым местам в театре, приобретало не только дипломатический, но и высоконравственный оттенок. Соблазненные стареющим развратником любовницы мистера Куорлза с удивлением обнаруживали, что они обедают в обществе иудейского пророка и развлекаются с последователем Катона или Кальвина.

— Послушать вас, так можно подумать, что вы

святой проповедник, — саркастически заметила Глэдис, когда он остановился, чтобы перевести дух, посреди одной из своих изобличительных тирад по адресу расточителей и обжор, тирад, которыми он обычно разражался в закусочных. — Это вы-то! — В ее смехе звучала нескрываемая издевка.

Мистер Куорлз пришел в замешательство. Он привык, чтобы его выслушивали почтительно, как олимпийца. Тон Глэдис был бунтарским и наглым; это ему не понравилось; это даже встревожило его. Он с достоинством вскинул подбородок и выстрелил поверх ее головы укоризненную тираду.

— Вопрос тут не в отде-ельных личностях, — изрек он. — Вопрос — в общих принципах.

— Не вижу никакой разницы, — отпарировала Глэдис, одним ударом разрушая все торжественные построения всех философов и моралистов, всех религиозных лидеров, реформаторов и утопистов от начала времен и до наших дней.

Больше всего раздражало Глэдис то, что даже в мире ресторанчиков «Лайонз» и дешевых мест в театре мистера Куорлза не покидали его олимпийское величие и олимпийские манеры. Когда однажды вечером на лестнице, ведущей

на галерку, скопилась толпа, он преисполнился праведного и громогласного негодования.

— Какое безобра-азие! — возмущался он.

— Можно подумать, что у вас билеты в королевскую ложу, — саркастически сказала Глэдис.

А когда в кафе он пожаловался, что у лососины по шиллингу и четыре пенса за порцию такой вкус, точно ее везли в Лондон не из Шотландии, а, по крайней мере, из Британской Колумбии через весь Атлантический океан, она посоветовала ему написать об этом в «Таймс». Эта идея понравилась ей; и с тех пор она по каждому поводу иронически предлагала ему написать в «Таймс». Когда он, возвышенный и разочарованный философ, жаловался на легкомыслие политических деятелей и на презренную банальность политики, Глэдис рекомендовала ему написать в «Таймс». Он распространялся об отвратительной миссис Гранди и об английском лицемерии — «Напишите в “Таймс”». «Это безобра-азие, что ни сэр Эдвард Грэй, ни Ллойд Джордж не умеют говорить по-французски» — опять «Напишите в “Таймс”». Мистер Куорлз был обижен и возмущен. До сих пор с ним никогда такого не случалось. Обычно в обществе своих любовниц он наслаждался сознанием своего пре-

восходства. Они преклонялись и обожали его; он чувствовал себя богом. Глэдис тоже в первые дни относилась к нему так. Но, начав с молитв, она кончила насмешками. Его духовное счастье было разрушено. Если бы не телесные утешения, которые она доставляла ему как представительница своего пола, мистер Куорлз быстро исчерпал бы тему о местном самоуправлении при династии Маурья и обосновался бы у себя дома. Но Глэдис была на редкость чистым образцом самки как таковой. Это было сильнее мистера Куорлза. Как индивид она огорчала его и отталкивала своими насмешками; но привлекательность ее как представительницы пола, как самки пересиливала это отвращение. Несмотря на издевательства, мистер Куорлз снова и снова возвращался к ней. Вопрос об индусском самоуправлении требовал все большего внимания.

Поняв свою силу, Глэдис начала отказывать ему в том, чего он желал: может быть, при помощи шантажа удастся вызвать его на щедрость, не очень свойственную ему от природы? Возвращаясь в такси после скромного обеда в «Лайонзе» и сеанса в дешевом кино, она оттолкнула его, когда он попытался искать у нее обычных утешений.

— Оставьте меня в покое! — огрызнулась она

и через секунду добавила: — Скажите шоферу, чтобы он сначала ехал ко мне: я сойду там.

— Но, дорогое дитя!.. — запротестовал мистер Куорлз: разве она не обещала поехать к нему?

— Я передумала. Скажите шоферу.

Мысль о том, что после трех дней лихорадочных предвкушений ему придется провести вечер в одиночестве, была мучительна.

— Но, Глэдис, милая…

— Скажите шоферу!

— Но это сли-ишком жестоко! Почему вы такая недобрая?

— А вы бы написали об этом в «Таймс», — был ее ответ. — Я скажу шоферу сама.

После мучительной бессонной ночи мистер Куорлз вышел, как только открылись магазины, и за четырнадцать гиней купил часы с браслетом.

Реклама зубной пасты гласила: «Дентол». Но на картинке были изображены фокстротирующие юноша и девушка, показывающие друг другу зубы в жемчужной влюбленной улыбке, а слово начиналось с буквы «Д», поэтому маленький Фил без запинки прочел:

— Дансинг!

Его отец рассмеялся.

— Ах ты плутишка! — сказал он. — Ты ведь,

кажется, сказал, что умеешь читать.

— Но они действительно танцуют, — возразил мальчик.

— Да, но слово все-таки не то. Попробуй-ка еще раз.

Маленький Фил снова взглянул на удивительное слово и долго рассматривал картинку. Но фокстротирующая парочка не помогла ему.

— Динамо, — сказал он наконец в отчаянии. Это было единственное слово, начинающееся на «Д», которое пришло ему в голову.

— А почему не динозавр, если уж на то пошло, — насмешливо сказал отец, — или долихоцефал, или дигиталис?

Маленький Фил был глубоко оскорблен: он не выносил, когда над ним смеялись.

— Попробуй еще раз. Не гадай, а попробуй на самом деле*прочесть*.

Маленький Фил отвернулся.

— Мне надоело, — сказал он.

Он не любил делать то, что ему плохо удавалось, — это уязвляло его гордость. Мисс Фулкс, которая верила в обучение посредством разумных убеждений и при разумном согласии обучаемого (она была еще очень молода), читала ему лекции о его собственной психологии в надежде на то, что,

поняв свои недостатки, он избавится от них. «У тебя ложная гордость, — говорила она ему. — Ты не стыдишься быть тупицей и невеждой. Но ты стыдишься делать ошибки. Если тебе что-нибудь не удается, ты предпочитаешь совсем этого не делать, чем делать плохо. Это неправильно». Маленький Фил кивал головой и говорил: «Да, мисс Фулкс» — очень разумно и таким тоном, точно он действительно понимал, что от него требуется. Но он все-таки продолжал не делать того, что сделать было трудно или что плохо удавалось ему.

— Мне надоело, — повторил он. — Хочешь, я нарисую тебе что-нибудь? — предложил он, снова повернувшись к отцу и пленительно улыбаясь. Рисовать он был всегда готов. Он рисовал хорошо.

— Нет, спасибо. Лучше почитай мне, — сказал Филип.

— Но мне надоело.

— А ты постарайся.

— А я не хочу стараться.

— А я хочу. Читай.

Маленький Фил разразился слезами. Он знал, что слезы — непобедимое оружие. И на этот раз слезы, как всегда, подействовали. Элинор, сидевшая на другом конце комнаты, подняла глаза

от книги.

— Зачем ты доводишь его до слез, — сказала она. — Ему это вредно.

Филип пожал плечами.

— Если ты думаешь, что это правильный метод воспитания... — сказал он с горечью, не оправдываемой обстоятельствами, с горечью, накопившейся за несколько недель молчания и сдержанной враждебности, вопросов и упреков, обращенных к самому себе. Теперь эта горечь вырвалась наружу по первому и ничтожному поводу.

— Я ничего не думаю, — сказала Элинор холодным, жестким голосом, — я просто не хочу, чтобы он плакал. — Маленький Фил зарыдал с удвоенным рвением. Она позвала его и посадила к себе на колени.

— Поскольку он имеет несчастье быть единственным ребенком, следовало бы постараться не баловать его.

Элинор прижалась щекой к волосам мальчика.

— Поскольку он единственный ребенок, — сказала она, — почему бы с ним и не обращаться как с единственным?

— Ты безнадежна, — сказал Филип. — Пора нам уже осесть на месте, чтобы ребенок мог наконец

получить разумное воспитание.

— А кто займется разумным воспитанием? — спросила Элинор. — Ты? — Она саркастически рассмеялась. — Через неделю тебе это так надоест, что ты либо покончишь с собой, либо удерешь с первым аэропланом в Париж и вернешься только через полгода.

— Гадкий папа! — вставил мальчик.

Филип был оскорблен, особенно потому, что втайне понимал, как глубоко права Элинор. Идеал деревенской семейной жизни, наполненной мелочными обязанностями и случайными соприкосновениями с людьми, казался ему чем-то граничащим с нелепостью. И хотя теоретически ему было бы интересно наблюдать за воспитанием маленького Фила, он знал, что на практике это будет невыносимо. Он вспомнил редкие педагогические порывы своего отца. Таким же был бы и он. Но именно поэтому-то Элинор не должна была говорить так.

— Я вовсе не так по-детски легкомыслен, как ты воображаешь, — сказал он с достоинством и скрытым гневом.

— Наоборот, — ответила она, — ты слишком по-взрослому серьезен. Ты не умеешь обращаться с детьми именно потому, что сам ты недостаточно

дитя. Ты вроде тех ужасающе взрослых созданий в «Мафусаиле» Бернарда Шоу.

— Гадкий папа! — с раздражающей настойчивостью, как попугай, умеющий говорить только одну фразу, повторил маленький Фил.

Первым побуждением Филипа было выхватить мальчика из объятий матери, отшлепать его за дерзость, выгнать из комнаты, а потом накинуться на Элинор и бурно объясниться с ней. Но привычка к джентльменской сдержанности и страх перед сценами заставили его смирить свой гнев. Вместо того чтобы дать нормальный выход раздражению, он усилием воли еще больше замкнулся в себе. Сохраняя достоинство и пряча в себе невысказанную обиду, он встал и через стеклянную дверь вышел в сад. Элинор следила за его движениями. Первым ее побуждением было побежать за ним, взять его за руку и помириться. Но она тоже сдержала себя. Филип, ковыляя, скрылся из виду. Мальчик продолжал хныкать. Элинор слегка встряхнула его.

— Перестань, Фил, — сказала она почти сердито. — Довольно! Перестань сейчас же!

Двое докторов рассматривали то, что глазу непосвященного могло показаться снимком тайфуна в Сиамском заливе, клубами черного дыма

среди облаков или просто чернильной кляксой.

— Исключительно ясный снимок, — сказал юный рентгенолог. — Посмотрите. — Он показал на клуб дыма. — Здесь, у пилоруса, совершенно ясное новообразование. — Он вопросительно и с почтением посмотрел на своего знаменитого коллегу.

Сэр Герберт кивнул.

— Совершенно ясное, — повторил он. Он изрекал, как оракул, и всякому было понятно, что каждое его слово — неоспоримая истина. — Оно не может быть большим. По крайней мере, при отмеченных до сих пор симптомах. Рвоты пока еще не было.

— Рвоты не было? — воскликнул рентгенолог с преувеличенным интересом и удивлением. — Это объясняется, конечно, незначительными размерами опухоли.

— Да, пока она почти не мешает проходу пищи.

— Стоило бы вскрыть брюшную полость, чтобы исследовать подробнее.

Сэр Герберт слегка выпятил губы и с сомнением покачал головой.

— Не забывайте о возрасте пациента.

— Да, разумеется, — поспешно согласился рент-

генолог.

— Он старше, чем кажется.

— Да, да. Он очень моложав.

— Мне, пожалуй, пора, — сказал сэр Герберт.

Молодой рентгенолог подскочил к двери, подал ему шляпу и перчатки, самолично проводил его к стоявшему у подъезда «Даймлеру». Вернувшись к столу, он снова взглянул на облачно-серый снимок с черным пятном.

— Удивительно удачно, — с удовлетворением сказал он себе и, перевернув карточку, надписал карандашом на обороте: «Дж. Бидлэйк, эсквайр. Желудок после приема бария. Новообразование у пилоруса, небольшое, но очень ясное. Снимок сделан…» Он взглянул на календарь, поставил дату и вложил снимок в картотеку.

Старый слуга доложил о приходе гостьи и удалился, закрывая за собой дверь мастерской.

— Как поживаете, Джон? — сказала леди Эдвард, направляясь к нему. — Говорят, вы совсем раскисли. Надеюсь, ничего серьезного?

Джон Бидлэйк даже не встал ей навстречу. Он протянул ей руку из глубины кресла, в котором он провел весь день, с ужасом размышляя о болезни и смерти.

— Да что с вами, Джон! — воскликнула леди

Эдвард, усаживаясь возле него. — У вас совсем больной вид. В чем дело?

Джон Бидлэйк покачал головой.

— Бог его знает, — сказал он. Разумеется, из туманных объяснений сэра Герберта о «небольшом новообразовании в области пилоруса» он понял все. Разве его сын Морис не умер от этого пять лет тому назад в Калифорнии? Он понял; но говорить об этом он не будет. Если это высказать словами, это станет еще более ужасным, еще более непоправимым. К тому же никогда не следует выражать в словах свое знание о надвигающейся напасти, а не то у судьбы будет, так сказать, модель, по которой она сможет сформировать грядущее событие. Всегда остается какая-то смутная надежда, что, если не назвать по имени надвигающееся несчастье, это несчастье, может быть, не произойдет. Тайны личной религии Джона Бидлэйка были не менее темны и парадоксальны, чем в любой из высмеиваемых им ортодоксальных религий, предусматривающих поклонение персонифицированному богу.

— Но у вас был доктор или нет? — В тоне леди Эдвард слышалось порицание: она знала странное нерасположение, которое ее друг питал к докторам.

— Конечно, был, — раздраженно ответил он, зная, что она знает о его отношении к докторам. — Или, по-вашему, я круглый дурак? Но все они шарлатаны. Я пригласил к себе доктора с титулом «сэр». Вы, может быть, думаете, что он понял больше, чем все остальные? Он просто сказал мне на своем лекарском жаргоне то, что я еще раньше сказал ему своими словами: что у меня что-то неладно в середке. Старый мошенник! — Ненависть к сэру Герберту и ко всем докторам на мгновение оживила его.

— Но все-таки он что-нибудь сказал вам? — настаивала леди Эдвард.

Эти слова снова вызвали в его памяти мысль о «небольшом новообразовании в области пилоруса», о болезни и физическом страдании и медленно подползающей смерти. Ужас и отчаяние снова овладели им.

— Ничего особенного, — пробурчал он, отворачивая лицо.

— Так, может быть, на самом деле ничего серьезного, — попыталась успокоить его леди Эдвард.

— Нет, нет! — Старик воспринял ее легкомысленную надежду на лучшее как личную обиду. Он не хотел отдаваться во власть судьбы, сказав

страшную правду. И в то же время он хотел, чтобы к нему относились так, словно правда была уже высказана, чтобы к нему относились с должным состраданием. — Дело плохо. Дело очень плохо, — повторил он.

Он думал о смерти — о смерти, которая в образе новой жизни растет и растет у него в животе, как зародыш в матке. Единственным, что было молодо и активно в его дряхлом теле, единственным, что буйно росло и жило в нем, была смерть.

Кругом по стенам мастерской висели отрывочные воспоминания о жизни Джона Бидлэйка. Два маленьких пейзажа, написанные в садах Пинчио в те дни, когда Рим только что перестал быть владением папы, — вид на колокольни и купола сквозь просвет среди падубов, две статуи, четко вырисовывающиеся на фоне неба. Рядом с ним лицо сатира, курносое и бородатое, — портрет Верлена. Лондонская уличная сцена — кебы, цилиндры, приподнятые юбки. Три этюда пухленькой румяной Мэри Беттертон, какой она была тридцать лет тому назад. И Дженни, красивейшая из всех натурщиц. Она лежит обнаженная в шезлонге, и позади нее, на подоконнике, — букет роз, а дальше — небо и белые облака, а на белом животе Дженни — огромный

голубой персидский кот дремлет в позе геральдического льва, положив лапы между ее круглых маленьких грудей.

Леди Эдвард решила перевести разговор на другую тему.

— А Люси только что вылетела в Париж, — начала она.

XXV

Набережная Вольтера

Ветер был резкий, я забыла наушники и два с половиной часа сидела в адском шуме. Очень устала и чувствую себя, нежный Уолтер, немного сентиментально и sola sola[44]. Почему ты не здесь, чтобы разогнать нестерпимую грусть этого чудесного вечера? За окнами Лувр, река, зеленое стеклянное небо, солнце и бархатные тени. От всего этого плакать хочется. И не только от декорации. Мои руки в рукавах халата, мой почерк, даже мои голые ноги — туфли я сбросила — все это ужасно, ужасно! А мое лицо в зеркале, а мои плечи, а оранжевые розы и китайские золотые рыбки под цвет роз, а портьеры по рисункам Дюфи и все остальное, да, все, потому что здесь

---

[44] Примечания: 44
Одиноко-одиноко*(ит.)*

все одинаково прекрасно и необыкновенно, даже скучные и безобразные вещи, — все это просто невыносимо. Невыносимо! Я больше не могу терпеть — и не стану! Пятиминутный перерыв. Вот почему я позвонила Ренэ Талесиану, чтобы он приехал и выпил со мной коктейль и повез меня куда-нибудь развлекаться, malgré[45] головную боль. Я не дам Вселенной запугать меня. Ты знаешь Ренэ? Божественный человечек. И все-таки я жалею, что это не ты. Пора одеваться.

A toi[46]

Люси

Набережная Вольтера

Твое письмо утомительно. Такое нытье. И вовсе не лестно, когда человека называют ядом в крови. Это все равно что назвать человека расстройством желудка. Если не можешь писать более разумно, не пиши вовсе. Quant à moi, je m'amuse. Pas follement[47], но по мере сил, по мере сил. Театры довольно плохие, но мне нравятся: я еще не потеряла детской способности увлекать-

[45] Примечания: 45
Несмотря на*(фр.).*

[46] Примечания: 46
Твоя*(фр.).*

[47] Примечания: 47
Что же касается меня, я развлекаюсь. Не безумно*(фр.).*

ся глупой интригой. А покупать платья — такое наслаждение! Я просто любовалась собой в зеркалах у Ланвэна. Наоборот, любоваться картинами — довольно скучное занятие. Танцевать гораздо интереснее. Жизнь имела бы смысл, если бы она всегда была похожа на фокстрот с профессиональными танцорами. Но она не похожа. А если бы она была похожа, мы, вероятно, стремились бы просто ходить. По вечерам таскаюсь по монпарнасским кабакам, где своры американцев, поляков, эстонцев, румын, лапландцев, латышей, финнов, вендов и т. д., и все они (помоги нам, Господь) — художники. Не пора ли нам основать лигу по борьбе с искусством? Когда живешь в Париже, это кажется весьма актуальным. И еще мне хотелось бы встречать немного больше людей с нормальными половыми наклонностями — для разнообразия. Я не очень люблю ni les tapettes, ni les gousses[48]. А с тех пор как Пруст и Жид ввели их в моду, в этом утомительном городе только их и встречаешь. Вся моя английская респектабельность бурно протестует!

Твоя Л.

Набережная Вольтера

---

[48] Примечания: 48
Ни педерастов, ни лесбиянок*(фр.).*

Твое письмо на этот раз больше порадовало мой глаз. (Единственный стих, который я написала за всю жизнь, и к тому же экспромтом. А ведь правда неплохо?) Если бы все поняли, что счастливая или несчастная любовь — главным образом вопрос моды! Поэтическая несчастная любовь старомодна, да к тому же английские рифмы не оправдывают ее. Cuore — dolore — amore[49]: по-итальянски без этого не обойдешься. По-немецки тоже: Herz должно чувствовать Schmerz, а Liebe неизбежно полна Triebe[50]. По-английски не так. Страдания не ассоциируются с английской любовью: loves рифмуется только с gloves и turtle-doves[51]. И единственные, что, по законам английской поэзии, непосредственно взывают у англичан к их hearts, так это tarts и amorous arts[52].

И уверяю тебя, что размышлять на эту тему — занятие, гораздо более достойное мужчины, чем

---

[49] Примечания: 49
Сердце — страдание — любовь*(ит.).*

[50] Примечания: 50
Сердце — грусть; любовь — томленье*(нем.).*

[51] Примечания: 51
Любовь — перчатки — горлицы*(англ.).*

[52] Примечания: 52
Сердца — шлюхи — любовные игры*(англ.).*

твердить без конца о том, какой он несчастный, как он ревнует, как жестоко его обидели и так далее, все в том же духе. Как жаль, что этот дурак Ренэ не способен этого понять. Но к сожалению, cœur рифмуется с douleur[53], а он — француз. Он становится почти таким же скучным, как ты, мой бедный Уолтер. Надеюсь, теперь ты исправился? Ты — милый.

Л.

Набережная Вольтера

Страдаю от холодной и невыносимой скуки, которую только на минуту разогнало твое письмо. Париж нестерпимо мрачен. Я твердо решила улететь куда-нибудь еще, только не знаю куда. Сегодня у меня была Эйлин. Она хочет уйти от Тима, потому что он заставляет ее лежать голой в постели, а сам в это время жжет над ней газеты, и на нее падает горячий пепел. Бедный Тим! Нехорошо лишать его этих маленьких радостей. Но Эйлин страшно боится быть изжаренной. Она рассвирепела, когда я стала смеяться и не проявила должного сочувствия. Я отнеслась ко всему этому как к шутке. Да это и есть шутка. И к тому же не слишком остроумная. Потому что нас,

---

[53] Примечания: 53
Сердце — страданье*(фр.).*

как королеву, это не забавляет. Как я ненавижу тебя за то, что ты не здесь и не развлекаешь меня! Можно простить человеку все, кроме отсутствия. Прощай же, непростительно отсутствующий Уолтер. Сегодня я хочу тебя, твоих рук и твоих губ. А ты? Помнишь?

Л.

Набережная Вольтера

Так, значит, Филип Куорлз поселяется в имении и хочет сделаться чем-то средним между миссис Гаскелл и Кнутом Гамсуном. Ну и дела!.. Впрочем, хорошо, что для него-то еще остались иллюзии. Во всяком случае, в деревне он будет скучать не больше, чем я скучаю здесь. И никаких перспектив. Вчера вечером я отправилась с Тимом и Эйлин — она, по-видимому, примирилась с фейерверками — в одно из тех злачных мест, где за сто франков можно созерцать оргии (в масках — единственная забавная деталь), а если угодно — принимать в них участие. Полутьма — как в храме, маленькие отделеньица с диванами и масса того, что французы называют amour. Странно и дико, но главным образом тоскливо и невероятно по-медицински. Среднее между очень глупой клоунадой и анатомическим театром. Тим и Эйлин хотели, чтобы я осталась. Я сказала им, что

предпочитаю пойти в морг, и покинула их. Надеюсь, они развлекались. Но какая*скучища,* какая безнадежная и абсолютная *скучища!* Я всегда думала, что Гелиогабал был крайне испорченным юношей. Но теперь, посмотрев на то, что забавляло его, я понимаю, до чего он был инфантилен. К несчастью, в некоторых отношениях я слишком взрослая. Собираюсь на будущей неделе в Мадрид. Разумеется, там будет невероятно жарко. Но я люблю жару. Я расцветаю в печках. (Может быть, это многозначительный намек на то, что ожидает меня в загробной жизни?) Почему бы тебе не поехать со мной? Серьезно. Ты, конечно же, можешь уехать. Убей Барлепа, приезжай и стань бродягой à la Морис Баррес: Du sang, de la volupté et de la mort[54]. Настроение у меня довольно кровожадное. Испания как раз подойдет мне. Пока что разузнаю о сезоне боя быков. Арена тошнотворна; даже моя кровожадность не выдерживает вида извозчичьих кляч с распоротыми животами. Но зрители восхитительны. Двадцать тысяч одновременных садистических frissons[55]. Это потрясающе. Приезжай обязательно, мой

---

[54] Примечания: 54
О крови, сладострастии и смерти*(фр.).*

[55] Примечания: 55
Содроганий*(фр.).*

нежный Уолтер. Скажи «да». Я требую.

Люси

Набережная Вольтера

С твоей стороны было страшно мило, дорогой Уолтер, что ты сделал невозможное и решил приехать в Испанию. Но не следовало так всерьез принимать мое минутное envie[56]. Мадрид отпадает — по крайней мере, на сегодня. Если поеду, сейчас же извещу тебя. А пока что — Париж.

Спешу. Л.

XXVI

Из записной книжки Филипа Куорлза

Видел Рэмпиона. Он мрачен и раздражен, не знаю из-за чего, а потому пессимистичен — лирически и неистово пессимистичен. «Царящая у нас теперь безответственность может продолжаться еще лет десять, — сказал он, перечислив ужасы современного положения вещей. — После этого — самая жестокая и кровавая катастрофа, какая когда-нибудь была». И он предрек классовую борьбу, войну между континентами, окончательную гибель нашего уже теперь совершенно

---

[56] Примечания: 56
Желание*(фр.).*

неустойчивого общества. «Не очень приятная перспектива для наших детей, — сказал я. — Мы, по крайней мере, хоть тридцать лет пользовались жизнью. А они вырастут только для того, чтобы присутствовать при Страшном суде». «Мы не должны были производить их на свет», — ответил он. Я упомянул о меланезийцах, о которых писал Риверс: они просто отказались рожать, когда белые отняли у них религию и цивилизацию. «То же самое происходит и на Западе, — сказал я, — но только процесс совершается медленнее: не мгновенное самоубийство расы, а постепенное понижение рождаемости. Постепенное, потому что яд современной цивилизации проникал в нас медленнее. Процесс начался уже давно; но мы только теперь начинаем понимать, что мы отравлены. Поэтому-то мы только теперь перестаем рожать детей. У меланезийцев души были убиты сразу; они сразу же поняли, что с ними сделано. Поэтому-то они решили, почти в тот же день, воздержаться от продолжения рода». «Яд перестал быть медленным. Он действует все быстрее и быстрее». «Как мышьяк — кумулятивное действие. С какого-то определенного момента человек начинает буквально мчаться к смерти». «Рождаемость падала бы гораздо быстрее, если бы

люди поняли. Что ж, посмотрим, как будут вести себя наши отпрыски». «А пока что, — сказал я, — мы ведем себя так, словно современный порядок вещей будет продолжаться вечно: обучаем их хорошим манерам, латинскому языку и так далее. А как поступаете с детьми вы?» «Будь моя воля, я не стал бы их учить ничему. Отправил бы их в деревню, посадил бы на ферме и предоставил бы им развлекаться, как они хотят. А если они не сумеют развлекаться, я отравил бы их крысиным ядом». «Довольно утопическая программа воспитания, не правда ли?» «Знаю. Паршивые мальчишки — волей-неволей приходится делать из них образованных людей и джентльменов! Двадцать лет назад я этого бы не допустил. Я воспитал бы их как крестьян. Но в наши дни трудящиеся ничуть не лучше всех остальных. Скверная имитация буржуазии в некоторых отношениях даже хуже оригинала. Поэтому моих мальчишек воспитывают джентльменами. И образованными людьми. Какое идиотство!» Он пожаловался мне, что у его детей страсть к машинам — автомобилям, поездам, аэропланам и радио. «Это заразительно: вроде оспы. Бациллы смерти носятся в воздухе. Они их вдыхают и заражаются. Я стараюсь внушить им любовь к чему-нибудь другому, но на

них это не действует. Они слышать не хотят ни о чем, кроме машин. Они заражены бациллами смерти. Молодежь решила во что бы то ни стало довести мир до гибели — механизировать его так, чтобы люди окончательно обезумели, а потом принялись истреблять друг друга. Ну и пускай делают, что хотят, маленькие кретины. Но как унизительно, что человеческие существа делают из всего такую дьявольскую мерзопакость! А ведь стоит только постараться — и жизнь станет прекрасной. И она была прекрасной когда-то. Современная жизнь — это безумие. Гальванизированный труп, дергающийся и производящий адский шум, стараясь убедить себя, будто он вовсе не труп, а полный сил живой человек. Посмотрите на Нью-Йорк, посмотрите на Берлин! Господи! Что ж, если им этого так хочется, пускай себе идут ко всем чертям. Мне наплевать!» Но вся беда в том, что ему вовсе не наплевать.

После чтения Альвердеса и Уилера я окончательно решил, что мой романист будет зоологом-любителем. Или лучше зоологом-профессионалом, который в свободное время пишет роман. Он подходит ко всему строго биологически. Он постоянно переходит от муравейника к гостиной и фабрике и обратно. Для иллюстрации

человеческих пороков он находит аналогии у муравьев, которые забрасывают своих детенышей ради того, чтобы опьяняться выделениями тлей, забирающихся в муравейник. Его герой и героиня проводят медовый месяц у озера, где утки и гагары иллюстрируют все фазы ухаживания и брачной жизни. Наблюдая за привычным и почти священным «порядком клевания», установившимся на птичнике, — курица «А» клюет курицу «В», но не позволяет ей клевать себя; курица «В» клюет курицу «С» и так далее, — политический деятель размышляет о католической иерархии и фашизме. Клубок совокупляющихся змей напомнит развратнику о его оргиях. (Можно сделать очень неплохой эпизод: один из героев, нечто вроде Спэндрелла, поучает морали невинную, идеалистически настроенную молодую женщину, наблюдая с ней вместе сцену змеиного флирта.) Иллюстрацией национализма и священной любви буржуа к собственности будет самец-щегол, свирепо отстаивающий занятую им территорию. И так далее. Из этого можно сделать весьма забавный гротеск.

Мы часто забываем, что достоинства человека в одной области далеко не всегда свидетельствуют о его достоинствах в других областях. Ньютон

был великим математиком, но это еще не доказывает, что его богословские теории чего-нибудь стоят. Фарадей был прав в отношении электричества, но не прав в отношении сандеманизма. Платон писал удивительно хорошо, и поэтому люди до сих пор продолжают верить в его зловредную философию. Толстой был превосходный романист, но, несмотря на это, его рассуждения о нравственности просто омерзительны, а его эстетика, социология и религия достойны только презрения. Эта несостоятельность во всем том, что не является прямой специальностью человека, у философов и ученых вполне естественна. Она почти неизбежна.

Безусловно, чрезмерное развитие интеллекта ведет к атрофии всего остального. Отсюда — общеизвестная инфантильность профессоров и смехотворная наивность тех ответов, которые они дают на важнейшие жизненные вопросы. То же самое можно сказать и о специалистах в области религии. Непроходимая глупость святых, их детскость. Но художнику чужда такая ограниченность. Его развитие не так односторонне; поэтому художник должен быть более нормальным и здоровым, чем однобокий человек науки; он не должен страдать частичной слепотой или

быть таким чудаком, как философы или святые. Поэтому так возмущают люди, подобные Толстому. Инстинктивно ему веришь больше, чем специалисту в области интеллекта или религии. А он ни с того ни с сего вдруг начинает извращать свои глубочайшие инстинкты и превращается в такого же злокачественного идиота, каким был святой Франциск Ассизский, или Кант-моралист (о, эти категорические императивы, а ведь этот милый старичок относился с полным равнодушием ко всему, кроме глазированных фруктов), или Ньютон-богослов. Неудивительно, что после этого относишься настороженно даже к тем, кто, по-твоему, прав. Например, к Рэмпиону. Замечательный художник. Но правильны ли его взгляды на мир? Увы, это вовсе не следует из того, что он прекрасный художник и писатель. Но есть два обстоятельства, заставляющие меня доверять его суждениям о жизни. Во-первых, то, что сам он живет более приемлемо, чем кто бы то ни было. Его образ жизни более приемлем, потому что он более реалистичен, чем образ жизни большинства из нас. Мне кажется, Рэмпион учитывает все факты (тогда как другие люди прячутся от них или делают вид, будто неприятные для них факты вообще не существуют) и строит свою жизнь

в соответствии с ними, а не пытается подогнать факты под предвзятую теорию правильного образа жизни, как эти безмозглые христиане, моралисты, интеллектуалы и преуспевающие дельцы. Другое обстоятельство, заставляющее меня доверять его суждениям, — это то, что в большинстве случаев они совпадают с моими; а это, даже если оставить в стороне тщеславие, является само по себе хорошим признаком, потому что наши отправные пункты совершенно различны; можно сказать, что мы приходим к одному и тому же, двигаясь с противоположных полюсов. Если двое противников (а это самое важное, и с этого нужно начать: мы противники) приходят к одному выводу, этот вывод почти, наверное, правилен. Основная разница между нами в том, что он живет согласно своим убеждениям, а я (увы!) нет. Подобно ему, я не доверяю интеллектуализму, но только интеллектуально, я не верю ни в одну научную или философскую теорию, ни в одну абстрактную систему морали, но основываюсь при этом на той же науке, философии и абстрактной морали. Моя задача — построить свою жизнь в гармоническом соответствии с моим равнодушным интеллектуальным скептицизмом.

Путь всякого интеллектуала, если он следует

по этому пути достаточно долго и неуклонно, приводит его к той самой очевидности, от которой человек неинтеллектуальный никуда и не уходил. Эту мысль развил в одной из своих слякотно-рвотных статей Барлеп. Тем не менее в этой мысли есть большая доля правды. (И вот мы снова возвращаемся к людям. Абсолютно презренный человек может высказывать ценные мысли, совершенно так же как у человека, в каком-нибудь отношении замечательного, могут быть совершенно ошибочные мысли. Кстати сказать, я, вероятно, принадлежу к первой категории — хотя и не в такой мере, как Барлеп, и в другом смысле.) Разумеется, многие интеллектуалы не так далеко уходят по избранному пути, чтобы вновь вернуться к очевидности. Они не могут отделаться от наивной веры в рассудок, в абсолютное превосходство духовных ценностей и в совершенно сознательную волю. Чтобы снова обрести ту очевидность, которую люди неинтеллектуальные никогда не покидали, нужно зайти гораздо дальше, чем, например, мыслители девятнадцатого столетия, а, по крайней мере, так далеко, как это удавалось Протагору или Пиррону. Спешу оговориться, что эти «неинтеллектуальные люди» не имеют ничего общего с

той современной чернью, которая читает иллюстрированные журналы, слушает радио и джазы и озабочена исключительно тем, чтобы добывать деньги и весело проводить время. Нет, нет! Я вовсе не собираюсь превозносить тупоголовых дельцов или недоучек. Несмотря на всю их глупость, отсутствие вкуса, вульгарность и инфантильность (а может быть, именно вследствие этих недостатков), это вовсе не те неинтеллектуальные люди, о которых говорю я. Они принимают на веру основную аксиому интеллектуализма о превосходстве разума, сознания и воли над физической жизнью, над интуицией, инстинктом и чувством. Вся современная цивилизация построена на том положении, будто специализированные функции, определяющие место человека в обществе, более существенны, чем сам человек, или, вернее, что эти-то функции и есть сам человек, а все прочие не существенны или даже (поскольку физическая инстинктивная, интуитивная и эмоциональная части человеческого «я» не принимают заметного участия в «добывании денег» и продвижении вверх по общественной лестнице) вредны и отвратительны. Недоучки нашего современного индустриализованного общества обладают всеми недостатками людей интеллекта и ни одним

из их достоинств. Те неинтеллектуальные люди, которых подразумеваю я, нисколько на них не похожи. Небольшое количество их, наверное, еще можно найти в Италии (хотя фашизм, должно быть, уже превратил их в дурные копии с американцев и пруссаков), в Испании, в Греции, в Провансе. И больше, пожалуй, нигде в современной Европе. Три тысячи лет назад их, вероятно, было сколько угодно. Но соединенные усилия Платона и Аристотеля, Иисуса, Ньютона и капитализма превратили их потомков в современную буржуазию или в современный пролетариат. Та очевидность, к которой в конце концов возвращается интеллектуал, если он готов идти за ней достаточно далеко, конечно, отнюдь не совпадает с очевидностью людей неинтеллектуальных. Их очевидность есть сама жизнь, а его очевидность — только идея такой жизни. Немногим удается облечь идею в плоть и кровь и претворить ее в реальность. А еще меньше таких людей интеллекта, которым, как Рэмпиону, даже и не приходится возвращаться к очевидности, потому что они всегда в нее верили и ею жили.

Общение с Рэмпионом несколько угнетает меня, потому что он показывает мне, какая пропасть отделяет познание очевидности от

реальной жизни в ней. И до чего же трудно перебраться через эту пропасть! Теперь я понимаю, что интеллектуальная жизнь — жизнь, посвященная эрудиции, научной работе, философии, эстетике, критике, — пленяет нас своей легкостью. Сложность реальной действительности мы подменяем простой интеллектуальной схемой, бурное движение жизни — застывшими формами смерти. Несравненно легче знать очень много по истории искусства и высказывать глубокие мысли в области метафизики и социологии, чем знать (интуитивно и по личному опыту) очень много о своих ближних и поддерживать удовлетворительные отношения с друзьями и возлюбленными, с женой и детьми. Жизнь — штука гораздо более трудная, чем санскрит, или химия, или экономика. Интеллектуальная жизнь — это детская игра; вот почему люди интеллекта так легко становятся детьми, а потом идиотами, а в конце концов, как ясно показывает политическая и экономическая история последних столетий, — сумасшедшими, человекоубийцами и дикими зверями. Подавляемые склонности не умирают: они вырождаются, они гноятся, они возвращаются к первобытности. Но пока что быть интеллектуальным младенцем, или

сумасшедшим, или зверем гораздо легче, чем гармоничным взрослым человеком. Вот почему (оставляя в стороне другие причины) так велик спрос на высшее образование. Бегство в книги и университеты похоже на бегство в кабаки. Люди хотят забыть о том, как трудно жить по-человечески в уродливом современном мире, они хотят забыть о том, какие они бездарные творцы жизни. Одни топят свою боль в алкоголе, другие (и их гораздо больше) — в книгах и художественном дилетантизме; одни ищут забвения в блуде, танцах, кино, радио, другие — в докладах и в занятиях наукой ради науки. Книги и доклады имеют то преимущество перед пьянством и блудом, что после них не испытываешь ни головной боли, ни того неприятного post coitum triste[57], которым сопровождается разврат. Должен признаться, до самого последнего времени я тоже относился вполне серьезно к образованию, философии и науке — ко всем тем видам деятельности, которые мы снабжаем возвышенным ярлыком «Поисков Истины». Я считал Поиски Истины высочайшей задачей человека, а искателей — благороднейшими людьми. Но за последний год я начал

---

[57] Примечания: 57
Печального послесоития*(лат.).*

понимать, что эти пресловутые Поиски Истины — такое же развлечение, как все остальное, что это сложный и утонченный суррогат подлинной жизни и что искатели Истины становятся в своем роде такими же глупыми, инфантильными и испорченными, как и пьяницы, чистые эстеты, дельцы и охотники за наслаждениями. Я понял также, что погоня за Истиной просто вежливое наименование любимого времяпрепровождения людей интеллекта, заключающегося в подмене живой сложности реальной жизни упрощенными, а следовательно, лживыми абстракциями. Но искать Истину гораздо легче, чем изучать искусство цельной жизни, в которой, разумеется, Поиски Истины займут надлежащее место среди прочих развлечений, как то: игра в кегли и альпинизм. Сказанное объясняет (хотя и не оправдывает) мое все продолжающееся потворство таким порокам, как чтение научной литературы и отвлеченное мышление. Хватит ли у меня когда-нибудь силы освободиться от ленивых привычек интеллектуализма и посвятить всю энергию более серьезной и трудной задаче — жить полной жизнью? А если даже я попробую избавиться от этих привычек, не обнаружится ли, что эти привычки у меня — наследственные

и что я от рождения не способен жить цельной и гармоничной жизнью?

XXVII

Джон Бидлэйк никогда не расходился официально и окончательно со своей третьей женой. Они просто редко виделись. Такое положение вещей как нельзя лучше устраивало Джона. Он ненавидел резкие разрывы и в то же время был врагом всяких определенных и нерушимых соглашений. Он не терпел таких положений, которые связывали его, налагали на него ответственность, заставляли все время помнить о долге.

«Один бог знает, — любил он говорить, — что произошло бы со мной, если бы мне приходилось ходить каждый день в контору или выполнять работу к определенному сроку. Я, вероятно, взбесился бы через какие-нибудь два-три месяца».

К браку он всегда относился отрицательно. К несчастью, однако, он не мог иметь всех тех женщин, которые ему нравились, не вступая с ними в брак. Ему пришлось трижды заключать то, что он на языке Цицерона называл «неуместными и непристойными соглашениями». Мысль о разводе или формальном разрыве была ему не менее противна, чем мысль о браке: развод

тоже был чем-то определенным, это тоже вас к чему-то обязывает. Отчего не предоставить событиям следовать их естественному ходу, зачем стараться придать им произвольную форму? Идеальной он считал такую жизнь — изо дня в день без плана, без заведенного порядка, в приятном обществе спутников, выбранных сегодня, самим человеком, а не другими людьми, или одним из его прежних, уже отмерших «я». «Спишь где попало» — в таких выражениях описывала одна юная американка любовную сторону идеальной жизни в Голливуде. Другие стороны этой жизни можно было бы охарактеризовать термином «бодрствуешь где попало». Неидеальная жизнь, которую Джон Бидлэйк упорно отказывался вести, состояла в том, чтобы спать и бодрствовать не «где попало», а в каком-то определенном месте, здесь или там, день за днем, согласно твердому распорядку, нарушить который может только смерть или по меньшей мере вмешательство Бога или врагов его величества короля.

Отношения между Джоном Бидлэйком и его третьей женой отличались вполне удовлетворявшей его неопределенностью. Вместе они не жили, но и не расходились. Виделись они редко, но зато никогда не ссорились. Добрых двадцать

лет Джон спал и бодрствовал «где попало», и все-таки, встречаясь, они встречались как друзья; а когда ему хотелось освежить в памяти ландшафт Северного Чилтерна, его приезд в Гаттенден принимался как нечто вполне естественное. Такое положение вещей вполне удовлетворяло Джона Бидлэйка, и надо отдать ему справедливость, он был благодарен своей жене за то, что она соглашалась на такую жизнь. Впрочем, свою благодарность он никогда не высказывал, боясь этим придать оттенок нежелательной определенности отношениям, хрупкая прелесть которых заключалась именно в их незапятнанной и девственной неясности. Далеко не всякая женщина, с благодарностью признавал ее супруг, сумела бы так тщательно охранять неясность создавшегося положения, как это делала Джэнет Бидлэйк. Другая жена потребовала бы объяснений, захотела бы знать, кем же ее, наконец, считают, предложила бы отчетливую альтернативу мира или войны, совместной жизни или развода. Но миссис Бидлэйк позволила своему мужу незаметно покинуть семейный очаг, не ссорясь с ним, не говоря ему ни слова. И так же молча принимала она его внезапные и кратковременные возвраты к ней. Она с детства больше жила в выдуманном ею мире,

чем в мире реальном. Когда она была маленькой девочкой, у нее была воображаемая сестра, жившая в железнодорожной будке у шлагбаума. В возрасте от десяти до тринадцати лет ее неспособность различать между свидетельствами ее чувств и вымыслами ее фантазий нередко приводила к тому, что ее наказывали за ложь. Картины и книги ввели ее фантазию в новое русло: ее вымыслы потеряли свой прежний глубоко личный характер и развертывались теперь в сфере искусства, литературы и философской мысли. Начиная с шестнадцати лет она жила в мире искусства и литературы, а в реальной Англии чувствовала себя совершенно чужой. Она влюбилась в Джона Бидлэйка и согласилась стать его женой именно потому, что она сочла его своим духовным соотечественником. Для ее родителей он был таким же подданным королевы Виктории, как они сами; он гораздо больше интересовал их как ее будущий муж, чем как художник; поэтому они сделали все возможное, чтобы отговорить ее от этого брака. Но Джэнет была совершеннолетней и отличалась упорством тех людей, которые умеют внутренне устраниться от спора, просто перенестись в другой план, предоставляя противнику продолжать спор с их опустевшей оболочкой.

Кончилось тем, что она настояла на своем. Когда Джэнет Бидлэйк обнаружила — а это случилось очень, очень скоро, — что между замечательным художником, которого она полюбила, и человеком, за которого она вышла замуж, нет ничего общего, гордость помешала ей жаловаться. Она не хотела давать своим родственникам права сказать ей: «Мы же тебе говорили». Джон спал и бодрствовал «где попало» и все больше и больше отходил от совместной жизни. Она не ссорилась с ним и искала утешения в мире привычных ей художественных и литературных вымыслов.

Ее личные средства и суммы, нерегулярно присылаемые Джоном Бидлэйком в те минуты, когда он вдруг вспоминал, что ему нужно содержать жену и детей, позволяли ей предаваться сколько угодно этим путешествиям по воображаемому миру. Элинор родилась через год после их брака. Спустя четыре года язва желудка привела временно исправившегося Джона Бидлэйка домой. Плодом его выздоровления в спокойной домашней обстановке был Уолтер. Язва зажила, и Джон Бидлэйк снова исчез. Детей воспитывали няньки и гувернантки. Миссис Бидлэйк как бы издали следила за их воспитанием. Изредка она пере-

ступала границу, отделявшую ее мир от мира реальной действительности; и ее вмешательства в повседневный порядок всегда носили характер вмешательства свыше. Когда она, существо иного плана, подходившее ко всему не с теми мерками, с какими подходят обитатели реального мира, удостаивала вникнуть на миг в ход воспитания своих детей, это приводило к самым неожиданным последствиям. Так, однажды она отказала от места гувернантке, услышав, как та играла на пианино в классной комнате песенку Дана Лено об осе и крутом яйце. Гувернантка была добрая девушка, умела обращаться с детьми и содержала разбитого параличом отца. Но на карту были поставлены великие художественные принципы. Мисс Демпстер могла непоправимо испортить музыкальный вкус Элинор (кстати сказать, Элинор унаследовала от отца отвращение к музыке); а то, что Элинор была очень привязана к гувернантке, делало эту опасность еще более реальной. Миссис Бидлэйк проявила большую твердость. Она не потерпит у себя в доме «осу и крутое яйцо». Мисс Демпстер было отказано от места. Когда ее старый отец узнал об этом, с ним произошел второй удар, после чего он ослеп на один глаз и лишился дара речи. Обычно, однако,

возвращения миссис Бидлэйк из воображаемых путешествий не имели таких роковых последствий. Ее вмешательство в дело воспитания детей ограничивалось обычно требованием читать классиков, которых считают непонятными или неподходящими для детей младшего возраста. По ее теории, детей с самых ранних лет нужно воспитывать на лучших творениях искусства и философии.

Когда Элинор было три года, ей читали вслух «Гамлета», а вместо книжек с картинками дарили альбомы снимков с картин Джотто и Рубенса. Семи лет она училась французскому языку по «Кандиду», читала «Тристрама Шенди» и «Теорию зрения» епископа Беркли, девяти лет читала «Этику» Спинозы, училась немецкому языку по «Also sprach Zarathustra»[58] и рассматривала офорты Гойи. В результате такого преждевременного знакомства с философией у Элинор развилось слегка насмешливое и пренебрежительное отношение к отвлеченным построениям и к высокопарному идеализму. Воспитанная на полных изданиях классиков (без всяких цензурных сокращений), она с детства приобрела глубокие теоретические

[58] Примечания: 58
«Так говорил Заратустра»*(нем.).*

познания о тех предметах, о которых дети, по общепринятому мнению, вообще ничего не должны знать. Это только усилило ее прирожденную холодность и отсутствие любопытства ко всему, что касалось любви; молодой девушкой она напоминала тех шекспировских героинь, которые говорят обо всем откровенно и внешне цинично, но поступают крайне добродетельно. Непочтительное отношение Элинор к тому, что сама она нежно любила, несколько огорчало миссис Бидлэйк; но она весьма разумно воздерживалась от замечаний и не пыталась исправить этот недостаток, а просто игнорировала и удалялась, как игнорировала она недостатки своего мужа и удалялась от столкновения с ним в эмпиреи искусства и фантазии. Сделанного не переделаешь; но, когда о каком-нибудь событии умалчиваешь, на практике это дает такой же эффект, как если бы вообще ничего не произошло.

Когда Джон Бидлэйк приехал в Гаттенден, угнетенный болезнью, а еще больше отчаянием, страхом и всепоглощающей жалостью к самому себе, миссис Бидлэйк обошла молчанием то обстоятельство, по поводу которого она могла бы сказать очень много, а именно: что он приходил к ней лишь тогда, когда ему нужна была сидел-

ка. Ему приготовили комнату, и он стал жить в ней. Все выглядело так, точно он никогда и не уезжал. На кухне горничные ворчали по поводу того, что им прибавилось работы, миссис Инмэн вздыхала, а Добс тяжеловесно и по-англикански возмущался поведением старого мистера Бидлэйка по отношению к собственной жене. Но все это не мешало им с каким-то сладострастием жалеть старика. О его болезни и ее симптомах говорили, благоговейно понизив голос. Вслух прислуга ворчала и возмущалась. Но втайне все были довольны. Приезд Джона Бидлэйка нарушил их монотонную повседневную жизнь, а то, что он умирал, придавало им всем какую-то особенную значительность. Его приближающаяся смерть была как бы солнцем, вокруг которого многозначительно и беззвучно обращались души обитателей Гаттендена. Слуги могли ворчать и возмущаться, но относились они к нему крайне заботливо. Они испытывали к нему неясную благодарность. Своей смертью он оживлял их жизнь.

XXVIII

Молли д'Экзержилло требовала, чтобы все было высказано, произнесено, четко сформулировано.

Жизненный опыт был для нее лишь сырьем, которое активный ум перерабатывает в слова. Для чего магнитный железняк человеку, не умеющему выплавлять руду и ковать из металла плуги и мечи? Сами по себе события реальной жизни, ощущения, переживания, мысли и воспоминания интересовали Молли не больше, чем куски руды. Они приобретали ценность лишь тогда, когда искусство и разработанная техника разговора превращали их в остроумные словечки и красиво построенные фразы. Закат нравился ей потому, что она могла сказать о нем: «Это похоже на сочетание бенгальских огней, Мендельсона, сажи и клубники со сливками», или весенние цветы: «Когда смотришь на них, чувствуешь себя так, точно выздоравливаешь от гриппа. Не правда ли?» И, доверчиво склоняясь к собеседнику, она повторяла свой риторический вопрос: «Не правда ли?» Вид на далекие горы во время грозы нравился ей тем, что он напоминал толедские пейзажи Эль Греко. Что же касается любви — да, конечно, главным ее достоинством было в глазах Молли то, что о ней можно разговаривать без конца.

Она как раз говорила о ней с Филипом Куорлзом — говорила о ней в продолжение целого часа, анализируя себя, излагая свои пережива-

ния, расспрашивая Филипа о его прошлом и его чувствах. Он отвечал ей неохотно и с трудом: он терпеть не мог говорить о себе и это удавалось ему очень плохо.

— Не правда ли, — говорила она, — самое увлекательное в любви то, что открываешь в себе много такого, о чем и не подозревал раньше?

Филип покорно согласился.

— Я и понятия не имела, что могу испытывать к кому-нибудь материнские чувства, пока не вышла за Жана. Я так волнуюсь, когда он промочит ноги.

— Я тоже очень беспокоился бы, если бы вы промочили ноги, — сказал Филип, стараясь быть галантным. «Как глупо!» — подумал он. Он не был силен по части галантности. Ему хотелось, чтобы цветущая сливочная красота Молли меньше привлекала его. Будь она уродом, он не сидел бы здесь как дурак.

— Как это мило с вашей стороны, — сказала Молли. — Скажите мне, — продолжала она, склоняясь к нему и выставляя напоказ лицо и грудь, — почему я вам нравлюсь?

— Разве это не ясно без слов? — ответил он.

Молли улыбнулась.

— А вы знаете, почему Жан считает меня един-

ственной женщиной, которую он мог полюбить?

— Нет, — сказал Филип и подумал, что она необыкновенно хороша — величественная, как Юнона.

— Потому что, по его словам, я единственная женщина, не подходящая под определение Бодлера — le contraire du dandy[59]. Помните это место в «Mon Coeur Mis à Nu»?[60] La femme a faim et elle veut manger; soif, et elle veut boire. La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. Aussi est-elle…[61]

Филип прервал ее.

— Вы пропустили одну фразу, — сказал он со смехом. — Soif — et elle veut boire. А дальше: Elle est en rut, et elle veut être… В издании Крепе это слово выпущено, но, если вам угодно, я могу его повторить[62].

— Нет, благодарю вас, — сказала Молли, чувствуя себя выбитой из колеи. Ее прервали;

---

[59] Примечания: 59

Противоположность денди*(фр.).*

[60] Примечания: 60

«Мое обнаженное сердце»*(фр.)*

[61] Примечания: 61

Женщина голодна, и она хочет есть; она жаждет, и она хочет пить. Женщина естественна, то есть отвратительна. Поэтому она…*(фр.).*

[62] Примечания: 62

Выпущенным словом было «foutue», и фраза в слегка смягченном переводе звучит: «У нее течка, и она хочет, чтобы ее удовлетворили»*(фр.).*

испытанный разговорный гамбит был испорчен. Она не привыкла к людям, так хорошо знакомым с французской литературой. — Это несущественно.

— Разве? — Филип поднял брови. — Сомневаюсь.

— Aussi est-elle toujours vulgaire, — поспешно вернулась она к тому месту, на котором ее прервали, — c'est-à-dire le contraire du dandy[63]. Жан говорит, что я единственная женщина-денди. А как по-вашему?

— Боюсь, что он прав.

— Почему «боюсь»?

— Пожалуй, мне не слишком нравятся денди. Особенно женского пола. — «Женщина, использующая красоту своей груди, чтобы заставить вас восторгаться ее умом, — недурной тип для романа, — подумал он, — но в частной жизни такие женщины утомительны, очень утомительны». — В женщинах я предпочитаю естественность, — добавил он.

— Какой смысл быть естественной, если не обладаешь достаточным искусством, чтобы делать это в совершенстве, и достаточным даром само-

---

[63] Примечания: 63

Поэтому она всегда вульгарна... то есть представляет собой противоположность денди*(фр.).*

наблюдения, чтобы оценить, насколько это тебе удается? — Молли была довольна этой фразой: немножко отделать ее, и получится идеальное bon mot. — Любить кого-нибудь имеет смысл только тогда, когда знаешь точно, что именно чувствуешь, и умеешь это выразить.

— Не вижу в этом большого смысла, — сказал Филип. — Чтобы наслаждаться цветами, не нужно быть ботаником или художником. И точно так же, дорогая Молли, не нужно быть Зигмундом Фрейдом или Шекспиром, чтобы наслаждаться вами. — И, быстро подвинувшись к ней, он обнял ее и поцеловал.

— Что вы вообразили? — воскликнула она в полном смятении, отталкивая его.

— Ничего не воображал, — сердито ответил он с противоположного конца дивана. — Я ничего не воображаю: я просто хочу вас. — Он чувствовал себя в унизительном, нелепом положении. — Но я совсем забыл, что вы монахиня.

— Вовсе я не монахиня, — запротестовала она. — Я просто цивилизованная женщина. Что у вас за дикарские манеры — набрасываться на женщину и тискать ее! — Она поправила растрепавшийся локон и начала развивать тему о платонической любви и о том, как она способ-

ствует духовному росту. Чем более платоничны отношения между влюбленными мужчиной и женщиной, тем интенсивнее живет их сознание. — Что проигрывает тело, то выигрывает душа. Кажется, это Поль Бурже сказал в своей «Psychologie contemporaine»?[64] Конечно, романист он плохой, — добавила она, извиняясь за то, что цитирует такого старомодного и дискредитированного автора, — но как эссеист он хорош. Как по-вашему? Это сказал Поль Бурже? — повторила она.

— Вероятно, Бурже, — устало ответил Филип.

— Энергия, стремившаяся выявиться в физической страсти, отвлекается в другое русло и вертит жернова души. — «“Вертит жернова души” звучит, пожалуй, чересчур романтично, по-викториански, в духе Мередита», — подумала она. — Мы заставляем презренное тело, — поправилась она, — приводить в движение духовные турбины. Подавляемое подсознание находит выход, стимулируя сознание.

— А стоит ли стимулировать сознание? — спросил Филип, с недовольным видом разглядывая пышную фигуру на противоположном конце

---

[64] Примечания: 64
«Очерки по современной психологии»*(фр.).*

дивана. — По правде говоря, мне порядком надоело сознание. — Он восхищался ее телом, но она позволяла ему соприкасаться только с ее гораздо менее интересным и прекрасным умом. Он хотел поцелуев, а получал анализ переживаний и философские афоризмы. — Нестерпимо надоело, — повторил он. И немудрено, что надоело.

Молли только рассмеялась.

— Не стройте, пожалуйста, из себя доисторического пещерного человека, — сказала она. — Это вовсе не идет вам. Чтобы я поверила, что вам надоело сознание! Это вам-то! Да если вам надоело сознание, значит, вы сами себе надоели.

— Вот именно, — сказал Филип. — Вы заставили меня почувствовать, что я сам себе надоел. До последней степени. — Он встал, чтобы попрощаться с ней.

— Что это, оскорбление? — спросила она, пристально смотря на него. — Почему я заставила вас почувствовать это?

Филип покачал головой.

— Не могу объяснить. Да и незачем. — Он протянул ей руку. Молли взяла ее, с любопытством глядя ему прямо в лицо. — Если бы вы не были весталкой цивилизации, — продолжал он, — вы поняли бы меня без всяких объяснений. Или, вер-

нее, тогда нечего было бы объяснять. Потому что с вами я не устал бы от самого себя. И разрешите мне сказать вам на прощание, Молли, что, будь вы действительно во всех смыслах цивилизованной женщиной, вы постарались бы сделать себя менее привлекательной. Быть привлекательной — это варварство. Такое же, как набрасываться на женщину и тискать ее. Вам следует иметь внешность как у Джордж Элиот. Прощайте. — И, в последний раз тряхнув ее руку, он, прихрамывая, вышел из комнаты.

На улице он постепенно успокоился. Он даже начал улыбаться про себя. Все это было скорее смешно. Когда укусят кусаку, это всегда смешно, даже если в роли укушенного кусаки оказался ты сам. Он, существо сознательное и цивилизованное, потерпел поражение от существа еще более цивилизованного. Высшая справедливость. Но какое предостережение! Пародии и карикатуры — самая меткая критика. В Молли он увидел карикатуру на самого себя. Зрелище довольно грустное. Улыбка сошла с его лица, и он задумался.

«Должно быть, я просто урод», — подумал он.

Сидя в парке, он разбирал свои недостатки. Он нередко занимался этим и раньше. Но исправить

их он не пытался никогда. Он знал заранее, что и на этот раз он их не исправит. Бедная Элинор! Болтовня Молли о платонической любви и Поле Бурже показала ему, каково приходится Элинор с ним самим. Он решил рассказать ей о своем приключении с Молли — рассказать в комических тонах, потому что так легче рассказывать, а потом перейти к разговору о них самих. Да, так он и сделает. Ему следовало заговорить об этом раньше. Последнее время Элинор была так неестественно молчалива, так далека от него. Это беспокоило его, он хотел говорить, он чувствовал, что должен говорить. Но о чем? Смехотворный эпизод с Молли давал ему материал для начального гамбита.

— А я сегодня был у Молли д'Экзержилло, — начал он, встретившись с Элинор. Но она таким холодным и равнодушным тоном сказала «В самом деле?», что он не смог продолжать. Оба замолчали. Элинор продолжала читать. Он незаметно поверх книги взглянул на нее. На ее бледном лице было написано выражение спокойной отчужденности. Им снова овладело то чувство неловкости и беспокойства, которое он часто испытывал за последние недели.

— Почему мы теперь никогда не разговарива-

ем? — набрался он храбрости спросить ее вечером после обеда.

Элинор подняла глаза от книги.

— Разве я никогда не разговариваю? — сказала она с иронической улыбкой. — Вероятно, просто нет ничего особенно интересного, о чем стоило бы говорить.

Филип узнал те слова, которыми он часто отвечал на ее упреки, и пристыженно замолчал. И все-таки с ее стороны нехорошо было пользоваться против него его же оружием. Когда он говорил это, в этом была правда: ему в самом деле не о чем было говорить. Привычкой всегда скрывать свои личные переживания он почти умертвил их. Мало что происходило вне интеллектуальной части его сознания — а то немногое, что происходило, было слишком обыкновенным или даже постыдным. Тогда как у Элинор всегда находились темы для разговора. Ей не нужно искать их: они приходят к ней сами. Филип с удовольствием объяснил бы ей это; но почему-то это было трудно, он не мог этого сделать.

— И все-таки, — наконец сказал он после долгого молчания, — раньше ты говорила гораздо больше. Только в последние дни…

— Просто мне надоело говорить — вот и все.

— А почему тебе это надоело?

— Разве мне не может надоесть? — Она обиженно рассмеялась. — У тебя, например, всегда такой вид, точно тебе все надоело.

Филип посмотрел на нее с некоторым беспокойством. Его глаза умоляли. Но она не позволила себе пожалеть его. Она и так делала это слишком часто. Он эксплуатировал ее любовь, систематически недоплачивал ей, а когда она угрожала бунтом, он вдруг становился трогательным и беспомощным, он взывал к ее лучшим чувствам. На этот раз она будет жестока. Пусть себе умоляет и тревожится сколько угодно, она не станет обращать внимания. Поделом ему. И все-таки она чувствовала себя виноватой. Но ведь виноват был он сам. Почему он не любит ее активно, просто и прямо, почему он не высказывает свою любовь. В ее любви он всегда уверен, принимает ее пассивно, как нечто принадлежащее ему по праву. А теперь, когда она перестала давать ему свою любовь, он смотрит на нее умоляюще, с немой тревогой. Но сказать что-нибудь, сделать что-нибудь…

Минуты шли. Элинор ждала, делая вид, что читает. Если бы он только заговорил или хоть шевельнулся! Она так хотела снова любить его,

она ждала только предлога. Что же до Эверарда — ну, Эверард не в счет. В тех глубинах ее «я», где вступал в свои права инстинкт, Эверард действительно не занимал никакого места. Если бы Филип постарался хоть немножко полюбить ее, Эверард перестал бы занимать место даже в ее сознательном «я», которое пыталось полюбить его — полюбить, так сказать, из принципа, полюбить его нарочно, с заранее обдуманным намерением. Но минуты проходили в молчании. И в конце концов, вздохнув (он тоже хотел сказать что-нибудь, сделать что-нибудь, но это было невозможно, потому что сказанное или сделанное носило бы слишком интимный характер), Филип взял книгу и в интересах романиста-зоолога из своего романа принялся читать о собственническом инстинкте у птиц. Снова читать. Он так ничего и не сказал. Ах так! Если он хочет, чтобы она стала возлюбленной Эверарда, пускай пеняет на себя! Она попыталась пожать плечами и прийти в воинственное настроение. Но внутренне она чувствовала, что ее угроза относилась к ней самой, а не к Филипу. Она была обречена, а не он. Обречена стать любовницей Эверарда.

Завести себе любовника казалось Элинор в теории делом вовсе не трудным. Она не видела

в этом ничего безнравственного. А какой шум подымают из-за этого христиане и героини романов! Непонятно. «Если людям хочется спать вместе, — обычно говорила она, — почему не сделать этого просто и прямо, не мучая ни себя, ни всех окружающих». Общественного мнения она тоже не боялась. Если она заведет себе любовника, возражать против этого будут именно те люди, против которых она сама всегда возражала. Порвав знакомство с ней, они только доставят ей удовольствие. Что же касается Фила, то он этого заслужил. В его власти было предотвратить это. Почему он не подошел к ней ближе, почему он не отдавал ей немножко больше самого себя? Она просила у него любви, а получала отчуждение и безлично хорошее отношение. Ей нужно было очень немного — только теплоты, только человечности. И она не раз предупреждала его, что произойдет, если он не даст ей этого.

Что он, не понимает, что ли? Или ему просто все равно? Может быть, ему даже не будет больно; наказание не будет наказанием? Это было бы унизительно. Но, в конце концов, напоминала она себе каждый раз, доходя до этого пункта в споре с собой, в конце концов она собирается завести любовника не только для того, чтобы

наказать Филипа; ее главная цель не в том, чтобы научить его человечности, заставить его страдать и ревновать; она сделает это ради собственного счастья. (Она старалась забыть, какой несчастной делала ее эта погоня за счастьем.) Ради своего собственного счастья. Она привыкла во всех помыслах и поступках считаться исключительно с Филипом. Даже завести любовника она решила ради Филипа. А это было совсем уж глупо.

Но ей приходилось постоянно напоминать себе о своем праве, о своем намерении быть счастливой независимо от него. Для нее было слишком естественно и привычно думать обо всем, даже о возможном любовнике, с точки зрения интересов Филипа — его обращения на путь истины или его наказания. Чтобы помнить, что нужно забыть о Филипе, приходилось делать над собой сознательное усилие.

Как бы там ни было, из каких бы соображений она к этому ни стремилась, завести любовника казалось ей психологически делом вовсе не трудным. Особенно если этим любовником будет Эверард Уэбли. Он очень нравился ей; она восторгалась им; сила, излучаемая им, странно волновала и потрясала ее. Но какие необыкновенные трудности вставали перед ней, когда дело

доходило до физического сближения! Ей нравится бывать с ним, ей нравятся его письма, она может вообразить, когда он не прикасается к ней, что она влюблена в него. Но когда, во время их второй встречи после ее приезда, Эверард обнял ее и начал целовать, ее охватил какой-то ужас, она стала холодной и каменной в его объятиях. Это был тот же ужас, та же холодность, какие она почувствовала, когда он, год тому назад, в первый раз попытался поцеловать ее. Она испытывала теперь то же самое, хотя за этот год она приучала себя чувствовать иначе, подготовляла свое сознание к мысли сделать его своим любовником. Этот ужас, эта холодность была реакцией ее инстинктивного «я». Только ее сознание согласилось; ее чувство, ее тело, все ее инстинкты восставали. Ее окаменевшее и отшатнувшееся от него тело страстно возмущалось против того, что ее интеллект считал вполне безобидным. Дух был развратником, но плоть оставалась целомудренной.

— Не надо, Эверард, — говорила она. — Не надо.

Он отпустил ее.

— Почему вы ненавидите меня?

— Это не так, Эверард.

— Вы содрогаетесь от моих объятий! — сказал он с горькой насмешкой. Ему было больно, и растравлять эту рану доставляло ему удовольствие. — Я внушаю вам отвращение.

— Зачем вы это говорите? — Ей было стыдно, что она отшатнулась от него; но все-таки он действительно внушал ей отвращение.

— Потому что это так.

— Нет, это не так.

При этих словах Эверард снова протянул к ней руки. Она покачала головой.

— Не трогайте меня, — умоляла она. — Не надо. Вы испортите все. Я не могу объяснить — почему, я не знаю — почему. Но теперь не надо. Пока не надо, — добавила она, словно обещая ему что-то в будущем, но теперь избегая его.

Это подобие обещания снова его воспламенило. Элинор наполовину жалела, что она произнесла эти слова, наполовину радовалась, что она приняла на себя какое-то обязательство. Она чувствовала облегчение, потому что ей удалось избежать немедленной угрозы физической близости с ним, и в то же время она сердилась на себя за то, что она отшатнулась от него, что она оттолкнула его. Ее тело и ее инстинкты восстали против ее воли. Ее обещание было местью воли

этим изменникам. Этим обещанием она как бы вознаграждала Эверарда. «Пока не надо». Но когда же? Когда? Когда угодно, отвечала ее воля, когда захочешь. Обещать было легко, но как трудно было выполнить! Элинор вздохнула. Если бы Филип позволил ей любить себя! Но он ничего не говорил, он ничего не делал, он продолжал читать. Своим молчанием он обрекал ее на неверность.

XXIX

Место действия — Гайд-парк; время — июнь месяц, суббота. В зеленом мундире, с мечом, Эверард Уэбли держал речь перед тысячей «свободных британцев», сидя на своем белом коне Буцефале. С военной четкостью, которая сделала бы честь гвардии, «свободные британцы» построились в ряды на набережной у Блэкфрайерского моста, под музыку, с символическими знаменами промаршировали до Черинг-Кросс, по Нортумберленд-авеню, через Трафальгар-сквер и Кембридж-серкус на Тоттенхэм-Корт-роуд, а оттуда — по Оксфорд-стрит к Мраморной арке. У входа в парк они столкнулись с демонстрацией Общества противников вивисекции, и произошла некоторая заминка. Ряды смешались, мелодии слились — один оркестр играл марш британских

гренадеров, а другой — «Я с верой смотрю на тебя, агнец, распятый за нас»; знамена перепутались — «Защитим наших песиков» и «Никогда британцы не будут рабами», «Социализм — это тирания» и «Доктора или дьяволы?» Но благодаря изумительной дисциплине «свободных британцев» инцидент быстро был улажен, и после небольшой задержки тысяча вошла в парк, промаршировала вслед за своим вождем и выстроилась по трем сторонам квадратной поляны; четвертую сторону заняли Эверард и его штаб. Прозвучали фанфары, и тысяча пропела четыре стиха из сочиненной Эверардом (в духе Киплинга) «Песни свободных людей». Затем Эверард произнес речь.

— «Свободные британцы», товарищи, — сказал он, и от звука этого сильного спокойного голоса наступила полная тишина даже среди уличных зевак, собравшихся понаблюдать за процедурой. Наделенные мощью, не исконной, а передавшейся им от оратора, принадлежащей его личности, а не смыслу сказанного, слова падали одно за другим, волнующе четкие, и погружались в рожденное ими внимательное молчание. Он начал с восхваления дисциплины «свободных британцев». — Дисциплина, — сказал он, — добровольно взятая на себя дисциплина — первое условие

свободы и первейшая добродетель «свободных британцев». Свободные и дисциплинированные спартанцы задержали персидские орды у залива. Свободные и дисциплинированные македоняне захватили чуть не полмира. А наша задача — задача свободных и дисциплинированных британцев — освободить свою страну от рабов, которые поработили ее. Три сотни воевали у Фермопил против десятков тысяч. У нас неравенство не столь безнадежно. Ваш батальон только один из шестидесяти, одна тысяча из шестидесяти тысяч «свободных британцев». И наши ряды растут с каждым днем. Двадцать, пятьдесят, а то и сотня рекрутов присоединяется к нам ежедневно. Армия увеличивается, Зеленая армия «свободных британцев».

«Свободные британцы» — в зеленых мундирах. Они носят цвет Робин Гуда и Малютки Джона, цвет людей, стоящих вне закона. Потому что они и правда вне закона в этом тупом демократическом мире. Вне закона — и гордятся этим. Ведь закон демократического мира — закон количества. А мы, стоящие вне закона, верим в качество. Для демократических политиков голос большинства — это глас Божий; их закон — закон, устраивающий толпу. Мы же хотим

вырваться за пределы этого закона толпы, чтобы нами управляли лучшие, а не самые многочисленные. Будучи значительно глупее, чем их либеральные деды, сегодняшние демократы хотели бы препятствовать личной инициативе и путем национализации промышленности и земли ввергнуть страну в такую тиранию, какой еще свет не видывал со времен правления в Индии династии Моголов. Мы, стоящие вне закона, — свободные люди. Мы верим в ценность личной свободы. Мы хотим поддерживать личную инициативу, потому что считаем, что координированная и контролируемая в интересах общества личная инициатива приносит наилучшие экономические и нравственные результаты. Закон демократического мира — это стандартизация людей, это сведение всех индивидуумов к самым низким общим меркам. Религия этого мира — обожествление среднего человека. Мы, стоящие вне закона, верим в разнообразие, в аристократию, в естественную иерархию. Мы уничтожим, какие только можно уничтожить, помехи и дадим каждому человеку шанс, чтобы лучшие могли занять то положение в обществе, какое предуготовила им Природа. Короче, мы верим в Справедливость. И мы преклоняемся

не перед средним, а перед исключительным человеком. Я мог бы чуть не до бесконечности перечислять пункты, по которым мы, «свободные британцы», радикально расходимся с демократическими правителями той страны, которая некогда была доброй старой свободной Англией. Но я сказал достаточно, чтобы стало ясно: мир между ними и нами невозможен. То, что они считают белым, в наших глазах — черное, их представления о политическом благе нам кажутся злом, их земной рай для нас ад. Добровольно поставив себя вне закона, мы отрекаемся от их жизненных норм, мы облачаемся в зеленые одежды леса. И мы будем ждать подходящего момента, да, подходящего момента. Потому что придет и наше время, и мы вовсе не намерены вечно пребывать вне закона. Придет время — и мы будем диктовать законы, а теперешним правителям придется скрываться в лесах. Два года назад наша организация была незначительна. Теперь это целая армия. Армия оказавшихся вне закона. Еще немного, друзья мои, и это будет армия тех, кто диктует законы, а не тех, кто их нарушает, да, кто их нарушает. Потому что прежде, чем создать хорошие законы, мы должны уничтожить дурные. И нужна смелость, чтобы противопоставить себя

существующему закону. «Свободные британцы», друзья мои, поставившие, как и я, себя вне закона, когда придет время, станет ли у вас на это смелости?

Из рядов зеленых мундиров послышались громкие вы крики.

— Когда я призову вас, пойдете ли вы за мной?

— Пойдем, пойдем, — скандировала тысяча зеленых мундиров.

— Даже если нужно будет идти против закона?

Раздался новый взрыв утвердительных выкриков.

Когда он стих и Эверард Уэбли приоткрыл было рот, чтобы продолжить свою речь, чей-то голос прокричал:

— Долой Уэбли! Долой милицию богачей! Долой сукиных сы…

Но прежде чем голос успел произнести полностью ненавистную пародию на их имя, с полдюжины ближайших «свободных британцев» набросились на обладателя этого голоса.

Эверард Уэбли поднялся на стременах.

— Не выходить из рядов! — повелительно закричал он. — Как смеете вы оставлять ряды?

К месту происшествия поспешили офицеры; сердитые голоса передавали приказ. Слишком

усердные «британцы» вернулись по местам. Их противник, прижимая к носу окровавленный платок, удалялся в сопровождении двух полисменов. Он потерял шляпу. Растрепанные волосы пылали в солнечном свете. Это был Иллидж.

Эверард Уэбли обратился к офицеру, в подразделении которого люди вышли из рядов.

— Неподчинение приказу, — начал он, и его голос был холодным и жестким, не громким, но угрожающе-значительным, — неподчинение приказу есть худшее…

Иллидж отнял платок от носа и закричал пронзительным фальцетом:

— Ах вы гадкие мальчики!

В толпе послышался смех. Эверард никак не отреагировал на это вмешательство, прекратил упреки и продолжил речь. Властно и одновременно убеждающе, страстно, но сдержанно вибрировал его музыкальный голос; и сразу же потревоженное молчание вновь воцарилось вокруг него, а отвлеченное было внимание снова сосредоточилось и сфокусировалось на нем одном. Был бунт — и он вновь одержал победу.

Спэндрелл ждал, не проявляя нетерпения. Опоздание Иллиджа давало ему возможность выпить лишних два-три коктейля. Он доканчивал

третью рюмку и чувствовал себя гораздо лучше и бодрее, когда дверь ресторана распахнулась и торжественно вошел Иллидж, гордо выставляя напоказ синяк под глазом.

— Буйство в пьяном виде? — спросил Спэндрелл, заметив синяк. — Или вас отделал какой-нибудь оскорбленный супруг? Или вы повздорили с вашей дамой?

Иллидж уселся и рассказал о своем приключении, хвастливо приукрашивая события. По его версии, он был не то Горацием, защищающим мост, не то святым Стефаном, стоящим под градом каменьев.

— Вот хулиганы! — сочувственно сказал Спэндрелл. Но его глаза злорадно смеялись: несчастья друзей служили для него неисчерпаемым источником развлечения, а в несчастье Иллиджа было что-то особенно забавное.

— Но зато я испортил весь эффект гнусного словоизвержения Уэбли, — все тем же самодовольным тоном продолжал Иллидж.

— Было бы лучше испортить ему физиономию.

Насмешка Спэндрелла уколола Иллиджа.

— Мало испортить ему физиономию, — свирепо сказал он, нахмурившись. — Его вообще следовало бы уничтожить: он общественная опасность,

он и вся его банда наемных убийц… — Он добавил несколько непечатных выражений.

Спэндрелл только рассмеялся.

— Скулить всякий умеет. А вы бы попробовали для разнообразия что-нибудь сделать. Прямое действие в духе самого Уэбли.

Иллидж пожал плечами, как бы извиняясь.

— Нам не хватает организованности.

— Не думаю, что нужна какая-то особая организованность, чтобы огреть человека по башке. Нет-нет, все дело в том, что вам не хватает смелости.

Иллидж побагровел.

— Это ложь.

— «Не хватает организованности»! — презрительно продолжал Спэндрелл. — По крайней мере, оправдание вполне в духе времени. Великий бог организации. Даже любовь и искусство будут скоро разучиваться по нотам, как все остальное. Почему вы пишете такие плохие стихи? Потому что поэтическая индустрия еще недостаточно хорошо организована. И любовник-импотент будет оправдывать себя тем же способом и уверять негодующую даму, что в следующий раз она найдет его в полной боевой готовности. Нет-нет, дорогой мой Иллидж, так дело не пойдет, сами

понимаете, не пойдет.

— Без сомнения, все это очень забавно, — Иллидж был все еще красный от гнева, — но только вы говорите чушь. Нельзя сравнивать поэзию и политику. В политическую партию входит масса народа, они должны подчиняться дисциплине, чтобы держаться вместе. Поэт же сам по себе.

— Но и убийца сам по себе, не так ли? — Тон Спэндрелла и его улыбка были саркастическими. Иллидж почувствовал, как кровь прилила к его лицу, точно внутри его внезапно вспыхнул огонь. Он ненавидел Спэндрелла за то, что тот умел унизить его, умел заставить его устыдиться самого себя, почувствовать себя ничтожеством, дураком. А ведь он только что казался такой персоной, таким героем, был так доволен собой. А сейчас всего двумя-тремя насмешливыми словами Спэндрелл превратил все его самодовольство в чувство досады и стыда. Наступило молчание. Оба молча ели суп.

Покончив с едой, Спэндрелл откинулся на спинку стула и задумчиво сказал:

— Один человек и несет всю ответственность одного человека. Тысяча человек не несут никакой ответственности. Вот почему организация и приносит такое облегчение. Член политической

партии чувствует себя в такой же безопасности, как и член церкви Христовой. А партия может призвать к гражданской войне, к насилию, к резне; и человек радостно исполняет то, что ему приказывают, ведь ответственности он не несет. Ответственность несет лидер. А лидер — человек необыкновенный, вроде Уэбли. Человек, наделенный храбростью.

— Или трусостью, как в данном случае, — сказал Иллидж. — Уэбли — это буржуазный кролик, испуганный до такой степени, что впал в ярость.

— Разве? — Спэндрелл издевательски приподнял брови. — Что ж, может, вы и правы. Но все равно он сильно отличается от обычного кролика. Обычный кролик не приходит в ярость со страху. Он приходит со страху в состояние униженной пассивности или униженной готовности исполнять чужие приказы. Но никогда не к готовности действовать по своему усмотрению и нести за это ответственность. А если дело касается, к примеру, убийства, то едва ли вы найдете обычных кроликов, готовых принять в нем участие, не так ли? Они скажут, что им не хватает организованности. Для одного — ответственность слишком велика. Ему страшно.

— Разумеется, никто не хочет быть повешен-

ным.

— Ему страшно, даже если не стоит вопрос о виселице.

— Неужто вы снова хотите топтаться на вопросе категорического императива? — Теперь была очередь Иллиджа проявить сарказм.

— Вопрос выдвигается сам собой. Взять хотя бы вас. Когда дойдет до дела, вы никогда не решитесь предпринять что-нибудь против Уэбли, если только вас не «организуют» и не освободят от ответственности. Вы просто не посмеете, — сказал Спэндрелл с насмешливым вызовом. Он пристально смотрел на Иллиджа из-под полуопущенных век, и, пока тот разводил риторические тирады об истреблении змей, охоте на тигров, об искусстве давить клопов, Спэндрелл изучал пылающее, сердитое лицо своей жертвы. Иллидж бушевал, чувствуя себя несколько неловко, потому что осознавал, что его слова слишком громки и пусты. Но пафос и еще раз пафос казались единственным возможным ответом на сводящую с ума спокойную насмешку Спэндрелла, хотя риторика эта звучала все более фальшиво. Как человек, перестающий кричать из страха, что голос изменит ему, он вдруг замолчал. Спэндрелл медленно кивнул.

— Очень хорошо, — загадочно сказал он. — Прекрасно.

«Это нелепость, — уверяла себя Элинор. — Это ребячество. Да, ребячество и нелепость».

Ведь все это несущественно. Эверард был все тем же, хоть он и сидел на белом коне и отдавал приказы, хоть его и приветствовала толпа восторженными криками. Разве он стал лучше оттого, что она увидела его во главе одного из его батальонов? Ее волнение было нелепым, ребяческим. И все-таки она волновалась — это не подлежало сомнению. Как она взволновалась, когда он появился верхом во главе своего отряда! Сердце билось чаще и набухало в груди. А какими тревожными были секунды молчания, пока он не заговорил! Просто ужас! А вдруг он станет заикаться и мямлить; а вдруг он скажет какую-нибудь глупость или пошлость; а вдруг он покажется многословным и скучным; а вдруг он примется паясничать. А когда голос зазвучал, непринужденный, но вибрирующий и пронизывающий, когда послышались слова страстные и тревожащие, но вовсе не ходульные, фразы яркие, но краткие и категоричные, — какое она почувствовала ликование, какую гордость! Но когда вдруг вмешался этот человек, она вновь

почувствовала — вместе с пылом негодования против нарушителя порядка — волнение и ужас: а вдруг он дрогнет, будет публично унижен и посрамлен. Но он не дрогнул, со всей суровостью призвал он к порядку, восстановил мертвую тишину и наконец продолжил свою речь, будто ничего не случилось. Тревога Элинор уступила место непомерному счастью. Речь закончилась, раздались взрывы приветствий. Элинор была необычайно горда, возбуждена и в то же время слегка смущена, будто приветствия в какой-то мере относились и к ней самой; непонятно чему она громко расхохоталась, кровь прилила к ее щекам, и она отвернулась в смятении, не смея взглянуть на него; а потом, без всякой причины, она вдруг расплакалась.

Нелепость и ребячество, уверяла она себя теперь. Но что делать: нелепое и ребяческое совершилось, и этого уже не отменишь.

Из записной книжки Филипа Куорлза

В воскресном иллюстрированном журнале моментальный снимок: Эверард Уэбли с открытым ртом — черная дыра посреди искаженного лица, — ораторствующий. «М-р Э. У., основатель и глава С. С. Б., произнес в субботу речь перед батальоном “свободных британцев” в Гайд-парке». И это все,

что осталось от события, — рот как водосточная труба — символ демагогии. Рот, извергающий ослиный рев. Какой ужас!

А между прочим, самое «событие» было весьма внушительным, и то, что выкрикивал Э., казалось в то время очень содержательным. И он выглядел весьма монументально на своем белом коне. Вырвав одно из непрерывного ряда мгновений, фотоаппарат превратил его в воронье пугало. Это неправильно? Или, может быть, правильным было восприятие не мое, а фотоаппарата? Ведь величественная непрерывность и должна была состоять именно из таких непривлекательных мгновений, как их запечатлела камера. Может ли целое быть совершенно отличным от своих частей? В физическом мире — может. Тело и мозг коренным образом отличаются от составляющих их электронов. А в мире моральном как? Может ли из большого количества сомнительных ценностей создаться одна несомненная? Фотография Эверарда ставит серьезную проблему. Миллионы чудовищных мгновений, а в итоге — великолепные полчаса.

Нельзя, правда, сказать, что я принял это великолепие безоговорочно. Э. говорил очень много о Фермопилах и о спартанцах. Но мое сопротивле-

ние было гораздо более героическим. У Леонида было триста воинов. Я защищал мои духовные Фермопилы один против Эверарда и его «британцев». Они произвели на меня впечатление, но я сопротивлялся. Начать с того, что вымуштрованы они прекрасно. Я смотрел как зачарованный. Как всегда. Чем объясняется сильное действие зрелища военных парадов? Не знаю. Пока я смотрел, я все время старался это понять.

Взвод — это всего человек десять и эмоционального действия не оказывает. Сердце начинает биться только при виде роты. Перестроения батальона опьяняют. А бригада — это уже целая армия со знаменами, что, как мы знаем из Песни Песней, равноценно любви. Впечатление пропорционально числу. Человек достигает в высоту всего каких-нибудь двух ярдов, в ширину — двух футов; поэтому собор производит на него большее впечатление, чем маленький коттедж, а растянувшаяся на целую милю процессия марширующих людей кажется ему более величественной, чем дюжина зевак на углу улицы. Но это еще не все. Полк более внушителен, чем толпа. Армия со знаменами равноценна любви только тогда, когда она хорошо вымуштрована. Камни в виде здания более красивы, чем камни в

виде кучи. Дисциплина и мундиры придают толпе архитектурную стройность. Армия прекрасна. Но и это еще не все: она взывает к инстинкту более низкому, чем эстетическое чувство. Зрелище человеческих существ, низведенных до уровня автоматов, утоляет жажду власти. Глядя на механизированных рабов, воображаешь себя господином. Так думал я, любуясь передвижениями Эверардовых «британцев». Разлагая свое чувство на отдельные элементы, я не позволял ему овладеть собой. Разделяй и властвуй. Так же поступил я и с музыкой, а потом — с речью Эверарда.

Какой замечательный режиссер погиб в Эверарде! Трудно было придумать что-нибудь более внушительное, чем звуки фанфар, прервавшие нарочито долгую паузу, а потом тяжеловесная гармония тысячи голосов, поющих «Песню свободных людей». Фанфары были изумительны, как увертюра к Страшному суду (и почему только высокие частичные тоны так надрывают душу?), а когда закончилась фанфарная увертюра, тысяча голосов запела. Сам Рейнгард не мог бы сделать этого лучше. Я чувствовал себя так, точно вместо диафрагмы у меня пустое место; щекочущее беспокойное ощущение пробегало по коже; слезы готовы были подступить к глазам. Я снова после-

довал примеру Леонида и стал думать о том, как плоха музыка, как бессмысленны слова.

Трубный глас в день Страшного суда, глас Божий, — и вот наступил черед Эверарда. И он не дал напряжению ослабнуть. Как прекрасно он говорил! Его голос проникал прямо в солнечное сплетение, подобно высоким частичным тонам труб. Это трогало и убеждало, даже если ты понимал, что сами слова туманны и довольно бессмысленны. Я проанализировал его приемы. Они были те же, что обычно. Наиболее действенный из них — пользоваться волнующими словами, имеющими два и больше значения. Например «свобода». Это слово в девизе и программе «свободных британцев» означает свободу покупать, продавать и владеть собственностью при минимальном вмешательстве со стороны государства. (Кстати, «минимальное» следует понимать весьма условно; но не будем на этом останавливаться.) Эверард выкрикивает это слово своим проникающим в солнечное сплетение голосом: «Мы боремся за*Свободу;* мы *освободим* страну» — и так далее. Слушатель немедленно видит себя сидящим без пиджака, с бутылочкой и уступчивой девицей, причем нет ни законов, ни хороших манер, ни жены, ни полисмена, ни

пастора — одним словом, ничего, что могло бы ему помешать. Свобода! Конечно, он загорается энтузиазмом. Только тогда, когда «свободные британцы» придут к власти, он поймет, что на самом деле это слово было употреблено совсем в другом смысле. Разделяй и побеждай. Я победил.

P. S. Вернее сказать, победила одна часть меня. Я привык отождествлять себя именно с этой частью и радоваться ее торжеству. Но лучшая ли это часть? В данном случае, может быть, и так. Вероятно, лучше подвергать все беспристрастному анализу, чем под влиянием режиссерского искусства и красноречия Эверарда превратиться в «свободного британца». А в других случаях? Рэмпион, пожалуй, прав. Но когда человек привык разделять и побеждать во имя интеллекта, ему трудно поступать иначе. А может быть, здесь дело не только во второй натуре; может быть, здесь играет роль и первая натура? Поверить в необходимость изменить образ жизни вовсе не трудно. Но гораздо труднее действовать согласно этой вере. Например, эта идея обосноваться в деревне, быть добрым поселянином, отцом и соседом, жить растительной жизнью — осуществима ли она? Мне так кажется, но на самом деле?.. Между прочим, было бы интересно создать

именно такой тип.

Человек, всегда поощрявший свое стремление к интеллектуальной жизни за счет всех других стремлений, он, насколько возможно, избегает личных отношений, он наблюдает все со стороны, ни в чем не принимая участия, не любит выходить из своей скорлупы, он всегда зритель, а не актер. Кроме того, он старается выделять один какой-нибудь день, одно какое-нибудь место в противовес всем остальным; он не обозревает прошлое и не строит планов на будущее в день Нового года, не празднует Рождество или день рождения, не посещает те места, где протекало его детство, не совершает паломничеств туда, где родился какой-нибудь великий человек, или произошло сражение, или имеются развалины и т. п. Избавляясь от эмоциональных отношений и от естественного благоговения, он, как ему самому кажется, достигает свободы — свободы от сентиментальности, от иррационального, от страсти, от неразумных побуждений и переживаний. Но постепенно он убеждается, что на самом деле он только сузил и иссушил свою жизнь и, больше того, что этим он искалечил свой интеллект, вместо того чтобы освободить его. Его рассудок свободен, но поле его действия невероятно ограниченно.

Он понимает свои внутренние недостатки и в теории хочет переделать себя. Но трудно избавиться от долголетних привычек; а может быть, эти привычки являются только проявлениями враждебного безразличия и холодности, преодолеть которые почти невозможно. Жить только интеллектуальной жизнью, по крайней мере, для него, гораздо легче: это линия наименьшего сопротивления, потому что такая жизнь позволяет держаться вдали от людей. В том числе от своей собственной жены.

Потому что у него будет жена, и возникнет нечто драматичное в отношениях между женщиной, живущей главным образом чувствами и интуицией, и мужчиной, жизнь которого протекает главным образом в плане интеллектуальных абстракций. Он любит ее по-своему, она любит его тоже по-своему. Это значит, что он удовлетворен, а она нет. Потому что его любовь обходится минимумом теплоты, доверчивости и человечности, которые для нее составляют самую сущность любви. Она страдает; он с удовольствием дал бы ей больше, но ему трудно переделать себя. Она даже грозит уйти от него к более человечному любовнику, но слишком любит его, чтобы осуществить эту угрозу.

* * *

В это воскресенье Элинор отправилась с Эверардом Уэбли за город.

— Сорок три мили за час и семь минут, — сказал Эверард, взглядывая на часы. — Неплохо, принимая во внимание, как долго мы выбирались из Лондона и как задержал нас тот паршивый шарабан в Гилдфорде. Очень неплохо.

— А самое главное, — сказала Элинор, — хорошо, что мы остались в живых. Если бы вы знали, сколько раз я закрывала глаза, не надеясь открыть их до Страшного суда!..

Он рассмеялся, довольный тем, что она была так испугана его неистовой ездой. Ее страх давал ему почувствовать свою силу и превосходство, и это было приятно. Он покровительственно взял ее под руку, и они пошли по зеленой тропинке в лес. Эверард глубоко вобрал воздух.

— Насколько это приятнее, чем произносить речи! — сказал он, сжимая ее руку.

— И все-таки, — сказала Элинор, — как чудесно, должно быть, сидеть на коне и заставлять тысячу человек исполнять вашу волю!

— К сожалению, политическая деятельность состоит не только в этом, — засмеялся Эверард.

Он искоса взглянул на нее. — А вам понравился митинг?

— Он взволновал меня. — Она снова увидела его на белом коне, услышала его сильный, вибрирующий голос, вспомнила свое волнение и неожиданные слезы. Великолепно, говорила она себе. Великолепно! Но ликование не возвращалось. Его рука лежала на ее руке, его огромная фигура почти угрожающе склонялась к ней. «А вдруг он поцелует меня?» — беспокойно спрашивала она себя. Она попыталась отогнать вызванный этим вопросом страх и заполнить его место вчерашним ликованием. Великолепно! Но страх не хотел уходить. — Ваша речь была изумительна, — сказала она вслух, а про себя подумала: о чем, собственно, он говорил? Она помнила звук и тембр его голоса, но не значение слов. Безнадежно! — Ах, какая жимолость!

Эверард вытянулся во весь свой огромный рост, достал ветку и сорвал несколько цветков. «Какая красота, какая прелесть!» Он процитировал Китса, пошарил в памяти, отыскивая строчку из «Сна в летнюю ночь». Он лирически удивился, зачем мы живем в городах, зачем мы убиваем время на погоню за деньгами и властью, когда вокруг столько красоты, которая ждет, чтобы ее познали

и полюбили.

Элинор слушала с чувством неловкости. Он как бы включил любовь к красоте, как включают электрический ток, — выключил любовь к власти, дела и политику и переключился на любовь к красоте. Ну что же? Разве нельзя любить красивое? Конечно, можно, но почему-то — она сама не знала почему — в любви Эверарда к красоте есть что-то не то. Может быть, она слишком нарочита? Слишком случайна? Слишком для праздников только? Слишком условна, слишком тяжеловесна, слишком напыщенно-серьезна? Элинор предпочитала, когда он говорил о любви к власти; любовь к власти была ему гораздо больше к лицу. Может быть, именно потому, что он слишком любил власть, ему не удавалось любить красоту. Закон компенсации. За все нужно платить.

Они пошли дальше. На поляне среди деревьев расцветали наперстянки.

— Как факелы, пылающие от самого основания, — поэтически выразился Эверард.

Элинор остановилась перед высоким растением, чьи верхние цветы приходились на уровне ее глаз. Красная плоть лепестков была холодная и упругая на ощупь. Она заглянула внутрь цветка.

— Воображаю, как неприятно, когда у тебя в

горле веснушки, — сказала она. — Не говоря уже о жучках.

Они молча шли среди деревьев. Первый заговорил Эверард.

— Вы когда-нибудь полюбите меня? — отрывисто спросил он.

— Вы знаете, как хорошо я к вам отношусь. — Ее сердце упало: вот оно, началось, сейчас он примется целовать ее. Но он этого не сделал, а только рассмеялся.

— Хорошо относитесь, — повторил он. — Ах, если бы вы были чуточку менее разумной, чуточку более безрассудной. Если бы вы только знали, что значит любить!

— Разве так плохо, когда человек умеет быть разумным? — сказала Элинор. — Я хочу сказать, разумным до. Потому что быть разумным после умеет всякий. Слишком разумным, когда первый порыв прошел и любовники спрашивают себя, стоило ли ради этого забывать весь мир. Подумайте, Эверард, подумайте сначала. Действительно ли вы хотите потерять весь мир?

— Я его не потеряю, — ответил Эверард, и в его голосе была та волнующая дрожь, которую она, казалось, воспринимала всем своим телом, а не только ушами. — Его не посмеют отнять у

меня. Многое изменилось со времен Парнелла. К тому же я не Парнелл. Пускай только попробуют отнять! — Он засмеялся. — Любовь*и* весь мир — у меня будет и то и другое, Элинор. И то и другое. — Он улыбнулся ей сверху вниз — торжествующий любовник власти.

— Вы требуете слишком многого, — со смехом ответила она, — вы слишком жадный. — Ликование снова пробудилось в ней, она чувствовала себя так, точно у нее захватило дух от горячего вина.

Он нагнулся и поцеловал ее. Элинор не отстранилась.

Другая машина остановилась у дороги, другая пара углубилась по зеленой тропинке в лес. Даже сквозь белила и румяна было видно, что лицо женщины старо; обвисшая плоть утратила некогда изящные очертания.

— Ах, как прелестно! — восклицала она, с трудом передвигая свое тяжелое тело, нетвердо ступая на очень высоких каблуках по неровной почве. — Как прелестно!

Спэндрелл — это был он — не отвечал.

— Нарвите мне жимолости! — попросила она.

Изогнутой ручкой палки он пригнул цветущую ветку. Сквозь затхлый запах дешевых духов и не

очень чистого белья его ноздрей коснулся прохладный и сладкий аромат цветов.

— Какой божественный аромат! — воскликнула она, с упоением нюхая цветы. — Прямо божественный!

Уголки рта Спэндрелла насмешливо дрогнули. Забавно было слышать вышедшие из моды великосветские выражения в устах этой стареющей проститутки. Он искоса взглянул на нее. Бедная Конни! Она была настоящим memento mori — изобилие дряблой, обрюзгшей плоти придавало ей еще более жуткую мертвенность. Действительно жуткую: иного слова не подберешь. Здесь, на солнце, она походила на театральную декорацию, когда ее видишь при дневном свете и вблизи. Именно поэтому он не поскупился взять напрокат «Даймлер» и вывезти ее за город. Именно потому, что несчастная престарелая шлюха имела такой жуткий вид.

— Очень мило, — кивнул он. — Но я предпочитаю ваш аромат.

Они пошли дальше. Куковала кукушка, не вполне ясно представлявшая себе разницу между секундой и малой терцией. В косых просеках солнечного света, протянувшихся сквозь зелень и пурпур лесной тени, кружилась и плясала

мошкара. Ветра не было, и густо-зеленые листья висели неподвижно. Деревья были точно переполнены соками и солнечным светом.

— Прелестно, прелестно, — повторяла Конни. Этот лес, этот день, по ее словам, напоминали ей детские годы в деревне. Она вздохнула.

— И вы жалеете, что не остались честной девушкой? — саркастически сказал Спэндрелл. — «Чем больше роз расцветет у дверей, тем сильней любовь моя к маме моей». Знаем, знаем. — Он на мгновение замолчал. — Что я больше всего ненавижу в деревьях летом, — продолжал он, — это их скотское жирное самодовольство. Они пыжатся — вот что они делают, — как распухшие от прибылей дельцы. Пыжатся от наглости, от самовлюбленной наглости.

— Ах, наперстянки! — закричала Конни; она даже не слушала его. Она побежала к цветам, переваливаясь на высоких каблуках. Спэндрелл последовал за ней.

— Да, вид у них соблазнительно фаллический, — сказал он, дотрагиваясь до кончика нераскрывшегося бутона. И он начал пространно развивать эту мысль.

— Ах, перестаньте, перестаньте! — закричала Конни. — Как вы можете говорить такие вещи?

— Она была возмущена и оскорблена. — Как можете вы — здесь?

— В Божьей стране, — усмехнулся он. — Как я могу? — И, подняв палку, он вдруг принялся размахивать ею направо и налево, со свистом рассекая воздух и каждым ударом сбивая один из высоких гордых стеблей. Умерщвленные цветы усыпали траву.

— Перестаньте, перестаньте! — Она схватила его за руку. Беззвучно смеясь, Спэндрелл вырвался от нее и продолжал сбивать стебли. — Перестаньте! Ну не надо, не надо! — Она снова дернула его за руку. Все еще смеясь, все еще размахивая палкой, Спэндрелл опять вырвался от нее.

— Долой их, — кричал он, — долой! — Цветок за цветком падал под его ударами. — Вот! — сказал он наконец, задыхаясь от смеха, быстрого бега и напряжения. — Вот! — Конни залилась слезами.

— Как вы могли? — сказала она. — Как вам не стыдно?

Он снова беззвучно засмеялся, закидывая голову.

— Так им и надо, — сказал он. — Вы что, думаете, я буду спокойно смотреть, как меня оскорбляют? Нахальные твари! Ага, вот еще один! — Он направился к противоположной опушке, где

последний высокий стебель наперстянки стоял, точно спрятавшись среди кустов орешника. Еще один взмах. Сломанное растение упало почти беззвучно. — Нахальные твари! Так им и надо. Ну что ж, вернемся к машине.

XXX

Рэчел Куорлз не одобряла тех сентиментальных филантропов, которые не видят разницы между добром и злом, между праведниками и грешниками. Она считала, что за преступления ответственны преступники, а не общество. Грехи совершают грешники, а вовсе не окружающая их среда. Конечно, существуют извинения, оправдания, смягчающие обстоятельства, но добро есть всегда добро, зло — всегда зло. Бывают обстоятельства, когда остановить свой выбор на добре очень трудно, но все-таки выбирает сам человек и сам отвечает за свой выбор. Одним словом, миссис Куорлз была христианкой, а не гуманисткой. Как христианка, она считала, что Марджори поступила неправильно, уйдя от своего мужа — даже от такого мужа, как Карлинг, — к другому мужчине. Она не одобряла ее поступок, но не позволяла себе осуждать Марджори, тем более что мысли и чувства последней, с христианской

точки зрения миссис Куорлз, были, несмотря на ее «грех», вполне правильными. Рэчел легче было любить человека, поступавшего неправильно, но мыслившего правильно, чем того, кто, как ее невестка Элинор, сочетал неправильный образ мыслей с безупречным поведением. В некоторых случаях дурные помыслы казались ей едва ли не более предосудительными, чем дурные поступки. Конечно, лицемерие она тоже не одобряла. Она не терпела людей, которые мыслят и рассуждают хорошо, а поступают неизменно и намеренно дурно. Такие люди, однако, встречаются редко. Те, кто вопреки своим глубочайшим убеждениям поступает дурно, делают это в минуту слабости и потом раскаиваются в своих проступках. Но человек, мыслящий неправильно, не считает дурные поступки дурными. Он не видит причин к тому, чтобы не совершать их или, совершив, раскаиваться и исправляться. И если даже он ведет себя добродетельно, он может своим неправильным образом мыслей ввести в искушение других.

«Замечательная женщина, — гласил приговор Джона Бидлэйка, — но слишком любит фиговые листки — особенно поверх рта».

На самом деле Рэчел Куорлз просто никогда не забывала, что она — христианка. Она удивлялась,

как это люди могут обходиться без религии. Но, с грустью признавала она, многие без нее обходятся. Почти вся знакомая ей молодежь. «Наши дети как будто говорят на другом языке», — пожаловалась она как-то одному из своих старых друзей.

В Марджори Карлинг она нашла человека, говорившего на одном с ней наречии.

— Боюсь, что она покажется вам немножко занудой, — предупредил ее Филип, когда он объявил о своем намерении уступить свой флигель в Чэмфорде Уолтеру и Марджори. — Но вы все-таки будьте с ней помягче. Она этого заслуживает, бедняжка: ей пришлось далеко не сладко. — И он рассказал историю Марджори.

Выслушав, его мать вздохнула.

— Вот уж не ожидала, что Уолтер Бидлэйк окажется таким, — сказала она.

— Но в таких случаях никогда не знаешь, чего ожидать. Случается то, что случается. Люди тут ни при чем.

Миссис Куорлз ничего не ответила. Она думала о том времени, когда она впервые обнаружила, что Сидни изменяет ей. Изумление, боль, унижение…

— И все-таки, — сказала она вслух, — я бы никогда не подумала, что он сознательно сделает

кого-нибудь несчастным.

— А кто подумал бы, что он сделает несчастным самого себя? Ведь, по существу говоря, он ничуть не счастливее Марджори. Может быть, в этом его главное оправдание.

— И кому все это нужно? — вздохнула его мать.

Миссис Куорлз посетила Марджори, как только та переехала.

— Навещайте меня почаще, — сказала она на прощание. — Вы мне нравитесь, — добавила она с неожиданной улыбкой, которая тронула бедную Марджори до глубины души: Марджори редко нравилась людям. Ее горячая любовь к Уолтеру была вызвана прежде всего тем, что он один из немногих проявил к ней интерес. — Надеюсь, это взаимно, — закончила миссис Куорлз.

Марджори покраснела и пробормотала что-то невнятное. Она уже обожала миссис Куорлз.

Рэчел Куорлз говорила вполне искренне. Марджори нравилась ей: ей нравились даже те недостатки, из-за которых другие считали ее такой занудой. Тупость Марджори она воспринимала как доброту и незлобивость, отсутствие у нее чувства юмора — как признак серьезности. Ей нравились даже интеллектуальные претензии

Марджори, даже те глубокие или поучительные замечания, которыми та прерывала свое многозначительное молчание. Миссис Куорлз видела в них несколько смешные проявления подлинной любви к добру, истине и красоте, искреннего стремления к самосовершенствованию.

При их третьей встрече Марджори рассказала миссис Куорлз всю свою историю. Миссис Куорлз отнеслась ко всему рассудительно, по-христиански.

— В таких случаях на чудо нечего рассчитывать, — сказала она, — не существует патентованных средств от несчастья. Только старые скучные добродетели, терпение, смирение и все прочее, только старый источник утешения и силы — старый, но не скучный. Нет ничего менее скучного, чем религия. Но молодежь обыкновенно не верит мне, когда я им это говорю, хотя им всем до смерти надоели джаз-банды и танцы.

Обожание, которое Марджори с первого же раза почувствовала к миссис Куорлз, усилилось еще больше, — усилилось настолько, что миссис Куорлз стало даже стыдно, точно она обманом выудила что-то у Марджори, точно она играла какую-то лживую роль.

— Я получаю от вас столько помощи и утеше-

ний, — объявила Марджори.

— Вовсе нет, — с сердцем ответила та. — Просто вы были одинокой и несчастной, а я подвернулась в нужный момент.

Марджори возражала, но миссис Куорлз не позволила ни расхваливать, ни благодарить себя.

Они много беседовали о религии. Карлинг внушил Марджори отвращение ко всей живописной и обрядовой стороне христианства. Пиран из Перанзабуло, облачения, церемонии — все, хотя бы отдаленно связанное со святыми, ритуалами, традицией, отталкивало ее. Но она сохранила смутные зачатки веры в то, что она считала основными принципами, у нее с детства осталась привычка мыслить и чувствовать по-христиански. Под влиянием Рэчел Куорлз вера укрепилась, потребность в религиозных переживаниях усилилась.

— Я стала неизмеримо счастливее с тех пор, как поселилась у вас, — объявила она через какую-нибудь неделю после приезда.

— Это оттого, что вы больше не стараетесь быть счастливой и не обижаетесь на то, что вы несчастны; оттого, что вы стали меньше думать о счастье и несчастье. Современная молодежь рассуждает удивительно глупо: она расценивает жизнь

исключительно с точки зрения счастья. Как бы мне повеселее провести время? — спрашивают они. Или жалуются: почему мне так невесело! Но в нашем мире никто не может жить все время весело — по крайней мере, в том смысле, в каком это понимают они. А когда они получают то, чего добивались, они разочаровываются — потому что никакая реальность не может сравниться с воображением. А потом, очень скоро, веселье сменяется скукой. Все гонятся за счастьем, а в результате все несчастливы. А все потому, что идут по неверному пути. Вместо того чтобы спрашивать себя: как нам стать счастливыми и жить повеселее? — они должны были бы спрашивать: как сделать, чтобы Бог был доволен нами и чтобы мы сделались лучше? Если бы люди почаще задавали себе такие вопросы и отвечали на них не только словами, но и делами, они стали бы счастливыми, даже и не думая об этом. Счастье находят, не гоняясь за ним, а стремясь к спасению. Когда люди были мудрыми, а не только умными, как теперь, они оценивали все в жизни с точки зрения не веселья или скуки, а спасения или вечного проклятия. Вы, Марджори, почувствовали себя счастливой только оттого, что перестали желать себе счастья и начали стараться быть

хорошей. Счастье — это как кокс: это побочный продукт, его получают, когда стараются сделать нечто совсем другое.

Тем временем в Гаттендене жизнь текла довольно уныло.

— Отчего бы тебе не поработать немножко? — спросила миссис Бидлэйк на следующее утро после возвращения мужа.

Старик покачал головой.

— Ты только начни — и увидишь, как это будет приятно, — убеждала его Элинор.

Но отец не поддавался уговорам. Он не хотел писать именно потому, что это доставило бы ему удовольствие. Именно потому, что он так боялся физических страданий и смерти, он, в силу какой-то извращенности, не хотел ничем от них отвлекаться. Точно какая-то часть его самого смутно желала принять поражение и несчастье, стремилась выпить унижение до дна. Его мужество, его гаргантюанская сила, его жизнерадостная беспечность были плодами того, что он всю жизнь на многое закрывал глаза. Но теперь, когда закрывать глаза стало невозможно, когда враг обосновался в его жизненных центрах, мужество покинуло его. Он боялся и не мог скрыть свой страх. Он даже не хотел скрывать его. Он

хотел быть жалким. И жалким он был. Миссис Бидлэйк и Элинор прилагали все старания, чтобы вывести его из мрачной апатии, в которой он пребывал большую часть дня. Но он оживлялся только затем, чтобы жаловаться, или ворчать, или изредка впадать в бешенство.

> Какое жалкое зрелище (писал в своем дневнике Филип) представляет собой олимпиец, которого небольшая опухоль в желудке превращает в человекообразное. А может быть (приписал он через несколько дней), он всегда был только человекообразным, даже когда казался особенно олимпийцем; может быть, все олимпийцы на самом деле просто человекообразные?

Только с маленьким Филом Джон Бидлэйк порой выходил из своего подавленного состояния. Играя с мальчиком, он на некоторое время забывал о своих несчастиях.

— Нарисуй мне что-нибудь, — говорил он.

И маленький Фил, высунув кончик языка, рисовал поезд, или пароход, или дерущихся оленей в Гаттенденском парке, или старого маркиза в колясочке, запряженной ослом.

— А теперь ты, дедушка, нарисуй мне что-нибудь, — говорил он, устав рисовать.

Тогда старик брал карандаш и создавал несколько чудесных маленьких набросков с Т'анга, китайского мопсика, или с Томпи, кухонного кота. Или вдруг, придя в озорное настроение, он набрасывал карикатуру на извивающуюся мисс Фулкс. А иногда, забыв о внуке, он рисовал для собственного развлечения группу борющихся купальщиц, борющихся мужчин, танцовщицу.

— А почему они раздетые? — спрашивал мальчик.

— Потому что так они красивее.

— Ничего они не красивее. — И, теряя всякий интерес к рисунку, который ничего ему не говорил, он требовал карандаш обратно.

Но Джон Бидлэйк не всегда относился к своему внуку так благодушно. Иногда, когда он чувствовал себя особенно плохо, он воспринимал самое присутствие мальчика как личную обиду, как своего рода насмешку над собой. Он приходил в бешенство, он кричал на ребенка за то, что тот шумит и беспокоит его.

— Неужели меня не могут оставить в покое? — кричал он и осыпал проклятиями всех и каждого. В доме полно женщин, и все они якобы

присматривают за этим проклятым постреленком, а он вечно буянит, подымает адский шум и вертится под ногами. Это невыносимо! Особенно когда человек болен. Совершенно невыносимо! Люди абсолютно не считаются с ним. Краснея и извиваясь, бедная мисс Фулкс уводила своего ревущего питомца в детскую.

Самые бурные сцены разыгрывались за обеденным столом. Именно за едой (которая теперь ограничивалась для него бульонами, молоком и бенгеровской кашицей) Джон Бидлэйк с особенной остротой вспоминал о состоянии своего здоровья.

— Мерзкие помои! — брюзжал он. Но всякая попытка съесть что-нибудь твердое приводила к весьма печальным последствиям. Во время еды Джон больше всего бушевал и выходил из себя. Он срывал гнев на ребенке. Маленький Фил, никогда не отличавшийся большим аппетитом, всю эту весну и начало лета ел особенно плохо. Почти каждый раз за едой дело кончалось слезами.

— Это оттого, что он нездоров, — вступалась за него мисс Фулкс. И это была правда: мальчик пожелтел и осунулся, спал беспокойно, быстро утомлялся, страдал головными болями, перестал прибавлять в весе. Доктор Краузер прописал

солод, рыбий жир и укрепляющие средства. — Он правда нездоров, — настаивала мисс Фулкс.

Но Джон Бидлэйк ничего не хотел слушать.

— Он просто-напросто капризничает. — И, обращаясь к ребенку: — Глотай же, Фил, глотай! — кричал он. — Ты что, разучился глотать, что ли? — Его раздражал вид маленького Фила, без конца пережевывавшего кусок чего-нибудь, что было ему не по вкусу. — Глотай, мальчишка! Да что ты жуешь жвачку, точно корова. Глотай!

И маленький Фил, весь красный, делал над собой огромное усилие, стараясь проглотить отвратительный комок, который он пережевывал уже добрых пять минут. Мускулы его горла напрягались и сжимались в судороге, его личико искажалось гримасой непреодолимого отвращения, раздавался зловещий звук отрыжки.

— Но это просто безобразие! — бушевал старик. — Глотай! — Его крик действовал безошибочно, вызывая у ребенка рвоту.

Бремя свалилось с души, мрак сменился светом. Марджори приняла как откровение символику религиозных книг. Она ведь тоже погрязала в Трясине Отчаяния и выбралась оттуда; она тоже карабкалась, с огромным трудом и без всякой надежды, и неожиданно ее посетило видение

Земли обетованной.

— Все эти фразы казались мне такой условностью, таким пустым благочестием, — сказала она миссис Куорлз, — но теперь я вижу, что они просто описывают факты.

Миссис Куорлз кивнула:

— Разумеется, плохо описывают, потому что эти факты описать нельзя. Но если у вас есть личный опыт, вы поймете, что скрывается за символами.

— А знаете, что подразумевается под Черной Страной? — спросила Марджори. — У меня самой сейчас такое чувство, точно я вышла из рудничного поселка в поля. На широкий вольный простор, — добавила она своим очень серьезным детским голоском, растягивая слова. «От этого ее голоса, — невольно подумала миссис Куорлз и сейчас же раскаялась, потому что ведь бедная женщина не виновата, что у нее такой голос, — вольные широкие просторы начинают казаться какими-то душными». — И когда я смотрю назад, черный город кажется таким маленьким и ничтожным по сравнению с простором полей и огромным небом, точно смотришь на него в полевой бинокль не с той стороны.

Миссис Куорлз слегка нахмурилась.

— Его нельзя считать ничтожным, — сказала

она, — ведь в этом городе, как бы черен он ни был, все-таки живут люди. И не та сторона полевого бинокля — это все же *не та* сторона. Нельзя смотреть на вещи так, чтобы они казались маленькими и ничтожными. Вот почему выходить на простор иногда опасно: человеку слишком свойственно смотреть на города и на их обитателей не с той стороны. Но так нельзя, Марджори. Долг счастливцев, вышедших на простор, — помочь оставшимся в городе сделать то же. — Она снова нахмурилась, недовольная на этот раз собой: она не терпела проповедей. Но Марджори не имеет права воображать себя выше всех поднявшейся над миром. — А как Уолтер? — спросила она, казалось бы, без всякой связи с предыдущим разговором. — Как вы с ним теперь ладите?

— Как всегда, — сказала Марджори. Несколько недель тому назад это признание заставило бы ее почувствовать себя глубоко несчастной. Но теперь даже Уолтер казался маленьким и далеким. Конечно, она любила его по-прежнему, но видела его как бы не с той стороны полевого бинокля. Смотря с правильной стороны, она видела только Бога Отца и Иисуса Христа, таким крупным планом, что они занимали все пространство.

Миссис Куорлз взглянула на нее, и выражение

печали промелькнуло на ее подвижном лице.

— Бедный Уолтер! — сказала она.

— Да, мне тоже очень жаль его, — сказала Марджори. Обе женщины замолчали.

Старик Фишер просил ее изредка являться к нему и сообщать о ходе беременности. Марджори воспользовалась тем, что в эту среду выдавались дешевые экскурсионные билеты, и отправилась в город сделать кое-какие покупки и рассказать доктору, как хорошо она себя чувствует.

— Выглядите вы тоже хорошо, — сказал доктор Фишер, взглядывая на нее сначала сквозь очки, а потом поверх них. — Гораздо лучше, чем в прошлый раз. Так часто бывает на четвертом месяце, — объяснил он. Доктор Фишер любил, чтобы его пациентки проявляли разумный интерес к собственной физиологии. — Здоровье улучшается. Настроение тоже. Тело привыкает к новому положению вещей. Несомненно, тут сказывается влияние перемен в кровообращении. Примерно в это время начинает биться сердце плода. Мне приходилось встречать неврастеничек, которые старались иметь одного ребенка за другим как можно скорее. Только беременность излечивала их от меланхолии и навязчивых идей. Как мало мы знаем о взаимоотношениях между телом и

духом!

Марджори улыбнулась и ничего не сказала. Доктор Фишер, конечно, ангел, он добрейший человек в мире. Но что он знал, например, о Боге? Что он знал о душе и ее мистическом общении с духовным началом? Бедный доктор Фишер! Он только и мог говорить что о четвертом месяце беременности и о сердце плода. Внутренне она улыбнулась, испытывая что-то вроде жалости к старику.

Барлеп в это утро был особенно дружелюбен.

— Ну как, дружище, — сказал он, кладя руку на плечо Уолтера, — не пойти ли нам съесть вместе по котлетке? — Он погладил Уолтера по плечу и улыбнулся ему тонкой и загадочной улыбкой святого с картины Содомы.

— Увы, — сказал Уолтер, пытаясь изобразить ответное чувство, — я сговорился позавтракать с одним человеком в другом конце Лондона. — Это была ложь, но его страшила перспектива провести с Барлепом целый час в какой-нибудь закусочной на Флит-стрит. К тому же он хотел посмотреть, не ждет ли его в клубе письмо от Люси. Он взглянул на часы. — Господи! — добавил он, стараясь поскорее избавиться от Барлепа. — Мне пора бежать.

Шел дождь. Зонтики были как черные грибы, неожиданно выросшие из грязи. Как уныло! А в Мадриде палящее солнце. «Но я люблю жару, — сказала она. — Я расцветаю в печках». Он представил себе испанские ночи, темные и душные, и ее тело, бледное при свете звезд, — призрак, но такой осязаемый и теплый, — любовь, терпеливую и безжалостную, как ненависть, и обладание, похожее на медленное убийство. Ради этого стоило лгать и унижаться. Совершенно не важно, что будет сделано, что недоделано, лишь бы осуществить его мечты. Он подготовил почву, он придумал одну серию лживых объяснений для Барлепа, другую — для Марджори; он справился о цене билетов, он устроил перевод в банке. И тогда пришло письмо от Люси: она передумала, она остается в Париже. Почему? Возможно, было только одно объяснение. Его ревность, его огорчение, его унижение вылились на шести страницах простых упреков.

— Писем нет? — небрежно спросил он швейцара, входя в клуб. Своим тоном он точно хотел сказать, что он не ждет ничего более интересного, чем проспект какого-нибудь издательства или филантропическое предложение дать взаймы без всякой гарантии пять тысяч фунтов. Швей-

цар протянул ему знакомый желтый конверт. Он развернул его и вынул три листка, исписанные карандашными каракулями. «Набережная Вольтера. Понедельник». Он принялся разбирать письмо. Читать его было так же трудно, как какую-нибудь древнюю рукопись. «Почему вы всегда пишете мне карандашом?» Он вспомнил вопрос Касберта Аркрайта и ее ответ. «Я поцелуями сотру чернила с ваших пальчиков», — заявил тот. Скотина! Уолтер вошел в столовую и заказал ленч. Во время еды он расшифровывал письмо Люси.

Набережная Вольтера

Ваше письмо невыносимо. Раз навсегда перестаньте проклинать меня и скулить: я не терплю жалоб и упреков. Я делаю, что хочу, и никому не даю права требовать от меня отчета. На прошлой неделе мне казалось, что было бы забавно съездить с вами в Мадрид, а теперь мне не кажется. Очень сожалею, что это нарушило ваши планы. Но я вовсе не собираюсь просить прощения за то, что я передумала. А если вы воображаете, что ваши ревность и стоны внушают мне жалость, вы глубоко заблуждаетесь. Ваше поведение невыносимо и непростительно. Вы в самом деле хотите знать, почему я остаюсь в Париже? Так знайте же.

«Вы, наверно, нашли себе мужчину, который вам нравится больше, чем...» Да вы, милый, просто Шерлок Холмс! И угадайте, где я его нашла? На улице. Шатаясь по бульвару Сен-Жермен, у книжных магазинов. Переходя от витрины к витрине, я заметила, что меня преследует какой-то юноша. Мне он понравился. Жгучий брюнет с оливковой кожей, похож на римлянина, ростом не выше меня. У четвертой витрины он заговорил со мной на невероятном французском языке, произнося все немые «е». «Ma Dei á italiano!»[65]

Я угадала. Буйный восторг. «Parla italiano?»[66] И он принялся изливать свои чувства на изысканнейшем тосканском наречии.

Я взглянула на него. В конце концов, почему бы и нет? Человек, которого я никогда не видела и о котором ничего не знаю, — это должно быть увлекательно. Совершенно чужие, а через минуту такие близкие друг другу, какими только могут быть два человеческих существа. К тому же он был красив. «Vorrei e non vorrei»[67], — сказала

---

[65] Примечания: 65
Да вы итальянец!*(ит.)*

[66] Примечания: 66
Вы говорите по-итальянски?*(ит.)*

[67] Примечания: 67
Хочу и не хочу*(ит.)* — из оперы Моцарта «Дон Жуан».

я. Но он никогда не слышал Моцарта — только Пуччини, поэтому мое остроумие пропало даром. «Ладно». Мы подозвали такси и поехали в маленькую гостиницу около Jardin des Plantes[68]. Номера на час и на сутки. Кровать, стул, гардероб, умывальни с оцинкованным тазом и кувшином, рогатка для полотенца, биде. Нищенская обстановка, но в этом тоже своя прелесть. «Dunque»[69], — сказала я. В такси я не позволяла ему притронуться ко мне. Он набросился на меня, стиснув зубы, точно собираясь меня растерзать. Я закрыла глаза, как христианская мученица передо львом. Мученичество — вещь увлекательная. Тебе делают больно, унижают, тобой пользуются, как подстилкой для ног. Странно. Мне это нравится. К тому же подстилка пользуется тем, кто пользуется ею. Все это очень сложно. Он только что вернулся с моря: тело загорелое и отполированное солнцем. Он казался совсем дикарем, индейцем. И вел себя он тоже как дикарь: следы его укусов до сих пор не зажили у меня на шее. Мне придется несколько дней носить шарф. Где-то я видела статую Марсия, с которого

---

[68] Примечания: 68
Ботанический сад*(фр.).*

[69] Примечания: 69
Итак*(ит.).*

сдирают кожу. Вот такое лицо было у него. Я до крови вонзила ногти ему в плечо. После я спросила, как его зовут. Его имя Франческо Аллегри, он авиационный инженер и приехал из Сиены, где его отец — профессор медицинских наук в университете. Как странно, что бронзовый дикарь проектирует авиационные моторы и что у него отец профессор! Завтра я опять увижусь с ним. Теперь вы знаете, Уолтер, почему я раздумала ехать в Мадрид. Никогда не пишите мне таких писем, как ваше последнее.

Л.

Марджори вернулась в Чэмфорд с поездом в три двенадцать. Дождь перестал. Холмы на противоположной стороне долины, тронутые солнечным светом, казалось, излучали сияние на фоне черных и темно-синих туч. Капли дождя повисли на ветках, и чашечка каждого цветка была полна влаги. От сырой земли исходил прохладный и сладкий аромат; пели птицы. Когда Марджори проходила под свисающими ветками огромного дуба на склоне холма, порыв ветра осыпал ее лицо внезапным холодным дождем. Она от удовольствия засмеялась.

В коттедже никого не было. Служанка ушла и не вернется до вечера. В молчании пустых комнат

была какая-то алмазная, музыкальная прозрачность. Одиночество встретило ее, как добрый друг. Она ходила по дому на цыпочках, словно боясь разбудить спящего ребенка. Марджори налила себе чашку чая, выпила ее маленькими глотками, съела сухарик, закурила сигарету. Вкус сухарика и чая, запах табачного дыма казались особенно приятными и какими-то новыми, точно она впервые ощущала их.

Она подвинула кресло к окну, села и принялась глядеть на долину и на яркие холмы на грозовом фоне. Она вспомнила такой же день, когда они жили в беркширском коттедже. Солнечный свет, особенно яркий среди тьмы: сияющая преображенная земля. Она сидела вместе с Уолтером у открытого окна. Тогда он любил ее. И все-таки теперь она счастливее, гораздо счастливее. Она ни о чем не жалеет. Страдание было необходимым. Оно было как туча, на фоне которой еще ярче сияло ее теперешнее блаженство. Темная туча, но уже такая далекая, такая несущественная. И то, другое, яркое счастье, до появления тучи, — оно тоже было маленьким и далеким, как отражение в вогнутом зеркале. «Бедный Уолтер, — подумала она, и она пожалела его, но словно откуда-то издалека. — В погоне за счастьем он сделал себя

несчастным. Миссис Куорлз говорит, что счастье — это побочный продукт. Она права». «Счастье». Марджори про себя повторяла это слово. На фоне черных облаков холмы сверкали, как изумруд и зеленое золото. Счастье и красота и добро. «Мир Божий, — прошептала она, — мир Божий, который превыше всякого ума». Мир, мир, мир…

Она точно растворялась в зеленом и золотом спокойствии, погружалась в него и тонула в нем, сливалась с ним в одно целое, покой вливался в покой, тишина окружающего мира становилась одно с тишиной внутри ее. Взбаламученная и помутневшая влага жизни постепенно успокаивалась, и все, что мешало ее прозрачности: мирской шум, и личные огорчения, и желания, и чувства, — оседало на дно, медленно падало, медленно и бесшумно, и скрывалось из виду. Мутная жидкость становилась все светлее и светлее, все прозрачнее и прозрачнее. Позади постепенно таявшего тумана была реальность, был Бог. Медленно, минута за минутой, нисходило откровение. «Мир, мир, — шептала она про себя, и последняя рябь исчезала с поверхности жизни, последняя муть повседневности оседала среди абсолютного покоя. — Мир, мир». У нее не было желаний, не было забот. Некогда мутная

жидкость стала теперь совершенно прозрачной — прозрачнее алмаза, прозрачней воздуха. Туман рассеялся, за ним открылась реальность. То была чудесная пустота, то было ничто. Ничто — единственное совершенство, единственный абсолют. Вечное и бесконечное ничто. Откровение наконец завершилось.

Щелканье замка в парадной двери и звук шагов в коридоре вывели Марджори из оцепенения. Неохотно и с какой-то болью она поднялась из глубин пустоты, ее душа снова всплыла на поверхность сознания. Солнечный свет на холмах стал гуще, тучи поднялись, и небо побледнело, зеленовато-голубое, как вода. Приближался вечер. Ноги у нее затекли: должно быть, она просидела так несколько часов.

— Уолтер? — откликнулась она на шум в коридоре.

Ей ответил безжизненный и тусклый голос. «Что с ним? Отчего он так несчастен?» — подумала она, но подумала точно откуда-то издалека, почти с неприязнью. Его присутствие, самое его существование тревожило ее, нарушало ее покой. Он вошел в комнату. Лицо у него было бледное, под глазами — темные круги.

— Что случилось? — спросила она почти про-

тив воли. Чем ближе она подходила к Уолтеру, тем больше она удалялась от чудесного ничто, от Бога. — У тебя ужасный вид.

— Ничего не случилось, — ответил он. — Просто я очень устал. — По дороге в поезде он читал и перечитывал письмо Люси, пока не выучил его почти наизусть. Воображением он дополнял то, о чем не говорилось в письме. Он видел этот унылый номер в меблированных комнатах; он видел загорелое тело итальянца, и ее белизну, и стиснутые зубы мужчины, и его лицо, как лицо подвергнутого пытке Марсия, и лицо Люси со знакомым ему выражением, строгим, напряженным и страдающим, точно наслаждение было глубокой и труднопостижимой истиной, познать которую можно, только внимательно сосредоточившись…

«Ах так, — думала Марджори, — он говорит, ничего не случилось. Что ж, тем лучше: значит, мне нечего беспокоиться».

— Бедный Уолтер! — сказала она вслух, улыбаясь ему с жалостливой нежностью. Он не требовал от нее внимания или сочувствия, она больше не испытывала к нему неприязни. — Бедный Уолтер!

Уолтер бросил на нее быстрый взгляд, потом

отвернулся. Ему не нужна жалость. Во всяком случае, такая снисходительная ангельская жалость, да еще от Марджори. Однажды он позволил ей пожалеть себя. Мурашки пробежали у него по телу, когда он вспомнил об этом. Больше никогда. Он ушел к себе.

Марджори слышала, как он поднялся по лестнице и хлопнул дверью.

«А все-таки, — подумала она, невольно тревожась, — тут что-то не то, что-то причинило ему особенно сильное страдание. Может быть, пойти и посмотреть, что он делает?»

Но она не пошла. Она осталась сидеть, совершенно неподвижная, сознательно забывая о нем. Небольшой осадок, поднявшийся в ней от приезда Уолтера, быстро оседал на дно. Ее дух снова погрузился в безжизненную пустоту, в Бога, в беспредельное изначальное ничто. Время шло; наступили летние сумерки; сумерки постепенно сменились темнотой.

В десять часов вернулась Дэзи, служанка.

— Сумерничаете, мэм? — спросила она, заглянув в комнату. Она повернула выключатель. Марджори вздрогнула. Свет вызвал перед ее ослепленными глазами все материальные подробности окружающего мира. Бог исчез, как

лопнувший мыльный пузырь. Дэзи заметила, что стол не накрыт. — Как! Вы не ужинали? — в ужасе воскликнула она.

— Да, верно, — сказала Марджори. — Я совсем забыла об ужине.

— А как же мистер Бидлэйк? — В тоне Дэзи послышался упрек. — Ах, бедненький, он, наверное, совсем изголодался! — Она побежала на кухню, чтобы достать холодное мясо и пикули.

Наверху, в своей комнате, Уолтер лежал на постели, зарывшись головой в подушки.

XXXI

Вопрос из кроссворда заставил мистера Куорлза заглянуть в семнадцатый том Британской энциклопедии. Побуждаемый праздным любопытством, он перелистывал страницу за страницей. Он узнал, что лорд-камергер носит белый жезл и золотой или осыпанный драгоценностями ключ. Слово «лотерея» не имеет вполне определенного значения, но Нерон давал в качестве выигрыша дома и рабов, тогда как Гелиогабал придал лотереям оттенок нелепости — на один билет золотую вазу, на другой — полдюжины мух. Губернатором штата Луизиана был в 1873 году республиканец Пикни Б. С. Пинчбек. Чтобы четко сформулиро-

вать, что такое «лира», надо сразу же отметить разницу между ней и близкими ей инструментами — арфой и гитарой. Различают белую и черную магию. А земной магнетизм имеет длинную историю. На северном побережье острова Мадейра можно увидеть обнаженные пласты крупнокристаллического эссексита. Он как раз начал читать о сэре Джоне Бланделе Мейпле, баронете (1845–1903), отец которого, Джон Мейпл (ум. 1900), имел небольшую мебельную лавку на Тоттенхэм-Корт-роуд, когда в дверях появилась горничная, доложившая, что его желает видеть какая-то молодая леди.

— Молодая ле-еди? — с удивлением повторил он, снимая пенсне.

— Да, это я, — сказал знакомый голос, и в комнату, отстранив горничную, влетела Глэдис.

При виде ее мистера Куорлза охватило тревожное предчувствие. Он встал.

— Можете идти, — с достоинством сказал он горничной. Та вышла. — Мое дорогое дитя! — Он взял Глэдис за руку. — Какой сюрприз!

Глэдис вырвала руку.

— Да уж точно приятный сюрприз! — саркастически ответила она. В минуты волнения она говорила еще более неправильно, чем всегда. Она

села или, вернее сказать, решительно водрузила себя в кресло. «Вот она я, — говорила вся ее поза, — и отсюда я не уйду». Или, может быть, даже: «На-кась, выкуси».

— Конечно, приятный, — медоточиво говорил мистер Куорлз, чтобы что-нибудь сказать. «Какой ужас, — думал он. — Чего ей нужно? И как бы поскорее выставить ее из дому?» В случае необходимости, впрочем, он скажет, что ему нужно было срочно перепечатать некоторые материалы и он вызвал ее. — Но кто бы мог ожидать, — добавил он.

— Да уж верно, никто. — Она сжала губы и посмотрела на него — и выражение ее глаз вовсе не понравилось мистеру Куорлзу, — словно ожидая чего-то. Чего?

— Разумеется, я очень рад видеть вас, — продолжал он.

— Ах, вы очень рады? — Она угрожающе засмеялась.

Мистер Куорлз взглянул на нее и испугался. Он просто ненавидел эту девицу. Теперь он удивлялся: как это он мог желать ее?

— Очень рад, — повторил он с еще большим достоинством: самое главное — сохранять достоинство и превосходство. — Но…

— Но… — отозвалась она.

— Но, знаете, я считаю, что с вашей стороны было несколько опрометчиво приезжать сюда.

— Он, видите ли, считает, что это опрометчиво, — сказала Глэдис, точно обращаясь к незримому третьему лицу.

— Не говоря уже о том, что я не вижу в этом никакой необходимости.

— Ну насчет необходимости это не вам судить.

— В конце концов, вы отлично знали, что, если бы вам захотелось увидеть меня, вам стоило только написать, и я приехал бы немедленно. Так зачем же приезжать сюда? — Он ждал ответа. Но Глэдис молчала и только смотрела на него, и в ее зеленых глазах была жестокость, а улыбка сжатых губ скрывала одному богу известно какие опасные мысли и чувства. — Я, серьезно, недоволен вами. — Мистер Куорлз делал ей выговор тоном внушительным и полным достоинства, но добродушно — всегда добродушно. — Да, серьезно, недоволен.

Глэдис закинула голову и издала короткий, пронзительный смех, похожий на смех гиены.

Мистер Куорлз растерялся. Но он не терял достоинства.

— Вы можете смеяться, — сказал он, — но я

говорю вполне серьезно. Вы не имели права приезжать. Вы отлично знаете, как важно, чтобы никто ничего не заподозрил. Особенно здесь — здесь, в моем собственном доме. Вы это знаете.

— Да, знаю, — повторила Глэдис, кивая головой. — Именно поэтому я приехала. — На секунду она замолчала. Но ее бурные переживания не давали ей молчать. — Потому что я знала, что вы трусите, — продолжала она, — да, трусите: а вдруг люди поймут, какой вы есть на самом деле. Грязная старая свинья. — И вдруг, потеряв всякую власть над собой, она в бешенстве вскочила на ноги и с таким угрожающим видом двинулась на мистера Куорлза, что он отступил на шаг. Но ее нападение ограничилось словами. — Напускаете на себя такую важность, будто вы принц Уэльский. А девушку водите обедать в закусочную. И всех ругаете, хуже, чем пастор; а сами-то хороши! Грязная старая свинья — вот кто вы такой! А туда же, говорит, что любит меня! Знаем мы эту любовь. Девушка с вами спокойно в такси проехать не может. Паршивая скотина! А еще…

— Что вы, что вы! — Мистер Куорлз настолько оправился от первого потрясения, что наконец обрел дар речи. Это ужасно, это неслыханно! Он чувствовал себя уничтоженным, опозоренным,

опустошенным.

— «Что вы, что вы», — передразнила она. — И в театре-то приличные места не можете взять. А когда дело доходит до того, чтобы амурничать, — Господи Боже мой! Паршивая жирная свинья! А послушать вас, так выходит, что от вас все женщины без ума, вроде как от Родольфо Валентино. Это от вас-то! Да вы посмотрите на себя в зеркало. Рожа как красное яйцо.

— Какие выражения!

— А еще болтает о любви — это с такой-то рожей! — продолжала она все более пронзительным голосом. — Старая свинья! А девушке не нашел что подарить, только паршивые старые часы да серьги, да и в тех камни фальшивые, мне ювелир сказал. А теперь, в довершение всего, у меня будет ребенок.

— Ребе-енок! — недоверчиво повторил мистер Куорлз: сбывались его самые мрачные предчувствия. — Не может быть!

— Да, ребенок! — заорала Глэдис и топнула ногой. — Вы что, оглохли, старый болван? Да, ребенок. За этим я сюда и приехала. Я не уйду отсюда, пока…

В это самое мгновение из сада через стеклянную дверь вошла миссис Куорлз. Она только что

была у Марджори и пришла сказать Сидни, что она пригласила молодую чету сегодня к обеду.

— Ах, простите, — сказала она, останавливаясь на пороге.

Наступило минутное молчание. Потом, обращаясь на этот раз к миссис Куорлз, Глэдис снова дала волю своему бешенству. Через пять минут она еще более несдержанно рыдала, а миссис Куорлз старалась ее утешить. Сидни воспользовался случаем и выскользнул из комнаты. Когда гонг прозвонил к ленчу, он прислал сказать, что чувствует себя очень плохо и просит прислать ему в комнату два яйца всмятку, гренков с маслом и компота.

Тем временем в кабинете миссис Куорлз заботливо склонялась над Глэдис, рыдавшей в кресле.

— Успокойтесь, — повторяла она, поглаживая девушку по плечу. — Успокойтесь, не нужно плакать. — «Бедная девушка! — думала она. — А какие ужасные духи! Как мог Сидни… И все-таки бедная девушка, бедная девушка!» — Не надо плакать. Возьмите себя в руки. Все будет хорошо.

Рыдания Глэдис постепенно затихали. Спокойный голос миссис Куорлз продолжал говорить слова утешения. Девушка слушала. Вдруг она вскочила. Миссис Куорлз увидела издевательское

выражение на ее залитом слезами лице.

— Хватит, заткнитесь! — саркастически сказала она. — Заткнитесь! Вы что, меня за маленькую принимаете? Ишь, разговорилась! Зубы заговорить мне хотите, да? Чтобы я ничего не требовала? Деточка, будьте паинькой, так, что ли? Не на таковскую напали. Ничего у вас из этого не получится. И вы это очень скоро узнаете.

С этими словами она выскочила из комнаты в сад и скрылась.

XXXII

Элинор сидела одна в маленьком домике в конце тупика. Слабые отголоски уличного движения ласкали теплую тишину. Старое саше ее матери населяло атмосферу бесчисленными воспоминаниями детства. Она ставила букет роз в вазу; огромные белые розы с лепестками из мягкого фарфора, огненные розы, похожие на языки замороженного душистого пламени. Куранты на камине неожиданно отзвонили восемь раз; согласное дрожание грустно угасало, уходя в небытие, как музыка на отходящем корабле. Половина четвертого. А к шести она ждала Эверарда. Ждала Эверарда, чтобы выпить с ним коктейль, объясняла она самой себе, а потом

ехать с ним обедать и в театр. Вечер, обычный вечер, такой же, как все другие вечера. Она повторяла себе это потому, что в глубине души она знала, она была пророчески уверена, что этот вечер ничем не будет похож на другие вечера, что он будет самым важным и решающим. Ей придется решать, ей придется выбирать. Но она не хотела выбирать; вот почему она старалась поверить, что это будет такой же вечер, как все другие, с такими же развлечениями, как всегда. Она точно осыпала труп цветами. Горы цветов. Но труп был тут, несмотря на скрывавшие его лилии. А выбирать придется, несмотря на обед у Кетнера и на посещение театра.

Вздохнув, она взяла тяжелую вазу обеими руками и собиралась поставить ее на камин, как вдруг раздался громкий стук в дверь. Элинор вздрогнула так сильно, что едва не уронила свою ношу. Страх не прошел даже тогда, когда она оправилась от неожиданности. Стук в дверь, когда она оставалась одна в доме, всегда заставлял ее сердце биться особенно сильно. Мысль, что там кто-то стоит, ожидая, прислушиваясь, незнакомец, быть может, враг (в воображении Элинор вставали жуткие волосатые лица, выглядывающие из-за угла, сжатые в кулак руки, ножи, дубинки и

револьверы) или, может быть, сумасшедший, внимательно прислушивающийся, не донесется ли из дома какой-нибудь живой звук, ждущий, как паук, чтобы она открыла, — это было для нее кошмаром. Стук повторился. Поставив вазу, она на цыпочках, с бесчисленными предосторожностями подошла к окну и выглянула из-за занавески. В те дни, когда у нее было особенно беспокойное настроение, она не решалась сделать даже это и сидела неподвижно, надеясь, что стук ее сердца не будет слышен на улице, — сидела до тех пор, пока у стучавшего не истощалось терпение и он не уходил прочь. На следующий день посыльный от Сельфриджа приводил ее в полное смущение, прося прощения за запоздалую доставку. «Я приходил вчера вечером, мадам, но никого не застал». И Элинор становилось стыдно. Но в следующий раз, когда она оставалась одна и у нее было такое же настроение, она поступала точно так же.

Сегодня она была настроена мужественно. Она отважилась рассмотреть врага — во всяком случае, настолько, насколько это можно было сделать, глядя искоса сквозь оконное стекло в направлении крыльца. Серые брюки и локоть — вот все, что попало в поле ее зрения. Стук повторился.

Потом нога сделала шаг назад, и Элинор увидела весь костюм, черную шляпу и, когда голова повернулась, лицо Спэндрелла. Она побежала к двери и открыла.

— Спэндрелл! — окликнула она. Он уже спускался с крыльца. Он вернулся и приподнял шляпу. Они пожали друг другу руки. — Простите, — объяснила она, — я сидела одна. Я думала, что это, по крайней мере, убийца. Потом я выглянула в окошко и увидела, что это вы.

Спэндрелл коротко и беззвучно засмеялся.

— А может быть, это все-таки убийца, хотя это и я. — И своей узловатой палкой он замахнулся на нее, в шутку, но это было так драматически похоже на ее представления о подлинном убийстве, что Элинор стало жутко. Она засмеялась, чтобы скрыть свой страх, но решила не приглашать Спэндрелла в дом. Здесь, на пороге, она чувствовала себя в большей безопасности.

— И все-таки, — сказала она, — лучше быть убитой знакомым, чем совершенно чужим человеком.

— Разве? — Он посмотрел на нее; уголки его широкого, похожего на шрам рта дрогнули, изобразив странную улыбку. — Только женщина способна думать о таких тонкостях. Впрочем, если

вам когда-нибудь будет угодно, чтобы вам самым дружественным образом перерезали горло…

— Что с вами, Спэндрелл! — возмутилась она и еще раз порадовалась, что он стоит на пороге, а не внутри дома.

— …то немедленно пошлите за мной. Где бы я ни был, — он приложил руку к сердцу, — я примчусь к вашим ногам. Или, вернее, к вашему горлу. — Он щелкнул каблуками и поклонился. — Скажите мне, — продолжал он уже другим тоном, — где можно найти Филипа. Я хотел пригласить его пообедать. У Сбизы. Я пригласил бы и вас, но там будут только мужчины.

Она поблагодарила.

— Я все равно не смогла бы прийти. А Филип уехал за город, к своей матери. Он вернется только к концерту Толли в «Квинс-холле». Он, впрочем, говорил, что после концерта зайдет к Сбизе. Вы встретите его там. Но это будет поздно.

— Что ж, лучше поздно, чем никогда. Или, по крайней мере, — он снова беззвучно засмеялся, — так принято говорить, когда дело касается наших друзей. Но, по правде говоря, эта пословица нуждается в переделке: лучше никогда, чем рано.

— Тогда зачем же приглашать людей обедать?

Спэндрелл пожал плечами.

— Сила привычки, — сказал он. — К тому же, когда я их приглашаю, платить приходится им.

Оба засмеялись. Вдруг громкий звонок заставил их обернуться. Рассыльный на красном велосипеде мчался мимо конюшен по направлению к ним.

— Куорлз? — спросил он, соскакивая с велосипеда.

Элинор взяла телеграмму и вскрыла. Улыбка сошла с ее лица.

— Ответа не будет.

Рассыльный сел на велосипед и уехал. Элинор уставилась на телеграмму, точно она была написана на незнакомом языке, который трудно было понять. Она взглянула на часы на руке, потом снова на смятую бумажку.

— Не окажете ли вы мне одну услугу? — наконец сказала она, повернувшись к Спэндреллу.

— С удовольствием.

— Мой ребенок заболел, — объяснила она. — Меня вызывают. Если я потороплюсь, — она снова взглянула на часы, — я еще успею на поезд в четыре семнадцать с Юстонского вокзала. Но у меня нет ни минуты времени. Может быть, вы позвоните Эверарду Уэбли и передадите ему, что я не смогу пообедать с ним сегодня вечером?

— «Судьба предостерегает меня, — подумала она, — запрещает мне». — Не позже шести. К нему в комитет.

— Не позже шести, — медленно повторил он. — К нему в комитет. Есть.

— Ну, я бегу, — сказала она, протягивая ему руку.

— Если хотите, я найду вам такси, пока вы одеваетесь.

Она поблагодарила. Спэндрелл поспешно зашагал вдоль конюшен. «Судьба запрещает мне», — повторяла Элинор, надевая шляпу перед венецианским зеркалом в гостиной. Выбор был сделан за нее. Она почувствовала одновременно и облегчение, и разочарование. «Сделан, — подумала она, — за счет бедного малютки Фила. Что с ним?» — спрашивала она себя. Посланная матерью телеграмма — такая характерная для нее, что Элинор не могла удержаться от улыбки, вспомнив ее текст, — ничего не объясняла:*«Филип нездоров хотя неопасно советую вернуться домой мать».*

Она вспомнила, каким нервным и капризным был в последнее время мальчик, как быстро он утомлялся. Она упрекала себя, что вовремя не обратила внимания на его начинающуюся

болезнь. Теперь он заболел. Вероятно, просто грипп. «Следовало обратить внимание раньше», — говорила она себе. Она нацарапала записку для мужа. «Приложенная телеграмма объяснит мой неожиданный отъезд. Приезжай в Гаттенден завтра утром». Где ее оставить, чтобы Филип наверняка увидел ее? Прислонить к часам на камине? А если он не посмотрит на часы? Или на столе? Нет, приколоть к ширме — вот это дело! Тогда он наверняка ее заметит. Она побежала в спальню за булавкой. На ночном столике Филипа она увидела связку ключей. Она взяла их и нахмурилась. «Дурень, оставил ключ от дома. Как же он попадет сюда вечером?» Шум подъехавшего такси навел ее на мысль. Она сбежала вниз, приколола записку и телеграмму на видном месте к ширме между гостиной и дверью и вышла на крыльцо. Спэндрелл стоял у дверцы такси.

— Как это мило с вашей стороны, — сказала она. — Но я еще не кончила эксплуатировать вас. — Она протянула ключи. — Когда вы увидите вечером Филипа, передайте ему ключи и мой привет и скажите ему от меня, что он все-таки дурень: он же не смог бы войти в дом без них. — Спэндрелл молча взял ключи. — И передайте ему, почему я уехала и что я жду его завтра. — Она

села в такси. — Только не забудьте позвонить Уэбли. До шести. Потому что в шесть он должен был приехать сюда.

— Сюда? — спросил он с неожиданным любопытством, которое показалось Элинор несколько оскорбительным и дерзким. Неужели он что-нибудь вообразил, осмелился предположить?..

— Да, сюда, — коротко подтвердила она.

— Я не забуду, — с ударением сказал он, и в выражении его лица было что-то, заставившее Элинор почувствовать, что в его словах скрывается тайный смысл.

— Благодарю вас, — сухо сказала Элинор. — А теперь — до свидания. — Она дала адрес шоферу. Машина проехала мимо конюшен, под аркой, завернула и скрылась.

Спэндрелл медленно зашагал по направлению к Гайд-парку. Из телефона общественного пользования на станции метро он позвонил Иллиджу.

Эверард Уэбли расхаживал взад и вперед по комнате, диктуя. Он не умел работать сидя.

— Как могут люди писать, когда они день-деньской привязаны к стулу, и так — год за годом? — Он не понимал этого. — Когда я сижу на стуле или лежу в постели, я точно сам становлюсь мебелью, на которой сижу или лежу, деревом и

обивкой — и больше ничего. Мой мозг работает только тогда, когда у меня работают мускулы.

В те дни, когда ему приходилось писать много писем, когда нужно было диктовать статьи или составлять речи, рабочий день Эверарда превращался в восьмичасовую прогулку. «Изображает льва» — так описывали секретари его метод диктовки. Сейчас он как раз изображал льва — беспокойного льва, незадолго до кормления, — расхаживающего от стены к стене по своему большому пустынному кабинету.

— Не забывайте, — говорил он, хмурясь при этих словах на серый ковер, карандаш его секретаря покрывал страницу стенографическими значками, — не забывайте, что право решения принадлежит одному мне и что, пока я стою во главе С.С.Б., всякая попытка нарушить дисциплину будет безжалостно пресекаться. Ваш и т. д. — Он замолчал и, вернувшись к письменному столу с того места, где завершилось многодумное львиное шагание, порылся в разбросанных бумагах. — Кажется, все, — сказал он и посмотрел на часы. Было без четверти шесть. — Эти последние письма приготовьте мне к завтрашнему утру. Я подпишу их завтра. — Он взял шляпу с вешалки. — До свидания. — Хлопнув дверью, он спустил-

ся по лестнице, шагая через две ступеньки. У подъезда его ждал автомобиль. Это была мощная машина (Эверард был поклонником быстрой езды) и открытая — так как он наслаждался борьбой со стихиями. Плотно натянутый непромокаемый чехол закрывал всю заднюю часть машины; сидеть можно было только на двух передних местах. — Вы не понадобитесь мне сегодня вечером, — сказал он шоферу, усаживаясь у руля. — Вы свободны до завтра.

Он привел в действие стартер, пустил мотор, и машина стремительно сорвалась с места. Цилиндры его машины — объемом в три литра — заключали в себе несколько дюжин лошадей; ему нравилось, когда они работали на полной нагрузке. Максимальная скорость, а потом, за один шаг от надвигающейся катастрофы, рвануть тормоза — таков был его метод. Езда по городу с Эверардом доставляла ощущения, пожалуй, даже чересчур сильные.

— Я совсем не боюсь смерти, — заявила ему Элинор, когда они в последний раз ездили за город, — но я вовсе не намерена провести остаток моей жизни на костылях и с перешибленным носом.

— Со мной вы в полной безопасности, — рассмеялся он, — у меня не бывает несчастных случаев.

— Вы что же, выше подобных вещей? — насмешливо сказала она.

— Что ж, если хотите…

При этих словах он с такой силой затормозил, что Элинор пришлось ухватиться за ручки сиденья, так как иначе ее бросило бы на переднее стекло.

— Болван! — закричал он на растерянного старого джентльмена, чья куриная нерешительность едва не бросила его под шины автомобиля. — Если хотите, — и машина рванулась вперед с такой силой, что Элинор буквально расплющилась о спинку сиденья, — так оно и есть. У меня не бывает несчастных случаев. Я сам кузнец своего счастья.

Вспоминая эту поездку, Эверард улыбался про себя. Он ехал по Оксфорд-стрит. Товарный фургон преградил ему путь. Давно пора запретить ездить по улицам на лошадях. «Или вы будете моей, — скажет он ей, — а это значит, что в конце концов вам придется предать это огласке, оставить Филипа и жить со мной (он намеревался быть вполне честным с ней: никакого обмана быть не должно), или это, или…» Наконец ему представилась возможность обогнать фургон; он нажал на газ, и машина рванулась вправо, потом, под самым

носом старой клячи, терпеливо бегущей рысцой, снова влево. «Или мы больше не увидимся». Это будет ультиматум. Грубый. Но Эверард не терпел неясности в отношениях. Знать наверняка, каким бы неприятным ни было это знание, он предпочитал самой блаженной и полной надежд неопределенности. А в данном случае неопределенность была отнюдь не блаженной. При въезде на Оксфорд-серкус полисмен поднял руку. Было без семи минут шесть. «Она относится слишком придирчиво, — подумал он, смотря по сторонам, — к этим новым зданиям». Эверард не находил ничего неприятного в массивном и пышном барокко современных деловых построек. Их стиль энергичен и выразителен; он величествен, роскошен, он символизирует прогресс.

— Но он невыразимо вульгарен! — возразила она.

— Живому человеку, — ответил он, — трудно не быть вульгарным. Вам не нравится, что эти люди делают дело. Согласен: делать дело всегда вульгарно.

У нее типично потребительская психология. Полисмен опустил руку. Сначала медленно, но со все возрастающей силой прегражденный было поток уличного движения устремился вперед. Во

всем она ищет не пользу, а красоту; ее занимают ощущения и оттенки переживаний, причем занимают ее сами по себе, а не потому, что острый глаз и проницательность необходимы в борьбе за существование. Она вообще не знает, что такое борьба. Он должен был бы осуждать ее, и он осудил бы, если б (и при этой мысли Эверард внутренне улыбнулся) он не любил ее. Он должен был бы…

Хлоп! С империала проезжающего автобуса на капот мотора прямо перед ним упала похожая на замаранную морскую звезду кожура от банана. Сквозь рев мотора он услышал взрыв хохота. Подняв глаза, он увидел двух девушек; они смотрели на него через перила, раскрыв рты, словно те фантастические головы, которыми кончаются водосточные трубы, но при этом хорошенькие. И хохотали так, точно до этого они никогда не выкидывали подобных штук. Эверард погрозил им кулаком и тоже расхохотался. Как понравилось бы это Элинор! — подумал он. Она так любит улицу и уличные сцены. Какой у нее острый глаз на все странное, забавное, значительное! Там, где он видел сплошную массу человеческих существ, она различала отдельных людей. А ее способность придумывать биографии на основании

какой-нибудь случайно подмеченной странности была не менее замечательна, чем ее острый глаз. Она знала бы об этих девушках решительно все: к какому классу они принадлежат, из каких семей происходят, где покупают платья и сколько платят за них, невинны ли они, какие книги они читают и кто их любимые киноактеры. Образовавшаяся пробка заставила его пропустить такси вперед, причем за это время шофер успел выразить сомнение в том, законнорожденный ли Эверард, нормальные ли у него половые наклонности и есть ли у него шансы на блаженство в загробной жизни. Эверард отругивался с таким же вкусом, но с неизмеримо большей изобретательностью. Он чувствовал, что его переполняет жизнь, он чувствовал себя необычайно крепким и сильным, необъяснимо и (если не считать того, что он увидит Элинор не раньше чем через пять минут) совершенно счастливым.

Да, совершенно счастлив, потому что он знал (совершенно точно и твердо знал!), что она скажет «да», что она любит его. И его счастье становилось все более сильным, острым и в то же время все более успокоительным, пока он заворачивал мимо Мраморной арки в парк. Его пророческая убежденность разрасталась в какую-

то уверенность уже происшедшего и памятного, будто будущее стало историей. Солнце стояло низко, и, где бы его розовато-золотистые лучи ни коснулись земли, казалось, будто преждевременная многоцветная осень подожгла траву и листья. Целые снопы сияющего света с пылинками опускались с запада между деревьями, а в тени сумрак стелился сиреневатым и аквамариновым туманом и скрывал, план за планом, смутные лондонские дали. Парочки прогуливались по траве, а играющие дети то погружались во тьму, то преображались, выбегая из тени на солнце, и попеременно то блекли, то становились ослепительно чудесными. Словно какой-то шаловливый божок, то наскучив своими созданиями, то вновь очарованный ими, взирал на них испепеляющим оком, а в следующее мгновение любовно уделял им как бы частичку своей божественности. Дорога простиралась перед ним чистая и гладкая; но Эверард отнюдь не превышал скорость, несмотря на все свое нетерпение; и в каком-то смысле именно потому, что был так сильно влюблен. Все вокруг было столь красиво; а для Эверарда, по ему одному понятной логике и какой-то личной потребности, там, где была красота, была и Элинор. Вот и сейчас она была рядом — ведь она бы

так наслаждалась всей этой прелестью. И потому, что ей обязательно захотелось бы растянуть удовольствие, он и полз так медленно. Мотор делал полторы тысячи оборотов в минуту, генератор чуть не глох. Крошечный «Остин» обогнал его, будто машина Эверарда стояла на месте. Пусть себе обгоняют! Эверард думал, какими словами он опишет ей это чудо. Сквозь ограду алели автобусы на Парк-лейн и поблескивали, как триумфальные колесницы в карнавальном шествии. Слабо, пробиваясь сквозь шум городского транспорта, часы пробили шесть; и со звуком последнего удара вступил другой звон, мелодичный, сладостный, чуть грустный, — живое воплощение прелести вечера и охватившего его счастья.

И вот, несмотря на то что он тащился очень медленно, перед ним возникли мраморные ворота Гайд-парка. Бронзовый Ахиллес, чья плоть некогда была наполеоновскими пушками, Ахиллес, которого английские леди, несмотря на его наготу и более чем атлетическое развитие брюшного пресса, принесли в дар победителю при Ватерлоо, стоял, подняв щит, размахивая мечом, угрожая и защищаясь на фоне бледного и пустого неба. Эверард почти жалел, что уже выехал из парка, хотя он и жаждал скорее приехать. Снова башен-

ноподобные автобусы рычали впереди и позади него. Пробираясь сквозь архипелаг машин, он поклялся, что завтра, если Элинор скажет «да», он пожертвует пять фунтов госпиталю Святого Георга. Он знал, что она скажет «да». Деньги были все равно что уже отданы. Он выехал с Гросвенор-плейс; рев стих. Бельгрейв-сквер был зеленым оазисом; воробьи чирикали в сельской тишине. Эверард повернул раз, два, еще раз. Слева, между домами, возвышалась арка. Он проехал мимо нее, затормозил, сделал крутой поворот и задним ходом въехал в тупик.

Он остановил машину и вышел. Как прелестны эти желтые занавески! Его сердце учащенно билось. У него было такое же чувство, как во время его первой речи: он боялся и ликовал одновременно. Поднявшись на крыльцо, он постучал, потом подождал, пока сердце сделало двадцать ударов. Ответа не было. Он постучал снова и, вспомнив, что говорила ему Элинор о своих страхах, засвистел и, точно отвечая на безмолвный вызов ее испуга, закричал: «Свой!» Тогда он вдруг заметил, что дверь не заперта, а только прикрыта. Он толкнул — она распахнулась. Эверард переступил порог.

— Элинор! — позвал он, думая, что она наверху.

— Элинор!

Ответа не было. Может быть, она решила подшутить над ним? Может быть, она внезапно выскочит из-за ширмы? При этой мысли он улыбнулся и зашагал вперед, чтобы исследовать безмолвную комнату. В глаза ему бросился листок бумаги, приколотый на видном месте к ширме с правой стороны. Он приблизился и успел прочесть: «Приложенная телеграмма объяснит...», когда какой-то звук за спиной заставил его обернуться. За полтора шага от него стоял человек. Руки его были подняты; дубинка, которую они сжимали, двигалась вперед и в сторону от правого плеча. Эверард взмахнул рукой, но слишком поздно. Удар пришелся по левому виску. Точно внезапно выключили свет. Он даже не почувствовал, как упал.

Миссис Куорлз поцеловала сына.

— Дорогой Фил, — сказала она, — как мило с твоей стороны, что ты сейчас же приехал.

— Вы плохо выглядите, мама.

— Немного устала — только и всего. И беспокоюсь, — со вздохом добавила она после минутного молчания.

— Беспокоитесь?

— О твоем отце. Он плохо себя чувствует, — про-

должала она медленно и как бы неохотно. — Он очень хотел повидать тебя. Поэтому-то я и дала тебе телеграмму.

— Что он, серьезно болен?

— Физически нет, — ответила миссис Куорлз. — Но его нервы… у него что-то вроде припадка. Он очень возбужден.

— А причина?

Миссис Куорлз ничего не ответила. Потом она заговорила с усилием, точно каждое слово должно было преодолевать какое-то внутреннее препятствие. Ее выразительное лицо было застывшим и напряженным.

— Произошел случай, который его расстроил, — сказала она. — Это его очень потрясло. — И медленно, слово за словом, была рассказана вся история.

Филип слушал, облокотившись о колени, положив подбородок на руки. В самом начале рассказа он взглянул на мать, а потом уставился в пол. Он понял, что, если он посмотрит на нее, встретится с ней взглядом, он еще усилит ее смущение. То, что ей пришлось говорить, было само по себе жестоко и унизительно; так пускай она говорит, невидимая, точно никто не присутствует здесь, чтобы смотреть на ее скорбь. Тем, что он

не глядел на нее, он как бы охранял ее духовную неприкосновенность. Слово за словом, бесцветным, мягким голосом говорила миссис Куорлз. Одно грязное происшествие следовало за другим. Когда она дошла до посещения Глэдис два дня тому назад, Филип почувствовал, что он не в состоянии слушать дальше. Это было слишком большим унижением для нее — он не мог позволить ей продолжать.

— Да, да, могу себе представить, — прервал он ее. И, вскочив с кресла, он быстро и беспокойно заковылял к окну. — Не рассказывайте. — С минуту он стоял у окна, рассматривая лужайку, сплошную стену из тисовых деревьев и холмы цвета спелой пшеницы, окружавшие долину. Пейзаж был раздражающе безмятежен. Филип повернулся, проковылял через комнату, остановился на мгновение позади кресла матери и положил руку ей на плечо, потом снова отошел прочь.

— Не думайте больше об этом, — сказал он. — Я сделаю все, что нужно. — Он с невероятным отвращением представил себе, как ему придется выносить шумные и грубые сцены, спорить и недостойно торговаться. — Пожалуй, я схожу к отцу, — предложил он.

— Он очень хотел видеть тебя, — кивнула мис-

сис Куорлз.

— Зачем?

— Не знаю. Но он очень просил, чтобы я вызвала тебя.

— А он говорит об этом… об этом деле?

— Нет. Ни слова. У меня такое впечатление, что он нарочно забывает о нем.

— Тогда я лучше тоже не буду говорить.

— Да, пока он не начнет сам, — посоветовала миссис Куорлз. — Сейчас он почти все время говорит о самом себе. О прошлом, о своем здоровье — в мрачных тонах. Попробуй развеселить его. — Филип кивнул. — И поднять его настроение; не противоречь ему. Он легко раздражается, а ему вредно волноваться.

Филип слушал. О нем говорят как об опасном звере, думал он, или об озорном ребенке. Какая боль, какое страдание, какое унижение для матери!

— И не сиди у него слишком долго, — добавила она.

Филип пошел. «Дурак! — говорил он про себя, проходя по холлу. — Проклятый дурак!» Нахлынувшее на него чувство гнева и презрения к отцу не умерялось никакими добрыми воспоминаниями. Правда, оно и не усиливалось ненавистью.

Филип ни любил, ни не любил своего отца. Он терпел его существование с чуть насмешливой покорностью. Не было ничего в его детских воспоминаниях, что могло бы оправдать более положительное отношение. Роль отца мистер Куорлз выполнял так же неудачно и с таким же количеством ошибок, как роль политического деятеля и дельца. Краткие вспышки восторженного интереса к детям чередовались с долгими периодами, в продолжение которых он почти совершенно забывал об их существовании. Филип и его брат предпочитали эти периоды пренебрежения, потому что тогда отец был настроен более благодушно. Было гораздо хуже, когда он выказывал интерес к их благополучию. Он интересовался не столько детьми, сколько какой-нибудь воспитательной или гигиенической теорией. Встретив какого-нибудь знаменитого доктора или прочтя новейшую книгу о методах воспитания, мистер Куорлз решал, что необходимо принять решительные меры, иначе его сыновья вырастут идиотами, калеками или слабоумными, тела их будут отравлены дурной пищей и искалечены каким-нибудь вредным спортом. После этого мальчиков несколько недель пичкали сырой морковью или переварен-

ной говядиной (в зависимости от того, с каким доктором встретился мистер Куорлз); заставляли делать гимнастику или обучали народным танцам и пластике; заставляли учить наизусть стихи (если в данный момент особое значение придавалось памяти) или (если придавалось значение способности к логическому мышлению) отправляться в сад, втыкать на площадках палочки и посредством измерения тени в разные часы дня самостоятельно открывать основные положения тригонометрии. Пока увлечение не проходило, жизнь обоих мальчиков была невыносимой. А если миссис Куорлз пыталась протестовать, Сидни приходил в бешенство и заявлял ей, что она эгоистичная и чересчур мягкосердечная мать, совершенно не считающаяся с благом своих детей. Миссис Куорлз не настаивала: она знала, что, если Сидни перечить, он станет еще более упорным, а если ему потакать, его энтузиазм скоро пройдет. И действительно, через две-три недели Сидни надоедали труды, не дававшие немедленного и очевидного результата. От его гигиены мальчики не стали заметно крупнее или сильнее; они не стали заметно способнее от его педагогики. Все, что можно было о них сказать, — это что от них нет покою ни днем ни ночью. «Более важные

дела» все больше и больше поглощали его внимание, пока наконец, подобно Чеширскому коту, он не исчезал окончательно из мира классной комнаты и детской, переносясь в более возвышенные и спокойные сферы. И мальчики снова чувствовали себя спокойными и счастливыми.

Подойдя к двери, Филип услышал доносившиеся оттуда звуки и остановился, прислушиваясь. На его лице появилось выражение беспокойства, даже тревоги. Голос отца. А ему сказали, что отец один. Разговаривает сам с собой? Неужели он так плох? Филип собрался с духом, открыл дверь и немедленно успокоился: то, что он принял за помешательство, было всего лишь диктовкой для диктофона. Подложив под спину подушки, мистер Куорлз полусидел, полулежал на кровати. Его лицо и даже его лысина пылали и блестели, и его розовая шелковая пижама казалась продолжением этого лихорадочного румянца. Диктофон стоял на столике у постели; мистер Куорлз говорил в микрофон, которым оканчивалась гибкая приемная трубка.

— Истинное величие, — звучно говорил он, — обратно пропорционально немедленному успеху. Ах, вот и ты! — воскликнул он, оглядываясь на звук открывшейся двери. Он остановил

механизм, повесил трубку и приветливо протянул руку. Самый обыкновенный жест. Но во всех его движениях была, как показалось Филипу, какая-то подчеркнутость, точно он находился на сцене. Его глаза лихорадочно блестели. — Как я рад, что ты приехал. Так рад, мой милый мальчик. — Он погладил руку Филипа; в его громком голосе послышалась дрожь.

Филип, не привыкший к такому бурному изъявлению чувств, смутился.

— Ну, как твое здоровье? — спросил он с деланной веселостью.

Мистер Куорлз покачал головой и молча сжал руку сына. Филип смутился еще больше, увидев, что на глазах у него выступили слезы. Как мог он ненавидеть его и сердиться на него!

— Ничего, это пройдет, — сказал он, стараясь подбодрить старика. — Тебе просто нужно немного отдохнуть.

Мистер Куорлз сжал его руку еще крепче.

— Не говори матери, — сказал он, — но я чувствую, что бли-изок конец.

— Какие глупости, папа. Ты не должен говорить так.

— Бли-изок, — повторил мистер Куорлз, упрямо качая головой, — очень близок. Поэтому я так

рад твоему приезду. Я был бы так несчастен, если бы мне пришлось умирать, когда ты на другом конце света. Но когда ты здесь, я чувствую, что могу уйти, — его голос снова задрожал, — совсем спокойно. — Он снова сжал руку Филипа. В эту минуту он чувствовал себя преданным отцом, всегда жившим только для детей. Собственно говоря, таким он и бывал, время от времени. — Да, вполне спокойно. — Он вытащил платок, высморкал нос и в это время незаметно отер глаза.

— Но зачем тебе умирать?

— Нет, нет, — упорствовал Куорлз. — Я чувствую, что я умру. — Он действительно чувствовал это; он верил, что он умирает, потому что, по крайней мере, одна часть его души желала умереть. Осложнения последних недель сломили его; а будущее не обещало ничего хорошего. Безболезненно исчезнуть — это было бы лучшим разрешением всех трудностей. Он хотел, он верил; и, веря в приближение смерти, жалел самого себя как жертву и в то же время восхищался тем благородным смирением, с каким он покоряется своей участи.

— Но ты не умрешь, — повторил Филип, не зная, чем еще утешить его. Он был лишен дара экспромтом разрешать трудные эмоциональные

задачи, с какими встречаешься в обыденной жизни. — Ты ведь… — Он готов был сказать: «Ты ведь ничем не болен», но вовремя сдержался, подумав, что этими словами он может обидеть отца.

— Не будем больше говорить об этом. — Мистер Куорлз говорил резко, выражение лица у него было недовольное. Филип вспомнил, что мать просила не противоречить ему. Он промолчал. — Бессмысленно спорить с Судьбой, — продолжал мистер Куорлз другим тоном. — С Судьбой, — повторил он со вздохом. — Тебе повезло, мой мальчик, ты нашел свое призвание с самого начала. Провиде́ние было благосклонно к тебе.

Филип кивнул. Он и сам так думал, и это внушало ему некоторые опасения. Он смутно верил в карающую Немезиду.

— Тогда как я… — Мистер Куорлз не кончил фразы, но поднял руку и снова безнадежно уронил ее на одеяло. — Всю свою жизнь я шел по неверному пути. Много лет прошло, пока я узнал свое истинное призвание. Занимаясь практическими делами, философ бесцельно расточает себя. Бесцельно и глупо. Как альбатрос у этого, как его там. Ты должен знать.

Филип пришел в недоумение.

— Ты говоришь про альбатроса в «Старом Мо-

реходе»?

— Не-ет, не-ет, — раздраженно сказал мистер Куорлз. — У этого француза.

— Ах да, конечно. — Филип наконец понял. — «Le poète est semblable au prince des nuées»[70]. Ты хочешь сказать — Бодлер.

— Да, конечно, Бодлер.

> *Exilé sur le sol au milieu des huées*
> *Ses ailes de géant l'empêchent de marcher*[71],
> —

процитировал Филип, радуясь возможности на минуту перевести разговор с личных тем на литературу.

Его отец пришел в восторг.

— Вот и-именно! — торжественно воскликнул он. — Точно так же бывает и с философами. Их крылья мешают им ходить по земле. Тридцать лет пытался я ходить по земле, занимаясь политикой и делами. Я не понимал, что мое место — в небесах, а не здесь. В небесах! — повторил

---

[70] Примечания: 70

Поэт, вот образ твой! Ты также без усилья // Летаешь в облаках*(фр.).*

[71] Примечания: 71

Но исполинские тебе мешают крылья
Вниз уходить в толпе средь шиканья глупцов*(фр.;* перевод П. Якубовича*).*

он, подымая руку. — У меня были крылья. — Его поднятая рука затрепетала. — Крылья, а я этого не знал. — Его голос стал громче, его глаза заблестели еще больше, его лицо стало еще более розовым и лоснящимся. Весь его облик выражал такое возбуждение, такое беспокойство и экзальтацию, что Филип серьезно встревожился.

— Не лучше ли тебе немного отдохнуть? — обеспокоенно спросил он, но мистер Куорлз не обратил на его слова никакого внимания.

— Крылья, крылья! — вопил он. — У меня были крылья, и, если бы я понял это, когда был молод, каких высот я мог бы достичь! Но я пытался ходить. По грязи. Тридцать лет. Только через тридцать лет я открыл, что я был рожден летать. А теперь мое время прошло, хотя я едва начал жить. — Он вздохнул и, откинувшись на подушку, выбрасывал слова в воздух по направлению к потолку. — Мой труд не закончен. Мои грезы не воплотились в действительность. Судьба жестоко обошлась со мной.

— Но ты еще отлично успеешь закончить свой труд.

— Нет, нет, — упорствовал мистер Куорлз, качая головой. Он хотел быть жертвой рока, он хотел чувствовать себя вправе сказать про себя: если

бы не превратности судьбы, этот человек мог бы быть вторым Аристотелем. Немилостью Провиде́ния оправдывалось все: его неудачи с сахарным заводом, с политикой, с сельским хозяйством, холодный прием, встретивший его первую книгу, бесконечные задержки с выходом в свет второй; ею оправдывалось, каким-то необъяснимым способом, даже то, что он наградил Глэдис ребенком. Злой рок заставлял его соблазнять горничных, секретарш и крестьянок. А теперь, когда в довершение всего он умрет (преждевременно, но стоически, как благороднейший из римлян), какими мелкими, какими пошло-незначительными казались все эти истории с потерянной невинностью и ожиданием ребенка! И как неприличен был весь этот мирской шум у смертного одра философа! Но он может не обращать внимания на все это лишь при том условии, что это в самом деле его смертный одр, и, если все согласятся, что судьба была к нему несправедлива, философ-мученик накануне смерти имеет право требовать, чтобы его избавили от забот о Глэдис и ее ребенке. Вот почему (хотя он не отдавал себе в этом отчета) мистер Куорлз так решительно и даже раздраженно отвергал утешения сына, пророчившего ему долгую жизнь; вот почему он

обвинял несправедливое Провиде́ние и с более чем обычной снисходительностью к себе восхвалял свои таланты, воспользоваться которыми не дало ему провидение.

— Нет, нет, милый мальчик, — твердил он. — Я никогда не кончу. И это — одна из причин, почему мне хотелось поговорить с тобой.

Филип посмотрел на него с неприятным предчувствием. «А дальше что?» — думал он. Некоторое время оба молчали.

— Кому хочется исчезнуть из мира совершенно незамеченным? — сказал мистер Куорлз голосом, который от вновь нахлынувшей на него жалости к самому себе стал хриплым. — Полное исчезновение — к этому трудно отнестись спокойно. — Перед его умственным взором разверзлась пустота, беспросветная и бездонная. Смерть. Она покончит со всеми заботами, но все-таки она внушает ужас. — Ты понимаешь это чувство? — спросил он.

— Вполне, — сказал Филип, — вполне. Но в твоем случае, отец…

Мистер Куорлз снова высморкался и поднял в знак протеста руку.

— Нет, нет. — Он твердо решил, что умрет. Бессмысленно было убеждать его в противном. — Но

ты понимаешь мои чувства, и это самое важное. Я смогу уйти спокойно, сознавая, что ты не дашь исчезнуть памяти обо мне. Милый мальчик, ты будешь моим литературным душеприказчиком. Есть некоторые отрывки, написанные мной…

— Книга о демократии? — спросил Филип, ожидая, что ему предложат закончить величайший труд на эту тему, который когда-либо был задуман. Ответ отца снял бремя с его души.

— Нет, не это, — поспешно ответил мистер Куорлз. — Пока существуют только материалы к книге. И значительная часть их даже не на бумаге. У меня в голове. Собственно говоря, я как раз собирался попросить тебя, чтобы все заметки к большой книге были уничтожены. Без всякого просмотра. Все это — беглые заметки, понятные только мне. — Мистер Куорлз вовсе не стремился к тому, чтобы пустота его регистраторов и обилие незаполненных карточек в его картотеке были обнаружены и навлекли на него посмертное осуждение. — Все это должно быть уничтожено, понимаешь?

Филип не возражал.

— Я хотел доверить тебе, милый мальчик, — продолжал мистер Куорлз, — собрание фрагментов более интимного характера. Размышления

о жизни, воспоминания о пережитом. Знаешь, всякое такое…

Филип кивнул:

— Понимаю.

— Я начал заносить их на бумагу уже давно, — сказал мистер Куорлз. — «Воспоминания и размышления за пятьдесят лет» — так можно будет озаглавить книгу. В моих записных книжках — масса материала. А в последние дни я пользовался этим. — Он постучал по диктофону. — Знаешь, во время болезни много думаешь. — Он вздохнул. — И серьезно думаешь.

— Разумеется, — согласился Филип.

— Если хочешь послушать… — И он показал на диктофон.

Филип кивнул. Мистер Куорлз привел аппарат в готовность.

— Это даст тебе представление о моих заметках. Мысли и воспоминания. Готово. — Он подвинул аппарат через стол; при этом клочок бумаги упал на пол. Он лежал на ковре, исчерченный по всем направлениям: головоломка. — А теперь — слушай.

Филип стал слушать. Раздался скребущий звук, а потом кукольная пародия на голос его отца произнесла:

— Ключ к проблеме пола: страсть священна, она есть проявление божества. — И, без паузы или перехода, только немного другим голосом: — Самое печальное явление в политике — это легкомыслие политических деятелей. Встретив Асквита однажды за обедом, не помню где, я воспользовался случаем и стал убеждать его в необходимости отменить смертную казнь. Один из самых больных вопросов современности. А он в ответ предложил мне сыграть в бридж. Мера длины, шесть букв: вершок. Утонченные люди не живут в свиных хлевах и не могут долго заниматься политикой и делами. Есть прирожденные эллины и прирожденные миссис Гранди. Я никогда не разделял высокого мнения толпы о Ллойд Джордже. Каждый человек рождается с правом на счастье; но каким он подвергается преследованиям, когда пытается воспользоваться своим правом! Бразильский аист, шесть букв: жабиру. Истинное величие обратно пропорционально немедленному успеху. Ах, вот и ты!.. — снова раздался скребущий звук.

— Да, теперь я вижу, в каком все это духе, — сказал Филип, поднимая глаза. — А как остановить эту штуку? Ага, вижу. — Он остановил аппарат.

— Столько мыслей приходит мне в голову, ко-

гда я лежу здесь, — сказал мистер Куорлз, бросая слова вверх, точно обращаясь к парящему над ним самолету. — Такое богатство! Я не мог бы запечатлеть их все, не будь этого аппарата. Замечательно! Просто замечательно!

XXXIII

Элинор успела дать телеграмму с вокзала. Когда она приехала, на станции ее ждала машина.

— Ну как он? — спросила она шофера.

Но Джекстон не мог сказать ничего определенного: он не знал. В глубине души он был уверен, что эти богачи опять подняли шум из-за пустяков, как они делают всегда, особенно когда дело касается их детей.

Они ехали к Гаттендену. Вид Чилтернских гор в спелом вечернем свете был так невозмутимо-прекрасен, что Элинор почувствовала себя гораздо спокойнее и даже пожалела, что не осталась до последнего поезда. Тогда она смогла бы встретиться с Уэбли. Но ведь она решила, что, по существу, она даже довольна, что не встретится с ним. Но можно одновременно и жалеть, и быть довольным. Проезжая мимо северных ворот парка, она сквозь решетку мельком увидела колясочку лорда Гаттендена, стоявшую почти у

самых ворот. Осел остановился и щипал траву у дороги; вожжи свободно висели, а маркиз был настолько погружен в изучение толстого фолианта в красном сафьяновом переплете, что даже забыл править. Машина промчалась мимо; но вид этого старика, сидящего с книгой в коляске, запряженной серым осликом, в той же позе, в какой она видела его много раз, живущего размеренной, не знающей перемен жизнью, подействовал на нее так же успокоительно, как безмятежная прелесть буков и папоротников, золотисто-зеленого переднего плана и фиалковой дали.

И вот, наконец, усадьба! Старый дом, казалось, дремал в закатном свете, как греющееся на солнышке животное; казалось, слышно было его мурлыканье. Лужайка была похожа на дорогой зеленый бархат; и в безветренном воздухе огромная веллингтония была полна строгого достоинства, как старый джентльмен, присевший немного подумать после сытного обеда. Не может быть, чтобы здесь произошло какое-нибудь несчастье. Она выпрыгнула из машины и побежала прямо наверх в детскую. Фил лежал в постели неподвижно, закрыв глаза. Когда Элинор вошла, мисс Фулкс, сидевшая возле него, повернулась, встала и пошла ей навстречу. Достаточно

было взглянуть на ее лицо, чтобы убедиться, что сине-золотое спокойствие пейзажа, дремлющий дом, маркиз и его ослик — что все они лгали, когда успокаивали ее. «Все хорошо, — казалось, говорили они, — все идет так же, как всегда». Но мисс Фулкс была бледна и взволнованна, точно ей явилось привидение.

— В чем дело? — прошептала Элинор, к которой сразу вернулась вся ее тревога. И раньше, чем мисс Фулкс успела ответить, она добавила: — Он спит? — «Если спит, — подумала она, — это хороший признак; вид у него такой, точно он заснул».

Но мисс Фулкс покачала головой. Это движение было излишним. Едва Элинор успела задать вопрос, как мальчик вздрогнул всем телом под простыней. Его лицо исказилось от боли. Он тихо и жалобно простонал.

— У него очень болит голова, — сказала мисс Фулкс. В ее глазах застыло выражение ужаса и страдания.

— Подите отдохните, — сказала Элинор.

Мисс Фулкс нерешительно покачала головой.

— Я хотела бы быть полезной…

— Вы будете более полезной, когда отдохнете, — настаивала Элинор. Она увидела, что губы

мисс Фулкс дрожат, а на глазах заблестели слезы.
— Идите, — сказала она и сочувственно пожала ей руку.

Мисс Фулкс повиновалась с неожиданной поспешностью. Она боялась расплакаться тут же, в комнате.

Элинор села у постели. Она взяла маленькую ручку, лежавшую на отвернутой простыне, она ласково и нежно провела пальцами по светлым волосам мальчика.

— Спи, — шептала она, и ее пальцы ласкали его, — спи, спи.

Но мальчик продолжал вздрагивать, и его лицо то и дело искажалось от внезапной боли; он мотал головой, точно пытаясь стряхнуть что-то, причинявшее ему боль; он тихонько и жалобно стонал. И, склонившись над ним, Элинор почувствовала, как ее сердце сжимается в груди, как рука хватает ее за горло и душит.

— Мой малютка, — говорила она, точно умоляя его не страдать, — мой малютка.

И она еще крепче сжимала маленькую ручку, она плотнее прижимала ладонь к его горячему лбу, словно стараясь утишить боль или по крайней мере придать вздрагивающему тельцу силы для борьбы с болью. Вся ее воля приказывала

болезни выйти из него — перейти из него через ее пальцы в ее собственное тело. Но он по-прежнему беспокойно ворочался на постели, поворачивая голову то на одну сторону, то на другую, то свертываясь калачиком, то судорожно выпрямляясь под простыней. И по-прежнему возвращалась внезапная острая боль, и на лице изображалось страдание, а из раздвинутых губ снова и снова исходил тихий жалобный стон. Она поглаживала его лоб, она шептала нежные слова. И это было все, что она могла сделать. Сознание собственной беспомощности душило ее. Незримые руки с еще большей силой сжимали ее горло и сердце.

— Как ты его нашла? — спросила миссис Бидлэйк, когда ее дочь спустилась вниз.

Элинор ничего не ответила и отвернулась. От этого вопроса слезы подступили к ее глазам. Миссис Бидлэйк обняла ее за талию и поцеловала. Элинор спрятала лицо на плече матери. «Ты должна быть сильной, — повторяла она себе. — Ты не должна плакать, не должна поддаваться. Будь сильной, чтобы помочь ему». Ее мать крепче сжала ее. Ее близость успокаивала Элинор, давала ей желанную силу. Она собрала всю свою волю и, глубоко вобрав воздух, проглотила комок в горле. Она подняла глаза и благодарно улыб-

нулась матери. Ее губы все еще вздрагивали; но воля победила.

— Я глупая, — сказала она извиняющимся тоном. — Но я ничего не могла сделать. Так ужасно видеть, как он страдает. И не уметь помочь. Это ужасно. Даже когда знаешь, что в конце концов все обойдется благополучно.

Миссис Бидлэйк вздохнула.

— Ужасно, — как эхо повторила она, — ужасно, — и закрыла глаза, обдумывая создавшееся затруднительное положение. Обе женщины молчали. — Кстати, — сказала она, снова открывая глаза, — тебе следует обратить внимание на мисс Фулкс. Я не вполне уверена, что она всегда оказывает на мальчика хорошее влияние.

— Влияние? Мисс Фулкс? — От удивления Элинор широко раскрыла глаза. — Но она самая милая, самая добросовестная…

— Ах нет, не то! — поспешно сказала миссис Бидлэйк. — Я имею в виду ее влияние на его художественный вкус. Когда я пошла позавчера в детскую, я увидела, как она показывает Филу такие ужасно вульгарные картинки с изображением собаки.

— Бонзо? — спросила Элинор.

— Да, Бонзо. — Она произнесла это имя с некото-

рым отвращением. — Если ему нужны картинки из жизни животных, так ведь есть чудесные репродукции персидских миниатюр из Британского музея. Так легко испортить вкус ребенку… Элинор! Что с тобой, дорогая!

Элинор внезапно и неудержимо начала смеяться. Смеяться и плакать, неудержимо. С одним горем она способна справиться. Но горе в сочетании с Бонзо — это было невыносимо. Что-то оборвалось внутри ее, и ее рыдания смешались с неистовым, болезненным, истерическим смехом.

Миссис Бидлэйк беспомощно поглаживала ее по плечу.

— Дорогая! — повторяла она. — Элинор!

Пробужденный от беспокойной и полной кошмаров дремоты, Джон Бидлэйк свирепо закричал из библиотеки.

— Перестаньте кудахтать, — приказал сердитожалобный голос, — ради Создателя!

Но Элинор не могла перестать.

— Гогочут, как гусыни, — ворчал про себя Джон Бидлэйк. — Над какой-нибудь идиотской шуткой. А тут человек болен…

* * *

— А теперь, ради бога, — грубо сказал Спэндрелл, — возьмите себя в руки.

Иллидж прижал платок к губам: он боялся, что его стошнит.

— Пожалуй, я прилягу на минутку, — прошептал он. Когда он попробовал идти, он почувствовал, что ноги у него не движутся. Он тащился к дивану, как паралитик.

— Вам необходим глоток спиртного, — сказал Спэндрелл. Он подошел к буфету. Там стояла бутылка бренди. Из кухни он принес стаканы. Он налил с четверть стакана бренди. — Вот. Пейте. — Иллидж взял стакан и сделал глоток. — Можно подумать, что мы плывем через Ла-Манш, — с угрюмой усмешкой сказал Спэндрелл, наливая себе бренди. — «Этюд в зеленых и рыжих тонах» — так озаглавил бы Уистлер ваш портрет. Яблочно-зеленый. Мшисто-зеленый.

Иллидж посмотрел на него, но сейчас же отвернулся, не в силах выдержать жесткий взгляд этих презрительных серых глаз. Никогда раньше не знал он такой ненависти, какую теперь испытывал к Спэндреллу.

— Не говоря уже о лягушачье-зеленом, тинисто-

зеленом, мокротно-зеленом, — продолжал тот.

— Ах, заткнитесь! — воскликнул Иллидж голосом, в котором снова появилась звучность и который почти не дрожал. Насмешка Спэндрелла успокоила его нервы. Ненависть, подобно бренди, действует подбадривающе. Он еще глотнул жгучей жидкости. Наступило молчание.

— Когда вы оправитесь, — сказал Спэндрелл, ставя на стол пустой стакан, — приходите мне помочь. — Он встал и удалился за перегородку.

Тело Эверарда Уэбли лежало на том же месте, где упало, на боку, с распростертыми руками. Пропитанный хлороформом носовой платок покрывал лицо.

Спэндрелл наклонился и сбросил платок. Тело лежало разбитым виском к полу; сверху раны не было видно.

Засунув руки в карманы, Спэндрелл стоял и смотрел на труп.

«Пять минут назад, — говорил он себе, облекая свои мысли в слова, чтобы с большей полнотой уяснить их значение, — пять минут назад он был живым, у него была душа. Живым, — повторил он, и, нетвердо балансируя на одной ноге, другой ногой он прикоснулся к мертвой щеке, отогнул носком ухо и снова отпустил его. — Душа». И на

одну секунду он перенес центр своей тяжести на ногу, стоявшую на том, что некогда было лицом Эверарда Уэбли. Он снял ногу; отпечаток остался пыльно-серый на белой коже. «Попирать лицо мертвеца», — сказал он себе. Зачем он это сделал? «Попирать». Он снова поднял ногу и надавил каблуком на глазное яблоко, тихонько, осторожно, точно производя опыт поругания. «Как виноград, — подумал он. — Выдавить вино из виноградин». В его власти было раздавить этот глаз, превратить его в бесформенную мякоть. Но довольно. Говоря символически, он уже выжал весь ужас из своего убийства: он вытек из-под его попирающей ноги. Ужас? Но все это дело было не столько ужасным, сколько бессмысленным и отвратительным. Подсунув носок башмака под подбородок, он повернул голову; теперь лицо с полузакрытыми глазами и открытым ртом смотрело в потолок. Над левым глазом и сбоку от него был огромный красный кровоподтек. На левой щеке виднелась струйка крови, уже высохшей, а на полу, там, где раньше был его лоб, — маленькая лужица, даже не лужица, просто пятно.

— Удивительно мало крови, — сказал Спэндрелл вслух.

При звуке его спокойного голоса Иллидж судо-

рожно вздрогнул.

Спэндрелл вытащил свою ногу из-под подбородка трупа. Голова с легким стуком снова перевернулась набок.

— Полное оправдание булавы епископа Одо, — бесстрастно продолжал он. То, что именно в эту минуту он вспомнил комическую позу этого добросовестного священнослужителя, изображенного на «гобелене Байё», тоже относилось к ужасу всего происшедшего. Легкомыслие человеческого ума! Способность перескакивать с одного на другое! Зло может быть не лишенным известного достоинства. Но бессмыслица…

Иллидж слышал, как он прошел на кухню. Оттуда донесся звук наливаемой воды, все более высокий по мере того, как наполнялось ведро. Кран завернули; послышались шаги; ведро было поставлено на пол с металлическим звоном.

— К счастью, — продолжал Спэндрелл, развивая свое последнее замечание. — Иначе не знаю, как бы мы со всем этим справились.

Иллидж с напряженным вниманием прислушивался к звукам, доносившимся из-за перегородки. Вялый и мясистый стук: очевидно, подняли и уронили руку. Шуршание скользящего по полу мягкого и тяжелого предмета. Потом

плеск воды и такой домашний, скребущий звук: моют пол. И от этих звуков, несравненно более ужасных и многозначительных, чем все грубые и спокойно-циничные слова Спэндрелла, им с новой силой овладела та же дурнота и то же сердцебиение, которые он испытывал, когда мертвец лежал, вздрагивая, у его ног. Он вспоминал, он снова переживал мгновения напряженного и болезненного ожидания, предшествовавшие страшному событию. Шум машины, въезжавшей задним ходом в тупик, шарканье шагов по ступенькам крыльца, потом стук в дверь, а потом долгая, долгая тишина, наполненная биением сердца и внутренней дрожью, и дурными предчувствиями, оправдательными доводами со ссылкой на революцию и светлое будущее, и праведной ненавистью к угнетению и гнусным богачам. И одновременно нелепые, бессвязные воспоминания об играх в прятки, когда в дни, свободные от занятий, школьники собирались на пустыре среди кустов терновника и можжевельника. «Раз, два, три…»; тот, кто водил, закрывал лицо и принимался считать вслух до двадцати пяти; остальные рассыпались в разные стороны. Ребята забирались в колючий кустарник, прятались в папоротнике. Потом раздавался крик:

«Двадцать пять, я иду искать!» И тот, кто водил, отправлялся на поиски. И когда, бывало, сидишь на корточках, стараясь казаться как можно более незаметным, выглядывая и прислушиваясь в ожидании случая домчаться до того места, где был «дом», волнение было таким острым, что возникало непреодолимое желание «сходить кое-куда», хотя каких-нибудь пять минут тому назад все, что надо, было сделано за кустом можжевельника. Нелепые воспоминания! Именно поэтому страшные! В сотый раз он ощупал карман, чтобы убедиться, что склянка хлороформа все еще там, надежно закупоренная.

Стук повторился, настойчивый и пугающий, а вместе с ним свист и веселый возглас (по голосу было слышно, что стучавший улыбается): «Свой!» Иллидж за перегородкой вздрогнул. «Свой!» И, вспоминая об этом, он снова вздрогнул еще сильнее, ощутив весь стыд, весь ужас и все унижение, которые тогда он не успел почувствовать. Не успел: потому что раньше, чем его сознание сумело охватить все то, о чем говорил этот смеющийся возглас, дверь скрипнула на петлях, раздался стук шагов по половицам, и Уэбли громко произнес имя Элинор. (Иллидж вдруг подумал: что он, влюблен в нее, что ли?) «Элинор!» Последо-

вало молчание. Уэбли заметил записку. Иллидж слышал его дыхание за каких-нибудь два фута от себя, позади ширмы. Потом послышался шорох быстрого движения, оборванное на середине восклицание и внезапный сухой удар, похожий на звук пощечины, только глуше, мертвеннее и в то же время гораздо громче. На какую-то долю секунды наступила тишина, а потом шум падения — или, вернее, не шум, а целый ряд шумов, медленно сменявших один другой: сухой стук колен об пол, шарканье скользнувших по гладкому полу подметок, заглушенный стук падающего туловища и резкий, жесткий треск головы о доски. «Живо!» — раздался голос Спэндрелла, и он выскочил из засады. «Хлороформ!» Послушно он намочил носовой платок, он бросил его на дергающееся лицо. Он снова вздрогнул, он еще раз глотнул бренди.

Скребущий звук сменился хлюпаньем мокрой тряпки.

— Готово, — сказал Спэндрелл, появляясь из-за ширмы. Он вытирал руки о пыльную тряпку. — А как наш больной? — добавил он, иронически улыбаясь, пародируя врача у постели пациента.

Иллидж отвернулся. В нем вспыхнула ненависть, вытеснившая на мгновение другие чув-

ства.

— Все в порядке, — коротко сказал он.

— Прохлаждаетесь, пока я делаю грязную работу, — так, что ли? — Спэндрелл швырнул тряпку на стул и принялся спускать отвернутые рукава рубашки.

За два часа сердечная мышца сжимается и ослабевает, снова сжимается и ослабевает — всего каких-нибудь восемь тысяч раз. Земля проходит менее одной восьмой миллиона миль по своей орбите. Опунция успевает занять какую-нибудь сотню акров на территории Австралии. Два часа — это почти ничего. Время, достаточное, чтобы прослушать Девятую симфонию и два посмертных квартета, добраться на самолете из Лондона в Париж, переправить завтрак из желудка в двенадцатиперстную кишку, прочесть «Макбета», умереть от укуса змеи или заработать шиллинг и восемь пенсов поденной работой. Но Иллиджу, который сидел в ожидании рядом с трупом, лежавшим за перегородкой, сидел в ожидании темноты, эти два часа показались вечностью.

— Да вы что, совсем одурели? — спросил Спэндрелл, когда Иллидж предложил уйти сейчас же и оставить ужасный предмет лежать там. — Или вам просто не терпится быть повешенным? — Хо-

лодная ироническая усмешка выводила Иллиджа из себя. — Его найдут сегодня же вечером, когда вернется Филип.

— Но у Куорлза нет ключа, — сказал Иллидж.

— Значит, завтра, как только он отыщет слесаря. Тремя часами позже, когда Элинор объяснит, что она сделала с ключом, полиция постучит в мою дверь. И ручаюсь вам, что в вашу дверь постучат очень скоро после этого. — Он улыбнулся Иллиджу, который отвел глаза в сторону. — Нет, — продолжал Спэндрелл, — Уэбли нужно убрать отсюда. И сделать это будет проще простого — ведь его машина здесь; нужно только дождаться, пока стемнеет.

— Но ведь стемнеет только через два часа. — Иллидж говорил сердито и в то же время жалобно.

— Ну и что же?

— Да ведь... — начал Иллидж, но сейчас же сдержался: он понял, что, если ответит искренне, ему придется сказать, что он попросту боится остаться здесь на два часа. — Ладно, — сказал он. — Останемся.

Спэндрелл взял серебряную шкатулку с сигаретами, открыл ее и понюхал.

— Пахнет приятно, — сказал он. — Закуривайте. — Он пододвинул шкатулку к Иллиджу. — И

здесь масса книг. И «Таймс», и «Нью стейтсмен», и даже последний номер «Вог». Прямо-таки приемная зубного врача. И мы можем приготовить себе чаю.

Ожидание началось. Один удар сердца следовал за другим. За каждую секунду земля проходила двадцать миль своего пути, и опунция завоевывала еще полтораста квадратных ярдов австралийской территории. За перегородкой лежал труп.

Тысячи и тысячи миллионов микроскопических и разнородных особей собрались вместе, и произведением их взаимной зависимости, их взаимной вражды была человеческая жизнь. Их колонией, их живым ульем был человек. Улей умер. Но в еще не развеявшейся теплоте многие из составлявших его особей продолжали жить; скоро и они погибнут. А тем временем невидимые армии сапрофитов уже начали свое вторжение, не задерживаемые ничем. Они будут жить среди отмерших клеток, будут расти и размножаться бешеным темпом, и от их роста и размножения разрушится вся химическая структура тела, распадутся сложные соединения вещества; а когда они закончат свою работу, несколько фунтов угля, несколько кварт воды, немного извести, еще

меньше фосфора и серы, щепотка железа и кремния, пригоршня смешанных солей — это будет все, что останется от стремления Эверарда Уэбли к власти и его любви к Элинор, от его мыслей о политике и воспоминаний детства, от его умения фехтовать и ездить верхом, от мягкого, сильного голоса и неожиданно озаряющей лицо улыбки, от его восхищения Андреа Мантенья, его неприязни к виски, его нарочитых, наводящих страх припадков бешенства, его привычки поглаживать подбородок, его веры в Бога, его неспособности правильно насвистывать мотив, его непоколебимых решений и его знания русского языка.

Иллидж переворачивал страницы объявлений в «Вог». Молодая дама в меховой шубке за двести гиней влезала в автомобиль; на противоположной странице другая молодая дама, весь туалет которой состоял из одного полотенца, вылезала из ванны с «солями от полноты» доктора Вербюргена. Далее следовал натюрморт из флаконов с духами «Songe nègre» и «Relent d'amour»[72], последними новинками фирмы.

На следующих трех страницах красовались имена Уорта, Ланвэна и Пату. Потом шло изоб-

---

[72] Примечания: 72
«Негритянский сон» и «Запашок любви»*(фр.).*

ражение молодой дамы в резиновом бандаже, смотрящей на себя в зеркало. Несколько молодых дам любовались надетым на них нижним бельем из бельевого отделения Крабба и Лашингтона. Против них другая молодая дама полулежала на кушетке в институте красоты мадам Адрена, а руки массажистки удаляли угрожавший красавице двойной подбородок. Далее следовал натюрморт из металлических пружин и резиновых валиков, предназначенных для борьбы с излишним жиром у молодых дам, и другой натюрморт из баночек и скляночек с притираниями для защиты их лиц от повреждений, наносимых временем и непогодой.

«Революция! — бормотал про себя Иллидж, листая страницы. — Преступно!» И он нагнетал в себе негодование, он прямо-таки лелеял его. Гнев был и способом отвлечься, и оправданием. Обрушивая негодование на бездушие и развращенность плутократии, он мог в какой-то мере забыться и в чем-то оправдать в собственных глазах то ужасное, что только что совершилось. Тело Уэбли лежало за ширмой. Но ведь есть женщины, которые платят по двести гиней за меховую шубку! Двести гиней! Его дядя Джозеф считал бы себя счастливчиком, если бы смог заработать, сапож-

ничая, такую сумму за полтора года. А духи по 25 шиллингов за малюсенький флакончик, которые они покупают! Он вспомнил, как его братишка Том заболел воспалением легких после гриппа. Кошмар! А когда он стал поправляться, доктор рекомендовал ему поехать на море на несколько недель. Но они не могли себе этого позволить. С тех пор у Тома так и остались слабые легкие. Теперь он работает на автозаводе (делая машины для тех самых сучек, что покупают себе шубки за двести гиней); Иллидж оплатил его обучение в техникуме — заплатил за то, вспоминал он, растравляя свой гнев, чтобы парень получил право стоять по восемь часов в сутки перед фрезерным станком. Воздух Манчестера был вреден для Тома. Про него, беднягу, не скажешь, что ему нужно сгонять избыточный жир. Прожорливые свиньи! Почему они не могут заняться полезной работой, вместо того чтобы растирать свои животы и ляжки? От работы у них мигом сошел бы всякий жир. Если бы они поработали, как его мать… У нее не было избытка жира, и ей не нужны были металлические пружины, резиновые бандажи и ванны с «солями от полноты».

Он с негодованием думал о бесконечной скуке домашней работы. День за днем, год за годом

застилать кровати, чтобы их вновь расстилали. Готовить, чтобы наполнить вечно пустые желудки. Мыть посуду, которая будет вновь испачкана за очередной трапезой. Скоблить полы, чтобы их вновь осквернили заляпанные грязью ботинки. Латать и штопать, готовя место для новых дыр. Это был сизифов труд, работа Данаид, безнадежная и нескончаемая (если не говорить о смерти), не будь он в состоянии посылать ей два фунта в неделю из своей зарплаты. Теперь она могла нанять прислугу на самую черную работу. Но все равно она работала столько, что не нуждалась ни в каких резиновых бандажах! Что за жизнь! А в мире меховых шубок и Songe nègre они еще жалуются на скуку и усталость, им еще приходится ложиться в санаторий для лечебного отдыха. Если бы они хоть чуть-чуть пожили ее жизнью! А может, им когда-нибудь, с надеждой подумал он, придется пожить такой жизнью, даже здесь, в Англии.

Иллидж с удовлетворением думал о бывших офицерах царской армии, превратившихся теперь в таксистов и рабочих; о бывших графинях, содержащих ресторанчики, кабаре и шляпные магазины; обо всех бывших богачах России, разбросанных ныне по всему миру, от Харбина и

Шанхая до Рима, Лондона и Берлина, обанкротившихся, униженных, доведенных до рабского состояния рядовых людей, тех самых людей, за счет которых они когда-то паразитировали. Это прекрасно. Так им и надо. И, может быть, это окажется возможным и здесь тоже! Но здесь они сильны, все эти страдающие от ожирения и одетые в меховые шубки; они многочисленны, они составляют организованную армию. Однако армия эта потеряла вождя. Он получил по заслугам. Воплощение животности и плутократии, он лежит за ширмой. Его рот был открыт и лицевые мускулы дергались, пока их не покрыл носовой платок с хлороформом. Иллидж стал снова разглядывать — в надежде, что негодование отвлечет его и принесет чувство оправданности, — изображение молодой дамы в шубке за двести гиней, изображение молодой дамы, выходящей, стыдливо прикрывая свою наготу полотенцем, из ванны с солями от ожирения. Шлюхи и обжоры! Они принадлежат к тому классу, за который боролся Уэбли. Защитник всего гнусного и подлого, он получил по заслугам, он…

— Господи Боже мой! — вдруг воскликнул Спэндрелл, поднимая глаза от книги. Его голос, прозвучавший в молчании, заставил Иллиджа

вздрогнуть от непреодолимого ужаса. — Я совсем забыл. Они ведь, кажется, коченеют, правда? — Он взглянул на Иллиджа. — Я хочу сказать — трупы.

Иллидж кивнул. Он глубоко вздохнул и усилием воли заставил себя успокоиться.

— Как же мы тогда засунем его в автомобиль? — Спэндрелл вскочил, быстро вышел из-за ширмы и скрылся. Иллидж услышал щелканье замка входной двери. Внезапный страх охватил его: Спэндрелл сбежит, оставит его взаперти с трупом.

— Куда вы? — закричал он и стремительно бросился за ним в погоню. — Куда вы? — Дверь была открыта, Спэндрелла не было видно, а тот лежал на полу, с непокрытым лицом, разинутым ртом, и глаза его таинственно и многозначительно глядели, словно из бойниц, сквозь полузакрытые веки. — Куда вы? — Голос Иллиджа перешел почти в вопль.

— Из-за чего столько волнений? — спросил Спэндрелл, когда Иллидж появился на крыльце, бледный и с отчаянием в глазах. Стоя у машины Уэбли, он старался отстегнуть плотно натянутый брезент, покрывавший всю ту часть открытого кузова, которая находилась позади передних сидений. — Эту штуковину невероятно трудно

отстегнуть.

Иллидж засунул руки в карманы и сделал вид, будто только праздное любопытство привело его на крыльцо.

— Что вы делаете? — небрежно спросил он.

Спэндрелл дернул еще раз; брезент наконец отстегнулся, и край его свободно повис вдоль борта машины. Он отвернул его и заглянул внутрь.

— Слава богу, пусто, — сказал он и, растопырив пальцы, взял несколько воображаемых октав на борту кузова. — В ширину, скажем, четыре фута, — произнес он, — и в длину примерно столько же. Из них половина занята сиденьем. От покрышки до пола — два с половиной фута. Одним словом, места вполне достаточно, чтобы свернуться в клубочек и чувствовать себя очень удобно. А если он окоченеет? — Он вопросительно посмотрел на Иллиджа. — Сюда можно поместить человека, но не статую.

Иллидж кивнул. Последние слова Спэндрелла напомнили ему насмешливое замечание леди Эдвард об Уэбли: «Он хочет, чтобы с ним обращались как с его собственным гигантским памятником, воздвигнутым посмертно, — вы понимаете, что я хочу сказать?»

— Нам необходимо действовать быстро, — про-

должал Спэндрелл, — пока он еще не окоченел. — Он снова натянул брезент и, положив руку на плечо Иллиджа, тихонько втолкнул его в дом. Дверь захлопнулась за ними. Они остановились перед телом. — Нам придется согнуть ему колени, а руки прижать к бокам.

Он наклонился и прижал одну из рук Уэбли к боку. Когда он отпустил ее, она приняла прежнее положение. «Как марионетка с эластичными суставами, — подумал Спэндрелл. — Гротескно и совсем не страшно: ничего трагического — просто скучно и даже смешно. В этом-то и заключается весь ужас, что все это (даже это) похоже на скверную и плоскую остроту».

— Нужно найти веревку, — сказал он, — а то руки и ноги не будут держаться на месте. — Все это немного напоминало те случаи, когда приходится самостоятельно чинить водопровод или устраивать что-нибудь у себя на даче — занятие неприятное и глупое.

Они обыскали весь дом. Веревки нигде не было. Им пришлось удовлетвориться тремя бинтами, которые Спэндрелл нашел среди аспирина и йода, борной кислоты и лакричного порошка в аптечке, висевшей в ванной.

— Держите руки, пока я буду связывать, — рас-

порядился Спэндрелл.

Иллидж повиновался. Ощущение холода от этих мертвых рук, касавшихся его пальцев, наполнило его ужасом; он снова почувствовал себя плохо, снова начал дрожать.

— Готово! — сказал Спэндрелл, выпрямляясь. — А теперь — ноги. Какое счастье, что мы вовремя спохватились!

«Как с его собственным памятником». Эти слова преследовали Иллиджа. «Посмертно», «Посмертно»… Спэндрелл согнул одну из ног так, что колено почти прикоснулось к подбородку.

— Подержите.

Иллидж схватил ногу за щиколотку; носки были серые в белую полоску. Спэндрелл отпустил ногу, и тотчас Иллидж почувствовал неожиданный и очень сильный толчок. Мертвец пытался дать ему пинка. Черные пустоты возникали перед его глазами, проедая дыры в окружающем материальном мире. И сам материальный мир закачался и поплыл вокруг краев этих межзвездных пустот. Тошнота подступила к горлу, невероятно кружилась голова.

— Послушайте, — начал он, повертываясь к Спэндреллу, который, сидя на корточках, срывал обертку с другого бинта. Потом, закрыв глаза, он

отпустил ногу. Она выпрямилась, как согнутая пружина, и ее носок ударил по плечу Спэндрелла. Выведенный из неустойчивого равновесия, Спэндрелл растянулся на полу.

Спэндрелл поднялся.

— Вы что, совсем одурели? — накинулся он на Иллиджа. Но гнев, вызванный внезапным испугом, быстро прошел. Он коротко рассмеялся. — Нам только в цирке выступать, — сказал он. Мало того, что это было вовсе не трагично, это была клоунада.

К тому времени, когда они кончили связывать тело, Иллидж понял, что больные легкие Тома и шубки за двести гиней, избыточный жир и пожизненное рабство его матери, богатство и бедность, эксплуатация и революция, справедливость, возмездие, негодование — что все это не стояло ни в какой связи с этими полузакрытыми, остекленевшими, таинственно смотрящими глазами. Не стояло ни в какой связи и совершенно не относилось к делу.

Филип обедал один. Перед его тарелкой бутылка столового вина и графин с водой поддерживали открытую книгу. Он читал за едой, пережевывая пищу. Это была книга Бастиана «О мозге». Пожалуй, она не слишком современна, но более

подходящей книги для вагонного чтения он не смог найти в библиотеке отца.

Доедая рыбу, он читал об одном ирландском джентльмене, страдавшем парафазией. Случай был настолько замечателен, что он отодвинул тарелку и, вынув записную книжку, немедленно сделал в ней запись. Доктор предложил пациенту прочесть вслух параграф из устава дублинского Тринити-колледжа. «Колледж имеет право экзаменовать или не экзаменовать по своему усмотрению каждого лиценциата до его принятия в колледж». Пациент прочел: «Ехал грек через раву раву ораву дордовить или Господи помилуй покореново меново мордокилица заживо бендила до мекарного какамбукара». Замечательно! — сказал себе Филип, переписывая последнее слово. Какой стиль! Какая величественная красота! Богатство и звучность первой фразы! «Ехал грек через раву раву ораву…» Он повторил ее про себя. «Я поставлю ее на титульном листе моего нового романа, — написал он. — Эпиграф: текст всей проповеди». Шекспир только упоминал о сказках, рассказанных глупцом, а тут глупец сам говорил, и более того — говорил, как Шекспир. «Последнее слово о жизни», — добавил он.

В «Квинс-холле» Толли начал с «Borborygmes

sympho-niques»[73] Эрика Сати. Филип нашел, что эта музыка забавна, но не слишком. Часть слушателей подбавила веселья, свистом и криками выражая свое неодобрение. Толли, иронически вежливый, раскланивался с более чем обычной грацией. Когда шум стих, он принялся за второй номер своей программы. Это была увертюра «Кориолан». Толли гордился своим ортодоксальным вкусом и умением исполнять любую вещь. «Но боже мой, — подумал Филип, слушая, — как плохо удается ему настоящая музыка! Впечатление такое, точно он стыдится эмоций Бетховена и просит за них извинения». К счастью, «Кориолана» не мог испортить даже Толли. Музыка оставалась героически прекрасной, трагической и величественной, несмотря на все его усилия.

Затихли последние звуки, в которых Бетховен выразил непобедимое величие человека и неизбежность, необходимость страдания. В антракте Филип заковылял в бар, чтобы покурить. Чья-то рука потянула его за рукав.

— Разоблаченный меломан! — произнес знакомый голос. Он обернулся и увидел Вилли Уивера, подмигивавшего с выражением одновременно

---

[73] Примечания: 73
«Симфонические борборигмы»*(фр.).*

благодушным, ласковым и глуповатым. — Что вы скажете о нашем современном Орфее?

— Если вы имеете в виду Толли, то я считаю, что за Бетховена ему нечего браться.

— Немножко слишком легок и фантастичен для торжественности старого Людвига? — спросил Вилли.

— Да, пожалуй, — улыбнулся Филип. — Это ниже его.

— Или значительно выше. Торжественность принадлежит допозитивистической эпохе. А Толли в высшей степени современен. Неужели он не понравился вам в этой вещице Сати? Или, — продолжал он, видя, что Филип презрительно пожимает плечами, — или вы считаете, что исполнение было недостаточно реалистичным? — И он закашлял, одобряя собственную остроту.

— Он почти так же современен, как гениальный ирландец, чьи творения я открыл сегодня вечером. — Филип вынул записную книжку и, объяснив, в чем дело, прочел вслух: — «Ехал грек через раву раву ораву...» — В конце страницы были его замечания, сделанные час тому назад: «Текст всей проповеди. Последнее слово о жизни». Он не прочел этого вслух. Сейчас он уже думал совершенно иначе. — Между торжествен-

ностью и стилем Сати — Толли такая же разница, — сказал он, — как между уставом Тринити-колледжа и этой какамбукарой.

Он явно противоречил себе. Но не все ли равно?

Иллидж хотел скорее попасть домой и лечь в постель; но Спэндрелл настоял на том, чтобы он провел по крайней мере час или два в Тэнтемаунт-Хаусе.

— Нужно, чтобы кто-нибудь вас видел, — сказал он. — Иначе вы не сумеете доказать алиби. Я сейчас иду к Сбизе. Там будет человек двадцать, которые присягнут, что видели меня там.

Иллидж подчинился только под угрозой насилия. Он как тяжелого испытания боялся разговора — даже с таким нелюбопытным, рассеянным, занятым своим делом собеседником, как лорд Эдвард.

— Я не вынесу этого, — повторял он со слезами на глазах. Им пришлось нести тело, связанное в позе ребенка в утробе матери, спотыкаясь, любовно сжимая его в объятиях, за дверь, вниз по ступенькам на улицу. Единственный газовый фонарь под аркой озарял тупик тусклым зеленоватым светом; однако света было достаточно, чтобы выдать их, если бы кто-нибудь прошел ми-

мо арки, когда они тащили ношу и поднимали ее в автомобиль. Они положили тело лицом кверху на пол; но поднятые колени торчали над бортом автомобиля. Спэндреллу пришлось забраться внутрь и переложить тяжелое тело на бок, чтобы колени оказались на заднем сиденье. Потом они закрыли дверцы, натянули брезент и плотно прикрепили его.

— Прекрасно, — сказал Спэндрелл. Он взял своего товарища под руку. — Вам бы выпить еще немножко бренди.

Но бренди не помог: когда они отъехали, Иллидж все еще дрожал и не оправился от овладевшей им слабости. Возня Спэндрелла с рычагами незнакомой машины тоже отнюдь не способствовала успокоению его нервов. Началось с того, что они с размаху въехали в стену тупика, и раньше, чем Спэндрелл овладел секретом управления, он успел дважды нечаянно остановить мотор. Он облегчил душу, выругавшись несколько раз, и рассмеялся. Но Иллиджу эти мелкие неудачи, задержавшие их на какие-нибудь несколько минут около этого зловещего проклятого дома, казались катастрофами. Его страх, его тревожное нетерпение переходили в истерику.

— Нет, я не могу, я просто не могу, — протесто-

вал он, когда Спэндрелл сказал, что ему следует провести вечер в Тэнтемаунт-Хаусе.

— И все-таки, — сказал тот, — будь я проклят, если вы туда не пойдете, — и он повернул машину по направлению к Пэлл-Мэлл. — Я подвезу вас до самой двери.

— Ну это уж слишком!

— А если понадобится, втолкну вас в дом под зад коленом.

— Но я этого не вынесу, я не смогу пробыть там весь вечер.

— Какая чудесная машина, — сказал Спэндрелл, не без ехидства меняя тему. — Удивительно приятно управлять ею.

— Я не вынесу этого, — хныкал Иллидж.

— Кажется, фирма гарантирует сто миль в час по ровной дороге.

Они проехали мимо Сент-Джеймсского дворца и свернули на Пэлл-Мэлл.

— Вот мы и приехали, — сказал Спэндрелл, останавливаясь у подъезда. Иллидж покорно вышел, перешел тротуар, поднялся по лестнице и позвонил. Спэндрелл подождал, пока за ним закрылась дверь, и покатил к Сент-Джеймс-сквер. Двадцать или тридцать автомобилей стояли вдоль решетки. Он заехал в ряд, выключил мотор,

вышел из машины и направился к Пиккадилли. Автобус за пенни довез его до Черинг-Кросс-роуд. В конце узкого переулка между фабричными зданиями ярко зеленели в свете фонарей деревья Сохо-сквера. Через две минуты он был в ресторане Сбизы и просил Барлепа и Рэмпиона извинить его за опоздание.

— А, вот и вы, — сказал лорд Эдвард. — Как хорошо, что вы пришли.

Иллидж что-то промямлил, прося извинить его за опоздание. Нужно было встретиться с одним человеком. Деловое свидание. А вдруг, с ужасом подумал он, а вдруг лорд Эдвард спросит его, с каким человеком и по какому делу. Он не будет знать, что ответить; он потеряет всякое самообладание. Но Старик даже не слушал его.

— Боюсь, придется попросить вас сделать для меня кое-какие вычисления, — сказал он своим низким, невнятным голосом. Математикой лорд Эдвард сумел овладеть вполне прилично, но арифметика никогда не давалась ему. Он так и не научился делать правильно умножение. Что же касается деления многозначных чисел, то за последние пятьдесят лет он даже и не пытался браться за него.

— Все цифры у меня здесь. — Он постучал паль-

цем по раскрытой записной книжке, лежавшей перед ним на столе. — Это — к главе о фосфоре. Вмешательство человека в круговорот вещества. Помните, мы с вами нашли, сколько P^2O^5 уходит в море вместе со сточными водами? — Он перевернул страницу. — Четыреста тысяч тонн. Вот сколько. Фактически это невосстановимо. Просто выброшено вон. А потом, как дико мы обращаемся с трупами. Три четверти кило пятиокиси фосфора в теле каждого человека! Конечно, вы можете возразить, что мы возвращаем их в землю. — Лорд Эдвард готов был принять любое оправдание, он сам выдвигал возможные возражения, чтобы тут же их опровергнуть. — Но как мы это делаем? — Он разбил все аргументы, он уничтожил своих противников. — Сваливаем трупы все в одно место на кладбище! Как же можно после этого ожидать, чтобы фосфор распределялся равномерно? Конечно, со временем он вернется в круговорот жизни. Но для нас он потерян. Выведен из оборота. Так вот, если считать три четверти кило P^2O^5 на каждый труп, то при населении земного шара в один миллиард восемьсот миллионов и при смертности в среднем двадцать человек на тысячу, сколько мы в общей сложности возвращаем за год фосфора в

землю? Вы умеете делать вычисления, дорогой Иллидж. Решите-ка.

Иллидж сидел молча, закрыв лицо рукой.

— Правда, не нужно забывать, — продолжал Старик, — что многие народы используют мертвецов гораздо рациональнее, чем мы. В самом деле, только у белой расы фосфор выходит из круговорота. У других народов нет некрополей, водонепроницаемых гробов и каменных склепов. Индусы — единственный народ, еще более расточительный, чем мы. Сжигать тела и бросать пепел в реку! Но индусы все делают по-дурацки. Сжигают, например, коровий навоз, вместо того чтобы возвращать его в землю. А потом еще удивляются, что половина населения голодает. Для индусов придется сделать особое вычисление. Правда, у меня еще нет цифр. А тем временем попробуйте-ка вывести общий итог для всего земного шара. И другой, если вам не трудно, — для белой расы. У меня где-то записаны цифры народонаселения. Причем, разумеется, смертность будет здесь ниже средней для всего мира, по крайней мере в Западной Европе и Америке. Садитесь-ка вот здесь. На этом конце стола найдется место. — Он освободил край стола. — И вот вам бумага. А вот совсем приличное перо.

— Скажите, — еле слышно проговорил Иллидж, — ничего, если я на минутку прилягу? Я не очень хорошо себя чувствую.

XXXIV

Было почти одиннадцать часов, когда Филип Куорлз появился у Сбизы. Увидев его, Спэндрелл знаком подозвал его к столику, где он сидел с Барлепом и Рэмпионом. Филип, прихрамывая, прошел через зал и подсел к ним.

— У меня к вам поручение, — сказал Спэндрелл, — и, что еще важнее, — он порылся в кармане, — у меня ключ от вашего дома. — Он протянул ключ, объясняя, как он попал к нему. Если бы Филип знал, что произошло в его доме сегодня вечером… — Элинор уехала в Гаттенден. Она получила телеграмму. По-видимому, ребенок не совсем здоров. Она ждет вас завтра.

— Черт возьми! — сказал Филип. — Но у меня завтра целый ворох дел. А что такое с мальчиком?

— Не указано.

Филип пожал плечами.

— Если бы было что-нибудь серьезное, моя теща не стала бы посылать телеграмму, — проговорил он, поддаваясь искушению сказать что-нибудь

забавное. — Она всегда так. К воспалению обоих легких она относится совершенно спокойно и ужасно волнуется по поводу головной боли или расстройства желудка. — Он прервал свою речь, чтобы заказать омлет и полбутылки мозеля. «А ведь в самом деле, — подумал Филип, — у мальчика последнее время был далеко не цветущий вид». Он почти жалел, что поддался искушению. К тому же то, что он сказал, было вовсе не забавным. Стараться быть забавным — это был главный недостаток его как писателя. Его книги стали бы гораздо лучше, если бы он меньше боялся быть скучным. Он погрузился в мрачное молчание.

— Ох уж эти дети! — сказал Спэндрелл. — Стоит с ними связаться…

— И все-таки, должно быть, чудесно иметь ребенка, — сказал Барлеп с приличной случаю проникновенностью. — Мне часто хочется…

— Но еще чудеснее самому быть ребенком, — прервал его Рэмпион. — Я хочу сказать, когда человек на самом деле уже взрослый. — Он ухмыльнулся.

— А как вы воспитываете своих детей? — спросил Спэндрелл.

— Стараюсь обращать на них как можно меньше внимания. К сожалению, им приходится

ходить в школу. У меня единственная надежда — что они будут учиться скверно. Было бы просто ужасно, если бы из них получились маленькие профессоришки, начиненные знаниями и выводящие на прогулку, как собачек, свои маленькие абстрактные обобщеньица. Но они, вероятно, такими и станут. Назло мне. Дети все делают назло своим родителям. Не нарочно, разумеется, а бессознательно. Просто потому, что иначе они не могут, потому, что родители слишком далеко зашли в одном направлении, и природа ведет детей назад, стараясь восстановить равновесие. Да, да, так оно и будет. Эти чертенята станут профессорами. Мерзкими маленькими учеными. Вроде вашего приятеля Иллиджа, — сказал он, обращаясь к Спэндреллу; Спэндрелла при упоминании этого имени передернуло, и он сейчас же рассердился на себя за это. — Мерзкие маленькие мозги, изо всех сил старающиеся подавить сердце и внутренности.

Спэндрелл улыбнулся своей многозначительной иронической и несколько театральной улыбкой.

— Юному Иллиджу так и не удалось подавить свое сердце и внутренности, — сказал он. — По крайней мере, полностью не удалось.

— Конечно. Да это и никому не удается. Единственное, что можно сделать с этими живыми органами, — это превратить их в требуху. А зачем это нужно? Ради вороха идиотских знаний и бессмысленных обобщений.

— Которые сами по себе очень забавны, — сказал Филип, нарушая молчание, чтобы заступиться за интеллект. — Делать обобщения и приобретать знания — одно из приятнейших развлечений. Для меня, по крайней мере. — И Филип принялся развивать свою гедонистическую апологию интеллектуальной жизни. — Так зачем же так ополчаться против наших маленьких забав? — закончил он. — Вы ведь не нападаете на гольф, так зачем же нападать на спорт «высоколобых»?

— Но ведь он совершенно бесполезен, — сказал Рэмпион. — Дерево познают по его плодам. Гольф вообще не приносит плодов, а если приносит, то они безвредны или даже полезны. Здоровая печень, например, — прекрасный плод. Тогда как плоды интеллектуализма — Боже мой! — Он скорчил гримасу. — Посмотрите на них. Вся наша индустриальная цивилизация — вот его плод. Утренние газеты, радио, кино — все его плоды. Танки и тринитротолуол. Рокфеллер и Монд — тоже плоды. Вот к чему привела организованная

система профессионального интеллектуализма, господствовавшая последние двести лет. И после этого вы спрашиваете, почему я не одобряю ваших развлечений! Знаете, откровенно говоря, бой быков и то лучше. Можно ли сравнивать мучения нескольких животных и озверелое состояние нескольких сот зрителей с разрушением, гниением, гибелью всего мира? А ведь именно к этому привели вы, высоколобые, тем, что превратили свои развлечения в профессию.

— Полно, полно, — сказал Филип. — Вы рисуете чересчур мрачную картину. И даже если вы правы, все равно нельзя сваливать на высоколобых ответственность за применение, которое другие люди нашли результатам их деятельности.

— Но ответственность за это несут они. Потому что они всех остальных воспитывают в своих проклятых интеллектуалистских традициях. В конце концов, все остальные — тоже высоколобые, только в другой области. Делец — тот же ученый, только он немножечко глупее настоящего ученого. Он ведет такую же интеллектуально одностороннюю жизнь, как ученый. Результат такой жизни — внутреннее психологическое вырождение. Плод наших развлечений — это не только внешняя аппаратура нашей индустри-

альной цивилизации, это также и внутреннее гниение: инфантильность, вырождение, все виды безумия и возврата к первобытному прошлому. Нет, нет, избавьте меня от ваших драгоценных умственных забав. Меньше было бы вреда, если бы вы играли в гольф.

— Но истина? — осведомился Барлеп, хранивший молчание в этом споре. — Как же быть с истиной?

— Действительно, — поддержал его Спэндрелл, — разве ее не стоит искать?

— Безусловно, стоит, — согласился Рэмпион. — Но не там, где ищут ее Филип и его ученые друзья. В конце концов, единственная истина, представляющая для нас ценность и доступная нам, — это истина человеческая. Искать эту истину нужно всем существом, а не какой-то отдельной частью его. Ученые же стремятся к нечеловеческой истине. Конечно, им никогда не удается достичь ее: ведь даже ученый не может перестать быть человеком. Единственное, что им удается, — это отвлечься до некоторой степени от человеческого мира реальностей. Подвергая свои мозги пытке, они получают некоторое смутное представление о Вселенной такой, какой ее увидел бы нечеловеческий глаз. Со своими квантовыми теориями,

волновой механикой, относительностью и так далее они и вправду сумели отойти немножко от человечества. Но скажите, что во всем этом хорошего?

— Если даже откинуть в сторону то, что это забавно, — сказал Филип, — польза тут та, что можно сделать какое-нибудь удивительное открытие, имеющее практический смысл, вроде тайны разложения атома и освобождения бесконечных запасов энергии.

— В результате чего человеческие существа станут окончательными кретинами и рабами машин, — насмешливо закончил Рэмпион. — Знаем мы ваш рай на земле. Но сейчас мы говорим об истине. Та нечеловеческая истина, которую стараются познать своим интеллектом ученые, не имеет ни малейшего отношения к настоящей человеческой жизни. Нашу истину, человеческую истину, можно найти только в процессе самой жизни — полной, разносторонней жизни цельного человека. Результаты ваших забав, Филип, все эти пресловутые космические теории и их практические приложения — все это не имеет ничего общего с единственной нужной истиной. А нечеловеческая истина — мало того, что она никому не нужна, она опасна. Она отвле-

кает внимание людей от единственно ценной человеческой истины. Она заставляет их фальсифицировать их собственный жизненный опыт, чтобы реальность соответствовала отвлеченным построениям. Например, существует принятая всеми нечеловеческая истина — во всяком случае, в дни моей юности ее принимали все, — что внешние признаки не имеют реального существования. Человек, принимающий это всерьез, отрицает самого себя, разрушает всю ткань своей человеческой жизни. Дело в том, что человеческие существа устроены так, что единственной реальностью обладают для них именно внешние признаки. Отрицая их, человек совершает самоубийство.

— Но ведь в действительности, — сказал Филип, — никто их не отрицает.

— Да, полностью никто не отрицает, — согласился Рэмпион. — Потому что этого нельзя сделать. Никто не может полностью уничтожить все свои ощущения и чувства и при этом остаться в живых. Но можно принизить их после того, как они сослужили свою службу. И по существу, как раз этим занимается огромное большинство интеллигентных и образованных людей: они принижают человека во имя человека. Они

руководствуются не теми побуждениями, какими руководствуются христиане, но результат получается один и тот же. Своего рода саморазрушение. Всегда один и тот же, — продолжал он в припадке неожиданного гнева. — Все попытки быть не человеком, а чем-то высшим дают один и тот же результат. Смерть, все равно какая, но смерть. Когда стараешься прыгнуть выше головы, неизбежно убиваешь в себе что-то и делаешься не выше, а ниже себя. Мне так надоела вся эта болтовня о возвышенных стремлениях, о моральном и интеллектуальном прогрессе, о жизни во имя идеалов и все такое прочее. Это ведет к смерти. Так же неуклонно, как жизнь во имя денег. Христиане, моралисты, утонченные эстеты, блестящие молодые ученые и дельцы, живущие по Смайлсу, — все это жалкие лягушки, которые стараются раздуться в волов чистой духовности, чистого идеализма, чистого практицизма, чистого рационализма, но безнадежно лопаются и превращаются в жалкие останки маленьких лягушечек, да к тому же в гниющие останки. Все это чудовищная нелепость, чудовищная омерзительная ложь. Взять, например, этого вашего вонючку святого Франциска, — повернулся он к Барлепу, который протестующе замотал головой.

— Да, вонючку, — настаивал Рэмпион. — Глупый, тщеславный человечишка, который старался раздуться в Иисуса и достиг лишь того, что убил в себе всякий здравый смысл и чувство приличия, лишь того, что превратился в гнусные зловонные останки настоящего человеческого существа. Получать наслаждение от лизания прокаженных! Фу! Какая омерзительная извращенность! Он, видите ли, слишком добродетелен, чтобы целовать женщин; он хочет быть выше таких грубых вещей, как естественное здоровое наслаждение. А результат? Он убивает в себе всякие остатки чувства приличия и превращается в зловонного психопатишку, способного возбуждаться от лизания язв прокаженного. Он не лечил прокаженных — заметьте это, — просто лизал их — для собственного, не для их удовольствия. Какая гадость!

Филип откинулся на спинку стула и рассмеялся. Но Рэмпион яростно накинулся на него.

— Смейтесь, смейтесь, — сказал он. — Но не воображайте, что сами вы лучше. Вы и ваши интеллектуальные ученые друзья. Вы так же убиваете себя, как маньяки христиане. Прочесть вам вашу программу? — Он взял книгу, лежавшую перед ним на столе, и перелистал страницы. — Я

как раз наткнулся на это, когда ехал сюда в автобусе. Вот оно. — Он принялся читать, тщательно и четко произнося французские слова: — «Plus un obstacle matériel, toutes les rapidités gagnées par la science et la richesse. Pas une tare à l'indépendance. Voir un crime de lése-moi dans toute fréquentation; homme ou pays; qui ne serait pas expressément voulue. L'énergie, le recueuillement, la tension de la solitude, les transporter dans ses rapports avec de vrais semblables. Pas d'amour, peutêtre, mais des amitiés rares, difficiles, exarées, nerveuses; vivre comme on revivrait en esprit de détachement, d'inquiétude et de ravenche»[74]. — Рэмпион закрыл книгу и поднял глаза. — Вот ваше кредо, — сказал он Филипу. — Сформулировано Мари Ленерю в тысяча девятьсот первом году. Коротко, ясно, исчерпывающе. И, мой бог, какой это ужас! Ни тела, ни соприкосновения с материальным миром, ни соприкосновения с человеческими существами — разве только через интеллект, — ни любви…

---

[74] Примечания: 74

«Ни одного материального препятствия; все скорости завоеваны наукой и богатством. Полная независимость. Видеть преступление против себя в общении с любой страной и любым человеком, если это общение не намеренное. Энергия, собранность, напряженность одиночества; перенести их в отношения с подлинно близким. Может быть, даже не надо любви, только дружба, редкая, трудная, насыщенная, нервная; жить, точно родившись снова, в состоянии отъединенности, тревоги, опустошенности»*(фр.).*

— В*этом* мы несколько ушли вперед по сравнению с тысяча девятьсот первым годом, — улыбнулся Филип.

— Но не по существу. Вы признали беспорядочные половые общения — только и всего. Но не любовь, не естественное слияние с жизнью, не отказ от рассудочного самоанализа, не полное подчинение инстинкту. Нет, нет. Вы цепляетесь за вашу сознательную волю. Все должно быть всегда expressement voulu. И всякая связь между людьми должна быть чисто интеллектуальной… И жить нужно так, чтобы это была не жизнь в мире живых людей, а одинокие воспоминания, мечты и размышления. Беспрерывный онанизм, как тот чудовищный шедевр Пруста. Это вы называете возвышенной жизнью. А говоря попросту, это медленное умирание. Очень многозначительно, просто символично то, что эта самая Ленерю была глуха и наполовину слепа. Внешний материальный стигмат внутренней духовной истины. Бедняжка! Ее духовность была хоть как-то оправдана. А у других поклонников возвышенной жизни, которые не страдают никакими физическими дефектами, она непростительна. Они искалечили себя сознательно, ради собственного удовольствия. Как жаль, что

у них не вырастают материальные горбы и бородавки на носу! Тогда, по крайней мере, мы сразу знали бы, с кем имеем дело.

— В самом деле, — кивнул Филип и рассмеялся с деланной веселостью, стараясь скрыть смущение, какое почувствовал при словах Рэмпиона о физических недостатках, — в самом деле. — Никто не должен думать, что его искусственная нога помешала ему отдать должное рассуждениям Рэмпиона о физических уродствах.

Его смех был таким нарочито громким, что Рэмпион вопросительно взглянул на него: в чем дело? Но он не потрудился уяснить себе это.

— Это возмутительная ложь, — продолжал он, — и к тому же ложь дурацкая — все эти рассуждения, что мы, дескать, стали выше людей. Да, дурацкая, потому что она ни на чем не основана. Вы стараетесь стать выше человека, а на самом деле становитесь ниже его. Всегда…

— Слушайте, слушайте! — сказал Филип. — «Мы ходим по земле, и не нужны нам крылья». — И вдруг он услышал громкий голос своего отца, говорящего: «У меня были крылья, у меня были крылья», он увидел его раскрасневшееся лицо и лихорадочно-розовую пижаму. Смешной и жалкий старик! — А знаете, откуда это? — продолжал

он. — Это последняя строка из стихотворения, которое я написал на Ньюдигейтскую премию в Оксфорде, когда мне был двадцать один год. Насколько я помню, тема была «Король Артур». Нечего и говорить, что премии я не получил. Но этот стих хорош.

— Очень жаль, что вы не руководствуетесь им в жизни, — сказал Рэмпион, — вместо того, чтобы распутничать с абстракциями. Но, конечно, никто так не умеет нападать на абстракции, как их поклонник: он по опыту знает, как они способны испортить жизнь. Обыкновенный человек может позволить себе пользоваться ими. Он может позволить себе иметь крылья до тех пор, пока он помнит, что у него есть и ноги. Люди терпят крушение тогда, когда они заставляют себя все время летать. Они мечтают стать ангелами, а им удается стать или кукушками и гусями, или омерзительными коршунами и стервятниками.

— Но ведь это, — сказал Спэндрелл, прерывая долгое молчание, — всего-навсего евангелие животности: вы учите нас вести себя подобно зверям.

— Я учу вас вести себя подобно человеческим существам, — сказал Рэмпион. — А это не одно и то же. К тому же в тысячу раз лучше вести себя

подобно зверю — подобно настоящему, честному, неодомашненному животному, — чем выдумывать дьявола и вести себя так, как вел бы себя он.

Наступило молчание. «А что, если бы я сказал им, — думал Спэндрелл, — а что, если бы я сказал им, что несколько часов тому назад я бросился из засады на человека и треснул его дубинкой по голове?» Он выпил глоток бренди.

— Нет, — сказал он вслух, — пожалуй, я не уверен в вашей правоте. Вести себя как животное — это значит вести себя как существо, стоящее ниже добра и зла. А для того, чтобы вести себя подобно дьяволу, нужно сначала знать, что такое добро. — И все-таки все это было просто дико, мерзко и отвратительно. Да и к тому же абсолютно глупо: потрясающая бессмыслица. Под оболочкой плода от древа познания добра и зла он нашел не огонь и яд, а только омерзительную бурую гнильцу и несколько маленьких червячков. — Все, что существует, познается только через свою противоположность, — продолжал он, хмурясь в ответ на собственные мысли. — Если есть дьявол, значит, есть Бог.

— Безусловно, — нетерпеливо сказал Рэмпион. — Дьявол, воплощение абсолютного зла, существует лишь постольку, поскольку существует

Бог, воплощение абсолютного добра. Ну и что же из этого? Какое отношение это имеет к вам или ко мне?

— Я бы сказал — огромное.

— Это имеет к нам такое же отношение, как то, что этот стол состоит из электронов, или из бесконечного ряда колебаний в неизвестной среде, или из большого количества точек-событий в четырехмерном континууме, или еще из чего-нибудь, что способны выдумать ученые друзья Филипа. Не больше. То есть фактически это не имеет к нам ни малейшего отношения. Ваш абсолютный Бог и абсолютный дьявол принадлежат к разряду совершенно несущественных для человека фактов. Нам приходится иметь дело только с относительными божками и чертенятами разных времен и народов, с относительным добром и злом индивидуальной казуистики. Все остальное — нечеловечно и к делу не относится; а если вы позволите нечеловеческим абсолютным построениям влиять на себя, вы неизбежно станете или дураком, или злодеем, или тем и другим вместе.

— Что ж, это все-таки лучше, чем делаться животным, — не сдавался Спэндрелл. — Уж лучше я буду дураком или злодеем, чем быком или собакой.

— Никто вас не просит быть быком или собакой, — раздраженно сказал Рэмпион. — Вас просят быть только человеком. Человеком, понятно? Не ангелом и не чертом. Человек — это акробат на туго натянутой веревке. Он идет осторожно, стараясь сохранить равновесие, держа в руках шест, на одном конце которого сознание, интеллект, дух, а на другом — тело, инстинкт и все, что в нас есть бессознательного, земного, непонятного для нас самих. Он старается сохранить равновесие. Это дьявольски трудно. И единственный абсолют, которого он не способен познать, — это абсолют совершенного равновесия. Абсолютность совершенной относительности. С точки зрения разума это парадокс и бессмыслица. Но ведь всякая подлинная, настоящая, живая истина с точки зрения логики — бессмыслица. А с точки зрения живой истины бессмыслицей является именно логика. Выбирайте, что вам больше нравится, — логика или жизнь. Дело вкуса. Некоторые люди предпочитают быть мертвыми.

«Предпочитают быть мертвыми». Эти слова, как эхо, отдавались в сознании Спэндрелла. Эверард Уэбли, лежащий на полу, связанный веревками, как цыпленок. Предпочитал ли он быть мертвым?

— И все-таки, — медленно сказал он, — есть вещи, которые всегда остаются абсолютно дурными. Например, убийство. — Он хотел поверить, что происшедшее сегодня было не только низким, мерзким, отвратительным, — он хотел поверить, что оно было, кроме того, ужасным и трагическим. — Убийство — это абсолютное зло.

— Не более абсолютное, чем все остальное, — сказал Рэмпион. — При некоторых обстоятельствах убийство может быть необходимым, правильным и даже похвальным. Единственное абсолютно злое действие, которое может совершить человек, — это когда он делает что-нибудь в ущерб жизни, в ущерб собственной цельности. Он поступает дурно, если извращает самого себя, фальсифицирует свои инстинкты.

— А, мы опять возвращаемся к зверям, — саркастически произнес Спэндрелл. — Будьте хищниками, удовлетворяйте свои животные потребности, как только они появятся. И это — последнее слово человеческой мудрости?

— Что ж, это далеко не так глупо, как вам кажется, — сказал Рэмпион. — Если бы люди удовлетворяли свои инстинктивные потребности только тогда, когда они их действительно испытывают, подобно животным, которых вы

так презираете, они вели бы себя в тысячу раз лучше, чем огромное большинство цивилизованных человеческих существ. Естественные потребности и непосредственно возникающие инстинктивные желания никогда не сделали бы людей такими скотами — нет, «скотами» не годится: зачем обижать бедных животных? — такими слишком по-человечески скверными и порочными существами. Такими делают их воображение, интеллект, принципы, традиции, воспитание. Предоставьте инстинкты самим себе, и они не причинят вам никакого вреда. Если бы люди предавались любви только тогда, когда ими овладевает страсть, если бы они дрались только тогда, когда они рассержены или испуганы, если бы они цеплялись за свою собственность только тогда, когда они действительно терпят нужду или их охватывает неудержимое желание чем-нибудь завладеть, — уверяю вас, что тогда мир гораздо больше походил бы на царствие небесное, чем теперь, при господстве христианско-интеллектуально-научного либерализма. Вы думаете, инстинкт создал Казанову, Байрона, леди Кэслмэйн? Нет, инстинкт тут ни при чем: это их похотливое воображение подстегивало их потребности, порождало желания, которые

естественным порядком у них никогда бы не возникли. Если бы донжуаны обоего пола повиновались только своим желаниям, у них было бы очень немного романов. Им приходится искусственно подогревать свое воображение, иначе они не могли бы спать с кем попало и когда попало. То же самое и с другими инстинктами. Если современная цивилизация сходит с ума на почве денег, инстинкт обладания тут ни при чем. Воспитание, традиции, моральные принципы искусственно возбуждают его. Жадность к деньгам появляется у людей только оттого, что их убеждают, будто эта жадность естественна и благородна, будто заниматься торговлей и промышленностью есть добродетель, будто убеждать людей покупать то, что им вовсе не нужно, есть проявление христианского милосердия. Инстинкт обладания никогда не был настолько сильным, чтобы заставлять людей гоняться за деньгами с утра до вечера всю жизнь. Воображению и интеллекту приходится все время подстегивать его. А подумайте о войне. Она не имеет ничего общего с непроизвольно возникающим воинственным духом. Чтобы люди начали воевать, их нужно принуждать к этому законом, да еще подстегивать при помощи пропаганды. Вы сделаете для

мира значительно больше, если посоветуете людям слушаться непосредственных боевых инстинктов, чем если займетесь организацией каких угодно Лиг Наций.

— Вы сделаете для мира еще того больше, — сказал Барлеп, — если посоветуете людям следовать Христу.

— Нет, неправда. Заставлять людей следовать Христу — это значит заставлять их быть сверхлюдьми. А на практике это приводит к обратному результату: они становятся меньше, чем людьми. Заставлять людей буквально следовать учению Христа — это значит заставлять их вести себя подобно идиотам, а в конечном счете — подобно дьяволам. Примеров этому — сколько угодно. Возьмите старика Толстого: великий человек, намеренно ставший идиотом оттого, что он пытался быть больше, чем великим человеком. Или вашего гнусного святого Франциска. — Он повернулся к Барлепу. — Еще один идиот. Но уже на грани превращения в дьявола. Следующий этап — монахи Фиваиды. Они перешли грань. Они дошли до стадии полного превращения в дьяволов. Самоистязание, разрушение всего разумного, прекрасного и живого — такова была их программа. Они пытались следовать Иисусу и

стать сверхлюдьми; а все, что им удалось, — это стать воплощением чисто дьявольской разрушительной силы. Веди они себя естественно, в соответствии с инстинктами, они остались бы вполне порядочными людьми. Но нет, им обязательно хотелось быть больше, чем людьми. В результате они стали дьяволами. Сначала идиотами, а потом дьяволами, глупыми дьяволами. Фу! — Рэмпион скорчил гримасу и с отвращением покачал головой. — И подумать только, — возмущенно продолжал он, — что мир кишит подобными тварями! Конечно, они не заходят так далеко, как святой Антоний с его демонами или святой Франциск с его полуидиотами. Но по существу они такие же. Разница только в степени. И всех их извратило одно: все они старались быть сверхчеловечными. Сверхчеловечно религиозными, сверхчеловечно нравственными, сверхчеловечно интеллектуальными и учеными, сверхчеловечно работоспособными и узкопрофессиональными, сверхчеловечно деловыми, сверхчеловечно алчными стяжателями, сверхчеловечно развратными донжуанами, сверхчеловечно рассудочными индивидуалистами даже в любви. Все извращенцы. Извращены в сторону добра или зла, в сторону духа или плоти,

но всегда прочь от нормы, всегда прочь от человечности. Мир — это убежище извращенных идиотов. За нашим столом их четверо. — Он, ухмыляясь, посмотрел вокруг. — Извращенный Иисусик. — Барлеп всепрощающе улыбнулся. — Извращенный интеллектуальный эстет.

— Благодарю за комплимент, — сказал Филип.

— …Извращенный моралист. — Он повернулся к Спэндреллу. — Прямо-таки маленький Ставрогин. Простите, Спэндрелл, но на самом деле вы — самый большой дурак из всех. — Он внимательно посмотрел ему в лицо. — Вы улыбаетесь, как все трагические литературные герои, вместе взятые, но ничего не выходит. Под вашей улыбкой так легко увидеть простодушного дзанни.

Спэндрелл откинул голову назад и беззвучно рассмеялся. Если бы он знал, подумал он, если бы он знал… Но если бы он знал, разве он считал бы его меньшим дураком?

— Смейтесь, смейтесь, дружище Достоевский. Но разрешите вам сказать, что идиотом следовало назвать вовсе не Мышкина, а Ставрогина. Он неизмеримо больший дурак и куда более извращен.

— А к какому виду дураков и извращенцев принадлежит четвертый из сидящих за нашим

столом? — спросил Филип.

— В самом деле, к какому? — Рэмпион покачал головой. Его тонкие шелковистые волосы развевались. Он улыбнулся. — Извращенный проповедник. Извращенный Иеремия. Извращенный плакальщик над проклятым старым миром. И главное — извращенный болтун. — Он встал. — А посему разрешите с вами попрощаться, — сказал он. — Нельзя было говорить так, как я: так не по-человечески. Это возмутительно. Мне стыдно. Но все несчастье в том, что, когда громишь нечеловеческое и недочеловеков, невольно сам становишься недочеловеком. Это все вы виноваты. — Он на прощание ухмыльнулся, помахал рукой и ушел.

Когда Барлеп вернулся домой, Беатриса, как обычно, ждала его. Сидя на полу у ее ног — такова была милая детская привычка, образовавшаяся у него за последние несколько недель, — и прислонясь к колену Беатрисы маленькой розовой тонзурой, окруженной темными кудрями, он прихлебывал горячее молоко и говорил о Рэмпионе. Удивительный человек, даже, пожалуй, великий человек. Великий ли? — усомнилась Беатриса. Она не любила, когда величие приписывали какому-либо живому человеку (умершие

люди — это другое дело: они были мертвы), кроме самого Дениса. Назвать его великим было бы слишком сильно, ревниво упорствовала она. Ну что ж, пожалуй, не совсем. Но почти. Если бы не его странная невосприимчивость к духовным ценностям, эта предвзятость, эта частичная слепота. Его точка зрения вполне понятна. Рэмпион протестует против того, что мы слишком далеко зашли в одном направлении; но в своем протесте он заходит слишком далеко в противоположном направлении. Взять, например, его неспособность понять святого Франциска. Какие дикие, отвратительные вещи говорит он о нем! Это непонятно и достойно сожаления.

— А что он говорит? — сурово спросила Беатриса. Познакомившись с Барлепом, она взяла святого Франциска под свое покровительство.

Слегка смягчив выражения, Барлеп дал ей отчет о том, что говорил Рэмпион. Беатриса была возмущена. Как он мог говорить подобные вещи? Как он смел! Это кощунство. Да, в этом его недостаток, согласился Барлеп, большой недостаток. Но, милосердно заступился он за Рэмпиона, на свете так мало людей с прирожденным чутьем к духовной красоте. Рэмпион — удивительный человек во многих отношениях, но ему не хва-

тает какого-то шестого чувства, позволяющего людям, подобным святому Франциску, постигать красоту, которая превыше красоты земной. Это чувство, по крайней мере, в зачаточной форме, есть у него, Барлепа. Но как редко встречает он людей, похожих на себя! Почти все они в этом отношении чужды ему. Он чувствует себя как человек с нормальным зрением в стране, где все страдают дальтонизмом. Вероятно, и у Беатрисы бывает такое чувство? Ведь она, разумеется, тоже принадлежит к редкой породе людей с ясным зрением. Он понял это сразу, как только познакомился с ней. Беатриса с важностью кивнула. Да, у нее тоже бывает такое чувство. Барлеп улыбнулся ей: он знал это. Она преисполнилась гордости и сознания собственной значительности. А взгляды Рэмпиона на любовь! Барлеп покачал головой. Какие они грубые, плотские, животные!

— Ужасно, — с чувством сказала Беатриса. «Денис, — подумала она, — совсем не такой». Она нежно взглянула на голову, доверчиво прижавшуюся к ее коленям. Она обожала его вьющиеся волосы, и его маленькие красивые ушки, и даже розовое голое пятно на темени. В этой маленькой розовой тонзуре есть что-то трогательное. Наступило долгое молчание.

Наконец Барлеп глубоко вздохнул.

— Как я устал! — сказал он.

— Вам следует лечь в постель.

— Так устал, что мне трудно шевельнуться. — Он крепче прижался щекой к ее колену и закрыл глаза.

Беатриса подняла руку, помедлила в нерешительности, снова опустила ее, потом подняла еще раз и принялась ласково перебирать пальцами его темные кудри. Снова наступило долгое молчание.

— Ах, продолжайте, — сказал он, когда она наконец отняла руку. — Мне так хорошо. Из ваших рук исходит целительная сила. Вы почти вылечили мою головную боль.

— У вас болит голова? — спросила Беатриса, и ее заботливость, как всегда, приняла форму гнева. — Тогда вы просто должны лечь в постель, — продолжала она.

— Но мне так хорошо здесь.

— Нет, нет, я настаиваю. — Теперь материнская заботливость окончательно пробудилась в ней. Это была воинствующая нежность.

— Как вы жестоки! — жалобно сказал Барлеп, неохотно подымаясь с пола. Беатриса почувствовала угрызения совести.

— Я поглажу вам голову, когда вы ляжете, — обещала она. Теперь она сама жалела о той мягкой теплой тишине, о той безмолвной интимности, которые она так грубо нарушила своей вспышкой повелительной заботливости. Она оправдывала себя: головная боль возобновилась бы, если бы он не лег спать в ту самую минуту, когда наступило облегчение. И так далее.

Барлеп лежал в постели минут десять, когда Беатриса пришла исполнить свое обещание. На ней был зеленый халат, и ее желтые волосы были заплетены в длинную толстую косу, тяжело раскачивающуюся при каждом ее движении, как туго заплетенный хвост тяжеловоза на выставке.

— С косой на спине вам можно дать двенадцать лет, — сказал восхищенный Барлеп.

Беатриса беспокойно рассмеялась и присела на край кровати. Он взял в руки ее толстую косу.

— Очаровательно, — сказал он. — Так и хочется дернуть. — И он в шутку слегка потянул косу.

— Берегитесь, — пригрозила она. — Я тоже подергаю, невзирая на вашу головную боль. — И она схватила один из его темных локонов.

— Рах, рах![75] — взмолился он на языке школь-

---

[75] Примечания: 75
Мир, мир!*(лат.).*

ников. — Я отпущу. Вот почему, — добавил он, — маленькие мальчики не любят драться с маленькими девочками: девочки гораздо более безжалостны и свирепы.

Беатриса снова рассмеялась. Наступило молчание. Беатриса сидела, затаив дыхание и внутренне вся трепеща, точно с тревогой ожидая чего-то.

— Голова болит? — спросила она.

— Побаливает.

Она протянула руку и прикоснулась к его лбу.

— У вас волшебная рука, — сказал он. Быстрым, неожиданным движением он перевернулся под одеялом на бок и положил голову на ее колени. — Вот так, — прошептал он и со вздохом облегчения закрыл глаза.

На миг Беатриса почувствовала смущение, почти испуг. Эта темноволосая голова у нее на коленях, твердая и тяжелая, показалась ей чужой и страшной. Ей пришлось подавить в себе легкую дрожь, прежде чем она смогла порадоваться детской доверчивости этого движения. Она начала поглаживать его лоб, поглаживать кожу, просвечивавшую сквозь темные кудри. Время шло. Снова мягкая теплая тишина окутала их, снова вернулась немая доверчивая близость. Ее

заботливость больше не была властной — она была только нежной. Панцирь ее суровости как бы растоплялся — он растоплялся от этой теплой близости вместе со страхами, которые заставляли ее носить этот панцирь.

Барлеп снова вздохнул. Он погрузился в блаженную дремоту безвольной чувственности.

— Лучше? — нежным шепотом спросила она.

— Все еще побаливает у виска, — прошептал он в ответ. — Как раз над ухом. — И он переместил голову так, чтобы Беатрисе легко было достать до больного места, переместил ее так, чтобы его лицо прижалось к ее животу, к ее мягкому животу, который подымался от ее дыхания, который так тепло и податливо касался его лица.

Прикосновение его лица к ее телу снова вызвало у Беатрисы приступ страха. Ее плоть пугалась этой слишком большой физической близости. Но Барлеп не шевелился, он не делал никаких опасных движений, никаких попыток к более тесному сближению, и страх постепенно угас, и оставшаяся от него легкая дрожь только усиливала чудесную теплую нежность, сменившую страх. Она снова и снова проводила рукой по его волосам. Она чувствовала на своем животе теплоту его дыхания. Она слегка вздрагивала: ее счастье

было полно страха и трепетного ожидания. Ее тело дрожало, но в то же время радовалось; боялось, но в то же время хотело узнать; отшатывалось, но от соприкосновения наполнялось теплом и даже, несмотря на весь свой страх, робким желанием.

— Лучше? — снова прошептала она.

Он сделал легкое движение головой и еще крепче прижался лицом к ее мягкому телу.

— Может быть, довольно? — продолжала она. — Может быть, мне уйти?

Барлеп поднял голову и посмотрел на Беатрису.

— Нет, нет, — взмолился он. — Не уходите. Не надо. Не нарушайте волшебства. Останьтесь еще на минутку. Прилягте на минутку здесь, под одеялом. На минутку.

Не говоря ни слова, она улеглась рядом с ним. Он прикрыл ее одеялом и погасил свет.

Пальцы, ласкавшие ее плечо под широким рукавом, прикасались нежно, прикасались духовно, почти бесплотно, как пальцы тех надутых воздухом резиновых перчаток, которые трепетно скользят по лицу во мраке спиритических сеансов, принося утешение из потустороннего мира, принося ласковую весть от любимых, ушедших из жизни. Ласкать и в то же время

быть одухотворенной резиновой перчаткой на спиритическом сеансе, заниматься любовью, но как бы из потустороннего мира — это был особый талант Барлепа. Мягко, терпеливо, с бесконечной бесплотной нежностью он ласкал и ласкал. Панцирь Беатрисы растопился окончательно. Теперь Барлеп ласкал ее мягкую, девическую трепетную сердцевину, нежно касаясь ее духовными пальцами из потустороннего мира. Панциря больше нет; но с Денисом было так удивительно спокойно. Страха не было, только тот легкий, напряженный трепет ее все еще детской плоти, который только обострял ощущение блаженства. Ей было так удивительно спокойно даже тогда, когда после сладостной вечности терпеливо повторяющихся ласковых прикосновений от плеча до запястья и снова к плечу духовная рука из потустороннего мира дотронулась до ее груди. Нежно, почти бесплотно дотронулась она до округлости тела, и ее ангельские пальцы медлили на коже. При первом прикосновении круглая грудь вздрогнула: у нее были свои страхи среди охватившего всю Беатрису ощущения блаженства и безопасности. Но терпеливо, легко, безмятежно духовная рука повторяла свои ласки вновь и вновь, пока успокоенная и наконец ожившая грудь не стала

томительно ждать ее возвращения и пока по всему телу не распространились щекочущие ответвления желания. И вечности длились и длились во мраке.

XXXV

На следующий день маленький Фил уже не хныкал при каждом приступе боли, а громко кричал. Его пронзительные вопли повторялись через определенные промежутки, точно регулируемые механизмом, в течение долгих часов, показавшихся Элинор вечностью. Как вопли кролика в западне. Но это было в тысячу раз хуже: ведь кричал не кролик, а ребенок, ее ребенок, попавший в западню боли. Ей казалось, что и она сама тоже в западне. В западне собственной беспомощности перед лицом его страдания. В западне смутного сознания вины, необъяснимого чувства, возвращавшегося снова и снова и постепенно переходившего в какую-то невыносимую уверенность, что все это — ее вина, что судьба злобно и слепо наказывает ее дитя за ее грехи. Она сидела как в ловушке, а рядом с ней в другой ловушке лежал ее сын, и она, словно через невидимые прутья, брала его за маленькую ручку и молча прислушивалась к его прерывистому

дыханию и гадала, когда в этой напряженной тишине снова прозвучит его ужасающий крик, снова искривится лицо и судорожно забьется все его тело от боли, которую каким-то непостижимым образом причинила ему она сама.

Наконец явился доктор с опиумом.

Филип приехал с поездом двенадцать двадцать. Он не поторопился встать, чтобы попасть на более ранний поезд. Ему не хотелось уезжать из Лондона. Его поздний приезд был своего рода протестом. Пора бы Элинор научиться не подымать шума каждый раз, когда у мальчишки расстройство желудка. Это просто глупо.

Когда она встретила его у подъезда, она была такая бледная и изможденная, в ее глазах, обрамленных темными кругами, он прочел такое отчаяние, что даже испугался.

— Да это ты больна, — встревоженно сказал он. — В чем дело?

В первую минуту она ничего не ответила, только обняла его, прижимаясь лицом к его плечу.

— Доктор Краузер сказал, что у него менингит, — наконец прошептала она.

В половине шестого приехала сиделка, вызванная телеграммой миссис Бидлэйк. С тем же поездом прибыли вечерние газеты; в Гаттенден

их доставил шофер. На первой странице было сообщение, гласившее, что труп Эверарда Уэбли был найден в его собственном автомобиле. Первым получил газеты старый Джон Бидлэйк, неспокойно дремавший в библиотеке. Прочтя, он пришел в такое возбуждение от известия о чужой смерти, что совершенно позабыл о том, что ему угрожало то же самое. Сразу помолодев, он вскочил на ноги и побежал, размахивая газетой, в холл.

— Филип! — кричал он сильным, звучным голосом, какого у него не было уже несколько недель. — Филип! Иди сюда, скорее!

Филип только что вышел из комнаты больного ребенка и разговаривал в коридоре с миссис Бидлэйк. Услышав, что его зовут, он поспешно заковылял в холл.

— В чем дело?

Джон Бидлэйк с почти торжествующим видом протянул ему газету.

— Прочти, — приказал он.

Когда Элинор услыхала новость, она едва не лишилась чувств.

— Кажется, сегодня ему лучше, доктор Краузер.

Доктор потрогал галстук, желая убедиться, что он завязан правильно. Доктор Краузер был чело-

веком небольшого роста, подвижным и одетым, пожалуй, даже чересчур аккуратно.

— Успокоился? Спит? — лаконично осведомился он. Он не любил тратить лишних слов. Важно, чтобы его понимали, и больше ничего. Он не расходовал зря свою энергию на разговор. Доктор Краузер говорил так, как работают на заводах Форда. Элинор остро ненавидела его, но ценила именно за те качества — за самодовольную деловитость и уверенность в себе, — которые ей в нем больше всего не нравились.

— Да, вы угадали, — сказала она, — он спит.

— Ага! — Доктор Краузер кивнул с таким видом, точно он знал все заранее; да так оно, собственно, и было: болезнь протекала как обычно.

Элинор проводила его наверх.

— А скажите, это хороший признак? — спросила она, словно умоляя о благоприятном ответе.

Доктор Краузер оттопырил губы, склонил голову набок и пожал плечами.

— Ну… — сказал он уклончиво и умолк. Он сэкономил по крайней мере пять футо-фунтов энергии тем, что не объяснил, что при менингите первая стадия возбуждения сменяется депрессией.

Теперь мальчик целыми днями пребывал в сон-

ном оцепенении; правда, он не страдал (Элинор была благодарна и за это), но зато совершенно не реагировал на то, что творилось вокруг него, словно он был жив только наполовину. Когда он открыл глаза, она увидела огромные зрачки, расширившиеся настолько, что от радужной оболочки оставалась тоненькая каемка. Вместо озорного синего взгляда малютки Фила перед ней была лишенная выражения чернота. Свет, причинявший ему такие мучения в первые дни болезни, перестал беспокоить его. Он не вздрагивал больше при каждом звуке. По-видимому, он даже не слышал обращенных к нему слов. Прошло два дня, и Элинор вдруг поняла — и сердце у нее болезненно сжалось, — что он почти оглох.

— Оглох? — отозвался доктор Краузер, когда она сказала ему о своем ужасном открытии. — Обычный симптом.

— Но неужели ничего нельзя сделать? — спросила она. Ловушка захлопнулась снова, ловушка, из которой она, казалось, вырвалась, когда жуткие вопли сменились полным молчанием.

Доктор Краузер энергично мотнул головой — один раз вправо, другой раз влево. Он ничего не сказал. Сэкономить лишний футо-фунт — это все равно что приобрести лишний футо-фунт.

Когда доктор Краузер ушел, она в каком-то отчаянии взмолилась к Филипу:

— Но ведь нельзя же, чтобы он остался глухим на всю жизнь!

«Нельзя». Она знала, что он ничего не может сделать, и все-таки надеялась. Она отдавала себе отчет в случившемся, но отказывалась верить.

— Но раз доктор говорит, что с этим ничего не поделаешь.

— И он останется глухим? — повторила она. — Глухим? Фил? Глухим?

— Может быть, это пройдет само по себе, — попробовал он утешить ее, и при этих словах втайне подумал: «Неужели она еще надеется, что ребенок выздоровеет?»

Когда на следующий день Элинор, одетая в халат, поднялась ранним утром в спальню Фила, чтобы выслушать отчет сиделки о прошедшей ночи, мальчик уже проснулся. Один глаз, весь занятый зрачком, был открыт и смотрел прямо вверх, на потолок; другой был полузакрыт, точно маленький Фил все время подмигивал, и это придавало его осунувшемуся, сморщенному личику выражение жуткой игривости.

— Он не может его открыть, — объяснила сиделка. — Глаз парализован.

Сквозь длинные, изогнутые ресницы, которым она так часто завидовала, Элинор увидела, как зрачок передвинулся к уголку глаза и уставился куда-то в сторону пристальным, невидящим, косым взглядом.

— Какого черта, — говорил Касберт Аркрайт тоном личной обиды, — какого черта Куорлз не возвращается в Лондон? — Он рассчитывал, что Филип напишет ему предисловие к новому иллюстрированному изданию «Мимов» Геронда.

Вилли Уивер пространно объяснил, что Куорлз удалился в деревню не по собственной воле.

— У него болен ребенок, — добавил он, сопровождая свои слова легким самоодобрительным покашливанием, — который, как говорят датчане, мечтает приобщиться как можно скорее к райскому блаженству.

— Что ж, остается пожелать, чтобы он с этим не мешкал, — проворчал Аркрайт. Он нахмурился. — Пожалуй, придется поискать кого-нибудь еще.

В Гаттендене дни тянулись как невыносимо долгий кошмар. Маленький Фил сначала оглох, а еще через два дня — ослеп. Косящие глаза ничего не видели. Когда после почти недельного перерыва вернулись боли первых дней, он снова

начал кричать. Потом у него несколько раз были конвульсии: точно бес вселился в него и мучил его изнутри. Дальше наступил паралич одной стороны, и его тело стало таять почти на глазах, как воск, растапливаемый каким-то незримым внутренним огнем. Чувствуя себя как в ловушке от сознания собственной беспомощности и, что еще хуже, от сознания своей вины, усилившегося во много раз от известия об убийстве Эверарда, Элинор сидела у постели больного ребенка и следила, как одна стадия болезни сменяется другой, еще более ужасной, еще более невозможной. Да, невозможной, потому что подобные вещи не могут случаться в жизни. По крайней мере, в ее жизни не могут. Это неправда, что ее собственный ребенок бессмысленно мучится и становится калекой у нее на глазах. Это неправда, что человек, который любил ее и которого она сама (о, конечно, этого не следовало делать; это было преступно, и это, как теперь видно, оказалось роковым) почти решила полюбить, был внезапно и таинственно убит. Подобных вещей не бывает. Они невозможны. И все-таки, несмотря на эту невозможность, Эверард был мертв, а маленькому Филу каждый новый день приносил новые и все более мучительные страдания. Невозможное

осуществлялось точно в кошмаре.

Внешне Элинор была очень спокойна, молчалива и деловита. Когда сиделка Батлер пожаловалась, что кушанья остывают, пока их несут в комнату, и попросила готовить ей индийский чай, так как ее желудок не переносит китайского, она распорядилась заваривать «Липтон» и, несмотря на страстные протесты Добс, приказала, чтобы завтрак и обед доставляли наверх в нагретых блюдах. Она пунктуально выполняла все лаконические предписания доктора Краузера, кроме одного — она отказывалась отдыхать. Даже сиделка Батлер неохотно признала, что Элинор очень аккуратна и методична. Но Батлер все-таки поддерживала доктора — отчасти потому, что ей хотелось нераздельно властвовать в комнате больного, отчасти же просто из жалости к Элинор. Она видела, что спокойствие дается ей нелегко, что под ним скрывается невыносимое напряжение. Филип и миссис Бидлэйк тоже настойчиво уговаривали ее отдохнуть, но Элинор их не слушала.

— Я чувствую себя прекрасно, — уверяла она, хотя бледность и темные круги под глазами выдавали ее.

Она охотно, если бы это было возможно, совсем

перестала бы есть и спать. Перед лицом смерти Эверарда и мучений маленького Фила еда и сон казались чем-то цинически-неуместным. Но ведь самый факт наличия у нас тел представляется циничным с точки зрения души. Но этот цинизм душа, хочет она или не хочет, обязана принимать как должное. Элинор покорно ложилась спать в одиннадцать и спускалась в столовую во время еды — только для того, чтобы придать себе силы для новых испытаний. Страдать — это было единственное, что она могла: она хотела страдать как можно больше, как можно сильнее.

— Ну как мальчик? — небрежно спрашивал ее отец, поедая свой куриный бульон. И, выслушав ее неопределенный ответ, он поспешно менял тему.

Джон Бидлэйк в продолжение всей болезни своего внука упорно отказывался даже подходить к детской. Зрелище страдания и болезни, все, что напоминало ему об ожидавших его мучениях и смерти, внушало ему отвращение. А в данном случае он имел особенные основания для страха: со своей способностью придумывать всякие приметы он решил про себя, что его судьба связана с судьбой ребенка. Если мальчик поправится, то поправится и он. Если же нет… Примета сло-

жилась, и неблагоприятное известие из детской приводило его в содрогание. Войдя в комнату, он может, совершенно случайно, увидеть подтверждение своих самых мрачных предчувствий. А может быть (кто знает?), мучения ребенка каким-то таинственным образом перейдут в него? Он даже не хотел слышать о своем внуке. Если не считать краткого вопроса за обедом, Бидлэйк никогда не упоминал о Филе, а когда кто-нибудь заговаривал о нем, он поспешно менял тему (суеверно трогая при этом какой-нибудь деревянный предмет) или просто уходил. Вскоре все обитатели дома узнали его слабость и, подчиняясь тому же чувству, которое предписывает особенно бережно относиться к осужденным на смерть преступникам, старались не упоминать в его присутствии о том, что происходит в детской.

Все эти дни Филип беспокойно блуждал по дому. Время от времени он подымался в детскую и, сделав тщетную попытку уговорить Элинор отдохнуть, через несколько минут снова сходил вниз. Он не выносил долгого пребывания в детской. Он огорчался, видя, как Элинор бесплодно проводит долгие часы у постели ребенка; сам он не выносил ничегонеделания, а в теперешнем положении длительное умственное бездействие

было бы просто пыткой. В промежутках между посещениями детской он читал, он пробовал писать. К тому же нужно было заниматься делом Глэдис Хелмсли. Болезнь ребенка не позволила ему съездить в Лондон и тем самым избавила от необходимости лично вести переговоры с Глэдис. Все это дело он поручил Вилли Уиверу, который был не только самым надежным из друзей, но также и стряпчим. Какое огромное облегчение он при этом почувствовал! Встреча с Глэдис внушала ему страх. Вилли же, напротив, эта история пришлась весьма по вкусу.

«Дорогой Филип, — писал он, — я стараюсь сделать все, что могу, для Вашего Престарелого Родителя, но даже при всех моих стараниях это дело обойдется ему не дешево. Его дама полна юной прелести (профессиональная этика помешала мне со своей стороны несколько продолжить труды Вашего родителя), что не мешает ей быть весьма практичной особой. К тому же по отношению к П.Р. она настроена свирепо. Должен признаться, что я, по зрелом размышлении, не могу осудить ее за это. Вы знаете, где он кормит своих фавориток? В «Лайонзе». Когда юная дама сообщила мне об этом, я заявил, что, видимо, лавры визиря Бармесида не дают ему

покоя. (Нечего и говорить, она не поняла всей соли этого замечания; поэтому я уступаю его Вам за вознаграждение в размере пяти процентов с авторского гонорара по всем тем произведениям, в коих оно будет использовано.) Посоветуйте П. Р. тратить в следующий раз на свои развлечения немного больше денег: в конечном счете это выйдет дешевле. Порекомендуйте ему предаваться не только похоти, но также и обжорству; уговорите его сдерживать свою страсть к умеренности и экономии. Завтра я возобновлю атаку; надеюсь, мне удастся зафиксировать черным по белому условия мира. Искренне соболезную Вам по поводу нездоровья Вашего отпрыска.

Ваш В. У.»

Читая письмо, Филип улыбался и думал: «Слава тебе Господи! Все устроилось». Но, прочтя последнюю фразу, он устыдился испытанного им чувства облегчения. «Какой безграничный эгоизм», — упрекнул он себя. И, словно желая искупить свое хорошее настроение, он заковылял наверх, в детскую. Там он просидел несколько минут с Элинор. Маленький Филип лежал без сознания. Его лицо нельзя было узнать — таким оно стало бесплотным и сморщенным; а с парализованной стороны не сходила кривая усмешка.

Его ручки все время перебирали простыню. Он дышал то учащенно, то так медленно, что казалось, будто он не дышит вовсе.

Сиделка Батлер пошла вздремнуть: ночи она проводила почти без сна. Они сидели молча. Филип взял руку жены и задержал ее в своей. Время тянулось, и мерой его было слабое, неравномерное дыхание их сына.

В саду Джон Бидлэйк писал (жена наконец уговорила его попробовать) в первый раз после его приезда в Гаттенден. И в первый раз, забыв самого себя и свою болезнь, он был счастлив. «Как чудесно!» — думал он. Пейзаж состоял весь из бугров, изгибов и закруглений, как человеческое тело. Орбизм, ну конечно же, орбизм! Облака — это херувимские задницы, а вон тот пологий холм — гладкий живот нереиды; а Гаттенденская Пуншевая Чаша — огромный пупок; а эти вязы между передним планом и задним — большие пузатые силены, сошедшие прямо с картин Йорданса; а нелепые круглые кусты вечнозеленых растений на переднем плане — бесчисленные зеленые груди Дианы Эфесской. Целый урок анатомии в этих листьях, облаках и неровностях земли. Чудесно! И, черт побери, какую из этого можно сделать картину. Эти серафические

ягодицы будут небесным отражением грудей Дианы; орбическая тема с вариациями; ягодицы, начинающиеся из глубины полотна, идущие вкось, к поверхности; груди, начинающиеся на поверхности, уходящие вглубь. А гладкий живот, идущий поперек полотна, по горизонтали, будет уравновешивать обе эти движущиеся диагонали; а впереди — большие силены, расположившиеся зигзагами. А на переднем плане, слева, будет силуэт края веллингтонии, мысленно перенесенной сюда нарочно для того, чтобы остановить движение, не дать ему вырваться за пределы картины; а справа поместится каменный грифон; композиция должна быть замкнутой: маленькая вселенная, за пределы которой не смеет удаляться воображение. Взгляд будет смотреть словно сквозь воображаемый туннель, он не сможет удалиться от фокуса картины — от центра огромного пупка Гаттенденской Пуншевой Чаши, вокруг которой гармонично расположатся все части божественного тела. «Черт побери! — сказал Джон Бидлэйк самому себе, выражая этим ругательством подъем духа, — черт побери!» И он принялся писать в каком-то исступлении.

Блуждая по саду и неутомимо разыскивая сорные травы, миссис Бидлэйк на мгновение

остановилась позади него и заглянула ему через плечо.

— Замечательно, — сказала она, выражая свое одобрение столько же по поводу его активности, сколько по поводу достигнутых результатов.

Она прошла дальше и, вырвав с корнем одуванчик, остановилась и, закрыв глаза, принялась повторять свое имя: «Джэнет Бидлэйк, Джэнет Бидлэйк, Джэнет Бидлэйк» — снова и снова, пока эти слова не потеряли для нее всякий смысл и стали такими же таинственными, бессмысленными и произвольными, как заклинание некроманта. Абракадабра, Джэнет Бидлэйк — а действительно ли она — это она? и существует ли она вообще? а эти деревья? а люди? а настоящее и прошлое? а все на свете?..

Тем временем в детской произошло нечто необыкновенное. Совершенно неожиданно маленький Фил открыл глаза и посмотрел. Он встретился взглядом с матерью. Он улыбнулся, насколько позволяла ему жуткая гримаса лица.

— Он видит! — воскликнула Элинор. Встав на колени у изголовья, она обняла мальчика и принялась целовать его с удвоенным жаром, потому что, кроме любви, она испытывала приступ страстной благодарности. После стольких дней

слепоты она была благодарна ему за этот уже не бессмысленный взгляд, за эту жалкую попытку улыбнуться. — Мой малютка! — повторила она и в первый раз за много дней разрыдалась. Она отвернулась, чтобы ребенок не видал ее слез, встала и отошла от постели. — Какая я дура, — извиняющимся тоном сказала она мужу, вытирая слезы. — Но я ничего не могу сделать.

— Я голоден, — вдруг произнес маленький Фил.

Элинор снова встала на колени у изголовья.

— А чего бы ты хотел, милый?

Но Фил не слышал ее вопроса.

— Я голоден, — повторил он.

— Глухота еще не прошла, — сказал Филип.

— Но ведь он видит, он говорит. — Лицо Элинор преобразилось. Несмотря ни на что, все это время она знала, что он непременно поправится: иначе и не могло быть. А теперь она убедилась в своей правоте. — Посиди здесь, — продолжала она. — Я сбегаю и принесу ему молока. — И она выбежала из комнаты.

Филип остался у постели сына. Он погладил руку ребенка и улыбнулся. Маленький Фил улыбнулся в ответ. Филип тоже начал верить, что, может быть, и в самом деле произошло чудо.

— Нарисуй мне что-нибудь, — приказал мальчик.

Филип вытащил свое вечное перо и на обороте старого письма набросал один из тех ландшафтов со слонами и самолетами, поездами и летающими свиньями и пароходами, которые особенно любил его сын. Слон столкнулся с поездом. Маленький Фил начал смеяться, тихонько, но с явным удовольствием. Не может быть никакого сомнения: чудо совершилось.

Элинор вернулась, неся молоко и тарелку с желе. На ее щеках снова появился румянец, ее глаза блестели, лицо, остававшееся все эти дни застывшим и суровым, снова приобрело прежнее живое выражение. Она вся словно ожила.

— Поди посмотри на слонов, — сказал маленький Фил. — Такие смешные! — И после каждого глотка молока, после каждой ложки желе он заставлял отца прибавлять еще что-нибудь к сложному пейзажу — китов в море, которых кусали омары; две сцепившиеся подводные лодки и гиппопотама на воздушном шаре; извергающийся вулкан, пушки, маяк, целую армию свиней.

— Почему вы оба молчите? — вдруг спросил мальчик.

Филип и Элинор переглянулись.

— Он не слышит нас, — сказал Филип.

Счастливое выражение на лице Элинор на миг затуманилось.

— Может быть, завтра, — сказала она. — Сегодня он увидел, а завтра, может быть, станет слышать.

— Почему вы все шепчетесь? — сказал мальчик.

Единственное, что она могла сделать в ответ, — это поцеловать его и погладить ему лобик.

— Не нужно утомлять его, — наконец сказала Элинор. — Ему, пожалуй, следовало бы уснуть. — Она взбила подушку, поправила простыню, нагнулась над ним. — Прощай, милый малютка. — На ее улыбку он, по крайней мере, мог ответить.

Элинор задернула занавески и вышла из комнаты. В коридоре она повернулась, ожидая, когда выйдет муж. Филип обнял ее за талию; она прижалась к нему с глубоким вздохом.

— А я уж боялась, — сказала она, — что этот кошмар будет продолжаться вечно. До самого конца.

Обед был похож в этот день на праздник воскресения из мертвых, на пасхальную службу. Элинор оттаяла, она снова стала женщиной из плоти и

крови, а не каменным изваянием. А бедная мисс Фулкс, у которой признаки душевного страдания удивительным образом совпадали с признаками сильного насморка, сопровождаемого прыщами, пришла в почти человеческий вид и истерически хохотала над шутками и анекдотами возрожденного Джона Бидлэйка. Старик вернулся из парка, потирая руки.

— Что за пейзаж! — воскликнул он, садясь за стол. — Такой сочный, если вы понимаете, что я хочу сказать, такой телесный — иного слова не подберешь. Просто слюнки текут, когда глядишь на него. Наверное, поэтому я сейчас голоден как волк.

— Вот тебе бульон, — сказала миссис Бидлэйк.

— Нет, знаете, теперь, когда я работаю, я не намерен питаться этими помоями. — И, несмотря на все протесты, он потребовал котлетку.

Его настроение улучшилось еще больше, когда он узнал, что маленький Фил выздоравливает. (Он трижды прикоснулся к дереву обеими руками сразу.) К тому же он действительно был привязан к своему внуку. Он заговорил, он снова стал прежним Гаргантюа Бидлэйком. Мисс Фулкс так смеялась над одним из анекдотов об Уистлере, что подавилась, и ей пришлось спрятать лицо

в салфетку. Даже в неясной, благожелательной улыбке миссис Бидлэйк появился какой-то намек на жизнерадостность.

Около трех часов Джон Бидлэйк начал испытывать знакомое ему ощущение все более острой боли под ложечкой. На него напала неистовая икота. Он попробовал писáть; но работа не доставляла ему никакого удовольствия. Груди Дианы и ягодицы ангелов потеряли для него всякую прелесть. «Небольшое образование в области пилоруса», — звучали в его памяти медицинские термины сэра Герберта. «Содержимое желудка… некоторое затруднение при прохождении в двенадцатиперстную кишку». Когда икота усилилась и стала невыносимой, он сложил кисти и вернулся в дом.

— Где отец? — осведомилась Элинор, когда сошла к чаю.

Миссис Бидлэйк покачала головой:

— Ему опять стало плохо.

— О Господи!

Наступило молчание. Казалось, в комнате присутствует смерть. Но ведь он уже старик, подумала Элинор; так или иначе, это неизбежно. Пускай ему хуже, но зато маленький Фил поправляется, а это — самое важное. И она заговорила с

матерью о саде. Филип закурил папиросу.

В дверь постучали. Это была горничная: сиделка Батлер просит их немедленно в детскую.

Конвульсии были очень сильны; истощенное тело было слишком слабым. Когда они вошли в детскую, маленький Фил был уже мертв.

XXXVI

Тайна Уэбли, как немедленно окрестили это событие газеты, оставалась неразгаданной. Ключа не было. В комитете «свободных британцев» никто ничего не знал. Уэбли уехал в обычное время, пользуясь своим обычным способом передвижения. У него не было обыкновения сообщать подчиненным о своих личных делах; куда он отправился, не знал никто. Больше машину никто не видел с той минуты, когда Уэбли отпустил шофера, до той, когда около полуночи полисмен на Сент-Джеймс-сквер начал спрашивать себя, долго ли еще простоит здесь эта машина без хозяина. Никто не обратил внимания ни на машину, когда ее ставили в ряд других машин на площади, ни на шофера, когда он уходил. Единственными отпечатками, обнаруженными на кузове и на руле, оказались отпечатки пальцев убитого. Тот, кто правил машиной после убий-

ства, был, по-видимому, в перчатках. Ключа не было. Полное отсутствие прямых улик. Полиция старалась извлечь все, что возможно, из улик косвенных. То обстоятельство, что убитый не был ограблен, заставляло подозревать политическую подкладку. В комитете «свободных британцев» хранилась целая коллекция угрожающих писем. Уэбли получал их регулярно — по два-три письма в неделю. «Это мое любимое чтение», — часто говорил он. Полиция принялась искать их авторов. Наиболее угрожающие письма были посланы, как выяснилось, двумя евреями русского происхождения, проживающими в Хаундсдиче, машинисткой из Ноттингема и пылким первокурсником из Бейллиол-колледжа; все эти лица были арестованы и сейчас же освобождены за полным отсутствием улик.

Время шло. Убийцы оставались на свободе. Интересу публики к преступлению не давали ослабеть. Часть консервативной прессы открыто утверждала, что либерально-лейбористское правительство дало полиции приказ не слишком углубляться в это дело. «Укрывают убийц». «Социалисты боятся разоблачений». «Сначала политика, а потом уже десять заповедей». Заголовки были весьма выразительными. Для оппозиции

это преступление было прямо подарком судьбы. «Дейли мейл» предлагала вознаграждение в десять тысяч фунтов тому, кто доставит сведения об убийцах Уэбли. Тем временем «свободные британцы» за неделю почти удвоили свои ряды. «Вы одобряете убийство? Если нет, присоединяйтесь к “свободным британцам”». Такие плакаты красовались на каждом рекламном щите. Толпы «свободных британцев» и в форме, и в обычной одежде рыскали по Лондону, агитируя рекрутов, устраивая патриотические демонстрации, занимаясь полюбительски расследованием убийства. Они не упустили случая избить нескольких человек, с которыми они расходились во мнениях. В Тоттенхеме и Ист-Хеме у них были генеральные сражения, в ходе которых было ранено много полицейских. На похоронах Эверарда зеленая процессия больше трех миль длиной провожала гроб до могилы.

Спэндрелл каждое утро прочитывал все газеты. Они доставляли ему неподдельное удовольствие. Какой фарс! Какая суматоха! Какое немыслимое идиотство! Иллиджу, отправившемуся к матери в Ланкашир, он послал открытку с изображением Эверарда в мундире на белом коне; эти открытки теперь можно было найти в любой лавке, на

улицах их продавали разносчики. «Мертвый лев приносит, видимо, гораздо больше вреда, чем живой пес, — написал он на обороте. — Бог всегда был большим шутником».

Но самой большой шуткой Бога, по крайней мере для Спэндрелла, было то, что Бога вообще не оказалось. Его не было. Ни Бога, ни дьявола. Потому что, если бы был дьявол, то был бы и Бог. Единственное, что было, — это воспоминание о гнусной, омерзительной глупости, а теперь — невероятная суматоха. Сначала возня в помойке, а потом — фарс. А может быть, дьявол — это как раз и есть дух помоек? А Бог? В таком случае Бог — это просто-напросто отсутствие помоек.

«Бог не где-то в стороне, не над нами, не вне нас, — вспомнил он сказанное однажды Рэмпионом. — Во всяком случае, не та существенная, важная для человека часть божества. Но нельзя и сказать, что Бог внутри нас, в том смысле, в каком протестанты употребляют это выражение, надежно припрятанный в наших воображении, чувствах, интеллекте, душе. Конечно, он там, в том числе и там. Но он в нас в том числе и в том смысле, в каком в нас ломоть хлеба, съеденный нами. Он в самом теле, в крови и внутренностях, в сердце, коже и чреслах. Бог — конечный про-

дукт, духовный и физический, любой мысли и действия, обращенных к жизни, к живому общению с миром. Богом поверяются наши действия и наше общение, и это ощутимая, познаваемая опытом поверка. Во всяком случае, Бог таков для*наших* целей, для целей людей живущих. Потому что, конечно, для целей, поставленных знанием и философскими рассуждениями, он может оказаться и уймой других вещей. Он может быть скалой многовековой, он может быть Иеговой Ветхого Завета, он может быть чем пожелает. Но какое все это имеет отношение к нам — живым, телесным существам? Никакого, от этого один только вред. Как только мы позволяем спекулятивно-рассудочной истине занять место интуитивно ощущаемой истины и начинаем руководствоваться ею, мы губим свою жизнь».

Спэндрелл возражал: должны же быть абсолюты, должны быть какие-то твердые точки в окружающей реальности. «Музыка, например, существует, — заключил он, — даже если вы лично не музыкальны. Вам приходится признавать существование ее как некоторой абсолютной реальности, хотя бы вы сами были неспособны воспринимать ее и получать от этого наслаждение».

«Философски, теоретически — да. Признавайте ее сколько вам угодно. Но не позволяйте вашему абстрактному знанию влиять на вашу жизнь. Теоретически вы знаете, что музыка существует и что она прекрасна. Но не притворяйтесь, пожалуйста, что, слушая Моцарта, вы получаете высокое наслаждение: делая это, вы уподобляетесь тем дурацким снобам от музыки, которых встречаешь у леди Эдвард Тэнтемаунт. Не умеют отличить Вагнера от Баха; но стоит заиграть скрипкам, и они уже в экстазе. То же самое и с Господом Богом. Мир кишит снобами от религии. Все они не живут понастоящему, не делают ничего, что оправдывало бы их существование, не вступают ни с кем в живое соприкосновение, не имеют ни малейшего представления о том, что такое Бог; они его не знают, не чувствуют. Но зато они мычат в церквах, они завывают молитвы, они ломают и разбивают свою жалкую жизнь, пытаясь подчиняться воле выдуманной абстракции, которую им заблагорассудилось назвать Богом. Глупое стадо! Они заслуживают только насмешки и презрения — так же как снобы от музыки у леди Эдвард. Но ни у кого не хватает духа сказать им это в глаза. Все восторгаются ими за то, что они такие добрые, и благочестивые, и при-

мерные христиане. А на самом деле они просто мертвы; их следовало бы не хвалить, а дать им ногой под задницу да расквасить им всем носы, чтобы они опомнились и вернулись к жизни».

Спэндрелл думал об этом разговоре, посылая открытку Иллиджу. Бога нет, дьявола нет — есть только воспоминание о гнусном барахтанье в помойке, о грязной возне навозного жука. Рэмпион назвал бы его снобом от религии. Копание в навозе в поисках несуществующего Бога. Но нет же, Бог существует, вне нас, абсолютный. А то как же тогда объяснить действенность молитвы — ведь молитва несомненно действенна, как объяснить Провидение и судьбу? Бог есть, но он прячется. Нарочно прячется. Вся задача в том, чтобы выгнать его из норы, из его абстрактной абсолютной норы, и заставить воплотиться в непосредственно ощущаемое и познаваемое качество конкретных поступков. Вся проблема в том, чтобы силой перетащить его извне вовнутрь. Но Бог — шутник. Спэндрелл насилием заклинал его появиться; но из магического дыма жертвенной крови возникло только помойное ведро. А может быть, эта неудача доказывает лишний раз, что Бог есть, что он «вне»? Все случающееся с человеком подобно ему самому. Помойка к помойке, навоз к навозу.

Ему не удалось перетащить Бога извне вовнутрь. Но появление помойного ведра доказывает реальность Бога как Провидения, Бога как судьбы, Бога, ниспосылающего благодать и отнимающего ее, Бога, предначертывающего спасение или гибель. Ему, Спэндреллу, предначертаны были помойки. Подсунув ему вместо себя помойное ведро, шутливый вершитель судеб был просто последователен до конца.

Как-то раз в Лондонской библиотеке он встретил Филипа Куорлза.

— Мне было очень грустно услышать о вашем сыне, — сказал он.

Филип что-то пробормотал с таким видом, точно ему неприятен этот разговор. Он не мог допустить, чтобы кто бы то ни было касался его горя. Оно принадлежало только ему, оно было тайным, священным. Ему было больно выставлять его напоказ. Он стыдился его.

— Это был какой-то особенно бессмысленный ужас, — сказал он, стараясь перевести разговор с личной и интимной темы на отвлеченности.

— Все ужасы бессмысленны, — сказал Спэндрелл. — А как перенесла это Элинор?

Вопрос был поставлен в упор, на него нужно было ответить.

— Плохо. — Филип покачал головой. — Она совершенно разбита. — «Почему мой голос, — подумал он, — звучит так нереально, так пусто?»

— И что же вы собираетесь теперь делать?

— На днях уезжаем за границу. Как только Элинор будет в состоянии ехать. Вероятно, в Сиену. А после поживем на берегу моря, где-нибудь в Маремме. — Было таким облегчением перевести разговор на географические темы.

— Значит, с домашним очагом в Англии покончено, — сказал Спэндрелл после небольшой паузы.

— Да, потому что теперь жизнь дома лишилась смысла.

Спэндрелл медленно кивнул головой.

— Помните наш разговор в клубе? Тогда еще были Иллидж и Уолтер Бидлэйк. Все, что случается с человеком, похоже на него самого. Обосноваться в Англии было вовсе не похоже на вас. И этого не случилось. Провидение помешало этому. Безжалостно, видит Бог! Но оно не стесняется в средствах. Бродить по свету, не пуская нигде корней, быть зрителем — вот это похоже на вас. — Он помолчал. — Тогда как, — добавил Спэндрелл, — на меня похоже жить в помойке. Что бы я ни сделал, куда бы я ни пытался уйти, я всегда

попадаю на помойку. Видимо, так будет всегда. — «Да, всегда», — продолжал он размышлять. Он поставил на последнюю карту и проиграл. Нет, не последнюю: осталась еще одна. На предпоследнюю. Неужели и на последней он тоже проиграет?

XXXVII

Спэндрелл очень настаивал на том, чтобы они не откладывали своего посещения. Им просто необходимо послушать «Heilige Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart»[76].

— Пока вы этого не услышали, вы не можете сказать, что хоть что-нибудь понимаете в жизни, — объявил он. — Эта музыка доказывает существование массы вещей — Бога, души, добра, — неопровержимо доказывает. Она единственное подлинное доказательство, которое существует на свете, — единственное, потому что Бетховен был единственным человеком, сумевшим выразить свое знание. Вы*должны* прийти.

— С большой охотой, — сказал Рэмпион. — Но…

---

[76] Примечания: 76

Благодарственное песнопение исцеленного в лидийском ладу*(нем.).*

— Вчера я случайно узнал, — прервал его Спэндрелл, — что имеется граммофонная запись a-moll'ного квартета. Я немедленно побежал и купил патефон и пластинки — специально для вас.

— Для меня? Зачем такая щедрость?

— Вовсе не щедрость, — со смехом ответил Спэндрелл. — Чистый эгоизм. Я хочу, чтобы вы услышали и согласились со мной.

— Но зачем?

— Затем, что я верю вам и, если вы согласитесь, я поверю самому себе.

— Ну и человек! — насмешливо сказал Рэмпион. — Вам бы перейти в католицизм и завести себе духовника.

— Но вы*должны* прийти. — Он говорил очень серьезным тоном.

— Только не сейчас, — сказала Мэри.

— Да, не сегодня, — подтвердил ее муж, удивляясь при этом, чего это Спэндреллу приспичило. Что с ним такое? Откуда такие жесты, слова, такое выражение глаз… Он страшно возбужден. — Сегодня у меня бесконечно много дел.

— В таком случае завтра.

«Впечатление такое, точно он пьян», — думал Рэмпион.

— А может быть, послезавтра? — сказал он

вслух. — Мне это было бы гораздо удобнее. Ведь не улетит же на это время ваш патефон.

Спэндрелл рассмеялся своим беззвучным смехом.

— Он-то не улетит, — сказал он, — а я могу улететь. Вероятно, послезавтра меня уже не будет.

— Вы нам не говорили, что уезжаете, — сказала Мэри. — Куда?

— Кто знает? — ответил Спэндрелл, снова смеясь. — Я знаю одно: что здесь меня не будет.

— Ну что ж, — сказал Рэмпион, с любопытством следя за ним, — тогда я приду завтра.

— Что это с ним такое? — спросил Рэмпион, когда Спэндрелл распрощался с ними и ушел.

— А что? Я не заметила в нем ничего особенного, — ответила Мэри.

Рэмпион раздраженно махнул рукой.

— Ты не заметила бы и Страшного суда, — сказал он. — Неужели ты не видела, что он с трудом сдерживает возбуждение? Как придерживают крышку кастрюли с кипящей водой. А его театральный смех. Он вел себя как раскаявшийся злодей в мелодраме…

— Но разве он ломался? — сказала Мэри. — Или ты думаешь, что он валял дурака для нашего удовольствия?

— Нет, нет. Он был вполне искренен. Но когда человек находится в положении раскаивающегося мелодраматического злодея, он неизбежно начинает вести себя именно как раскаивающийся злодей. Это делается помимо его воли.

— А что он такого сделал, что ему нужно раскаиваться?

— А я почем знаю? — нетерпеливо сказал Рэмпион. Мэри всегда считала, что он каким-то сверхъестественным, волшебным чутьем знает решительно все. Ее вера иногда забавляла и радовала его, а иногда раздражала. — Что я, по-твоему, духовник Спэндрелла, что ли?

— Да чего ты, собственно, кипятишься?

— Ты бы лучше спросила, — сказал Рэмпион, — как тут можно не кипятиться? Конечно, легко сохранять душевное равновесие, когда живешь все время с закрытыми глазами, в каком-то полусне. Тогда как если бы люди все время бодрствовали — Господи ты Боже мой! — они бы только и делали, что били все время от злости посуду. — И он большими шагами направился в мастерскую.

Спэндрелл медленно удалялся от Челси вдоль реки по направлению на восток, снова и снова повторяя про себя начальные аккорды лидийской

мелодии из «Heilige Dankgesang». Снова и снова. Над спокойной рекой подымалась горячая дымка. Музыка была как вода в иссушенной зноем стране. После долгих лет засухи — родник, источник. Прогремела машина для поливки улиц, таща за собой искусственный ливень. Свежий аромат исходил от увлажненной пыли. Эта музыка — доказательство, как он сказал Рэмпиону. В водосточном желобе маленький поток стремил смятую коробку от папирос и кусок апельсиновой кожуры к водостоку. Спэндрелл перестал насвистывать. Вот он, подлинный ужас: вывозка мусора — и больше ничего. Так же грязно и противно, как чистить отхожее место. Совсем не страшно — только бессмысленно, неописуемо бессмысленно. Музыка — это доказательство: Бог существует. Но только до тех пор, пока звучат скрипки. А когда смычки отняты от струн, тогда что? Мусор и бессмыслица — безысходная чушь.

На Воксхолл-Бридж-роуд он купил на шиллинг почтовой бумаги и конвертов. Заплатив за чашку кофе и сдобную булочку, он приобрел право сидеть за столиком в кафе. Огрызком карандаша он написал: «Главному секретарю Союза свободных британцев. Милостивый государь, завтра, в среду, в пять часов пополудни убийца Эверарда Уэбли

будет находиться в доме № 37 по Кэтскил-стрит, Ю.3.7. Квартира на третьем этаже. По-видимому, он откроет дверь сам. Он вооружен и готов на все».

Перечитывая письмо, он вспомнил те анонимные письма (написанные красными чернилами, чтобы было похоже на кровь: влияние рассказов из «Б.О.П.») при помощи которых он со своим приятелем Покингхорном-младшим, таким же девятилетним юнцом, как он сам, пытался запугать мисс Вил, кастеляншу в начальной школе. Их выследили и сообщили старшему учителю. Носастый дал им каждому по три удара по мягкому месту. «Он вооружен и готов на все» — это чистейший Покингхорн. Но если не написать этого, они не возьмут с собой револьверов. А ведь тогда ничего не выйдет. Ничего не выйдет. Ну что ж, пошлем так. Он сложил бумагу и заклеил конверт. Полнейшая глупость, не говоря уж о том, что полнейшая гнусность и бессмыслица. Он написал адрес.

— Ну, вот и мы, — сказал Рэмпион, когда на следующий день Спэндрелл открыл ему дверь. — А где же Бетховен? Где же ваше пресловутое доказательство существования Бога и превосходства христианской морали?

— Вот здесь. — И Спэндрелл провел их в гостиную. На столе стоял патефон. Около него в беспорядке лежало несколько пластинок. — Вот это — начало анданте, — продолжал Спэндрелл, беря одну из пластинок. — Я не буду докучать вам всем квартетом. Он чудесен. Но замечательнее всего «Heilige Dankgesang». — Он завел патефон; пластинка завертелась, он опустил иголку мембраны на пластинку. Прозвучала долгая нота скрипки, потом другая, секстой выше, и еще одна, квинтой ниже (а в это время вступила вторая скрипка, начавшая с исходной ноты первой), потом поднялась на октаву и тянула ноту два долгих такта.

Прошло более ста лет с тех пор, как Бетховен, совершенно глухой, услышал в своем воображении музыку струнных инструментов, выражавшую его затаенные мысли и чувства. Он покрыл нотными знаками несколько листов разлинованной бумаги. Столетием позже четверо венгров воспроизвели по отпечатанной копии с каракулей Бетховена музыку, которую Бетховен слышал только в своем воображении. Спиральные бороздки на шеллаковой поверхности запечатлели их игру. Материализованное воспоминание вращалось, игла скользила по бороздкам, и звучащие

символы мыслей и переживаний Бетховена трепетали в воздухе, сопровождаемые еле слышным царапаньем, которое как бы передавало глухоту Бетховена. Медленно, медленно развертывалась мелодия. Архаические лидийские гармонии наполняли воздух. Это была бесстрастная музыка, прозрачная и чистая, как тропическое море, как горное озеро. Водная гладь над водной гладью, покой, проходящий над покоем, — совершенная гармония бесчисленных необъятных равнин и зеркально-гладких огромных озер, контрапункт безоблачных ясностей. Всюду прозрачность и свет, ни тумана, ни тусклого сумрака. Покой тихого и радостного созерцания, а не сон, не дремота. Это была та ясность духа, которая наполняет человека, выздоравливающего после горячки, когда он чувствует, что вновь рождается в безмятежно прекрасном мире. Но — жизнь было имя этой горячки, и он вновь рождался не в здешнем мире: красота была неземной, ясность духа была миром Господним. В сплетении лидийских мелодий открывались небеса.

И после того, как на протяжении тридцати медленных тактов строились небеса, характер музыки внезапно изменился. Из архаической она стала современной. На смену лидийским напе-

вам пришла та же мелодия, но переведенная в мажорную тональность. Темп ускорился. Теперь мелодия скакала и прыгала по земным горам, а не по райским высям.

— «Neue Kraft fühlend»[77]. — Спэндрелл шепотом процитировал программу. — Он чувствует себя сильнее; но музыка уже не такая небесная, как прежде.

На протяжении пятидесяти тактов повторялась эта новая, более быстрая мелодия; потом она кончилась скрипом иглы о пластинку. Спэндрелл снял мембрану и остановил патефон.

— Лидийский лад снова начинается на обратной стороне, — объяснил он, заводя патефон. — А потом опять идет эта быстрая штука в a-dur'e. А затем снова лидийский лад до самого конца, с каждым тактом все лучше и лучше. Не правда ли, это чудесно? — обратился он к Рэмпиону. — Не правда ли, это доказательство?

— Чудесно, — согласился тот. — Но единственное, что доказывает эта музыка, — это что больные люди бывают очень слабыми. Это творчество человека, утратившего свое тело.

— Но нашедшего свою душу.

---

[77] Примечания: 77
Чувствуя новую силу*(нем.).*

— О, еще бы, — сказал Рэмпион, — больные люди живут интенсивной духовной жизнью. Но это оттого, что они не совсем люди. По той же самой причине скопцы такие мастера по части духовной любви.

— Но ведь Бетховен не был скопцом.

— Знаю. Но чего ради он старался быть им? Чего ради он возвел в идеал кастрацию и бестелесность? Что такое эта музыка? Гимн во славу оскопления — только и всего. Конечно, гимн очень красивый. Но неужели он не мог воспеть что-нибудь более человеческое, чем оскопление?

Спэндрелл вздохнул.

— Для меня это блаженное видение, это небеса.

— Но не земля. Как раз против этого я и протестую.

— Но разве человек не имеет права вообразить себе небо, если ему этого хочется? — сказала Мэри.

— Конечно, имеет; но только не следует уверять всех и каждого, будто плод его воображения — это последнее слово истины, красоты, мудрости, добродетели и так далее. Спэндрелл хочет убедить нас, будто это бесплодное скопчество и есть последнее слово. Но меня он не убедит. Я

этого не хочу.

— Прежде чем судить, прослушайте до конца. — Спэндрелл перевернул пластинку и опустил мембрану. Безоблачные небеса лидийского лада снова простерлись над ними.

— Очень мило, — сказал Рэмпион, прослушав пластинку до конца. — Вы совершенно правы. Это*действительно* небо, это действительно жизнь души. Это наиболее яркий пример ухода от реальности в мир духовных абстракций. Но для чего нужен этот уход? Почему бы человеку не удовлетвориться тем, что он человек, а не абстрактная душа? Я вас спрашиваю: почему? — Он принялся шагать взад и вперед по комнате. — Эта проклятая душа, — продолжал он, — эта проклятая абстрактная душа похожа на раковую опухоль, пожирающую настоящего реального живого человека и разрастающуюся за его счет. Почему он не довольствовался реальностью, этот ваш старый осел Бетховен? Чего ради понадобилось ему заменить теплую, естественную реальность этой абстрактной злокачественной опухолью, имя которой — душа? Конечно, опухоль эта, может быть, очень красива; но, черт возьми, тело в тысячу раз красивее. Не нужен мне ваш духовный рак.

— Не стану с вами спорить, — сказал Спэндрелл. Он вдруг почувствовал себя невероятно усталым и подавленным. Ничего не вышло. Рэмпион не поддался убеждениям. Или доказательство в самом деле не было доказательством? Или музыка в самом деле не говорила ни о чем, кроме самой себя и чудачеств своего творца? Он посмотрел на часы: скоро пять. — Прослушайте по крайней мере конец этой части, — сказал он. — Это самое лучшее место. — Он завел патефон. «Даже если эта музыка бессмысленна, — подумал он, — она прекрасна, пока она длится. А может быть, она и не бессмысленна. В конце концов, разве Рэмпион непогрешим?» — Слушайте.

Снова раздалась музыка. Но что-то новое и чудесное произошло на лидийских небесах. Темп медленной мелодии ускорился вдвое; ее очертания стали более ясными и четкими; внутри пульсирующей фразы настойчиво зазвучала какая-то новая мелодия. Казалось, точно небо стало неожиданно еще более небесным, его совершенство сделалось еще более глубоким и абсолютным. Неизреченный мир пребывал по-прежнему; но это не был больше мир выздоровления и бездействия. Он трепетал, он жил, он рос и усиливался, он стал деятельным спо-

койствием, страстной безмятежностью. Музыка чудесным образом примирила непримиримое — преходящую жизнь и вечный покой.

Они слушали, затаив дыхание. Спэндрелл торжествующе смотрел на своего гостя. Все его сомнения рассеялись. Как можно не поверить в то, что есть, что безусловно существует. Марк Рэмпион кивнул головой.

— Ты почти убедил меня, — прошептал он. — Но это слишком прекрасно.

— Может ли быть что-нибудь слишком прекрасным?

— Это нечеловечно. Если бы это продолжалось, вы перестали бы быть человеком. Вы умерли бы.

Они снова замолчали. Музыка звучала, ведя от неба к небу, от блаженства — к еще более глубокому блаженству. Спэндрелл вздохнул и закрыл глаза. Лицо его было строгим и умиротворенным, точно его черты разгладил сон или смерть. «Да, мертвец, — подумал Рэмпион, взглянув на него. — Он отказывается быть человеком. Он хочет быть или демоном, или мертвым ангелом. Теперь он мертв». Легкий диссонанс в лидийском напеве придал блаженству почти нестерпимую остроту. Спэндрелл снова вздохнул. В дверь постучали. Он поднял глаза. Насмешливые морщинки снова

появились на его лице, уголки рта иронически дрогнули.

«Вот теперь он снова демон, — подумал Рэмпион. — Он вернулся к жизни, и он демон».

— Вот и они, — сказал Спэндрелл и, не отвечая на вопрос Мэри: «Кто они?», вышел из комнаты.

Рэмпион и Мэри сидели у патефона, слушая небесное откровение. Оглушительный выстрел, крик, еще один выстрел и еще один ворвались в рай звуков.

Рэмпионы вскочили и бросились к двери. В передней трое мужчин в зеленой форме «свободных британцев» стояли над телом Спэндрелла. В руках у них были револьверы. Еще один револьвер лежал на полу рядом с умирающим. Череп Спэндрелла был прострелен, на рубашке — кровавое пятно. Его пальцы сжимались и разжимались, сжимались и разжимались, царапая деревянный пол.

— Что такое?.. — начал Рэмпион.

— Он выстрелил первый, — прервал один из людей в форме.

Несколько мгновений все молчали. В открытую дверь доносились звуки музыки. Страстность снова исчезла из небесной мелодии. Протяжные звуки снова говорили о небе абсолютного покоя,

тихого и блаженного выздоровления. Протяжные звуки, аккорд, повторенный, продленный, ясный и чистый, висел в воздухе, плыл, взлетал без усилия выше и выше. И вдруг музыки больше не стало, только царапанье иглы о вертящийся диск.

Погода была прекрасная. Барлеп шел домой. Он был доволен собой и всем миром. «Я принимаю тебя, Вселенная» — так закончил он час тому назад передовицу для очередного номера журнала. «Я принимаю тебя, Вселенная». Он имел все основания принимать ее. Миссис Беттертон угостила его прекрасным ленчем и большим количеством комплиментов. Чикагский «Христианский ежемесячник» предложил ему три тысячи долларов за право печатать из номера в номер его труд «Святой Франциск и душа современности». Он послал каблограмму, запрашивая три тысячи пятьсот. Сегодня пришел ответ от «Христианского ежемесячника». Его условия приняты. Затем была еще Ассоциация этических обществ Северной Англии. Его пригласили прочесть четыре доклада: в Манчестере, Брэдфорде, Лидсе и Шеффилде. Гонорар — пятнадцать гиней за доклад. Для Англии это вовсе не плохо. К тому же готовиться почти не придется. Нужно будет

только состряпать рагу из нескольких передовиц в «Литературном мире». Двести сорок гиней плюс три тысячи пятьсот долларов. Почти тысяча фунтов. Надо будет пойти и справиться у маклера о курсах и перспективах резиновых акций. Или, может быть, поместить деньги в один из трестов вложений? Они дают верных шесть или семь процентов.

Барлеп тихонько насвистывал, шагая. Мотив был «На крыльях песни» Мендельсона. «Христианский ежемесячник» и Этическая ассоциация настроили его на духовный лад. С не меньшим удовольствием он насвистывал, думая о другой победе сегодняшнего дня: он окончательно отделался от Этель Коббет. Момент был выбран благоприятный. Мисс Коббет уехала в отпуск. По почте такие вещи делать гораздо легче, чем в личном разговоре. Мистер Чиверс, главный администратор, написал вполне официальное письмо. По финансовым соображениям представлялось необходимым сократить штат «Литературного мира». Он очень сожалеет, но… По закону достаточно было бы уплатить жалованье за месяц вперед, но в знак благодарности за ее безупречную службу он прилагает чек на сумму, равную ее трехмесячному заработку. Он с большим удоволь-

ствием даст ей любые рекомендации и остается искренне преданным ей. Барлеп смягчил это деловое письмо мистера Чиверса своим письмом, полным сожалений, дружеских чувств, иеремиад по адресу публики, не желающей покупать «Литературный мир», и ламентаций по поводу победы Маммоны (в лице мистера Чиверса и всех-всех дельцов) над Богом (в лице самого Барлепа и его искусства). Он замолвил за нее словечко своему другу Джедду из «Еженедельного обозрения», равно как и многим другим представителям журнального мира, и, разумеется, сделает все от него зависящее, чтобы… и т. д.

Слава богу, думал он, возвращаясь домой и с большим чувством насвистывая «На крыльях песни». Все кончено между ним и Этель Коббет. Но он не знал, что все было кончено между Этель Коббет и нашим миром. Через несколько дней, написав ему письмо на двенадцати страницах, которое он сжег, едва прочтя первую уничтожающую фразу, она легла на пол возле газовой плиты и открыла газ. Но ведь этого Барлеп не мог предвидеть, когда возвращался домой насвистывая и в безоблачно хорошем настроении. В этот вечер они с Беатрисой играли в маленьких детей и купались вместе. Двое маленьких детей сидели

друг против друга в большой старомодной ванне. А какую возню они подняли! Вся ванная комната была залита водой. Таковых есть царствие небесное.

Гений и богиня

— Беда с литературой в том, — изрек Джон Риверс, — что в ней чересчур много смысла. В жизни никакого смысла нет.

— Совсем-таки нет? — усомнился я.

— Ну, разве только с точки зрения Бога, — признал он. — А с нашей, человеческой, никакого. В книгах есть логика, есть стиль. В жизни нет ни того ни другого. Грубо говоря, наша жизнь — вереница случайностей, каждая из которых — Тербер и одновременно Микеланджело, Мики Спиллейн и одновременно Фома Кемпийский[78]. Действительности всегда присуще несоответствие.

— Несоответствие чему? — спросил я.

— Лучшему из осмысленного и сказанного в мире, — с шутовским пафосом провозгласил он, махнув широкой загорелой рукой в сторону книжных полок, и добавил: — Как ни странно, ближе всего к реальности оказываются именно

---

[78] Примечания: 78

Джеймс Тербер (1894–1961) — американский писатель и художник-карикатурист. Мики Спиллейн (1918–2006) — американский писатель, автор жестких детективных романов. Фома Кемпийский (1380–1471) — монах-августинец, написавший знаменитый трактат «Подражание Христу».

те книги, в которых на первый взгляд меньше всего правды.

Он потянулся к полке и провел рукой по корешку потрепанного томика «Братьев Карамазовых».

— В этой, например, так мало смысла, что она близка к действительности. Чего не скажешь о научной литературе. О трудах по физике и химии, истории, философии…

Его обвиняющий перст прошелся вдоль книжных переплетов: Дирак и Тойнби, Сорокин и Карнап[79].

— …и даже о биографической прозе. Вот, к примеру, последний образчик жанра.

Он поднял со стола и протянул мне книгу в глянцевой синей суперобложке.

— «Жизнь Генри Маартенса», — без особого интереса прочтя набившее оскомину имя известного ученого, я вдруг вспомнил, что для Джона Риверса это не просто знакомое имя. — Ты ведь, кажется, был его учеником?

Риверс молча кивнул.

---

[79] Примечания: 79

Поль Дирак (1902–1984) — английский физик, один из создателей квантовой механики. Арнольд Джозеф Тойнби (1889–1975) — английский историк и социолог. Питирим Сорокин (1889–1969) — американский социолог и культуролог. Рудольф Карнап (1891–1970) — немецкий философ и логик, ведущий представитель логического позитивизма и философии науки.

— И это официальная биография?

— Литературная версия, — уточнил он. — Незабвенный портрет типичного чудаковатого профессора из мыльной оперы — знаешь, эдакий ребенок-идиот с незаурядным интеллектом; страдающий гений, упорно сражающийся с превратностями судьбы; одинокий мыслитель и в то же время любящий семьянин; рассеянный ученый муж, вечно витающий в облаках, и при этом с золотым сердцем. К несчастью, в жизни все обстояло далеко не так просто.

— Ты хочешь сказать, что в книге есть неточности?

— Нет, на первый взгляд там все правда, а копнуть поглубже — полнейший вздор. Точнее, все было совсем не так. Впрочем, — добавил он, — это, наверное, и правильно. Видимо, настоящая правда не достойна быть увековеченной, слишком бессмысленна либо чересчур ужасна, чтобы оставить ее без прикрас. И все равно это раздражает, если знаешь, как было дело. Обидно, когда вместо правды людям подсовывают дешевый сериал.

— И ты намерен исправить эту оплошность? — предположил я.

— Для широкой публики? Упаси боже!

— Ну, хотя бы для меня. С глазу на глаз.

— С глазу на глаз, — повторил Риверс. — А собственно, почему бы и нет?

Он пожал плечами и улыбнулся.

— Отметим один из твоих редких визитов небольшой дружеской оргией воспоминаний.

— Тебя послушать — точно речь идет об опасном наркотике.

— Это и есть наркотик, — ответил он. — Воспоминания — такое же бегство от действительности, как джин или амитал натрия.

— Ты забываешь, что я — писатель, — сказал я, — а Музы — дочери Мнемозины[80].

— Однако Бог не приходится им братом, — подхватил он. — Бог не сын памяти, а дитя непосредственного восприятия. Поклонение духовному возможно лишь в настоящем. Из барахтанья в прошлом выходит неплохая литература, да только мудрости в ней не ищи. Обретенное время есть потерянный рай, а потерянное время — рай возвращенный. Прошлое следует предавать забвению. Коль хочешь по-настоящему проживать каждый миг, как он есть, тебе придется умереть для всех остальных мгновений. Это главное, чему научила меня Элен.

---

[80] Примечания: 80

Мнемозина — в древнегреческой мифологии богиня, олицетворявшая память.

Имя вызвало в памяти бледное юное лицо, обрамленное колоколом темных, как у египтянок, волос, а еще — величественные золотые колонны Баальбека на фоне голубого неба и заснеженного Ливанского хребта. Я в ту пору был археологом и трудился под началом отца Элен. В Баальбеке я попросил ее руки и получил отказ.

— А если бы она вышла за меня, этому научился бы я?

— Элен жила, а не проповедовала, — ответил Риверс. — У нее трудно было не научиться.

— А как же с моим писательством, с дочерями Мнемозины?

— Всегда можно взять лучшее от обоих путей.

— Ты предлагаешь компромисс?

— Синтез — третью позицию, противостоящую двум другим. На самом деле невозможно взять лучшее от одного мира, если не научиться по ходу брать лучшее от другого. Элен ухитрялась брать от жизни все, даже на пороге смерти.

Баальбек перед моим мысленным взором уступил место университету в Беркли, бесшумно качающийся колокол темных волос — седому пучку, а нежное девичье лицо — иссохшим чертам стареющей женщины. Видимо, она болела уже тогда.

— Я был в Афинах, когда она умерла… — произнес я вслух.

— Помню. Жаль, что тебя не оказалось рядом, — помолчав, добавил Риверс. — Ради нее — она тебя очень любила. Да и тебе было бы не лишним. Умирание — искусство, и в наши годы пора им овладеть. Чрезвычайно полезно понаблюдать за тем, кто в этом что-то смыслит. Элен знала, как надо умирать, потому что умела жить — здесь и сейчас, во славу Господа. А это неминуемо влечет за собой смерть — здесь и сейчас, и завтра, и умирание собственного жалкого «я». Живя, как только и следует жить, Элен постепенно умирала — каждый день понемногу. Когда настал день окончательного расчета, практически все было выплачено. Кстати, — помолчав, добавил он, — минувшей весной я сам подошел совсем близко к последней черте. Если бы не пенициллин, я бы сейчас с тобой не разговаривал. Пневмония — бич стариков. Только теперь они научились тебя воскрешать, чтобы ты мог вдоволь насладиться атеросклерозом или аденомой простаты. Я живу, так сказать, посмертно. Все, кроме меня, умерли, да и мне недолго осталось. Если я начну рассказывать, как все было, выйдет история о привидениях из уст самого привидения. А ведь се-

годня Рождественский сочельник — самое время для таких историй. К тому же ты мой старинный друг, и что мне за дело, даже если ты вставишь это в свой роман?

Его крупное, изрытое морщинами лицо осветилось добродушной иронией.

— Если ты против, я обещаю, что не буду об этом писать, — уверил его я.

На сей раз Риверс открыто рассмеялся.

— «Когда в крови огонь, сгорают клятвы, как солома», — процитировал он «Бурю» Шекспира. — Я скорее доверил бы своих дочерей Казанове, чем свои тайны — сочинителю. Творческое пламя горит жарче плотского. Клятвы литераторов пылают ярче, чем супружеские либо монашеские.

Я начал было возражать, да он не слушал.

— Если бы я до сих пор хотел хранить тайну, то не стал бы тебе рассказывать. Только прошу: коль уж дойдет до публикации, не забудь вставить обычное примечание. Ну, как водится: любое сходство с реальными людьми, живыми или умершими, — чистая случайность. Чистейшая! А теперь вернемся к Маартенсам. Постой, у меня где-то была фотография.

Он выбрался из кресла, подошел к письменному столу и выдвинул ящик.

— Мы все: Генри, Кэти, детишки и я. Каким-то чудом нашлась там, где я и думал, — пошуршав бумагами, удивился он, протягивая мне выцветший снимок. Перед деревянным летним коттеджем стояли трое: тщедушный седой человечек с орлиным носом, молодой гигант в рубашке без пиджака, а между ними — смеющаяся белокурая валькирия, статная, с высокой грудью, в нелепой узкой юбке. В ногах у взрослых сидели дети: мальчик лет девяти-десяти и девочка-подросток с косичками.

— Какой он старый! — вырвалось у меня. — Похож скорее на дедушку своих детей.

— Ага, и при этом в пятьдесят шесть лет до того не приспособлен к жизни, что Кэти считала его своим младшим ребенком.

— Тяжелый случай кровосмешения.

— Тем не менее это всех устраивало. Классический пример долговременного симбиоза. Он жил за ее счет, и она, воплощение материнства, великодушно это позволяла.

Я вновь посмотрел на фото.

— Удивительное смешение стилей! Маартенс — чистая готика, его жена — вагнеровская героиня, дети точно сошли со страниц миссис

Моулсворт[81]. А ты, ты… — Я поднял глаза на изборожденное морщинами грубоватое лицо по другую сторону камина и вновь перевел взгляд на снимок. — Уж и запамятовал, каким красавцем ты был в молодости. Римская копия Праксителя.

— А может, все-таки оригинал? — взмолился он.

Я покачал головой.

— Посмотри на нос. А лепка челюсти! Нет, это не Афины, это Геркуланум. К счастью, девушек не интересует история искусства. Для практических амурных целей ты был неотличим от оригинала, настоящий греческий бог.

Риверс поморщился.

— Разве что с виду. Если ты думаешь, что я мог играть эту роль… — задумчиво произнес он и покачал головой. — У меня не было ни Леды, ни Дафны, ни Европы. Не забывай, в те времена я представлял собой типичный образец удручающе неправильного воспитания. Сын лютеранского священника, а по достижении двенадцати лет — единственное утешение овдовевшей матери. Да, единственное, несмотря на то, что она считала себя ревностной христианкой. Малыш Джонни

[81] Примечания: 81

Моулсворт Мэри Луиза (1839–1921) — шотландская детская писательница.

занимал в ее сердце первое, второе и третье места, Бог не входил даже в тройку призеров. Понятно, единственному утешению не оставалось ничего, кроме как стать образцовым сыном, первым учеником, неутомимым стипендиатом, который тяжким трудом пробивает себе путь в колледж и университет, не имея времени на более утонченные занятия, чем футбол или кружок хорового пения, на что-то более просветляющее, чем еженедельная проповедь преподобного Уигмана.

— Неужели девушки позволяли тебе их не замечать? С такой-то наружностью? — указал я на кудрявого атлета на снимке.

Риверс помолчал немного и ответил вопросом на вопрос:

— Твоя матушка когда-нибудь говорила тебе, что самый чудесный свадебный подарок, который может преподнести мужчина своей невесте, — это его девственность?

— К счастью, нет.

— А моя говорила. Более того, она делала это на коленях, произнося импровизированную молитву. Ей блестяще удавались импровизированные молитвы, — заметил он в скобках. — В этом деле она могла заткнуть за пояс даже моего отца. Ее речь, изобилующая витиеватыми оборотами,

лилась еще более гладко и плавно. Она могла обсуждать наши финансовые дела или укорять меня за нежелание есть пудинг из тапиоки в оборотах, дословно воспроизводящих Послание к евреям. Ее молитвы являли собой феноменальный образчик лингвистической виртуозности. На свою беду, я не мог рассматривать их с такой точки зрения, ведь этот торжественный спектакль разыгрывала моя мать. Я должен был принимать сказанное ею перед Богом с благочестивой серьезностью. Особенно когда она затрагивала столь щепетильную тему. Можешь не верить, но в свои двадцать восемь я продолжал хранить вышеупомянутый свадебный подарок для будущей невесты.

Наступила тишина.

— Бедный Джон, — сказал наконец я.

Он покачал головой.

— Скорее бедная моя матушка. Она идеально все распланировала. Должность младшего преподавателя в своем же университете, затем — ассистента профессора, а там и профессура не за горами. Даже из дома уезжать не придется. А ближе к сорока она собиралась женить меня на какой-нибудь славной лютеранке, которая полюбит ее, как родную мать. Джон Риверс был

обречен, спасти его могла только милость божия. И милость божия не замедлила явиться — она же, как выяснилось впоследствии, и возмездие. В одно прекрасное утро, через несколько недель после получения степени доктора философии, мне пришло письмо от Генри Маартенса. Он жил тогда в Сент-Луисе и работал над атомом. Он писал, что нуждается в ассистенте, слышал лестные отзывы от моего научного руководителя, может предложить лишь смехотворно ничтожное жалованье, но вдруг меня все-таки заинтересует его предложение. Для начинающего физика, как я, то был шанс, который выпадает раз в жизни. А вот для моей бедной маменьки это письмо стало крушением всех надежд. Истово, отчаянно молилась она Богу, спрашивая совета. К ее чести, Бог велел меня отпустить.

Десять дней спустя таксист высадил меня у порога Маартенсов. Помню, как стоял, обливаясь холодным потом, и набирался мужества, чтобы позвонить в дверь. Ни дать ни взять напроказивший школьник, вызванный к директору. Моя первичная эйфория давно рассеялась, несколько последних дней перед отъездом и всю дорогу, показавшуюся мне бесконечной, я только и думал о своей несостоятельности. Сколько времени

понадобится такому человеку, как Генри Маартенс, чтобы меня раскусить? Неделя? День? Да не больше часа. Он обольет меня презрением. Я стану посмешищем для всей лаборатории, и за ее пределами будет не лучше, а то и хуже. Маартенсы пригласили меня остановиться у них, пока не найду жилье. Какое неслыханное великодушие! И в то же время какая дьявольская жестокость! В строгой, высококультурной атмосфере их жилища я покажу свое истинное лицо — стеснительного, глупого, безнадежного провинциала. Однако директор ждал. Стиснув зубы, я нажал кнопку звонка. Дверь открыла древняя чернокожая прислуга из старомодной пьесы. Из тех, что родились еще до отмены рабства и сохранили преданность своей мисс Белинде. В этом достаточно банальном спектакле Бьюле досталась внушающая симпатию роль, и хотя она частенько переигрывала, я скоро понял, что эта женщина — не просто сокровище, а почти святая. Выслушав мои объяснения, она оглядела меня с ног до головы и, по-видимому, осталась довольна, поскольку в ту же минуту приняла меня под свое крылышко, точно давно пропавшего члена семьи, раскаявшегося блудного сына, который вернулся в отчий дом от свиного корыта

с рожка́ми[82].

«Пойду приготовлю вам сэндвич и большую чашку кофе, — решительно произнесла служанка и добавила: — Они все там».

С этими словами она открыла дверь и втолкнула меня в комнату. Я напрягся в ожидании директора и культурного шквала, но вместо этого вступил на сцену, которую лет пятнадцать спустя мог бы принять за пародию на братьев Маркс в минорном ключе. На диване в просторной, неприбранной гостиной лежал седовласый старик в рубахе с расстегнутым воротом, явно умирающий, на что указывали смертельно бледное лицо и тяжелое, свистящее дыхание. Рядом с диваном сидела в кресле-качалке самая красивая женщина из всех, кого мне когда-либо доводилось видеть. Ее левая рука покоилась у мужчины на лбу, а в правой она держала томик «Вселенной с плюралистической точки зрения» Уильяма Джеймса. На полу расположились двое детей: рыжеволосый мальчуган играл с заводным поездом, а девочка лет четырнадцати с длинными загорелыми ногами лежала на животе и писала

[82] Примечания: 82

Герой притчи о блудном сыне, растратив все свое состояние и голодая в чужой стране, нанялся пасти свиней и питался их кормом — плодами рожкового дерева.

красным карандашом стихи (я заметил строфы). Все были так поглощены своими занятиями — игрой, сочинением виршей, чтением или умиранием, что по меньшей мере полминуты мое присутствие оставалось незамеченным. Я кашлянул — безрезультатно, и еще раз. Мальчик поднял голову, одарил меня вежливой, но безразличной улыбкой и вернулся к игре. Помедлив еще секунд десять, я от безысходности сделал несколько шагов вглубь комнаты. Путь преграждала растянувшаяся на полу поэтесса. Я переступил через нее и пробормотал извинение. Девочка и ухом не повела, зато меня услышала чтица, которая подняла голову от Джеймса. Поверх книги блеснули глаза потрясающей голубизны.

«Вы насчет газовой плиты?» — спросила она.

Ее лицо сияло такой красотой, что я на мгновение утратил дар речи и только покачал головой.

«Глупости! — вмешался мальчик. — У газовщика усы».

«Я… Риверс», — выдавил наконец я.

«Риверс? — недоуменно переспросила женщина, а потом ее осенило. — Ах Риверс! Я так рада…»

Не успела она договорить, как умирающий выкатил безумные глаза, издал странный звук,

похожий на сдавленный боевой клич, вскочил и бросился к открытому окну.

«Осторожно! — завопил мальчуган. — Смотри под ноги!»

Поздно: произошло крушение.

«О господи!» — с плохо сдерживаемым отчаянием вскричал мальчик.

Весь Центральный вокзал лежал в руинах, рассыпавшись на составные части.

«Господи!» — повторил мальчик.

Когда поэтесса попросила его не божиться, он пригрозил:

«Я сейчас по-настоящему выругаюсь. Я скажу…»

Его губы зашевелились в беззвучном проклятии.

Тем временем от окна донесся ужасный звук, точно там кого-то душили.

«Извините», — сказала красавица, отложила книгу и поспешила на помощь.

Что-то лязгнуло. Подолом юбки она опрокинула семафор. Мальчишка испустил разъяренный вопль.

«Ты… Слониха несуразная!»

«Слоны всегда смотрят, куда идут», — наставительно произнесла поэтесса, после чего

повернула голову и наконец обнаружила мое присутствие.

«Они о вас совсем забыли, — тоном надменного превосходства сообщила она мне. — У нас всегда так».

У окна продолжалось медленное удушение. Старик согнулся вдвое, точно его ударили ниже пояса, и сражался за каждый глоток воздуха, явно проигрывая битву. Богиня похлопывала его по спине и бормотала что-то успокаивающее. Все это потрясло меня до глубины души — я никогда не сталкивался ни с чем подобным. Чья-то рука потянула меня за штанину. Это оказалась поэтесса. У нее было узкое, задумчивое личико, на котором с трудом помещались огромные, широко расставленные серые глазищи.

«Темница, — сказала она. — Мне нужна рифма к слову „темница“. У меня есть птица и девица, но они не совсем к месту».

Она тряхнула головой, прищурилась на листок и прочла вслух:

«Душа моя — бездонная темница, в ее глубинах мрак… Мне что-то не очень, а вам?»

Я промямлил, что мне тоже.

«А я хочу сказать именно это», — продолжала она.

Меня внезапно осенило:

«Может, гробница?»

Она вспыхнула от восхищения.

«Точно! Ну конечно! Как я сама не догадалась!»

Красный карандаш застрочил с бешеной скоростью.

«И беспросветный мрак царит в темнице, — победно продекламировала она, — в души моей безрадостной гробнице».

Прочтя на моем лице сомнение, она торопливо спросила, не заменить ли беспросветный на непроглядный. Не успел я ответить, как от окна донесся новый предсмертный хрип. Я посмотрел туда, перевел взгляд на поэтессу и прошептал:

«Мы можем чем-то помочь?»

Девочка покачала головой.

«Я смотрела в Британской энциклопедии. Там написано, что астма — это не смертельно».

Увидев, что меня это не успокоило, она пожала худенькими плечиками и сказала:

«Вообще-то, к этому постепенно привыкаешь».

Риверс усмехнулся, смакуя воспоминание.

— Вообще-то, к этому постепенно привыкаешь, — повторил он. — Пятьдесят процентов «Утеше-

ния философией»[83] в пяти словах. А оставшиеся пятьдесят можно выразить еще пятью: когда ты умер, это конец. Или, если хочешь, добавь еще одно: когда ты умер, это не конец.

Он встал и пошевелил угли в камине.

— Так я познакомился с Маартенсами, — сказал он, положив на кучу тлеющих углей дубовое полено. — Довольно скоро я ко всему привык. В том числе и к астме. Нет ничего легче, чем привыкнуть к чужой астме. После двух или трех приступов у Генри я воспринимал их так же спокойно, как все остальные. Вот он задыхается, чуть не помирает, а через минуту уже бодр и весел — разливается соловьем о своей любимой квантовой механике. И эти спектакли продолжались до восьмидесяти семи лет. Я, например, — добавил он, в последний раз ткнув кочергой полено, — буду считать, что повезло, если доживу до шестидесяти семи. Я всегда был здоровяком. Про таких говорят: силен как бык. Ни дня не болел — и вдруг — бац, атеросклероз, или хлоп — почечная недостаточность. А такие, как старина Генри — «трость, ветром колеблемая», живут себе

---

[83] Примечания: 83

«Утешение философией» — античный трактат римского философа Боэция.

до ста лет, сетуя на слабое здоровье[84]. И не просто жалуются, а по-настоящему страдают. Астма, дерматит, всякие неполадки с животом, беспричинная утомляемость, тяжелейшие депрессии. У него в кабинете стоял шкафчик, под завязку набитый флакончиками с гомеопатическими средствами, и второй такой же — в лаборатории. Он никогда не выдвигался из дома, не захватив с собой рус токс, карбо вег, брионию и кали фос. Скептически настроенные коллеги подтрунивали над Генри за его пристрастие к лекарствам, разбавленным до такой степени, что в каждой пилюле содержится не больше молекулы действующего вещества.

Но Генри был не так прост. Чтобы обосновать гомеопатию, он разработал целую теорию нематериальных полей, полей чистой энергии, существующих отдельно от тел. В те времена это звучало абсурдно. Только не забывай, он ведь был гением. Многие из его абсурдных идей начинают обретать смысл лишь сейчас. Еще несколько лет — и их будут считать самоочевидными.

— Что мне интересно, — вмешался я, — так это неполадки с животом. Помогали ему эти

---

[84] Примечания: 84

В Священном Писании трость, ветром колеблемая, является символом слабости, неустойчивости.

пилюльки?

— Генри дожил до восьмидесяти семи, — пожал плечами Риверс и опустился в кресло.

— А без гомеопатии прожил бы он так долго?

— Типичный пример бессмысленного вопроса, — ответствовал Риверс. — Мы не можем воскресить Генри Маартенса и заставить его прожить точно такую же жизнь, только без гомеопатии. А следовательно, никогда не узнаем, как повлияло самолечение на продолжительность его жизни. А коль скоро у нас нет обоснованного ответа, то вопрос не имеет смысла. Вот почему, — добавил он, — историю нельзя считать наукой — мы ведь не можем проверить истинность своих предположений. Отсюда вытекает полная бесполезность всех этих книг. И все равно приходится их читать, иначе как выбраться из беспорядочного нагромождения фактов? Разумеется, это неправильно, однако лучше идти неверной дорогой, чем совсем заблудиться.

— Не слишком обнадеживающий вывод, — рискнул заметить я.

— А другого не дано, во всяком случае в нынешних условиях.

Риверс помолчал немного и продолжил рассказ:

— Так вот, я привык к астме Генри, влился в семью, усвоил их жизненный уклад. Стал до такой степени своим, что, когда через месяц нашел недорогую и не слишком жуткую квартиру, они меня просто не отпустили.

«К нам приехали, у нас и оставайтесь», — сказала мне Кэти, и старушка Бьюла ее поддержала.

И Тимми тоже, и Рут — правда, со скрипом, поскольку в силу возраста и характера принимала в штыки все, с чем соглашались остальные. Даже великий человек вынырнул на мгновение из своего мира грез и проголосовал за то, чтобы я остался. Это решило дело. Я прочно обосновался в их доме, стал почетным членом семейства Маартенсов. Я был несказанно счастлив, — помолчав, продолжал Риверс, — хотя мне не давало покоя странное чувство, будто что-то здесь не так. Довольно скоро я понял, в чем дело. Моя счастливая жизнь в семействе Маартенсов означала предательство по отношению к матери. Это было своего рода признанием, что, живя с ней, я ничего не испытывал, кроме постоянного давления и хронического чувства вины. Теперь же, влившись в семью этих язычников, я испытывал не просто счастье, а блаженство; у меня даже появилось, как ни странно, что-то вроде религиозного чувства.

Я впервые понял, о чем на самом деле говорится в Посланиях. Возьмем, скажем, благодать — она переполняла меня до краев. Обновление духа — я испытывал его каждую минуту, хотя при жизни с матерью это были для меня мертвые, ничего не значащие древние слова. Или взять, к примеру, Послание к коринфянам, тринадцать. Как насчет Веры, Надежды, Любви? Не хочу хвастаться, но у меня все это было. Прежде всего — вера. Спасительная вера во Вселенную и в ближнего своего. Что касается другой веры — ее простой, лютеранской разновидности, которую я, к гордости моей бедной матушки, пронес нетронутой, вместе с невинностью, через все соблазны студенческой жизни…

Он пожал плечами.

— Нет ничего проще нуля. Именно нулю, как я неожиданно понял, равнялась моя простая вера в течение последних десяти лет. В Сент-Луисе я обрел подлинную веру в истинное добро, и еще — надежду, перерастающую в твердое убеждение, что все всегда будет прекрасно. А вместе с надеждой и верой меня переполняла любовь.

Как можно испытывать привязанность к человеку вроде Генри — столь оторванному от жизни, что он едва знал, кто я такой, столь эгоистично-

му, что и не хотел знать? Его невозможно было любить — а я любил. И не только по очевидным причинам: он был великим ученым, и, работая с ним бок о бок, я с каждым днем становился умнее и прозорливее. Я восхищался им не только в лаборатории, я любил его за те же самые качества, что делали его невообразимым чудовищем. В те дни меня настолько переполняли чувства, что я полюбил бы крокодила или осьминога. Мы читаем все эти выдумки социологов, все эти премудрые глупости политических теоретиков.

Он с презрительным раздражением похлопал по корешкам увесистых томов, выстроившихся на полке.

— На самом деле существует только одно решение, и оно выражается словом столь неприличным, что даже маркиз де Сад пользовался им крайне осторожно. ЛЮ-БОВЬ, — произнес он по слогам. — А если предпочитаешь благопристойную иносказательность ученых языков, то агапи, каритас, махакаруна[85]. Лишь тогда я уразумел его настоящий смысл. Впервые в жизни — да, впервые. Одно это омрачало мое райское блаженство. Ведь если я впервые понял, что такое

[85] Примечания: 85

Agape, Caritas, Mahakaruna (*греч., лат., санскр.*) — слова, обозначающие духовную любовь.

любовь, то как быть с моей прежней жизнью, когда я только думал, что понимаю, будучи в шестнадцать лет единственным утешением своей матери?

В наступившей тишине я попытался воскресить в памяти образ миссис Риверс, приезжавшей изредка по выходным к нам на ферму со своим маленьким Джонни около пятидесяти лет назад. Мне вспомнились строгое черное платье, бледный профиль, как на камее тети Эстер, нарочито любезная улыбка, плохо сочетавшаяся с холодным оценивающим взглядом. Эта картина всегда вызывала у меня дурное предчувствие. «Поцелуй миссис Риверс, как следует воспитанному мальчику!» Я повиновался, но с какой жуткой неохотой! Из глубин прошлого выплыла одиноким пузырьком еще одна фраза тетушки Эстер. «Бедный ребенок, он просто боготворит свою мать». Может, он ее и боготворил, да только любил ли?

— Есть такое слово «приочернение»? — неожиданно спросил Риверс.

Я покачал головой.

— А должно быть, — сказал он. — Именно этим я занимался в письмах домой. Я придерживался фактов, но систематически «приочернял» их. Я

превращал свое откровение в нечто тусклое, обыденное, высоконравственное. Почему я остался у Маартенсов? Из чувства долга. Доктор Маартенс не умеет водить машину, и я взял на себя роль шофера. Детишкам не повезло с учителями, и я должен им помочь. Миссис Маартенс проявила ко мне такое участие, что я просто обязан снять с ее плеч хоть часть тяжелого груза. Разумеется, я хотел бы жить отдельно, но разве можно ставить мои личные потребности выше их нужд? На такой вопрос, обращенный к моей матери, ответ мог быть только один. Какое лицемерие! Какое нагромождение вранья! Но матушке было бы так же тяжело узнать правду, как мне — облечь ее в слова. Правда заключалась в том, что я никогда не знал счастья, любви, готовности к самопожертвованию, пока не уехал из дома и не поселился с этими амаликитянами[86].

Риверс со вздохом покачал головой.

— Бедная моя матушка. Наверное, я мог быть с ней поласковее. Но никакая моя доброта не изменила бы главного: она любила меня собственнической любовью, а я не хотел, чтобы мною владели как вещью; она была одинока и

[86] Примечания: 86

Амаликитяне — древнее племя кочевников семитского происхождения.*Здесь* — язычники, дикари.

потеряла все, а у меня появились новые друзья; она была гордым стоиком, питая искреннее заблуждение, что является христианкой, а я впал в язычество. И наконец последнее: как только я о ней забывал, то есть во все дни, кроме воскресенья, когда писал ей свое еженедельное письмо, я испытывал безмерное счастье. Да, безмерное. Моя жизнь в те дни представляла собой настоящую идиллию, поэзия окружала меня повсюду. Отвозил ли я Генри в лабораторию в своем подержанном «Максвелле», косил ли лужайку, тащил ли под дождем домой купленные Кэти продукты — чистая поэзия. Или ехал с Тимми на станцию смотреть на паровозы. Или отправлялся с Рут на прогулку весной — искать гусениц. У нее был профессиональный интерес к гусеницам, — пояснил Риверс, когда я выразил удивление. — Связанный с гробовым синдромом. Гусеницы — существа из реальной жизни, наиболее приближенные к Эдгару Аллану По.

— К Эдгару По?

— «Что эта трагедия Жизнью зовется, что Червь-Победитель — той драмы герой»[87], — продекламировал он. — В мае — июне вся округа

[87] Примечания: 87

Цитата из стихотворения Эдгара Аллана По (1809–1849) «Червь-Победитель», дана в переводе Константина Бальмонта.

просто кишела червями-победителями.

— В наши дни, — задумчиво отозвался я, — она читала бы не Эдгара По, а Мики Спиллейна или что-нибудь еще кровавее.

Он согласно кивнул.

— Любую ерунду, лишь бы там присутствовала смерть. Смерть, — повторил он, — желательно насильственная, с вывороченными кишками и разложением — притягивает детей. Она влечет их почти так же непреодолимо, как игрушки, или конфеты, или забавы с половыми органами. Смерть нужна детям, чтобы испытать новый, отвратительно сладостный трепет. Нет, не совсем так. Смерть нужна, как и все остальное, чтобы придать особую форму уже присутствующему в них трепету. Помнишь, как остры все ощущения в детстве, как глубоко мы чувствуем любую мелочь? Малина со сливками — сплошной восторг, холодная склизкая рыба — неописуемый ужас, рыбий жир — адская гадость! А мучительная пытка стоять перед классом и рассказывать урок! А неизъяснимая радость сидеть рядом с кучером, вдыхая запах лошадиного пота и кожи! Белая дорога уходит в бесконечность, проплывающие по обе стороны кукурузные и капустные поля медленно разворачиваются и складываются,

точно гигантские веера. В детстве наше сознание представляет собой насыщенный раствор чувств, суспензию всех впечатлений, которая пребывает в латентном, неопределенном состоянии. Порой для кристаллизации нужен толчок извне, а иной раз хватает собственного воображения. Ты жаждешь этого особого трепета и прилагаешь усилия, чтобы его испытать: ярко-розовый кристалл наслаждения, например, зеленый или фиолетовый сгусток страха; ведь страх — тоже трепет, как и все другое, отталкивающий и невыносимо приятный. В двенадцать лет я получал огромное наслаждение, изводя себя мыслями о смерти, об аде из постных проповедей моего несчастного отца. Рут пугала себя намного сильнее, чем я, вследствие чего испытывала более острое удовольствие. Думаю, это касается всех девочек. Концентрация их раствора сильнее, у них получается создавать более разнообразные и крупные кристаллы. Само собой, я в ту пору ничего не смыслил в девочках. Рут оказалась разносторонним наставником, даже чересчур разносторонним, как выяснилось позже — до этого мы еще дойдем. А тем временем она учила меня всему, что следует знать молодому человеку о девочках, и отлично подготовила к будущей

карьере отца трех дочерей.

Риверс отпил немного виски с содовой, поставил стакан и некоторое время молча посасывал трубку.

— Помню один особенно поучительный уикэнд, — продолжал он, улыбнувшись воспоминанию. — Шла моя первая весна с Маартенсами. Мы поехали в их загородный домик в десяти милях от Сент-Луиса. Субботним вечером, после ужина, мы с Рут отправились наблюдать за звездами. За домом был небольшой холм. С его вершины перед взглядом открывалось все небо от горизонта до горизонта. Сто восемьдесят градусов бесконечной неизъяснимой тайны. Чудесное местечко, где можно просто сидеть и молчать. Но в те дни я еще чувствовал себя обязанным развивать умы. Нет бы оставить девочку спокойно любоваться Юпитером и Млечным Путем — я сыпал скучными фактами и цифрами — расстояние в километрах до ближайшей звезды, диаметр галактики, последнее сообщение о спиральной туманности из обсерватории Маунт-Вилсон. Рут слушала, однако ее юный ум не желал развиваться. Вместо этого ее охватил какой-то метафизический ужас. Огромные расстояния, не укладывающиеся в голове промежутки времени, невообразимое множество

далеких миров, скрытых за еще более далекими мирами. А мы здесь, перед лицом бесконечности и вечности, забиваем себе головы учебой и домашними делами, боимся куда-то опоздать, выбираем цвет лент в косичках, переживаем за оценки по алгебре и латинской грамматике. Вдруг в рощице за холмом заухала сова, и метафизический страх Рут сменился настоящим, хотя и с мистическим налетом. Мурашки на коже объяснялись суеверием, что совы — колдовские птицы, приносящие несчастье, вестники смерти. Естественно, Рут знала, что все это чепуха, но как же интересно было притворяться, что она в это верит! Я стал ее высмеивать, однако она вошла в роль и начала выдумывать оправдания своим страхам.

«В прошлом году у одной девочки из моего класса умерла бабушка, — сообщила она. — И в ту ночь у них в саду кричала сова. В центре Сент-Луиса, где сроду не водилось никаких сов».

Будто бы в подтверждение ее слов из рощи вновь раздалось зловещее уханье. Рут вздрогнула и взяла меня за руку. Мы начали спускаться с холма.

«Если бы я пошла сюда одна, то умерла бы от страха, — сказала она, а мгновение спустя доба-

вила: — А вы читали “Падение дома Ашеров”?»

Она явно горела желанием поведать мне эту историю, и я сказал, что не читал. Рут начала рассказ:

«В общем, там были брат и сестра Ашеры, они жили в доме вроде замка на берегу ужасно черного, жуткого пруда, а на стенах плесень, и брата зовут Родерик, и у него настолько богатое воображение, что он может запросто говорить стихами, и он такой угрюмый и красивый, с огромными глазами и тонким еврейским носом, и его сестра тоже, они близнецы, а зовут ее леди Мэдилейн, и оба страдают таинственным нервным недугом, а у нее бывают каталептические припадки…»

Мы брели под звездами по заросшему травой холму, и она рассказывала мне отрывки из Эдгара По, местами сбиваясь на школьный жаргон. Выйдя на дорогу, мы двинулись к темной стене леса. Тем временем несчастная леди Мэдилейн скончалась, а юный мистер Ашер бродил среди своих заплесневевших гобеленов в состоянии, близком к помешательству, что неудивительно.

«Разве не говорил я тебе, что мои чувства изощренны? — провозгласила зловещим шепотом Рут. — Я слышал, как она впервые едва заметно пошевелилась в гробу. Я услыхал это… много,

много дней назад...»

Тьма стала гуще, кроны деревьев сомкнулись у нас над головами, и мы вошли в двойную темноту ночного леса. Наверху, под пологом листвы, поблескивали синеватые просветы, а стены по обе стороны тоннеля призрачно серели крепом и черненым серебром. А какой там стоял заплесневелый запах разложения! Какая ледяная сырость трогала наши щеки! Словно фантазии По превратились в зловещую явь, и мы вошли в семейный склеп Ашеров.

«И вдруг, — продолжала Рут, — внезапно раздался металлический звон, будто кто-то уронил поднос на каменный пол, только приглушенный, как бы из-под земли, ведь под домом был здоровенный подвал, где хоронили всех членов семьи. А через минуту она такая стоит на пороге — величественная, окутанная саваном, леди Мэдилейн собственной персоной. А белое одеяние все в крови, ведь она целую неделю пыталась выбраться из гроба — ясное дело, ее похоронили заживо. Так часто бывает, — пояснила девочка. — Поэтому многие пишут в завещании: не хороните меня, пока не прижжете пятки каленым железом. Если я не проснусь, тогда порядок, можно хоронить. С леди Мэдилейн так не сделали, а у нее был просто

каталептический припадок, и она проснулась в гробу. А Родерик все это время слышал ее, но почему-то никому не сказал. И вот она стоит на пороге, вся в белом и в крови, покачиваясь, а потом вдруг издает чудовищный вопль и падает на него, и он тоже вопит, и…»

Тут в подлеске послышалось какое-то движение, затрещали кусты. Прямо перед нами на дороге из тьмы выросла еще более темная гигантская фигура. Рут завопила, как Родерик и Мэдилейн, вместе взятые, вцепилась в мою руку и спрятала лицо у меня под мышкой. Привидение фыркнуло. Рут опять завизжала. Раздался еще один фыркающий звук, а затем — стук удаляющихся копыт.

«Просто лошадь заблудилась», — сказал я, однако у Рут подкосились колени, и она упала бы, если бы я не успел подхватить ее и опустить на землю. Мы долго молчали.

«Когда надоест лежать во прахе, скажешь, и пойдем дальше», — сыронизировал я[88].

«А что бы вы сделали, если бы нам встретился настоящий призрак?» — спросила наконец она.

«Удрал бы и не вернулся, пока все не закон-

[88] Примечания: 88

Книга Иова, 7: 21: … ибо, вот, я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет.

чится».

«Что не закончится?»

«Как будто ты не знаешь, что обычно случается с людьми, которые встретили призрака, — ответил я. — Если они не умирают от страха прямо на месте, то седеют и сходят с ума».

Я хотел ее рассмешить, но Рут обозвала меня бесчувственным животным и ударилась в слезы. Она слишком дорожила темным сгустком, который кристаллизовали из раствора ее чувств лошадь, Эдгар По и собственное воображение, чтобы так просто с ним расстаться. Знаешь, есть такие огромные леденцы на палочке, которые ребенок может лизать целый день напролет? Таким леденцом был для нее страх, она хотела насладиться им в полной мере — сосать и сосать, пока не дойдет до самого вкусного, горьковатого кончика. У меня едва не полчаса ушло, чтобы поставить ее на ноги и привести в чувство. Когда мы вернулись, ей давно было пора спать, и Рут отправилась прямо в свою комнату. Я опасался, что ей будут сниться кошмары. Ничего подобного — она прекрасно выспалась и вышла утром к завтраку веселая, точно жаворонок. Правда, этот жаворонок читал Эдгара По и все еще увлекался червями. После завтрака мы отправились на охо-

ту за гусеницами и нашли нечто потрясающее: крупную личинку бражника, зеленую, с белыми отметинами и рогом на конце. Рут ткнула ее былинкой, и бедняжка выгнулась спервa в одну сторону, затем в другую, в пароксизме бессильной ярости и страха.

«Он корчится! Корчится! — восторженно пропела Рут. — Гнусною пастью испуганных гаеров алчно грызет, и ангелы стонут, и червь искаженный багряную кровь ненасытно сосет!»[89]

Только на сей раз кристалл страха был не больше камешка в дешевом колечке для помолвки. Мысль о смерти и разложении, чью сладкую горечь смаковала Рут накануне, теперь служила лишь приправой, которая усиливала опьяняющий вкус жизни.

«Он корчится, корчится…» — повторила Рут, вновь ткнула соломинкой зеленую гусеницу и запела во весь голос в приливе чувств «Если бы ты была единственной на свете».

— К слову, — добавил Риверс, — эта дурацкая песенка сопровождала всякую крупную резню в истории. Ее придумали во время Первой мировой войны, вспомнили во Вторую мировую и пери-

---

[89] Примечания: 89

Рут цитирует строки из стихотворения Эдгара По «Червь-Победитель».

одически распевали, когда шла кровавая бойня в Корее. Почему-то в периоды разгула макиавеллиевской политики и жесточайшего насилия люди впадают в сентиментальность. Должны ли мы испытывать за это благодарность? Или еще больше разочароваться в человечестве? Не понимаю, а ты?

Я покачал головой.

— Так вот, — продолжал он, — Рут начала петь «Если бы ты была единственной на свете», а следующую строчку изменила на «а я — гнусной пастью», затем вдруг оборвала песню и бросилась к увязавшемуся за нами кокер-спаниелю Грампусу. Тот увернулся и помчал через луг, а Рут бежала следом. Я пошел за ними шагом, а когда наконец догнал, девочка поднялась на небольшой холмик, а пес тяжело дышал у ее ног. Она стояла на ветру, точно миниатюрная статуя Ники Самофракийской. Волосы развевались вокруг разгоряченного личика, юбка хлопала по ногам, точно знамя, тонкая блузка облепила худенькое, плоское, почти мальчишеское тельце. Она закрыла глаза и шевелила губами, беззвучно произнося какое-то восторженное заклинание или призыв. Когда я приблизился, пес повернул голову и завилял обрубком хвоста, но Рут была

слишком далеко, чтобы меня услышать. Беспокоить ее казалось кощунством. Я остановился в нескольких метрах и сел на траву. На губах девочки играла блаженная улыбка, лицо сияло внутренним светом. Внезапно его выражение изменилось. Она негромко вскрикнула, открыла глаза и испуганно огляделась по сторонам.

«Джон! — облегченно воскликнула она, заметив меня, подбежала и присела рядышком. — Как хорошо, что вы здесь! И мой милый Грампус. Я уж было подумала…»

Остановившись на полуслове, она потрогала указательным пальцем свое лицо.

«Я такая же, как была?» — спросила она.

«Такая же, — заверил я девочку, — точь-в-точь».

Она рассмеялась — не весело, а скорее с облегчением.

«Меня чуть не унесло», — призналась она.

«Куда?» — спросил я.

«Не знаю. Этот ветрище. Дует и дует. Все выдул из головы — вас, и Грампуса, и всех, всех, всех, дом, и школу, все, что я знала и любила. Все выветрилось, ничего не осталось, кроме ветра и ощущения, что я жива. Они стали сливаться в одно и тоже чуть не улетели. Если бы я не удер-

жалась, этому не было бы конца. Я перелетела бы через горы и океан прямо в одну из тех черных дыр среди звезд, что мы видели прошлым вечером».

Она вздрогнула.

«Как вы думаете, я могла умереть? — спросила она. — Или впасть в каталепсию, и все решили бы, что я умерла, и такая просыпаюсь в гробу…»

Она опять вернулась к Эдгару По. На следующий день Рут показала мне свои жалкие, нескладные вирши, в которых все вечерние ужасы и утренние восторги свелись к уже знакомым мне темницам и гробницам. Какая пропасть лежит между впечатлением и запечатлением! Что за горькая ирония судьбы: испытывать чувства, достойные пера Шекспира, и выражать их (если тебе не выпал один шанс из миллионов действительно родиться Шекспиром) на языке коммивояжеров, малолеток или школьных учителей. Мы занимаемся алхимией наоборот — прикасаясь к золоту, делаем из него свинец. Берем чистую поэзию чувств и превращаем в словесную требуху и помои.

— А не слишком ли ты высокого мнения о наших чувствах? — усомнился я. — Прямо-таки сплошное золото и чистая поэзия?

— По сути золото, — убежденно ответил Ривер. — Поэзия по своей внутренней природе. Конечно, все мы погрязаем в требухе и помоях, изливаемых выразителями общественного мнения, и невольно загрязняем свои впечатления. Каждый человек строит свой мир согласно собственным представлениям, которые на самом деле навязаны извне. Поэтому его мир состоит из наименьших общих знаменателей культурной среды. Тем не менее внутренняя поэзия всегда живет в человеке.

— Даже в стариках?

— Да. Разумеется, при условии, что они способны восстанавливать свою утраченную невинность.

— А можно спросить, тебе это удается?

— Хочешь — верь, хочешь — нет, порой удается. Вернее будет сказать, что иногда это происходит. Вот, к примеру, вчера, когда я играл с внуком. Буквально за минуту — свинец превратился в золото, напыщенные нравоучительные помои — в поэзию, такую, какой была вся моя жизнь с Маартенсами. Каждое мгновение.

— И в лаборатории тоже?

— Там я пережил самые прекрасные минуты, — ответил он. — Ведение записей, настройка

приборов, споры и обсуждения. Все вместе это было чистой поэзией, в духе Феокрита и Вергилия. Четверка молодых ученых в роли козопасов и Генри — патриарх, обучавший нас секретам мастерства. Он рассыпал перлы мудрости, прял бесконечную пряжу историй о новом пантеоне теоретической физики. Ударяя по струнам лиры, воспевал превращение земной материи в божественную энергию. Превозносил безнадежную любовь электрона к своему ядру, восхвалял квант и туманно намекал на тайны неопределенности. То была настоящая идиллия. Не забывай, тогда физики еще могли не обременять себя чувством вины. Ничто не мешало нам верить, что мы трудимся во славу Господню. Теперь с этим утешительным самообманом покончено. Тебе платит военно-морское ведомство, за тобой следит ФБР. Они ни на минуту не позволят забыть, чем ты занимаешься. Ad majorem Dei gloriam?[90] К вящей славе Господней? Не будь идиотом! Ad majorem hominis degradationem. К вящей деградации человечества — вот для чего ты работаешь.

Однако в двадцать первом году адских машин еще не изобрели. Мы, горсточка наивных иде-

[90] Примечания: 90

К вящей славе Господней (*лат.*) — девиз иезуитов, оправдывающий преступления, творимые во имя Божье.

алистов, наслаждались ничем не запятнанной радостью научного поиска. А когда трудовые радости заканчивались, я отвозил Генри домой, где меня ждали другие. То Тимми не мог решить задачу на пропорции, то Рут упорно отказывалась понимать, почему квадрат гипотенузы всегда равен сумме квадратов катетов. «В данном случае я согласна, но почему всегда?» Они обращались за помощью к отцу, но Генри так долго прожил в мире высшей математики, что забыл арифметику, а Евклид представлял для него интерес только в качестве классического примера рассуждений, основанных на порочном круге. Через несколько минут великий человек запутывал всех, начинал скучать и незаметно ретировался, предоставив мне решить задачу Тимми способом чуть попроще, чем векторный анализ, и рассеять сомнения Рут с помощью аргументов, не столь сильно подрывающих веру в рациональность мира, как теории Гильберта или Пуанкаре. А после, за ужином — шумная радость детской болтовни о школьных происшествиях; кощунственное веселье, когда Кэти неожиданно прерывает монолог о теории относительности упреком, что Генри опять не забрал из чистки свои фланелевые кальсоны; плантаторская радость слушать вы-

сказывания Бьюлы или эпический восторг от ее подробнейших, натуралистичных рассказов, как в старые времена на ферме забивали свиней. Позже, когда Генри закрывался в кабинете, а детей отправляли в постель, меня ждала величайшая радость: вечера с Кэти.

Риверс откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза.

— У меня неважная зрительная память, — помолчав, произнес он. — Но я точно помню, что в комнате были серовато-розовые обои. И красный абажур. Да-да, красный, потому что, когда она сидела в кресле, штопая наши носки или пришивая детям пуговицы, на ее лицо падал такой теплый свет. Только на лицо, не на руки. А руки у нее были удивительно сильные, — улыбнувшись воспоминанию, добавил он. — Ловкие, умелые. Не хилые бесполезные придатки чувствительных дамочек. Крепкие руки, которые могли управиться с отверткой, починить любую вещь, сделать массаж, а если надо, отшлепать нашкодившего ребенка; они умели месить тесто и не гнушались помойного ведра.

И вся она была под стать этим рукам — с ладным телом матери семейства и цветущим лицом крестьянской девушки. Нет, не совсем так. С

лицом богини, выдающей себя за крестьянскую девушку. Возможно, Деметры. Нет, Деметра слишком печальна. И не Афродита. В женственности Кэти не было ничего рокового, навязчивого, подчеркнуто сексуального. Если сравнивать с богиней, она была Герой. Да, Гера, играющая роль пастушки. Только умной пастушки, получившей хорошее образование.

Риверс открыл глаза и сдвинул трубку в другой уголок рта. Он все еще улыбался.

— Помню некоторые ее высказывания о книгах, что я читал вслух по вечерам. Герберта Уэллса, к примеру, Кэти сравнивала с рисовыми полями в своей родной Калифорнии. «Бесконечные акры сверкающей воды, а глубина — не больше двух дюймов», — сказала как-то она. Или все эти леди и джентльмены из романов Генри Джеймса — Кэти задумывалась, как они заставляли себя сходить в уборную. А до чего она любила Лоуренса!

— Я бы обязала всех ученых в качестве завершающего штриха своего образования пройти курс по Лоуренсу, — заявила она однажды на званом обеде ректору университета, выдающемуся химику. Не знаю уж, post hoc или propter hoc[91], только

---

[91] Примечания: 91
После этого или по причине этого (*лат.*).

у его жены был такой кислый вид, точно по ее венам вместо крови течет концентрированная уксусная кислота.

— Да, высказывания Кэти не всегда находили понимание у собеседников, — усмехнулся Риверс. — А порой мы не читали, а просто разговаривали, — продолжал он. — Кэти рассказывала о своем детстве и юности в Сан-Франциско. Первые выходы в свет, балы, приемы. В нее были влюблены трое молодых людей, каждый богаче и тупее предыдущего, если такое возможно. В девятнадцать она обручилась с самым богатым и самым безмозглым. Закупили приданое, уже и свадебные подарки начали прибывать. И тут в Беркли приехал с лекциями Генри Маартенс. Она прослушала его лекцию по научной философии, а вечером посетила прием в его честь. Их познакомили. У него был нос крючком и бледно-голубые, как у сиамского кота, глаза. Он напоминал портреты Паскаля, а его смех грохотал, как тонна угля, высыпанная в металлический желоб. Что увидел он — можно только представить. Я узнал Кэти, когда ей было тридцать шесть, в образе Геры. В девятнадцать она должна была воплощать в себе Гебу, трех граций и всех нимф Дианы в одном лице. Генри, если помнишь, на тот момент

развелся с первой женой. Бедняжка просто не нашла в себе сил играть все навязанные ей роли: неутомимой наложницы для ненасытного любовника, секретарши для рассеянного чудака, делопроизводительницы непрактичного гения, лона, плаценты и кровеносной системы для психологического эквивалента плода. После двух выкидышей и нервного срыва она собрала вещи и сбежала к маменьке. Генри чувствовал себя неприкаянным, все четыре его ипостаси — плод, гений, чудак и любовник — искали женщину, способную выжить в необходимом ему симбиозе, которая сможет исключительно отдавать, в то время как он будет жадно и по-детски эгоистично принимать. Поиски затянулись почти на год. Генри начинал отчаиваться. И вдруг — судьбоносная встреча с Кэти. То была любовь с первого взгляда. Он отвел ее в укромный уголок и, забыв обо всех остальных, завел разговор. Ясное дело, ему даже в голову не пришло, что у нее могут быть свои собственные интересы и цели, что, возможно, надо дать ей рассказать о себе. Он просто набросился на нее с тем, что в тот момент занимало его ум. В данном случае это были последние открытия в области логики. Разумеется, Кэти не поняла ни слова, но сразу признала его гением, и все это

было столь неизъяснимо чудесно, что она еще до конца вечера уговорила мать пригласить Генри на обед. Он пришел, завершил свою речь, и, пока миссис Хэнбери с другими гостями играли в бридж, углубился с Кэти в семиологию. Через три дня Одюбоновское общество[92] устраивало пикник, и они с Кэти уединились в каком-то овраге.

Наконец однажды вечером они отправились слушать «Травиату». Рам-пам-пам-ПАМ-та-там! — напел Риверс тему из прелюдии к третьему акту. — Кто бы устоял? По дороге домой в кебе он поцеловал Кэти — страстно и в то же время деликатно, умело, чего она совершенно не ожидала после семиологии и странностей нового поклонника. Сразу стало очевидно, что помолвка с бедным милым Рандольфом была ошибкой. Но какая же поднялась суматоха, когда Кэти объявила о своем намерении стать миссис Генри Маартенс! Полоумный профессоришка, ничего за душой, кроме жалованья, разведен и вдобавок ко всему ей в отцы годится! Но Кэти не обращала внимания на все эти разговоры. Для нее имело значение только одно — то, что Генри принадлежал к другому виду, а теперь ее интересовал именно этот вид,

[92] Примечания: 92

Одюбоновское общество — ученое общество, названное в честь американского орнитолога Дж. Дж. Одюбона (1785–1851).

homo sapiens, а не homo moronicus[93], к которому относился Рандольф.

Через три недели после землетрясения они поженились. Жалела ли она когда-нибудь о своем миллионере? О Рандольфе? Ответом на этот глупейший вопрос мог быть только искренний смех. «Разве что о его лошадях, — добавляла она, вытирая слезы, — лошади — другое дело». Он держал у себя на ранчо прекрасных арабских скакунов и самый чистокровный скот герефордской породы, а еще там был большой пруд с восхитительными утками и гусями. Самое трудное в жизни супруги бедного профессора в большом городе — невозможность отдыхать от людей. Конечно, их окружало много прекрасных, умных людей. Только душе этого мало: душа требует лошадей, телят и водоплавающих птиц. Рандольф мог обеспечить Кэти любыми милыми сердцу животными, но в нагрузку шел он сам. Она пожертвовала лошадьми и выбрала гения — со всеми его недостатками.

«И если честно, — смеясь, признавала она, — недостатков хватало».

По-своему, в некоторых смыслах, Генри бывал

---

[93] Примечания: 93
Человек слабоумный (*лат.*).

почти таким же тупым, как Рандольф. Полный идиот в том, что касалось отношений между людьми, настоящий осел в практических делах. Но какой потешный осел, какой блестящий идиот! Генри бывал совершенно несносен, но это всегда окупалось. Всегда! В качестве комплимента она добавила, что, может статься, когда я женюсь, моя жена скажет то же самое. Несносен, но стоит того.

— Ты ведь говорил, что она не делала сознательных попыток тебя увлечь, — заметил я.

— Это правда, — ответил он. — Думаешь, она закидывала удочку с помощью лести? Нет, просто констатировала факт. Я обладал многими достоинствами, но тоже бывал несносным. Двадцать лет классического образования и жизнь с моей бедной матушкой породили настоящее чудовище.

Он начал перечислять признаки чудовища, загибая пальцы левой руки.

— Ученый болван, набитый книжной мудростью; парень спортивного сложения, боявшийся заговорить с девушкой; ханжа и педант с комплексом неполноценности, втайне завидовавший людям, которых осуждал. И все-таки, несмотря ни на что, со мной было нетрудно мириться. Я

всегда действовал из лучших побуждений.

— Постой, в данном случае, насколько я понимаю, речь не просто о лучших побуждениях. Признайся честно: влюбился в нее? — спросил я.

— По уши, — помолчав, признался он.

— Ты же боялся заговорить с девушкой?

— Она была не просто какой-то там девушкой, а женой моего кумира. Я и помыслить не смел… Кроме того, семейство Маартенсов приняло меня, как родного сына, и Кэти в некотором роде стала моей почетной матерью. Да и не только в нравственности дело. Мне даже в голову не приходило с ней флиртовать. Я любил ее чистой, почти религиозной любовью. Так Данте любил Беатриче, Петрарка — Лауру. С одним небольшим отличием: в моем случае чувство было искренним. Я жил своими идеалами. Никаких незаконных детей, как у Петрарки. Ни миссис Алигьери, ни шлюшек, к которым вынужден был прибегать Данте. Лишь страсть и в то же время целомудрие — и то и другое до белого каления. Страсть и целомудрие, — покачав головой, повторил он. — В шестьдесят лет люди забывают смысл этих слов. Сегодня мне известно только значение слова, которое их сменило, — равнодушие. Io son

Beatrice[94], — продекламировал он. — Все суета, кроме Елены. Что ж, в преклонном возрасте и без того есть о чем подумать.

Риверс замолчал. В наступившей тишине явственно раздавалось тиканье часов на каминной полке и едва слышный шепот пламени в очаге, точно подчеркивавшие его слова.

— Как можно всерьез верить в неизменность своей личности? — продолжал он. — В логике А равно А. В жизни — далеко не всегда. Я сейчас — совсем другой человек, чем был когда-то. Я вижу Джона Риверса, испытывавшего столь сильные чувства к Кэти, точно со стороны. Как в кукольном театре, если глядеть на Ромео и Джульетту в перевернутый бинокль. Нет, даже не так. Я смотрю в перевернутый бинокль на призраков Ромео и Джульетты. Ромео когда-то звался Джоном Риверсом, сходил с ума от любви, и в нем было в десять раз больше жизненных сил, чем обычно. А какой удивительный мир его окружал! Помню, как он любовался пейзажем; краски были несравнимо ярче, очертания предметов неизмеримо прекраснее. Он оглядывался по сторонам на улице, и хочешь — верь, хочешь — нет,

---

[94] Примечания: 94
Мне имя — Беатриче (*итал.*).

Сент-Луис казался ему самым восхитительным городом на свете. Люди, дома, «Форды» модели «Т», псы у фонарных столбов — все имело особый смысл. Ты спросишь, какой? Свой собственный. Все это было настоящим, а не символическим. Как заблуждался Гёте! Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis[95]? Неправда! Каждое быстротечное мгновение остается с нами навеки. Его смысл — в собственном существовании, и это есть Бытие (что ясно видит каждый влюбленный) в самом высоком смысле этого слова. За что ты любишь свою любимую? За то, что она есть. Так, по сути, определяет себя Бог: «Я есмь Сущий». Женщина есть сущая. Часть этой сущности выплескивается через край и заполняет собой весь мир. Предметы и явления перестают быть обычными представителями своего класса и обретают уникальность; они уже не иллюстрируют словесные абстракции, а становятся конкретными, единственными в своем роде. Затем влюбленность проходит, и мир рушится, возвращаясь под насмешливое улюлюканье толпы в свое обычное, ничем не примечательное состояние. Мог ли он преобразиться навсегда? Вероятно. Наверное, дело в любви к

[95] Примечания: 95
Риверс цитирует фрагмент из «Фауста» Гёте.
Все преходящее — сравнение. (*нем.*)

Богу, только это сейчас неважно, — добавил Риверс. То есть любовь к Богу — единственное, что важно всегда, да только если мы начнем о ней толковать, наши уважаемые друзья того и гляди упекут нас в психушку. Так что давай поскорее вернемся на менее опасную почву. Назад к Кэти, к последним скорбным…

Он замолчал.

— Ты ничего не слышал?

Теперь я действительно различил детский плач, приглушенный расстоянием и героически сдерживаемый.

Риверс сунул трубку в карман и прошел к двери.

— Бимбо? — окликнул он, открыв дверь, и пробормотал себе под нос: — Черт, как ему удалось выбраться из кроватки?

В ответ послышались громкие рыдания. Джон вышел в коридор и грузно затопал по лестнице.

— Бимбо, — сказал он, — старина Бимбо! Вот в чем дело: ты решил подкараулить Санта-Клауса?

Рыдания зазвучали в полную силу. Я встал и последовал за хозяином. Риверс сидел на верхней ступеньке, обхватив огромными ручищами малыша в голубой пижамке.

— Это же я, дед, твой смешной старый дедуля, —

нежно ворковал он, — дед не даст Бимбо в обиду.

Плач постепенно утихал.

— А почему Бимбо проснулся? Зачем вылез из кроватки? — спросил Джон.

— Собака, — сказал малыш и вновь заплакал, вспомнив страшный сон. — Большая собака.

— Собаки забавные, — уверил его Риверс. — Они глупые и умеют говорить только гав-гав. А Бимбо умеет говорить много всего, правда? Мама, пи-пи, папа, киса. А собачки не умеют. Только гав-гав.

Он по очереди изобразил, как лают ищейка и карликовый шпиц, а напоследок взвыл — заунывно и смешно. В перерыве между всхлипами ребенок неуверенно засмеялся.

— Вот и славно, — сказал Риверс. — Бимбо смеется над глупенькими собачками. Над всеми собачками, что не умеют говорить, а только лают.

Тут малютка рассмеялся от души.

— А теперь мы с Бимбо прогуляемся, — продолжал Риверс.

Он встал и понес внука по коридору.

— Здесь живет дед, — сказал он, открыв первую дверь. — Боюсь, ты не увидишь ничего интересного.

Следующая дверь была приоткрыта, он прошел

в комнату.

— А это мамина и папина комната. Вот шкаф с маминой одеждой. Правда, приятно пахнет?

Он втянул носом воздух. Ребенок последовал его примеру.

— «Le Shocking de Schiaparelli» — продолжал Риверс. — Или это «Femme»? В любом случае все они служат одной цели: секс, секс и еще раз секс. Вот что движет миром, и как это ни печально, милый Бимбо, ты сам в этом убедишься очень даже скоро.

Он нежно потерся щекой о шелковистые волосики на детской головке и прошел к зеркалу на двери в ванную — большому, в полный рост.

— Нет, ты только погляди на нас, — окликнул он меня.

Я подошел и встал рядом. Мы отражались в зеркале, двое усталых согбенных стариков, а на руках у одного из них — божественно прекрасный младенец.

— Подумать только, — сказал Риверс, — когда-то мы все были такими. Все начинается со сгустка протоплазмы, способного лишь поглощать и перерабатывать пищу. Потом ты превращаешься в такое вот существо. Нечто почти сверхъестественно чистое и прекрасное.

Он вновь прижался щекой к детской головке.

— Затем приходит трудное время прыщей и полового созревания, после чего ты на пару лет становишься Праксителем. Со временем Пракситель набирает лишний вес, у него начинают выпадать волосы, и следующие лет сорок ты постепенно деградируешь, превращаясь в ту или иную разновидность человека-гориллы. Ты — тощая горилла, я — разновидность с кожаной мордой. Еще бывает горилла — успешный бизнесмен, похожая на детскую попку со вставными зубами. Что касается женской разновидности — жалких старух с нарумяненными щеками и орхидеями на груди… Нет, о них лучше не говорить, даже не думать.

Ребенок у него на руках зевнул, опустил головку деду на плечо и закрыл глаза.

— По-моему, можно отнести его в кроватку, — прошептал Риверс и направился к двери.

— Так порой бывает их жаль, — задумчиво произнес он через несколько минут, когда мы стояли, глядя сверху вниз на детское личико, принявшее во сне выражение ангельской безмятежности, — просто невыносимо. Они не знают, что их ждет. Семьдесят лет засад, ловушек, предательств и обмана.

— А еще — радостей, — вставил я, — радостей и восторгов, порой переходящих в экстаз.

— Как же без этого, — согласился Риверс, отходя от кроватки, — приманка-то нужна.

Он погасил свет, тихонько прикрыл дверь и начал спускаться вслед за мной по лестнице.

— Всевозможные радости жизни. Секс, вкусная еда, власть, комфорт, обладание, жестокость. Только в наживке спрятан крючок, а если нет — стоит ее схватить, и тебе на голову упадет кирпич, или выльется ведерко птичьего клея, или что там еще приготовил небесный шутник.

Мы вернулись в библиотеку и сели в свои кресла по разные стороны от камина.

— Какие ловушки подстерегают прекрасное маленькое создание, спящее наверху в колыбели? Страшно представить. Единственное утешение — мы не знаем заранее, что нас ждет, а после спасаемся забвением или, в крайнем случае, безразличием. Каждая сцена на балконе — жалкая возня карликов из другого мира. И в конце всегда смерть. А пока есть смерть, есть надежда.

Он наполнил стаканы и раскурил трубку.

— На чем я остановился?

— На небесах, — напомнил я, — с миссис Маартенс.

— На небесах, — повторил он и, помолчав, продолжал рассказ. — Это длилось год и три месяца. С декабря до следующей весны, не считая десяти недель летом, когда все семейство уехало в штат Мэн, а мне дали возможность провести летние каникулы дома. Несмотря на родные стены, несмотря на заботы моей бедной матушки, эти десять недель стали для меня ужаснейшей пыткой. Я скучал не только по Кэти. Мне не хватало их всех — хлопочущей на кухне Бьюлы, Тимми с его поездами, Рут с ее нелепыми виршами, Генри с его астмой, лабораторией и выдающимися монологами обо всем на свете. Каким блаженством стало для меня возвращение в этот рай в сентябре! Восхитительный осенний Эдем, когда начинают падать листья, небо еще голубое, а свет меняется с золотого на серебряный. И зимний Эдем — зажженные лампы, дождь за окном, гигантские иероглифы голых деревьев на фоне заката. А в начале следующей весны пришла телеграмма из Чикаго. Мать Кэти заболела. Нефрит — причем это было еще до открытия сульфаниламидов и пенициллина. Кэти собрала вещи и отправилась на вокзал, чтобы успеть на ближайший поезд. Двое детей, а если считать Генри, то трое, остались на нашем с Бьюлой попечении. Тимми не

доставлял никаких хлопот. А вот другие двое, уверяю тебя, с лихвой компенсировали его благоразумие. Поэтесса отказывалась есть чернослив на завтрак, не утруждала себя причесыванием и пренебрегала домашними заданиями. Нобелевский лауреат не хотел вставать по утрам, срывал лекции и опаздывал на встречи. Они совершали и другие, более вопиющие акты неповиновения. Рут разбила свинью-копилку и спустила свои годовые сбережения на флакон дешевых духов и набор косметики. На следующий день после отъезда Кэти она выглядела и благоухала, как вавилонская блудница.

— Это в честь Червя-Победителя?

— С червями было покончено, — ответил он. — Эдгар По безнадежно устарел, вместе с легкомысленными песенками вроде «Взгляни туда» и «Оркестрик Александера». Она увлеклась Алджерноном Суинберном и только что открыла для себя поэзию Оскара Уайльда. Ее мир изменился, а вместе с ним изменилась и она сама, превратившись в совсем другого поэта с полностью обновленным лексиконом… Сладостный грех, неясное томленье; яшмовые талисманы; пурпурное биенье страсти; цветы порока; и губы, конечно же, губы, впивающиеся, искусанные до

пены со вкусом крови — вся эта подростковая безвкусица поздневикторианского бунта. А в случае с Рут появление нового лексикона совпало с физиологическими изменениями. Из сорванца в юбке со смешными косичками она превратилась в юную деву с намечающейся грудью, которую носила трепетно и осторожно, точно стала обладательницей двух ценных, но весьма опасных и непредсказуемых зверьков. Видно было, что грудь для нее — предмет гордости и стыда, источник острого удовольствия и вместе с тем чувства вины. Как невозможно груб наш язык! Умалчивая о физиологической составляющей чувств, ты грешишь против истины. А стоит о ней заикнуться, уподобляешься грубияну и цинику. Будь то страсть или тяга мотылька к свету, нежность, обожание или романтическое томление — любовь всегда сопровождается изменениями в нервных окончаниях, коже, слизистых оболочках, железистых и эректильных тканях. Кто этого не признает, тот лжец. А тех, кто об этом говорит, клеймят, как развратников. В этом повинна наша жизненная философия; а наша жизненная философия — неизбежный побочный продукт языка, который пытается разделить неразделимое. Он разделяет и одновременно оценивает.

Одна сторона явления хороша, другая плоха. «Не судите, да не судимы будете». Однако природа языка такова, что не судить мы не можем. Нам необходим другой набор слов. Нужны слова, которые смогут выразить естественное единство явлений. Слизисто-духовный, к примеру, или дерматолюбие. А чем плоха мастоноэтика? Или нутрософия? Разумеется, их следует перевести из разряда невразумительных научных терминов в категорию слов, применяемых в повседневной речи или даже в поэзии. Как трудно, не имея этих несуществующих слов, обсуждать столь простой и очевидный случай, как метания Рут. Лучшее, что можно сделать, — это бултыхаться в метафорах. Мы имеем дело с концентрированным раствором чувств, который может выпасть в кристаллы под влиянием внутренних и внешних факторов. Слова и события попадают в этот психофизиологический бульон, заставляя его собираться в сгустки эмоций и переживаний, вызывающих определенные поступки. Затем происходят изменения в железистой ткани, и появляются очаровательные маленькие зверьки, с которыми носится ребенок, испытывая одновременно гордость и смущение. Раствор трепетных эмоций обогащен новым видом чувственности,

проникающей от сосков через кожу к нервным окончаниям, в душу, в подсознание, в сверхсознание. И эти новые психофизические элементы личности приводят раствор в движение, заставляют его течь в определенном направлении — к еще неизведанным, таинственным областям любви. В этот стремящийся к любви поток волею случая попадают различные кристаллизующие вещества — слова, события, пример других людей, собственные фантазии и воспоминания, всевозможные приспособления, с помощью которых парки ткут нить человеческой судьбы. На свою беду Рут перешла от Эдгара По к Суинберну и Уайльду, от Червя-Победителя к Долорес и Саломее. Новые литературные пристрастия в сочетании с физиологическими изменениями вынудили бедную девочку намазать губы помадой и пропитать свои комбинации ароматом поддельных фиалок. Дальше — больше.

— Поддельная амбра?

— Хуже — поддельная любовь. Она убедила себя, что страстно, по-суинберновски, влюблена — как ты думаешь, в кого? В меня!

— Она что, не могла выбрать кого-нибудь более подходящего по возрасту?

— Пыталась, да не вышло, — ответил Риверс. —

Мне рассказала Бьюла, которой она доверилась. Короткая и трагическая история пятнадцатилетней девочки, влюбившейся в семнадцатилетнего героя — юного футболиста, лучшего ученика школы. Она выбрала более подходящего, только на ее беду в таком возрасте два года представляют собой почти непреодолимую пропасть. Юный герой интересовался девушками, зрелость которых могла сравниться с его собственной, — восемнадцатилетними, своими ровесницами, в крайнем случае — хорошо развитыми шестнадцатилетними. Худенькая пятнадцатилетка вроде Рут могла о нем только мечтать. Она оказалась в положении викторианской девицы низкого происхождения, безнадежно влюбленной в герцога. Долгое время юноша ее просто не замечал, а когда она в конце концов осмелилась обратить на себя его внимание, то по первости удивился, а кончил грубостью. И тогда она вбила себе в голову, что влюблена в меня.

— Не понимаю. Если семнадцатилетний оказался чересчур взрослым, то почему она переключилась на двадцативосьмилетнего? Почему не на шестнадцатилетнего?

— По нескольким причинам. Футболист отверг ее публично, и выбери она в качестве замены

прыщавого подростка, подруги притворно сочувствовали бы в лицо и хихикали за спиной. Поэтому любовь к другому школьнику исключалась. Да она и не знала-то никого, кроме ребят из школы и меня. У нее просто не было выбора. Если она собиралась влюбиться — к этому подталкивала ее физиология, а новый лексикон превратил любовь в категорический императив, то оставался только я. На самом деле это началось еще до отъезда Кэти в Чикаго. Я заметил несколько тревожных признаков: то вдруг покраснеет, внезапно замолчит и выбежит из комнаты посреди разговора, то ревнует и обижается, когда я предпочитаю общество ее матери. И, разумеется, эти любовные вирши, которые она, несмотря на обоюдное смущение, постоянно мне показывала. Любовь-кровь, страсти-напасти, страданья-лобзанья, томленье-забвенье…

Пока я читал, она внимательно вглядывалась мне в глаза, и то было не просто волнение неопытного поэта, который ждет суждения критика. То был тревожный, преданный взгляд обожающего спаниеля, кающейся Магдалины с полотен периода Контрреформации, добровольной жертвы, отдавшейся во власть Синей Бороды. Меня это изрядно нервировало, и я порой задумывался,

не лучше ли будет для всех поговорить об этом с Кэти. Однако я рассудил, что если мои подозрения окажутся беспочвенными, меня поднимут на смех, а если я прав, это нехорошо по отношению к бедняжке Рут. Надо держать рот на замке и ждать, пока эта блажь пройдет. Лучше делать вид, что эти стихи — всего лишь литературные экзерсисы, которые не имеют ничего общего с реальностью и чувствами их автора. Так все шло, подпольно, как французское Сопротивление, как пятая колонна, до самого отъезда матери. По дороге с вокзала я гадал, что будет теперь, когда сдерживающий фактор в лице Кэти исчез. Ответ пришел уже на следующее утро: нарумяненные щеки, губы, напоминающие переспелую клубничину, и жуткие духи — от девчонки просто разило борделем.

— И, наверное, соответствующее поведение?

— Я тоже этого боялся. Как ни странно, ничего такого не происходило. Рут не чувствовала потребности играть свою новую роль; ей хватало внешних признаков. Она удовлетворялась приметами и символами высокой страсти. Пропитывая дешевыми духами свои незатейливые платьица, глядя в зеркало на свое нелепо раскрашенное лицо, она могла воображать себя Лолой

Монтес[96] и не предпринимать никаких шагов, чтобы подтвердить титул.

И не только зеркало говорило ей, кем она стала; было еще и общественное мнение: зависть и насмешки изумленных подружек, скандализованные учителя, возмущенные взгляды и замечания которых подстегивали ее тайные фантазии. Вокруг она видела подтверждение тому, что познала «великую любовь», стала «роковой женщиной». Все это было так внове, так захватывающе и увлекательно, что на какое-то время, слава богу, она обо мне почти забыла. Кроме того, я допустил непростительную оплошность, без должной серьезности приняв ее последнее перевоплощение. Это произошло в первый же день. Спустившись к завтраку, я услышал, что Бьюла и Рут о чем-то препираются в коридоре.

«Ай-яй-яй, такая славная девушка, — увещевала ее Бьюла, — постыдилась бы!»

«Славная девушка» попыталась было привлечь меня в союзники.

«Правда, Джон, мама не будет возражать против моей косметики?»

---

[96] Примечания: 96

Лола Монтес (1818–1861), настоящее имя Мария Гилберт, — ирландская актриса и танцовщица, авантюристка, фаворитка короля Баварии Людвига I.

Меня опередила Бьюла.

«Я скажу, что сделает твоя мама, — с сердитой и безжалостной прямотой заявила она, — как только увидит тебя, сядет на тахту, положит тебя на колени, снимет штанишки и задаст хорошую порку».

«Я не с тобой разговариваю, — с холодным презрением огрызнулась Рут и вновь повернулась ко мне. — Что скажете, Джон?»

Клубничные губы изогнулись в подобии соблазнительной улыбки, а глаза посмотрели на меня с еще большим обожанием, чем всегда.

«Как по-вашему?»

Из чувства самосохранения я сказал правду.

«Боюсь, что так и будет. Всыплет по первое число».

Улыбка увяла, глаза потемнели и сузились, под краской на щеках проступил естественный гневный румянец.

«Вы злой и гадкий!» — выпалила она.

«Кто здесь гадкий, хотела бы я знать», — вновь вмешалась Бьюла.

Рут нахмурилась и закусила губу, но не сочла нужным ей отвечать.

«Сколько лет было Джульетте?» — обратилась она ко мне, заранее предвкушая победу.

«Годом меньше, чем тебе», — ответил я.

Она одарила меня насмешливой торжествующей улыбкой.

«Только Джульетта не ходила в школу, — продолжал я. — Ни уроков, ни домашних заданий. Одни лишь мысли о Ромео и о косметике, хотя сомневаюсь, что она красилась. А у тебя есть алгебра, латынь и французские неправильные глаголы. Тебе дана неоценимая возможность стать в свое время образованной, культурной молодой женщиной».

Наступило долгое молчание.

«Я вас ненавижу!» — заявила наконец она.

То был вопль взбешенной Саломеи, Долорес, справедливо негодующей, что ее приняли за школьницу-малолетку. Потекли слезы. Смешиваясь с черной тушью, они проделывали жирные борозды в наслоениях пудры и румян.

«Ненавижу!» — прорыдала она и, вытерев глаза, увидела, во что превратился платок, после чего с душераздирающим криком умчалась наверх.

Через пять минут она, как ни в чем не бывало, отправилась в школу, с заново накрашенным, безмятежным лицом.

— Вот одна из причин, — заключил Риверс, — по которой наша великая влюбленная обращала

так мало внимания на предмет поглощающей ее страсти, вот почему роковая женщина в первые две недели своего существования предпочитала заниматься собой, а не человеком, которому автор сценария отвел роль жертвы. Рут испытала меня и поняла, что я, к сожалению, недостоин этой роли. Она решила, что эта часть пьесы должна быть монологом. Я получил отсрочку — по крайней мере, до конца четверти. Тем временем начал чудить нобелевский лауреат.

На четвертый день своей независимости Генри улизнул на вечеринку, которую устраивала известная музыковедша с богемными вкусами. «Трости, ветром колеблемые», вроде Генри, не умеют пить, как полагается джентльменам. Чтобы опьянеть, ему с головой хватало чая и приятной беседы. Мартини превращал его в маньяка, который внезапно впадал в уныние, а в конце неизбежно начиналась рвота. Он все это знал, но живший в нем ребенок требовал утверждения своей независимости. Кэти лишь изредка позволяла Генри выпить рюмку хереса. Теперь он ей покажет, что настоящие мужчины плевать хотели на глупый сухой закон. Кот из дома — мыши в пляс. Они затевают (такова любопытная извращенность человеческой натуры) опасные и

одновременно скучные игры. Проиграв и выйдя из такой игры, чувствуешь унижение, а если постараешься и выиграешь, тут же об этом жалеешь. Генри принял приглашение музыковедши, и случилось неизбежное. На втором коктейле он сделал из себя посмешище. К концу третьего держал музыковедшу за руку и рассказывал, что он — самый несчастный человек на свете. Едва начав четвертый, он опрометью бросился в ванную. И это еще не самое страшное. По дороге домой — ему почему-то взбрело в голову пройтись пешком — Генри умудрился потерять портфель с первыми тремя главами своей новой книги «От Буля к Витгенштейну». Даже теперь, целое поколение спустя, она остается лучшим введением в современную логику. Маленький шедевр! А ведь она могла быть еще лучше, если бы Генри не напился и не потерял первоначальный вариант тех трех глав. Скорбя о потере, я в то же время радовался ее отрезвляющему влиянию на беднягу Генри. Первые несколько дней после происшествия он был просто шелковый — почти как малыш Тимми. Я уж думал, что мои беды закончились, тем паче новости из Чикаго указывали на скорое возвращение Кэти. Судя по всему, ее матери оставалось недолго. Больная

угасала так стремительно, что однажды по дороге в лабораторию Генри попросил меня заехать в галантерею — купить черный атласный галстук для похорон. И вдруг — совершенно неожиданно — нас потрясла весть о чуде. В последний момент, не утратив надежды, Кэти пригласила другого врача — недавнего выпускника Медицинской школы университета Джонса Хопкинса, молодого, блестящего, неутомимого, знакомого с медицинскими новинками. Тот начал новый курс лечения, боролся со смертью всю ночь, день и следующую ночь. И выиграл битву: пациентка, стоявшая одной ногой в могиле, пошла на поправку. В письме Кэти ликовала, и я, разумеется, возрадовался вместе с ней. Старая Бьюла суетилась по хозяйству, громко восхваляя Господа, и даже дети отвлеклись от своих горестей и забот, от любовных фантазий и поездов, чтобы принять участие во всеобщем ликовании. Радовались все, кроме Генри. Нет, он тоже говорил, что рад; но его выдавало смурное лицо (он никогда не умел скрывать своих чувств). Он рассчитывал, что скорая смерть миссис Хэнбери вернет его лоно, секретаршу, мать и любимую в одном лице домой. А теперь — неожиданно, совершенно некстати (иначе и не скажешь), в дело вмешался юный вы-

скочка из Джонса Хопкинса со своим чудом, будь он неладен. И женщина, которая должна была спокойно отойти в мир иной, теперь, как назло, вне опасности. Ей ничто не угрожает, только она слишком слаба, чтобы остаться одной. Кэти придется сидеть в Чикаго, пока мать не окрепнет. Одному богу известно, когда вернется к Генри единственное существо, от которого зависит его здравие, разум, сама жизнь. Потеря надежды спровоцировала несколько приступов астмы. Затем вмешалось Провидение: пришло известие, что Генри избрали членом-корреспондентом Французского института. Как лестно! Он моментально излечился — увы, ненадолго.

Прошла неделя, и день ото дня мучения Генри превращались в настоящую агонию, точно у лишенного привычной дозы наркомана. Его тоска нашла выражение в дикой, бессмысленной обиде. Проклятая старая кошелка! (На самом деле мать Кэти была на два месяца моложе его самого). Злостная симулянтка! Разумеется, она вообще не болела — где это видано, чтоб человек так долго болел и не умирал? Просто придуривается. Зачем? Из эгоизма и от злости. Хочет, чтобы дочь была при ней, а еще (старая гадина всегда его ненавидела) чтобы Кэти, просто обязанная

находиться при своем муже, не могла вернуться домой. Я растолковал ему кое-что о нефрите и заставил перечесть письма Кэти. На день-другой это помогло, после чего пришла более утешительная весть. Больная поправляется так быстро, что, бог даст, через несколько дней ее можно будет оставить на попечении сиделки и прислуги. На радостях Генри впервые за все время нашего знакомства превратился в почти нормального отца. После обеда он не удалился, как обычно, в кабинет, а остался поиграть с детьми. Мало того, он не говорил с ними о высших научных материях, а старался развлечь, загадывал загадки. По чему, когда захочешь спать, идешь к кровати? По полу! Тимми пришел в восторг, и даже Рут снизошла до улыбки. Прошло еще три дня, наступило воскресенье. Вечером мы играли в безик, а потом в «Голову, тело и хвост». Часы пробили девять. Еще один кон, и дети пойдут спать. Через десять минут ребятишки улеглись и позвали нас пожелать спокойной ночи. Сперва мы заглянули к Тимми.

«А эту знаешь? — спросил у сына Генри. — Почему воробей может съесть горсточку зерна, а лошадь не может?»

Разумеется, надо было ответить, что воробей слишком маленький, чтобы съесть лошадь. Тим-

ми не понял, в чем подвох. Мы погасили свет и пошли к Рут. Девочка положила рядом с собой плюшевого мишку, который служил ей одновременно ребеночком и сказочным принцем. Она надела голубую пижаму и накрасилась. Когда учительница выразила протест против косметики и духов, а Рут не вняла ее замечанию, директор школы категорически запретил и то и другое. Поэтессе пришлось ограничиться раскрашиванием лица и ароматами перед отходом ко сну. В комнате разило поддельными фиалками, а подушка была испачкана помадой и тушью. Генри был не из тех, кто замечает такие мелочи.

«Какой цветок вырастет, если закопать любовные письма бывшего поклонника, когда у тебя появляется новый возлюбленный?» — спросил он у дочери, подходя к кровати.

«Новый возлюбленный?» — задумчиво переспросила Рут, перевела взгляд на меня, покраснела и отвернулась.

Выдавив смешок, она скучающим тоном ответила, что понятия не имеет.

Не успел он разъяснить дочери ход своей гениальной мысли, как где-то вдалеке, в хозяйской спальне, зазвонил телефон. Генри просиял.

«Чует мое сердце, что это Чикаго», — сказал он,

наклонившись и поцеловав дочь.

«А еще мне кажется, — добавил он, бросаясь к двери, — что мама вернется завтра. Завтра!»

«Вот будет здорово, — радостно произнес я, — если он прав!»

Рут кивнула и сказала «да», но оно прозвучало как «нет». Узкое размалеванное личико вдруг приняло озабоченное выражение. Она, без сомнения, вспомнила слова Бьюлы, что сделает Кэти, когда вернется. Явственно увидела, почти почувствовала, как Долорес-Саломею укладывают на материнское колено и звонко отшлепывают, хоть она и годом старше Джульетты.

«Ладно, я пойду», — сказал наконец я.

Рут поймала мою руку.

«Пожалуйста, не уходите», — взмолилась она, меняясь на глазах.

Беспокойство сменила трепетная улыбка обожания. Губы приоткрылись, глаза засияли. Она точно вдруг вспомнила, кто я такой — ее раб и предназначенный судьбой синебородый повелитель, ради которого она приняла двойную роль искусительницы и священной жертвы. А завтра, если вернется мать, будет слишком поздно. Спектакль окончится, театр закроют по приказу властей. Теперь или никогда. Она сжала

мою руку.

«Я вам нравлюсь, Джон?» — почти неслышно прошептала она.

«Конечно, нравишься», — жизнерадостно ответил я звонким, бодрым голосом вожатого скаутов.

«Так же сильно, как мама?»

«Что за глупый вопрос! — изобразив добродушное нетерпение, увильнул я. — Твоя мама нравится мне, как взрослая, а ты…»

«Как ребенок, — горько заключила она. — Точно это имеет значение!»

«А разве нет?»

«В таком смысле — нет».

Когда я спросил, в каком смысле, она, многозначительно сжав мою руку, ответила:

«Ну, когда кто-то нравится».

И вновь посмотрела на меня этим своим взглядом. Наступило неловкое молчание.

«Я лучше пойду», — сказал наконец я и, высвободив руку, продекламировал стишок, который чрезвычайно веселил Тимми: — Добрых снов, спокойной ночи, пусть клопы едят вас не очень.

Шутка ухнула в тишину, точно чугунная болванка. Рут смотрела на меня все тем же томным взглядом, который я нашел бы смешным, если б

не испугался до смерти.

«Так вы не хотите пожелать мне спокойной ночи по-настоящему?» — спросила она.

Я наклонился и хотел символически клюнуть ее в лоб; внезапно ее руки обвились вокруг моей шеи, и уже не я ее целовал, а она меня, сначала в правую скулу, затем, прицелившись получше, в уголок рта.

«Рут!» — возмутился я, но не успел я сказать что-нибудь еще, как она с неловким упрямством поцеловала меня вновь, прямо в губы.

Я вырвался.

«Зачем ты это сделала?»

Она вспыхнула, сияющие глаза стали еще больше, прошептала: «Я люблю вас», отвернула голову и уткнулась лицом в подушку, рядом с медведем.

«Ну все, — сурово заявил я, повернувшись к двери. — Больше никогда не приду пожелать тебе спокойной ночи».

Кровать скрипнула, босые ноги прошлепали по полу; когда я взялся за дверную ручку, Рут уже стояла рядом и тянула меня за рукав.

«Извините, Джон, — бессвязно забормотала она, — пожалуйста… Я сделаю все, что вы скажете. Все…»

И вновь эти по-собачьи преданные глаза, без

малейшего намека на искусительницу. Я потребовал, чтобы она вернулась в постель, и сказал, что смилуюсь над ней, если она будет хорошо себя вести, в противном случае…

С этой неопределенной угрозой я ее покинул. Пошел в свою комнату, смыл с лица помаду, затем вернулся по коридору к лестнице и направился в библиотеку. На лестничной площадке я чуть не столкнулся с Генри, который вынырнул из коридора, ведущего в его крыло.

«Что новенького?» — бодро начал я, но увидел его лицо и ужаснулся.

Пять минут назад он весело загадывал загадки, а теперь превратился в дряхлого старика, бледного, точно труп, хотя далеко не столь безмятежного. Его глаза и горькие складки у губ выражали невыносимое страдание.

«Что-то случилось?» — взволнованно спросил я.

Он молча покачал головой.

«Вы уверены?» — настаивал я.

«Это Кэти звонила, — безжизненным голосом произнес он. — Она не приедет».

Я спросил, не стало ли ее матери хуже.

«Очередная отговорка», — горестно произнес он, повернулся и побрел назад.

Охваченный беспокойством, я последовал за ним. Помню, в конце короткого прохода находилась дверь в ванную, а слева — еще одна, ведущая в хозяйскую спальню. Мне не доводилось бывать в этой комнате раньше, и у меня глаза на лоб полезли при виде удивительной кровати Маартенсов. Монументальное сооружение ранней американской эпохи с пологом на четырех столбах наводило на мысль об убийствах президентов и их же похоронах. Разумеется, у Генри оно вызывало совершенно другие ассоциации. То, что виделось мне катафалком, было для него брачным ложем. Рядом с символом и подмостками их супружеского счастья стоял телефон, только что приговоривший Генри к новому одиночному сроку.

— Нет, это не совсем подходящее слово, — поправился Риверс. — Супружество подразумевает равноправные отношения между двумя полноценными личностями. Кэти не была для него личностью. Она служила ему пищей, или даже частью его собственного тела. Без нее он напоминал корову, которую не выпускают на пастбище, больного желтухой, который пытается жить без печени. То была агония.

«Может, вам лучше прилечь?» — предложил я

вкрадчиво-льстивым тоном, на какой невольно переходят люди, разговаривая с больными, и указал на кровать.

На сей раз мой вопрос вызвал то, что может произойти, если кто-то нечаянно чихнет, двигаясь по склону горы со свежевыпавшим снегом — лавину. И какую лавину! В этом яростно бурлящем потоке нечистот не было ничего от ослепительной, девственной белизны снежного обвала. Он издавал зловонный смрад, удушал, ошеломлял. Все больше ужасаясь, я потрясенно внимал ему из своего рая для дурачков, где до сих пор пребывал благодаря своей запоздалой и совершенно непростительной невинности.

«Это очевидно, — повторял Генри, — абсолютно очевидно. Ясно, как день: Кэти просто не хочет возвращаться домой. Она нашла другого. Все понятно, это новый доктор. Врачи — лучшие любовники. Они знают физиологию и отлично разбираются в вегетативной нервной системе».

Ужас в моей душе уступил место негодованию. Как он смеет говорить такое о Кэти, об этой святой женщине, столь же чистой и совершенной, сколь и мое собственное, почти религиозное чувство к ней?

«Вы действительно предполагаете...» — на-

чал я.

Нет, Генри не предполагал. Он категорически утверждал. Кэти изменяет ему с этим хлыщом из Джонса Хопкинса. Я сказал, что он сошел с ума, а он заявил, что я ничего не смыслю в сексе. Крыть было нечем, и я попытался сменить тему. При чем здесь секс? Речь идет о больной матери, которая нуждается в дочерней заботе. Какое там! Генри не слушал. Ему нравилось растравлять себя. Если ты спросишь почему, могу только предположить, что он уже бился в агонии. Он был слабой, зависимой стороной симбиотического союза, который, как он считал, внезапно распался. Ему провели хирургическую операцию без анестезии. Возвращение Кэти успокоило бы боль и немедленно заживило рану. Но Кэти не возвращалась. Следовательно (как тебе логика?) Генри необходимо было причинить себе как можно больше дополнительных страданий. И чтобы сделать это наиболее эффективно, он должен был облечь свое несчастье в терзающие душу слова. Говорить и говорить — нет, не со мной, и даже не мне, а самому себе, но обязательно (и это главное для страдания) в моем присутствии. Мне отводилась роль не актера второго плана, не доверенного лица или мальчика на побегушках.

Нет, я служил всего лишь безымянным, почти безликим дополнением, которое дает ему повод высказывать свои мысли вслух. Одним своим пребыванием на сцене я вносил в подслушанный монолог чудовищность и непристойность, каких ему не хватало бы, произноси его герой в одиночестве. Самопроизвольный поток нечистот набирал силу. От предательства Кэти он перешел к ее выбору (и то была самая недобрая часть) более молодого любовника. Раз он моложе — значит, мужественнее, сильнее, неутомимее. Не говоря уже о том, что по роду своих занятий лучше знаком с физиологией и вегетативной нервной системой. Личность, профессионал, преданный своему делу целитель — все исчезло, как, впрочем, и сама Кэти. Не осталось ничего, кроме пары соответствующих органов, бешено выполняющих свое единственное предназначение в пустоте. То, что он может думать в таких выражениях о Кэти и ее гипотетическом любовнике, подтверждало мои смутные догадки о том, что подобным же образом он видит и свои отношения с Кэти. Как я уже говорил, Генри был «трость, ветром колеблемая». Такие, как ты наверняка замечал, склонны к пылкости. Они пылки до безумия. Нет, не так. Безумие слепо, а любовники,

подобные Генри, никогда не теряют головы. Они сохраняют здравый смысл, как бы далеко ни зашли, чтобы полностью осознавать свой разрыв с партнером. Вообще, это была почти единственная область, не считая лаборатории и библиотеки, которую Генри считал достойной осознания. Мир обычных людей подобен французскому кофе с молоком — пятьдесят процентов снятого молока и пятьдесят процентов вываренного цикория, психофизическая реальность один к одному с общеупотребительным словоблудием. Генри жил в мире, устроенном на манер хайбола. Он представлял собой смесь из полупинты шипучих философских и научных идей с наперсточком житейского опыта, большей частью сексуального. Такие слабые, ненадежные люди редко бывают общительными. Они чересчур заняты своими мыслями, чувствами и психосоматическими жалобами, чтобы проявлять интерес к другим людям — даже к собственной жене и детям. Они живут в состоянии полного и добровольного неведения, ничего ни о ком толком не зная, и при этом имеют заранее сложившееся мнение обо всем на свете. Взять, к примеру, воспитание детей. Генри всегда судил о нем с видом знатока.

Он читал Пиаже, Дьюи и Монтессори[97], читал психоаналитиков. Все это имелось в картотеке его мозга, классифицированное, разложенное по полочкам, всегда под рукой. Но когда доходило до практической помощи Рут или Тимми, он либо оказывался абсолютно некомпетентным, либо исчезал со сцены. Потому что они наводили на него скуку. Все дети наводили на него скуку, как и подавляющее большинство взрослых. А разве могло быть иначе? Они примитивно мыслили и читали всякую чепуху. Что они могли ему предложить? Свои жалкие мнения, свою унылую мораль, редко — случайную мудрость, а чаще — ее плачевное отсутствие. Одним словом, свою человеческую природу. А это интересовало Генри меньше всего. Между мирами квантовой теории с гносеологией на одном конце спектра и секса напополам с болячками на противоположном зияла пустота, населенная одними лишь призраками. И семьдесят пять процентов этих призраков составлял он сам — ведь о своей собственной человеческой

[97] Примечания: 97

Жан Вильям Фриц Пиаже (1896–1980) — швейцарский психолог и философ, известен работами по изучению психологии детей. Джон Дьюи (1859–1952) — американский философ и педагог, представитель прагматизма. Мария Монтессори (1870–1952) — итальянский врач и педагог, известная своей уникальной педагогической системой, основанной на идее свободного воспитания.

природе он тоже знал очень мало. Собственные мысли и ощущения — да, в этом он понимал. Но кто он, человек, которому принадлежат эти мысли и чувства? Каковы его связи с тем, что его окружает? Какими, наконец, должны быть эти связи? Сомневаюсь, что Генри когда-либо приходило в голову задуматься над этими вопросами. Во всяком случае в тот раз не пришло. Его монолог не был мучительными размышлениями супруга, мечущегося между любовью и подозрениями в неверности. Такой вполне объяснимый человеческий ответ на довольно обычную житейскую ситуацию никогда не прозвучал бы в присутствии столь незрелого и глупого слушателя, не способного понять и помочь, как молодой Джон Риверс тридцать лет назад. Нет, реакция Генри была куда более нечеловеческой, и одним из элементов ее ненормальности являлся тот чудовищный и возмутительный факт, что все это произносилось не в присутствии близкого друга или профессионального консультанта, а всего лишь молодого недотепы с чересчур благочестивым прошлым и парой восприимчивых, но сгорающих со стыда ушей. Бедные эти уши! Сколько в них вылилось ясно выраженной, богато аргументированной наукообразной грязи!

Бертон и Хевлок Эллис, Крафт-Эбинг и несравненные Плосс и Бартельс[98] — все они, подобно Пиаже и Джону Дьюи, хранились в картотеке его мозга в мельчайших подробностях. И в данной области, как стало для меня совершенно очевидно, Генри не ограничивался ролью диванного теоретика. Он систематически применял теорию на практике. До чего же трудно теперь, когда мы обсуждаем оргазм за тарелкой супа, а половые извращения за вазочкой мороженого, вспомнить силу старых запретов, глубину молчания, окутывающего отношения полов! Что до меня, то все, о чем говорил Генри — техники сношения, антропология брака, статистика сексуального удовлетворения, — было откровением из бездны. О таких вещах приличные люди не то что не говорили, а, по моему представлению, даже не подозревали; такое могло обсуждаться только в борделях, на оргиях богачей, на Монмартре, в китайском или французском квартале. И эти

[98] Примечания: 98

Роберт Бертон (1577–1640) — английский философ-моралист, автор трактата «Анатомия меланхолии», где обсуждаются также и любовные переживания. Хевлок Эллис (1859–1939) — английский ученый и писатель, автор шеститомного труда «Исследование психологии секса». Крафт-Эбинг (1840–1902) — немецкий психиатр, автор книги «Сексуальная психопатия». Герман Генрих Плосс (1819–1885) — немецкий антрополог и гинеколог. Пауль Бартельс (1874–1914) — немецкий физиолог, автор труда «Женщина в естествоведении и народоведении».

мерзейшие ужасы изливал в мои уши человек, которому я не знал равных, превосходящий интеллектом и ученой мудростью всех, кого я знал. И касались они женщины, которую я любил, как Данте — Беатриче, обожествлял, как Петрарка Лауру. Он называл Беатриче ненасытной, утверждал, что Лаура нарушила свои брачные обеты ради физических ощущений, которые может дать любой здоровый самец, имеющий представление о вегетативной нервной системе. Его слова ошарашили бы меня, даже не обвиняй он Кэти в измене, ведь сказанное подразумевало, что все эти ужасы происходят не только в случае адюльтера, но и в самой обычной семейной жизни.

— Ты, наверное, не поверишь, — добавил, усмехнувшись, Риверс, — да только это чистая правда. До того момента я понятия не имел, что происходит в постели между мужем и женой. То есть понятие-то я имел, но совершенно ошибочное. Я считал, что, в отличие от социальных низов, порядочные люди занимаются любовью только с целью зачать ребенка — один раз в жизни, как в случае моих родителей, дважды — как у Маартенсов. И вот Генри сидит на краю своего катафалка и вещает. С кристальной ясностью гения, с детской непосредственностью разгла-

гольствует обо всех этих непонятных вещах, что кажутся мне отвратительно аморальными, и которые происходили под этим траурным пологом. А Кэти, моя Кэти, была его соучастницей — не жертвой, как наивно предполагал я вначале, а добровольной и вдохновенной союзницей. Именно ее пылкость дала Генри повод к подозрениям. Коль чувственность так много значила для нее здесь, на домашнем катафалке, из этого непременно следует, что она еще важнее для Кэти там, в Чикаго, с молодым врачом. Внезапно, к моему невообразимому смущению, Генри закрыл лицо руками и разрыдался.

Наступило молчание.

— И что же ты сделал? — спросил я.

— А что я мог? — пожал плечами Риверс. — Ничего. Пробормотал какие-то утешения и посоветовал ему лечь в постель. Завтра он поймет, что жестоко ошибался. Я улизнул на кухню — под предлогом, что принесу ему теплого молока. Бьюла сидела в кресле-качалке, читая какую-то книжонку о Втором пришествии. Я сообщил ей, что доктор Маартенс неважно себя чувствует. Она выслушала, многозначительно кивнула, точно ожидала этого, и долго молилась про себя, закрыв глаза и беззвучно шевеля губами. Затем

она вздохнула и проговорила: «Не занят, выметен и убран»[99].

Такие ей пришли слова. И хотя странно было говорить так о человеке, в голове у которого больше, чем у полудюжины обычных умников, по здравом размышлении я понял, что это точное описание бедняги Генри. Не занят, ведь в его душе нет Бога, начисто выметен от последних крупиц мужества и убран блестящими сентенциями, точно новогодняя елка. В него вселились и овладели семь других духов, даже худших, чем глупость и сентиментальность.

Тем временем нагрелось молоко. Я налил его в термос и пошел наверх. Войдя в комнату, я в первую минуту подумал, что Генри сбежал, а потом услышал какое-то шевеление за катафалком. Генри стоял в закутке между окном и ситцевым пологом, перед открытой дверцей небольшого сейфа, вделанного в стену и обычно спрятанного за поясным портретом Кэти в свадебном платье.

«А вот и молочко», — притворно-жизнерадостно начал я, но вдруг заметил, что он достал из

---

[99] Примечания: 99

Одна из притч Иисуса гласит: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его не занятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там».

глубин сейфа револьвер. У меня чуть не остановилось сердце. Я вспомнил, что есть ночной поезд на Чикаго. В воображении замелькали сенсационные заголовки послезавтрашних газет. «Известный ученый убил жену и себя». Или: «Нобелевский лауреат задержан за двойное убийство». Или даже: «Мать двоих детей погибает в пылающем любовном гнездышке». Я поставил термос и подошел к Генри, готовый, если потребуется, сбить его с ног левой в челюсть или резким коротким ударом в солнечное сплетение.

«Позвольте, доктор Маартенс», — почтительно произнес я.

Он сдался без боя, сделав лишь слабую бессознательную попытку удержать револьвер. Через пять секунд оружие было у меня в кармане.

«Я просто посмотрел, — тихим невыразительным голосом сказал он и добавил, помолчав немного: — Чудна́я штука, если подумать».

«Что?» — спросил я.

«Смерть».

Дальше этого вклад великого ученого в сокровищницу человеческой мудрости не продвинулся. Смерть — чудна́я штука, если подумать. Именно поэтому он никогда о ней не думал, кроме таких случаев, как сейчас, когда душев-

ная боль заставила его испытать потребность в еще большем страдании. Убийство? Самоубийство? Ему даже мысли такие не приходили. В эти мучительные минуты орудие смерти служило лишь горьким напоминанием, что когда-нибудь, хотя очень и очень не скоро, ему тоже придется умереть.

«Ну что, положим его на место?» — спросил я.

Он кивнул. На столике у кровати лежало все, что он вытащил из сейфа, добираясь до револьвера. Я стал складывать вещи обратно: шкатулка с драгоценностями Кэти, полдюжины коробочек с золотыми медалями, врученными великому человеку разными научными обществами, пухлые коричневые конверты с документами. И, наконец, те самые книги: шесть томов «Психологии секса», томик «Фелиции» Андреа де Нерсиа[100] и анонимный труд с иллюстрациями, изданный в Брюсселе, под названием «Пансион мисс Флогги».

«Ну, вот и все», — насколько мог спокойно и весело произнес я, запер сейф и вернул ему ключ.

Портрет я повесил на место. Кто бы мог подумать, что за белым атласом, флердоранжем

---

[100] Примечания: 100

Андре-Роббер де Нерсиа (1739–1800) — французский поэт, драматург и автор фривольных порнографических романов.

и лилиями, за сияющим лицом мадонны, чью красоту не утаила от взгляда даже неумелость третьеразрядного художника, скрываются эти странные и разномастные сокровища — «Фелиция» и биржевые бумаги, «Мисс Флогги» и золотые символы, которыми награждает гениев не слишком благодарное общество?

Полчаса спустя я оставил его и отправился в свою комнату, испытывая неописуемое облегчение — наконец-то свободен от этого кошмара. Не тут-то было! Первое, что я увидел включив свет — конверт на подушке. Я извлек из него два розовато-лиловых листка — любовное стихотворение от Рут. На этот раз томленье рифмовалось с сомненьем, а признанье со страданьем и крушением мироздания. Для одного вечера это было слишком: гений держит в сейфе порнографию, Беатриче училась у мисс Флогги, невинное дитя размалевывает лицо и адресует молодым людям страстные глупости, а если я забуду запереть дверь, того и гляди, перенесет свои томленья и пыланья из скверных стишков в еще более скверную действительность.

На следующее утро я проспал и, спустившись к завтраку, обнаружил, что дети уже доедают хлопья.

«После всего ваша мама не приезжает», — объявил я.

Тимми искренне огорчился. Рут выразила подобающее случаю сожаление, однако ее выдали радостно вспыхнувшие глаза. От злости во мне пробудилась жестокость. Я достал из кармана стихи и положил на скатерть рядом с ее тарелкой.

«Дрянные стишки», — бессердечно заявил я и, не удостоив девчонку взглядом, отправился будить Генри.

Его лекция начиналась в девять тридцать, и он мог опоздать, если я не вытащу его из постели. В ответ на стук в дверь он умирающим голосом сообщил, что болен. Я вошел в комнату. На кровати-катафалке лежал практически мертвец. Я измерил ему температуру. Тридцать восемь и три. Что тут будешь делать? Я помчался вниз на кухню — советоваться с Бьюлой.

«Вот увидите, он заставит ее вернуться домой», — сказала та и поведала мне историю, случившуюся два года назад, когда Кэти отправилась навестить могилу своего брата, похороненного на военном кладбище во Франции.

Не прошло и месяца после ее отъезда, как Генри захворал — так сильно, что пришлось вызывать ее домой телеграммой. Девять дней спустя, когда

Кэти вернулась в Сент-Луис, он был при смерти. Она вошла в комнату больного, положила руку ему на лоб.

«Истинно вам говорю, — вдохновенно расписывала Бьюла, — то было сущее воскрешение Лазаря. Лежал на смертном одре, и вдруг — фьють, ожил! От смерти к жизни — как на лифте. Через три дня уминал жареных цыплят и тараторил, как заведенный. В этот раз будет то же самое. Он заставит ее приехать домой, даже если ради этого придется встать одной ногой в могилу».

— Так и получилось, — продолжал Риверс. — Он вновь чуть не умер.

— Ты хочешь сказать, по-настоящему? Он не притворялся?

— Как будто одно исключает другое! Разумеется, притворялся, но так старательно, что чуть не умер от пневмонии. Правда, тогда я этого толком не понимал. В данном отношении подход Бьюлы оказался гораздо ближе к научному, чем мой. Я свято верил, что в болезнях виноваты микробы, в то время как она исповедовала психосоматическую медицину. В общем, я вызвал врача и воротился в столовую. Дети позавтракали и ушли. С тех пор я не видел их почти две недели: вечером, когда я вернулся из лаборатории, оказалось,

что Бьюла по совету врача собрала детские вещи и отправила Рут с Тимми погостить у знакомых, живших неподалеку. Я испытал неимоверное облегчение: меня избавили от стихов и от необходимости запираться в комнате. Я позвонил Кэти в понедельник вечером, а затем во вторник, сообщая, что пришлось нанять медсестру и взять напрокат кислородную палатку. На следующий день Генри стало хуже; связавшись с Чикаго, я узнал, что бедняжке миссис Хэнбери — тоже.

«Я не могу ее бросить, — взволнованно повторяла Кэти, — никак не могу!»

Генри, рассчитывавшего на ее возвращение, это известие чуть не убило. За два часа его температура поднялась на целый градус, он горел.

«Или он, или миссис Хэнбери», — высказалась Бьюла и ушла в свою комнату советоваться с высшими силами.

Через двадцать пять минут пришел ответ свыше. Миссис Хэнбери в любом случае умрет, а Генри выздоровеет, если Кэти вернется. Значит, она должна ехать домой. Убедил ее врач.

«Не хочу вас пугать, — сказал он ей по телефону, — но…»

Это решило дело.

«Завтра вечером буду дома», — сказала Кэти.

Генри таки добился своего, хотя чего ему это стоило! Врач ушел. Сиделка устроилась на ночь у постели больного. Я пошел в свою комнату. «Завтра вернется Кэти, — говорил я себе. — Завтра вернется Кэти». Но которая из них? Моя или Генри, Беатриче или любимая ученица мисс Флогги? Неужели теперь все изменится? — гадал я. — Смогу ли я относиться к ней так, как раньше, после этого потока нечистот? Эти вопросы терзали меня всю ночь и весь следующий день. Они мучили меня и тогда, когда я услышал звук подъезжающего такси. Моя Кэти или его? Охваченный ужасным предчувствием, я долго не мог заставить себя пошевелить рукой или ногой. Когда наконец нашел в себе силы встать и выйти поздороваться, багаж стоял на ступеньках, а Кэти расплачивалась с шофером. Она повернула голову. В свете фонаря на крыльце она выглядела смертельно бледной, усталой и замученной. Но какой же прекрасной! Красивее, чем когда-либо, по-новому, душераздирающе прекрасной, так что я немедленно полюбил ее со страстью, бесследно уничтожившей последние следы грязи, растворившиеся в жалости, и на их месте запылало пламя самопожертвования, отчаянное стремление помочь, защитить, отдать ей саму

свою жизнь. А что же с монологом Генри и другой Кэти? Что с «Мисс Флогги», и «Фелицией», и «Психологией секса»? Если верить моему учащенно забившемуся сердцу, они никогда не существовали или же просто не имели никакого значения.

Когда мы вошли в дом, из кухни выбежала Бьюла. Кэти бросилась ей на шею, и долгих полминуты они стояли, сжимая друг друга в безмолвном объятии. Затем старушка, подавшись назад, испытующе оглядела хозяйку, и выражение слезной радости сменилось глубоким беспокойством.

«Господи, это не вы! — вскричала она. — От вас осталась одна тень. Не лучше его выглядите».

Кэти пробовала отшутиться: дескать, просто устала, вот и все.

Старушка упрямо покачала головой.

«Нет, из вас выжали все силы. Как из нашего Господа, когда все эти калеки за него хватались».

«Чепуха», — сказала Кэти.

Однако то была правда. Силы действительно ее покинули. Три недели у постели матери выжали из нее все соки. Осталась пустая, хрупкая оболочка, которая держалась только на усилии воли. Этого мало. Воля не будет переваривать за тебя пищу и сбивать твою температуру, тем более

— чью-то еще.

«Погодите до завтра, — стала умолять ее Бьюла, когда Кэти выразила желание проведать больного. — Отоспитесь. В таком состоянии вы ничем ему не поможете».

«В прошлый раз помогла», — возразила Кэти.

«В тот раз было по-другому, — упорствовала старушка. — Тогда у вас были силы, а теперь вы похожи на привидение».

«Вечно ты со своими привидениями», — чуточку раздраженно произнесла Кэти и повернулась к лестнице.

Я последовал за ней. Генри не то спал под своей кислородной палаткой, не то был без сознания. Подбородок и щеки покрывала седая щетина, на исхудавшем лице выделялся карикатурно огромный нос. Словно почувствовав наше присутствие, он поднял веки. Кэти наклонилась над прозрачным окошком палатки и произнесла его имя. Бесполезно — в светло-голубых глазах не отразилось и намека на то, что он ее узнал или даже увидел.

«Генри, — повторила она, — Генри! Это я. Я вернулась».

Блуждающий взгляд остановился, по лицу скользнул проблеск узнавания, но лишь на

несколько мгновений. Глаза вновь забегали, губы зашевелились, и он ушел в свои бредовые фантазии. Чудо сорвалось. Лазарь не желал воскресать. Наступило тягостное молчание.

«Пойду-ка я лучше спать», — тяжело, безнадежно произнесла Кэти.

— А что же чудо? — спросил я. — Она совершила его на следующее утро?

— Как она могла? В ней не осталось ни сил, ни жизни, одна лишь воля да беспокойство. Я вот думаю, что хуже: тяжело болеть самому или смотреть, как мучается тот, кого ты любишь. Прежде всего надо определить, что значит «ты». Допустим, я говорю: ты тяжело болен. Но разве это ты? Разве это не новая, ограниченная личность, созданная лихорадкой и токсинами? Личность без интеллектуальных интересов, без социальных обязанностей, без материальных соображений. В то время как любящая сиделка остается собой, со своими воспоминаниями о прошлом счастье, страхами за будущее, тревожным осознанием мира за четырьмя стенами комнаты больного. И тут встает вопрос о смерти. Как ты реагируешь на возможность смерти? Если человек тяжело болен, то рано или поздно наступает момент, когда какая-то часть его существа не прочь умереть,

как бы страстно он ни цеплялся за жизнь. Все что угодно, лишь бы закончился этот невыносимый, унизительный кошмар чувствовать себя всего лишь куском страдающей плоти. «Свобода или смерть». Но в данном случае они — одно и то же. Свобода равна смерти, а смерть — обретению счастья, разумеется, только для больного, а не для сиделки, которая его любит. Ей недоступна роскошь смерти, освобождение от тюрьмы. Ее дело — продолжать борьбу, даже если совершенно очевидно, что битва проиграна, продолжать надеяться, когда не осталось ничего, кроме отчаяния; продолжать молиться, даже если Бог от нее отвернулся, даже если она не верит в его существование. Она может сходить с ума от горя и предчувствий, но должна вести себя так, точно уверена в победе. Она может утратить мужество, но должна поддерживать его в больном. Она делает все это на пределе человеческих возможностей, не позволяя себе отдохнуть. Она должна днем и ночью быть рядом, постоянно готовой отдавать, отдавать, и продолжать отдавать, даже если у нее ничего не осталось.

— Ничего, — повторил он. — Так произошло с Кэти. Полностью разорившись, она под давлением обстоятельств и собственной воли продолжала

растрачивать себя. Хуже того, траты были бесполезными. Генри не становилось лучше. Он только что не умирал. А она тем временем убивала себя, пытаясь вернуть его к жизни. Прошло несколько дней — три, четыре, точно не помню. И наступил день, который я никогда не забуду. Двадцать третье апреля тысяча девятьсот двадцать второго года.

— День рождения Шекспира.

— И мой.

— Твой?

— Не по календарю, — объяснил Риверс. — Мой обычный день рождения — в октябре. Духовный. День моего превращения из недоделанного кретина в хоть какое-то подобие человеческого существа. Думаю, — прибавил он, — мы заслужили еще немножко виски.

Он наполнил стаканы и повторил:

— Двадцать третье апреля. Какой беспросветный день! Генри с трудом пережил ночь, ему явно стало хуже. В полдень позвонила из Чикаго сестра Кэти и сообщила, что конец близок. Вечером я читал доклад в местном Научном обществе. Вернувшись домой в одиннадцать, я нашел у постели больного только сиделку. Она отправила Кэти поспать. Мне ничего не оставалось, кроме

как тоже лечь в постель.

Часа через два меня вывело из забытья прикосновение чьей-то руки. Стояла непроглядная тьма, однако я сразу узнал тонкий, нежный аромат фиалкового корня, окружавший невидимую сущность. Я сел на кровати.

«Миссис Маартенс?» (Я так и называл ее: миссис Маартенс).

Она молчала, и меня охватило нехорошее предчувствие.

«Что, доктору Маартенсу хуже?» — взволнованно спросил я.

Ответа не последовало, только легкое движение в темноте да скрип пружин, когда она села на край кровати. Бахрома испанской шали, которую она набросила на плечи, задела мое лицо, меня окутало ее ароматом. Внезапно преисполнившись ужаса, я вспомнил монолог Генри. Беатриче ненасытна в постели, а Лаура — выпускница мисс Флогги. Какое кощунство, какое чудовищное святотатство! Прервав затянувшееся молчание, Кэти сказала невыразительным, безжизненным голосом, что опять звонили из Чикаго: ее мать умерла. Меня охватил стыд, переросший в глубочайшее раскаяние и ненависть к себе. Я пробормотал что-то утешительное. И вновь услышал тот же

равнодушный голос.

«Я пыталась уснуть, не могу — слишком устала».

Еще один безнадежный вздох — и тишина.

«Вы когда-нибудь видели, как кто-то умирает?» — спросил, наконец, голос.

Но попасть во Францию в годы военной службы мне не довелось, а когда умирал мой отец, меня отправили к бабушке. В двадцать восемь лет я знал о смерти не больше, чем о другом великом вторжении природы в человеческую жизнь, естественного переживания в мир наших представлений и условностей — об акте любви.

«Самое ужасное — разрыв связей, — услышал я голос Кэти. — Ты сидишь, беспомощно наблюдая, как рвутся связи, одна за другой. С людьми, с языком, с окружающим миром. Они перестают замечать свет, чувствовать тепло, не могут дышать. И наконец начинают отрываться от собственного тела. Остается только тоненькая ниточка — с каждой минутой все тоньше и тоньше».

Ее голос сорвался, и по приглушенному звучанию последних слов я понял, что Кэти закрыла лицо руками.

«Одиночество, — прошептала она, — вечное одиночество. В смерти и в жизни — мы все оди-

ноки».

В темноте послышался тихий всхлип, затем она судорожно вздрогнула и зарыдала. Я любил ее всей душой, ей было невыносимо больно, а я не знал, что сказать, кроме как «Не плачьте».

Риверс пожал плечами.

— Что еще можно сказать, столкнувшись со смертью, если не веришь в Бога и загробную жизнь — а я, будучи сыном священнослужителя, естественно, не верил, разве только в переносном смысле. Помимо всего прочего меня страшно смущало еще и то, что я не мог решить, как к ней обращаться. Мое искреннее сострадание не позволяло называть ее «миссис Маартенс», а обращение по имени могло показаться чересчур фамильярным, могло даже прозвучать так, точно я — негодяй, который хочет воспользоваться ее горем в своих низменных целях, не в силах забыть мисс Флогги и лавину грязи, обрушенную Генри.

«Не плачьте», — повторил я, не решаясь произнести запретные ласковые слова или ее имя, робко протянул руку и неуклюже похлопал ее по плечу.

«Простите, — сказала она, а затем сбивчиво пробормотала: — Обещаю, что завтра… возьму

себя в руки».

И после очередного приступа судорожных рыданий: «Я ни разу не плакала, с тех пор как вышла замуж».

Смысл ее последних слов начал доходить до меня много позже. Беднягу Генри не устроила бы жена, которая позволяет себе плакать. Его многочисленные хронические недомогания не давали Кэти расслабиться. Но даже у самой непоколебимой стойкости есть предел. Той ночью Кэти дошла до последней черты. Она потерпела полный крах — хотя в каком-то смысле это пошло ей на пользу. Слишком много всего на нее свалилось. Но в качестве компенсации она получила передышку, ей было позволено, пусть на каких-то несколько минут, насладиться недоступной для нее роскошью — поплакать.

«Не плачьте», — бормотал я.

А ей хотелось плакать, ей нужно было выплакаться. Не говоря уже о том, что поводов было более чем достаточно. Кэти окружала смерть — она отобрала у нее мать и угрожала вот-вот отобрать мужа; несколько лет спустя смерть придет за ней, а еще через какое-то время унесет ее детей. Все они идут к одному и тому же концу — к медленному, но неотвратимому уничтожению

связей с миром, к разрыву нитей, к последнему, одинокому прыжку в пустоту.

Где-то далеко, над крышами домов, часы пробили три четверти. Этот звон — рукотворный символ неумолимого бега времени, подлил масла в огонь ее вселенского несчастья, еще раз напоминая о неизбежном конце.

«Не плачьте», — простонал я, и, забыв обо всем, кроме своей жалости, обнял ее за плечи и притянул к себе.

Она, дрожа от рыданий, прильнула к моей груди. Пробили часы, безвозвратно утекало время, и все мы, даже еще живые, невыносимо одиноки. Наше единственное преимущество перед женщиной, скончавшейся там, в Чикаго, и перед мужчиной, умиравшим в другом конце дома, состояло в том, что мы могли соединить свои одиночества и притвориться, что они слились в некую общность. Но тогда я об этом не задумывался. Мое сердце переполняли любовь и жалость, да еще искреннее беспокойство о здоровье богини, внезапно превратившейся в плачущего ребенка, моей обожаемой Беатриче, которая дрожала у меня объятьях, как осиротевший щенок. Я потрогал руки, которыми она закрывала лицо — они были как ледышки. И босые ноги тоже окоченели.

«Да вы совсем замерзли! — чуть ли не гневно вскричал я и добавил, радуясь поводу направить свою жалость в какое-то полезное русло: — Немедленно под одеяло!»

Я представил, как нежно подтыкаю ей одеяло и сажусь в кресло, по-матерински наблюдая, как она засыпает. Но когда я хотел встать с кровати, она вцепилась в меня и не отпустила. Я честно сопротивлялся.

«Миссис Маартенс!»

Но это было все равно что вырываться из рук тонущего ребенка: бесчеловечно и бесполезно. Она продрогла до костей и тряслась, как осиновый лист. Мне оставалось одно.

— Ты тоже залез под одеяло?

— Да, и вокруг моей шеи обвились ледяные голые руки, ко мне прильнуло дрожащее от рыданий тело.

Риверс отхлебнул виски, откинулся на спинку кресла и долго курил, не говоря ни слова.

— Правда, — сказал наконец он, — одна только правда и ничего, кроме правды. Все свидетели дают одну и ту же клятву и описывают одно и то же событие. А в результате получается пятьдесят семь разных версий литературного вымысла. Какая из них ближе к истине? Стендаль или

Мередит? Анатоль Франс или Дэвид Герберт Лоуренс? «Потоки жизней наших сольются в золоте страстей»[101] или «Сексуальное поведение женщины»?

— А ты знаешь ответ? — поинтересовался я.

Он покачал головой.

— Вероятно, здесь может помочь геометрия. Попробуем описать это событие в трехмерной системе координат.

Мундштуком трубки Риверс начертил в воздухе две линии, составляющие прямой угол, и провел из точки пересечения вертикаль, подняв руку выше головы.

— Пусть одна из этих линий — Кэти, другая — Джон Риверс тридцать лет назад, а третья — Джон Риверс сегодняшний, то есть я. Что мы можем сказать о ночи двадцать третьего апреля тысяча девятьсот двадцать второго года, исходя из этой системы отсчета? Разумеется, не всю правду. Но гораздо больше правды, чем любой односторонний подход. Начнем с оси Кэти.

Он вновь провел размытую линию, подчеркнутую дымовыми разводами из трубки.

— Это ось прирожденной язычницы, в силу

---

[101] Примечания: 101
Строки из поэмы Перси Биши Шелли «Эпипсидион».

обстоятельств попавшей в затруднительное положение, справиться с которым мог разве что убежденный христианин или буддист. Ось женщины, которая всегда жила в добром согласии с миром, но неожиданно для себя оказалась на краю бездны, перед лицом пугающей черной пустоты, угрожающей поглотить ее тело и душу. Бедняжка! Она чувствовала себя покинутой — нет, не Богом (Кэти была по природе своей не приспособлена к монотеизму), а целым сонмом богов, всеми сразу, от мелких домашних ларов и пенатов до всемогущих олимпийцев. Они покинули ее и забрали с собой все. Она испытывала потребность вновь обрести своих богов, вновь стать частью природного, а тем самым божественного порядка вещей. Она должна была восстановить свои связи с жизнью, с жизнью в ее простейшей форме, в самых недвусмысленных проявлениях — физический контакт, животное тепло, сильные чувства, такие как голод и его утоление. Речь шла о самосохранении. И это еще не все, — добавил Риверс. — Она оплакивала только что скончавшуюся мать, горевала по своему мужу, который назавтра мог умереть. Между сильными чувствами есть нечто общее. Гнев легко превращается в сексуальную

агрессию, а печаль, если предоставить ей такую возможность, бесследно растворится в самой упоительной чувственности. После чего, разумеется, «возлюбленному Своему Он дает сон»[102]. Любовь заменяет человеку, пережившему тяжелую утрату, снотворное или путешествие на Гавайи. Никто ведь не осудит вдову или сироту, прибегнувших к этим успокоительным средствам. Так зачем порицать их за попытку сохранить свою жизнь и рассудок с помощью другого, более простого метода?

— Я не порицаю, — уверил его я. — Только многие думают иначе.

— Тридцать лет назад я тоже считал по-другому.

Он поднял трубку и провел перед собой воображаемую вертикаль.

— Ось занудного двадцативосьмилетнего девственника, бывшего лютеранина, бывшего маменькиного сынка, идеалиста в духе Петрарки. С этой позиции я только и мог, что считать себя коварным прелюбодеем, а Кэти… Страшно сказать, кем я должен был считать Кэти, хотя с ее божественной точки зрения ничего неесте-

[102] Примечания: 102

Псалом 126:2: Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон.

ственного не случилось, а естественное не может быть аморальным. Если смотреть отсюда, — он обозначил ось Джона Риверса в наше время, — я бы сказал, что и она, и я были наполовину правы, а значит — полностью заблуждались. Она — тем, что с высоты своего Олимпа считала себя выше добра и зла. (Что такое олимпийцы? Всего лишь горстка животных, наделенных сверхъестественными способностями.) А я, хоть и не считал себя выше добра и зла, с головой увяз в общепринятых понятиях греха и социальных условностях. Она оказалась бы полностью права, опустившись до моего уровня и пройдя еще дальше, на другую сторону. А мне следовало подняться до ее уровня и, поняв, что этого мало, стремиться вперед, чтобы встретить ее там, где становишься выше добра и зла не как сверхъестественное животное, а как преображенный человек. Достигнув этого уровня, сделали бы мы то, что случилось потом? Трудно сказать. Но мы не смогли. Она была богиней, которая потерпела временное поражение и пыталась вернуться на Олимп с помощью чувственности. А я — смятенной душой, совершившей грех тем более страшный, что ему сопутствовало неимоверное наслаждение. Попеременно, а порой даже одновременно, я был двумя разными людьми

— неопытным новичком, которому посчастливилось попасть в руки женщины, соединившей в себе раскованность, материнскую нежность и страстную сексуальность, и терзаемым муками совести негодяем, который стыдился, что поддался низменным страстям, и поражался непринужденности (поскольку был склонен к осуждению и раскаивался), с какой его Беатриче принимала радости плотских утех, а его Лаура обнаруживала искушенность в искусстве любви, более того, обнаруживала его на мрачном фоне смерти. Умерла миссис Хэнбери, умирал Генри. По всем правилам Кэти полагалось надеть траур, а мне — предлагать философские утешения. А в действительности, в грубой, парадоксальной действительности…

Он замолчал.

— Карлики, — задумчиво продолжал он, прикрыв глаза и отдаваясь далеким воспоминаниям. — Карлики, которым нет места в моем мире. Они не принадлежали к моему миру и тогда. В ночь двадцать третьего апреля мы находились в ином мире, она и я, в темном, безмолвном раю обнаженности, прикосновений и слияний. Какие откровения познал я в этом раю, какие

пятидесятницы![103] Ее ласки опускались на меня нежданными ангелами, божественными голу́бками. И как нерешительно, запоздало я на них отвечал! Губы мои едва шевелились, а руки боялись согрешить против моих представлений, вернее, представлений моей матушки, о том, какой должна быть порядочная женщина, каковы все порядочные женщины, но, несмотря на это (что меня в равной степени ужасало и пленяло), мои робкие святотатства вознаграждались столь чудесными всплесками удовольствия, столь восхитительными порывами ответной нежности, которые превосходили всякое воображение. Однако этому ночному миру противостоял настоящий, дневной мир, в котором жил, мыслил и чувствовал Джон Риверс тысяча девятьсот двадцать второго года, мир, где подобные вещи считались преступлением, мир, где ученик обманывал своего учителя, а жена изменяла мужу; мир, с точки зрения которого наш ночной рай был гадким, отвратительным адом, а нисходящие ангелы — всего лишь проявлением мерзкой похоти на фоне супружеской измены. Похоть и измена, — со смешком повторил Риверс. — Как

[103] Примечания: 103

Пятидесятница — христианский праздник, отмечаемый на пятидесятый день после Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов.

старомодно звучат эти слова! В наши дни мы говорим о порывах, импульсах, внебрачных связях. Хорошо это, плохо? Или попросту неважно? Может, лет этак через пятьдесят Бимбо найдет ответ. А пока мы можем только констатировать факт, что на вербальном уровне нравственность — всего лишь систематическое употребление бранных слов. Подло, мерзко, гадко — вот лингвистический фундамент этики. Эти слова преследовали меня долгими часами, когда я лежал, наблюдая за спящей Кэти. Сон — тоже иной мир. Еще более отличный от настоящего, чем мир прикосновений. От любви ко сну, от иного мира к еще более иному, где спящая возлюбленная становится чуть ли не святой. Беззащитная святость — то, что всегда восхищало людей в младенце Христе; а меня она наполняла тогда невыразимой нежностью. И все равно — подло, мерзко, гадко. Какие отвратительные, гнусные слова! Точно дятлы долбят по голове железными клювами. Подло, мерзко, гадко… Но в тишине между ударами я слышал спокойное дыхание Кэти; моей любимой, погруженной в сон, беспомощной и тем священной, в ином мире, где все дурные слова, равно как и хорошие, не имеют никакого смысла. Правда, это не мешало проклятым дятлам вершить свое

черное дело с неослабевающей яростью.

А затем, вопреки всем правилам литературного вымысла и изящного стиля, я, должно быть, уснул. Ибо внезапно обнаружил, что занимается рассвет, в окрестных садах щебечут птицы, а Кэти стоит у кровати, набрасывая на плечи шаль с бахромой. Долю секунды я не мог сообразить, зачем она здесь. Потом вспомнил все: ангелов в темноте, немыслимые иные миры. А теперь наступило утро, и мы вернулись в обычный мир, и мне следует называть ее миссис Маартенс. У миссис Маартенс скончалась мать и умирает муж. Подло, мерзко, гадко! Как я осмелюсь взглянуть ей в глаза? В этот момент она повернула голову и сама посмотрела на меня в упор. Едва успев заметить зарождающуюся на ее губах улыбку — искреннюю, открытую, я в порыве смущения и стыда отвернулся.

«Думала, ты не проснешься», — шепнула она, наклонилась и поцеловала меня в лоб, как взрослые целуют детей.

Я хотел сказать, что, несмотря на случившееся, по-прежнему преклоняюсь перед ней, что любовь моя столь же велика, как раскаяние, а благодарность столь же глубока и сильна, как решимость никогда больше так не поступать.

Но язык меня не слушался. Я онемел. Молчала и Кэти, хотя совсем по другой причине. Если она не говорила о том, что между нами произошло, то лишь потому, что не считала нужным.

«Уже седьмой час, — только и сказала она, выпрямившись. — Пойду, сменю эту бедняжку, сестру Копперс».

Она повернулась, беззвучно открыла дверь и так же неслышно закрыла ее за собой. Я остался наедине с дятлами. Подло, мерзко, гадко; гадко, мерзко, подло… Когда зазвонил колокольчик к завтраку, я уже принял решение. Чтобы не лгать и не порочить свой идеал, я уеду — навсегда.

В коридоре, по дороге в столовую, я чуть не столкнулся с Бьюлой. Она несла на подносе яичницу с беконом, напевая «Все твари, что под небом рождены». Завидев меня, старушка просияла улыбкой и сказала: «Возблагодарите Господа!»

Никогда еще я не испытывал меньшего желания благодарить Господа.

«Скоро мы увидим чудо», — продолжала она.

Я спросил, откуда она знает, и Бьюла ответила, что сию минуту видела в комнате у больного миссис Маартенс, и та стала прежней. Уже не тень, а такая, как всегда. К ней вернулись силы, а значит, доктор Маартенс скоро пойдет на поправку.

«Это божья милость, — сказала она. — Я молилась о ней днем и ночью: „Господи, дай миссис Маартенс немножко своей благодати. Верни ей силы, чтобы доктор Маартенс выздоровел“. И теперь это случилось!»

В подтверждение ее слов за нашими спинами раздался шорох. Мы обернулись. На лестницу вышла Кэти. Она надела черное платье. После ночи любви и сна ее лицо разгладилось, и если вчера она едва передвигала ноги, то теперь все ее движения были легкими, уверенными, полными жизни, как до болезни матери. Она вновь превратилась в богиню — скорбящую, но не сломленную, блистательную даже в горе и смирении. Богиня сошла с лестницы, пожелала нам доброго утра и спросила, сообщила ли мне Бьюла печальную новость. «Генри умирает!» — пронеслось у меня в голове.

«Что, доктор Маартенс?..» — начал я.

Она резко оборвала меня: нет, печальное известие о ее матери. Внезапно я понял, что официально еще не уведомлен о трагическом исходе в Чикаго. Кровь бросилась мне в лицо, и я в сильнейшем смущении отвернулся. Нам уже приходилось лгать, и я чуть не выдал себя. Печально, но невозмутимо богиня продолжала

повествование о телефонном звонке в полночь, о рыданиях сестры на другом конце провода, о последних мгновениях затянувшейся агонии. Бьюла, шумно вздохнув, сказала, что на все Божья воля и что она так и знала, и сменила тему.

«Как там доктор Маартенс? — спросила она. — Ему мерили температуру?»

Кэти кивнула: да, и жар явно спал.

«Я же вам говорила! — победно заявила старушка. — Так и знала, это божья благодать. Господь вернул ей силы».

Мы прошли в столовую, сели за стол и принялись за еду. Насколько помню, я ел с аппетитом. А еще помню, что меня самого это шокировало, — засмеялся Риверс. — До чего же трудно не стать манихейцем! Духовное выше телесного. Смерть — духовное явление, на фоне которого яичница с беконом выглядит дико неуместной, а любовь попахивает откровенным кощунством. Однако же вполне очевидно, что благодать может явиться в виде яичницы с беконом, а любовь порой служит инструментом божественного вмешательства.

— Ты говоришь, точно Бьюла, — возразил я.

— А других слов просто нет. В твою жизнь ни с того ни с сего вторгаются какие-то мощные, чудесные силы, неизмеримо более значительные,

чем ты сам; обстоятельства и события, которые казались нейтральными, а то и прямо враждебными, беспричинно и неожиданно приходят на помощь — это факты. Их можно наблюдать, можно ощутить. А когда начинаешь их описывать, то невольно переходишь на язык верующих. Благодать, покровительство, озарение, промысел божий — слишком громкие, высокопарные слова. Но бывают случаи, когда без них невозможно обойтись. Возьмем, к примеру, Кэти. Она вернулась из Чикаго совершенно без сил. Она не только не могла помочь Генри, но и себе самой была в тягость. Другая на ее месте стала бы молиться, чтобы Господь послал ей силы, и, возможно, ее молитвы не остались бы без ответа: бывает и такое. Звучит абсурдно, однако порой случается. Да только не с такими, как Кэти. Она не умела молиться. Высшей силой была для нее сама природа; божественное в ее понимании не относилось ни к духовному, ни к собственно человеческому. Оно жило в красоте пейзажей за окном, в солнечных лучах, в животных и растениях, в молочном запахе младенцев, в тепле и нежности детских объятий; конечно же, оно жило в поцелуях, в ночных откровениях любви и в более спокойном, но не менее благословенном

ощущении собственного здоровья. Она была кем-то вроде Антея в женском обличье — непобедима, пока ее ноги касаются земли, божественна, пока сохраняет связь с великой Богиней-матерью. Три недели у постели умирающей разорвали эту связь. Восстановив ее, Кэти вновь обрела силы, и произошло это ночью двадцать третьего апреля. Час любви, пять-шесть часов в еще более ином мире сна — и пустота заполнена, призрак обрел плоть и кровь. Она снова жила — вернее, не она сама, а неизвестная величина, что скрывалась в ней…

— Неизвестная величина, — помолчав, повторил он. — На одном конце спектра чистый дух, сияние пустоты, на другом — природа, здоровье, организм, безупречно выполняющий свою работу, если ему не мешать. А между этими двумя крайностями — то, что святой Павел называл «Христом» — божество, превратившееся в человека. Духовная благодать, животная благодать, человеческая благодать — три ипостаси одной заветной тайны, лежащей в основе всего. В идеале каждый из нас должен познать все три. В жизни большинство людей отгораживаются от всех форм благодати, а если и открывают дверь, то впускают лишь одну из них. Этого, конечно,

мало. И все-таки треть хлеба лучше, чем совсем ничего. Эту истину наглядно продемонстрировало утро двадцать четвертого апреля. Лишенная животной благодати, Кэти превратилась в беспомощного призрака. Вернув ее, она стала Герой, Деметрой и Афродитой в одном лице, а в придачу — Асклепием и Лурдским источником[104] — и чудо не заставило себя ждать. Проведя три дня между жизнью и смертью, Генри почувствовал исходящую от нее силу и отреагировал соответствующим образом. Лазарь воскресал на глазах.

— В конечном счете благодаря тебе!

— В конечном счете благодаря мне, — повторил он.

— «Чудом исцеленный рогоносец». Из этого вышел бы отличный сюжет для французского фарса.

— Не лучше всякого другого. Эдип, король Лир, даже Иисус или Ганди — история любого из них может служить темой для блестящего фарса. Достаточно описать героев со стороны, не испытывая к ним сочувствия, красочным,

---

[104] Примечания: 104

Лурдский источник — грот Масабьель в городе Лурд (Франция), где, по мнению католической церкви, в 1858 году четырнадцатилетней местной жительнице Бернадетте Субиру явилась Дева Мария. Вода в источнике считается целебной.

но не поэтическим языком. В настоящей жизни фарс существует только для зрителей, а не для актеров. Они считают себя участниками либо трагедии, либо сложной, в той или иной степени мучительной психологической драмы. Для меня, к примеру, фарс о чудесном исцелении рогоносца стал затянувшейся, мучительной драмой о нарушенной верности, противоречии между любовью и чувством долга, преодолении искушений, которым я затем позорно поддавался, упоительном наслаждении, которое я получал, терзаясь виной и страстным раскаянием, и о данных себе клятвах, немедленно забытых, вновь принятых и тут же сметенных потоком непреодолимого желания.

— Ты ведь говорил, что решил уехать?

— Да. Только я принял это решение до того, как увидел на лестнице Кэти, преобразившуюся в богиню. Богиню в трауре. Видимые символы ее скорби поддерживали во мне жалость, религиозное обожание, убежденность, что моя любимая чиста и достойна духовного преклонения. Но из черного лифа вырастала мраморная шея, а лицо в обрамлении медово-русых локонов сияло неземной прелестью. Как там у Блейка? «Приметы утоленного желанья жене, как и блуднице,

придают очарованья»[105]. К несчастью, приметы утоленного желанья пробуждают его вновь, обещая новые наслаждения. Господи, как неистово я ее желал! И как страстно, из глубин своего раскаяния, с высот своего идеализма, себя за это ненавидел! Вернувшись из лаборатории, я хотел поговорить об этом с Кэти. Она оборвала меня: не время, не место. Могут войти Бьюла или сестра Копперс. Лучше дождаться вечера, когда нас никто не побеспокоит. Вечером она действительно пришла в мою комнату. В темноте, в сладком плену ее женственного аромата я пытался выложить все, чего не смог сказать днем: что я люблю ее, но мы не должны… Что никогда не был так счастлив и одновременно так глубоко несчастен; что буду до конца своих дней вспоминать о случившемся с самой страстной благодарностью и что завтра же соберу чемоданы и уеду, и никогда-никогда не увижу ее вновь. Тут мой голос прервался, и я, сам того не ожидая, зарыдал. Теперь пришел ее черед говорить «Не плачьте», предлагать утешения, положить руку мне на плечо, обнять; разумеется, в итоге произошло то же, что и накануне. То же

[105] Примечания: 105

Искаженная цитата из Уильяма Блейка, «Стихи из записной книжки» (1793):*What is it men in women do require? The lineaments of Gratified Desire.*

самое, и даже более — откровения были еще жарче, ко мне нисходили уже не просто ангелы, а престолы, господства, власти[106]; и на следующее утро (нет нужды говорить, что никаких чемоданов я не собрал) глубина моего раскаяния соответствовала силе любовных экстазов, а дятлы совсем рассвирепели.

— Насколько я понимаю, Кэти они не трогали?

— Она решительно отказывалась обсуждать этот предмет, — сказал Риверс.

— Но ты-то не сдавался?

— Я пробовал. Да только для диалога нужны двое. Как только я заговаривал о том, что творится у меня на душе, она или меняла тему, или со смешком, мягко, но решительно затыкала мне рот, снисходительно потрепав по руке. Я задумываюсь, не лучше ли было открыться, мужественно назвать наши неблаговидные поступки своими именами и преподнести друг другу свои трепещущие кишочки на блюдечке с голубой каемочкой. Вероятно. А может, и нет. Правда дает свободу. С другой стороны, зачем будить спящую собаку? Пусть себе спит. Не забывай: самые кро-

[106] Примечания: 106

В христианстве ангелы подразделяются на классы, или иерархии. Первая иерархия: серафимы, херувимы, престолы. Вторая: господства, силы, власти. Третья: начала, архангелы, ангелы.

вопролитные войны всегда начинались из-за чего-то несущественного. Все это были войны из-за какой-то чепухи, о которой спорят досужие идеалисты — другими словами, религиозные войны. Для лимонада нужны лимоны. А крестовый поход невозможен без крестов. Любая священная война представляет собой бессмысленное насилие, вырастающее из одержимости непонятными символами. «Что вы читаете, ваше высочество? Слова, слова, слова»[107]. А что в словах? Ответ: трупы, миллионы трупов. Мораль такова: держи язык за зубами, а если уж открываешь рот, не принимай сказанное слишком всерьез. Кэти держала за зубами и свой, и мой язык. Обладая внутренней мудростью, запрещающей произносить бранные слова, а тем паче — многосложные научные термины, она ежедневно и еженощно совершала действия, которые они обозначали. Молчаливое действие — всего лишь действие. Стоило нам заговорить, облечь наши поступки в слова, и они превратились бы в этическую проблему, в повод к войне, в источник неврозов. Заговори Кэти, куда бы это нас привело? В запутанный лабиринт вины и угрызений совести. Некоторым там даже

[107] Примечания: 107
Цитата из трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет, принц Датский».

нравится. Другим — нет, однако они раскаиваются и чувствуют, что заслуживают страданий. Кэти, благослови ее Господь, не относилась ни к методистам, ни к мазохистам. Она была богиней, а молчание богини — настоящее золото, не какая-нибудь сусальная дешевка. Твердое, полновесное молчание в двадцать четыре карата — от начала и до конца. Олимпийский рот на замке, и не по причине благоразумной осмотрительности, а просто потому, что говорить решительно не о чем. Богинь отличает цельность, внутренние противоречия им несвойственны. В то время как жизнь обычных людей — непрерывный спор с самими собой. С одной стороны — желания, с другой — дятлы. Ни минуты покоя. Чего мне в то время страшно не хватало — так это доброй порции благозвучных оправданий, которые свели бы на нет все эти «подло-мерзко-гадко». Но я напрасно ждал их от Кэти. Она не видела смысла в разговорах. Для нее смысл заключался в создании иных миров — любви и сна, в обретении благодати, в возвращении способности помогать Генри. Чтобы узнать вкус блюда, нужно его попробовать, а не читать кулинарную книгу. Подаренное и полученное наслаждение, обретение благодати, воскрешение Лазаря — в нашем случае еда была

явно хороша. Так ешь и не болтай с набитым ртом — это неприлично и мешает наслаждаться амброзией. К сожалению, в то время я был не в состоянии последовать этому дельному совету. Нет, с ней я не говорил — она не позволяла. Но никто не мог запретить мне вести бесконечные разговоры с самим собой — и я говорил и говорил, пока амброзия не превращалась в горькую полынь или не приобретала отвратительного привкуса запретного удовольствия, сознательного погружения в грех. Чудесное исцеление меж тем шло своим чередом. Генри выздоравливал — быстро, неуклонно, без единой заминки.

— А разве тебя это не утешало? — спросил я.

Риверс кивнул.

— По-своему, да. Ведь даже в состоянии идиотической невинности я понимал, что косвенно способствовал чуду. Пусть я предал своего наставника, но если бы я этого не сделал, он, скорее всего, был бы уже мертв. Да, я совершил зло, однако из него вышло огромное благо. В какой-то мере это служило мне оправданием. С другой стороны, меня ужасало, что обретенная Кэти благодать и жизнь ее мужа зависят от такой низости, мерзости и подлости, как наши бренные тела и их сексуальное удовлетворение! Этому противился

весь мой идеализм. Тем не менее так и было.

— А Генри? — спросил я. — Знал ли он, подозревал ли что-нибудь о происхождении чуда?

— Разумеется, нет, — убежденно ответил Риверс. — Даже не догадывался. Ни сном ни духом не ведал. Восстав из могилы, он пребывал в таком расположении духа, что ни о каких подозрениях не могло быть и речи.

«Послушайте, Риверс, — сказал он однажды, когда уже достаточно оправился, чтобы я мог приходить и читать ему вслух, — я хочу с вами поговорить. По поводу Кэти», — добавил он, помолчав.

У меня замерло сердце. Этого-то я и боялся.

«Помните вечер перед моей болезнью? — продолжал он. — Я был не в себе. Я наговорил кучу вещей, гадких, несправедливых вещей, которых не должен был говорить, например, о Кэти и том враче из университета Джонса Хопкинса».

Оказывается, он лишь теперь узнал, что тот молодой доктор — калека. И даже если бы беднягу не разбил паралич еще в детские годы, Кэти совершенно не способна и подумать о чем-то в таком роде. Дрожащим, взволнованным голосом он продолжал расписывать, какая чудесная женщина его Кэти, как он невыразимо счастлив,

что ему досталась такая добрая, красивая, умная, чуткая, сильная, верная и заботливая жена. Без нее он бы сошел с ума, сломался, выдохся. А теперь она спасла ему жизнь, и он не может себе простить, что наговорил о ней столь диких, страшных, невообразимых гнусностей. Поэтому он просит меня забыть о них, а если не смогу забыть, то относиться к ним, как к бреду больного. Естественно, меня успокоило, что наша тайна не раскрыта, и в то же время стало еще хуже — ведь он выказывал такую доверчивость, такое глубочайшее неведение, вынуждая меня стыдиться — не только за себя, но и за Кэти. Мы, точно пара жуликов, обманывали простака, который в силу чувствительности, делавшей ему честь, выглядел еще наивнее, чем был по своей природе.

В тот вечер я таки исхитрился высказать Кэти некоторые терзавшие меня мысли. Сперва она пыталась заткнуть мне рот поцелуями, затем, когда я ее оттолкнул, разозлилась и пригрозила уйти к себе. У меня хватило кощунственного мужества удержать ее силой.

«Ты должна меня выслушать», — сказал я, невзирая на сопротивление, и, держа ее на расстоянии вытянутой руки, точно опасное животное, излил свои нравственные мучения.

Кэти выслушала; а когда я закончил, рассмеялась. Беззлобно, не желая уязвить, а просто из солнечных глубин своего божественного изумления.

«Ах, тебе это невыносимо, — потешалась она. — Ты слишком благороден, чтобы участвовать в обмане! А ты не пробовал для разнообразия подумать не только о своей драгоценной личности? Обо мне, например, или о Генри! Больной гений и несчастная женщина, чья работа — поддерживать этого гения живым и относительно здоровым. Его колоссальный, безумный интеллект против моей природы, его нечеловеческое отрицание жизни против жизни, кипящей во мне. Было нелегко, но я научилась пользоваться любыми средствами, которые попадутся под руку. А теперь я должна выслушивать тошнотворную ахинею в духе воскресной школы, и ты смеешь говорить мне — мне! — что не способен жить во лжи — прямо Джордж Вашингтон и вишневое деревце! Ты меня утомил. Я хочу спать».

Она зевнула и легла на бок, ко мне спиной. Бесконечно выразительной спиной, — усмехнувшись, добавил Риверс, — если исследовать ее в темноте кончиками пальцев, как книгу, напечатанную шрифтом Брайля, спиной Афродиты

Каллипиги[108]. Других объяснений, а тем паче извинений, я не дождался. Я ничего не понял, даже еще сильнее запутался, поскольку слова Кэти побудили меня задать себе множество вопросов, которые она не собиралась удостаивать ответом. Подразумевала ли она, например, что такие вещи неизбежны — по крайней мере в условиях ее супружества? Случалось ли такое прежде? И если да, то как часто, с кем?

— Ты это узнал? — спросил я.

Риверс покачал головой.

— Я не продвинулся дальше догадок и игры воображения — но господи, какой живой! Этого мне хватило, чтобы почувствовать себя самым несчастным человеком на свете. Я никогда не был настолько несчастным и в то же время безумно влюбленным. Почему испытываешь такой мощный прилив желания, когда подозреваешь, что твоя возлюбленная занималась любовью с кем-то еще? Я любил Кэти безмерно. После того разговора я полюбил еще сильнее: отчаянно, ненасытно, мстительно — если ты понимаешь, о чем я. Она тоже это заметила.

---

[108] Примечания: 108

Венера (Афродита) Каллипига — античная мраморная статуя, найденная в Золотом доме Нерона. Название статуи переводится с древнегреческого как Афродита Прекраснозадая.

«Ты смотрел на меня с таким видом, — сказала она однажды вечером, — точно нашел бифштекс, умирая от голода на необитаемом острове. Не надо так. Заметят. И вообще, я не бифштекс, а нормальное живое существо. Несъедобное. Кроме того, Генри почти совсем поправился, и завтра возвращаются дети. Все должно стать, как прежде. Нужно быть благоразумными».

Быть благоразумным… Я обещал: начиная с завтрашнего дня. А пока — долой свет! И вновь эта яростная, мстительная любовь, бешеное, неутолимое желание, даже в пылу удовлетворения несущее в себе оттенок обреченности. Прошло несколько часов, наступило неизбежное завтра. Рассвет за окном, пение птиц в саду, мука последнего объятья, повторные обещания хранить благоразумие. И как я старался держать слово! После завтрака пошел к Генри и прочел ему статью Резерфорда в последнем номере*Nature*. А когда вернулась с рынка Кэти, назвал ее миссис Маартенс и старался выглядеть столь же непоколебимо спокойным, как она. Разумеется, с моей стороны это было чистым лицемерием, а со стороны Кэти — обычным проявлением ее олимпийской природы. Незадолго до обеда кеб, заваленный пожитками, привез детей. Кэти отно-

силась к тому типу матерей, которые видят своих чад насквозь, но обычно сдерживалась и легко прощала детям их промахи. На сей раз, по неизвестной причине, все пошло не так. Возможно, ей ударило в голову чудесное выздоровление Генри, благодаря которому она почувствовала свою силу и захотела испытать ее на других. Или же ее опьянило собственное стремительное возрождение, внезапный переход после всех этих кошмарных недель к состоянию животной благодати с помощью удовлетворенного желания. Каковы бы ни были причины и смягчающие обстоятельства, факт остается фактом: в тот день она оказалась чересчур прозорливой. Она любила своих детей и радовалась их возвращению, и в то же время ее тянуло воспитывать, распекать, проявлять свою материнскую власть. Уже через две минуты она напустилась на Тимми за грязные уши, через три заставила дочь признаться, что у нее запор, а еще минуту спустя, заметив, что Рут не дает разбирать свои вещи, заключила, что той есть что скрывать. И действительно, когда Бьюла, по приказу Кэти, открыла чемодан, наружу вышел злосчастный маленький секрет — коробочка с косметикой и наполовину опустевший флакон синтетических фиалок. В лучшие времена Кэти бы просто со-

чувственно фыркнула. Сейчас ее неодобрение было громким и саркастичным. Она выбросила косметику в мусорное ведро и собственноручно, с отвращением наморщив нос, вылила духи в унитаз и смыла. Когда мы наконец сели за еду, поэтесса, с красным лицом и опухшими от слез глазами, ненавидела всех — мать за унижение, Бьюлу за пророчество, несчастную миссис Хэнбери за то, что та умерла и не нуждалась более в дочерних заботах, Генри за то, что он выздоровел и им с Тимми пришлось возвращаться домой, и, само собой, меня — за то, что отнесся к ней, как к ребенку, обозвал любовные стихи чепухой и показал — еще более непростительный грех, что предпочитаю ее обществу общество матери.

— Она что-нибудь подозревала? — спросил я.

— Думаю, она подозревала *все*, — ответил Риверс.

— Мне казалось, вы были благоразумны.

— Мы-то были. Но Рут всегда ревновала меня к матери, а теперь Кэти ее обидела. К тому же девочка тогда уже знала — разумеется, сугубо теоретически, но в самом грубом и утрированном виде, что происходит между влюбленными. Пурпурное биенье страсти, слияние искусанных губ. И так далее. Даже если бы между мной

и Кэти ничего не произошло, она бы думала по-своему. И питала бы к нам за это новую, еще более глубокую ненависть. В прошлом Рут не умела злиться больше одного-двух дней. На сей раз вышло по-другому. Ее ненависть не знала пощады. С утра до вечера девочка отказывалась с нами разговаривать, за столом сидела в угрюмом молчании, полная невысказанных упреков и обвинений. Бедняжка! Разумеется, Долорес-Саломея представляла собой плод ее воображения, но все фантазии Рут основывались на твердой почве полового созревания. Посмеявшись над этими фантазиями, мы с Кэти, каждый по-своему, оскорбили нечто реальное, некую составляющую ее детской личности. Она вернулась домой, благоухающая духами, накрашенная, преображенная, с обновленным лексиконом, проникшись взглядами Алджернона и настроениями Оскара, вернулась, переполняемая смутными волшебными надеждами и неясными, томительными предчувствиями. И что ее здесь ждало? Страшная обида: к ней отнеслись, как к ребенку, не отвечающему за свои поступки, которым она, по сути, и была. Ее оскорбили, не принимая всерьез. Сделали больно, унизили — мало того, что мужчина, которого она выбрала в качестве своей

жертвы и Синей Бороды, предпочел ей другую, так этой другой еще и оказалась ее собственная мать. Стоит ли удивляться, что все мои попытки развеселить или умаслить ее потерпели крах?

«Оставь ее в покое, — советовала мне Кэти. — Пусть дуется, пока не надоест».

Однако дни шли, а Рут не оттаивала. Напротив, она упивалась горечью ревности, уязвленной гордости и подозрений. А затем, примерно через неделю после их с Тимми возвращения, случилось событие, превратившее тлеющую обиду в острую, свирепую враждебность. Генри уже чувствовал себя настолько хорошо, что мог сидеть, ходить по своей комнате. До полного выздоровления оставались буквально считаные дни. Врач посоветовал вывезти его на пару недель за город. Но загородный коттедж пустовал с самого Рождества — в начале весны стояла холодная погода, затем Кэти уехала в Чикаго. Его нужно было проветрить, навести порядок, привезти все необходимое.

«Давайте завтра поедем и все сделаем», — предложила мне Кэти однажды за завтраком.

Рут моментально выбралась из глубин своего зловещего молчания, точно луговая собачка из норки, и сердито пробубнила, что завтра ей в

школу.

«Вот и прекрасно, — заявила Кэти. — Именно поэтому завтрашний день как нельзя лучше подходит для выполнения этой работы. Никакие бездельницы-поэтессы не будут путаться под ногами и мешать нам трудиться».

«Нет, я должна поехать!» — с трудом сдерживая злость, заявила Рут.

«Должна? — эхом отозвалась Кэти. — Это еще почему?»

Рут с вызовом посмотрела ей в глаза и опустила взгляд.

«Потому что… — начала она, передумала и замолчала, а затем добавила: — Потому что мне так хочется».

«Не глупи, — засмеялась Кэти. — Выедем пораньше, — обернулась она ко мне, — и возьмем корзинку для пикника».

Девочка побледнела и откусила тост, но кусок не шел ей в горло. Она извинилась, встала из-за стола, не дожидаясь разрешения, и выбежала из комнаты. Во второй половине дня, когда она случайно попалась мне на глаза, на ее лице застыла непроницаемая маска, под которой угадывалась с трудом скрываемая враждебность.

Из прихожей послышался скрип открыва-

ющейся двери, а через несколько секунд она захлопнулась. Раздались шаги и приглушенные голоса. Риверс прервался и бросил взгляд на часы.

— Только десять минут двенадцатого, — сказал он и покачал головой. Затем, повысив голос, окликнул: — Это ты, Молли?

В дверном проходе появилось распахнутое норковое манто, из-под которого выглядывал квадратик гладкой белой кожи с ниткой жемчуга над лифом алого вечернего платья. Лицо молодой женщины поверх всего этого можно было назвать красивым, если бы не беспросветно мрачное выражение.

— Хорошо провели вечер? — спросил Риверс.

— Отвратительно, — сказала она. — Поэтому мы вернулись так рано. Да, Фред? — обратилась она к темноволосому молодому человеку, вошедшему в комнату вслед за ней.

Спутник посмотрел на нее с холодным неодобрением и отвернулся.

— Да? — повторила она громче, страдальческим голосом.

На обращенном в сторону лице мужчины появилась слабая улыбка, он пожал широкими плечами, но ничего не ответил.

Риверс обернулся ко мне.

— Ты ведь знаком с моей малышкой Молли?

— В последний раз видел, когда она пешком под стол ходила.

— А это, — он махнул рукой в направлении темноволосого молодого человека, — мой зять, Фред Шонесси.

Я сказал, что рад познакомиться, однако парень не удостоил меня даже взглядом. Наступило неловкое молчание.

Молли провела унизанной драгоценностями рукой по глазам.

— Голова просто раскалывается, — пробормотала она. — Надо прилечь.

Она направилась к выходу, затем остановилась и явно через силу произнесла:

— Доброй ночи.

— Доброй ночи, — сказали мы хором ей в спину.

Беззвучно, точно идущий по следу охотник, молодой человек повернулся и последовал за женщиной.

Риверс тяжело вздохнул.

— Они дошли до той стадии, — сказал он, — когда секс становится довольно скучным, если это не примирение после ссоры. Вот, если хочешь

знать, печальная судьба малыша Бимбо. Жить с разведенной матерью, которая будет менять любовников или мужей, пока не потеряет своей привлекательности. Либо с родителями, которым давно пора развестись, но они этого не делают, поскольку им нравится страдать и мучить друг друга. В любом случае я не могу ему помочь. Что бы ни случилось, ребенку суждено пройти через ад. Есть вероятность, что это его закалит и сделает сильнее. А может, сломает ему жизнь. Кто знает? Уж точно не эти господа.

Он указал черенком трубки на длинную шеренгу последователей Фрейда и Юнга.

— Психологическая литература! Приятное чтение, порой даже весьма поучительное. Но многое ли оно объясняет? Все, кроме главного. Все, кроме двух вещей, которые в конечном итоге определяют течение нашей жизни: предопределения и благодати. Посмотри на Молли. Ее мать умела любить, не стремясь владеть предметом своей любви. У отца хватало здравого смысла хотя бы попытаться следовать примеру жены. Две ее сестры росли счастливыми детьми и стали хорошими женами и матерями. В нашей семье не было ни скандалов, ни хронического напряжения, ни трагедий и взрывов. По всем правилам

психологической науки Молли должна была вырасти уравновешенной и счастливой. А она…

Он оборвал себя на полуслове.

— Существует и другая разновидность предопределения. Не внутреннее, связанное с темпераментом и характером, а предопределение случая, которое подстерегало меня, Рут и Кэти. На это тяжело смотреть даже в перевернутый конец театрального бинокля.

Он долго молчал, и я не осмеливался нарушить наступившую тишину.

— Так вот, — сказал наконец он, — давай вернемся к Рут, к тому вечеру накануне поездки. Вернувшись из лаборатории, я обнаружил девочку в гостиной. Она читала книгу и даже не подняла головы. Я напустил на себя самый беззаботный вид и непринужденно поприветствовал ее: «Салют детишкам!»

Она посмотрела на меня долгим, зловещим, пустым взглядом и вновь уткнулась в книгу. Тогда я решил применить литературный гамбит.

«Написала что-нибудь новенькое?» — спросил я.

«Написала», — многозначительно подтвердила Рут, и на ее губах заиграла улыбка, еще более зловещая, чем прежнее безразличие.

«Дашь почитать?»

К моему величайшему удивлению, она сказала, что даст, только стихи еще не готовы, а завтра — обязательно. Я забыл об этом обещании, однако утром, перед уходом в школу, она протянула мне лиловый конверт.

«Вот, возьмите. Надеюсь, вам понравится».

Вновь одарив меня злорадной ухмылкой, Рут поспешила вдогонку за Тимми. Поскольку я был слишком занят, чтобы прочесть стихи немедленно, то засунул конверт в карман и пошел грузить вещи. Постель, столовые приборы, керосин — все уложил в машину. Через полчаса мы тронулись в путь. Бьюла прокричала нам что-то на прощание с крыльца, Генри помахал из окна спальни. Кэти помахала в ответ и послала воздушный поцелуй.

«Я сегодня как Джон Гилпин[109], — радостно сказала Кэти, когда мы выехали на дорогу. — Мне все по плечу, горы могу свернуть».

Стояла лирическая майская пора, настоящее шекспировское утро. Ночью прошел дождь, а теперь все деревья кланялись свежему ветерку. Изумрудные молодые листочки сверкали в солнечных лучах, а великолепные мраморные

[109] Примечания: 109

Джон Гилпин — герой юмористической баллады английского поэта Уильяма Каупера (1731–1800).

облака на горизонте словно вышли из самых возвышенных грез Микеланджело в минуты его сверхчеловеческого могущества. И цветы. Везде — в пригородных садах, в лесу, на лугах; и в каждом цветке я видел красоту любимого лица, а их ароматы дышали тайнами иного мира; в воображении я гладил пальцами их лепестки, напоминавшие о шелковой, упругой прохладе кожи моей любимой. Само собой разумеется, мы все еще хранили благоразумие. А мир вокруг нас пьянел от собственного совершенства, сходил с ума от буйства жизни. Мы сделали все, что нужно, съели приготовленную для пикника снедь, покурили в шезлонгах на воздухе. Но солнце палило слишком нещадно, и мы решили продолжить отдых в доме. И случилось неизбежное… Случилось, как я неожиданно обнаружил между двумя приливами экстаза, прямо на глазах у портрета Генри Маартенса в три четверти роста, заказанного и преподнесенного ему правлением крупной электрической компании в благодарность за профессиональную консультацию, портрета столь монструозного в своем фотографическом реализме, что его сослали в гостевую спальню загородного дома. То был один из портретов, что всегда следят за тобой, подобно Старшему брату

из «1984» Оруэлла. Я повернул голову, и он сурово уставился на меня, воплощение общественного мнения в черной визитке, запечатленный символ и отражение моего сознания, терзаемого угрызениями совести. А рядом с портретом стоял викторианский шкаф с зеркальными дверцами, в котором отражалось дерево за окном, а в комнате — часть кровати с нашими телами в солнечных зайчиках и движущихся тенях от дубовых листьев. «Прости им, ибо не ведают, что творят». Здесь, перед лицом портрета и зеркала, о неведении не могло быть и речи. Мне стало еще больше не по себе от мыслей о том, что мы совершили, полчаса спустя, когда, надевая куртку, я услышал шорох плотной бумаги в боковом кармане и вспомнил о лиловом конверте Рут. На сей раз она написала нечто вроде баллады в четырехстрочных строфах, повествующей о двух прелюбодеях, неверной жене и ее любовнике, представших перед Богом на Страшном суде. Стоя в тягостном обвиняющем молчании, они чувствуют, как невидимые руки снимают с них все покровы, пока не остаются полностью обнаженными. И не просто обнаженными: их воскресшие тела прозрачны. Легкие и печень, мочевой пузырь и кишки, каждый орган — все на

виду. И внезапно пара понимает, что они не одни, а стоят на сцене, в свете прожекторов, на глазах у публики. Миллионы зрителей, ярус за ярусом, отшатываются в непреодолимом отвращении, улюлюкают, выкрикивают оскорбления, призывают к отмщению, требуют хлыста и каленого железа. Стихи дышали исступленной злобой раннего христианства, и это вселяло в меня еще больший ужас, поскольку Рут воспитывалась абсолютно вне рамок этого жуткого фундаментализма. Страшный суд, геенна огненная, вечное наказание за грехи — ее никогда этому не учили. Она приняла эти понятия ради собственных целей, чтобы выразить свои чувства к матери и ко мне. Прежде всего — ревность; ревность и отвергнутая любовь, уязвленная гордость, смертельная обида. Для превращения злости в праведное негодование ей требовалась уважительная причина. Она подозревала нас в самых страшных грехах, чтобы оправдать свою ненависть. И подозревала настолько яростно, что вскоре уже не просто догадывалась, а знала, что мы виноваты. Поверив в нашу греховность, ребенок в ней пришел в бешенство, а женщина преисполнилась еще более отчаянной, мстительной ревности, чем прежде. С похолодевшим сердцем, все больше

впадая в ужас перед лицом непредсказуемого будущего, я дочитал опус до конца, перечел вновь и повернулся к Кэти, сидевшей перед туалетным столиком. Она закалывала волосы и улыбалась мне сияющей улыбкой богини, напевая арию из «Свадьбы Фигаро».*Dove sono i bei momenti Di dolcezza e di piacer?*[110] Меня всегда восхищало олимпийское безразличие Кэти, ее божественное «мне все равно», а теперь я вышел из себя. Я, видите ли, мучаюсь, читая поэму Рут, а ей и горя мало!

«Хочешь знать, — спросил я, — почему малышка Рути так себя ведет? Тебе интересно, что она на самом деле о нас думает?»

Пройдя через комнату, я протянул ей два листка лиловой бумаги, на которой девочка написала свою поэму. Кэти стала читать. Вглядываясь в ее лицо, я увидел, как веселое изумление (поэтические экзерсисы Рут всегда служили в семье поводом для шуток) сменилось выражением серьезной сосредоточенности. Затем на лбу между бровями появилась вертикальная морщинка. Кэти хмурилась все сильнее, а перейдя на вторую

[110] Примечания: 110

Ах, куда же ты закатилось, солнце светлой былой любви? (*итал.*, ария графини Альмавивы из оперы «Свадьба Фигаро», перевод П. И. Чайковского).

страницу, закусила губу. Богиня все же оказалась уязвимой… Я ей отомстил, но то была пиррова победа — вместо одного перепуганного кролика в силки попали два. Кэти никогда не умела выбираться из таких ловушек. Она привыкла не замечать неудобных ситуаций, точно их не существует. В результате, если она продолжала игнорировать их достаточно долго и достаточно безмятежно, они действительно прекращали свое существование. Обиженные прощали ее, потому что она так хороша собой и мила; люди, которые изводили себя по пустякам или чинили помехи другим, заражались ее неземным спокойствием и мгновенно забывали о своей неврастении или зловредных кознях. А на случай, если прием искреннего неведения не срабатывал, она держала в запасе еще один ход: притворялась недалекой, шокировала веселой бестактностью, невинно и простодушно шла напролом, с неотразимой улыбкой выпаливала самую невозможную правду. Только в данном случае ни один из этих приемов не годился. Если она смолчит, Рут будет продолжать в том же духе. А если выскажется, бог знает, как поведет себя выведенная из равновесия девочка. А еще следовало не забывать о Генри, и о ее собственном будущем в качестве

единственной и, как считали мы все, совершенно незаменимой опоры для страдающего гения и его детей. При сложившихся обстоятельствах Рут, вероятно, прямо сейчас пребывала в настроении обрушить все здание их семейного благополучия, лишь бы насолить матери. И поделать с этим женщина с характером богини, не обладающая божественным всемогуществом, ничего не могла. Зато мог я. Пока мы обсуждали ситуацию — не забывай, Кэти впервые признала, что нам есть что обсуждать, — я с каждой минутой все яснее понимал, что должен сделать. То, что собирался сделать после первой безумной ночи, — исчезнуть.

Кэти сперва и слышать об этом не хотела, и мне пришлось переубеждать ее всю дорогу домой, споря с собой, идя против своих чувств. В конце концов я ее убедил. Другого выхода у нас не было.

Когда мы вернулись, Рут разглядывала нас с вниманием детектива, ищущего улики. Затем спросила, понравились ли мне стихи. Я сказал — и то была чистая правда, — что это ее лучшее произведение. Она была польщена, но не подала виду. Вспыхнувшая на мгновение улыбка тут же исчезла, и она с многозначительным видом

спросила, что я думаю о содержании баллады. Вопрос не застал меня врасплох: снисходительно усмехнувшись, я сказал, что она напомнила мне великопостные проповеди моего несчастного батюшки. Затем посмотрел на часы, отговорился срочной работой и покинул девочку, судя по выражению лица, совершенно сбитую с толку. Думаю, она предвкушала сцену, в которой будет играть роль неумолимого судьи, а я — подлого злодея, который начнет изворачиваться или сломается и признает свою вину. Вместо этого злодей благодушно посмеялся над незадачливым судьей, уподобив его не в меру ретивым священнослужителям. Сражение я выиграл, однако война продолжалась, и закончиться она могла только моим бегством.

Прошло два дня, наступила пятница. Как всегда по пятницам, почтальон принес письмо от матери, и Бьюла, накрывая стол к завтраку, заботливо положила его на видное место рядом с моей чашкой — она чрезвычайно уважала материнские чувства. Я вскрыл письмо, прочел, напустил на себя мрачный вид, перечел вновь и углубился в задумчивое молчание. Кэти поняла намек и озабоченно спросила, нет ли в письме дурных новостей. Разумеется, я ответил, что новости

не слишком радостные… речь идет о здоровье моей матушки… Таким образом мы обеспечили благовидный предлог для моего отъезда. К вечеру все было решено. Как официальный глава лаборатории, Генри предоставил мне двухнедельный отпуск. Я уеду в воскресенье в десять тридцать, а в субботу мы все сопроводим выздоравливающего за город и устроим прощальный пикник.

Поскольку в одну машину мы не помещались, Кэти с детьми поехали вперед в семейном «Оверленде». Генри, Бьюлу и большую часть багажа я взял в свой «Максвелл». Первая машина надолго нас опередила: через полмили от дома Генри обнаружил, что забыл какую-то позарез необходимую ему книгу, и пришлось за ней возвращаться. Десять минут спустя мы вновь двинулись в путь. И этот путь привел нас к встрече с предопределением.

Риверс допил виски и выбил трубку.

— Даже в перевернутый бинокль, даже из другой вселенной, где живут совсем другие люди…

Он покачал головой.

— Нет, бывают вещи совершенно непереносимые.

Наступила тишина.

— Ну что ж, давай с этим покончим, — произнес

наконец он. — Не доезжая двух миль до нашей цели, на перекрестке, надо было свернуть налево. Дорога шла по лесу, и в густой листве не видно, что происходит за поворотом. Выехав на перекресток, я посигналил, сбавил ход и повернул. И неожиданно увидел в канаве перевернутый «Оверленд», а рядом — большой грузовик с искореженным радиатором. Между машинами стоял на коленях молодой человек в синей рабочей одежде, он наклонился над отчаянно кричащим ребенком. Чуть поодаль, футах в десяти от них, лежали две бесформенные кучи, походившие на груды старой одежды, на мусор, залитый кровью.

Он вновь замолчал.

— Они погибли? — спросил наконец я.

— Кэти умерла через пару минут на месте, а Рут — в карете «Скорой помощи» по дороге в больницу. Тимми выжил для худшей смерти на Окинаве. Он отделался несколькими царапинами и парой сломанных ребер. Мальчик рассказал, что сидел сзади, а сестра — впереди, рядом с мамой. Они спорили, Рут из-за чего-то там бесилась, он не знал, в чем дело, потому что не слушал. Он придумывал способ, как электрифицировать свой заводной поезд, да и вообще он никогда не обра-

щал внимания, что говорит Рут, когда бесится. Если обращать внимание, будет только хуже. А мама почему-то обратила. Она сказала: «Ты не понимаешь, о чем говоришь», и еще: «Я запрещаю тебе говорить такие вещи». И тут показался поворот, а они ехали слишком быстро, и мама не погудела в рожок, и этот огромный грузовик налетел прямо на них.

— Как видишь, — заключил Риверс, — тут сошлись два вида предопределения. Предопределение случая и вместе с тем — предопределение двух характеров, Рут и Кэти; и если Рут представляла собой обиженного ребенка и ревнивую юную женщину в одном лице, то Кэти выступала загнанной в угол богиней, внезапно осознавшей, что она — всего лишь человек, и олимпийский характер может оказать ей плохую услугу. Потрясенная этим неприятным открытием, она забыла об осторожности и не смогла справиться с событиями, которые привели к ее гибели (что оказало услугу мне, будучи заложено в*моем* психологическом предопределении), гибели ужасающей, чудовищно жестокой — вырванный осколком стекла глаз, почти напрочь снесенные нос, губы и подбородок, размазанные по окровавленному дорожному покрытию. И еще ей раздавило

правую руку, а из разорванного чулка торчали зазубренные края сломанной берцовой кости. Мне снилось это почти каждую ночь. Я вижу Кэти со спины: она лежит на кровати в загородном доме или стоит у окна в моей комнате, набросив на плечи шаль. Она оборачивается и смотрит на меня, а лица нет, сплошное кровавое месиво, и я с криком просыпаюсь. Дошло до того, что засыпать боялся.

Слушая его, я вспомнил молодого Джона Риверса, которого, к своему удивлению, встретил в двадцать четвертом году в Американском университете Бейрута, где он преподавал физику.

— Ты поэтому тогда выглядел таким жутко больным? — спросил я.

Он кивнул.

— Я слишком мало спал и не мог избавиться от воспоминаний. Так боялся сойти с ума, что вместо этого хотел покончить с собой. Но тут вмешалось предопределение, принеся единственную благодать, которая только и могла меня спасти. Я встретил Элен.

— На той же вечеринке, что и я, помнишь?

— По правде говоря, нет. Я не запомнил с той вечеринки никого, кроме Элен. Спасенный утопающий запоминает только своего спасителя, а

не зевак на набережной.

— Так вот почему у меня не было ни единого шанса! — сказал я. — Я тогда с досадой подумал, что женщины, даже лучшие из них, даже столь невероятные, как Элен, предпочитают творческой натуре эффектную внешность, мускулы с мозгами (а мне пришлось признать, что мозги у тебя все-таки были) мозгам в сочетании с романтической загадочностью — в ту пору моим коньком. Теперь понимаю, в чем таилась твоя неотразимая привлекательность. Ты был несчастен.

Он согласно кивнул. Наступило долгое молчание. Часы пробили двенадцать.

— С Рождеством, — произнес наконец я, допил виски и поднялся уходить. — Ты не рассказал, что случилось после аварии с беднягой Генри.

— Ну, — начал Риверс, — перво-наперво, понятно, рецидив. Но не слишком сильный. На сей раз Генри не было никакого проку оказываться на краю могилы, так что обошлось легким испугом. Ухаживать за ним осталась сестра Кэти, приехавшая на похороны. Настоящая карикатура на Кэти. Толстая, румяная, горластая. Не богиня, притворившаяся крестьянкой, — буфетчица, вообразившая себя богиней. Вдова. Четыре месяца

спустя Генри на ней женился. Я к тому времени уже уехал в Бейрут, так что не стал свидетелем их супружеского счастья. Однако, если верить очевидцам, его было хоть отбавляй. Только бедняжка никак не могла похудеть. Она умерла в тридцать пятом. Генри, недолго думая, нашел где-то рыжеволосую Алисию, много моложе его. Алисии хотелось, чтобы все восхищались ее выдающимся бюстом, но еще больше она гордилась своим выдающимся интеллектом. «Что вы думаете о Шрёдингере?» — спрашивали у Генри. Отвечала всегда Алисия. Она оставалась с ним до самого конца.

— А когда ты видел его в последний раз? — спросил я.

— За несколько месяцев до смерти. В свои восемьдесят семь он был удивительно бодр и до краев полон того, что его биограф называет «неиссякаемым блеском интеллектуальной мощи». Мне он напомнил заводную обезьяну с перекрученным заводом. Механические рассуждения, механические жесты, механические улыбки и ужимки. А разговоры чего стоили! Какие качественные записи старых шуток о Планке, и Резерфорде, и Джозефе Томсоне! Или его знаменитых монологов о логическом позитивизме и

кибернетике! А воспоминания о чудесных военных годах, когда он работал над атомной бомбой! А веселенькие апокалиптические рассуждения о еще более мощных и совершенных адских машинах будущего! Можно было поклясться, что говорит настоящий живой человек. Но постепенно, слушая, ты начинал осознавать: дома никого нет. Записи прокручивались автоматически, то был *vox et praeterea nihil* — голос и больше ничего. Голос Генри Маартенса в его отсутствие.

— А разве не это ты советовал? — спросил я. — Умирать каждое мгновение.

— В том-то и дело, что Генри не умер. Он просто оставил заведенный механизм, а сам ушел в какое-то другое место.

— Куда?

— Бог его знает. Думаю, в какую-то младенческую норку в своем подсознании. Окружающие видели и слышали эту изумительную заводную обезьяну с «неиссякаемым блеском интеллектуальной мощи». А внутри скрывалось несчастное маленькое существо, которое по-прежнему нуждалось в лести, подбадривании, сексе и неком подобии утробы, существо, которому пришлось отдуваться на смертном одре Генри. Вот оно-то, живее всех живых, совершенно не было под-

готовлено к решающему мгновению никаким предварительным умиранием. Ну а теперь решающий миг давно позади, и то, что осталось от старины Генри, возможно, хнычет и попискивает где-нибудь на улицах Лос-Аламоса, а то вертится у кровати вдовы и ее нового мужа. Конечно же, его никто не замечает, всем плевать. Ну и правильно. Что было, то прошло. Однако тебе пора.

Риверс встал, взял меня под руку и проводил в прихожую.

— Будь осторожен за рулем, — предупредил он, отворяя дверь. — Мы в христианской стране, и сегодня день рождения Спасителя. Все, кого ты встретишь на дороге, наверняка пьяны.